М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





М. Ю. Лермонтов.
Автопортрет. Акварель. 1837—1838.



К 175-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84Р1
Л49

Составление, подготовка текста и комментарии

М. И. ГИЛЛЕЛЬСОНА и О. В. МИЛЛЕР

Вступительная статья

М. И. ГИЛЛЕЛЬСОНА

Рецензент

И. С. ЧИСТОВА

Оформление художника

В. МАКСИМА

Л49 **Лермонтов М. Ю. в воспоминаниях современников.** / Редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; Сост., подгот. текста и коммент. М. Гилльсона и О. Миллер; Вступ. статья М. Гиллельсона. — М.: Худож. лит., 1989. — 672 с. (Литературные мемуары).

ISBN 5-280-00501-0

Настоящий сборник — наиболее полный свод воспоминаний о Лермонтове его современников: друзей, сослуживцев, родственников, писателей и др. Среди них воспоминания Е. А. Сушковой, А. П. Шан-Гирея, И. С. Тургенева, А. И. Герцена и др.

Л $\frac{4702010101-205}{028(01)-89}$ 9-89

ББК 84Р1

ЛЕРМОНТОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Чаадаев, старший современник Лермонтова, говорил близким, что чувствует себя Атлантом, который держит на своих плечах свод мироздания.

Близкие оказались далекими. Они оценили подобные слова как проявление непомерной гордыни.

Гордость не была чужда Чаадаеву. Но не преувеличенное мнение о своей личности лежало в основе глубокого убеждения московского философа в том, что он исполин интеллектуальной державы. Он чувствовал свое предназначение, силу своего ума, смело можно сказать, свой гений.

Гений — это бремя, чреватое созиданием. Творческое начало вызывает черную зависть бесплодной посредственности. Гению почетно в веках, но катастрофически тяжело при жизни. Неудивительно, что гении порой неуживчивы и болезненно самолюбивы.

У Лермонтова был трудный характер, который не сулил ему счастья. Предчувствие трагического исхода с ранних лет овладело им.

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или бог — или никто!

Так писал шестнадцатилетний Лермонтов. «Я — или бог — или никто!» Поставить себя вровень с верховным владыкой вселенной мог только юноша неукротимо смелый и гордый, беспрекословно уверенный в своем избранничестве.

И снова близкие оказались далекими.

Читая воспоминания о великом человеке, нужно всегда помнить, что между ним и мемуаристами, как правило, «дистанция огромного размера».

Правда, бывают исключения. И. С. Тургенев видел Лермонтова мельком; Белинский лишь дважды беседовал с поэтом; Герцен, возможно, и не был лично с ним знаком. И тем не менее именно их свидетельства поражают нас глубиной постижения личности Лермонтова.

Итак, при оценке воспоминаний необходимо в первую очередь досконально представить себе пристрастия и антипатии мемуариста, его душевный и интеллектуальный уровень.

Исключительно важным фактором является также время создания мемуаров; для тех, кто хотел писать о Лермонтове, условия были неблагоприятные. До 18 февраля 1855 года, до дня смерти Николая I, биография опального поэта была запретной темой в русской печати. «Записки» Е. А. Сушковой — первые воспоминания о Лермонтове — были напечатаны (да и то частично) в 1857 году. Но и в последующие десятилетия еще оставались негласные препоны, мешавшие мемуаристам правдиво повествовать о важнейших событиях жизни мятежного поэта. Не случайно А. В. Дружинин, писавший в 1860 году статью о Лермонтове, оставил в рукописи пустые листы, на которых он собирался впоследствии поместить рассказ о событиях, приведших к ранней гибели поэта. Однако и в незавершенном варианте его работа не появилась в печати; она была опубликована лишь сто лет спустя.

Трудные цензурные условия препятствовали своевременному написанию воспоминаний; порой это приводило к невосполнимым потерям. Особенно ощутимо отсутствие воспоминаний С. А. Раевского, человека независимого образа мыслей, во многом способствовавшего умственному возмужанию Лермонтова. Воспоминания друга детства А. П. Шан-Гирея написаны лишь в 1860 году. Некоторые воспоминания писались еще позднее, в семидесятые и восьмидесятые годы. К этому времени многие подробности забылись, даты сместились, и, кроме того, о самых драматических эпизодах жизни поэта по-прежнему следовало рассказывать обиняками и недомолвками. О иных событиях можно было писать лишь за рубежом. Так, первое упоминание об участии Лермонтова в оппозиционном «кружке шестнадцати» появилось в Париже в 1879 году в книге Ксаверия Браницкого, участника этого кружка.

Сложную индивидуальность поэта понимали далеко не все мемуаристы. Стоит ли удивляться, что они вольно или невольно по собственному разумению изменяли облик Лермонтова, неверно объясняли его поступки и высказывания. Личность мемуариста всегда имеет решающее значение при оценке достоверности и объективности его воспоминаний. А. Ф. Тиран, учившийся с Лермонтовым

в юнкерской школе и служивший с ним в лейб-гвардии Гусарском полку, намного поверхностнее воспринимал поэта, чем случайный его знакомец артиллерист К. Х. Мамацев или профессор И. Е. Дядьковский, за две-три встречи сумевший оценить широту интересов и редкий ум своего собеседника.

Достоверность и объективность мемуаров порой не совпадают. Достоверные воспоминания могут быть недостаточно объективны из-за пристрастного отбора материала. В «Заметках о Лермонтове» М. Н. Лонгинова выбор эпизодов произведен явно тенденциозно; сообщив о посещениях А. Х. Бенкендорфом дома Е. А. Арсеньевой в 1837 году и об объявлении «высочайшего прощения» поэта, мемуарист не счел нужным отметить ту неблаговидную роль, которую играл шеф жандармов в других случаях жизни Лермонтова. Трудно поверить, что М. Н. Лонгинов не знал об истинной роли Николая I и Бенкендорфа в жизни и гибели поэта. Знал, отлично знал, но предпочел умолчать! Политические симпатии мемуариста наложили верноподданнический отпечаток на его воспоминания: М. Н. Лонгинов был достаточно честен, чтобы не измышлять, но не столь честен, чтобы писать всю правду.

Не все события в жизни писателя являются для нас в равной мере интересными и поучительными. Душевный такт мемуариста, умение распознавать талант, широкий умственный кругозор — вот те качества, которые помогают отделять главное от второстепенного и определяют значительность воспоминаний.

1

С наибольшей глубиной личность и творческую индивидуальность Лермонтова понял его гениальный современник А. И. Герцен. Он хотя и не был знаком с поэтом, но общался с людьми, окружавшими Лермонтова, с жадностью читал каждое его произведение, появлявшееся в печати или ходившее в списках. Критически сопоставив устные воспоминания друзей о Лермонтове, конгениально восприняв его творчество, Герцен нарисовал психологический портрет поэта на широком фоне России того времени: «...чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, надобно было с детства приспособиться к этому резкому и непрерывному ветру, сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями; надобно было с самого нежного детства приобрести привычку скрывать все, что волнует душу, и не только ничего не терять из того, что в ней схоронил, а, напротив, — давать вызреть в безмолвном гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности, надо было обладать безграничной гор-

достью, чтобы, с кандалами на руках и ногах, высоко держать голову»[1].

Перед нами первоклассная адекватная «транскрипция» «Думы» Лермонтова!

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
. . . .
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.

«Он полностью принадлежит к нашему поколению, — продолжал Герцен. — Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса, — то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это не отвлеченная мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии; нет, раздумье Лермонтова — его поэзия, его мученье, его сила»[2].

И вслед за этой исторически безупречной оценкой творчества Лермонтова Герцен с поразительной прозорливостью охарактеризовал личность поэта: «К несчастью быть слишком проницательным у него присоединилось и другое — он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности. О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выразить свои мысли. Люди гораздо снисходительней относятся к брани и ненависти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделять ни их надежды, ни их тревоги, смеет открыто говорить об этом разрыве. Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII. М., 1956, с. 223—224.

[2] Там же, с. 225.

своим друзьям, что постарается как можно скорее найти смерть. Он сдержал слово» [1].

Отбросив в сторону все наносное, второстепенное, Герцен вскрыл самые существенные стороны личности Лермонтова. Словно полемизируя с будущими недальновидными мемуаристами (напомним читателям, что цитаты взяты нами из труда Герцена «О развитии революционных идей в России», написанном в 1850 году), Герцен писал о глубине душевных переживаний поэта, о выстраданной им интеллектуальной смелости.

Тридцать лет тому назад была впервые опубликована статья А. В. Дружинина [2], основанная на беседах автора с близкими поэту людьми; в этой новонайденной статье характеристика Лермонтова полностью совпадает с герценовской: «Большая часть из современников Лермонтова, даже многие из лиц, связанных с ним родством и приязнью, — говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам, — но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу. По словам их, стоило только раз пробить ледяную оболочку, только раз проникнуть под личину суровости, родившейся в Лермонтове отчасти вследствие огорчений, отчасти просто через прихоть молодости, — для того, чтоб разгадать сокровища любви, таившиеся в этой богатой натуре».

Однако «пробить ледяную оболочку» удавалось немногим, лишь наиболее проницательным и доброжелательным собеседникам. Даже Белинский при первом знакомстве не разгадал Лермонтова. Из воспоминаний Н. М. Сатина известно, что их встреча на Кавказе в 1837 году окончилась взаимной неприязнью. Три года спустя Белинский посещает Лермонтова во время его пребывания под арестом в ордонанс-гаузе, и происходит внезапная метаморфоза; серьезный и откровенный разговор полностью перечеркивает старое предубеждение. Потрясенный этой встречей, Белинский спешит сообщить В. П. Боткину о своем «открытии» Лермонтова: «Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! <...> Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: «Дай бог!» Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве.

---

[1] Герцен А. И. Собр. соч., т. VII, с. 225—226.

[2] Литературное наследство, т. 67. М., 1959, с. 630—643 (публикация Э. Г. Герштейн).

Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. Я с ним *робок*, — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ними благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества».

В этом признании Белинского перед нами как бы воочию встают две исполинские фигуры — фигура «неистового Виссариона», безудержного в проявлении своих чувств, и фигура Лермонтова с его «озлобленным взглядом на жизнь», наперекор всему верующего в высокое назначение человека.

Проникнув в заповедную глубину натуры поэта, Белинский и Герцен «высветили» его творческую индивидуальность, отметили психологическую близость между Лермонтовым и его любимыми героями, намекнули читателям на интимный, автобиографический подтекст его произведений. «...что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого мцыри! — восклицал *Белинский*. — Это любимый идеал нашего поэта, это отражение в поэзии тени его собственной личности. Во всем, что ни говорит мцыри, веет его собственным духом, его собственной мощью» [1].

Аналогичные суждения высказал Герцен в немецком журнальном варианте своего труда «О развитии революционных идей в России»: «На немецком языке имеется отличный перевод «Мцыри». Читайте его, чтобы узнать эту пламенную душу, которая рвется из своих оков, которая готова стать диким зверем, змеей, чтобы только быть свободной и жить вдали от людей. Читайте его роман «Герой нашего времени», который напечатан во французском переводе в газете «Démocratie pacifique» и который является одним из наиболее поэтических романов в русской литературе. Изучайте по ним этого человека — ибо все это не что иное, как его исповедь, его признания, и какие признания! Какие грызущие душу терзания! Его герой он сам. И как он с ним поступил? Он посылает его на смерть в Персию, подобно тому как Онегин погибает в трясине русской жизни. Их судьба столь же ужасна, как судьба Пушкина и Лермонтова» [2].

В свою очередь, Белинский в статье о «Герое нашего времени» создал восторженный апофеоз Печорину — Лермонтову: «Вы предаете его анафеме не за *пороки*, — в вас их больше и в вас они чернее и *позорнее*, — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которою он говорит о них. <...> Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстанет на него... Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как

---

[1] *Белинский* В. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, с. 537.

[2] Цит по статье: *Гиллельсон* М. Лермонтов в оценке *Герцена*. — Творчество М. Ю. Лермонтова. М., 1964, с. 385.

ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь»[1].

Личность и поэзия Лермонтова мужали в раскаленном горниле событий, очистительное пламя которого сжигало дотла старые верования, вековые предрассудки, обветшалые догмы. «Но перед идолами света // Не гну колени я мои; // Как ты, не знаю в нем предмета // Ни сильной злобы, ни любви» («Договор»).

Читателю конца XX века трудно понять, какой могучий отклик вызывали эти строки у наиболее дальновидных современников Лермонтова, как они непосредственно ассоциировались с отрицанием «средневековья» во всех сферах человеческого общежития. «Я знал, что тебе понравится «Договор», — писал В. П. Боткин Белинскому 22 марта 1842 года. — В меня он особенно вошел, потому что в этом стихотворении жизнь разоблачена от патриархальности, мистики и авторитетов. Страшная глубина субъективного я, свергшего с себя все субстанциальные вериги. По моему мнению, Лермонтов нигде так не выражался весь, во всей своей духовной личности, как в этом «Договоре». Какое хладнокровное, спокойное презрение всяческой патриархальности, авторитетных, *привычных* условий, обратившихся в рутину. Титанические силы были в душе этого человека»[2].

Как мы видим, высокая самооценка поэта подтверждается вескими свидетельствами наиболее проницательных современников. Их суждения являются для нас незыблемым эталоном, умственной вершиной, с которой надлежит обозревать жизнь, личность и творчество Лермонтова.

2

Детство, отрочество и юность, вся жизнь поэта, за исключением его странствий по Кавказу, просто и бесхитростно описаны Акимом Павловичем Шан-Гиреем, троюродным братом поэта. Мемуариста порой упрекают за то, что он допустил ряд неточностей. Он запамятовал, что Лермонтов родился в Москве, а не в Тарханах; на год позднее датирует он поступление Лермонтова в Московский университет; среди произведений, написанных в Москве, называет поэмы «Боярин Орша» и «Беглец», созданные в Петербурге, и т. д. Не всегда можно согласиться и с его оценками произведений Лермонтова. И, тем не менее, нельзя отрицать, что во всей мемуарной литературе о Лермонтове нет более полного и психологически верного рассказа о жизни поэта, о его радостях и горестях, о его круге чтения, о трогательной привязанности к бабушке, о верной и горькой любви к В. А. Лопухиной, чем воспоминания его младшего друга.

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV, с. 235—236.
[2] Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984, с. 242.

Первую часть воспоминаний А. П. Шан-Гирея дополняют рассказы тарханских старожилов, собранные П. К. Шугаевым в его публикации «Из колыбели замечательных людей». Тарханские впечатления запомнились Лермонтову на всю жизнь. Его одаренность и повышенная восприимчивость помогли почувствовать, а затем понять и воплотить в своих произведениях трагические контрасты окружавшего его мира. В юношеских драмах, в незавершенном романе «Вадим», в поэме «Сашка» Лермонтов верно изобразил нравы крепостнической деревни.

Скупо сообщают мемуаристы о семейном конфликте, в который были вовлечены родители и бабушка поэта. В записях П. К. Шугаева мы читаем о сложных, драматических взаимоотношениях в семье Лермонтова. Трудно решить, кто был прав и кто виноват в этой семейной распре. Вероятно, каждый из ее участников внес свою посильную «лепту». Для нас важен самый факт непримиримых столкновений между матерью, отцом и бабушкой Лермонтова: ведь эта вражда предопределила появление некоторых трагических мотивов в творчестве Лермонтова. Достаточно вспомнить строки «Ужасная судьба отца и сына // Жить розно и в разлуке умереть...», посвященные смерти отца, чтобы почувствовать, как напряженно вдумывался поэт в историю отношений своих родителей. В одном из черновых набросков 1831 года он писал:

Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя;
От них остался только я,
Ненужный член в пиру людском,
Младая ветвь на пне сухом...

Ранняя смерть матери, разрыв между отцом и бабушкой, рассказы о самоубийстве деда на новогоднем балу в Тарханах, — все это, несомненно, повлияло на характер Лермонтова, а следовательно, и на его творчество.

За последнее время наши сведения о детских и отроческих годах поэта обогатились ценными эпистолярными и архивными свидетельствами, уточняющими запутанный «узел» взаимоотношений между отцом и бабушкой Лермонтова [1]. Оказалось поколебленным мнение о непривлекательном облике отца поэта, которого, с легкой руки А. Ф. Тирана, представляли горьким пьяницей и картежником. Отметая недостоверные, недостойные наветы, настало время вдуматься в взволнованные строки Лермонтова, навеянные смертью отца:

Дай бог, чтобы, как твой, спокоен был конец
Того, кто был всех мук твоих причиной!

---

[1] Вырыпаев П. А. Лермонтов. Новые материалы к биографии. Научная редакция В. А. Мануйлова. Воронеж, 1972.

Но ты простишь мне! я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный творцом?
Однако ж тщетны были их желанья:
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!

3

Из воспоминаний, посвященных юношеским годам поэта, наибольший интерес представляют записки Е. А. Сушковой, в которых она живо рассказала о своем знакомстве, встречах и отношениях с Лермонтовым. В текст записок включены ранние стихотворения Лермонтова, в том числе и такие, автографы и списки которых до нас не дошли. Мемуаристка поведала и о драматической коллизии, которая сопутствовала ее встречам с Лермонтовым в Петербурге в конце 1834 и в начале 1835 года; эти страницы проясняют возникновение образа Лизаветы Николаевны Негуровой в незавершенном романе Лермонтова «Княгиня Лиговская» (как известно, Е. А. Сушкова была прототипом Негуровой).

Безусловно, Е. А. Сушкова стремилась преувеличить свое значение в жизни поэта. Но какая женщина, имея в качестве веских доказательств посвященные ей стихотворения, не поступила бы точно так же? Между тем, последние разыскания подтверждают, что в своих воспоминаниях мемуаристка не искажала событий, а лишь эмоционально педалировала имевшие место реальные ситуации. «Материалы архива Верещагиных подтверждают аутентичность такого значительного документа, как «Записки» Сушковой, до сих пор не оцененного еще по достоинству», — констатирует А. Глассе, автор превосходного исследования «Лермонтов и Е. А. Сушкова» [1]. Многочисленные параллели, приведенные А. Глассе, убедительно доказывают, как совпадение личных, психологических конфликтов в молодости Байрона и Лермонтова повлияло и на поведение, и на творческие искания русского поэта. «Записки» Е. А. Сушковой дали благодатный материал для выявления поэтических импульсов Лермонтова, и не будет преувеличением сказать, что ее воспоминания являются одним из важнейших источников биографии молодого Лермонтова.

Критики и историки литературы многие годы писали о духовном одиночестве юного Лермонтова. Однако, сопоставляя мемуарные свидетельства Д. А. Милютина, С. Е. Раича, А. З. Зиновьева, В. С. Межевича, А. М. Миклашевского и обращаясь к архивным

---

[1] М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. М., 1979, с. 121.

и забытым печатным материалам, исследователи пришли к противоположному выводу. Ученым удалось установить, что в годы учения в пансионе и университете вокруг Лермонтова образовалась дружная группа передовых молодых людей, оказавших благотворное влияние на формирование личности и мировоззрения поэта [1]. Правомерен вывод о том, что на духовное развитие Лермонтова Благородный пансион и Московский университет оказали столь же большое и плодотворное воздействие, как Царскосельский лицей на Пушкина.

Московский университет начала 30-х годов XIX века описан в воспоминаниях И. А. Гончарова, П. Ф. Вистенгофа и Я. И. Костенецкого. Правда, они мало знали Лермонтова, ни один из них не был его другом, и по этой причине значение их воспоминаний для характеристики личности Лермонтова ограниченно; богатый духовный мир поэта лишь угадывается по отдельным штрихам, вкрапленным в их повествование. Зато эти мемуары и в особенности соответствующие главы из эпопеи Герцена «Былое и думы» рисуют живую картину нравов Московского университета тех лет. Возбужденное состояние умов московского студенчества, которое столь ярко проявилось в нашумевшей «маловской» истории, описанной Герценом (Лермонтов принимал в ней участие), доказывает, что в Московском университете поэт находился среди оппозиционно настроенной молодежи. Именно в Москве — среди воспитанников пансиона и университета — начали формироваться передовые политические и эстетические взгляды Лермонтова.

В Москве юный Лермонтов испытал два глубоких сердечных чувства. Долгие годы биографы не знали имени женщины, скрытого под инициалами Н. Ф. И.; ей адресованы многие стихи Лермонтова. Разыскания И. Л. Андроникова открыли это имя. В статье «Лермонтов и Н. Ф. И.» исследователь опубликовал рассказ Н. С. Маклаковой, внучки Н. Ф. Ивановой: «Что Михаил Юрьевич Лермонтов был влюблен в мою бабушку — Наталью Федоровну Обрескову, урожденную Иванову, я неоднократно слышала от моей матери Натальи Николаевны и еще чаще от ее брата Дмитрия Николаевича и его жены. У нас в семье известно, что у Натальи Федоровны хранилась шкатулка с письмами М. Ю. Лермонтова и его посвященными ей стихами и что все это было сожжено из ревности ее мужем Николаем Михайловичем Обресковым. Со слов матери знаю, что Лермонтов

---

[1] См. работы: Бродский Н. Л. Лермонтов-студент и его товарищи. — В кн.: «Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова». М., 1941, с. 40—76; Майский Ф. Ф. Юность Лермонтова (Новые материалы о пребывании Лермонтова в Благородном пансионе). — В кн.: «Труды Воронежского университета», т. XIV, вып. II. Воронеж, 1947, с. 185—259; Левит Т. Литературная среда Лермонтова в Московском благородном пансионе. — Литературное наследство, т. 45—46. М., 1948, с. 225—254.

и после замужества Натальи Федоровны продолжал бывать в ее доме. Это и послужило причиной гибели шкатулки. Слышала также, что драма Лермонтова «Странный человек» относится к его знакомству с Н. Ф. Ивановой» [1].

Загадка «Н. Ф. И.» заслонила на некоторое время внимание к самому сильному чувству Лермонтова: ведь бесспорно, что особенно глубокий след в жизни и творчестве поэта оставила Варвара Александровна Лопухина; ей посвящен ряд стихотворений, поэма «Демон», послание «Валерик». А. П. Шан-Гирей писал, что Лермонтов-студент был страстно влюблен «в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. <...> Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения...».

«Последующие увлечения» лишь на краткое время заглушали в душе поэта большое чувство к Лопухиной. Незадолго до своей гибели он писал:

Но я вас помню — да и точно,
Я вас никак забыть не мог!
Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил,
Потом страданьем и тревогой
За дни блаженства заплатил;
Потом в раскаянье бесплодном
Влачил я цепь тяжелых лет;
И размышлением холодным
Убил последний жизни цвет.
С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ,
Любовь, поэзию, — но вас
Забыть мне было невозможно.

4

Переезд в Петербург в августе 1832 года круто изменил жизнь Лермонтова. Оборвались дружеские московские связи, оборвались отношения с Лопухиной.

Отказ администрации Петербургского университета зачесть ему экзамены, сданные в Московском университете, и ряд других причин побудили Лермонтова отказаться от продолжения университетского образования. Он поступает в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Годы, проведенные поэтом в юнкерской школе, отражены в воспоминаниях А. М. Меринского, А. М. Миклашевского, Н. С. Мартынова, В. В. Боборыкина, Н. Н. Манвелова. Эти мемуары богаты

---

[1] Андроников Ираклий. Лермонтов. М., 1951, с. 19.

подробностями жизни Лермонтова в стенах юнкерской школы. Однако они не отвечают на вопрос, почему поэт называл «ужасными» годы своего пребывания в юнкерской школе. Между тем, не ответив на этот вопрос, невозможно понять, какое воздействие оказали на Лермонтова нравы этого военного заведения, типичной казармы николаевского царствования.

При всей достоверности воспоминаний, относящихся к пребыванию Лермонтова в юнкерской школе, они страдают весьма существенным недостатком: мемуаристы идеализируют порядки, царившие в этом военном учебном заведении. Юнкерская школа в эти годы была в ведении великого князя Михаила Павловича, который превыше всего почитал муштру. Постоянные аресты воспитанников и выговоры начальству школы вызывались малейшими нарушениями дисциплины.

Ценным подспорьем для изучения быта юнкерской школы служат воспоминания И. В. Анненкова «Несколько слов о старой школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров». В этом мемуарном источнике имя Лермонтова не упомянуто (вторая часть воспоминаний, в которой должен был фигурировать Лермонтов, осталась неопубликованной; сохранилась ли рукопись — неизвестно), но правдивое описание повседневной жизни юнкеров, их обычаев позволяет яснее представить среду, в которой поэт провел два года. Жестокая военная дисциплина сочеталась в юнкерской школе с крайне разнузданными нравами. В этом отношении своеобразным документом является рукописный журнал «Школьная заря»; в нем видное место занимали скабрезные, неудобные для печати стихи, среди которых были помещены и юнкерские поэмы Лермонтова.

Превосходство гениальной натуры, склонной саркастически отзываться о многом и многих, семейные неурядицы и, наконец, циничная атмосфера юнкерской школы определили модель жизненного поведения Лермонтова. Листая страницы мемуаров о юнкерской школе, невольно вспоминаешь слова А. В. Дружинина о том, как трудно было «пробить ледяную оболочку» поэта; ведь она была надежной броней, защищавшей его от пошлости окружавшей жизни; и она же осложнила его отношения с товарищами и явилась не последней причиной того, что ссора с Мартыновым закончилась не бутылкой шампанского, а смертельной раной...

По окончании юнкерской школы Лермонтов получил назначение в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Царском Селе. Служба в полку, гусарский разгул, попойки, картежная игра, цыгане, наезды в столицу, посещения «большого света», интрига с Сушковой, — и напряженная творческая работа («Княгиня Лиговская», «Маскарад», «Умирающий гладиатор»). Жизнь поэта в 1835—1836 годах отражена в мемуарах, рисующих колоритные картины гусарского быта. Однокашники Лермонтова по юнкерской школе и его

сослуживцы по гусарскому полку сообщили В. П. Бурнашеву, П. К. Мартьянову, П. А. Висковатову множество подробностей, характеризующих вольные нравы военной молодежи того времени. Какой внутренней сосредоточенностью и силой воли должен был обладать Лермонтов, чтобы творить в этой обстановке!

Наступил январь 1837 года. Гибель Пушкина всколыхнула русское общество. За полное скорби и гражданского негодования стихотворение «Смерть Поэта» Лермонтов был арестован и выслан на Кавказ. Этот важнейший эпизод политической биографии поэта описан многими его современниками — А. П. Шан-Гиреем, М. Н. Лонгиновым, В. П. Бурнашевым, А. Н. Муравьевым и, кроме того, отражен в «Деле о непозволительных стихах...». Следственное дело значительно уточняет воспоминания современников, написанные много лет спустя. Из документальных материалов в приложение к нашему изданию включено объяснение С. А. Раевского, наиболее авторитетного свидетеля, принимавшего деятельное участие в распространении стихотворения «Смерть Поэта».

Из мемуаров явствует, что эта стихотворная инвектива была справедливо воспринята современниками как смелое политическое выступление Лермонтова; она сразу сделала его имя известным всей передовой России. Значение стихотворения «Смерть Поэта» для идейного самоопределения Лермонтова огромно. В статье «Несколько слов в оправдание Лермонтова от нареканий г. Маркевича» А. И. Васильчиков с полным основанием утверждал, что «Лермонтов был *представитель направления, противного тогдашнему поколению великосветской молодежи,* что он отделился от него при самом своем появлении на поприще своей будущей славы известными стихами «А вы, надменные потомки...».

Все мемуаристы единодушно отмечают, что стихотворение «Смерть Поэта» произвело сильнейшее впечатление на русское общество. В. В. Стасов, учившийся в то время в Училище правоведения, писал в своих воспоминаниях: «...Спустя несколько месяцев после моего поступления в училище Пушкин убит был на дуэли. Это было тогда событие, взволновавшее весь Петербург, даже и наше училище; разговорам и сожалениям не было конца, а проникшее к нам тотчас же, как и всюду, тайком, в рукописи, стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина» глубоко взволновало нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром, в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого это речь шла в строфе:

А вы, толпою жадною стоящие у трона... —

и т. д., но все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовые, пожалуй, на что угодно, — так нас подымала

сила лермонтовских стихов, так заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление. Разве что лет за <двенадцать> перед тем «Горе от ума» [1].

Молодой Пушкин сказал: «И неподкупный голос мой // Был эхо русского народа».

Теперь, в дни похорон Пушкина, скорбным эхом русского народа прозвучал смелый голос молодого Лермонтова:

И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Весной 1837 года сосланный Лермонтов прибыл на Кавказ.
Что пишут о времени его первой ссылки мемуаристы?

Единственным значительным воспоминанием об этом периоде жизни поэта являются воспоминания Н. М. Сатина, соученика Лермонтова по Университетскому пансиону, участника студенческого кружка Герцена — Огарева. Белинский, декабристы С. И. Кривцов, В. М. Голицын, доктор Н. В. Майер — таков круг лиц, с которыми свел знакомство Лермонтов при содействии Сатина. Дружеские отношения с Николаем Васильевичем Майером, широкообразованным человеком, другом сосланных на Кавказ декабристов, оставили глубокий след в жизни поэта. Майер, как известно, стал прототипом доктора Вернера в «Герое нашего времени».

О политических интересах Майера писал в своих воспоминаниях офицер Генерального штаба в Ставрополе Г. И. Филипсон; отправляясь в экспедицию 1837 года, он взял с собой несколько книг, рекомендованных ему Майером, — это были: «История французской революции» Минье, «История английской революции» Гизо, «История контрреволюции в Англии» Карреля и «О демократии в Америке» Токвиля. «Я их прилежно изучал, — писал Филипсон, — и это дало совсем особенное направление моим мыслям и убеждениям» [2].

Итак, в Пятигорске, в кружке сосланных декабристов, в котором бывали Лермонтов и Майер, читались запрещенные в России книги, посвященные английской и французской революциям, социальному устройству Соединенных Штатов Америки, словом, обсуждались кардинальные вопросы общественного развития современного общества.

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд — игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!

(«Умирающий гладиатор»)

---

[1] Русская старина, 1881, № 2, с. 410—411.
[2] Русский архив, 1883, № 6, с. 249.

Эти строки, написанные поэтом в 1836 году, вероятно, приходили ему на память во время откровенных бесед в пятигорском «оазисе» свободолюбия.

Немногословные воспоминания М. И. Цейдлера и В. В. Боборыкина воссоздают лишь отдельные штрихи жизни Лермонтова на Кавказе. Отсутствие развернутых мемуарных свидетельств привело к тому, что первая ссылка Лермонтова оказалась недостаточно освещенной биографами поэта; многие ее эпизоды остаются неизвестными или плохо изученными. Правда, разыскания Ираклия Андроникова в его книге «Лермонтов в Грузии в 1837 году» и работы других исследователей постепенно проясняют «белые пятна», однако пробелы в мемуарной литературе и в других источниках вынуждают порой ограничиваться предположениями.

К осени 1837 года относится знаменательная встреча поэтов двух поколений — Лермонтов знакомится с Александром Одоевским, только что переведенным из Сибири на Кавказ. От Одоевского Лермонтов мог узнать многое о Грибоедове и Рылееве, о восстании 14 декабря 1825 года, о сибирской ссылке. К сожалению, Одоевский не оставил воспоминаний, и об их увлекательных беседах мы можем только догадываться по стихотворению Лермонтова «Памяти А. И. О<доевско>го».

Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!

5

С Кавказа Лермонтов был переведен в Гродненский гусарский полк, расквартированный в Селищенских казармах под Новгородом. Двухмесячное пребывание поэта в этом полку отражено в воспоминаниях А. И. Арнольди и М. И. Цейдлера.

Лермонтов подружился с корнетом Николаем Александровичем Краснокутским, который «с ранней молодости обращал на себя внимание своим многосторонним образованием. Замечательный лингвист, он владел свободно десятью языками, много занимался живописью и музыкой и был всегда душой полковой молодежи. Он помогал Лермонтову в переводах иностранных произведений

и жил с ним на одной квартире в Селищенских казармах» [1]. Так, А. И. Арнольди вспоминал, что Краснокутский сделал для поэта подстрочный перевод сонета Мицкевича «Вид гор из степей Козлова».

Наконец, усиленные хлопоты Е. А. Арсеньевой увенчались полным успехом — 9 апреля 1838 года был подписан приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии Гусарский полк. Жизнь поэта в 1838—1839 годах отражена во многих воспоминаниях его современников (И. С. Тургенева, И. И. Панаева, В. А. Соллогуба, А. П. Шан-Гирея, Е. П. Ростопчиной и др.). Письма С. Н. Карамзиной к сестре позволяют еще полнее представить дела и дни Лермонтова в эти годы расцвета его творчества. Эти письма, наряду с дневниковыми записями Александра Тургенева, полностью подтверждают рассказ А. П. Шан-Гирея о том, что по возвращении из первой кавказской ссылки Лермонтов наиболее дружески был принят «в доме Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского».

Письма С. Н. Карамзиной свидетельствуют, что уже в сентябре 1838 года Лермонтов становится своим человеком в салоне Карамзиных. Подобное сближение вполне естественно; ведь еще 10 февраля 1837 года С. Н. Карамзина, посылая брату Андрею стихи «Смерть Поэта», писала ему: «Я нахожу их такими прекрасными, в них так много правды и чувства, что тебе надо знать их...» [2]. В то время Карамзины не были лично знакомы с поэтом, но, безусловно, у них сразу же возникла симпатия к «гусарскому офицеру», откликнувшемуся реквиемом на гибель Пушкина.

Однако среди литераторов пушкинского окружения, среди друзей покойного поэта не было единодушного отношения к автору «непозволительных стихов». Вечная антиномия поэтических поколений! «Век другой, другие птицы, // А у птиц другие песни», — как сказал Гейне.

П. А. Плетнев без особой приязни относился к Лермонтову, что не мешало ему сочувственно отзываться о его таланте.

В. А. Жуковский и П. А. Вяземский покровительствовали Лермонтову, но в их отношениях к нему не было сердечной теплоты.

Дружественнее был расположен к Лермонтову В. Ф. Одоевский, отличавшийся широтой своих взглядов.

Приятельница Пушкина Е. М. Хитрово, судя по воспоминаниям М. Б. Лобанова-Ростовского, благоволила Лермонтову и способствовала тому, что перед молодым поэтом были открыты двери лучших салонов столицы.

---

[1] Елец Ю. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. СПб., 1890, с. 205.

[2] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л. 1960, с. 174 (подлинник по-французски).

Короткие, приятельские отношения связывали Лермонтова и С. А. Соболевского, друга Пушкина.

Важным событием петербургской жизни Лермонтова было его участие в «кружке шестнадцати», состоявшем из университетской молодежи и гвардейских офицеров. Однако мемуаристы, за исключением Ксаверия Браницкого, хранят полное молчание об этом. Б. М. Эйхенбаум, обративший внимание на роль «кружка шестнадцати» в биографии Лермонтова, писал: «Определить точно идейное направление и общественно-политическую физиономию этого кружка трудно за отсутствием материалов, да вряд ли у него и было единое направление; но несомненно, что кружок этот был оппозиционный, настроенный против николаевского режима. Кроме того, в этом кружке, по-видимому, горячо обсуждались философские и религиозные вопросы — не без влияния идей Чаадаева» [1].

Значительный архивный материал приведен в работах Э. Г. Герштейн, которая на протяжении многих лет занимается разысканиями о членах «кружка шестнадцати». Еще в 1941 году исследовательница пришла к выводу, что «искание собственного исторического пути России, сравнение западноевропейской цивилизации с русской — такова была одна линия тем, обсуждавшихся в «кружке шестнадцати» [2]. Наиболее развернутая характеристика этого кружка имеется во втором издании ее книги «Судьба Лермонтова» (М., 1986). И хотя в этом оппозиционном кружке не было единомыслия по общественным и философским проблемам, тем не менее атмосфера откровенных, фрондирующих разговоров без оглядки на всесильное III Отделение, безусловно, положительно отразилась на духовном возмужании Лермонтова, на радикализации его политических взглядов.

В начале 1840 года жизнь Лермонтова была нарушена его дуэлью с сыном французского посла в Петербурге — Эрнестом Барантом. Мемуарные свидетельства, а также письма и дневниковые записи современников позволяют утверждать, что дуэль Лермонтова с Барантом произошла в результате сложного сплетения политических и личных мотивов. Обострение франко-русских отношений, тенденциозные толки о том, что Лермонтов в стихотворении «Смерть Поэта», заклеймив Дантеса, якобы стремился оскорбить французскую нацию, соперничество между Лермонтовым и Барантом, возникшее на почве их заинтересованности княгиней М. А. Щербатовой, — все это, вместе взятое, привело к дуэли.

Суровый приговор — вторичная ссылка на Кавказ — последовал не случайно. Э. Г. Герштейн, сопоставив семейную переписку

---

[1] Литературное наследство, т. 43—44. М., 1941, с. 56.
[2] Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. М., 1941, с. 104.

Барантов с воспоминаниями Ю. К. Арнольда, пришла к выводу, что шеф жандармов Бенкендорф и министр иностранных дел Нессельроде, «гонители Пушкина и главные организаторы его убийства — беспощадно преследуют его преемника — Лермонтова. Бенкендорф и Нессельроде не забыли ему выступления в дни гибели Пушкина с одой, направленной против «завистливого и душного света», против палачей русской свободы, русской славы и русского гения» [1].

По пути на Кавказ Лермонтов остановился в Москве. Воспоминания, дневники и письма современников позволяют утверждать, что Лермонтов, находившийся в то время в расцвете творческих сил, быстро вошел в круг московских интеллектуалов. Воспоминания С. Т. Аксакова показывают нам Лермонтова, вдохновенно читающего «Мцыри» 9 мая 1840 года на именинном обеде Гоголя, в саду у Погодина, избранному кругу московских литераторов.

Мемуарные, эпистолярные и дневниковые материалы говорят о том, что диапазон московских знакомств Лермонтова стал чрезвычайно широк; в него входит и многочисленная группа писателей (Н. В. Гоголь, Е. А. Баратынский, К. К. и Н. Ф. Павловы, С. Т. Аксаков, М. Н. Загоскин, М. А. Дмитриев), и видный деятель декабристского движения М. Ф. Орлов, живший в Москве под тайным политическим надзором, и опальный философ П. Я. Чаадаев, и идеологи нарождавшегося славянофильства (К. С. Аксаков, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин), и прославленный актер М. С. Щепкин [2].

Московские встречи, упрочив известность Лермонтова среди видных представителей тамошней интеллигенции, вовлекли поэта в самую гущу интенсивных общественных и литературных споров. Раздвигался его умственный горизонт, оттачивался поэтический талант.

Жизнь Лермонтова во время его второй ссылки на Кавказ нашла отражение в воспоминаниях декабриста Н. И. Лорера, К. Х. Мамацева, А. Чарыкова, А. Д. Есакова, Я. И. Костенецкого. Их записки, а также журнал боевых действий отряда на левом фланге Кавказской линии (в этом отряде сражался Лермонтов) свидетельствуют о храбрости поэта. 3 февраля 1841 года командующий войсками на Кавказской линии и Черномории генерал-адъютант П. Х. Граббе представил Лермонтова за храбрость к «Золотой полусабле», но Николай I, враждебно относившийся к поэту, отказал в награде.

В 1840 году расширились декабристские связи Лермонтова. Как свидетельствуют мемуаристы, во время второй ссылки поэт встречался со многими декабристами: В. Н. Лихаревым, сраженным

---

[1] Литературное наследство, т. 45—46, с. 426.

[2] Стахович А. А. Клочки воспоминаний. М., 1904, с. 55.

пулей в момент философского спора с Лермонтовым, М. А. Назимовым, Н. И. Лорером и другими.

Среди кавказских знакомых Лермонтова неоднократно мелькает имя отчаянного храбреца и бесстрашного дуэлянта Р. И. Дорохова (прототипа Долохова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»), устные рассказы которого позволили А. В. Дружинину написать статью о поэте, полную глубокого понимания его личности. В это же время Лермонтов сблизился с младшим братом Пушкина, Львом Сергеевичем.

В отряде генерала А. В. Галафеева Лермонтов служил вместе с прогрессивно настроенным артиллерийским офицером К. Х. Мамацевым, который в своих записках нарисовал привлекательный, правдивый образ поэта. Заслуживает внимания сообщение Мамацева о том, что в конце тридцатых годов интеллектуальный уровень офицеров-артиллеристов заметно повысился, они «предавались научным занятиям и чтению», следили за журналами, интересовались статьями Белинского. Именно к этой передовой части кавказского офицерства влекли Лермонтова их общие симпатии и умственные устремления.

Очерчивая круг кавказских знакомств Лермонтова, нужно особо отметить Григория Григорьевича Гагарина, художника, по-видимому, члена «кружка шестнадцати». Мемуарное упоминание об их дружбе принадлежит Д. А. Столыпину, который, передавая в дар Лермонтовскому музею в 1882 году акварель «Стычка в горах», писал: «Прилагаю еще акварель, нарисованную Лермонтовым, а красками князем Гр. Гагариным, расскажу в кратких словах сюжет: в одной рекогносцировке число войск наших было мало, когда появились толпы лезгин; начальник отряда дал приказание казакам зажечь степь. Лермонтов, возвращаясь после данного ему поручения к начальнику, который виден стоящим со свитою на кургане, увидел изображенную сцену. Один лезгин проскочил сквозь пламя и напал на двух пеших казаков (полагаю, пластунов), дал выстрел и после промаха, наскочив на одного из казаков, хотел ударить его прикладом. Казак ловко отвернул голову от удара и кинжалом поразил лезгина. Лермонтов жил в одной палатке с братом (А. А. Столыпиным) и кн. Григорием Гагариным» [1].

Живописные эскизы Лермонтова органически вписываются в традицию художественного дилетантизма, которая поддерживалась боевыми товарищами поэта; до нас дошли альбомы и отдельные зарисовки А. Н. Долгорукова, Д. П. Палена, Г. Г. Гагарина; в альбоме П. А. Урусова сохранилось два рисунка Лермонтова. Эти альбомы —

---

[1] *ИРЛИ,* ф. 524, оп. 4, № 32, л. 59—60. Подробнее об этом см.: Пахомов Н. Живописное наследие Лермонтова. — Литературное наследство, т. 45—46, с. 122; Савинов А. Лермонтов и художник Г. Г. Гагарин. — Там же, с. 433—472.

ценный источник, удачно дополняющий воспоминания современников о второй ссылке Лермонтова [1].

11 декабря 1840 года военный министр А. И. Чернышев сообщил командиру Отдельного Кавказского корпуса о том, что «государь император, по всеподданнейшей просьбе г-жи Арсеньевой, бабки поручика Тенгинского пехотного полка Лермонтова, высочайше повелеть соизволил: офицера сего, ежели он по службе усерден и в нравственности одобрителен, уволить к ней в отпуск в С.-Петербург сроком на два месяца».

В середине января 1841 года Лермонтов выехал в столицу.

6

Лермонтов приехал в Петербург в начале февраля.

8 февраля П. А. Плетнев застал Лермонтова вечером у В. Ф. Одоевского.

9 февраля поэта видели на великосветском балу у графа И. И. Воронцова-Дашкова. Появление опального армейского поручика там, где присутствовали император, императрица и великие князья, «нашли неприличным и дерзким».

27 февраля П. А. Плетнев встретил Лермонтова в салоне Карамзиных. «В 11 часов тряхнул я стариной — поехал к Карамзиным, где не бывал более месяца. <...> Там нашлось все, что есть прелестнейшего у нас: Пушкина-поэт <т. е. Н. Н. Пушкина>, Смирнова, Ростопчина и проч. Лермонтов был тоже. Он приехал в отпуск с Кавказа. После чаю молодежь играла в горелки, а потом пустились в танцы. Я приехал домой в 1 час» [2].

Мемуарные свидетельства позволяют утверждать, что чаще всего Лермонтов проводил время в обществе Карамзиных, Е. П. Ростопчиной, В. Ф. Одоевского, А. О. Смирновой-Россет. К ранее известным источникам в последнее время добавились дневниковые записи В. А. Жуковского, которые полностью согласуются с этим выводом.

Жуковский вернулся из Москвы в Петербург 9 марта, в тот самый день, когда Лермонтову надлежало покинуть столицу и возвращаться в свой полк на Кавказ. Но, к счастью, ему удалось получить отсрочку.

Вечером в день приезда Жуковский посетил Карамзиных, где видел Лермонтова и Ростопчину. Эти два имени и дальше будут стоять рядом в дневниковых записях Жуковского. Знакомство Лермонтова с Ростопчиной (точнее, возобновление знакомства, так как они встречались еще в Москве в начале 1830-х годов), поэтессой

[1] См.: Корнилова А. В. Кавказское окружение Лермонтова. — М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. М., 1979, с. 373—391.

[2] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 1. СПб., 1896, с. 260.

и человеком далеко незаурядным, привело к их быстрому сближению. Не будем гадать о характере их отношений — была ли это интеллектуальная дружба двух поэтических натур без всякой примеси любовного влечения, или слова Лермонтова из февральского письма к А. И. Бибикову («...у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная...») имели в виду Ростопчину, — так или иначе, они постоянно виделись друг с другом. Во всяком случае, дружба с Лермонтовым глубоко взволновала Ростопчину; ее черновые тетради неоспоримо доказывают, что в 1841 году (да и в последующие годы) образ Лермонтова часто всплывает и в сознании, и в поэзии Ростопчиной.

17 марта Жуковский был в гостях у А. О. Смирновой вместе с Лермонтовым, Ростопчиной, С. А. Соболевским, А. С. Норовым, И. С. Мальцовым. «Жаркий спор за Орлова, Ермолова и Перовского».

Что объединяло имена Ермолова, Орлова и Перовского в сознании современников?

Перенесемся на несколько лет назад. 15 декабря 1836 года Александр Тургенев провел вечер у Пушкина: «О М. Орл<ове>, о Кисел<еве>, Ермол<ове>, и к. Менш<икове>. Знали и ожидали, «без нас не обойдутся», — записано в дневнике А. И. Тургенева. Пушкин и Тургенев беседовали о негласном резерве декабристов.

И вот теперь, четыре года спустя, «жаркий спор» о лицах, близко соприкасавшихся с движением декабристов, происходит в доме Смирновой в присутствии и, по всей вероятности, при ближайшем участии Лермонтова. Идут годы. А разговоры о восстании декабристов не умолкают. Размышления о трагедии 14 декабря 1825 года продолжают волновать умы писателей пушкинского круга и их ближайшего окружения.

4 апреля Жуковский отмечает визит к нему Лермонтова, «который написал прекрасные стихи на Наполеона».

Лермонтов прочитал Жуковскому только что написанное им стихотворение «Последнее новоселье», в котором он в оценке Наполеона и царствования Луи-Филиппа, короля «с зонтиком под мышкой», продолжал традицию пушкинского «Современника». «Ночной смотр» Жуковского, статьи Вяземского «Наполеон и Юлий Цезарь», «Наполеон. Поэма Э. Кине», возвеличивая корсиканца, тем самым, по контрасту былого величия и современного мещанского благополучия, порицали Июльскую монархию.

В 1830-е годы все, кто был недоволен правлением Луи-Филиппа (если не считать ультрароялистов, сторонников старшей ветви Бурбонов), противопоставляли ему времена Наполеона. В хоре голосов, хваливших властителя покоренной Европы, слышались и голоса демократической оппозиции (Беранже, Э. Дебро и других), и голоса ярых бонапартистов. Слышались не только голоса: в 1835 году бонапартист Фиески организовал покушение на Луи-Филиппа. Через год жители Тулузы возбудили прошение о переносе

останков Наполеона во Францию; правительство ответило отказом, а несколько лет спустя вынуждено было согласиться; стремясь вырвать знамя Наполеона из рук недовольных, Луи-Филипп устроил в декабре 1840 года пышную церемонию: прах Наполеона был перенесен с острова Святой Елены в Париж, в Пантеон. В стихотворении «Последнее новоселье» Лермонтов осудил непостоянство французского общественного мнения, переменчивость соотечественников к своему императору.

В каждом произведении истинного искусства два «оттиска» — слепок быстротекущего времени и слепок вечности. Если отвлечься от злободневности «Последнего новоселья», то в нем явственно проступает извечная неразрешимая коллизия гения и толпы. В 1839 году в драматической поэме «Камоэнс» Жуковский изобразил печальный жизненный эпилог португальского поэта, умиравшего в нищенском лазарете. Все та же дилемма несовместимости величия и посредственности, таланта и бездарности! И, конечно же, при чтении «Последнего новоселья» и Жуковский, и Лермонтов не могли не вспоминать заключительных строк «Полководца» Пушкина:

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

Прилив творческих сил вызывал желание у Лермонтова выйти в отставку и целиком отдаться литературной работе. В его воображении возникали картины исторических романов. «Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романтическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство...» [1].

Как пишет А. П. Шан-Гирей, Лермонтов собирался вернуться к «Демону» и довести до совершенства эту поэму, замысел которой преследовал его многие годы. Издание журнала, «трилогия в прозе», «Демон» — таковы литературные планы Лермонтова, о которых сообщают мемуаристы. Многие другие творческие начинания волновали поэта. Сообщая читателям о приезде Лермонтова в Петербург, редакция «Отечественных записок» писала: «...Замышлено им много, и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценнейшие подарки» [2].

Однако мечтам Лермонтова и надеждам «Отечественных записок» не суждено было сбыться — поэту отказали в отставке и при-

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V, с. 455.
[2] Отечественные записки, 1841, т. XV, № 4, отд. VI, с. 68.

казали возвращаться на Кавказ. Безуспешными оказались и настойчивые хлопоты Жуковского, который, как видно из недавно опубликованных нами дневниковых записей, пытался повлиять и на наследника престола, и на императрицу. В эти дни столица готовилась к торжественному событию — к свадьбе великого князя Александра Николаевича. Жуковский решил воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств: по существовавшей традиции свадьбе наследника должны были сопутствовать щедрые награды, равно как и амнистия провинившихся и осужденных. Жуковский настоятельно советует своему воспитаннику цесаревичу Александру Николаевичу сделать все от него зависящее для смягчения участи декабристов, Герцена и Лермонтова. Ходатайство Жуковского потерпело фиаско. Царское правительство не пожелало быть великодушным.

В первой половине дня 12 апреля Лермонтов посетил Жуковского. Мы не знаем точно, о чем они беседовали, но несомненно одно — опальный поэт благодарил Жуковского за искреннее желание помочь ему.

Вечером 12 апреля в доме Карамзиных состоялись проводы поэта. «После чаю Жуковский отправился к Карамзиным на проводы Лермонтова, который снова едет на Кавказ по минованию срока отпуска своего» [1].

Накануне отъезда В. Ф. Одоевский сделал надпись на записной книжке: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную». Эта книжка стала бесценной реликвией лермонтовского наследия; в нее вписаны последние стихотворения поэта.

Лермонтов приехал в Москву 17 апреля и пробыл там меньше недели. Но какие это были дни! Есть основания предполагать, что часть записной книжки Одоевского заполнялась в Москве. Сопоставим имеющиеся свидетельства современников. В письме к Н. М. Языкову, которое относится ко времени пребывания Лермонтова в Москве или вскоре после отъезда поэта на Кавказ, А. С. Хомяков, дав свою оценку стихотворению «Последнее новоселье» и частично процитировав по памяти «Спор», писал: «Есть другая его пьеса, где он стихом несколько сбивается на тебя. Не знаю, будет ли напечатано. Стих в ней пышнее и полнозвучнее обыкновенного» [2].

В записной книжке Одоевского вслед за стихотворением «Они любили друг друга так долго и нежно...» идет текст «Тамары»:

На мягкой пуховой постели,
В парчу и жемчуг убрана,
Ждала она гостя. Шипели
Пред нею два кубка вина.

---

[1] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 1, с. 318.
[2] Хомяков А. С. Собр. соч., т. 8. М., 1904, с. 101.

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавалися там.

Как будто в ту башню пустую
Сто юношей пылких и жен
Сошлися на свадьбу ночную,
На тризну больших похорон.

Яркое изображение всесильной земной страсти естественно вызвало в памяти Хомякова вакхическую поэзию Языкова.

«Спор», как известно, Лермонтов отдал Ю. Ф. Самарину, «Они любили друг друга так долго и нежно...», вероятно, Лопухиным (еще одно признание своего большого чувства к Вареньке Лопухиной), «Тамару» читал своим московским друзьям. Скорее всего и два других стихотворения — «Сон» и «Утес», — записанные до «Тамары», были созданы в Москве.

Но возможно ли это? Ведь Лермонтов пробыл в Москве считанные дни. 10 мая 1841 года Е. А. Свербеева сообщала в Париж А. И. Тургеневу: «...Лермонтов провел пять дней в Москве, он поспешно уехал на Кавказ, торопясь принять участие в штурме, который ему обещан. Он продолжает писать стихи со свойственным ему бурным вдохновением» [1].

У каждого большого поэта случаются дни и недели, когда мощный поток творческой энергии овладевает его существом.

У Пушкина была знаменитая болдинская осень.

У Лермонтова было пять вдохновенных московских дней.

«Лермонтов пишет стихи со дня на день лучше (надеемся выслать последние, чудные)», — писал в это же время Д. А. Валуев Н. М. Языкову [2].

Обуреваемый мрачными предчувствиями, Лермонтов торопился высказать то, что жгло его душу. Время стремительно шло на убыль. Поэт с лихорадочной поспешностью заполняет чистые листы записной книжки Одоевского.

Ярким поэтическим метеором промелькнул Лермонтов в московских салонах, где все громче раздавались споры славянофилов и западников.

В предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX века» (1861) Огарев писал: «Струну, задетую Лермонтовым, каждый чувствовал в себе — равно скептик и мистик, каждый, не находивший себе места в жизни и живой деятельности; а их откровенно никто не находил. Лермонтов не был теоретическим скептиком, он не искал разгадки жизни; объяснение ее начал было для него

---

[1] Литературное наследство, т. 45-46, с. 700.

[2] Хомяков А. С. Собр. соч., т. 8, с. 99.

равнодушно; теоретического вопроса он нигде не коснулся. <...> он ловил свой идеал отчужденности и презрения, так же мало заботясь об эстетической теории искусства ради искусства, как и о всех отвлеченных вопросах, поднятых в его время под знаменем германской науки и раздвоившихся на два лагеря: западный и славянский. Вечера, где собирались враждующие партии, равно как и всякие иные вечера с ученым или литературным оттенком, он называл «литературной мастурбацией», чуждался их и уходил в великосветскую жизнь отыскивать идеал маленькой Нины; но идеал «ускользал, как змея», и поэт оставался в своем холодно палящем одиночестве» [1].

На наш взгляд, Огарев излишне категоричен. Трудно согласиться с тем, что поэту чужды общие вопросы, волновавшие западников и славянофилов. Вероятно, его лишь утомляли длинные словопрения с абстрактными теоретическими выкладками, когда табачный дым застилал гостиную, а взаимное непонимание оппонентов приводило к постоянным повторам мысли. Самое ценное для нас в статье Огарева — это указание на то, что Лермонтов не принимал доводы ни одной из враждующих сторон. Подтверждение особой позиции Лермонтова мы находим и в записной книжке Одоевского:

«У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем.

Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжелого сна — и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать.

Такова Россия».

В записной книжке Одоевского эта притча вписана вслед за черновым текстом стихотворения «Они любили друг друга так долго и нежно...»; вписана в Москве или вскоре после отъезда поэта, по дороге в Ставрополь.

В этом лапидарном фольклорном иносказании — отголосок бурных споров в московских салонах, отражение несогласия Лермонтова и со славянофилами, идеализировавшими прошлое России, и с западником Чаадаевым, пессимистически оценивавшим будущую судьбу родины. Эта запись — свидетельство самостоятельности позиции Лермонтова, принципиального отличия его исторических воззрений от суждений и западников, и славянофилов.

15 июля, между 6 и 7 часами вечера, Лермонтов был убит на дуэли Мартыновым.

О последних днях поэта подробно рассказано во многих воспоминаниях, дневниках и письмах современников. Однако многое

---

[1] Огарев Н. П. Избр. произв. в 2-х томах, т. 2. М., 1956, с. 487.

в этой печальной развязке остается для нас неизвестным — о самом главном, о тайных пружинах дуэли современники не осмеливались писать. П. А. Висковатов, тщательно собиравший сведения о гибели поэта от его знакомых и очевидцев событий, утверждал: «Нет никакого сомнения, что г. Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие вызвать столкновение между поэтом и кем-либо из не в меру щекотливых или малоразвитых личностей. Полагали, что «обуздание» тем или другим способом «неудобного» юноши-писателя будет принято не без тайного удовольствия некоторыми влиятельными сферами в Петербурге. Мы находим много общего между интригами, доведшими до гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова. Хотя обе интриги никогда разъяснены не будут, потому что велись потаенными средствами, но их главная пружина кроется в условиях жизни и деятельности характера графа Бенкендорфа...» [1]

Мартынов понимал, что гибель Лермонтова будет благосклонно принята Николаем I. Уверенный в безнаказанности, он убил поэта, наотрез отказавшегося стрелять в него. Ни один из четырех секундантов не сумел предотвратить кровавой развязки дуэли.

29 июля 1842 года Герцен записал в дневнике: «Да и в самой жизни у нас так, все выходящее из обыкновенного порядка гибнет — Пушкин, Лермонтов впереди, а потом от A до Z многое множество, оттого, что они не дома в мире мертвых душ» [2].

Воспоминания современников о Лермонтове полностью раскрывают эту мысль Герцена. От своего первого открытого политического выступления — стихотворения «Смерть Поэта» — и до конца жизни Лермонтов высказывал свою вражду к деспотизму и крепостничеству, свою приверженность идеалам гуманизма.

Быть поборником человечности в мире «мертвых душ», быть беспощадным обличителем общественных пороков — трудное и опасное поприще.

Смерть Лермонтова побудила Ростопчину задуматься над трагической судьбой русских поэтов, — и тех, что уже погибли, и тех, кому еще суждено было погибнуть. Ее поэтическое предостережение так и названо: «Нашим будущим поэтам».

Не трогайте ее, — зловещей сей цевницы!
Она губительна!.. Она вам смерть дает!
Как семимужняя библейская вдовица
На избранных своих она грозу зовет!..
Не просто, не в тиши, не мирною кончиной, —
Но преждевременно, противника рукой —
Поэты русские свершают жребий свой,
Не кончив песни лебединой!..

М. Гиллельсон

---

[1] Висковатов П. А. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1987, с. 364—365.

[2] Герцен А. И. Собр. соч., т. II, с. 221.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

А. П. ШАН-ГИРЕЙ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

В последнее время стали много говорить и писать о Лермонтове; по этому случаю возобновились упреки, давно уже слышанные мною от многих родных и знакомых, зачем я не возьмусь описать подробностей его жизни. Мне тяжело было будить в душе печальные воспоминания и бесплодные сожаления; притом же, сознаюсь, и непривычка к литературной деятельности удерживала меня. «Пусть, — думал я, — люди, владеющие лучше меня и языком и пером, возьмут на себя этот труд: дорогой мой Мишель стоил того, чтоб об нем хорошо написали».

Двадцать лет ждал я напрасно; наконец судьба привела меня в те места, где тридцать три года тому назад так весело проходило мое детство и где я нашел теперь одни могилы. Всякий из нас нес утраты, всякий поймет мои чувства. Здесь же получены были мною нумера журнала с ученическими тетрадями Лермонтова и объявление, угрожавшее выходом в свет трех томов его сочинений, куда войдут тетради и значительное число его детских стихотворений [1]. Праведный боже! Зачем же выпускать в свет столько плохих стихов, как будто их и без того мало? Под влиянием этих чувств я преодолел свою нерешительность и взялся за перо. Не беллетристическое произведение предлагаю публике, а *правдивое* описание того, что происходило в жизни человека, интересующего настоящее время.

Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3 октября 1814 года в имении бабушки своей, Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, рожденной Столыпиной, в селе Тарханах [2], Чембарского уезда, Пензенской губернии.

Будучи моложе его четырьмя годами, не могу ничего положительного сказать о его первом детстве; знаю только, что он остался после матери нескольких месяцев на руках у бабушки [3], а отец его, Юрий Петрович, жил в своей деревне Ефремовского уезда [4] и приезжал не часто навещать сына, которого бабушка любила без памяти и взяла на свое попечение, назначая ему принадлежащее ей имение (довольно порядочное, по тогдашнему счету шестьсот душ), так как у ней других детей не было. Слыхал также, что он был с детства очень слаб здоровьем, почему бабушка возила его раза три на Кавказ к минеральным водам [5]. Сам же начинаю его хорошо помнить с осени 1825 года.

Покойная мать моя [6] была родная и любимая племянница Елизаветы Алексеевны, которая и уговаривала ее переехать с Кавказа, где мы жили, в Пензенскую губернию, и помогла купить имение в трех верстах от своего, а меня, из дружбы к ней, взяла к себе на воспитание вместе с Мишелем, как мы все звали Михаила Юрьевича.

Таким образом, все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы, и с этого времени мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазками Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных как смоль. Учителями были M-r Capet [7], высокий и худощавый француз с горбатым носом, всегдашний наш спутник, и бежавший из Турции в Россию грек; но греческий язык оказался Мишелю не по вкусу, уроки его были отложены на неопределенное время, а кефалонец занялся выделкой шкур палых собак и принялся учить этому искусству крестьян; он, бедный, давно уже умер, но промышленность, созданная им, развилась и принесла плоды великолепные: много тарханцев от нее разбогатело, и поныне чуть ли не половина села продолжает скорняжничать.

Помнится мне еще, как бы сквозь сон, лицо доброй старушки немки, Кристины Осиповны [8], няни Мишеля, и домашний доктор Левис, по приказанию которого нас кормили весной по утрам черным хлебом с маслом, посыпанным крессом, и не давали мяса, хотя Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и в пятнадцать лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу.

Жил с нами сосед из Пачелмы (соседняя деревня) Николай Гаврилович Давыдов, гостили довольно долго дальние родственники бабушки, два брата Юрьевы, двое князей Максютовых, часто наезжали и близкие родные с детьми и внучатами, кроме того, большое соседство, словом, дом был всегда битком набит. У бабушки были три сада, большой пруд перед домом, а за прудом роща; летом простору вдоволь. Зимой немного теснее, зато на пруду мы разбивались на два стана и перекидывались снежными комьями; на плотине с сердечным замиранием смотрели, как православный люд, стена на стену (тогда еще не было запрету), сходился на кулачки, и я помню, как раз расплакался Мишель, когда Василий-садовник выбрался из свалки с губой, рассеченной до крови. Великим постом Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде; вообще он был счастливо одарен способностями к искусствам; уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, также переход через Граник и сражение при Арбеллах [9], со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги. Проявления же поэтического таланта в нем вовсе не было заметно в то время, все сочинения по заказу Capet он писал прозой, и нисколько не лучше своих товарищей.

Когда собирались соседки, устраивались танцы и раза два был домашний спектакль; бабушка сама была очень печальна, ходила всегда в черном платье и белом старинном чепчике без лент, но была ласкова и добра, и любила, чтобы дети играли и веселились, и нам было у нее очень весело [10].

Так прожили мы два года. В 1827 году она поехала с Мишелем в Москву, для его воспитания, а через год и меня привезли к ним. В Мишеле нашел я большую перемену, он был уже не дитя, ему минуло четырнадцать лет; он учился прилежно. M-r Gindrot [11], гувернер, почтенный и добрый старик, был, однако, строг и взыскателен и держал нас в руках; к нам ходили разные другие учители, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля: Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина, тогда же Мишель прочел мне своего сочинения стансы К***; меня ужасно интриговало, что значит слово *стансы* и зачем три звездочки? Однако ж промол-

чал, как будто понимаю. Вскоре была написана первая поэма «Индианка» [12] и начал издаваться рукописный журнал «Утренняя заря», на манер «Наблюдателя» или «Телеграфа» [13], как следует, с стихотворениями и изящною словесностью, под редакцией Николая Гавриловича; журнала этого вышло несколько нумеров, по счастию, перед отъездом в Петербург, все это было сожжено, и многое другое, при разборе старых бумаг.

Через год Мишель поступил полупансионером в Университетский благородный пансион, и мы переехали с Поварской на Малую Молчановку в дом Чернова [14]. Пансионская жизнь Мишеля была мне мало известна, знаю только, что там с ним не было никаких *историй*; изо всех служащих при пансионе видел только одного надзирателя, Алексея Зиновьевича Зиновьева, бывавшего часто у бабушки, а сам в пансионе был один только раз, на выпускном акте, где Мишель декламировал стихи Жуковского: «Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей» [15]. Впрочем, он не был мастер декламировать и даже впоследствии читал свои прекрасные стихи довольно плохо.

В, соседстве с нами жило семейство Лопухиных, старик отец, три дочери-девицы и сын; они были с нами как родные и очень дружны с Мишелем, который редкий день там не бывал. Были также у нас родственницы со взрослыми дочерьми, часто навещавшие нас, так что первое общество, в которое попал Мишель, было преимущественно женское, и оно непременно должно было иметь влияние на его впечатлительную натуру.

Вскоре потом умер M-r Gindrot, на место его поступил M-r Winson [16], англичанин, и под его руководством Мишель начал учиться по-английски. Сколько мне помнится, это случилось в 1829 году, впрочем, не могу с достоверностью приводить точные цифры; это так давно, более тридцати лет, я был ребенком, никогда никаких происшествий не записывал и не мог думать, чтобы мне когда-нибудь пришлось доставлять материалы для биографии Лермонтова. В одном могу ручаться, это в верности как самих фактов, так и последовательности их.

Мишель начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно понимать его; читал Мура и поэтические произведения Вальтера Скотта (кроме этих трех, других поэтов Англии я у него никогда не видал), но свободно объясняться по-анг-

лийски никогда не мог, французским же и немецким языком владел как собственным. Изучение английского языка замечательно тем, что с этого времени он начал передразнивать Байрона.

Вообще большая часть произведений Лермонтова этой эпохи, то есть с 1829 по 1833 год, носит отпечаток скептицизма, мрачности и безнадежности, но в действительности чувства эти были далеки от него. Он был характера скорее веселого, любил общество, особенно женское, в котором почти вырос и которому нравился живостию своего остроумия и склонностью к эпиграмме; часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений, ни неудач: бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность? Не была ли это скорее драпировка, чтобы казаться интереснее, так как байронизм и разочарование были в то время в сильном ходу, или маска, чтобы морочить обворожительных московских львиц? Маленькая слабость, очень извинительная в таком молодом человеке. Тактика эта, как кажется, ему и удавалась, если судить по *воспоминаниям.* Одно из них случилось мне прочесть в «Русском вестнике» [17] года три тому назад. Автор этих «Воспоминаний», называвшийся Катенькой, как видно из его рассказа, у нас же и в то время известный под именем Miss Black-eyes * Сушкова, впоследствии Хвостова, вероятно, и не подозревает, что всем происшествиям был свидетель, на которого, как на ребенка, никто не обращал внимания, но который много замечал, и понимал, и помнит, между прочим, и то, что никогда ни Alexandrine W. [18], ни Catherine S. [19] в нашем соседстве, в Москве, не жили; что у бабушки не было брата, служившего с Грибоедовым, и тот, о ком идет речь, был военным губернатором (Николай Алексеевич Столыпин) в Севастополе, где в 1830 году во время возмущения и убит; что, наконец, Мишель не был косолап и глаза его были вовсе не красные, а скорее *прекрасные.*

Будучи студентом, он был страстно влюблен, но не в мисс Блэк-айз и даже не в кузину ее (да не прогневается на нас за это известие тень знаменитой поэтессы) [20], а в молоденькую, милую, умную, как день,

---

* Черноокая (*англ.*).

и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину[21], это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет пятнадцать — шестнадцать; мы же были дети и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка», но она, добрейшее создание, никогда не сердилась. Чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей, несмотря на некоторые последующие увлечения, но оно не могло набросить (и не набросило) мрачной тени на его существование, напротив: в начале своем оно возбудило взаимность, впоследствии, в Петербурге, в гвардейской школе, временно заглушено было новою обстановкой и шумною жизнью юнкеров тогдашней школы, по вступлении в свет новыми успехами в обществе и литературе; но мгновенно и сильно пробудилось оно при неожиданном известии о замужестве любимой женщины; в то время о байронизме не было уже и помину.

В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно в батальном жанре, также играли мы часто в шахматы и в военную игру, для которой у меня всегда было в готовности несколько планов. Все это неоспоримо убеждает меня в мысли, что байронизм был не больше как драпировка; что никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзанья в действительности не было; что все стихотворения Лермонтова, относящиеся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости, ничего не объясняют и не выражают; почему и всякое суждение о характере и состоянии души поэта, на них основанное, приведет к неверному заключению, к тому же, кроме двух или трех, они не выдерживают снисходительнейшей критики, никогда автором их не назначались к печати, а сохранились от auto da-fé случайно, не прибавляя ничего к литературной славе Лермонтова, напротив, могут только навести скуку на читателя, и всем, кому дорога память покойного поэта, надо очень, очень жалеть, что творения эти появились в печати.

По выпуске из пансиона Мишель поступил в Московский университет, кажется, в 1831 году[22]. К этому времени относится начало его поэмы «Демон», которую

так много и долго он впоследствии переделывал; в первоначальном виде ее действие происходило в Испании и героиней была монахиня; [23] также большая часть его произведений с байроническим направлением и очень много мелких, написанных по разным случаям, так как он, с поступлением в университет, стал посещать московский grand-monde *[24]. Г. Дудышкин, в статье своей «Ученические тетради Лермонтова», приводит некоторые из этих стихотворений, недоумевая, к чему их отнести; мне известно, что они были написаны по случаю одного маскарада в Благородном собрании, куда Лермонтов явился в костюме астролога, с огромной книгой судеб под мышкой, в этой книге должность кабалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные мною из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице; под буквами вписаны были приведенные г. Дудышкиным стихи, назначенные разным знакомым, которых было вероятие встретить в маскараде, где это могло быть и кстати и очень мило, но какой смысл могут иметь эти очень слабые стишки в собрании сочинений поэта? [25]

Тот же писатель и в той же статье предполагает, что Miss Alexandrine — лицо, играющее важную роль в эти годы жизни Лермонтова. Это отчасти справедливо, только не в том смысле, какой, кажется, желает намекнуть автор. Miss Alexandrine, то есть Александра Михайловна Верещагина, кузина его, принимала в нем большое участие, она отлично умела пользоваться немного саркастическим направлением ума своего и иронией, чтобы овладеть этой беспокойною натурой и направлять ее, шутя и смеясь, к прекрасному и благородному; все письма Александры Михайловны к Лермонтову доказывают ее дружбу к нему <...> [26]. Между тем, как о девушке, страстно и долго им любимой, во всем собрании трудно найти малейший намек.

В Москве же Лермонтовым были написаны поэмы: «Литвинка», «Беглец», «Измаил-Бей», «Два брата», «Хаджи Абрек», «Боярин Орша» [27] и очень слабое драматическое произведение с немецким заглавием «Menschen und Leidenschaften» **. Не понимаю, каким образом оно оказалось налицо; я был уверен, что мы сожгли

* большой свет (*фр.*).
** «Люди и страсти» (*нем.*).

эту трагедию вместе с другими плохими стихами, которых была целая куча.

Развлекаемый светскими удовольствиями, Лермонтов, однако же, занимался лекциями, но не долго пробыл в университете; вследствие какой-то истории с одним из профессоров, в которую он случайно и против воли был замешан, ему надо было оставить Московский университет, и в конце 1832 года он отправился с бабушкой в Петербург[28], чтобы поступить в тамошний, но вместо университета он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в лейб-гвардии Гусарский полк. Через год, то есть в начале 1834, я тоже прибыл в Петербург для поступления в Артиллерийское училище и опять поселился у бабушки. В Мишеле я нашел опять большую перемену. Он сформировался физически; был мал ростом, но стал шире в плечах и плотнее, лицом по-прежнему смугл и нехорош собой; но у него был умный взгляд, хорошо очерченные губы, черные и мягкие волосы, очень красивые и нежные руки; ноги кривые (правую, ниже колена, он переломил в школе, в манеже, и ее дурно срастили).

Я привез ему поклон от Вареньки. В его отсутствие мы с ней часто о нем говорили; он нам обоим, хотя не одинаково, но равно был дорог. При прощанье, протягивая руку, с влажными глазами, но с улыбкой, она сказала мне:

— Поклонись ему от меня; скажи, что я покойна, довольна, даже счастлива.

Мне очень было досадно на него, что он выслушал меня как будто хладнокровно и не стал о ней расспрашивать; я упрекнул его в этом, он улыбнулся и отвечал:

— Ты еще ребенок, ничего не понимаешь!

— А ты хоть и много понимаешь, да не ст*о*ишь ее мизинца! — возразил я, рассердившись не на шутку.

Это была первая и единственная наша ссора; но мы скоро помирились.

Школа была тогда на том месте у Синего моста, где теперь дворец ее высочества Марии Николаевны[29]. Бабушка наняла квартиру в нескольких шагах от школы, на Мойке же, в доме Ланскова[30], и я почти каждый день ходил к Мишелю с контрабандой, то есть с разными pâtés froids, pâtés de Strasbourg *, конфетами и прочим, и таким образом имел случай видеть и знать многих из

* холодными паштетами, страсбургскими паштетами (*фр.*).

его товарищей, между которыми был приятель его Вонляр-Лярский, впоследствии известный беллетрист, и два брата Мартыновы, из коих меньшой, красивый и статный молодой человек, получил такую печальную (по крайней мере, для нас) известность. <...>

Нравственно Мишель в школе переменился не менее как и физически, следы домашнего воспитания и женского общества исчезли; в то время в школе царствовал дух какого-то разгула, кутежа, бамбошерства; по счастию, Мишель поступил туда не ранее девятнадцати лет и пробыл там не более двух; по выпуске в офицеры все это пропало, как с гуся вода. Faut que jeunesse jette sa gourme *, говорят французы.

Способности свои к рисованию и поэтический талант он обратил на карикатуры, эпиграммы и другие неудобные к печати произведения, помещавшиеся в издаваемом в школе рукописном иллюстрированном журнале, некоторые из них ходили по рукам отдельными выпусками. Для образчика могу привести несколько стихов из знаменитой в свое время и в своем месте поэмы «Уланша»: [31]

Идет наш шумный эскадрон
Гремящей пестрою толпою,
Повес усталых клонит сон,
Уж поздно, темной синевою
Покрылось небо, день угас,
Повесы ропщут...

. . . .

Но вот Ижорка, слава богу!
Пора раскланяться с конем.
Как должно вышел на дорогу
Улан с завернутым значком;
Он по квартирам важно, чинно
Повел начальников с собой,
Хотя, признаться, запах винный
Изобличал его порой.
Но без вина что жизнь улана?
Его душа на дне стакана,
И кто два раза в день не пьян,
Тот, извините, не улан!
Сказать вам имя квартирьера?
То был Лафа, буян лихой,
С чьей молодецкой головой
Ни доппель-кюмель, ни мадера,
Ни даже шумное аи
Ни разу сладить не могли.
Его коричневая кожа
Сияла в множестве угрях,

---

* Молодость должна перебеситься (*фр.*).

Ну, словом, все, походка, рожа
На сердце наводило страх.
Задвинув кивер на затылок,
Идет он, все гремит на нем,
Как дюжина пустых бутылок
Толкаясь в ящике большом.
. . . .
Лафа угрюмо в избу входит,
Шинель, скользя, валится с плеч,
Кругом он дико взоры водит
И мнит, что видит сотни свеч...
Пред ним меж тем одна лучина,
Дымясь, треща, горит она,
Но что за дивная картина
Ее лучом озарена!
Сквозь дым волшебный, дым табачный,
Мелькают лица юнкеров.
Их рожи красны, взоры страшны,
Кто в сбруе весь, кто без ш<танов>
Пируют! — В их кругу туманном
Дубовый стол и ковш на нем,
И пунш в ушате деревянном
Пылает синим огоньком... и т. д.

Домой он приходил только по праздникам и воскресеньям и ровно ничего не писал. В школе он носил прозванье Маёшки, от M-r Mayeux, горбатого и остроумного героя давно забытого шутовского французского романа [32].

Два злополучные года пребывания в школе прошли скоро, и в начале 1835 его произвели в офицеры [33], в лейб-гусарский полк, я же поступил в Артиллерийское училище и, в свою очередь, стал ходить домой только по воскресеньям и праздникам.

С нами жил в то время дальний родственник и товарищ Мишеля по школе, Николай Дмитриевич Юрьев, который после тщетных стараний уговорить Мишеля печатать свои стихи передал, тихонько от него, поэму «Хаджи Абрек» Сенковскому, и она, к нашему немалому удивлению, в одно прекрасное утро появилась напечатанною в «Библиотеке для чтения» [34]. Лермонтов был взбешен, по счастью, поэму никто не разбранил, напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не печатать.

По производстве его в офицеры бабушка сказала, что Мише нужны деньги, и поехала в Тарханы (это была их первая разлука). И действительно, Мише нужны были деньги; я редко встречал человека беспечнее его относительно материальной жизни, кассиром был

его Андрей [35], действовавший совершенно бесконтрольно. Когда впоследствии он стал печатать свои сочинения, то я часто говорил ему: «Зачем не берешь ты ничего за свои стихи. Пушкин был не беднее тебя, однако платили же ему книгопродавцы по золотому за каждый стих», но он, смеясь, отвечал мне словами Гете:

Das Lied, das aus der Kehle dringt
Ist Lohn, der reichlich lohnet *.

Он жил постоянно в Петербурге, а в Царское Село, где стояли гусары, езжал на ученья и дежурства. В том же полку служил родственник его Алексей Аркадьевич Столыпин, известный в школе, а потом и в свете под именем Мунго. Раз они вместе отправились в сентиментальное путешествие из Царского в Петергоф, которое Лермонтов описал в стихах:

Садится солнце за горой,
Туман дымится над болотом.
И вот, дорогой столбовой,
Летят, склонившись над лукой,
Два всадника, большим налетом... и т. д. [36].

В это время, то есть до 1837 года, Лермонтов написал «Казначейшу», «Песню о царе Иоанне и купце Калашникове», начал роман в прозе без заглавия [37] и драму в прозе «Два брата», переделал «Демона», набросал несколько сцен драмы «Арбенин» (впоследствии названной «Маскарад») [38] и несколько мелких стихотворений, все это читалось дома, между короткими. В 1836 году бабушка, соскучившись без Миши, вернулась в Петербург. Тогда же жил с нами сын старинной приятельницы ее, С. А. Раевский. Он служил в военном министерстве, учился в университете, получил хорошее образование и имел знакомство в литературном кругу.

В это же время я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «Вот новость — прочти», и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной [39].

* Песня, которая льется из уст, сама по себе есть лучшая награда (*нем.*).

Через Раевского Мишель познакомился с А. А. Краевским, которому отдавал впоследствии свои стихи для помещения в «Отечественных записках». Раевский имел верный критический взгляд, его замечания и советы были не без пользы для Мишеля, который, однако же, все еще не хотел печатать свои произведения, и имя его оставалось неизвестно большинству публики, когда в январе 1837 года мы все были внезапно поражены слухом о смерти Пушкина. Современники помнят, какое потрясение известие это произвело в Петербурге. Лермонтов не был лично знаком с Пушкиным, но мог и умел ценить его. Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем этим святотатственным убийством, он, в один присест, написал несколько строф, разнесшихся в два дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова.

Стихи эти были написаны с эпиграфом из неизданной трагедии г. Жандра «Венцеслав»:

Отмщенья, государь! Отмщенья!
Паду к ногам твоим,
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.

Не привожу самих стихов, так как они уже напечатаны вполне. <...>

Нетрудно представить себе, какое впечатление строфы «На смерть Пушкина» произвели в публике, но они имели и другое действие. Лермонтова посадили под арест в одну из комнат верхнего этажа здания Главного штаба, откуда он отправился на Кавказ прапорщиком в Нижегородский драгунский полк. Раевский попался тоже под сюркуп, его с гауптвахты, что на Сенной, перевели на службу в Петрозаводск;[41] на меня же полковник Кривопишин, производивший у нас домашний обыск, не удостоил обратить, по счастию, никакого внимания, и как я, так и тщательно списанный экземпляр подвергнувшихся гонению стихов остались невредимы.

Под арестом к Мишелю пускали только его камердинера, приносившего обед; Мишель велел завертывать хлеб в серую бумагу и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько пьес, а именно: «Когда волнуется желтеющая нива»; «Я, матерь божия, ныне с молитвою»; «Кто б ни был ты, пе-

чальный мой сосед», и переделал старую пьесу «Отворите мне темницу», прибавив к ней последнюю строфу «Но окно тюрьмы высоко».

Старушка бабушка была чрезвычайно поражена этим происшествием, но осталась в Петербурге, с надеждой выхлопотать внуку помилование, в чем через родных, а в особенности через Л. В. Дубельта и успела; менее чем через год Мишеля возвратили и перевели прежде в Гродненский, а вскоре, по просьбе бабушки же, опять в лейб-гусарский полк. <...>

Незадолго до смерти Пушкина, по случаю политической тревоги на Западе, Лермонтов написал пьесу вроде известной «Клеветникам России», но, находясь некоторым образом в опале, никогда не хотел впоследствии напечатать ее, по очень понятному чувству. Так как пьеса эта публике совершенно неизвестна (если не помещена в последнем издании), то привожу и ее здесь:

Опять народные витии
За дело падшее Литвы
На славу гордую России
Опять, шумя, восстали вы!.. и т. д.[43].

По возвращении в Петербург Лермонтов стал чаще ездить в свет, но более дружеский прием находил в доме у Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского. Литературная деятельность его увеличилась. Он писал много мелких лирических стихотворений, переделал в третий раз поэму «Демон», окончил драму «Маскарад», переделал давно написанную им поэму «Мцыри» и еще несколько пьес, которые теперь не упомню; начал роман «Герой нашего времени». Словом, это была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении. С 1839 года стал он печатать свои произведения в «Отечественных записках»; у него не было чрезмерного авторского самолюбия; он не доверял себе, слушал охотно критические замечания тех, в чьей дружбе был уверен и на чей вкус надеялся, притом не побуждался меркантильными расчетами, почему и делал строгий выбор произведениям, которые назначал к печати. Не могу опять с истинною сердечною горестию не пожалеть, что по смерти Лермонтова его сочинения издаются не с такою же разборчивостью.

Ужель (как сказал он сам) ребяческие чувства,
Нестройный, безотчетный бред,
Достойны строгого искусства?
Их осмеет, забудет свет[44].

Весной 1838 года приехала в Петербург с мужем Варвара Александровна проездом за границу. Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде. «Ну, как вы здесь живете?» — «Почему же это вы?» — «Потому, что я спрашиваю про двоих». — «Живем, как бог послал, а думаем и чувствуем, как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского через два часа». Это была наша последняя встреча; ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть. Она пережила его, томилась долго и скончалась, говорят, покойно, лет десять тому назад.

В. А. Жуковский хотел видеть Лермонтова, которого ему и представили. Маститый поэт принял молодого дружески и внимательно и подарил ему экземпляр своей «Ундины» с собственноручною надписью. Один из членов царской фамилии пожелал прочесть «Демона», ходившего в то время по рукам, в списках более или менее искаженных[45]. Лермонтов принялся за эту поэму в четвертый раз, обделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически и, по одобрении к печати цензурой, препроводил по назначению. Через несколько дней он получил ее обратно, и это единственный экземпляр полный и после которого «Демон» не переделывался. Экземпляр этот должен находиться у г. Алопеуса, к которому перешел от меня через Обухова, товарища моего по Артиллерийскому училищу. Есть еще один экземпляр «Демона», писанный весь рукой Лермонтова и переданный мною Дмитрию Аркадьевичу Столыпину.

Мы часто в последнее время говорили с Лермонтовым о «Демоне». Бесспорно, в нем есть прекрасные стихи и картины, хотя я тогда, помня Кавказ, как сквозь сон, не мог, как теперь, судить о поразительной верности этих картин. Без сомнения, явясь в печати, он должен был иметь успех, но мог возбудить и очень строгую рецензию. Мне всегда казалось, что «Демон» похож на оперу с очаровательнейшею музыкой и пустейшим либретто. В опере это извиняется, но в поэме не так. Дельный критик может и должен спросить поэта, в особенности такого, как Лермонтов: «Какая цель твоей поэмы, какая в ней идея?» В «Демоне» видна одна цель — на-

писать несколько прекрасных стихов и нарисовать несколько прелестных картин дивной кавказской природы, это хорошо, но мало. Идея же, смешно сказать, вышла такая, о какой сам автор и не думал. В самом деле, вспомните строфу:

И входит он, любить готовый,
С душой открытой для добра... и проч.

Не правда ли, что тут князю де Талейрану пришлось бы повторить небесной полиции свое слово: surtout pas trop de zèle, Messieurs! * Посланник рая очень некстати явился защищать Тамару от опасности, которой не существовало; этою неловкостью он помешал возрождению Демона и тем приготовил себе и своим в будущем пропасть хлопот, от которых они навек бы избавились, если бы посланник этот был догадливее. Безнравственной идеи этой Лермонтов не мог иметь; хотя он и не отличался особенно усердным выполнением религиозных обрядов, но не был ни атеистом, ни богохульником. Прочтите его пьесы «Я, матерь божия, ныне с молитвою», «В минуту жизни трудную», «Когда волнуется желтеющая нива», «Ветка Палестины» и скажите, мог ли человек без теплого чувства в сердце написать эти стихи? Мною предложен был другой план: отнять у Демона всякую идею о раскаянии и возрождении, пусть он действует прямо с целью погубить душу святой отшельницы, чтобы борьба Ангела с Демоном происходила в присутствии Тамары, но не спящей; пусть Тамара, как высшее олицетворение нежной женской натуры, готовой жертвовать собой, переходит с полным сознанием на сторону несчастного, но, по ее мнению, кающегося страдальца, в надежде спасти его; остальное все оставить как есть, и стих:

Она страдала и любила,
И рай открылся для любви... —

спасает эпилог. «План твой, — отвечал Лермонтов, — недурен, только сильно смахивает на Элоу «Sœur des anges» ** Альфреда де Виньи. Впрочем, об этом можно подумать. Демона мы печатать погодим, оставь его пока у себя». Вот почему поэма «Демон», уже одобренная Цензурным комитетом, осталась при жизни Лермонтова

* главным образом, не так много рвения, господа! (*фр.*).
** «Сестру ангелов» (*фр.*).

ненапечатанного. Не сомневаюсь, что только смерть помешала ему привести любимое дитя своего воображения в вид, достойный своего таланта.

Здесь, кстати, замечу две неточности в этой поэме:

Он сам властитель Синодала...

В Грузии нет *Синодала,* а есть *Цинундалы* [46], старинный замок в очаровательном месте в Кахетии, принадлежащий одной из древнейших фамилий Грузии, князей Чавчавадзе, разграбленный лет восемь тому назад сыном Шамиля.

Бежали *робкие* грузины...

Грузины не робки, напротив, их скорее можно упрекнуть в безумной отваге, что засвидетельствует вся кавказская армия, понимающая, что такое храбрость. Лермонтов не мог этого не знать, он сам ходил с ними в огонь, бежать могли рабы князя, это обмолвка.

Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован кн. Щербатовой (к ней относится пьеса «На светские цепи») [47]. Мне ни разу не случалось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать. То же самое, как видно из последующего, думал про нее и г. де Барант, сын тогдашнего французского посланника в Петербурге. Немножко слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта, он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: «Vous profitez trop, Monsieur, de ce que nous sommes dans un pays où le duel est défendu». — «Qu'à-ça ne tienne, Monsieur, — отвечал тот, — je me mets entièrement à votre disposition» *, и на завтра назначена была встреча; это случилось в середу на масленице 1840 года. Нас распустили из училища утром, и я, придя домой часов в девять, очень удивился, когда человек сказал мне, что Михаил Юрьевич изволили выехать в семь часов; погода была прескверная, шел мокрый снег с мелким дождем. Часа через два Лермонтов вернулся, весь мокрый, как мышь. «Откуда ты эдак?» — «Стрелялся». — «Как, что, зачем, с кем?» — «С французи-

* «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена». — «Это ничего не значит, — отвечал тот, — я весь к вашим услугам» (*фр.*).

ком». — «Расскажи». Он стал переодеваться и рассказывать: «Отправился я к Мунге [48], он взял отточенные рапиры и пару кухенрейтеров [49], и поехали мы за Черную Речку. Они были на месте. Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром снегу и начали; дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не поддавался. Мунго продрог и бесился, так продолжалось минут десять. Наконец он оцарапал мне руку ниже локтя, я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас; Мунго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались, вот и все».

История эта оставалась довольно долго без последствий, Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней; наконец одна неосторожная барышня Б*** [50], вероятно, безо всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом, и в понедельник на страстной неделе получил казенную квартиру в третьем этаже с.-петербургского ордонанс-гауза, где и пробыл недели две, а оттуда перемещен на арсенальную гауптвахту, что на Литейной [51]. В ордонанс-гауз к Лермонтову тоже никого не пускали; бабушка лежала в параличе и не могла выезжать, однако же, чтобы Мише было не так скучно и чтоб иметь о нем ежедневный и достоверный бюллетень, она успела выхлопотать у тогдашнего коменданта или плац-майора, не помню хорошенько, барона З<ахаржевского>, чтоб он позволил впускать меня к арестанту. Благородный барон сжалился над старушкой и разрешил мне под своею ответственностью свободный вход, только у меня всегда отбирали на лестнице шпагу (меня тогда произвели и оставили в офицерских классах дослушивать курс). Лермонтов не был очень печален, мы толковали про городские новости, про новые французские романы, наводнявшие тогда, как и теперь, наши будуары, играли в шахматы, много читали, между прочим Андре Шенье, Гейне и «Ямбы» Барбье, последние ему не нравились, изо всей маленькой книжки он хвалил только одну следующую строфу, из пьесы «La Popularité»:

C'est la mer, c'est la mer, d'abord calme et sereine,
La mer, aux premiers feux du jour,
Chantant et souriant comme une jeune reine,
La mer blonde et pleine d'amour.
La mer baisant le sable et caressant la rive
Du beaume enivrant de ses flots,
Et berçant sur sa gorge, ondoyante et lassive,
Son peuple brun de matelots *.

Здесь написана была пьеса «Соседка», только с маленьким прибавлением [52]. Она действительно была интересная соседка, я ее видел в окно, но решеток у окна не было, и она была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при ордонанс-гаузе, где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери, я всегда около него ставил свою шпагу.

Между тем военно-судное дело шло своим порядком и начинало принимать благоприятный оборот вследствие ответа Лермонтова, где он писал, что не считал себя вправе отказать французу, так как тот в словах своих не коснулся только его, Лермонтова, личности, а выразил мысль, будто бы вообще в России невозможно получить удовлетворения, сам же никакого намерения не имел нанести ему вред, что доказывалось выстрелом, сделанным на воздух. Таким образом, мы имели надежду на благоприятный исход дела, как моя опрометчивость все испортила. Барант очень обиделся, узнав содержание ответа Лермонтова, и твердил везде, где бывал, что напрасно Лермонтов хвастается, будто подарил ему жизнь, это неправда, и он, Барант, по выпуске Лермонтова из-под ареста, накажет его за это хвастовство. Я узнал эти слова француза, они меня взбесили, и я пошел на гауптвахту. «Ты сидишь здесь, — сказал я Лермонтову, — взаперти и никого не видишь, а француз вот что про тебя везде трезвонит громче всяких труб». Лермонтов написал тотчас записку, приехали два гусарские офицера, и я ушел от него. На другой день он рассказал мне, что один из офицеров привозил к нему на гауптвахту Баранта, которому Лермонтов высказал свое неудовольствие и предложил, если он, Барант, недово-

* Море, море, вначале спокойное и светлое, море, при первых проблесках дня поющее и улыбающееся, как молодая царица, море светлое и полное любви. Море, что целует и ласкает берег опьяняющим бальзамом волны, море, что качает на своей утомленной и колеблющейся груди племя загорелых матросов (*фр.*).

лен, новую встречу по окончании своего ареста, на что Барант при двух свидетелях отвечал так: «Monsieur, les bruits qui sont parvenus jusqu'à vous sont inexacts, et je m'empresse de vous dire que je me tiens pour parfaitement satisfait» *.

После чего его посадили в карету и отвезли домой.

Нам казалось, что тем дело и кончилось; напротив, оно только начиналось. Мать Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса с жалобой на Лермонтова за то, что он, будучи на гауптвахте, требовал к себе ее сына и вызывал его *снова* на дуэль. После такого пассажа дело натянулось несколько, поручика Лермонтова тем же чином перевели на Кавказ в Тенгинский пехотный полк, куда он отправился, а вслед за ним и бабушка поехала в деревню. Отсутствие их было непродолжительно; Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург [53].

Все бабушкины попытки выхлопотать еще раз своему Мише прощенье остались без успеха, ей сказали, что не время еще, надо подождать.

Лермонтов пробыл в Петербурге до мая; с Кавказа он привез несколько довольно удачных видов своей работы, писанных масляными красками, несколько стихотворений и роман «Герой нашего времени», начатый еще прежде, но оконченный в последний приезд в Петербург [54]. В публике существует мнение, будто в «Герое нашего времени» Лермонтов хотел изобразить себя; сколько мне известно, ни в характере, ни в обстоятельствах жизни ничего нет общего между Печориным и Лермонтовым, кроме ссылки на Кавказ. Идеал, к которому стремилась вся праздная молодежь того времени: гльвы, львенки и проч. коптители неба, как говорит Гоголь, олицетворен был Лермонтовым в Печорине. Высший дендизм состоял тогда в том, чтобы ничему не удивляться, ко всему казаться равнодушным, ставить свое *я* выше всего; плохо понятая англомания была в полном разгаре, откуда плачевное употребление богом дарованных способностей. Лермонтов очень удачно собрал эти черты в герое своем, которого сделал интересным, но все-таки выставил пустоту подобных людей и вред (хотя и не весь) от них для общества. Не его вина, если вместо сатиры многим угодно было видеть апологию.

---

* Слухи, которые дошли до вас, не точны, и я должен сказать, что считаю себя совершенно удовлетворенным (*фр.*).

На святой неделе Лермонтов написал пьесу «Последнее новоселье»; в то самое время, как он писал ее, мне удалось набросить карандашом его профиль[55]. Упоминаю об этом обстоятельстве потому, что из всех портретов его ни один не похож, и профиль этот, как мне кажется, грешит менее прочих портретов пред подлинником.

Срок отпуска Лермонтова приближался к концу; он стал собираться обратно на Кавказ. Мы с ним сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько как напечатанных уже, так и еще не изданных и составили связку. «Когда, бог даст, вернусь, — говорил он, — может, еще что-нибудь прибавится сюда, и мы хорошенько разберемся и посмотрим, что надо будет поместить в томик и что выбросить». Бумаги эти я оставил у себя, остальные же, как ненужный хлам, мы бросили в ящик. Если бы знал, где упадешь, говорит пословица, — соломки бы подостлал; так и в этом случае: никогда не прощу себе, что весь этот хлам не отправил тогда же на кухню под плиту.

Второго мая к восьми часам утра приехали мы в Почтамт[56], откуда отправлялась московская мальпост. У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому, говорил довольно долго, но я ничего не слыхал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: «Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил; если что нужно будет, напиши, я все исполню». — «Какой ты еще дитя, — отвечал он. — Ничего, все перемелется — мука будет. Прощай, поцелуй ручки у бабушки и будь здоров».

Это были в жизни его последние слова ко мне; в августе мы получили известие о его смерти.

По возвращении моем с бабушкой в деревню, куда привезены были из Пятигорска и вещи Лермонтова, я нашел между ними книгу в черном переплете in 8°, в которой вписаны были рукой его несколько стихотворений, последних, сочиненных им. На первой странице значилось, что книга дана Лермонтову князем Одоевским с тем, чтобы поэт возвратил ее исписанною; приезжавший тогда в Петербург Николай Аркадьевич Столыпин, по просьбе моей, взял эту книгу с собой для передачи князю[57]. Впоследствии, в 1842 году в Кремен-

чуге встретился я со Львом Ивановичем Арнольди * и по просьбе его оставил ему на некоторое время связку черновых стихотворений, отобранных Лермонтовым в 1841 году в Петербурге. Не знаю, до какой степени бумаги эти служили при прежних изданиях его сочинений, в которых довольно и ошибок и пропусков, тем не менее желательно, чтобы будущие издатели сверили имеющиеся у них рукописи с находящимися у названных мною лиц, которые, вероятно, из уважения к памяти покойного поэта в том препятствовать не будут. Только, ради создателя, для чего же все эти ученические тетради и стихи первой юности? Если бы Лермонтов жил долго и сочинения его, разбросанные по разным местам, могли бы доставить материал для многотомного собрания — дело другое; должно было бы соединить в одно место, в хронологическом порядке, если угодно, все, что поэтом было *издано* или *назначено* к посмертному изданию; в таком собрании действительно можно было бы следить за развитием и ходом дарования поэта. Но Лермонтову, когда его убили, не было и двадцати семи лет. Талант его не только не успел принести зрелого плода, но лишь начал развиваться: все, что можно читать с удовольствием из написанного им, едва ли доставит материал и на один том. Зачем же прибавлять к нему еще два, увеличивать их объем, предлагая публике творения ниже посредственности, недостойные славы поэта, которые он сам признавал такими и никогда не думал выпускать в свет? Не следовало.

Таково мое мнение, — выражаю его откровенно. Может быть, некоторые из Аристархов нашей литературы и назовут меня отсталым старовером, не понимающим современных требований ее истории и критики. Пусть так, заранее покоряюсь строгому приговору; по крайней мере, читатель, зевая над «Тетрадями», не вправе будет пенять на Лермонтова за свою скуку.

В 1844 году, по выходе в отставку, пришлось мне поселиться на Кавказе, в Пятигорском округе, и там узнал я достоверные подробности о кончине Лермонтова от очевидцев, посторонних ему. Летом 1841 года собралось в Пятигорске много молодежи из Петербурга,

* Я был в то время адъютантом у отца его, ныне сенатора, тогда же начальника полевой конной артиллерии Ивана Карловича Арнольди. (*Примеч. А. П. Шан-Гирея.*)

между ними и Мартынов, очень красивый собой, ходивший всегда в черкеске с большим дагестанским кинжалом на поясе. Лермонтов, по старой привычке трунить над школьным товарищем, выдумал ему прозванье Montagnard au grand poignard; * оно было бы, кажется, и ничего, но, когда часто повторяется, может наскучить. 14 июля [58], вечером, собралось много в доме Верзилиных; общество было оживленное и шумное; князь С. Трубецкой играл на фортепьяно, Лермонтов сидел подле дочери хозяйки дома, в комнату вошел Мартынов. Обращаясь к соседке, Лермонтов сказал: «M-lle Emilie, prenez garde, voici que s'approche le farouche montagnard» **.

Это сказано было довольно тихо, за общим говором нельзя было бы расслышать и в двух шагах; но, по несчастию, князь Трубецкой в эту самую минуту встал, все как будто по команде умолкло, и слова le farouche montagnard раздались по комнате. Когда стали расходиться, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему:

— M. Lermontoff, je vous ai bien des fois prié de retenir vos plaisanteries sur mon compte, au moins devant les femmes ***.

— Allons donc, — отвечал Лермонтов, — allez-vous vous fâcher sérieusement et me provoquer? ****

— Oui, je vous provoque *****, — сказал Мартынов и вышел.

На другой день, пятнадцатого, условились съехаться после обеда вправо от дороги, ведущей из Пятигорска в шотландскую колонию, у подошвы Машука; стали на двенадцать шагов. Мартынов выстрелил первый; пуля попала в правый бок, пробила легкие и вылетела насквозь; Лермонтов был убит наповал.

Все остальные варианты на эту тему одни небылицы, не заслуживающие упоминания, о них прежде и не слыхать было; с какою целью они распускаются столько лет спустя, бог весть; и пистолет, из которого убит Лермонтов, находится не там, где рассказывают, — это кухен-

---

* Горец с большим кинжалом (*фр.*).

** Мадемуазель Эмилия, берегитесь, вот приближается свирепый горец (*фр.*).

*** Г. Лермонтов, я много раз просил вас воздерживаться от шуток на мой счет, по крайней мере, в присутствии женщин (*фр.*).

**** — Полноте, — отвечал Лермонтов, — вы действительно сердитесь на меня и вызываете меня? (*фр.*).

***** Да, я вас вызываю (*фр.*).

рейтер № 2 из пары; я его видел у Алексея Аркадьевича Столыпина, на стене над кроватью, подле портрета, снятого живописцем Шведе с убитого уже Лермонтова [59].

Через год тело его, в свинцовом гробу, перевезено было в Тарханы и положено около могилы матери, близ сельской церкви в часовне, выстроенной бабушкой, где и она теперь покоится.

Давно все это прошло, но память Лермонтова дорога мне до сих пор; поэтому я и не возьмусь произнести суждение о его характере, оно может быть пристрастно, а я пишу не панегирик.

Да будет благосклонен ко мне читатель и не осудит, если неинтересная для него личность моя так часто является пред ним в этом рассказе. Единственное достоинство его есть правдивость; мне казалось необходимым для отклонения сомнений разъяснить, почему все, о чем я говорил, могло быть мне известно, и назвать поименно несколько лиц, которые могут обнаружить неточность, если она встретится. Прошу и их не взыскать, если по этой причине я дозволил себе, без их разрешения, выставить в рассказе моем имена их полностью.

10 мая 1860 г.
Чембар

И. А. АРСЕНЬЕВ

СЛОВО ЖИВОЕ О НЕЖИВЫХ

<...> В числе лиц, посещавших изредка наш дом, была *Арсеньева,* бабушка поэта *Лермонтова* (приходившаяся нам сродни), которая всегда привозила к нам своего внука, когда приезжала из деревни на несколько дней в Москву. Приезды эти были весьма редки, но я все-таки помню, как старушка Арсеньева, обожавшая своего внука, жаловалась постоянно на него моей матери. Действительно, судя по рассказам, этот внучек-баловень, пользуясь безграничною любовью своей бабушки, с малых лет уже превращался в домашнего тирана, не хотел никого слушаться, трунил над всеми, даже над своей бабушкой и пренебрегал наставлениями и советами лиц, заботившихся о его воспитании.

Одаренный от природы блестящими способностями и редким умом, *Лермонтов* любил преимущественно проявлять свой ум, свою находчивость в насмешках над окружающею его средою и колкими, часто очень меткими остротами оскорблял иногда людей, достойных полного внимания и уважения.

С таким характером, с такими наклонностями, с такой разнузданностию он вступил в жизнь и, понятно, тотчас же нашел себе множество врагов.

Он, не думая, что говорит о себе, очень верно определил свой характер в следующих двух стихах:

А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в буре есть покой!

В характере Лермонтова была еще черта далеко не привлекательная — он был *завистлив.* Будучи очень некрасив собой, крайне неловок и злоязычен, он, войдя в возраст юношеский, когда страсти начинают разыгры-

ваться, не мог нравиться женщинам, а между тем был страшно влюбчив. Невнимание к нему прелестного пола раздражало и оскорбляло его беспредельное самолюбие, что служило поводом с его стороны к беспощадному бичеванию женщин.

Как поэт, Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек, он был мелочен и несносен.

Эти недостатки и признак безрассудного упорства в них были причиною смерти гениального поэта от выстрела, сделанного рукою человека доброго, сердечного, которого Лермонтов довел своими насмешками и даже клеветами почти до сумасшествия.

Мартынов, которого я хорошо знал, до конца своей жизни мучился и страдал оттого, что был виновником смерти Лермонтова, и в годовщины этого рокового события удалялся всегда на несколько недель в какой-либо из московских монастырей на молитву и покаяние [1].

П. К. ШУГАЕВ

ИЗ КОЛЫБЕЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Село Тарханы лежит на востоке от Чембара в четырнадцати верстах и полуверсте от почтовой дороги, идущей на станцию Воейково [1], Сызрано-Вяземской жел. дор., и Пензу. Расположено оно по обеим сторонам небольшой долины у истока небольшой речки Маралайки; основано в начале XVIII столетия г. Нарышкиным, крепостными крестьянами, выведенными им из московских и владимирских вотчин как бы в ссылку, отборными ворами, отчаянными головорезами, а также и закоснелыми до фанатизма раскольниками. Крестьяне здесь и до сих пор сохранили подмосковное наречие на *о*. Село в конце XVIII века было продано Нарышкиным за неплатеж оброка и вообще бездоходность его, а также и потому, что вся барская усадьба (в которой хотя владелец сам никогда и не был) на месте нынешней большой каменной церкви и все село сгорело вследствие того, что повар с лакеем бывшего нарышкинского управляющего вздумали палить живого голубя, который у них вырвался и полетел в свое гнездо, находившееся в соломенной крыше. Гнездо загорелось. Сгорело и все село до основания, кроме маленькой деревянной церкви, которая до 1835 года стояла на своем первоначальном месте, среди села на том самом месте, где в настоящее время стоит часовня с фамильным склепом Арсеньевых [2]. Этот управляющий Злынин был также в Тарханах во время нашествия одного из отрядов Емельяна Пугачева, командир которого опрашивал крестьян, нет ли каких у кого жалоб на управляющего, но предусмотрительный Злынин еще до прибытия отряда Пугачева сумел ублаготворить всех недовольных, предварительно раздавши весь почти барский хлеб,

почему и не был повешен. Село Тарханы куплено Михаилом Васильевичем Арсеньевым в бытность его еще в Москве[3] и притом вскоре после его свадьбы с Елизаветой Алексеевной за совершенный бесценок. После свадьбы «молодые» тотчас же переехали на постоянное жительство в село Тарханы, где для развлечения Арсеньев устраивал разные удовольствия, выписал из Москвы маленького карлика, менее одного аршина ростом, более похожего на куклу, нежели на человека. Он, будучи в Тарханах в течение двух-трех месяцев, имел обыкновение спать на окне и был предметом любопытства не только Арсеньевой, но и всех соседей помещиков, не исключая крепостных.

Михаил Васильевич родился 8 ноября 1768 года, женился на Елизавете Алексеевне в возрасте, когда ему было около двадцати семи лет, то есть в конце 1794 или начале 1795 года, был среднего роста, красавец, статный собой, крепкого сложения; он происходил из хорошей старинной дворянской фамилии; супруга же его Елизавета Алексеевна, урожденная Столыпина, родилась около 1760 года[4], происходила также из старинной, богатой дворянской семьи и была значительно старше своего супруга (лет на восемь), была не особенно красива, высокого роста, сурова и до некоторой степени неуклюжа, а после рождения единственной своей дочери, Марьи Михайловны, то есть матери поэта, заболела женскою болезнью, вследствие чего Михаил Васильевич сошелся с соседкой по тарханскому имению, госпожой Мансыревой и полюбил ее страстно, так как она была, несмотря на свой маленький рост, очень красива, жива, миниатюрна и изящна; это была резкая брюнетка, с черными как уголь глазками, которые точно искрились; она жила в своем имении селе Онучине в десяти верстах на восток от Тархан; муж ее долгое время находился в действующей армии за границей, вплоть до известного в истории маскарада 2 января 1810 года, во время которого Михаил Васильевич устроил для своей дочери Машеньки елку. Михаил Васильевич посылал за Мансыревой послов с неоднократными приглашениями, но они возвращались без всякого ответа, посланный же Михаилом Васильевичем самый надежный человек и поверенный в сердечных делах, первый камердинер, Максим Медведев, возвратившись из Онучина, сообщил ему на ухо по секрету, что к Мансыревой приехал из службы ее муж и что

в доме уже огни потушены и все легли спать. Мансыреву ему видеть не пришлось, а вследствие этого на елку и маскарад ее ждать нечего [5].

Елка и маскарад были в этот момент в полном разгаре, и Михаил Васильевич был уже в костюме и маске; [6] он сел в кресло и посадил с собой рядом по одну сторону жену свою Елизавету Алексеевну, а по другую несовершеннолетнюю дочь Машеньку и начал им говорить как бы притчами: «Ну, любезная моя Лизанька, ты у меня будешь вдовушкой, а ты, Машенька, будешь сироткой». Они хотя и выслушали эти слова среди маскарадного шума, однако серьезного значения им не придали или почти не обратили на них внимания, приняв их скорее за шутку, нежели за что-нибудь серьезное. Но предсказание вскоре не замедлило исполниться. После произнесения этих слов Михаил Васильевич вышел из залы в соседнюю комнату, достал из шкафа пузырек с каким-то зелием и выпил его залпом, после чего тотчас же упал на пол без чувств и из рта у него появилась обильная пена, произошел между всеми страшный переполох, и гости поспешили сию же минуту разъехаться по домам. С Елизаветой Алексеевной сделалось дурно; пришедши в себя, она тотчас же отправилась с дочерью в зимней карете в Пензу, приказав похоронить мужа, произнеся при этом: «Собаке собачья смерть». Пробыла она в Пензе шесть недель, не делая никаких поминовений...

Отец поэта, Юрий Петрович Лермонтов, был среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен; в общем, его можно назвать в полном смысле слова изящным мужчиной; он был добр, но ужасно вспыльчив; супруга его, Марья Михайловна, была точная копия своей матери, кроме здоровья, которым не была так наделена, как ее мать, и замуж выходила за Юрия Петровича, когда ей было не более семнадцати лет. Хотя Марья Михайловна и не была красавицей, но зато на ее стороне были молодость и богатство, которым располагала ее мать, почему для Юрия Петровича Мария Михайловна представлялась завидной партией, но для Марьи Михайловны было достаточно и того, что Юрий Петрович был редкий красавец и вполне светский и современный человек. Однако судьба решила иначе, и счастливой жизнью им пришлось не долго наслаждаться. Юрий Петрович охладел к жене по той же причине, как и его тесть к теще; вследствие этого Юрий

Петрович завел интимные сношения с бонной своего сына, молоденькой немкой, Сесильей Федоровной, и, кроме того, с дворовыми.

Бывшая при рождении Михаила Юрьевича акушерка тотчас же сказала, что этот мальчик не умрет своей смертью, и так или иначе ее предсказание сбылось; но каким соображением она руководствовалась — осталось неизвестно. После появления на свет Михаила Юрьевича поселена новая деревня, в семи верстах на ю.-в. от Тархан, и названа его именем — «Михайловского». Отношения Юрия Петровича к Сесилии Федоровне не могли ускользнуть от зоркого ока любящей жены, и даже был случай, что Марья Михайловна застала Юрия Петровича в объятиях с Сесилией, что возбудило в Марье Михайловне страшную, но скрытую ревность, а тещу привело в негодование. Буря разразилась после поездки Юрия Петровича с Марьей Михайловной в гости к соседям Головкиным, в село Кошкарево, отстоящее в пяти верстах от Тархан; едучи оттуда в карете обратно в Тарханы, Марья Михайловна стала упрекать своего мужа в измене; тогда пылкий и раздражительный Юрий Петрович был выведен из себя этими упреками и ударил Марью Михайловну весьма сильно кулаком по лицу, что и послужило впоследствии поводом к тому невыносимому положению, какое установилось в семье Лермонтовых. С этого времени с невероятной быстротой развивалась болезнь Марьи Михайловны, впоследствии перешедшая в злейшую чахотку, которая и свела ее преждевременно в могилу. После смерти и похорон Марьи Михайловны, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, конечно, Юрию Петровичу ничего более не оставалось, как уехать в свое собственное небольшое родовое тульское имение Кропотовку, что он и сделал в скором времени, оставив своего сына, еще ребенком, на попечение его бабушке Елизавете Алексеевне [7], сосредоточившей свою любовь на внуке Мишеньке, который, будучи еще четырех-пятилетним ребенком, не зная еще грамоты, едва умея ходить и предпочитая еще ползать, хорошо уже мог произносить слова и имел склонность к произношению слов в рифму. Это тогда еще было замечено некоторыми знакомыми соседями, часто бывавшими у Елизаветы Алексеевны. К этому его никто не приучал, да и довольно мудрено в таком возрасте приучить к разговору в рифмы.

Заботливость бабушки о Мишеньке доходила до невероятия; каждое слово, каждое его желание было законом не только для окружающих или знакомых, но и для нее самой. Когда Мишеньке стало около семи-восьми лет, то бабушка окружила его деревенскими мальчиками его возраста, одетыми в военное платье; с ними Мишенька и забавлялся, имея нечто вроде потешного полка, как у Петра Великого во времена его детства.

Для забавы Мишеньки бабушка выписала из Москвы маленького оленя и такого же лося, с которыми он некоторое время и забавлялся; но впоследствии олень, когда вырос, сделался весьма опасным даже для взрослых, и его удалили от Мишеньки; между прочим, этот олень наносил своими громадными рогами увечья крепостным, которые избавились от него благодаря лишь хитрости, а именно не давали ему несколько дней сряду корма, отчего он и пал, а лося Елизавета Алексеевна из боязни, что он заразился от оленя, приказала зарезать и мясо употребить в пищу, что было исполнено немедленно и в точности. Когда Мишенька стал подрастать и приближаться к юношескому возрасту, то бабушка стала держать в доме горничных, особенно молоденьких и красивых, чтобы Мишеньке не было скучно. Иногда некоторые из них бывали в интересном положении, и тогда бабушка, узнав об этом, спешила выдавать их замуж за своих же крепостных крестьян по ее выбору. Иногда бабушка делалась жестокою и неумолимою к провинившимся девушкам: отправляла их на тяжелые работы, или выдавала замуж за самых плохих женихов, или даже совсем продавала кому-либо из помещиков... Все это шестьдесят — семьдесят лет тому назад, в блаженные времена крепостного права, было весьма обычным явлением и практиковалось помещиками, имеющими крепостных крестьян, за весьма небольшими исключениями, да и то эти исключения если и бывали, то опять-таки по какой-либо уважительной причине, например: когда жила в имении бездетная вдова-помещица или сам помещик жил в Москве, Петербурге или за границей, да и то их правами в подобных случаях пользовались управляющие, бурмистры и тому подобные вотчинные начальники.

Михаил Юрьевич любил устраивать кулачные бои между мальчишек села Тархан и победителей, нередко с разбитыми до крови носами, всегда щедро оделял

сладкими пряниками, что главным образом и послужило темой для «Песни про купца Калашникова».

Уцелел рассказ про один случай, происшедший во время одного из приездов в Тарханы Михаила Юрьевича, когда он был офицером лейб-гвардии, приблизительно лет за пять до смерти. В это время, как раз по манифесту Николая I, все солдаты, пробывшие в военной службе не менее двадцати лет, были отпущены в отставку по домам; их возвратилось из службы в Тарханы шесть человек, и Михаил Юрьевич, вопреки обычая и правил, распорядился дать им всем и каждому по $^{1}/_{2}$ десятины пахотной земли в каждом поле при трехпольной системе и необходимое количество строевого леса для постройки изб, без ведома и согласия бабушки; узнав об этом, Елизавета Алексеевна была очень недовольна, но все-таки распоряжения Мишеньки не отменила.

Заветная мечта Михаила Юрьевича, когда он уже был взрослым, это построить всем крестьянам каменные избы, а в особенности в деревне Михайловской, что он предполагал непременно осуществить тотчас по выходе в отставку из военной службы. Внезапная и преждевременная смерть помешала осуществлению проекта [8].

Замечательно то обстоятельство, что ни дед, ни отец поэта, ни его мать деспотами над крепостными не были, как большинство помещиков того времени. Хотя Елизавета Алексеевна и была сурова и строга на вид, но самым высшим у нее наказанием было для мужчин обритие половины головы бритвой, а для женщин отрезание косы ножницами, что практиковалось не особенно часто, а к розгам она прибегала лишь в самых исключительных случаях [9]. <...> Но зато все ее ближайшие родственники, а Столыпины в особенности, могли уже смело назваться даже и по тогдашнему времени первоклассными деспотами. Когда в Тарханах стало известно о несчастном исходе дуэли Михаила Юрьевича с Мартыновым, то по всему селу был неподдельный плач. Бабушке сообщили, что он умер; с ней сделался припадок, и она была несколько часов без памяти, после чего долгое время страдала бессонницей, для чего приглашались по ночам дворовые девушки, на переменках, для сказывания ей сказок, что продолжалось более полугода. Тот образ спаса нерукотворенного, коим когда-то Елизавета Алексеевна была благословлена еще ее дедом, которому она ежедневно молилась о здравии Мишеньки, когда она

узнала о его смерти, она приказала отнести в большую каменную церковь, произнеся при этом: «И я ли не молилась о здравии Мишеньки этому образу, а он все-таки его не спас». В большой каменной церкви этот образ сохранился и поныне; ему, говорят, самое меньшее лет триста.

Елизавета Алексеевна жила недолго после смерти своего внука: всего четыре года. Село Тарханы с деревней Михайловской по духовному завещанию она передала одному из родных своих братьев, Афанасию Алексеевичу Столыпину, после смерти которого это имение все перешло к единственному его сыну, Алексею Афанасьевичу Столыпину, проживающему в настоящее время, кажется, в Швейцарии. Фамилия же Лермонтовых со смертью Михаила Юрьевича совершенно прекратилась, так как он был единственный сын у отца, а отец умер ранее его.

Село Тарханы сохранило свой прежний вид во всех отношениях и по сие время, а барская усадьба в особенности. Тот старинный деревянный барский дом с мезонином и тремя балконами, под кровлей которого вырос и воспитался один из величайших русских поэтов, все в том же виде, кроме мебели, без малейших изменений; тот же вяз, растущий возле дома, под сению которого поэт любил мечтать и вдохновляться, успел уже превратиться в довольно огромное, с бочку толщиной, раскидистое дерево, по бокам его растут две липы, его современницы, и те же аллеи все в том же, но несколько запущенном виде...

Сельская площадь все в том же виде, на которой в праздничные дни Михаил Юрьевич ставил бочку с водкой, и крестьяне села Тархан разделялись на две половины, наподобие двух враждебных армий, дрались на кулачки, стена на стену, а в это время, как современники передают, «и у Михаила Юрьевича рубашка тряслась», и он был не прочь принять участие в этой свалке, но дворянское звание и правила приличий только от этого его удерживали; победители пили водку из этой бочки; побежденные же расходились по домам, и Михаил Юрьевич при этом всегда от души хохотал.

Большая каменная церковь во имя Михаила Архангела, празднуемого 8 ноября, то есть святого, имя которого носил Михаил Юрьевич, сохранилась и поныне. Построена на средства Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в конце тридцатых годов XIX века и освящена

оригинальным образом: так, было приурочено, что в день ее освящения было окрещено три младенца, обвенчано три свадьбы и схоронено три покойника. В этой-то церкви и имеется тот образ спаса нерукотворенного, возле клироса на правой стороне, в вышину и ширину немного менее одного аршина, замечательной древней живописи и в не менее оригинальной и замечательной серебряной ризе, внизу которого золотыми буквами значится надпись на древнегреческом языке, в переводе означающая: «Святой с нами бог».

В алтаре, на правой стороне, имеется образ Василия Великого замечательно древней художественной работы, но без ризы, прежде принадлежавший, как мне передавали, еще отцу Михаила Васильевича Арсеньева, также пожертвованный Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Около левого клироса есть образ апостола Андрея Первозванного, без ризы, весьма древней и замечательной живописи, тоже пожертвованный Елизаветой Алексеевной.

Маленькая каменная церковь, отстоящая в десяти саженях от барского дома на северо-запад, в саду, построена в 1817 году на месте бывшего барского дома, в котором скончались Михаил Васильевич Арсеньев и его дочь Марья Михайловна, после смерти которой Елизавета Алексеевна этот дом продала на слом и снос в село Владыкино (А. Н. Щетинину, ныне умершему), а на его месте выстроила вышеозначенную церковь. Дом в селе Владыкине сохранился. В этой церкви есть также замечательные иконы, писанные итальянскими художниками.

Дом же Елизавета Алексеевна немедленно построила новый, отступя десять саженей на восток от церкви; этот дом сохранился и по сие время: все в том же виде, как и восемьдесят лет назад. Из дома, несмотря на такое ничтожное расстояние, Елизавету Алексеевну почти всегда возили вместо лошадей, которых она боялась, крепостные лакеи на двухколеске, наподобие тачки, и возивший ее долгое время крепостной Ефим Яковлев нередко вынимал чеку из оси, последствием чего было то, что Елизавета Алексеевна нередко падала на землю, но это Ефим Яковлев делал с целью из мести за то, что Елизавета Алексеевна в дни его молодости не позволила ему жениться на любимой им девушке, а взамен этого была сама к нему неравнодушна. Он не был наказуем

за свои дерзкие поступки, что крайне удивляло всех обывателей села Тархан.

Маленькая кладбищенская церковь, деревянная и вместе с тем самая старейшая, была построена Нарышкиным еще в начале XVIII века и стояла среди села, на площади, до 1835 года, на том самом месте, где в настоящее время стоит часовня, где находится фамильный склеп Арсеньевых. В склепе этом схоронены Михаил Васильевич Арсеньев, над гробом которого стоит памятник из светло-серого гранита, в виде небольшой колонны с следующей надписью: «М. В. Арсеньев скончался 2-го января 1810 года, родился 1768 года, 8 ноября».

Над гробом Марьи Михайловны стоит почти одинаковый памятник, как и над отцом, и совершенно рядом с ним с следующей надписью: «Под камнем сим лежит тело Марьи Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года февраля 24 дня, в субботу; житие ее было 21 год и 11 месяцев и 7 дней».

Несколько впереди этих двух памятников, то есть ближе к двери, в часовне стоит из прекрасного, черного как уголь мрамора и гораздо большего размера памятник в виде четырестороней колонны над гробом Михаила Юрьевича, с одной стороны которого бронзовый небольшой лавровый венок и следующая надпись: «Михайло Юрьевич Лермонтов»; с другой: «Родился в 1814 г. 3-го октября», а с третьей: «Скончался 1841 года июля 15».

Все эти три памятника окружены невысокой железной решеткой. На стене, с левой стороны, в часовне прибита доска из белого мрамора с следующей надписью: «Елизавета Алексеевна Арсеньева скончалась 16 ноября 1845 г. 85 лет»[10].

Насколько известно, Михаил Юрьевич весьма недурно рисовал не только тушью, карандашом и акварелью, но и масляными красками. Случайно при разговоре один мой знакомый, И. Ф. Л., спросил меня, правда ли, что я занимаюсь собиранием материалов, сведений и рукописей и всего относящегося до Белинского и Лермонтова; я отвечал в утвердительном смысле, и он мне посоветовал обратиться в одно место, где лет двадцать тому назад он видел у одного из бывших своих учителей, доводившегося крестником Михаила Юрьевича и Елизаветы Алексеевны[11], портрет Лермонтова, писанный им самим с себя масляными красками при

помощи зеркала, штук тридцать разных рисунков, набросков и этюдов карандашом, тушью и акварелью, целую поэму «Мцыри» в подлиннике и много других стихотворений, писанных рукою поэта. Узнав об этом, я немедленно отправился в путь в указанное место и принялся за розыски, и что же оказалось: владелец этих сокровищ восемь лет тому назад уже умер, а имущество перешло к экономке, бывшей у него много лет в услужении. Не зная ее ни имени, ни фамилии, ни адреса, я принялся за тщательные розыски ее, но все было без успеха. Обращался я почти ко всем товарищам и сослуживцам покойного крестника Лермонтова, прося их указать точный адрес или, по крайней мере, фамилию этой старушки; все только сообщали, что ее давно уже не видят, и я был готов прекратить свои безуспешные розыски, а между тем все удостоверяли то, что у нее действительно есть портрет Лермонтова и рукописи, писанные самим поэтом. Это только разожгло мое любопытство. После долгих невероятных усилий мне удалось ее найти, но оказалось, что рисунки и этюды Михаила Юрьевича частью изорваны и уничтожены ее сыном, когда он был еще ребенком, частью разобраны знакомыми, имена которых она припомнить не могла, так что от всей этой громадной коллекции у нее остался не изорванным ее сыном один лишь портрет поэта, и то лишь благодаря тому обстоятельству, что он писан не на бумаге, а на полотне и притом масляными красками и, кроме того, заключен в багетную рамку за стеклом. У нее его просили многие знакомые, но она воздержалась подарить его, так как слышала от покойного владельца о большой его ценности, и, кроме того, ей самой приходилось слышать, как за него предлагали большие суммы, но обладатель ни за что не хотел расстаться с портретом своего крестного отца, да притом он в средствах и не нуждался. Бумаги же, которых у нее было много, она большую часть продала без разбора калачнику — три пуда весом по 40 коп. за пуд — два года тому назад, и они употреблены им для завертывания калачей и кренделей. А из оставшихся предложила разобрать и пересмотреть, указывая на русскую кухонную печь, где вместе с дровами, щепами и разным хламом действительно лежали кое-какие старые, пожелтевшие от времени бумаги. Я, несмотря на ужасную пыль и хаос, забрался на эту печь и принялся за пересмотр бумаг. Большинство из них были писаны рукою

крестника поэта и относились к высшей математике и астрономии, а также философии, но одна тетрадь, листов в 50 в $^{1}/_{4}$ долю листа писчей бумаги, в старинном переплете, совершенно пожелтевшая от времени, когда я ее взял в руки, оказалась наполненной стихотворениями Лермонтова [12], но только они были писаны не рукою поэта и не рукой крестника. Начало, листов пять, было вырвано. Затем целиком в ней сохранились поэма «Боярин Орша», «Демон», «Завещание», «Бородино», «Прости», «Раскаяние», «Пленный рыцарь», «Парус» с множеством поправок и вставок, с пометками; внизу почти под каждой пьесой значился год их произведения. Я сверял даты с печатными и в некоторых местах нашел небольшие отступления, а в конце тетради небольшое, всего в восемнадцать строк, но прекрасное стихотворение на чью-то смерть, внизу которого мелким почерком написано: «Стихотворение это встречено всеобщим одобрением и шумными рукоплесканиями». Кто был автор последнего стихотворения и кому оно посвящалось, а также где и когда было читано и покрыто рукоплесканиями, я еще не добрался, и мне оно в печати нигде не попадалось.

На портрете поэт изображен в красном лейб-гусарском мундире в возрасте, когда ему было не более двадцати лет, с едва пробивающимися усиками. Я показывал портрет многим лицам, лично знавшим поэта, и они все говорили, что Михаил Юрьевич изображен на портрете, как живой, в то время когда он только что был произведен в офицеры. Вышина портрета семь вершков, ширина $5^{1}/_{2}$ вершка [13]. Года с два тому назад в Пензе в губернском статистическом комитете я видел прекрасный рисунок акварелью Михаила Юрьевича «Маскарад», вышиною около шести-семи вершков и шириною около пяти, и в такой же точно рамке за стеклом, как и портрет [14]. Тут же были две старинные прекрасные фарфоровые вазы, прежде принадлежавшие поэту. Эти вещи, как мне сообщили, принесены в дар будущему пензенскому музею П. Н. Журавлевым. Кроме того, как мне передавала сестра Журавлева еще в 1884 году, ее братом подарены или проданы, с точностью не упомню, любителю редкостей В. С. Турнер, живущему в настоящее время в Пензе, эполеты Михаила Юрьевича, которые были на нем во время несчастной дуэли с Мартыновым [15]. Они у него, как у большого любителя редкостей, вероятно, целы и по сие время.

А. Н. КОРСАКОВ

ЗАМЕТКА О ЛЕРМОНТОВЕ

Кстати, о детских годах М. Ю. Лермонтова.

Автор вышеназванной статьи [1], любопытствуя об этом периоде жизни незабвенного поэта, обращался с расспросами об этом к какому-то старику капитану, в молодости бывшему в доме Е. А. Арсеньевой.

— Знавали Лермонтова? — спрашивал он у капитана.

— Помню-с, — отвечал последний.

— А в доме его бабушки бывали в Тарханах, когда поэт еще был мальчиком?

— Бывал, и даже не однажды-с. Быв еще молодым офицером, лет двадцати пяти, в сообществе своих товарищей время там препровождал...

— Значит, Лермонтова знавали еще с детства?

— Видал-с... но мало внимания обращал. Больше игра в карты нас занимала. Старуха Арсеньева была хлебосольная, добрая. Рота наша стояла недалеко, я и бывал-с. Помню, как и учить его начинали. От азбуки отбивался. Вообще был баловень; здоровьем золотушный, жидкий мальчик; нянькам много от капризов его доставалось... Неженка, известно-с...

Больше этого ничего автор не узнал от капитана. Пополню этот пробел слышанным мною лет тридцать тому назад и в то же время записанным рассказом двоюродного брата Лермонтова М. А. Пожогина-Отрашкевича [2], который по шестому году был взят в дом Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, где он и провел несколько лет вместе с ее внуком. Не ручаюсь за достоверность рассказанного, но Пожогин-Отрашкевич уверял меня, что он передает только то, что резко запечатлелось у него в памяти и чего почти сорок лет жизни

не могли унести из нее; все остальное, что смутно и неясно удержала память, он оставляет в стороне.

По словам его, когда Миша Лермонтов стал подрастать, то Е. А. Арсеньева взяла к себе в дом для совместного с ним воспитания маленького сына одного из своих соседей — Д<авыдова>[3], а скоро после того и его, Пожогина. Все три мальчика были одних лет: им было по шестому году. Они вместе росли и вместе начали учиться азбуке. Первым учителем их, а вместе с тем и дядькою, был старик француз Жако[4]. После он был заменен другим учителем, также французом, вызванным из Петербурга, — Капэ. Лермонтов в эту пору был ребенком слабого здоровья, что, впрочем, не мешало ему быть бойким, резвым и шаловливым. Учился он, вопреки словам чембарского капитана, прилежно, имел особенную способность и охоту к рисованию, но не любил сидеть за уроками музыки. В нем обнаруживался нрав добрый, чувствительный, с товарищами детства был обязателен и услужлив, но вместе с этими качествами в нем особенно выказывалась настойчивость. Капэ имел странность: он любил жаркое из молодых галчат и старался приучить к этому лакомству своих воспитанников. Несмотря на уверения Капэ, что галчата вещь превкусная, Лермонтов, назвав этот новый род дичи *падалью,* остался непоколебим в своем отказе попробовать жаркое, и никакие силы не могли победить его решения. Другой пример его настойчивости обнаружился в словах, сказанных им товарищу своему Давыдову. Поссорившись с ним как-то в играх, Лермонтов принуждал Давыдова что-то сделать. Давыдов отказывался исполнить его требование и услыхал от Лермонтова слова: *хоть умри, но ты должен это сделать...*

В свободные от уроков часы дети проводили время в играх, между которыми Лермонтову особенно нравились будто бы те, которые имели военный характер. Так, в саду у них было устроено что-то вроде батареи, на которую они бросались с жаром, воображая, что нападают на неприятеля. Охота с ружьем (?), верховая езда на маленькой лошадке с черкесским седлом, сделанным вроде кресла, и гимнастика были также любимыми упражнениями Лермонтова. Так проводили они время в Тарханах. В 1824 году Е. А. Арсеньева отправилась лечиться на Кавказ и взяла с собою внука и его двоюродного брата. Лермонтову было десять лет, когда он увидел Кавказ. Проведя лето в Пятигорске, Желез-

новодске и Кисловодске, Арсеньева в октябре возвратилась в Тарханы.

В это время Пожогин-Отрашкевич должен был оставить дом Арсеньевой. В Тарханах ожидал его дядя (Юрий Петрович?), который и увез его в Москву для определения в тамошний кадетский корпус.

Лермонтов два года еще после того жил в Тарханах, но потом Арсеньева увезла его в Москву. Место Капэ заступил Винсон[5]. Через несколько времени Лермонтов поступил в Университетский пансион.

М. Е. МЕЛИКОВ

ЗАМЕТКИ И ВОСПОМИНАНИЯ ХУДОЖНИКА-ЖИВОПИСЦА

...Москва, Москва! родимый сердцу, высокочтимый мною по воспоминаниям город, где кончил жизнь блаженной памяти верный слуга царю и отечеству, герой бородинский, дядя мой, Павел Моисеевич Меликов.

Москва издревле умела оценивать и чтить защитников своих на поле брани, и не было в то время ни одного москвича, который не указал бы места жительства генерала Павла Моисеевича Меликова, не исключая уличного мальчика, который, проходя мимо его квартиры, не снимал бы шапку. В старину учили детей уважать заслуги отечеству.

Квартира дяди находилась на Мясницкой, в Армянском переулке, близ армянской церкви и Лазаревского института, которого он был попечителем. У Красных ворот жили друзья его, семейство Мещериновых. Не в дальнем расстоянии жило семейство Багдадовых, тоже известное между армянами. По соседству с Мещериновыми жила родственница их по женской линии, Елизавета Алексеевна Арсеньева, урожденная Столыпина, бабушка знаменитого поэта Лермонтова. Все эти лица были друзьями дядюшки, часто между собою виделись, и Павел Моисеевич, занявшись моим воспитанием и чувствуя недостаток женского материнского влияния, ввел меня в семейный круг неизменных друзей своих — Мещериновых. <...>

В доме дяди моего встречал я много знаменитостей того времени, в числе которых постоянным посетителем бывал Алексей Петрович Ермолов, который называл дядю своим другом. <...> [1]

Петр Афанасьевич Мещеринов был сослуживцем дяди по л.-гв. Кирасирскому полку. По выходе в отставку в чине подполковника он женился в Симбирске на помещице Елизавете Петровне, урожденной Собакиной, и для воспитания детей своих переехал на жительство в Москву.

Почти одновременно бабушка великого поэта Лермонтова Е. А. Арсеньева, о которой я уже упоминал, тоже переселилась в Москву, с целью дать воспитание знаменитому своему внуку. Мещериновы и Арсеньевы жили почти одним домом.

Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени, имея детей в соответственном возрасте с Мишей Лермонтовым — Володю, Афанасия и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Е. А. Арсеньевой решили отдать их в Московский университетский пансион. Мне хорошо известно, что Володя (старший) Мещеринов и Миша Лермонтов вместе поступили в четвертый класс пансиона.

Невольно приходит мне на ум параллель между вышеупомянутыми замечательными женщинами, которых я близко знал и в обществе которых под их влиянием вырос поэт Лермонтов. Е. А. Арсеньева была женщина деспотического, непреклонного характера, привыкшая повелевать; она отличалась замечательной красотой, происходила из старинного дворянского рода и представляла из себя типичную личность помещицы старого закала, любившей при том высказывать всякому в лицо правду, хотя бы самую горькую. Е. П. Мещеринова, будучи столь же типичной личностью, в противоположность Арсеньевой, выделялась своею доступностью, снисходительностью и деликатностью души.

Не могу забыть, как, прощаясь с нами после ужина, она крестила и меня вместе с своими детьми, как старалась внушить мне тот огонь христианской любви и добра, которым горела святая душа ее.

Помню, что, когда впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, его занимала лепка из красного воска:[2] он вылепил, например, охотника с собакой и сцены сражений. Кроме того, маленький Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Мещериновыми; пиесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов. В детстве наружность его невольно

обращала на себя внимание: приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, с умными, черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь глаз) [3].

В личных воспоминаниях моих маленький Миша Лермонтов рисуется не иначе как с нагайкой в руке, властным руководителем наших забав, болезненно-самолюбивым, экзальтированным ребенком.

Помню характерную черту Лермонтова: он был ужасно прожорлив и ел все, что подавалось. Это вызывало насмешки и шутки окружающих, особенно барышень, к которым Лермонтов вообще был неравнодушен. Однажды нарочно испекли ему пирог с опилками [4], он, не разбирая, начал его есть, а потом страшно рассердился на эту злую шутку. Уехав из Москвы в С.-Петербург, я долго не встречался с Лермонтовым, который из участника моих игр, своенравного шалуна Миши, успел сделаться знаменитым поэтом, прославленным сыном отечества.

Во время последнего пребывания в С.-Петербурге мне суждено было еще раз с ним неожиданно встретиться в Царскосельском саду. Я был тогда в Академии художеств своекоштным пансионером и во время летних каникул имел обыкновение устраивать себе приятные прогулки по окрестностям Петербурга, а иногда ездить в ближние города и села неразлучно с портфелем. Меня особенно влекло рисование с натуры, наиболее этюды деревьев. Поэтому Царскосельский сад, замечательный по красоте и грандиозности, привлекал меня к себе с карандашом в руке.

Живо помню, как, отдохнув в одной из беседок сада и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из беседки и встретился лицом к лицу с Лермонтовым после десятилетней разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а муж-

чину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой. Казалось мне в тот миг, что ирония, скользившая в прежнее время на губах поэта, исчезла. Михаил Юрьевич сейчас же узнал меня, обменялся со мною несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особенной торопливостью пожал мне руку и сказал последнее прости... Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда, во всю свою короткую жизнь. Более мы с ним не виделись.

А. З. ЗИНОВЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

Бывши с 1826 до 1830 в очень близких отношениях к Лермонтову, считаю обязанностью сообщить о нем несколько сведений, относящихся к этому периоду, и вообще о раннем развитии его самостоятельного и твердого характера. В это время я, окончивши магистерский экзамен в Московском университете, служил учителем и надзирателем в Университетском благородном пансионе, для поступления в который бабушка М. Ю. Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева привезла его в Москву. Осенью 1826 года я, по рекомендации Елизаветы Петровны Мещериновой, близкого друга и, кажется, дальней родственницы Арсеньевой, приглашен был давать уроки и мне же поручено было пригласить других учителей двенадцатилетнему ее внуку [1]. Этим не ограничивалась доверенность почтенной старушки; она на меня же возложила обязанность следить за учением юноши, когда он поступил через год прямо в четвертый класс Университетского пансиона полупансионером, ибо нежно и страстно любившая своего внука бабушка ни за что не хотела с ним надолго расставаться. От нее же узнал я и главные обстоятельства ее жизни. Она вышла замуж по страсти и недолго пользовалась супружеским счастьем; недолго муж ее разделял с ней заботы о дочери, еще более скрепившей узы их брака. Он умер скоропостижно среди семейного бала или маскарада. Елизавета Алексеевна, оставшись вдовой, лелеяла дочь свою с примерною материнскою нежностью, какую, можно сказать, описал автор «Notre-Dame de Paris» * в героине своего романа. Дочь под-

* «Собор Парижской богоматери» (*фр.*).

росла и также по страсти вышла замуж за майора Лермонтова. Но, видно, суждено было угаснуть этой женской отрасли почтенного рода Столыпиных. Елизавета Алексеевна столь же мало утешалась семейной жизнью дочери и едва ли вообще была довольна ее выбором. Муж любит жену здоровую, а дочь Елизаветы Алексеевны, родивши сына Михайлу, впала в изнурительную чахотку и скончалась. Для Елизаветы Алексеевны повторилась новая задача судьбы в гораздо труднейшей форме. Вместо дочери она, уже истощенная болезнями, приняла на себя обязанность воспитывать внука, свою последнюю надежду. Рассказывала она, что отец Лермонтова покушался взять к себе младенца, но усилия его были побеждены твердою решимостью тещи. Впрочем, Миша не понимал противоборства между бабушкой и отцом, который лишь по временам приезжал в Москву с своими сестрами, взрослыми девицами, и только в праздничные дни брал к себе сына. В доме Елизаветы Алексеевны все было рассчитано для пользы и удовольствия ее внука. Круг ее ограничивался преимущественно одними родственниками *, и если в день именин или рождения Миши собиралось веселое общество, то хозяйка хранила грустную задумчивость и любила говорить лишь о своем Мише, радовалась лишь его успехами. И было чем радоваться. Миша учился прекрасно, вел себя благородно, особенные успехи оказывал в русской словесности. Первым его стихотворным опытом был перевод Шиллеровой «Перчатки» [2], к сожалению, утратившийся. Каким образом запало в душу поэта приписанное ему честолюбие, будто бы его грызшее; почему он мог считать себя дворянином незнатного происхождения, — ни достаточного повода и ни малейшего признака к тому не было. В наружности Лермонтова также не было ничего карикатурного [3]. Воспоминанье о личностях обыкновенно для нас сливается в каком-либо обстоятельстве. Как теперь смотрю я на милого моего питомца, отличившегося на пансионском акте, кажется, 1829 года. Среди блестящего собрания он прекрасно произнес стихи Жуковского к Морю и заслужил громкие рукоплесканья. Он и прекрасно рисо-

---

* К ней ездил старик Анненков, Вадковские, Мещериновы, изредка Столыпины, подолгу гащивал приезжавший с Кавказа Павел Петрович Шан-Гирей, женатый на племяннице Е. А. Арсеньевой, особенно пленявшей Мишу своими рассказами. (*Примеч. А. З. Зиновьева.*)

вал, любил фехтованье, верховую езду, танцы, и ничего в нем не было неуклюжего: это был коренастый юноша, обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых летах [4].

В начале 1830 года я оставил Москву, раза два писала мне о нем его бабушка; этим ограничились мои сношенья, а вскоре русский наставник Миши должен был признать бывшего ученика своим учителем. Лермонтов всегда был благодарен своей бабушке за ее заботливость, и Елизавета Алексеевна ничего не жалела, чтобы он имел хороших руководителей. Он всегда являлся в пансионе в сопровождении гувернера, которые, однако, нередко сменялись. Помню, что Миша особенно уважал бывшего при нем француза Жандро, капитана наполеоновской гвардии [5], человека очень почтенного, умершего в доме Арсеньевой и оплаканного ее внуком. Менее ладил он с весьма ученым евреем Леви, заступившим место Жандро [6], и скоро научился по-английски у нового гувернера Винсона, который впоследствии жил в доме знаменитого министра просвещения гр. С. С. Уварова. Наконец, и дома, и в Унив. пансионе, и в университете, и в юнкерской школе Лермонтов был, несомненно, между лучшими людьми. Что же значит приписываемое ему честолюбие *выбраться в люди?* Где привился недуг этот поэту? Неужели в то время, когда он мог сознавать свое высокое призвание... и его славою дорожило избранное общество и целое отечество? Период своего броженья, наступивший для него при переходе в военную школу и службу, он слегка бравировал в стихотворении на стр. 194-й первого тома, написанном, разумеется, в духе молодечества:

Он лень в закон себе поставил,
Домой с дежурства уезжал,
Хотя и дома был без дела;
Порою рассуждал он смело,
Но чаще он не рассуждал.
Разгульной жизни отпечаток
Иные замечали в нем;
Печалей будущих задаток
Хранил он в сердце молодом;
Его покоя не смущало
Что не касалось до него,
Насмешек гибельное жало
Броню железную встречало
Над самолюбием его.
Слова он весил осторожно,
И опрометчив был в делах;

Порою, трезвый — врал безбожно,
И молчалив был на пирах.
Характер вовсе бесполезный
И для друзей и для врагов...
Увы! читатель мой любезный,
Что делать мне — он был таков! [7]

М<ихаил> Н<иколаевич? Ш<уби>н, один из умных, просвещенных и благороднейших товарищей Лермонтова по Университетскому пансиону [8] и по юнкерской школе, не оправдывая это переходное настроение, которое поддерживалось, может быть, вследствие укоренившихся обычаев, утверждает, что Лермонтов был любим и уважаем своими товарищами [9].

Д. А. МИЛЮТИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Заведение это пользовалось в то время прекрасною репутацией и особыми преимуществами. Оно помещалось на Тверской [1] и занимало все пространство между двумя Газетными переулками (старым и новым, ныне Долгоруковским), в виде большого каре, с внутренним двором и садом. Пансион назывался Университетским только потому, что в двух старших классах, V и VI, преподавали большею частью университетские профессора; но заведение это имело отдельный законченный курс и выпускало воспитанников с правами на четырнадцатый, двенадцатый и десятый классы по чинопроизводству [2]. Учебный курс был общеобразовательный, но значительно превышал уровень гимназического. Так, в него входили некоторые части высшей математики (аналитическая геометрия, начала дифференциального и интегрального исчисления, механика), естественная история, римское право, русские государственные и гражданские законы, римские древности, эстетика... Из древних языков преподавался один латинский; но несколько позже, уже в бытность мою в пансионе, по настоянию министра Уварова введен был и греческий. Наконец, в учебный план пансиона входил даже курс «военных наук»! Это был весьма странный, уродливый набор отрывочных сведений из всех военных наук, проходимый в пределах одного часа в неделю в течение одного учебного года. Такой энциклопедический характер курса, конечно, не выдерживает строгой критики с нынешней точки зрения педагогики; но в те времена, когда гимназии у нас были в самом жалком положении, Московский университетский пансион вполне удовлетворял требования общества и стоял наравне с Царско-

сельским лицеем. При бывшем директоре Прокоповиче-Антонском и инспекторе — проф. Павлове он был в самом блестящем состоянии. В мое время директором был Курбатов, а инспектором — Иван Аркадьевич Светлов, — личности довольно бесцветные, но добродушные и поддерживавшие насколько могли старые традиции заведения. <...>

Преобладающею стороною наших учебных занятий была русская словесность. Московский университетский пансион сохранил с прежних времен направление, так сказать, литературное. Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики много читали и были довольно знакомы с тогдашнею русскою литературой — тогда еще очень необширною. Мы зачитывались переводами исторических романов Вальтера Скотта, новыми романами Загоскина[3], бредили романтическою школою того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Например, я знал твердо целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева («Войнаровский»). В известные сроки происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии начальства и преподавателей[4]. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, рукописные сборники статей, в виде альманахов (бывших в большом ходу в ту эпоху) или даже ежемесячных журналов, ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так и я был одно время «редактором» рукописного журнала «Улей», в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова (вышедшего из пансиона годом раньше меня); один из моих товарищей издавал другой журнал: «Маяк» и т. д. Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания[5]. Некоторые из товарищей, отличавшиеся своим искусством в каллиграфии (Шенгелидзев, Семенюта и др.), мастерски отделывали заглавные листки, обложки и т. д. Кроме этих литературных занятий, в зимние каникулы устраивались в зале пансиона театральные представления. По этой части одним из главных участников сделался впоследствии мой брат Николай — страстный любитель театра. <...>

<11 марта 1830 года>[6] неожиданно приехал сам император Николай Павлович. <...> Это было первое

царское посещение. Оно было до того неожиданно, непредвиденно, что начальство наше совершенно потеряло голову. На беду, государь попал в пансион во время «перемены» между двумя уроками, когда обыкновенно учителя уходят отдохнуть в особую комнату, а ученики всех возрастов пользуются несколькими минутами свободы, чтобы размять свои члены после полуторачасового сидения в классе. В эти минуты вся масса ребятишек обыкновенно устремлялась из классных комнат в широкий коридор, на который выходили двери из всех классов. Коридор наполнялся густою толпою жаждущих движения и обращался в арену гимнастических упражнений всякого рода. В эти моменты нашей школьной жизни предоставлялась полная свобода жизненным силам детской натуры: «надзиратели» если и появлялись в шумной толпе, то разве только для того, чтобы в случае надобности обуздывать слишком уже неудобные проявления молодечества.

В такой-то момент император, встреченный в сенях только старым сторожем, пройдя через большую актовую залу, вдруг предстал в коридоре среди бушевавшей толпы ребятишек. Можно представить себе, какое впечатление произвела эта вольница на самодержца, привыкшего к чинному, натянутому строю петербургских военно-учебных заведений. С своей же стороны толпа не обратила никакого внимания на появление величественной фигуры императора, который прошел вдоль всего коридора среди бушующей массы, никем не узнанный, и наконец вошел в наш класс, где многие из учеников уже сидели на своих местах в ожидании начала урока. Тут произошла весьма комическая сцена: единственный из всех воспитанников пансиона, видавший государя в Царском Селе, — Булгаков — узнал его и, встав с места, громко приветствовал: «Здравия желаю вашему величеству!» Все другие крайне изумились такой выходке товарища; сидевшие рядом с ним даже выразили вслух негодование на такое неуместное приветствие вошедшему «генералу»... Озадаченный, разгневанный государь, не сказав ни слова, прошел далее в шестой класс и только здесь наткнулся на одного из надзирателей, которому грозно приказал немедленно собрать всех воспитанников в актовый зал. Тут наконец прибежали, запыхавшись, и директор и инспектор, перепуганные, бледные, дрожащие. Как встретил их государь, мы не были уже свидетелями; нас всех гурьбой

погнали в актовый зал, где с трудом, кое-как установили по классам. Император, возвратившись в зал, излил весь свой гнев и на начальство наше, и на нас с такою грозною энергией, какой нам никогда и не снилось. Пригрозив нам, он вышел и уехал, и мы все, изумленные, с опущенными головами, разошлись по своим классам. Еще больше нас опустило головы наше бедное начальство.

На другой же день уже заговорили об ожидающей нас участи; пророчили упразднение нашего пансиона. И действительно, вскоре после того последовало решение преобразовать его в «Дворянский институт», с низведением на уровень гимназии [7].

В. С. МЕЖЕВИЧ

ИЗ СТАТЬИ О СТИХОТВОРЕНИЯХ ЛЕРМОНТОВА

С именем Лермонтова соединяются самые сладкие воспоминания моей юношеской жизни. Лет десять с лишком тому назад, помню я, хаживал, бывало, в Московский университет (я был в то время студентом) молодой человек с смуглым, выразительным лицом, с маленькими, но необыкновенно быстрыми, живыми глазами: это был Лермонтов. Некоторые из студентов видели в нем доброго, милого товарища; я с ним не сходился и не был знаком, хотя знал его более, нежели другие. Лермонтов воспитывался в Московском университетском пансионе и посещал университетские лекции как вольноприходящий слушатель. Между воспитанниками Университетского пансиона было у меня несколько добрых приятелей: из числа их упомяну о покойном С. М. Строеве. В то время (в 1828, 1829 и 1830 годах) в Москве была заметна особенная жизнь и деятельность литературная. Покойный М. Г. Павлов, инспектор Благородного университетского пансиона, издавал «Атеней»; С. Е. Раич, преподаватель русской словесности, издавал «Галатею»; пример наставников, искренне любивших науку и литературу, действовал на воспитанников — что очень естественно; по врожденной детям и юношам склонности подражать взрослым воспитанники Благородного пансиона также издавали *журналы,* разумеется, для своего круга и рукописные; я помню, что в 1830 году в Университетском пансионе существовали *четыре* издания: «Арион», «Улей», «Пчелка» и «Маяк». Из них одну книжку «Ариона», издававшегося покойным С. М. Строевым и подаренного мне в знак дружбы, берегу я по сие

время как драгоценное воспоминание юности. Из этих-то *детских журналов,* благородных забав в часы отдохновения, узнал я в первый раз имя *Лермонтова,* которое случалось мне встречать под стихотворениями, запечатленными живым поэтическим чувством и нередко зрелостию мысли не по летам. И вот что заставляло меня смотреть с особенным любопытством и уважением на Лермонтова, и потому более, что до того времени мне не случалось видеть ни одного русского поэта, кроме почтенного профессора, моего наставника, А. Ф. Мерзлякова.

Не могу вспомнить теперь первых опытов Лермонтова, но кажется, что ему принадлежат читанные мною отрывки из поэмы Томаса Мура «Лалла-Рук» и переводы некоторых мелодий того же поэта (из них я очень помню одну, под названием «Выстрел») [1].

Прошло несколько лет с того времени; имя Лермонтова не исчезло из моей памяти, хотя я нигде не встречал его печатно; наконец, если не ошибаюсь, в «Библиотеке для чтения» увидел я его в первый раз [2] и, не будучи знаком с поэтом, обрадовался ему, как старому другу. После того в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» появилось его стихотворение (без имени): «Песня про царя Иоанна Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» [3]. Не знаю, какое впечатление произвело стихотворение это в Петербурге, но в Москве оно возбудило общее участие, и хотя имени автора под этим стихотворением подписано не было, однако ж оно скоро сделалось известно всем любителям литературы.

Е. А. СУШКОВА

ИЗ «ЗАПИСОК»
1830 г.

В Москве я свела знакомство, а вскоре и дружбу с Сашенькой Верещагиной [1]. Мы жили рядом на Молчановке и почти с первой встречи сделались неразлучны: на водах, на гулянье, в театре, на вечерах, везде и всегда вместе. Александр Алексеев ухаживал за нею, а брат его Николай за мною [2], и мы шутя называли друг друга «bella soeur» *.

Меня охотно к ней отпускали, но не для моего удовольствия, а по расчету: ее хотели выдать замуж за одного из моих дядей — вдовца с тремя почти взрослыми детьми, и всякий раз, отпуская меня к ней, приказывали и просили расхваливать дядю и намекать ей о его любви [3].

Он для своих лет был еще хорош собою, любезен по-своему, то есть шутник (чего я никогда не терпела ни в ком) и всячески старался пленить Сашеньку, слывшую богатой невестой; но обе мы трунили над стариком, как говорится, водили его за нос, обе мы давали ему несбыточные надежды на успех, она из кокетства, а я из опасения, чтоб меня не разлучили с ней, и мы сообща все проволочки, все сомнения, все замедления сваливали на бессловесную старушку, мать ее.

У Сашеньки встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой [4]. Он учился в Университетском пансионе, но ученые его занятия не мешали ему

---

* свояченицы (*фр.*).

быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье и на вечерах; все его называли просто Мишель, и я так же, как и все, не заботясь нимало о его фамилии. Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки, но перчатки он часто затеривал, и я грозила отрешить его от вверенной ему должности.

Один раз мы сидели вдвоем с Сашенькой в ее кабинете, как вдруг она сказала мне: «Как Лермонтов влюблен в тебя!»

— Лермонтов! Да я не знаю его и, что всего лучше, в первый раз слышу его фамилию.

— Перестань притворяться, перестань скрытничать, ты не знаешь Лермонтова? Ты не догадалась, что он любит тебя?

— Право, Сашенька, ничего не знаю и в глаза никогда не видала его, ни наяву, ни во сне.

— Мишель, — закричала она, — поди сюда, покажись. Cathérine утверждает, что она тебя еще не рассмотрела, иди же скорее к нам.

— Вас я знаю, Мишель, и знаю довольно, чтоб долго помнить вас, — сказала я вспыхнувшему от досады Лермонтову, — но мне ни разу не случилось слышать вашу фамилию, вот моя единственная вина, я считала вас, по бабушке, Арсеньевым.

— А его вина, — подхватила немилосердно Сашенька, — это красть перчатки петербургских модниц, вздыхать по них, а они даже и не позаботятся осведомиться об его имени.

Мишель рассердился и на нее и на меня и опрометью побежал домой (он жил почти против Сашеньки); как мы его ни звали, как ни кричали ему в окно:

Revenez donc tantôt
Vous aurez du bonbon *, —

но он не возвращался. Прошло несколько дней, а о Мишеле ни слуху ни духу; я о нем не спрашивала, мне о нем ничего не говорила Сашенька, да и я не любопытствовала разузнавать, дуется ли он на меня или нет.

День ото дня Москва пустела, все разъезжались по деревням, и мы, следуя за общим полетом, тоже собирались в подмосковную, куда я стремилась с нетерпе-

* Возвращайтесь же скорее, вы получите конфеты (*фр.*).

нием, — так прискучили мне однообразные веселости Белокаменной. Сашенька уехала уже в деревню, которая находилась в полутора верстах от нашего Большакова, а тетка ее Столыпина жила от нас в трех верстах [5], в прекрасном своем Средникове; у нее гостила Елизавета Алексеевна Арсеньева с внуком своим Лермонтовым. Такое приятное соседство сулило мне много удовольствия, и на этот раз я не ошиблась. В деревне я наслаждалась полной свободой. Сашенька и я по нескольку раз в день ездили и ходили друг к другу, каждый день выдумывали разные parties de plaisir: * катанья, кавалькады, богомолья; то-то было мне раздолье!

В это памятное для меня лето я ознакомилась с чудными окрестностями Москвы, побывала в Сергиевской лавре, в Новом Иерусалиме, в Звенигородском монастыре [6]. Я всегда была набожна, и любимым моим воспоминанием в прошедшем остались эти религиозные поездки, но впоследствии примешалось к ним, осветило их и увековечило их в памяти сердца другое милое воспоминание, но об этом после...

По воскресеньям мы уезжали к обедне в Средниково и оставались на целый день у Столыпиной. Вчуже отрадно было видеть, как старушка Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова; бедная, она пережила всех своих, и один Мишель остался ей утешением и подпорою на старость; она жила им одним и для исполнения его прихотей; не нахвалится, бывало, им, не налюбуется на него; бабушка (мы все ее так звали) любила очень меня, я предсказывала ей великого человека в косолапом и умном мальчике.

Сашенька и я, точно, мы обращались с Лермонтовым, как с мальчиком, хотя и отдавали полную справедливость его уму. Такое обращение бесило его до крайности, он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения, а мы, чтоб подразнить его, в ответ подадим ему волан или веревочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать

---

* увеселительные прогулки (*фр.*).

и скакать, чем прикидываться непонятым и неоцененным снимком с первейших поэтов.

Еще очень подсмеивались мы над ним в том, что он не только был неразборчив в пище, но никогда не знал, что ел, телятину или свинину, дичь или барашка; мы говорили, что, пожалуй, он со временем, как Сатурн, будет глотать булыжник. Наши насмешки выводили его из терпения, он спорил с нами почти до слез, стараясь убедить нас в утонченности своего гастрономического вкуса; мы побились об заклад, что уличим его в противном на деле. И в тот же самый день после долгой прогулки верхом велели мы напечь к чаю булочек с опилками! И что же? Мы вернулись домой утомленные, разгоряченные, голодные, с жадностию принялись за чай, а наш-то гастроном Мишель, не поморщась, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе и третью, но Сашенька и я, мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобосваримую для желудка начинку. Тут не на шутку взбесился он, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже и не показывался несколько дней, притворившись больным.

Между тем его каникулы приходили к концу, и Елизавета Алексеевна собиралась уехать в Москву, не решаясь расставаться со своим Веньямином [7]. Вся молодежь, и я в том же числе, отправились провожать бабушку, с тем чтоб из Москвы отправиться пешком в Сергиевскую лавру.

Накануне отъезда я сидела с Сашенькой в саду, к нам подошел Мишель. Хотя он все еще продолжал дуться на нас, но предстоящая разлука смягчила гнев его; обменявшись несколькими словами, он вдруг опрометью убежал от нас. Сашенька пустилась за ним, я тоже встала и тут увидела у ног своих не очень щегольскую бумажку, подняла ее, развернула, движимая наследственным любопытством прародительницы. Это были первые стихи Лермонтова, поднесенные мне таким оригинальным образом:

ЧЕРНООКОЙ [8]

Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.

Вблизи тебя до этих пор
Я не слыхал в груди огня;
Встречал ли твой волшебный взор —
Не билось сердце у меня.

И пламень звездочных очей,
Который вечно, может быть,
Останется в груди моей,
Не мог меня воспламенить.
К чему ж разлуки первый звук
Меня заставил трепетать?
Он не предвестник долгих мук,
Я не люблю! Зачем страдать?
Однако же хоть день, хоть час
Желал бы дольше здесь пробыть,
Чтоб блеском ваших чудных глаз
Тревогу мыслей усмирить.

Средниково
12 августа 1830 г.

Я показала стихи возвратившейся Сашеньке и умоляла ее не трунить над отроком-поэтом.

На другой день мы все вместе поехали в Москву. Лермонтов ни разу не взглянул на меня, не говорил со мною, как будто меня не было между ними, но не успела я войти в Сашенькину комнату, как мне подали другое стихотворение от него. Насмешкам Сашеньки не было конца, за то что мне дано свыше вдохновлять и образовывать поэтов.

БЛАГОДАРЮ

Благодарю!.. вчера мое признанье
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твое притворное вниманье
Благодарю!
В другом краю ты некогда пленяла,
Твой чудный взор и острота речей
Останутся навек в душе моей,
Но не хочу, чтобы ты мне сказала:
Благодарю!
Я б не желал умножить в цвете жизни
Печальную толпу твоих рабов
И от тебя услышать, вместо слов
Язвительной, жестокой укоризны:
Благодарю!
О, пусть холодность мне твой взор укажет,
Пусть он убьет надежды и мечты
И все, что в сердце возродила ты;
Душа моя тебе тогда лишь скажет:
Благодарю!

Средниково
12 августа[9]

На следующий день, до восхождения солнца, мы встали и бодро отправились пешком на богомолье; путевых приключений не было, все мы были веселы, много болтали, еще более смеялись, а чему? Бог знает! Бабушка ехала впереди шагом; верст за пять до ночлега или до обеденной станции отправляли передового приготовлять заранее обед, чай или постели, смотря по времени. Чудная эта прогулка останется навсегда золотым для меня воспоминанием.

На четвертый день мы пришли в Лавру изнуренные и голодные. В трактире мы переменили запыленные платья, умылись и поспешили в монастырь отслужить молебен. На паперти встретили мы слепого нищего. Он дряхлою дрожащею рукою поднес нам свою деревянную чашечку, все мы надавали ему мелких денег; услыша звук монет, бедняк крестился, стал нас благодарить, приговаривая: «Пошли вам бог счастие, добрые господа; а вот намедни приходили сюда тоже господа, тоже молодые, да шалуны, насмеялись надо мною: наложили полную чашечку камушков. Бог с ними!»

Помолясь святым угодникам, мы поспешно возвратились домой, чтоб пообедать и отдохнуть. Все мы суетились около стола в нетерпеливом ожидании обеда, один Лермонтов не принимал участия в наших хлопотах; он стоял на коленях перед стулом, карандаш его быстро бегал по клочку серой бумаги, и он как будто не замечал нас, не слышал, как мы шумели, усаживаясь за обед и принимаясь за ботвинью. Окончив писать, он вскочил, тряхнул головой, сел на оставшийся стул против меня и передал мне нововышедшие из-под его карандаша стихи:

У врат обители святой
Стоял просящий подаянья,
Бессильный, бледный и худой,
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою,
Так чувства лучшие мои
Навек обмануты тобою! [10]

— Благодарю вас, Monsieur Michel, за ваше посвящение и поздравляю вас, с какой скоростью из самых ничтожных слов вы извлекаете милые экспромты, но не

рассердитесь за совет: обдумывайте и обработывайте ваши стихи, и со временем те, которых вы воспоете, будут гордиться вами.

— И сами собой, — подхватила Сашенька, — особливо первые, которые внушили тебе такие поэтические сравнения. Браво, Мишель!

Лермонтов как будто не слышал ее и обратился ко мне:

— А вы будете ли гордиться тем, что вам первой я посвятил свои вдохновения?

— Может быть, более других, но только со временем, когда из вас выйдет настоящий поэт, и тогда я с наслаждением буду вспоминать, что ваши первые вдохновения были посвящены мне, а теперь, Monsieur Michel, пишите, но пока для себя одного; я знаю, как вы самолюбивы, и потому даю вам этот совет, за него вы со временем будете меня благодарить.

— А теперь еще вы не гордитесь моими стихами?

— Конечно, нет, — сказала я, смеясь, — а то я была бы похожа на тех матерей, которые в первом лепете своих птенцов находят и ум, и сметливость, и характер, а согласитесь, что и вы, и стихи ваши еще в совершенном младенчестве.

— Какое странное удовольствие вы находите так часто напоминать мне, что я для вас более ничего, как ребенок.

— Да ведь это правда; мне восемнадцать лет, я уже две зимы выезжаю в свет, а вы еще стоите на пороге этого света и не так-то скоро его перешагнете.

— Но когда перешагну, подадите ли вы мне руку помощи?

— Помощь моя будет вам лишняя, и мне сдается, что ваш ум и талант проложат вам широкую дорогу, и тогда вы, может быть, отречетесь не только от теперешних слов ваших, но даже и от мысли, чтоб я могла протянуть вам руку помощи.

— Отрекусь! Как может это быть! Ведь я знаю, я чувствую, я горжусь тем, что вы внушили мне, любовью вашей к поэзии, желание писать стихи, желание их вам посвящать и этим обратить на себя ваше внимание; позвольте мне доверить вам все, что выльется из-под пера моего?

— Пожалуй, но и вы разрешите мне говорить вам неприятное для вас слово: благодарю!

— Вот вы и опять надо мной смеетесь: по вашему тону я вижу, что стихи мои глупы, нелепы, — их надо переделать, особливо в последнем куплете, я должен бы был молить вас совсем о другом, переделайте же его сами не на словах, а на деле, и тогда я пойму всю прелесть благодарности.

Он так на меня посмотрел, что я вспыхнула и, не находя, что отвечать ему, обратилась к бабушке с вопросом: какую карьеру изберет она для Михаила Юрьевича?

— А какую он хочет, матушка, лишь бы не был военным.

После этого разговора я переменила тон с Лермонтовым, часто называла его Михаилом Юрьевичем, чему он очень радовался, слушала его рассказы, просила его читать мне вслух и лишь тогда только подсмеивалась над ним, когда он, бывало, увлекшись разговором, с жаром говорил, как сладостно любить в первый раз и что ничто в мире не может изгнать из сердца образ первой страсти, первых вдохновений. Тогда я очень серьезно спрашивала у Лермонтова, есть ли этому предмету лет десять и умеет ли предмет его вздохов читать хотя по складам его стихи?

После возвращения нашего в деревню из Москвы прогулки, катанья, посещения в Средниково снова возобновились, все пошло по-старому, но нельзя было не сознаться, что Мишель оживлял все эти удовольствия и что без него не жилось так весело, как при нем.

Он писал Сашеньке длинные письма, обращался часто ко мне с вопросами и суждениями и забавлял нас анекдотами о двух братьях Фее и для отличия называл одного Fè-nez-long, другого Fè-nez-court; бедный Фенелон был чем-то в Университетском пансионе и служил целью эпиграмм, сарказмов и карикатур Мишеля [11].

В одном из своих писем он переслал мне следующие стихи, достойные даже и теперь его имени:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел,
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песни святой... и проч. [12]

О, как я обрадовалась этим стихам, какая разница с тремя первыми его произведениями, в этом уж просвечивал гений.

Сашенька и я, мы первые преклонились перед его талантом и пророчили ему, что он станет выше всех его современников; с этих пор я стала много думать о нем и об его грядущей славе.

В Москве тогда в первый раз появилась холера, все перепугались, принимая ее за что-то вроде чумы. Страх заразителен, вот и мы, и соседи наши побоялись оставаться долее в деревне и всем караваном перебрались в город, следуя, вероятно, пословице: на людях смерть красна.

Бабушку Арсеньеву нашли в горе: ей только что объявили о смерти брата ее, Столыпина, который служил в персидском посольстве и был убит вместе с Грибоедовым [13].

Прасковья Васильевна [14] была сострадательна и охотно навещала больных и тех, которые горевали и плакали. Я всегда была готова ее сопровождать к бедной Елизавете Алексеевне, поговорить с Лермонтовым и повидаться с Сашенькой и Дашенькой С.[15], только что вышедшей замуж. Я давно знала Дашеньку; она была двумя годами старше меня; я любила ее за доброту и наивность. Много ей, бывало, доставалось от нас. <...>

Всякий вечер после чтения затевались игры, но не шумные, чтобы не обеспокоить бабушку. Тут-то отличался Лермонтов. Один раз он предложил нам сказать всякому из присутствующих, в стихах или в прозе, что-нибудь такое, что бы приходилось кстати. У Лермонтова был всегда злой ум и резкий язык, и мы хотя с трепетом, но согласились выслушать его приговоры.

Он начал с Сашеньки:

Что можем наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже,
Подумать не успев, скажу: ты всех милей;
Подумав, я скажу все то же [16].

Мы все одобрили à propos и были одного мнения с Мишелем.

Потом дошла очередь до меня. У меня чудные волосы, и я до сих пор люблю их выказывать; тогда я их носила просто заплетенные в одну огромную косу, которая два раза обвивала голову.

Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи [17].

Мишель, почтительно поклонясь Дашеньке, сказал:

Уж ты, чего ни говори,
Моя почтенная Darie,
К твоей постели одинокой
Черкес младой и черноокой
Не крался в тишине ночной.

К обыкновенному нашему обществу присоединился в этот вечер необыкновенный родственник Лермонтова. Его звали Иваном Яковлевичем [18]; он был и глуп, и рыж, и на свою же голову обиделся тем, что Лермонтов ничего ему не сказал. Не ходя в карман за острым словцом, Мишель скороговоркой проговорил ему:

— Vous êtes Jean, vous êtes Jacques, vous êtes roux, vous êtes sot et cependant vous n'êtes point Jean Jacques Rousseau *.

Еще была тут одна барышня, соседка Лермонтова по чембарской деревне, и упрашивала его не терять слов для нее и для воспоминания написать ей хоть строчку правды для ее альбома. Он ненавидел попрошаек и, чтоб отделаться от ее настойчивости, сказал:

— Ну хорошо, дайте лист бумаги, я вам выскажу правду.

Соседка поспешно принесла бумагу и перо, он начал:

Три грации...

Барышня смотрела через плечо на рождающиеся слова и воскликнула:

— Михаил Юрьевич, без комплиментов, я правды хочу.

— Не тревожьтесь, будет правда, — отвечал он и продолжал:

Три грации считались в древнем мире,
Родились вы... все три, а не четыре.

За такую сцену можно было бы платить деньги; злое торжество Мишеля, душивший нас смех, слезы воспетой и утешения «Jean Jacques», все представляло комическую картину...

Я до сих пор не дозналась, Лермонтова ли эта эпиграмма или нет [19].

---

* Вы — Жан, вы — Жак, вы — рыжий, вы — глупый — и все же не Жан-Жак Руссо (*фр.*).

Я упрекнула его, что для такого случая он не потрудился выдумать ничего для меня, а заимствовался у Пушкина.

— И вы напрашиваетесь на правду? — спросил он.

— И я, потому что люблю правду.

— Подождите до завтрашнего дня.

Рано утром мне подали обыкновенную серенькую бумажку, сложенную запиской, запечатанную и с надписью: «Ей, правда».

ВЕСНА

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуюные поля,
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей.
Гляжу: природа молодеет,
Не молодеть лишь только ей.
Ланит спокойных пламень алый
С годами время унесет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет! [20]

Внизу очень мелко было написано карандашом, как будто противуядие этой едкой, по его мнению, правде:

Зови надежду — сновиденьем,
Неправду — истиной зови.
Не верь хвалам иувереньям,
Лишь верь одной моей любви!
Такой любви нельзя не верить,
Мой взор не скроет ничего,
С тобою грех мне лицемерить,
Ты слишком ангел для того! [21]

Он непременно добивался моего сознания, что правда его была мне неприятна.

— Отчего же, — сказала я, — это неоспоримая правда, в ней нет ничего ни неприятного, ни обидного, ни непредвиденного: и вы и я, все мы состареемся, сморщимся, — это неминуемо, если еще доживем; да, право, я и не буду жалеть о прекрасных ланитах, но, вероятно, пожалею о вальсе, мазурке, да еще как пожалею!

— А о стихах?

— У меня старые останутся, как воспоминание о лучших днях. Но мазурка — как жаль, что ее не танцуют старушки!

— Кстати о мазурке, будете ли вы ее танцевать завтра со мной у тетушки Хитровой? [22]

— С вами? Боже меня сохрани, я слишком стара для вас, да к тому же на все длинные танцы у меня есть петербургский кавалер.

— Он должен быть умен и мил?

— Ну, точно смертный грех.

— Разговорчив?

— Да, имеет большой навык извиняться, в каждом туре оборвет мне платье шпорами или наступит на ноги.

— Не умеет ни говорить, ни танцевать; стало быть, он тронул вас своими вздохами, страстными взглядами?

— Он так кос, что не знаешь, куда он глядит, и пыхтит на всю залу.

— За что же ваше предпочтение? Он богат?

— Я об этом не справлялась, я его давно знаю, но в Петербурге я с ним ни разу не танцевала, здесь другое дело, он конногвардеец, а не студент, и не *архивец* [23].

И в самом деле, я имела неимоверную глупость прозевать с этим конногвардейцем десять мазурок сряду, для того только, чтобы мне позавидовали московские барышни [24]. Известно, как они дорожат нашими гвардейцами; но на бале, данном в собрании по случаю приезда в. к. Михаила Павловича, он чуть меня не уронил, и я так на него рассердилась, что отказала наотрез мазурку и заменила его возвратившимся из деревни А<лексеевым>, которого для этого торжественного случая представили официально Прасковье Михайловне под фирмою петербургского жителя и камер-юнкера.

Его высочество меня узнал, танцевал со мною, в мазурке тоже выбирал два раза и, смеясь, спросил: не забыла ли я Пестеля? [25]

Когда Лермонтову Сашенька сообщила о моих триумфах в собрании, о шутках великого князя насчет Пестеля, я принуждена была рассказать им для пояснения о прежнем моем знакомстве с Пестелем и его ухаживаниях. Мишель то бледнел, то багровел от ревности, и вот как он выразился:

Взгляни, как мой спокоен взор,
Хотя звезда судьбы моей
Померкнула с давнишних пор,
А с ней и думы лучших дней.
Слеза, которая не раз
Рвалась блеснуть перед тобой,
Уж не придет — как прошлый час
На смех, подосланный судьбой.
Над мною посмеялась ты,
И я презреньем отвечал;
С тех пор сердечной пустоты
Я уж ничем не заменял.
Ничто не сблизит больше нас,
Ничто мне не отдаст покой,
И сердце шепчет мне подчас:
«Я не могу любить другой!»
Я жертвовал другим страстям,
Но если первые мечты
Служить не могут больше нам,
То чем же их заменишь ты?
Чем ты украсишь жизнь мою,
Когда уж обратила в прах
Мои надежды в сем краю —
А может быть и в небесах! [26]

Я не видала Лермонтова с неделю, он накопил множество причин дуться на меня, он дулся за Пестеля, дулся, кажется, даже и за великого князя, дулся за отказ мазурки, а более всего за то, что я без малейшей совести хвасталась своими волосами. За ужином у тетки Хитровой я побилась об заклад с добрым старичком, князем Лобановым-Ростовским, о пуде конфект, за то что у меня нет ни одного фальшивого волоска на голове, и вот после ужина все барышни, в надежде уличить меня, принялись трепать мои волосы, дергать, мучить, колоть; я со спартанской твердостью вынесла всю эту пытку и предстала обществу покрытая с головы до ног моей чудной косой. Все ахали, все удивлялись, один Мишель пробормотал сквозь зубы: «Какое кокетство!»

— Скажите лучше: какая жадность! Ведь дело идет о пуде конфект; утешьтесь, я поделюсь с вами.

Насущные стихи, на другой день, грозно предвещали мне будущее:

Когда к тебе молвы рассказ
Мое названье принесет
И моего рожденья час
Перед полмиром проклянет,
Когда мне пищей станет кровь
И буду жить среди людей,
Ничью не радуя любовь
И злобы не боясь ничьей:

Тогда раскаянья кинжал
Пронзит тебя; и вспомнишь ты,
Что при прощаньи я сказал.
Увы! то были не мечты!
И если только наконец
Моя лишь грудь поражена,
То, верно, прежде знал творец,
Что ты страдать не рождена[27].

Вечером я получила записку от Сашеньки: она приглашала меня к себе и умоляла меня простить раскаивающегося грешника и, в доказательство истинного раскаяния, присылала новые стихи.

У ног других не забывал
Я взор твоих очей;
Любя других, я лишь страдал
Любовью прежних дней.
Так грусть — мой мрачный властелин —
Все будит старину,
И я твержу везде один:
«Люблю тебя, люблю!»
И не узнает шумный свет,
Кто нежно так любим,
Как я страдал и сколько лет
Минувшим я гоним.
И где б ни вздумал я искать
Под небом тишину,
Все сердце будет мне шептать:
«Люблю ее одну»[28].

Я отвечала Сашеньке, что записка ее для меня загадочна, что передо мной никто не виноват, ни в чем не провинился и, следовательно, мне некого прощать.

На другой день я сидела у окошка, как вдруг к ногам моим упал букет из желтого шиповника, а в середине торчала знакомая серая бумажка, даже и шиповник-то был нарван у нас в саду.

Передо мной лежит листок
Совсем ничтожный для других,
Но в нем сковал случайно рок
Толпу надежд и дум моих.
Исписан он твоей рукой,
И я вчера его украл
И для добычи дорогой
Готов страдать — как уж страдал!

Изо всех поступков Лермонтова видно, как голова его была набита романтическими идеями и как рано было развито в нем желание попасть в герои и губители сердец. Да и я, нечего лукавить, стала его бояться, стала

скрывать от Сашеньки его стихи и блаженствовала, когда мне удавалось ее обмануть.

В то время был публичный экзамен в Университетском пансионе. Мишель за сочинения и успехи в истории получил первый приз: весело было смотреть, как он был счастлив, как торжествовал[30]. Зная его чрезмерное самолюбие, я ликовала за него. Смолоду его грызла мысль, что он дурен, нескладен, не знатного происхождения, и в минуты увлечения он признавался мне не раз, как бы хотелось ему попасть *в люди,* а главное, никому в этом не быть обязану, кроме самого себя. Мечты его уже начали сбываться, долго, очень долго будет его имя жить в русской литературе — и до гроба в сердцах многих из его поклонниц.

В конце сентября холера еще более свирепствовала в Москве; тут окончательно ее приняли за чуму или общее отравление; страх овладел всеми; балы, увеселения прекратились, половина города была в трауре, лица вытянулись, все были в ожидании горя или смерти. Лермонтов от этой тревоги вовсе не похорошел.

Отец мой прискакал за мною, чтоб увезти меня из зачумленного города в Петербург. Более всего мне было грустно расставаться с Сашенькой, а главное, я привыкла к золотой волюшке, привыкла располагать своим временем — и вот опять должна возвратиться под тяжелое ярмо Марьи Васильевны!

С неимоверною тоскою простилась я с бабушкой Прасковьей Петровной (это было мое последнее прощание с ней), с Сашенькой, с Мишелем; грустно, тяжело было мне! Не успела я зайти к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что было поводом к следующим стихам:

Свершилось! Полно ожидать
Последней встречи и прощанья!
Разлуки час и час страданья
Придут — зачем их отклонять!
Ах, я не знал, когда глядел
На чудные глаза прекрасной,
Что час прощанья, час ужасный
Ко мне внезапно подлетел.
Свершилось! Голосом бесценным
Мне больше сердца не питать,
Запрусь в углу уединенном
И буду плакать... вспоминать!

1 октября 1830 г.[31]

Когда я уже уселась в карету и дверцы захлопнулись, Сашенька бросила мне в окно вместе с цветами и конфектами исписанный клочок бумаги, — не помню я стихов вполне:

Итак, прощай! Впервые этот звук
Тревожит так жестоко грудь мою.
Прощай! Шесть букв приносят столько мук,
Уносят все, что я теперь люблю!
Я встречу взор ее прекрасных глаз,
И может быть... как знать... в последний раз! [32]

1834 г.

<...> Живо я помню этот, вместе и роковой и счастливый вечер; мы одевались на бал к госпоже К. Я была в белом платье, вышитом пунцовыми звездочками, и с пунцовыми гвоздиками в волосах. Я была очень равнодушна к моему туалету.

«Л<опу>хин не увидит меня, — думала я, — а для прочих я уже не существую».

В швейцарской снимали шубы и прямо входили в танцевальную залу по прекрасной лестнице, убранной цветами, увешанной зеркалами; зеркала были так размещены в зале и на лестнице, что отражали в одно время всех приехавших и приезжающих; в одну минуту можно было разглядеть всех знакомых. По близорукости своей и по равнодушию я шла, опустив голову, как вдруг Лиза вскричала: «Ах, Мишель Лермонтов здесь!»

— Как я рада, — отвечала я, — он нам скажет, когда приедет Л<опу>хин.

Пока мы говорили, Мишель уже подбежал ко мне, восхищенный, обрадованный этой встречей, и сказал мне:

— Я знал, что вы будете здесь, караулил вас у дверей, чтоб первому ангажировать вас.

Я обещала ему две кадрили и мазурку, обрадовалась ему, как умному человеку, а еще более как другу Л<опу>хина. Л<опу>хин был моей первенствующей мыслью. Я не видала Лермонтова с <18>30-го года; он почти не переменился в эти четыре года, возмужал немного, но не вырос и не похорошел и почти все такой же был неловкий и неуклюжий, но глаза его смотрели с большею уверенностию, нельзя было не смутиться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью.

— Меня только на днях произвели в офицеры[33], — сказал он, — я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и моими эполетами; они дают мне право танцевать с вами мазурку; видите ли, как я злопамятен, я не забыл косого конногвардейца, оттого в юнкерском мундире я избегал случая встречать вас; помню, как жестоко вы обращались со мной, когда я носил студенческую курточку.

— А ваша злопамятность и теперь доказывает, что вы сущий ребенок; но вы ошиблись, теперь и без ваших эполет я бы пошла танцевать с вами.

— По зрелости моего ума?

— Нет, это в сторону, во-первых, я в Петербурге не могу выбирать кавалеров, а во-вторых, я переменилась во многом.

— И этому причина любовь?

— Да я и сама не знаю; скорее, мне кажется, непростительное равнодушие ко всему и ко всем.

— К окружающим — я думаю; к отсутствующим — позвольте не верить вам.

— Браво, Monsieur Michel, вы, кажется, заочно меня изучали; смотрите, легко ошибиться.

— Тем лучше; посмотрите, изучил ли я вас или нет, но вы, точно, переменились; вы как будто находитесь под влиянием чьей-то власти, как будто на вас тяготеет какая-то обязанность, ответственность, не правда ли?

— Нет, пустяки, — оставимте настоящее и будущее, давайте вспоминать.

Тут мы стали болтать о Сашеньке, о Средникове, о Троицкой Лавре — много смеялись, но я не могла решиться замолвить первая о Л<опу>хине.

Раздалась мазурка; едва мы уселись, как Лермонтов сказал мне, смотря прямо мне в глаза:

— Знаете ли, на днях сюда приедет Л<опу>хин.

Для избежания утвердительного ответа я спросила:

— Так вы скоро его ждете?

Я чувствовала, как краснела от этого имени, от своего непонятного притворства, а главное, от испытующих взоров Мишеля.

— Как хорошо, как звучно называться Madame de L<opoukhi>ne, — продолжал Мишель, — не правда ли? Согласились бы вы принять его имя?

— Я соглашусь в том, что есть много имен лучше этого, — отвечала я отрывисто, раздосадованная на Л<опу>хина, которого я упрекала в измене; от меня

требовал молчания, а сам, без моего согласия, поверял нашу тайну своим друзьям, а может быть, и хвастается влиянием своим на меня. Не помню теперь слово в слово разговор мой с Лермонтовым, но помню только, что я убедилась в том, что ему все было известно и что он в беспрерывной переписке с Л<опу>хиным; он распространялся о доброте его сердца, о ничтожности его ума, а более всего напирал, с колкостью, о его богатстве.

Лиза и я, мы сказали Лермонтову, что у нас 6-го будут танцевать, и он нам решительно объявил, что приедет к нам.

— Возможно ли, — вскричали мы в один голос, — вы не знаете ни дядей, ни теток?

— Что за дело? Я приеду к вам.

— Да мы не можем принять вас, мы не принимаем никого.

— Приеду пораньше, велю доложить вам, вы меня и представите.

Мы были и испуганы и удивлены его удальством, но зная его коротко, ожидали от него такого необдуманного поступка.

Мы начали ему представлять строгость теток и сколько он нам навлечет неприятных хлопот.

— Во что бы то ни стало, — повторил он, — я непременно буду у вас послезавтра.

Возвратясь домой, мы много рассуждали с сестрой о Лермонтове, о Л<опу>хине и очень беспокоились, как. сойдет нам с рук безрассудное посещение Лермонтова.

Наконец наступил страшный день 6 декабря[34].

С утра у нас была толпа поздравителей; к обеду собралось человек сорок, все родные, вся канцелярия и некоторые из несносных наших обожателей; по какому-то предчувствию, я отказала всем первую кадриль и мазурку, не говоря да и не зная наверное, с кем придется их танцевать; впрочем, лучшие кавалеры должны были приехать позднее и я могла всегда выбрать одного из них.

Не позже семи часов лакей пришел доложить сестре и мне, что какой-то маленький офицер просит нас обеих выйти к нему в лакейскую.

— Что за вздор, — вскричали мы в один голос, — как это может быть?

— Право, сударыни, какой-то маленький гусар спрашивает, здесь ли живут Екатерина Александровна и Елизавета Александровна Сушковы.

— Поди, спроси его имя.

Лакей возвратился и объявил, что Михаил Юрьевич Лермонтов приехал к девицам Сушковым.

— А, теперь я понимаю, — сказала я, — он у меня спрашивал адрес брата Дмитрия [35] и, вероятно, отыскивает его.

Брат Дмитрий пригодился нам и мог доставить истинное удовольствие, представив в наш дом умного танцора, острого рассказчика и, сверх всего, моего милого поэта. Мы с сестрой уверили его, что бывший его товарищ по Университетскому пансиону к нему приехал и дали ему мысль представить его Марье Васильевне. Он так и сделал; все обошлось как нельзя лучше.

Я от души смеялась с Лермонтовым...

Лермонтов сам удивился, как все складно устроилось, а я просто не приходила в себя от удивления к своей находчивости.

— Видите ли, — сказал он мне, — как легко достигнуть того, чего пламенно желаешь?

— Я бы не тратила свои пламенные желания для одного танцевального вечера больше или меньше в зиму.

— Тут не о лишнем вечере идет дело; я сделал первый шаг в ваше общество, и этого много для меня. Помните, я еще в Москве вам говорил об этой мечте, теперь только осуществившейся.

Он позвал меня на два сбереженные для него танца и был очень весел и мил со всеми, даже ни над кем не посмеялся. Во время мазурки он начал мне говорить о скором своем отъезде в Москву [36].

— И скоро вы едете?

— К праздникам или тотчас после праздников.

— Я вам завидую, вы увидите Сашеньку!

— Я бы вам охотно уступил это счастие, особенно вам, а не другому. Я еду не для удовольствия: меня тоже зависть гонит отсюда; я не хочу, я не могу быть свидетелем счастия другого, видеть, что богатство доставляет все своим избранным, — богатому лишнее иметь ум, душу, сердце, его и без этих прилагательных полюбят, оценят; для него не заметят искренней любви бедняка, а если и заметят, то прикинутся недогадливыми; не правда ли, это часто случается?

— Я не знаю, я никогда не была в таком положении; по моему мнению, одно богатство без личных достоинств ничего не значит.

— Поэтому позвольте вас спросить, что же вы нашли в Л<опу>хине?

— Я говорю вообще и не допускаю личностей.

— А я прямо говорю о нем.

— О, если *так*, — сказала я, стараясь выказать как можно больше *одушевления*, — так мне кажется, что Л<опу>хин имеет все, чтоб быть истинно любимым и без его богатства; он так добр, так внимателен, так чистосердечен, так бескорыстен, что в любви и в дружбе можно положиться на него.

— А я уверен, что если бы отняли у него принадлежащие ему пять тысяч душ, то вы бы первая и не взглянули на него.

— Могу вас уверить, я не знала, богат или беден он, когда познакомилась с ним в Москве, и долго спустя узнала, как отец его поступил благородно с сестрой своей и, по неотступной просьбе Л<опу>хина, уступил ей половину *имения*, — а такие примеры редки. Теперь я знаю, что он богат, но это не увеличило ни на волос моего хорошего мнения о нем; для меня богатство для человека все равно, что роскошный переплет для книги: глупой не придаст занимательности, хорошей — не придаст цены и своей мишурной позолотой.

— И вы всегда так думали?

— Всегда, и несколько раз доказывала это на деле.

— Так ваше мнение о Л<опу>хине?

— Самое лестное и непоколебимое.

— Да я знал и прежде, что вы в Москве очень благоволили к нему, а он-то совсем растаял; я знаю все, помните ли вы Нескучное, превратившееся без вас в Скучное, букет из незабудок, страстные стихи в альбоме? Да, я все тогда же знал и теперь знаю, с какими надеждами он сюда едет.

— Вы в самом деле чернокнижник, но истощаете свое дарование на пустяки.

— О, если бы я был точно чернокнижник! Но я просто друг Л<опу>хина и у него нет от меня ни одной скрытой мысли, ни одного задушевного желания.

Мне еще досаднее стало на Л<опу>хина, зачем поставил он меня в фальшивое положение перед Мишелем, разболтав ему все эти пустяки и наши планы на будущее.

Между тем мазурка кончилась; в ожидании ужина Яковлев[37] пел разные романсы и восхищал всех своим приятным голосом и чудной методой.

Когда он запел:

Я вас любил, любовь еще, быть может,
В душе моей погасла не совсем… —

Мишель шепнул мне, что эти слова выражают ясно его чувства в настоящую минуту.

Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.

— О нет, — продолжал Лермонтов вполголоса, — пускай тревожит, это — вернейшее средство не быть забыту.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим.

— Я не понимаю робости и безмолвия, — шептал он, — а безнадежность предоставляю женщинам.

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим![38]

— Это совсем надо переменить; естественно ли желать счастия любимой женщине, да еще с другим? Нет, пусть она будет несчастлива; я так понимаю любовь, что предпочел бы ее любовь — ее счастию; несчастлива через меня, это бы связало ее навек со мною! А ведь такие мелкие, сладкие натуры, как Л<опу>хин, чего доброго, и пожелали бы счастия своим предметам! А все-таки жаль, что я не написал эти стихи, только я бы их немного изменил. Впрочем, у Баратынского есть пьеса, которая мне еще больше нравится, она еще вернее обрисовывает мое прошедшее и настоящее. — И он начал декламировать:

Нет; обманула вас молва,
По-прежнему я занят вами,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца,
Другим молился божествам,
Но с беспокойством староверца![39]

— Вам, Михаил Юрьевич, нечего завидовать этим стихам, вы еще лучше выразились:

Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог!

— Вы помните мои стихи, вы сохранили их? Ради бога, отдайте мне их, я некоторые забыл, я переделаю их получше и вам же посвящу.

— Нет, ни за что не отдам, я их предпочитаю какими они есть, с их ошибками, но с свежестью чувства; они, точно, не полны, но, если вы их переделаете, они утратят свою неподдельность, оттого-то я и дорожу вашими первыми опытами.

Он настаивал, я защищала свое добро — и отстояла.

На другой день вечером мы сидели с Лизой в маленькой гостиной, и как обыкновенно случается после двух балов сряду, в неглиже, усталые, полусонные, и лениво читали вновь вышедший роман г-жи Деборд-Вальмор «L'atelier d'un peintre» [40]. Марья Васильевна по обыкновению играла в карты в большой приемной, как вдруг раздался шум сабли и шпор.

— Верно, Лермонтов, — проговорила Лиза.

— Что за вздор, — отвечала я, — с какой стати?

Тут раздались слова тетки: «Мои племянницы в той комнате», — и перед нами вдруг явился Лермонтов. Я оцепенела от удивления.

— Как это можно, — вскрикнула я, — два дня сряду! И прежде никогда не бывали у нас, как это вам не отказали! Сегодня у нас принимают только самых коротких.

— Да мне и отказывали, но я настойчив.

— Как же вас приняла тетка?

— Как видите, очень хорошо, нельзя лучше, потому что допустила до вас.

— Это просто сумасбродство, Monsieur Michel, s'est absurde, вы еще не имеете ни малейшего понятия о светских приличиях.

Не долго я сердилась; он меня заговорил, развеселил, рассмешил разными рассказами. Потом мы пустились рассуждать о новом романе, и, по просьбе его, я ему дала его прочитать с уговором, чтоб он написал свои замечания на те места, которые мне больше нравились и которые, по *Онегинской* дурной привычке, я отмечала карандашом или ногтем; он обещал исполнить уговор и взял книги.

Он предложил нам гадать в карты и, по праву чернокнижника, предсказать нам будущность. Немудрено было ему наговорить мне много правды о настоящем;

до будущего он не касался, говоря, что для этого нужны разные приготовления.

— Но по руке я еще лучше гадаю, — сказал он, — дайте мне вашу руку, и увидите.

Я протянула ее, и он серьезно и внимательно стал рассматривать все черты на ладони, но молчал.

— Ну что же? — спросила я.

— Эта рука обещает много счастия тому, кто будет ею обладать и целовать ее, и потому я первый воспользуюсь. — Тут он с жаром поцеловал и пожал ее.

Я выдернула руку, сконфузилась, раскраснелась и убежала в другую комнату. Что это был за поцелуй! Если я проживу и сто лет, то и тогда я не позабуду его; лишь только я теперь подумаю о нем, то кажется, так и чувствую прикосновение его жарких губ; это воспоминание и теперь еще волнует меня, но в ту самую минуту со мной сделался мгновенный, непостижимый переворот; сердце забилось, кровь так и переливалась с быстротой, я чувствовала трепетание всякой жилки, душа ликовала. Но вместе с тем, мне досадно было на Мишеля; я так была проникнута моими обязанностями к Л<опу>хину, что считала и этот невинный поцелуй изменой с моей стороны и вероломством с его.

Я была серьезна, задумчива, рассеянна в продолжение всего вечера, но непомерно счастлива! Мне все представлялось в радужном сиянии.

Всю ночь я не спала, думала о Л<опу>хине, но еще более о Мишеле; признаться ли, я целовала свою руку, сжимала ее и на другой день чуть не со слезами умыла ее: я боялась сгладить поцелуй. Нет! Он остался в памяти и в сердце, надолго, навсегда! Как хорошо, что воспоминание никто не может похитить у нас; оно одно остается нам верным и всемогуществом своим воскрешает прошедшее с теми же чувствами, с теми же ощущениями, с тем же пылом, как и в молодости. Да я думаю, что и в старости воспоминание остается молодым.

Во время бессонницы своей я стала сравнивать Л<опу>хина с Лермонтовым; к чему говорить, на чьей стороне был перевес? Все нападки Мишеля на ум Л<опу>хина, на его ничтожество в обществе, все, выключая его богатства, было уже для меня доступно и даже казалось довольно основательным; его же доверие к нему непростительно глупым и смешным. Поэтому

я уже не далеко была от измены, но еще совершенно не понимала состояние моего сердца.

В среду мы поехали на бал к известному адмиралу Шишкову;[41] у него были положенные дни. Грустно было смотреть на бедного старика, доживающего свой век! Он был очень добр, и ему доставляло удовольствие окружать себя веселящеюся молодежью; он, бывало, со многими из нас поговорит и часто спрашивал: на месте ли еще ретивое? У него были часто онемения головы, и тогда он тут же в зале ложился на диван и какая-то женщина растирала ему виски и темя; все ее звали *чесалкой,* — она, как тень, следила за Александром Семеновичем, который едва передвигал ноги. Я любила ездить к Шишкову и говорить с ним; меня трогали его доброта и гостеприимство. Он иногда шутил со мною и говорил, что чувствует, как молодеет, глядя на меня.

Мишель взял у меня список всех наших знакомых, чтобы со временем постараться познакомиться с ними. Я не воображала, чтоб он умел так скоро распорядиться, и очень удивилась, найдя его разговаривающим с былой знаменитостью. Я чувствовала, что Мишель приехал для меня; эта уверенность заставила меня улыбнуться и покраснеть.

Но я еще больше раскраснелась, когда Александр Семенович Шишков сказал мне: «Что, птичка, ретивое еще на месте? Смотри, держи обеими руками; посмотри, какие у меня сегодня славные новички». И он стал меня знакомить с Лермонтовым; я так растерялась, что очень низко присела ему — тут мы оба расхохотались и полетели вальсировать.

Надобно ли говорить, что мы почти все танцы вместе танцевали.

— Вы грустны сегодня, — сказала я ему, видя что он беспрестанно задумывается.

— Не грустен, но зол, — отвечал он, — зол на судьбу, зол на людей, а главное, зол на вас.

— На меня? Чем я провинилась?

— Тем, что вы губите себя; тем, что вы не цените себя; вы олицетворенная мечта поэта, с пылкой душой, с возвышенным умом, — и вы заразились светом! И вам необходимы поклонники, блеск, шум, суета, богатство, и для этой мишуры вы затаиваете, заглушаете ваши лучшие чувства, приносите их в жертву человеку, неспособному вас понять, вам сочувствовать, человеку,

которого вы не любите и никогда не можете полюбить.

— Я вас не понимаю, Михаил Юрьевич; какое право имеете вы мне все это говорить; знайте раз навсегда, я не люблю ни проповедей, ни проповедников.

— Нет, вы меня понимаете, и очень хорошо. Но извольте, я выражусь просто: послезавтра приезжает Л<опу>хин; принадлежащие ему пять тысяч душ делают его самоуверенным, да в чем же ему и сомневаться? Первый его намек поняли, он едет не побежденным, а победителем; увижу, придаст ли ему хоть эта уверенность ума, а я так думаю и, признаюсь, желаю, чтоб он потерял и то, чего никогда не *имел*, — то-то я поторжествую!

— Я думаю тоже, что ему нечего терять.

— Как? Что вы сказали?

— Не вы же один имеете право говорить загадками.

— Нет, я не говорю загадками, но просто спрошу вас: зачем вы идете за него замуж; ведь вы его не любите?

— Я иду за него? — вскричала я почти *с ужасом*. — О, это еще не решено! Я вижу, что вы все знаете, но не знаю, как вам передали это обстоятельство. Так и быть, я сама вам все расскажу. Признаюсь, я сердита на Л<опу>хина: чем он хвастается, в чем так уверен? Сашенька мне писала по его просьбе, что если сердце мое узнает и назовет того, кто беспрестанно думает обо мне, краснеет при одном имени моем, что если я напишу ей, что угадала его имя, то он приедет в Петербург и будет просить моей *руки*, — вот и весь роман; кто знает, какая еще будет развязка? Да, я решаюсь выдти за него без сильной любви, но с уверенностью, что буду с ним счастлива, он так добр, благороден, не глуп, любит меня, а дома я так несчастлива. Я так хочу быть любимой!

— Боже мой! Если бы вы только хотели догадаться, как вас любят! Если бы вы хотели только понять, с какой пылкостью, с какой покорностью, с каким неистовством вас любит один молодой человек моих лет.

— Я знаю, что вы опять говорите о Л<опу>хине; я именно и вверяю ему свою судьбу, потому что уверена в его любви, потому что я первая его страсть.

— Вот прекрасно, вы думаете, что я хлопочу за Л<опу>хина?

— Если не о нем, так о ком же вы говорите?

— Положим, что и о нем. Но отвечайте мне прежде на один мой вопрос: скажите, если бы вас в одно время любили два молодые человека, один — пускай его будет Л<опу>хин, он богат, счастлив, все ему улыбается, все пред ним преклоняется, все ему доступно, единственно потому только, что он богат! Другой же молодой человек далеко не богат, не знатен, не хорош собой, но умен, но пылок, восприимчив и глубоко несчастлив; он стоит на краю пропасти, потому что никому и ни во что не верит, не знает, что такое взаимность, что такое ласка матери, дружба сестры, и если бы этот бедняк решился обратиться к вам и сказать вам: спаси меня, я тебя боготворю, ты сделаешь из меня великого человека, полюби меня, и я буду верить в бога, ты одна можешь спасти мою душу. Скажите, что бы вы сделали?

— Я надеюсь не быть никогда в таком затруднительном положении; судьба моя уже почти решена, я любима и сама буду любить.

— Будете любить! Пошлое выражение, впрочем, доступное женщинам; любовь по приказанию, по долгу! Желаю вам полного успеха, но мне что-то не верится, чтоб вы полюбили Л<опу>хина; да этого и не будет!

Возвратясь домой, я еще больше негодовала на Л<опу>хина; ведь это его необдуманная откровенность навлекла мне такие неловкие разговоры с Лермонтовым, сблизила меня с ним.

Проучу же я его, помучаю, раздумывала я. Понятно, что я хотя бессознательно, но уже действовала, думала и руководствовалась внушениями Мишеля. А между тем, все мои помышления были для Лермонтова. Я вспоминала малейшее его слово, везде видела его жгучие глаза, поцелуй его все еще звучал в ушах и раздавался в сердце, но я не признавалась себе, что люблю его. Приедет Л<опу>хин, рассуждала я сама с собой, и все пойдет иначе; он любит меня, хотя и без волнения, но глубоко; участие его успокоит меня, разгонит мои сомнения, я ему расскажу подробно все, что мне говорил Лермонтов; я не должна ничего от него скрывать. Так думала я, так хотела поступить, но вышло иначе.

Вечером приехал к нам Мишель, расстроенный, бледный; улучил минуту уведомить меня, что Л<опу>хин приехал, что он ревнует, что встреча их была как встреча двух врагов и что Л<опу>хин намекнул ему, что он знает его ухаживанье за мной и что он не прочь и от

дуэли, даже и с родным братом, если бы тот задумал быть его соперником [42].

— Видите ли, — продолжал Лермонтов, — если любовь его к вам не придала ему ума, то по крайней мере придала ему догадливости; он еще не видал меня с вами, а уже знает, что я вас люблю; да, я вас люблю, — повторил он с каким-то диким выражением, — и нам с Л<опу>хиным тесно вдвоем на земле!

— Мишель, — вскричала я вне себя, — что же мне делать?

— Любить меня.

— Но Л<опу>хин, но письмо мое, оно равняется согласию.

— Если не вы решите, так предоставьте судьбе или правильнее сказать: пистолету.

— Неужели нет исхода? Помогите мне, я все сделаю, но только откажитесь от дуэли, только живите оба, я уеду в Пензу к дедушке, и вы оба меня скоро забудете.

— Послушайте: завтра приедет к вам Л<опу>хин; лучше не говорите ему ни слова обо мне, если он сам не начнет этого разговора; примите его непринужденно, ничего не говорите родным о его предложении; увидя вас, он сам догадается, что вы переменились к нему.

— Я не переменилась, я все та же, и все люблю и уважаю его.

— Уважаете! Это не любовь; я люблю вас, да и вы меня любите, или это будет непременно; бойтесь меня, я на все способен и никому вас не уступлю, я хочу вашей любви. Будьте осторожны, две жизни в ваших руках!

Он уехал, я осталась одна с самыми грустными мыслями, с самыми черными предчувствиями. Мне все казалось, что Мишель лежит передо мной в крови, раненный, умирающий; я старалась в воображении моем заменить его труп трупом Л<опу>хина; это мне не удавалось, и, несмотря на мои старания, Л<опу>хин являлся передо мной беленьким, розовым, с светлым взором, с самодовольной улыбкой. Я жмурила глаза, но обе эти картины не изменялись, не исчезали. Совесть уже мучила меня за Л<опу>хина; сердце билось, замирало, жило одним только Лермонтовым.

На другой день, часов в двенадцать, приехал к нам Л<опу>хин; это первое свидание было принужденно, тетка не отходила от нас; она очень холодно и свысока приняла Л<опу>хина; но по просьбе дяди Николая

Васильевича пригласила его в тот же день к себе обедать. Дядя желал от души, чтоб я вышла замуж за Л<опу>хина, и лишь только он уехал, он начал мне толковать о всех *выгодах* такой партии, но и тут я ни в чем не призналась ему, как ни добивался он откровенности, но на этот раз я действовала уже по расчету. С первых моих слов он бы выгнал Лермонтова, все высказал Л<опу>хину и устроил бы нашу свадьбу. А. мне уже казалось невозможным отказаться от счастия видеть Мишеля, говорить с ним, танцевать с ним.

За обедом Л<опу>хин сидел подле меня; он был веселее, чем утром, говорил только со мною, вспоминал наше московское житье до малейшей подробности, осведомлялся о моих выездах, о моих занятиях, о моих подругах.

Мне было неловко с ним. Я все боялась, что он вот сейчас заговорит о Мишеле; я сознавалась, что очень виновата пред ним, рассудок говорил мне: «С ним ты будешь счастлива», — а сердце вступалось за Лермонтова и шептало мне: «Тот больше тебя любит». Мы ушли в мой кабинет, Л<опу>хин тотчас же спросил меня:

— Помните ли, что вы писали Сашеньке в ответ на ее письмо?

— Конечно, — отвечала я, — это было так недавно.

— А если бы давно, то вы бы забыли или переменились?

— Не знаю и не понимаю, к чему ведет этот допрос.

— Могу ли я объясниться с вашими родными?

— Ради бога, подождите, — сказала я с живостью.

— Зачем же ждать, если вы согласны?

— Все лучше; постарайтесь понравиться Марье Васильевне, играйте с ней в вист и потом...

— Неужели она может иметь на вас влияние? Я стараюсь нравиться только вам, я вас люблю более жизни и клянусь все сделать для вашего счастья, лишь бы вы меня немного любили.

Я заплакала и готова была тут же высказать все Л<опу>хину, упрекнуть его в неограниченно-неуместном доверии к Лермонтову, сообщить ему все наши разговоры, все его уверения, просить его совета, его помощи. Едва я вымолвила первые слова, как дядя Николай Сергеевич пришел, предложил ему сигару и увел его в свой кабинет. Четверть часа прошло, а с ним и мое благое намерение, мне опять представился Лермонтов со своими угрозами и вооруженным пистолетом.

Л<опу>хин был очень весел, уселся за вист с Марьей Васильевной, я взяла работу, подсела к карточному столу; он часов до девяти пробыл у нас, уехал, выпросив позволение приехать на другой день посмотреть на мой туалет, — мы собирались на бал к генерал-губернатору.

Лишь только Л<опу>хин от нас уехал, как влетел Лермонтов. Для избежания *задушевного* разговора я осталась у карточного стола; он надулся, гремел саблей, острил без пощады, говорил вообще дурно о светских девушках и в самых язвительных выражениях рассказывал громогласно, относя к давно прошедшему, мои отношения к Л<опу>хину, любовь свою ко мне и мое кокетство с обоими братьями.

Наконец эта пытка кончилась; взбешенный моим равнодушием и невмешательством моим в разговор, он уехал, но, однако же, при всех пригласил меня на завтрашнюю мазурку.

Я задумала остаться дома, упрашивала об этом, мне не позволяли, называя меня *капризной.* Итак, все было против меня и против моего желания остаться верной Л<опу>хину.

Собираясь на бал, я очень обдумывала свой туалет; никогда я не желала казаться такой хорошенькой, как в этот вечер; на мне было белое платье и ветки репейника на голове, такая же ветка у лифа. Л<опу>хин приехал, я вышла к нему с дядей Николаем Васильевичем, который очень любил выказывать меня. Л<опу>хин пришел в восторг от *моего сиянья,* как он выразился, и поцеловал мою руку, — какая разница с поцелуем Лермонтова! Тот решил судьбу мою, в нем была вся моя жизнь, и я бы отдала все предстоящие мне годы за другой такой же поцелуй!

Мы уселись; он спросил меня, как я окончила вчерашний вечер.

— Скучно!

— Кто был у вас?

— Никого, кроме Лермонтова.

— Лермонтов был! Невозможно!

— Что же тут невозможного? Он и третьего дня был!

— Как! В день моего приезда?

— Да.

— Нет, тысячу раз нет.

— Да и тысячу раз да, — отвечала я, обидевшись, что он мне не верит.

Мы оба надулись и прохаживались по комнате.

Тут я уже ничего не понимала, отчего так убежден Л<опу>хин в невозможности посещений Мишеля. Я предчувствовала какие-то козни, но я не пыталась отгадывать и даже боялась отгадать, кто их устраивает; я чувствовала себя опутанной, связанной по рукам и по ногам, но кем?..

Вошла Марья Васильевна, и мы поехали на бал.

Лермонтов ждал меня у дверей; протанцевал со мной две первые кадрили и, под предлогом какого-то скучного вечера, уехал, обещаясь возвратиться к мазурке. С его минутным отсутствием как глубоко поняла я значение стиха графа Рессегье:

Le bal continuait — la fête n'était plus *[43].

Он сдержал слово и возвратился на бал, когда усаживались к мазурке. Он был весел, шутлив, говорил с восторгом о своей неизменной любви и повершил тем, что объявил, что он очень счастлив.

— А вы? — спросил он меня.

— Я так себе, по-прежнему.

— Вы продолжаете начатое?

— Лучше сказать, я останавливаю неначатое.

Он улыбнулся и с чувством пожал мне руку в туре.

— Что Л<опу>хин? — спросил он.

— Ждет! — отвечала я. — Но скажите же, Monsieur Michel, что мне делать? Я в таком неловком, запутанном положении; ваши угрозы смутили меня, я не могу быть откровенна с Л<опу>хиным, все боюсь недосказать или высказаться, я беспрестанно противоречу себе, своим убеждениям. Признайтесь, его ревность, его намерения стреляться с вами, все это было в вашем только воображении?

— О, я вижу, — сказал он с живостью, — что уж успели мне повредить в вашем мнении; вы мне больше не верите. Я вам говорил, что у меня есть враги, и вот они и постарались внушить вам подозрения и успели, кажется; оттого-то вы мне и не верите.

— Верю, божусь, верю, но бедный Л<опу>хин в таком миролюбивом расположении, так уверен во мне, а — я, я, мне кажется, его обманываю, поступаю с ним неблагородно, мучу его и сама терзаюсь. Надо же положить всему этому конец!

---

* Бал продолжался, но праздника уже не было (*фр.*).

— Ну что же, выходите за него; он богат, он глуп, вы будете его водить за нос. Что вам до меня, что вам любовь моя?.. я беден! Пользуйтесь вашим положением, будьте счастливы, выходите за него, но на дороге к этому счастью вы перешагнете через мой или его труп, тем лучше! Какая слава для вас: два брата, два друга за вас сделаются непримиримыми врагами, убийцами. Весь Петербург, вся Москва будут с неделю говорить о вас! Довольно ли этого для вашего ненасытного самолюбия, для вашего кокетства?

— Вы меня, Михаил Юрьевич, или не знаете, или презираете. Скажите, что я сделала, чтобы заслужить такие колкие и дерзкие выражения? Я согласилась на предложение Л<опу>хина, прежде чем встретилась с вами, я не звала вас к нам, вы ворвались в наш дом почти силой, и с тех пор преследуете меня вашими уверениями, угрозами и даже дерзостью. Я более не допущу этого, я довольно настрадалась в это время, и завтра же все покончу. Вот и теперь на бале, в кругу блеска, золота, веселья, меня преследует ваш образ окровавленный, обезображенный, я вижу вас умирающим, я страдаю за вас, готова сейчас заплакать, а вы упрекаете меня в кокетстве!

Мазурка кончилась, все танцующие сделали большой тур по всем комнатам, мы немного отстали, и, пробегая через большую биллиардную, Лермонтов нагнулся, поцеловал мою руку, сжал ее крепко в своей и шепнул мне: «Я счастлив!»

Возвратясь в большую залу, мы прямо уселись за стол, Лермонтов, конечно, ужинал подле меня; никогда не был он так весел, так оживлен.

— Поздравьте меня, — сказал он, — я начал славное дело, оно представляло затруднения, но по началу, по завязке, я надеюсь на блестящее окончание.

— Вы пишете что-нибудь?

— Нет, но я на деле заготовляю материалы для многих сочинений: знаете ли, вы будете почти везде героиней [44].

— Ах, ради бога, избавьте меня от такой гласности.

— Невозможно! Первая любовь, первая мечта поэтов везде вкрадывается в их сочинениях; знаете ли, вы мне сегодня дали мысль для одного стихотворения?

— Мне кажется, что у меня в это время не было ни одной ясной мысли в голове и вы мне придаете свои.

— Нет, прекрасная мысль! Вы мне с таким увлечением сказали, что в кругу блеска, шума, танцев вы только видите меня, раненного, умирающего, и в эту минуту вы улыбались для толпы, но ваш голос дрожал от волнения; но на глазах блестели слезы, и со временем я опишу это[45]. Узнаете ли вы себя в моих произведениях?

— Если они не будут раскрашены вашим воображением, то останутся бесцветными и бледными, как я, и немногих заинтересуют.

— А были ли вы сегодня бледны, когда Л<опу>хин, провожая вас на бал, поцеловал вашу руку?

— Вы шпион?

— Нет, я просто поверенный!

— Глуп же Л<опу>хин, что вам доверяется; ваше поведение с ним неблагородно.

— В войне все хитрости допускаются. Да и вы-то, кажется, переходите на неприятельскую сторону; прежде выхваляли его ум, а теперь называете его глупцом.

— А вы забываете, что и умный человек может быть глупо-доверчив и самая эта доверчивость говорит в его пользу; он добр и неспособен к хитрости.

Я провела ужасные две недели между двумя этими страстями. Л<опу>хин трогал меня своею преданностью, покорностью, смирением, но иногда у него проявлялись проблески ревности. Лермонтов же поработил меня совершенно своей взыскательностью, своими капризами, он не *молил,* но *требовал* любви, он не преклонялся, как Л<опу>хин, перед моей волей, но налагал на меня свои тяжелые оковы, говорил, что не понимает ревности, но беспрестанно терзал меня сомнением и насмешками.

Меня приводило в большое недоумение то, что они никогда не встречались у нас, а лишь только один уедет, другой сейчас войдет. Когда же ни одного из них не было у меня на глазах, я просто не знала, куда деваться от мучительного беспокойства. Дуэль между ними была моей господствующей мыслью. Я высказала свои страдания Лермонтову и упросила его почаще проезжать мимо наших окон: он жил дома за три от нас. Я так привыкла к скрипу его саней, к крику его кучера, что, не глядя в окошко, знала его приближение и иногда, издали завидя развевающийся белый султан и махание батистовым платком, я успокаивалась на несколько времени. Мне казалось, что я так глубоко сохранила в душе моей предпочтение к нему под личиной равноду-

шия и насмешливости, что он не имел ни малейшего повода подозревать это предпочтение, а между тем я высказывала ему свою душу без собственного сознания, и он узнал прежде меня самой, что все мои опасения были для него одного.

Мне было также непонятно ослепление всех родных на его счет, особливо же со стороны Марьи Васильевны. Она терпеть не могла Лермонтова, но считала его ничтожным и неопасным мальчишкой, принимала его немножко свысока, но, боясь его эпиграмм, свободно допускала его разговаривать со мною; при Л<опу>хине она сторожила меня, не давала почти случая сказать двух слов друг другу, а с Мишелем оставляла целые вечера вдвоем! Теперь, когда я более узнала жизнь и поняла людей, я еще благодарна Лермонтову, несмотря на то, что он убил во мне сердце, душу, разрушил все мечты, все надежды, но он мог и совершенно погубить меня и не сделал этого.

Впоследствии одна из моих кузин, которой я рассказала всю эту эпоху с малейшими подробностями, спросила один раз Мишеля, зачем он не поступил со мною, как и с Любенькой Б., и с хорошенькой дурочкой Т., он отвечал: «Потому, что я ее любил искренно, хотя и не долго, она мне была жалка, и я уверен, что никто и никогда так не любил и не полюбит меня, как она».

Он всеми возможными, самыми ничтожными средствами тиранил меня; гладко зачесанные волосы не шли ко мне; он требовал, чтоб я всегда так чесалась; мне сшили пунцовое платье с золотой кордельерой и к нему прибавили зеленый венок с золотыми желудями; для одного раза в зиму этот наряд был хорош, но Лермонтов настаивал, чтобы я на все балы надевала его — и, несмотря на ворчанье Марьи Васильевны и пересуды моих приятельниц, я постоянно являлась в этом театральном костюме, движимая уверениями Мишеля, который повторял: «Что вам до других, если вы мне так нравитесь!»

Однако же, он так начал поступать после 26 декабря, день, в который я в первый раз призналась в любви и дала торжественное обещание отделаться от Л<опу>хина. Это было на бале у генерал-губернатора. Лермонтов приехал к самой мазурке; я не помню ничего из нашего несвязного объяснения, но знаю, что счастье мое началось с этого вечера. Он был так нежен, так откровенен, рассказывал мне о своем детстве,

о бабушке, о чембарской деревне, такими радужными красками описывал будущее житье наше в деревне, за границей, всегда вдвоем, всегда любящими и бесконечно счастливыми, молил ответа и решения его участи, так, что я не выдержала, изменила той холодной роли, которая давила меня и, в свою очередь, сказала ему, что люблю его больше жизни, больше, чем любила мать свою, и поклялась ему в неизменной верности.

Он решил, что прежде всего надо выпроводить Л<опу>хина, потом понемногу уговаривать его бабушку согласиться на нашу свадьбу; о родных моих и помину не было, мне была опорой любовь Мишеля, и с ней я никого не боялась, готова была открыто действовать, даже и — против Марьи Васильевны!

В этот вечер я всю свою душу открыла Мишелю, высказала ему свои задушевные мечты, помышления. Он уверился, что он давно был любим, и любим свято, глубоко; он казался вполне счастливым, но как будто боялся чего-то, — я обиделась, предполагая, что он сомневается во мне, и лицо мое омрачилось.

— Я уверен в тебе, — сказал он мне, — но у меня так много врагов, они могут оклеветать меня, очернить, я так не привык к счастию, что и теперь, когда я уверился в твоей любви, я счастлив настоящим, но боюсь за будущее; да, я еще не знал, что и счастье заставляет грустно задумываться!

— Да, и так скоро раздумывать о завтрашнем дне, который уже может сокрушить это счастье!

— Но кто же мне поручится, что завтра кто-нибудь не постарается словесно или письменно перетолковать вам мои чувства и действия?

— Поверьте мне, никто и никогда не повредит в моем мнении о вас, вообще я не руководствуюсь чужими толками.

— И потому ты, вопреки всех и всегда, будешь моей заступницей?

— Конечно. К чему об этих предположениях так долго говорить; кому какое дело до нас, до нашей любви? Посмотрите кругом, никто не занимается нами, и кто скажет, сколько радостей и горя скрывается под этими блестящими нарядами; дай бог, чтоб все они были так счастливы, как я!

— Как мы, — подтвердил Лермонтов, — надо вам привыкать, думая о своем счастии, помнить и обо мне.

Я возвратилась домой совершенно перерожденная.

Наконец-то я любила; мало того, я нашла идола, перед которым не стыдно было преклоняться перед целым светом. Я могла гордиться своей любовью, а еще более *его* любовью; мне казалось, что я достигла цели всей своей жизни; я бы с радостью умерла, унеся с собой на небо, как венец бессмертия, клятву его любви и веру мою в неизменность этой любви. О! как счастливы те, которые умирают неразочарованными! Измена хуже смерти; что за жизнь, когда никому не веришь и во всем сомневаешься!

На другой день Л<опу>хин был у нас; на обычный его вопрос, с кем я танцевала мазурку, я отвечала, не запинаясь:

— С Лермонтовым.

— Опять! — вскричал он.

— Разве я могла ему отказать?

— Я не об этом говорю; мне бы хотелось наверное знать, с кем вы танцевали?

— Я вам сказала.

— Но если я знаю, что это неправда.

— Так, стало быть, я лгу.

— Я этого не смею утверждать, но полагаю, что вам весело со мной кокетничать, меня помучить, развить мою ревность к бедному Мишелю; все это, может быть, очень мило, но некстати, перестаньте шутить, мне, право, тяжело; ну скажите же мне, с кем вы забывали меня в мазурке?

— С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

— Это уж чересчур, — вскричал Л<опу>хин, — как вы хотите, чтобы я вам поверил, когда я до двенадцати почти часов просидел у больного Лермонтова и оставил его в постели крепко заснувшего!

— Ну что же? Он после вашего отъезда проснулся, выздоровел и приехал на бал, прямо к мазурке.

— Пожалуйста, оставьте Лермонтова в покое; я прошу вас назвать вашего кавалера; заметьте, я прошу, я бы ведь мог требовать.

— *Требовать!* — вскричала я, вспыхнув. — Какое же вы имеете право? Что я вам обещала, уверяла ли вас в чем-нибудь? Слава богу, вы ничего не можете *требовать,* а ваши беспрестанные вспышки, все эти сцены до того меня истерзали, измучили, истомили, что лучше нам теперь же положить всему конец и врозь искать счастия.

Я не смела взглянуть на Л<опу>хина и поспешила выйти из комнаты. Наедине я предалась отчаянию; я чувствовала себя кругом виноватой перед Л<опу>хиным; я сознавалась, что отталкивала верное счастие быть любимой, богатой, знатной за неверный призрак, за ненадежную любовь!

Притворная болезнь Лермонтова, умолчание со мной об этой проделке черным предчувствием опутали все мои мысли; мне стало страшно за себя, я как будто чувствовала бездну под своими ногами, но я так его любила, что успокоила себя его же парадоксом: «Предпочитать страдание и горе от любимого человека — богатству и любви другого». «Будь что должно быть, — сказала я себе, — я поступила так, как он хотел, и так неожиданно скоро! Ему это будет приятно, а мне только этого и надобно».

1834—1835

В первый раз, когда я увидела Мишеля после этого разрыва и когда он мне сказал: «tu es un ange» *, — я была вполне вознаграждена; мне казалось, что он преувеличивает то, что называл он моим *жертвоприношением.*

Я нашла почти жестоким с его стороны выставлять и толковать мне, как я необдуманно поступила, отказав Л<опу>хину, какая была бы это для меня, бедной сироты, блестящая партия, как бы я всегда была облита бриллиантами, окутана шалями, окружена роскошью. Он как будто поддразнивал меня.

— Я поступила по собственному убеждению, а главное, по вашему желанию, и потому ни о чем не жалею.

— Неужели одна моя любовь может все это заменить?

— Решительно все.

— Но у меня дурной характер; я вспыльчив, зол, ревнив; я должен служить, заниматься, вы всю жизнь проведете взаперти с моей бабушкой.

— Мы будем с ней говорить о вас, ожидать вашего возвращения, нам вместе будет даже весело; моя пылкая любовь понимает и ценит ее старческую привязанность.

Он пожал мне руку, сказав:

---

* «Ты ангел» (*фр.*).

— С моей стороны это было маленькое испытание; я верю вашей любви и готовности сделать мое счастие, и сам я никогда не был так счастлив, потому что никогда не был так любим. Но, однако же, обдумайте все хорошо, не пожалеете ли вы когда о Л<опу>хине? Он добр — я зол, он богат — я беден; я не прощу вам ни сожаления, ни сравнения, а теперь еще время не ушло, и я еще могу помирить вас с Л<опу>хиным и быть вашим шафером.

— Мишель, неужели вы не понимаете, что вам жестоко подсмеиваться теперь надо мной и уговаривать меня поступить против моего сердца и моей совести? Я вас люблю, и для меня все кончено с Л<опу>хиным. Зачем вы мучите меня и выказываетесь хуже, чем вы есть?

— Чтоб не поступить, как другие: все хотят казаться добряками, и в них скоро *разочаровываются*, — я, может быть, преувеличиваю свои недостатки, и для вас будет приятный сюрприз найти меня лучше, чем вы ожидаете.

Трудно представить, как любовь Лермонтова возвысила меня в моих собственных глазах; я благоговела перед ним, удивлялась ему; гляжу, бывало, на него и не нагляжусь, слушаю и не наслушаюсь. Я переходила через все фазы ревности, когда приезжали к нам молодые девушки (будь они уроды); я каждую из них ревновала, каждой из них завидовала, каждую ненавидела за один его взгляд, за самое его пошлое слово. Но отрадно мне было при моих поклонниках, перед ними я гордилась его любовью, была с ними почти неучтива, едва отвечала на их фразы; мне так и хотелось сказать им: «Оставьте меня, вам ли тягаться с ним? Вот мой алмаз-регент, он обогатил, он украсил жизнь мою, вот мой *кумир*, — он вдохнул бессмертную любовь в мою бессмертную душу».

В это время я жила полной, но тревожной жизнью сердца и воображения и была счастлива до бесконечности.

Помнишь ли ты, Маша, последний наш бал, на котором мы в последний раз так весело танцевали вместе, на котором, однако же, я так рассердилась на тебя? Я познакомила тебя с Лермонтовым и Л<опу>хиным,

и ты на мои пылкие и страстные рассказы отвечала, покачав головой:

— Ты променяла кукушку на ястреба.

О, ты должна верить, как искренно я тебя люблю, потому что я тебе простила это дерзкое сравнение. Да, твоя дружба предугадала его измену, ты все проникла своим светлым, спокойным взором и сказала мне: «С Л<опу>хиным ты будешь счастлива, а Лермонтов, кроме горя и слез, ничего не даст тебе». Да, ты была права; но я, безрассудная, была в чаду, в угаре от его рукопожатий, нежных слов и страстных взглядов.

В мазурке я села рядом с тобой, предупредив Мишеля, что ты все знаешь и присутствием твоим покровительствуешь нам и что мы можем говорить, не стесняясь твоим соседством. Ты слышала, как уверял он меня, что дела наши подходят к концу, что недели через две он объявит о нашей свадьбе, что бабушка *согласна*, — ты все это слышала и радовалась за меня. А я! О, как слепо я ему верила, когда он клялся, что стал другим человеком, будто перерожденным, верит в бога, в любовь, в дружбу, что все благородное, все высокое ему доступно и что это чудо совершила любовь моя; как было не вскружиться моей бедной голове!

На этом бале Л<опу>хин совершенно распрощался со мной, перед отъездом своим в Москву. Я рада была этому отъезду, мне с ним было так неловко и отчасти совестно перед ним; к тому же я воображала, что присутствие его мешает Лермонтову просить моей руки.

На другой день этого бала Мишель принес мне кольцо, которое я храню как святыню, хотя слова, вырезанные на этом кольце, теперь можно принять за одну только насмешку[46].

Мне становится невыносимо тяжело писать; я подхожу к перелому всей моей жизни, а до сих пор я с какой-то ребячливостью отталкивала и заглушала все, что мне напоминало об этом ужасном времени.

Один раз, вечером, у нас были гости, играли в карты, я с Лизой и дядей Николаем Сергеевичем сидела в кабинете; она читала, я вышивала, он по обыкновению раскладывал grand'patience. Лакей подал мне письмо, полученное по городской почте; я начала его читать и, вероятно, очень изменилась в лице, потому что дядя вырвал его у меня из рук и стал читать его вслух, не понимая ни слова, ни смысла, ни намеков о Л<опу>хине, о Лермонтове, и удивлялся, с какой стати злой аноним

так заботится о моей судьбе. Но для меня каждое слово этого рокового письма было пропитано ядом, и сердце мое обливалось кровью. Но что я была принуждена вытерпеть брани, колкостей, унижения, когда гости разъехались и Марья Васильевна прочла письмо, врученное ей покорным супругом! Я и теперь еще краснею от негодования, припоминая грубые выражения ее гнева.

Вот содержание письма, которое никогда мне не было возвращено, но которое огненными словами запечатлелось в моей памяти и в моем сердце:

«Милостивая государыня
Екатерина Александровна!

Позвольте человеку, глубоко вам сочувствующему, уважающему вас и умеющему ценить ваше сердце и благородство, предупредить вас, что вы стоите на краю пропасти, что любовь ваша к *нему* (известная всему Петербургу, кроме родных ваших) погубит вас. Вы и теперь уже много потеряли во мнении света, оттого что не умеете и даже не хотите скрывать вашей страсти к *нему.*

Поверьте, *он* недостоин вас. Для *него* нет ничего святого, *он* никого не любит. *Его* господствующая страсть: господствовать над всеми и не щадить никого для удовлетворения своего самолюбия.

Я знал *его* прежде чем вы, *он* был тогда и моложе и неопытнее, что, однако же, не помешало ему погубить девушку, во всем равную вам и по уму и по красоте. *Он* увез ее от семейства и, натешившись ею, бросил.

Опомнитесь, придите в себя, уверьтесь, что и вас ожидает такая же участь. На вас вчуже жаль смотреть. О, зачем, зачем вы его так полюбили? Зачем принесли *ему* в жертву сердце, преданное вам и достойное вас.

Одно участие побудило меня писать к вам; авось еще не поздно! Я ничего не имею против *него,* кроме презрения, которое он вполне заслуживает. *Он* не женится на вас, поверьте мне; покажите *ему* это письмо, он прикинется невинным, обиженным, забросает вас страстными уверениями, потом объявит вам, что бабушка не дает ему согласия на брак; в заключение прочтет вам длинную проповедь или просто признается, что он притворялся, да еще посмеется над вами и — это

лучший исход, которого вы можете надеяться и которого от души желает вам

Вам неизвестный, но преданный вам

друг *NN*».

Вообрази, какое волнение произвело это письмо на весь семейный конгресс и как оно убило меня! Но никто из родных и не подозревал, что дело шло о Лермонтове и о Л<опу>хине; они судили, рядили, но, не догадываясь, стали допрашивать меня. Тут я ожила и стала утверждать, что не понимаю, о ком шла речь в письме, что, вероятно, его написал из мести какой-нибудь отверженный поклонник, чтоб навлечь мне неприятность [47]. Может быть, все это и сошло бы мне с рук; родным мысль моя показалась правдоподобной, если бы сестра моя, Лиза, не сочла нужным сказать им, что в письме намекалось на Лермонтова, которого я люблю, и на Л<опу>хина, за которого не пошла замуж по совету и по воле Мишеля [48].

Я не могу вспомнить, что я выстрадала от этого неожиданного заявления, тем более что Лиза знала многие мои разговоры с Мишелем и сама старалась воспламенить меня, отдавая предпочтение Мишелю над Л<опу>хиным.

...Открыли мой стол, перешарили все в моей шкатулке, перелистали все мои книги и тетради; конечно, ничего не нашли; мои действия, мои мысли, моя любовь были так чисты, что если я во время этого обыска и краснела, то только от негодования, от стыда за их поступки и их подозрения. Они поочередно допрашивали всех лакеев, всех девушек, не была ли я в переписке с Лермонтовым, не целовалась ли с ним, не имела ли я с ним тайного свидания?

Что за адское чувство страдать от напраслины, а главное, выслушивать, как обвиняют боготворимого человека! Удивительно, как в ту ночь я не выплакала все сердце и осталась в своем уме.

Я была отвержена всем семейством: со мной не говорили, на меня не смотрели (хотя и зорко караулили), мне даже не позволяли обедать за общим столом, как будто мое присутствие могло осквернить и замарать их! А бог видел, кто из нас был чище и правее.

Моей единственной отрадой была мысль о любви Мишеля, она поддерживала меня, — но как ему дать знать все, что я терплю и как страдаю из любви к нему?

Я знала, что он два раза заезжал к нам, но ему отказывали.

Дня через три после анонимного письма и моей опалы Мишель опять приехал, его не велели принимать: он настаивал, шумел в лакейской, говорил, что не уедет, не повидавшись со мной, и велел доложить об этом. Марья Васильевна, не отличавшаяся храбростью, побаивалась Лермонтова, не решалась выйти к нему и упросила свою невестку А. С. Су<шко>ву принять его. Она не соглашалась выйти к нему без меня, за что я ей несказанно была благодарна. Марья Васильевна ухитрилась надеть на меня шубу, как несомненное доказательство тому, что мы едем в театр, и потому только отказывала ему, чем она ясно доказала Мишелю, что боится не принимать его и прибегает к пошлым обманам. Я в слезах, но с восторгом выскочила к Мишелю; добрая А. С. учтиво извинилась перед ним и дала нам свободу поговорить. На все его расспросы я твердила ему бессвязно:

— Анонимное письмо, — меня мучат, — нас разлучают, — мы не едем в театр, — я все та же и никогда не изменюсь.

— Как нам видеться? — спросил он.

— На балах, когда выйду из домашнего ареста.

Тут он опять обратился к А. С. и просил передать родным, что приезжал объясниться с ними обо мне и не понимает, почему они не хотят его видеть, намерения его благородны и обдуманны. И он уехал — в последний раз был он в нашем доме.

Тут началась для меня самая грустная, самая пустая жизнь; мне некого было ждать, не приедет он больше к нам; надежда на будущее становилась все бледнее и неяснее. Мне казалось невероятным и невозможным жить и не видеть его, и давно ли еще мы так часто бывали вместе, просиживали вдвоем длинные вечера; уедет, бывало, и мне останется отрадой припоминать всякое движение его руки, значение улыбки, выражение глаз, повторять всякое его слово, обдумывать его. Провожу, бывало, его и с нетерпением возвращаюсь в комнату, сажусь на то место, на котором он сидел, с упоением допиваю неоконченную им чашку чая, перецелую все, что он держал в руках своих, — и все это я делала с каким-то благоговением.

Долго я не могла понять этой жестокой разлуки; самую смерть его, мне казалось, я перенесла бы с боль-

шей покорностью, тут было бы предопределение божие, но эта разлука, наложенная ненавистными людьми, была мне невыносима, и я роптала на них, даже проклинала их.

«Как выдержит он это испытание? — беспрестанно спрашивала я себя. — Устоит ли его постоянство? Преодолеет ли он все препятствия? Что будет со мной, если деспотическое тиранство моих гонителей согласуется с его тайным желанием отвязаться от моей пылкой и ревнивой страсти? Любит ли еще он меня?» — вскрикивала я с отчаянием и не знала, что отвечать на все эти вопросы... Иногда я доходила до помешательства: я чувствовала, как мысли мои путались, сталкивались; я тогда много писала и не находила слов для выражения моих мыслей; по четверти часа я задумывалась, чтоб припомнить самые обыкновенные слова. Иногда мне приходило в голову, что жизнь моя может вдруг пресечься, и я обдумывала средство жить без самой жизни.

Да, страшное было то время для меня, но оно прошло, как и все проходит, не оставив следа ни на лице моем, ни на окружающих предметах; но бедное мое сердце! Однако же, и в самые эти дни испытания и пытки душевной я нашла истинное утешение, я приобрела верных и надежных друзей: А. С. показывала мне большое участие, хотя и не знала всей грустной драмы моей жизни, а только ободряла и утешала меня, видя недоброе расположение ко мне Марьи Васильевны. Cousin мой, Долгорукий, с грустью тоже смотрел на меня и даже вызвался доставить письмо Мишелю, и я всегда ему буду благодарна за этот добрый порыв, но я не воспользовалась его предложением; моим первым желанием было жить и действовать так, чтобы не заслужить ни малейшего обвинения, а сердце никто не может упрекнуть, к кому бы оно ни привязалось: любить свято, глубоко, не краснеть за свою любовь, хранить воспоминание этого чувства ясным, светлым, это еще хороший удел и дан немногим.

Горничная моя, Танюша, тоже в эти дни гонения очень привязалась ко мне, она считала себя кругом виноватою передо мной: во время обыска в моих вещах родные так напугали ее обещанием наказания, если она что-нибудь утаит, что она принесла им роман: «L'atelier d'un peintre», божась, что больше никогда ничего не видала от Михаила Юрьевича в моих руках,

как эти книжки, исписанные на полях его примечаниями, и прибавила, что я их беспрестанно перечитываю и целую, Как после она горько плакала со мной, раскаивалась, что выдала им книжки. «Хоть бы их-то вы теперь читали, — говорила она. — Настращали меня, я испугалась, отдала их, думала, что и вас оставят в покое; так уж я им клялась, что больше ничего не было у вас от Михаила Юрьевича» <...>

Я с особенной радостью и живейшим нетерпением собиралась в следующую среду на бал; так давно не видалась я с Мишелем, и, вопреки всех и вся, решила в уме своем танцевать с ним мазурку.

Приезжаем на бал, — его еще там не было...

Не знаю, достанет ли у меня сил рассказать все, что я выстрадала в этот вечер. Вообще я пишу вкратце, выпускаю многие разговоры, но у меня есть заветная тетрадка, в которую я вписывала, по нескольку раз в день, все его слова, все, что я слышала о нем; мне тяжело вторично воспоминанием перечувствовать былое, и я спешу только довести до конца главные факты этого переворота в моей жизни [49].

Я танцевала, когда Мишель приехал; как стукнуло мне в сердце, когда он прошел мимо меня и... не заметил меня! Я не хотела верить своим глазам и подумала, что он действительно проглядел меня. Кончив танцевать, я села на самое видное место и стала пожирать его глазами, он и не смотрит в мою сторону; глаза наши встретились, я улыбнулась, — он отворотился. Что было со мной, я не знаю и не могу передать всей горечи моих ощущений; голова пошла кругом, сердце замерло, в ушах зашумело, я предчувствовала что-то недоброе, я готова была заплакать, но толпа окружала меня, музыка гремела, зала блистала огнем, нарядами, все казались веселыми, счастливыми... Вот тут-то в первый раз поняла я, как тяжело притворяться и стараться сохранить беспечно-равнодушный вид; однако же, это мне удалось, но, боже мой, чего мне стоило это притворство! Не всех я успела обмануть; я на несколько минут ушла в уборную, чтоб там свободно вздохнуть; за мной последовали мои милые бальные приятельницы, Лиза Б. и Сашенька Ж.

— Что с тобой? Что с вами обоими сделалось? — приставали они ко мне.

— Не знаю, — отвечала я и зарыдала перед ними.

— Я улажу все дело, — сказала Сашенька.

— И я буду о том же *стараться*, — подхватила Лиза.

И в самом деле, в мазурке они беспрестанно подводили ко мне Мишеля. Особливо ценила я эту жертву со стороны Лизы. Она сама страстно любила Лермонтова, однако же уступала мне свою очередь протанцевать с ним, не принимала передо мною торжествующего вида, но сочувствовала моему отчаянию и просила прощения за то, что в этот вечер он за ней ухаживал более, чем за *другими*, — она поневоле сделалась моей соперницей. Зато теперь, когда бедная Лиза сгубила себя для него, потеряна для родных и для света, как бы я была счастлива, если бы мне привелось случайно ее встретить, пожать ей руку, показать ей мое живейшее участие не в одном разочаровании, но в истинном бедствии. Бедная Лиза! Не было у нее довольно силы характера, чтобы противостоять ему — и она погибла.

Когда в фигуре названий Лермонтов подошел ко мне с двумя товарищами и, зло улыбаясь и холодно смотря на меня, сказал: «Haine, mépris et vengeance» *, — я, конечно, выбрала vengeance, как благороднейшее из этих ужасных чувств.

— Вы несправедливы и *жестоки*, — сказала я ему.

— Я теперь такой же, как был всегда.

— Неужели вы всегда меня ненавидели, презирали? За что вам мстить мне?

— Вы ошибаетесь, я не переменился, да и к чему было меняться; напыщенные роли тяжелы и не под силу мне; я действовал откровенно, но вы так охраняемы родными, так недоступны, так изучили теорию любить с их *дозволения,* что мне нечего делать, когда меня не принимают.

— Неужели вы сомневаетесь в моей любви?

— Благодарю за такую любовь!

Он довел меня до места и, кланяясь, шепнул мне:

— Но лишний пленник вам дороже!

В мою очередь я подвела ему двух дам и сказала: «Pardon, dévouement, résignation» **.

Он выбрал résignation, т. е. меня и, язвительно улыбаясь, сказал:

— Как скоро вы покоряетесь судьбе, вы будете очень счастливы!

— Мишель, не мучьте меня, скажите прямо, за что вы сердитесь?

* Ненависть, презрение и месть (*фр.*).

** Прощение, преданность, смирение (*фр.*).

— Имею ли я право сердиться на вас? Я доволен всем и всеми и даже благодарен вам; за все благодарен.

Он уж больше не говорил со мной в этот вечер. Я не могу дать и малейшего понятия о тогдашних моих страданиях; в один миг я утратила все, и утратила так неожиданно, так незаслуженно! Он знал, как глубоко, как горячо я его любила; к чему же мучить меня недоверием, упрекать в кокетстве? Не по его ли советам я действовала, поссорясь с Л<опу>хиным? С той самой минуты, как сердце мое отдалось Мишелю, я жила им одним или воспоминанием о нем, все вокруг меня сияло в его присутствии и меркло без него.

В эту грустную ночь я не могла ни на минуту сомкнуть глаз. Я истощила все средства, чтоб найти причины его перемены, его раздражительности, — и не находила.

«Уж не испытание ли это?» — мелькнуло у меня в голове, и благодатная эта мысль несколько успокоила меня. «Пускай испытывает меня сколько хочет, — сказала я себе, — не боюсь; при первом же свидании я расскажу ему, как я страдала, как терзалась, но скоро отгадала его злое намерение испытания, и что ни холодность его, ни даже дерзость его не могли ни на минуту изменить моих чувств к нему».

Как я переродилась; куда девалась моя гордость, моя самоуверенность, моя насмешливость! Я готова была стать перед ним на колени, лишь бы он ласково взглянул на меня!

Долго ждала я желаемой встречи и дождалась, но он все не глядел и не смотрел на меня, — не было возможности заговорить с ним. Так прошло несколько скучных вечеров, наконец выпал удобный случай, и я спросила его:

— Ради бога, разрешите мое сомнение, скажите, за что вы сердитесь? Я готова просить у вас прощения, но выносить эту пытку и не знать за что — это невыносимо. Отвечайте, успокойте меня!

— Я ничего не имею против вас; что прошло, того не воротишь, да я ничего уж и не требую, словом, я вас больше не люблю, да, кажется, и никогда не любил.

— Вы жестоки, Михаил Юрьевич; отнимайте у меня настоящее и будущее, но прошедшее мое, оно одно мне осталось, и никому не удастся отнять у меня *воспоминание:* оно моя собственность, — я дорого заплатила за него.

Мы холодно расстались... <...>

А. И. ГЕРЦЕН

ИЗ КНИГИ «БЫЛОЕ И ДУМЫ»

В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль.

Московский университет вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с Полежаевской истории. <...>

...Опальный университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее. <...>

Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).

Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет, — мысль, что *здесь* совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим *основу* союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней.

Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах.

С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся, — но и те молчали.

Один пустой мальчик, допрашиваемый своей матерью о маловской истории под угрозою прута, рассказал ей кое-что. Нежная мать, *аристократка* и княгиня, бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса.

История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтоб рассказать ее.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.

— Сколько у вас профессоров в отделении? — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.

— Без Малова девять, — отвечал студент.

Вот этот-то профессор, которого надобно было *вычесть* для того, чтоб осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной; когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.

У всех студентов на лицах был написан один страх: ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.

— Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами, — заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью, — и буря поднялась; свист, шарканье, крик: «Вон его, вон его! Pereat!» * Малов, бледный как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом, и не мог, студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям; аудитория — за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди семнадцати — восемнадцати лет, которые думают об этом.

Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя,

---

* Да сгинет! (*лат.*).

что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. Vae victis * с Николаем; но на этот раз не нам пенять на него [1].

Итак, дело закипело. На другой день после обеда приплелся ко мне сторож из правления, седой старик, который добросовестно принимал à la lettre **, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому. Он в обшлаге шинели принес от «лехтура» записочку — мне было велено явиться к нему в семь часов вечера. <...> Ректором был тогда Двигубский <...> он принял нас чрезвычайно круто и был груб; я порол страшную дичь и был неучтив. <...> Раздраженный Двигубский велел явиться на другое утро в совет, там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утверждение князя Голицына.

Едва я успел в аудитории пять или шесть раз в лицах представить студентам суд и расправу университетского сената, как вдруг в начале лекции явился инспектор, русской службы майор и французский танцмейстер, с унтер-офицером и с приказом в руке — меня взять и свести в карцер. Часть студентов пошла провожать, на дворе тоже толпилась молодежь: видно, меня не первого вели; когда мы проходили, все махали фуражками, руками; университетские солдаты двигали их назад, студенты не шли.

В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел двух арестантов: Арапетова и Орлова; князя Андрея Оболенского и Розенгейма посадили в другую комнату, всего было шесть человек, наказанных по маловскому делу. Нас было велено содержать на хлебе и воде, ректор прислал какой-то суп, мы отказались, и хорошо сделали: как только смерклось и университет опустел, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликеру. Солдат сердился, ворчал, брал двугривенные и носил припасы. После полуночи он пошел далее и пустил к нам несколько человек гостей. Так проводили мы время, пируя ночью и ложась спать днем. <...>

---

* Горе побежденным (*лат.*).

** в буквальном смысле (*фр.*).

Учились ли мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание; его дело — поставить человека à même * продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны — и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей.

ИЗ СТАТЬИ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ»

Рядом с Пушкиным стоит другой поэт — его младший современник, потомок одного из виднейших родов русской аристократии [1]. Как и большинство русских дворян, он с юных лет служил в гвардии. Стихотворение, написанное им на смерть Пушкина, повлекло за собою ссылку на Кавказ: Лермонтов так глубоко полюбил тот край, что в известном смысле его можно считать певцом Кавказа.

Жизнь Лермонтова, хотя он обладал полной материальной независимостью — этим редким для поэтов даром судьбы, — была тем не менее сплошной цепью страданий, о чем достаточно красноречиво говорят его стихотворения. Преданный и открытый в дружбе, непоколебимый и бесстрашный в ненависти, он не раз должен был испытать горечь разочарования. Слишком часто отторгали его от друзей истинных, слишком часто предавали его друзья ложные. Выросший в обществе, где невозможно было открыто высказать все, что переполняло его, он был обречен выносить тягчайшую из человеческих пыток — молчать при виде несправедливости и угнетения. С душою, горевшей любовью к прекрасному и свободному, он был вынужден жить в обществе, которое прикрывало свое раболепие и раз-

* дать ему возможность (*фр.*).

врат фальшивым блеском показного великолепия. Первая же попытка открыто выразить бурлившее в его душе яростное возмущение — ода на смерть Пушкина — навлекла на него изгнание. Путь активной борьбы для него был закрыт, единственное, чего у него не могли отнять, был его поэтический гений, и теперь, когда душа его переполнялась, он обращался к поэзии, вызывая к жизни полные мучительной боли звуки, патетические мелодии, язвительную сатиру или любовную песнь. Его произведения — это всегда правдивое выражение глубоко пережитого и до конца прочувствованного, всегда внутренняя необходимость, порожденная какой-то особой ситуацией, особым импульсом, что, как заметил Гете, всегда служило отличительным признаком истинной поэзии.

Лермонтов находился под сильнейшим влиянием гения Пушкина, с чьим именем, как мы уже сказали, связано начало его литературной известности. Но Лермонтов никогда не был подражателем Пушкина. В отличие от Пушкина Лермонтов никогда не искал мира с обществом, в котором ему приходилось жить: он смертельно враждовал с ним — вплоть до дня своей гибели. День 14 декабря 1825 г., который завершил собою период относительно мягкого царствования Александра, допускавшего некоторые ростки либерализма, и кровавым террором возвестил становление деспотического режима Николая, стал переломным днем в жизни России, в русской литературе. Пушкин в то время находился в зените славы; Лермонтов только вступал в литературу. <...> [2]

Лермонтов принадлежит к числу поэтов, которых принято называть «субъективными». Его произведения отражают прежде всего его собственный внутренний мир — его радости и печали, его надежды и разочарования. Герои Лермонтова — часть его самого; его стихотворения — самая полная его биография. Все это отнюдь не следует понимать в том смысле, что он был лишен качеств объективного поэта. Ничего подобного. Многие его произведения — «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», например, — доказывают, что он в полной мере обладал умением создавать характеры, никак не подсказанные его собственным. Но он принадлежал к тем натурам, в чьих сердцах все струны, связывающие их с эпохой, звучат с такой неистовой силой, что

их творческий гений никогда не может полностью освободиться от личных переживаний, впечатлений, раздумий.

Подобные натуры обычно появляются в периоды упадка устоявшихся форм общественной жизни, в переходное время, когда в обществе господствует скептицизм и нравственное разложение. Кажется, что в такие времена в них одних находят убежище чистейшие идеалы человечества; только их устами они провозглашаются. Они клеймят пороки общества, обнажая свои собственные раны, ошибки и внутреннюю борьбу, и в то же время они искупают и исцеляют этот прогнивший мир, раскрывая красоту и совершенство человеческой натуры, в тайны которой может проникнуть только гений. В их творчестве слиты воедино эпос и лирика, действие и размышление, повествование и сатира. Барбье и более всего Байрон представляют этот тип поэта; оба они, как и Пушкин, оказали на Лермонтова немалое влияние. Пушкин научил его тайнам русского стиха; подобно Байрону он глубоко презирал общество; у Барбье он учился сатире и чеканным формам ее выражения. Но влияния эти ни в малейшей степени не подавили его самобытности, скорее, напротив, они лишь усилили и отточили ее.

Что, однако, особенно примечательно в творчестве Лермонтова — это реализм, который, как мы уже говорили в нашей статье о Пушкине, составляет, пожалуй, наиболее характерную черту русской литературы вообще. Обладая живой и впечатлительной натурой, громадной наблюдательностью, удивительной способностью впитывать в себя впечатления других, русские обладают, по-видимому, всеми необходимыми свойствами, чтобы реализм — эта несомненная основа сегодняшнего искусства — получил широкое развитие в их литературе. Лермонтов, куда бы он ни обращал мысль, всегда остается на твердой почве реальности, и этому-то мы и обязаны исключительной точности, свежести и правдивости его эпических поэм, равно как и беспощадной искренности его лирики, которая всегда есть правдивое зеркало его души.

П. Ф. ВИСТЕНГОФ

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Всех слушателей на первом курсе словесного факультета было около ста пятидесяти человек. Молодость скоро сближается. В продолжение нескольких недель мы сделались своими людьми, более или менее друг с другом сошлись, а некоторые даже и подружились, смотря по роду состояния, средствам к жизни, взглядам на вещи. Выделялись между нами и люди, горячо принявшиеся за науку: Станкевич, Строев, Красов, Компанейщиков, Плетнев, Ефремов, Лермонтов. Оказались и такие, как и я сам, то есть мечтавшие как-нибудь три года промаячить в стенах университетских и затем, схватив степень действительного студента, броситься в омут жизни.

Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что, в свою очередь, и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания.

Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь по обыкновению на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций [1]. Это бросалось всем в глаза. Шум, происходивший при перемене часов преподавания, не производил никакого на него действия. Роста он был небольшого, сложен некрасиво, лицом смугл; темные его волосы были приглажены на голове, темно-карие большие глаза пронзительно впивались в человека. Вся фигура этого

студента внушала какое-то безотчетное к себе нерасположение.

Так прошло около двух месяцев. Мы не могли оставаться спокойными зрителями такого изолированного положения его среди нас. Многие обижались, другим стало это надоедать, а некоторые даже и волновались. Каждый хотел его разгадать, узнать затаенные его мысли, заставить его высказаться.

Как-то раз несколько товарищей обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начатия разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение.

— Вы подойдите к Лермонтову и спросите его, какую он читает книгу с таким постоянным напряженным вниманием. Это предлог для начатия разговора самый основательный.

Не долго думая, я отправился.

— Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее; нельзя ли поделиться ею и с нами? — обратился я к нему не без некоторого волнения.

Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии, сверкнули глаза его. Трудно было выдержать этот неприветливый, насквозь пронизывающий взгляд.

— Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать; вы тут ничего не поймете, если бы я даже и решился сообщить вам содержание е е , — ответил он мне резко и принял прежнюю свою позу, продолжая читать.

Как будто ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его к н и г у , — она была английская.

Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и согласно ответам ставили баллы, которые брались в соображение потом и на публичном экзамене.

Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос.

Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:

— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?

— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным.

Мы все переглянулись.

Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику.

Дерзкими выходками этими профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах [2].

Иногда в аудитории нашей, в свободные от лекций часы, студенты громко вели между собой оживленные суждения о современных интересных вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов иногда отрывался от своего чтения, взглядывал на ораторствующего, но как взглядывал! Говоривший невольно конфузился, умалял свой экстаз или совсем умолкал. Ядовитость во взгляде Лермонтова была поразительна. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице.

Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное Московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает. Не похоже было, что мы с ним были в одном университете, на одном факультете и на одном и том же курсе. Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества и довольно фамильярно разговаривал и прохаживался по залам с почтенными и влиятельными лицами. Танцующим мы его никогда не видали. <...>

Всем студентам была присвоена форменная одежда, наподобие военной: однобортный мундир с фалдами темно-зеленого сукна, с малиновым стоячим воротником и двумя золотыми петлицами, трехугольная шляпа и гражданская шпага без темляка; сюртук двубортный также с металлическими желтыми пуговицами, и фуражка темно-зеленая с малиновым околышком. Посещать лекции обязательно было не иначе как в форменных сюртуках. Вне университета, также на балах и в театре дозволялось надевать штатское платье. Сту-

денты вообще не любили форменной одежды и, относясь индифферентно к этой форме, позволяли себе ходить по улицам Москвы в форменном студенческом сюртуке, с высоким штатским цилиндром на голове.

Администрация тогдашнего университета имела некоторую свою особенность.

Попечитель округа, действительный тайный советник князь Сергей Михайлович Голицын, богач, аристократ в полном смысле слова, был человек высокообразованный, гуманный, доброго сердца, характера мягкого. По высокому своему положению и громадным материальным средствам он имел возможность делать много добра как для всего ученого персонала вообще, так и для студентов (казеннокоштных) в особенности. Имя его всеми студентами произносилось с благоговением и каким-то особенным, исключительным уважением. Занимая и другие важные должности в государстве, он не знал, как бы это следовало, да и не имел времени усвоить себе своей прямой обязанности, как попечителя округа, в отношении всего того, что происходило в ученой иерархии; поэтому он почти всецело передал власть свою двум помощникам своим, графу Панину и Голохвастову. Эти люди были совершенно противоположных князю качеств. Как один, так и другой, необузданные деспоты, видели в каждом студенте как бы своего личного врага, считая нас всех опасною толпою как для них самих, так и для целого общества. Они все добивались что-то сломить, искоренить, дать всем внушительную острастку.

Голохвастов был язвительного, надменного характера. Он злорадствовал всякому случайному, незначительному студенческому промаху и, раздув его до maximum'а, находил для себя особого рода наслаждение наложить на него свою кару.

Граф Панин никогда не говорил со студентами, как с людьми более или менее образованными, что-нибудь понимающими. Он смотрел на них, как на каких-то мальчишек, которых надобно держать непременно в ежовых рукавицах, повелительно кричал густым басом, командовал, грозил, стращал. И обеим этим личностям была дана полная власть над университетом. Затем следовали: инспектора, субинспектора и целый легион университетских солдат и сторожей в синих сюртуках казенного сукна с малиновыми воротниками (университетская полиция — городовые).

Городская полиция над студентами, как своекоштными, так и казеннокоштными, не имела никакой власти, а также и прав карать их. Провинившийся студент отсылался полициею к инспектору студентов или в университетское правление. Смотря по роду его проступка, он судился или инспектором, или правлением университета.

Инспектора казеннокоштных и своекоштных студентов, а равно и помощники их (субинспектора) имели в императорских театрах во время представления казенные бесплатные места в креслах, для наблюдения за нравственностью и поведением студентов во время сценических представлений и для ограждения прав их от произвольных действий полиции и других враждовавших против них ведомств. Студенческий карцер заменял тогда нынешнюю полицейскую кутузку, и эта кара для студентов была гораздо целесообразнее и достойнее.

Как-то однажды нам дали знать, что граф Панин неистовствует в правлении университета. Из любопытства мы бросились туда. Даже Лермонтов молча потянулся за нами. Мы застали следующую сцену: два казеннокоштные студента сидят один против другого на табуретках и два университетских солдата совершают над ними обряд бритья и стрижки. Граф, атлетического роста, приняв повелительную позу, грозно кричал:

— Вот так! Стриги еще короче! Под гребешок! Слышишь! А ты! — обращался он к другому. — Чище брей! Не жалей мыла, мыль его хорошенько!

Потом, обратившись к сидящим жертвам, гневно сказал:

— Если вы у меня в другой раз осмелитесь только подумать отпускать себе бороды, усы и длинные волосы на голове, то я вас прикажу стричь и брить на барабане, в карцер сажать и затем в солдаты отдавать. Вы ведь не дьячки! Передайте это там всем. Ну! Ступайте теперь!

Увидав в эту минуту нашу толпу, он закричал:

— Вам что тут нужно? Вам тут нечего торчать! Зачем вы пожаловали сюда? Идите в свое место!

Мы опрометью, толкая друг друга, выбежали из правления, проклиная Панина.

Иногда эти ненавистные нам личности, Панин и Голохвастов, являлись в аудиторию для осмотра, все

ли в порядке. Об этом давалось знать всегда заранее. Тогда начиналась беготня по коридорам. Субинспектора, университетские солдаты суетились, а в аудиториях водворялась тишина.

Однообразно тянулась жизнь наша в стенах университета. К девяти часам утра мы собирались в нашу аудиторию слушать монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров наших: Победоносцева, Гастева, Оболенского, Геринга, Кубарева, Малова, Василевского, протоиерея Терновского. В два часа пополудни мы расходились по домам. <...>

В старое доброе время любили повеселиться. Процветали всевозможные удовольствия: балы, собранья, маскарады, театры, цирки, званые обеды и радушный прием во всякое время в каждом доме. Многие из нас усердно посещали все эти одуряющие собрания и различные кружки общества, забывая и лекции, и премудрых профессоров наших. Наступило лето, а с ним вместе и роковые публичные экзамены, на которых следовало дать отчет в познаниях своих.

Рассеянная светская жизнь в продолжение года не осталась бесследною. Многие из нас не были подготовлены для сдачи экзаменов. Нравственное и догматическое богословие, а также греческий и латинский языки подкосили нас. Панин и Голохвастов, присутствуя на экзаменах, злорадствовали нашей неудаче. Последствием этого было то, что нас оставили на первом курсе на другой год; в этом числе был и студент Лермонтов[3].

Самолюбие Лермонтова было уязвлено. С негодованием покинул он Московский университет навсегда, отзываясь о профессорах, как о людях отсталых, глупых, бездарных, устарелых, как равно и о тогдашней университетской нелепой администрации[4]. Впоследствии мы узнали, что он, как человек богатый, поступил на службу юнкером в лейб-гвардии Гусарский полк[5].

А. М. МИКЛАШЕВСКИЙ

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ В ЗАМЕТКАХ ЕГО ТОВАРИЩА

Зная, насколько «Русская старина» интересуется подробными сведениями о знаменитых наших соотечественниках, я, как бывший товарищ Михаила Юрьевича Лермонтова, приведу здесь отрывок о нем из старых моих воспоминаний.

Во всех биографиях М. Ю. Лермонтова, сколько мне удавалось читать их, не упоминается, кажется, что до поступления его в Московский университет бабушка его, Арсеньева, определила его в Московский университетский благородный пансион. Сколько могу припомнить, кажется, он, хорошо, видно, дома подготовленный, поступил в пятый класс [1], откуда он, не кончив последнего, шестого класса, скоро вышел. Много было напечатано воспоминаний бывших учеников пансиона, а потому я ограничусь только сообщением о том времени, когда Лермонтов был в числе воспитанников.

Лучшие профессора того времени преподавали у нас в пансионе, и я еще живо помню, как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес к нам в класс только что вышедшее стихотворение Пушкина

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
и проч.[2],—

и как он, древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя все уподобления невозможными, неестественными, и как все это бесило тогда Лермонтова. Я не помню, конечно, какое именно стихотворение представил Лермонтов Мерзлякову; но чрез

несколько дней, возвращая все наши сочинения на заданные им темы, он, возвращая стихи Лермонтову, хотя и похвалил их, но прибавил только: «молодо-зелено», какой, впрочем, аттестации почти все наши сочинения удостаивались[3]. Все это было в 1829 или 1830 году, за давностью хорошо не помню. Нашими соучениками в то время были блистательно кончившие курс братья Д. А. и Н. А. Милютины[4] и много бывших потом государственных деятелей.

В последнем, шестом классе пансиона сосредоточивались почти все университетские факультеты, за исключением, конечно, медицинского. Там преподавали все науки, и потому у многих во время экзамена выходил какой-то хаос в голове. Нужно было приготовиться, кажется, из тридцати шести различных предметов. Директором был у нас Курбатов. Инспектором, он же и читал физику в шестом классе, М. Г. Павлов. Судопроизводство — старик Сандунов. Римское право — Малов, с которым потом была какая-то история в университете[5]. Фортификацию читал Мягков. Тактику, механику и проч. и проч. я уже не помню кто читал. Французский язык — Бальтус, с которым ученики проделывали разные шалости, подкладывали ему под стул хлопушки и проч.

Всем нам товарищи давали разные прозвища. В памяти у меня сохранилось, что Лермонтова, не знаю почему, прозвали лягушкою. Вообще, как помнится, его товарищи не любили, и он ко многим приставал. Не могу припомнить, пробыл ли он в пансионе один год или менее, но в шестом классе к концу курса он не был[6]. Все мы, воспитанники Благородного пансиона, жили там и отпускались к родным по субботам, а Лермонтова бабушка ежедневно привозила и отвозила домой.

В 1832 году я снова встретился с Лермонтовым в Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Известно, что в школе он был юнкером л.-гв. Гусарского полка и вышел в тот же полк корнетом. Гвардейская школа помещалась тогда у Синего моста в огромном доме, бывшем потом дворце в. кн. Марии Николаевны. Мы, пехотинцы, помещались в верхнем этаже, кавалерия и классы — в среднем. Пехотные подпрапорщики мало и редко сближались с юнкерами, которые называли нас «крупою». Иногда в свободное время юнкера

заходили к нам в рекреационную небольшую залу, где у нас находился старый разбитый рояль.

В одной провинциальной газете («Харьковские ведомости», № 191, 28 июля 1884 г.) в статье «Обзор периодической печати» помещен отрывок из журнала «Русская мысль» П. Висковатова о пребывании Лермонтова в Школе гвардейских юнкеров[7]. Настоящая статья моя — воспоминание старика о М. Ю. Лермонтове — вызвана не совсем верным и точным сообщением г. Висковатова о нашем школьном времени.

В конце 1820-х и самом начале 1830-х годов для молодых людей, окончивших воспитание, предстояла одна карьера — военная служба. Тогда не было еще училища правоведения, и всех гражданских чиновников называли подьячими. Я хорошо помню, когда отец мой, представляя нас, трех братьев, великому князю Михаилу Павловичу, просил двух из нас принять в гвардию и как его высочество, взглянув на третьего, небольшого роста, сказал: «А этот в подьячие пойдет». Вот как тогда величали всех гражданских чиновников, и Лермонтов, оставив университет, поневоле должен был вступить в военную службу и просидеть два года в школе.

Обращение с нами в школе было самое гуманное, никакого особенно гнета, как пишет Висковатов, мы не чувствовали. Директором был у нас барон Шлиппенбах. Ротой пехоты командовал один из добрейших и милых людей, полковник Гельмерсен, кавалериею — полковник Стунеев, он был женат на сестре жены М. И. Глинки[8]. Инспектором классов — добрейшая личность, инженер, полковник Павловский. Дежурные офицеры обращались с нами по-товарищески. Дежурные, в пехоте и кавалерии, спали в особых комнатах около дортуаров. Утром будили нас, проходя по спальням, и никогда барабанный бой нас не тревожил, а потому, как пишет Висковатов, нервы Лермонтова от барабанного боя не могли расстроиваться. Дежурные офицеры были у нас: А. Ф. Гольтгоф, впоследствии генерал, князь Химшеев, Нагель, Андрей Федорович Лишен, впоследствии директор какого-то корпуса. Кавалеристов не помню, за исключением ротмистра л.-гв. Уланского полка Клерона, лихого француза, и все эти господа обращались с юнкерами совершенно по-товарищески, и, может быть, это обращение с нами начальства было причиною, что, не желая огорчить

кого-нибудь из любимых нами дежурных, в двухлетнее пребывание мое в школе я не помню, чтобы кто-нибудь подвергался взысканию. По субботам мы, бывало, отправлялись по очереди, по два от пехоты и кавалерии, во дворец к великому князю Михаилу Павловичу и обедали за одним с его высочеством столом.

Профессор П. А. Висковатов в статье своей о пребывании Лермонтова в школе совершенно ошибочно передает: «Группировались в свободное время и около Вонлярлярского, который привлекал к себе многих неистощимыми, забавными рассказами. С ним соперничал Лермонтов, никому не уступавший в остротах и веселых шутках». Все это передано совсем неверно. Действительно, в одно время с ними был в школе, в пехоте, известный потом остряк-повеса Костя Булгаков [9]. Константин Александрович Булгаков, сын бывшего московского почт-директора, бывший наш школьный товарищ, обладал многими талантами. Всегда веселый, остряк, отличный музыкант, он в свободное время действительно группировал около себя всех нас, и к нам наверх приходили Лермонтов и другие юнкера. Во время пения, весьма часто разных скабрезных куплетов, большею частью аккомпанировал Мишель Сабуров [10], который, кажется, наизусть знал все тогдашние французские шансонетки и в особенности песни Беранже. Костя Булгаков, как мы его обыкновенно называли, был общий любимец и действительно примечательная личность. К сожалению, от слишком сильного разгула он рано кончил жизнь. Шутки и остроты его не ограничивались только кругом товарищей, он часто забавлял ими великого князя Михаила Павловича. В то время много анекдотов передавали о похождениях Булгакова. Вот с этою-то личностью соперничал в остротах Лермонтов, а не с названною ошибочно Висковатовым. В романе Писемского «Масоны» фигурирует Булгаков и даже есть портрет его, но вовсе несхожий.

Третий и последний раз я встретился уже с Лермонтовым в 1837 году, не помню — в Пятигорске или Кисловодске, на вечере у знаменитой графини Ростопчиной. Припоминаю, что на этом вечере он был грустный и скоро исчез, а мы долго танцевали. В это время, кажется, он ухаживал за M-lle Эмилиею Верзилиной [11],

прозванной им же, кажется, La Rose du Caucase *. Все эти подробности давно известны, и не для чего их повторять.

В Кисловодске я жил с двумя товарищами на одной квартире: князем Владимиром Ивановичем Барятинским, бывшим потом генерал-адъютантом, и князем Александром Долгоруким, тоже во цвете лет погибшим на дуэли. К нам по вечерам заходил Лермонтов с общим нашим приятелем, хромым доктором Мейером, о котором он в «Герое нашего времени» упоминает [12]. Веселая беседа, споры и шутки долго, бывало, продолжались.

Вот мои заметки о бывшем моем товарище Михаиле Юрьевиче Лермонтове.

10 августа 1884 г.
д. Вороная

---

* Роза Кавказа (*фр.*).

А. Ф. ТИРАН

ИЗ ЗАПИСОК

Выступаем мы, бывало: эскадрон выстроен; подъезжает карета старая, бренчащая, на тощих лошадях; из нее выглядывает старушка и крестит нас. «Лермонтов, Лермонтов! — бабушка». Лермонтов подскачет, закатит ланцады [1] две-три, испугает бабушку и, довольный собою, подъезжает к самой карете. Старушка со страху спрячется, потом снова выглянет и перекрестит своего Мишу. Он любил свою бабушку, уважал ее — и мы никогда не оскорбляли его замечаниями про тощих лошадей. Замечательно, что никто не слышал от него ничего про его отца и мать. Стороной мы знали, что отец его был пьяница, спившийся с кругу, и игрок, а история матери — целый роман...

В школу (старая юнкерская, теперешняя Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров) мы поступали не моложе 17 лет, а доходило до 26; все из богатого дома, все лентяи, один Лермонтов учился отлично. У нас издавался журнал: «Школьная заря», главное участие в ней принимали двое: Лермонтов и Мартынов, который впоследствии так трагически разыграл жизнь Лермонтова. В них сказывался талант в обоих; [2] в этой «Заре» помещены были многие пьесы, попавшие потом в печать: «Казначейша», «Демон»; [3] но были и такие, которые остались между нами: «Петергофское гулянье», «Переход в лагери» [4], отрывок которого я сказал в начале, и многие другие; между прочим «Юнкерская молитва»:

Отец небесный [5],

. . . .

Помню, раз сидим мы за обедом: подают говядину под соусом; Лермонтов выходит из себя, бросает вилку, нож с возгласом:

Всякий день одно и то же:
Мясо под хреном —
Тем же манером!

Мартынов писал прозу. Его звали homme féroce *: бывало, явится кто из отпуска поздно ночью: «Ух, как холодно!..» — «Очень холодно?» — «Ужасно». Мартынов в одной рубашке идет на плац, потом, конечно, болен. Или говорят: «А здоров такой-то! какая у него грудь славная». — «А разве у меня не хороша?» — «Все ж не так». — «Да ты попробуй, ты ударь меня по груди». — «Вот еще, полно». — «Нет, попробуй, я прошу тебя, ну ударь!..» — Его и хватят так, что опять болен на целый месяц.

Мы поступали не детьми, и случалось иногда явиться из отпуска с двумя бутылками под шинелью. Службу мы знали и исполняли, были исправны, а вне службы не стесняли себя. Все мы были очень дружны, историй у нас не было никаких. Раз подъезжаем я и Лермонтов на ординарцы, к в<еликому> к<нязю> Михаилу Павловичу; спешились, пока до нас очередь дойдет. Стоит перед нами казак — огромный, толстый; долго смотрел он на Лермонтова, покачал головою, подумал и сказал: «Неужто лучше этого урода не нашли кого на ординарцы посылать...» Я и рассказал это в школе — что же? Лермонтов взбесился на казака, а все-таки не на меня.

Лермонтов имел некрасивую фигуру: маленького роста, ноги колесом, очень плечист, глаза небольшие, калмыцкие, но живые, с огнем, выразительные. Ездил он верхом отлично.

Мы вышли в один полк. Веселое то было время. Денег много, жизнь копейка, все между собою дружны... Или, случалось, сидишь без денег; ну после того, как заведутся каких-нибудь рублей 60 ассигнациями, обед надо дать — как будто на 60 рублей и в самом деле это возможно. Вот так-то случилось раз и со мною: «Ну, говорю, Монго, надо кутнуть». Пригласили мы человек 10, а обед на 12. Собираются у меня: стук, шум... «А я, — говорит Монго, — еще двух пригласил». — «Как же быть? и я двух позвал». Смотрим, приходят незва-

---

* свирепый (зверский) человек (*фр.*).

ные — «Беда!» Является Лермонтов — всего человек уж с 20. Видим, голод угрожает всем нам. Монго подходит к Лермонтову: «Вас кто пригласил?»

— Меня?!. (а он буян такой). Мне везде место, где есть гусары, — и с громом садится.

— Нет, позвольте: кто вас пригласил?.. — Ему же самому есть ужасно хочется.

Ну, конечно, всем достало, все были сыты: дамы и не гнались за обедом, а хотели общества...

Мы любили Лермонтова и дорожили им; мы не понимали, но как-то чувствовали, что он может быть славою нашей и всей России; а между тем, приходилось ставить его в очень неприятные положения. Он был страх самолюбив и знал, что его все признают очень умным; вот и вообразит, что держит весь полк в руках, и начинает позволять себе порядочные дерзости, тут и приходилось его так цукнуть, что или дерись, или молчи. Ну, он обыкновенно обращал в шутку. А то время было очень щекотливое: мы любили друг друга, но жизнь была для нас копейка: раз за обедом подтрунивали над одним из наших, что с его ли фигурою ухаживать за дамами, а после обеда — дуэль...[6]

Лермонтов был чрезвычайно талантлив, прекрасно рисовал[7] и очень хорошо пел романсы, т. е. не пел, а говорил их почти речитативом.

Но со всем тем был дурной человек: никогда ни про кого не отзовется хорошо; очернить имя какой-нибудь светской женщины, рассказать про нее небывалую историю, наговорить дерзостей — ему ничего не стоило. Не знаю, был ли он зол или просто забавлялся, как гибнут в омуте его сплетен, но он был умен, и бывало ночью, когда остановится у меня, говорит, говорит — свечку зажгу: не черт ли возле меня? Всегда смеялся над убеждениями, призирал тех, кто верит и способен иметь чувство... Да, вообще это был «приятный» человек!.. Между прочим, на нем рубашку всегда рвали товарищи, потому что сам он ее не менял...

Хоть бы его «Молитва» — вот как была сочинена: мы провожали из полка одного из наших товарищей. Обед был роскошный. Дело происходило в лагере. После обеда Лермонтов с двумя товарищами сел в тележку и уехал; их растрясло — а вина не жалели, — одному из них сделалось тошно. Лермонтов начал:

«В минуту жизни трудную...» Когда с товарищем происходил весь процесс тошноты, то Лермонтов декламировал:

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых... —

и наконец:

С души как бремя скатится...

Может быть, он прежде сочинил «Молитву», но мы узнали ее на другой день.

Вообще Лермонтов был странный человек: смеялся над чувством, презирал женщин, сочинял стихи, вроде:

Поверю совести присяжного дьяка,
Поверю доктору, жиду и лицемеру,
Поверю, наконец, я чести игрока,
Но клятве женской не поверю...[8] —

а дрался за женщину, имя которой было очень уж не светлое[9]. Рассказал про эту дуэль как про величайшую тайну, а выбрал в поверенные самых болтунов, зная это. Точно будто хотел драпироваться в свою таинственность... За эту дуэль он был сослан второй раз на Кавказ.

Проезжая через Москву, он был в семействе Мартынова, где бывал юнкером принят как родной. Мартынов из школы вышел прямо на Кавказ. Отец его принял Лермонтова очень хорошо и, при отправлении, просил передать письмо сыну. У Мартынова была сестра; она сказала, что в том же конверте и ее письмо. Дорогой Лермонтов, со скуки, что ли, распечатал письмо это, прочел и нашел в нем 300 руб. Деньги он спрятал и при встрече с Мартыновым сказал ему, что письмо он потерял, а так как там были деньги, то он отдает свои. Между тем стали носиться по городу разные анекдоты и истории, основанные на проказах m-lle Мартыновой; брат пишет выговор сестре, что она так ветрено ведет себя, что даже Кавказ про нее рассказывает, — а отца благодарит за деньги, причем рассказывает прекрасный поступок Лермонтова. Отец отвечает, что удивляется, почему Лермонтов мог знать, что в письме деньги, если этого ему сказано не было и на конверте не написано; сестра пишет, что она писала ему, правда, всякий вздор, похожий на тот, про который он говорит, но то письмо потеряно Лермонтовым.

Мартынов приходит к Лермонтову: «Ты прочел письмо ко мне?..»

— Да.

— Подлец!

Они дрались. Первый стрелял Лермонтов.

— Я свиней не бью. — И выстрелил на воздух.

— А я так бью!...

Теперь слышишь, все Лермонтова жалеют, все его любят... Хотел бы я, чтоб он вошел сюда хоть сейчас: всех бы оскорбил, кого-нибудь осмеял бы... Мы давали прощальный обед нашему любимому начальнику [10]. Все пришли, как следует, в форме, при сабле. Лермонтов был дежурный и явился, когда все уже сидели за столом; нимало не стесняясь, снимает саблю и становит ее в угол. Все переглянулись. Дело дошло до вина. Лермонтов снимает сюртук и садится за стол в рубашке.

— Поручик Лермонтов, — заметил старший, — извольте надеть ваш сюртук.

— А если я не надену?..

Слово за слово. «Вы понимаете, что после этого мы с вами служить не можем в одном полку?!»

— А куда же вы выходите, позвольте вас спросить? — Тут Лермонтова заставили одеться.

Ведь этакий был человек: мы с ним были в хороших отношениях, у меня он часто ночевал (между прочим, оттого, что свою квартиру никогда не топил), а разтаки на дежурстве дал мне саблею шрам.

И. В. АННЕНКОВ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАРОЙ ШКОЛЕ ГВАРДЕЙСКИХ ПОДПРАПОРЩИКОВ И ЮНКЕРОВ. 1831 ГОД

Я поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров юнкером л.-гв. в конный полк в начале 1831 года — в то самое время, когда полки гвардии только что выступили в польский поход, который, между прочим, отозвался и на школе. Сначала было объявлено, что все юнкера пойдут в поход со своими полками, а когда они изготовились к выступлению, состоялось другое распоряжение, по коему в поход назначены были только юнкера первого класса [1], второму приказано было остаться в школе, а чтобы пополнить численность эскадрона, назначено было произвести экзамены и допустить прием в школу не в урочное время, то есть не в августе, как всегда было, а в генваре. Я был в числе тех новичков, которые держали экзамен и поступили в школу в генваре 1831 года.

Приемный экзамен, который мы держали для поступления в школу, производился в то время не тем порядком, который соблюдается теперь, то есть экзаменующихся не вызывали для ответов поодиночке, а несколько новичков в одно время распределялись по учителям, для которых в разных углах конференц-залы поставлены были столы и классные доски. Таким образом, каждый экзаменовался отдельно, и учитель, проэкзаменовав его, подходил к большому столу, который стоял посередине конференц-залы, и заявлял инспектору классов, сколько каждый экзаменующийся заслуживал баллов. <...>

Приступая к описанию обычной, ежедневной жизни юнкеров, я должен оговориться, что я имею в виду

представить отдельно два периода внутреннего устройства школы. Первый период, с которого я начал свой рассказ, охватывает то время, когда командиром школы был Годейн, а эскадронным командиром Гудим-Левкович. Это время известно под названием старой школы, о которой все мы сохранили самую задушевную память и которая кончила свое существование с назначением в 1831 году командиром школы Шлиппенбаха. Второй период, то есть время Шлиппенбаха, будет заключать в себе тяжкую для нас годину, когда строгости и крутые меры довели нашу школу до положения кадетского корпуса. Мы вынесли всю тяжесть преобразования или, иначе сказать, подтягивания нас, так что мне остается только пожалеть, что я не могу присоединить к моему рассказу третьего периода, когда Шлиппенбах почил на своих лаврах, то есть предался всецело карточной игре, и закваска старой школы всплыла опять наверх. Я уже не застал ее в школе. Считаю необходимым сделать и еще одну оговорку: учебную часть в школе я никак не мог подвести под это распределение периодов, потому что назначение Шлиппенбаха начальником школы, столь тяжело отозвавшееся для нас во всем другом, не имело никакого влияния на учебную часть. Шлиппенбах заходил в классы, собственно, для того, чтобы посмотреть, смирно ли мы сидим и не высунулась ли у кого из нас рубашка из-под куртки, а научная часть не только не занимала его, но он был враг всякой науке. Он принадлежал к той школе людей, которые были убеждены, что лицо, занимающееся науками, никогда не может быть хорошим фронтовым офицером. <...>

По существовавшему тогда обыкновению входная дверь в эскадрон на ночь запиралась и ключ от нее приносился в дежурную комнату. Стало быть, внезапного ночного посещения эскадрона кем-либо из начальников нельзя было ожидать никоим образом, и юнкера, пользуясь этим, долго засиживались ночью, одни за вином, другие за чтением какого-нибудь романа, но большею частью за картами. Это было любимое занятие юнкеров, и, бывало, когда ляжешь спать, из разных углов долго еще были слышны возгласы: «Плие, угол, атанде». <...>

Нельзя не заметить, что школьные карточные сборища имели весьма дурной характер в том отношении, что игра велась не на наличные деньги, а на долговые

записки, уплата по которым считалась долгом чести, и действительно, много юнкеров дорого поплатилось за свою неопытность: случалось, что карточные долговые расчеты тянулись между юнкерами и по производстве их в офицеры. Для примера позволю себе сказать, что Бибиков, тот самый юнкер, хорошо приготовленный дома в науках, который ничему не учился в школе и вышел первым по выпуску, проиграл одному юнкеру десять тысяч рублей — сумму значительную по тому времени. Нужно заметить при этом, что распроигрался он так сильно не в самом эскадроне, а в школьном лазарете, который был в верхнем этаже и имел одну лестницу с эскадроном. Лазарет этот большей частью был пустой, а если и случались в нем больные, то свойство известной болезни не мешало собираться в нем юнкерам для ужинов и игры в карты. Доктор школы Гасовский известен был за хорошего медика, но был интересан и имел свои выгоды мирволить юнкерам. Старший фельдшер школы Ушаков любил выпить, и юнкера, зная его слабость, жили с ним дружно. Младший фельдшер Кукушкин, который впоследствии сделался старшим, был замечательный плут. Расторопный, ловкий и хитрый, он отводил заднюю комнату лазарета для юнкеров, устраивал вечера с ужинами и карточной игрой, следил за тем, чтобы юнкера не попались, и надувал их сколько мог. Не раз юнкера давали ему потасовку, поплачивались за это деньгами и снова дружились. Понятно при этом, что юнкера избрали лазарет местом своих сборищ, где и велась крупная игра. <...>
Я сказал уже перед сим несколько слов о курении, но желал бы возвратиться к этому предмету, потому что он составлял лучшее наслаждение юнкеров. Замечу, что папиросок тогда не существовало, сигар юнкера не курили, оставалась, значит, одна только трубка, которая, в сущности, была в большом употреблении во всех слоях общества. Мы щеголяли чубуками, которые были из превосходного черешневого дерева, такой длины, чтобы чубук мог уместиться в рукаве, а трубка была в размере на троих, чтобы каждому пришлось затянуться три раза. Затяжка делалась таким образом, что куривший, не переводя дыхания, втягивал в себя табачный дым, сколько доставало у него духу. Это отуманивало обыкновенно самые крепкие натуры, чего, в сущности, и желали. Юнкера составляли для курения особые артели и по очереди несли обязанность хра-

нения трубок. Наша артель состояла из Шигорина конной гвардии, Новикова тоже конной гвардии, Чернова конно-пионера и, наконец, меня. Мое дело состояло в том, чтобы стоять, когда закурят трубку, на часах в дверях между двух кирасирских камер, смотреть на дежурную комнату, а когда покажется начальник, предупредить куривших словами «Николай Николаевич». Лозунг этот был нами выбран потому, что вместе с нами поступил юнкер Пантелеев, которого звали этим именем и который до того был тих и робок, что никому и в голову не могла прийти мысль, чтобы он решился курить. Курение производилось большей частью в печке кирасирской камеры, более других прикрытой от дежурного офицера. Когда вся артель выполнит свое дело, я докуривал остальное, выколачивал трубку и относил ее в левом рукаве в свой шкапчик, где и закутывал в шинель, пропитавшуюся от того вместе с шкапчиком едким запахом табачного сока. Сколько я помню, я долго исполнял должность хозяйки [2], пока сам не вступил в права деятельного члена артели, приучившись и привыкнув курить до такой степени, что, долго спустя по выходе из школы, я не курил другого табаку, кроме известного под именем «двухрублевого Жукова».

Знакомство нас, новичков, с обычаями и порядками юнкеров продолжалось недолго, и госпитальное препровождение времени было первым, о котором мы узнали, чего, в сущности, и скрыть было невозможно. Затем познакомились мы с другой лазейкой, чрезвычайно удобной во многих *отношениях*, — с людскими комнатами офицерских квартир, отделенными широким коридором от господских помещений. Они находились в отдельном доме, выходящем на Вознесенский проспект. Оттуда посылали мы за вином, обыкновенно за портвейном, который любили за то, что был крепок и скоро отуманивал голову. В этих же притонах у юнкеров была статская одежда, в которой они уходили из школы, потихоньку, разумеется. И здесь нельзя не сказать, до какой степени все сходило юнкерам безнаказанно. Эта статская одежда состояла из партикулярной только шинели и такой же фуражки; вся же прочая одежда была та, которую юнкера носили в школе; даже шпор, которые никак не сходились со статской одеждой, юнкера не снимали. Особенно любили юнкера надевать на себя лакейскую форменную одежду и пользовались ею очень часто, потому что в ней можно было

возвращаться в школу через главные ворота у Синего моста.

Познакомившись с этими притонами, мы, новички, мало-помалу стали проникать во все таинства разгульной жизни, о которой многие из нас, и я первый в том числе, до поступления в школу и понятия не имели. Начну с тех любимых юнкерами мест, которые они особенно часто посещали. Обычными местами сходок юнкеров по воскресеньям были Фельет на Большой Морской, Гане на Невском, между двумя Морскими, и кондитерская Беранже у Синего моста. Эта кондитерская Беранже была самым любимым местом юнкеров по воскресеньям и по будням; она была в то время лучшей кондитерской в городе, но главное ее достоинство состояло в том, что в ней отведена была отдельная комната для юнкеров, за которыми ухаживали, а главное, верили им в долг. Сообщение с ней велось в школе во всякое время дня; сторожа непрерывно летали туда за мороженым и пирожками. В те дни, когда юнкеров водили в баню, этому Беранже была большая работа: из его кондитерской, бывшей наискось от бани, носились и передавались в окно подвального этажа, где помещалась баня, кроме съестного, ликеры и другие напитки. Что творилось в этой бане, считаю излишним припоминать, скажу только, что мытья тут не было, а из бани зачастую летали пустые бутылки на проспект. <...>

...Несмотря на возраст юнкеров (в школу могли поступать только лица, имевшие не менее семнадцати лет), между ними преобладали школьные, детские проказы, вроде того, например, чтобы подделать другому юнкеру кровать, причем вся камера выжидала той минуты, когда тот ляжет на нее и вместе с досками и тюфяком провалится на землю, или, когда улягутся юнкера спать, протянуть к двери веревку и закричать в соседней камере: «Господа, из нашего окна виден пожар». Потеха была, когда все кинутся смотреть пожар и образуют в дверях кучку. Эта школьная штука удалась нам один раз уже через меру хорошо. В кучке очутился дежурный офицер уланского полка Дризен, выбежавший из своей комнаты тоже посмотреть на пожар. Рассердился он сначала, да скоро обошелся. <...>

Как ни странным покажется, но справедливость требует сказать, что, несмотря на такое преобладание между юнкерами школьного ребяческого духа, у них

был развит в сильной степени point d'honneur * офицерских кружков; Мы отделяли шалость, школьничество, шутку от предметов серьезных, когда затрагивалась честь, достоинство, звание или наносилось личное оскорбление. Мы слишком хорошо понимали, что предметами этими шутить нельзя, и мы не шутили ими. В этом деле старые юнкера имели большое значение, направляя, или, как говорилось обыкновенно, вышколивая новичков, в числе которых были люди разных свойств и наклонностей. Тем или другим путем, но общество, или, иначе сказать, масса юнкеров достигала своей цели, переламывая натуры, попорченные домашним воспитанием, что, в сущности, и не трудно было сделать, потому что одной личности нельзя же было устоять противу всех. Нужно сказать, что средства, которые употреблялись при этом, не всегда были мягки, и если весь эскадрон невзлюбит кого-нибудь, то ему было не хорошо. Особенно преследовались те юнкера, которые не присоединялись к товарищам, когда были между ними какие-нибудь соглашения, не любили также и тех, которые передавали своим родным, что делалось в школе, и это потому, что родные, в особенности маменьки, считали своею обязанностью доводить их жалобы до сведения начальства. Предметом общих нападок были вообще те, которые отделялись от общества с юнкерами или заискивали в начальстве, а также натуры вялые, хилые и боязливые. Более всего подвергались преследованию новички, не бывшие до поступления в школу в каком-нибудь казенном или общественном заведении и являвшиеся на службу прямо из-под маменькиного крылышка, в особенности если они, как тогда выражались, подымали нос. Нельзя не заметить при этом, что школьное перевоспитание, как оно круто ни было, имело свою хорошую сторону в том отношении, что оно формировало из юнкеров дружную семью, где не было места личностям, не подходящим под общее настроение. <...>

Позволю себе несколько слов о бритье, которое играло в нашем туалете немаловажную роль. Все юнкера имели то убеждение, что чем чаще они будут бриться, тем скорее и гуще отрастут у них борода и усы, а желание иметь усы было преобладающей мечтою всего эскадрона. На этом основании все те, у кого не было еще

* чувство чести (*фр.*).

и признаков бороды, заставляли себя брить по нескольку раз в сутки. Операцией этой занимался инвалидный солдат Байков, высокий худощавый мужчина, ходивший в эскадрон во всякое время и всегда с мыльницею и бритвами. Мы его любили за то, что он хотя и был ворчун, но выполнял наши требования. Случалось, что выйдешь за чем-нибудь из класса и, встретив его, скажешь: «Байков, брей», — и он на том же самом месте, где застал требование, намылит место для усов и выбреет. И это случалось по нескольку раз в день.

Чтобы покончить с туалетной частью, упомяну тех лиц, которые снабжали нас предметами обмундирования. Вот перечень наших поставщиков: белые фуражки без козырьков делал нам литаврщик конной гвардии Афанасьев, который один умел давать им чрезвычайно шикарный вид, сохраняя при этом форму; он до такой степени усовершенствовался в делании фуражек, что работал почти на весь город. Каски наши с плоским гребнем делал замечательно красиво, с большим вкусом еврей Эдельберг, не имевший на свое имя ни лавки, ни фирмы какой-нибудь, а был он просто личностью, таскавшейся в эскадрон, где служил потехою юнкеров. Ленивый разве его не тормошил и не таскал; он же делал нам и кирасы, тоже весьма щеголевато, и брал за все втридорога. Лосину заказывали одни у Френзеля, а другие у Хунгера, у первого лосина была лучше, но поверят ли теперь, что у него лосина стоила сто рублей; второй был попроще, работал недурно и брал человеческие цены; я платил у него за лосину с красными перчатками 25 руб. Рейтузы составляли для нас предмет первой важности, и трудно было приноровиться к нашим требованиям, которые состояли в том, чтобы рейтузы выполняли, во-первых, главное свое назначение, то есть чтобы подходили под шаг, потом, чтобы от талии к коленам они немного суживались, а от колен книзу чтобы шли расширяясь. Один только портной умел удовлетворять эти требования и славился умением шить рейтузы, — это был дворовый человек юнкера Хомутова, по имени Иван. Колеты, шинели и куртки нам шили в школьной швальне. <...>

Учебный курс продолжался в школе два года; сначала поступали во второй класс, а потом переводили в первый, откуда уже юнкера выпускались в офицеры. Поступление мое в школу совпало с тем временем, когда первого класса не было, за уходом юнкеров этого

класса в поход. Второй класс доканчивал курс и в мае месяце должен был держать переходные экзамены. Нам, новичкам, поступившим в феврале, предоставлено было право или присоединиться ко второму классу и с ним держать экзамен для перехода в первый класс (таких нашлось немного), или начать курс с начала его, то есть с 1 августа (таких было большинство, и я в том числе). Таким образом, хотя мы и ходили до лагеря в классы, но ничем не занимались, да, в сущности, мало занимались и другие. Классы посвящались обыкновенно разговорам, чтению книг, которые прятались по приходе начальника, игре в орлянку на задней скамейке и шалостям с учителем.

В. И. АННЕНКОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Между адъютантами великого князя я часто встречала Философова Алексея Илларионовича, Александра Грёссера, Шипова, Бакунина — и решила найти среди них, мужа для семнадцатилетней хорошенькой кузины моего мужа, которую я вывожу на балы, спектакли и концерты. Это Аннет Столыпина [1], дочь старой тетушки Натальи Алексеевны Столыпиной. У этой старой тетушки есть сестра, еще более пожилая и слабая, чем она, Елизавета Алексеевна Арсеньева. Это — бабушка Михаила Лермонтова, знаменитого поэта, которому в 1832 году было восемнадцать или девятнадцать лет.

Он кончил учение в пансионе при Московском университете и, к большому отчаянью бабушки, которая его обожает и балует, упорно хочет стать военным и поступил в кавалерийскую школу подпрапорщиков.

Однажды к нам приходит старая тетушка Арсеньева вся в слезах. «Батюшка мой, Николай Николаевич! — говорит она моему м у ж у . — Миша мой болен и лежит в лазарете школы гвардейских подпрапорщиков!»

Этот избалованный Миша был предметом обожания бедной бабушки, он последний и единственный отпрыск многочисленной семьи, которую бедная старуха видит угасающей постепенно. Она испытала несчастье потерять всех своих детей одного за другим [2]. Ее младшая дочь мадам Лермонтова умерла последней в очень молодых годах, оставив единственного сына, который потому-то и превратился в предмет всей нежности и заботы бедной старушки. Она перенесла на него всю материнскую любовь и привязанность, какие были у нее к своим детям.

Мой муж обещал доброй почтенной тетушке немедленно навестить больного юношу в госпитале школы подпрапорщиков и поручить его заботам врача.

Корпус школы подпрапорщиков находился тогда возле Синего моста; позднее его перевели в другое место. А громадное здание, переделанное снизу доверху, стало дворцом великой княгини Марии Николаевны.

Мы отправились туда в тот же день на санях.

В первый раз я увидела будущего великого поэта Лермонтова.

Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрым, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагородно.

Мы нашли его не прикованным к постели, а лежащим на койке и покрытым солдатской шинелью. В таком положении он рисовал и не соблаговолил при нашем приближении подняться. Он был окружен молодыми людьми, и думаю, ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам, пришедшим его навестить.

Мой муж обратился к нему со словами привета и представил ему новую кузину. Он смерил меня с головы до ног уверенным и недоброжелательным взглядом. Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени.

Мы его больше не видели и совершенно потеряли из виду, так как скоро покинули Петербург, а когда мы туда вернулись, мы там его уже не нашли.

Я видела его еще только один раз в Москве, если не ошибаюсь, в 1839 году; он уже написал своего «Героя нашего времени», где в лице Печорина изобразил самого себя [3].

На этот раз мы разговаривали довольно долго и танцевали контрданс на балу у Базилевских (мадам Базилевская, рожденная Грёссер).

Он приехал с Кавказа и носил пехотную армейскую форму. Выражение лица его не изменилось — тот же мрачный взгляд, та же язвительная улыбка. Когда он, небольшого роста и коренастый, танцевал, он напоминал армейского офицера, как изображают его в «Горе от ума» в сцене бала.

У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог успокоиться оттого, что не был красив, пленителен, элегантен. Это составляло его несчастие. Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика. Больше я его не видела и была очень потрясена его смертью, ибо малая симпатия к нему самому не мешала мне почувствовать сердцем его удивительную поэзию и его настоящую ценность.

Я знала того, кто имел несчастье его у б и т ь , — незначительного молодого человека, которого Лермонтов безжалостно изводил. <...> Ожесточенный непереносимыми насмешками, он вызвал его на дуэль и лишил Россию ее поэта, лучшего после Пушкина.

А. М. МЕРИНСКИЙ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ В ЮНКЕРСКОЙ ШКОЛЕ

Нередко приходится слышать от любителей русской литературы сетования о том, что в печати так мало сообщено биографических сведений о поэте Лермонтове; но их не могло много и быть: поэт наш так мало жил! — двадцать шесть лет и несколько месяцев. Собственно говоря, жизнь его в обществе началась с выпуска его из юнкерской школы и продолжалась шесть с половиною лет: он был произведен в офицеры в конце 1834 года [1], а 15 июля 1841 года был убит. Постараюсь передать немногое, что помню из юнкерской жизни Лермонтова, с которым я в одно время находился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

В 1832 году Михаил Юрьевич Лермонтов, определяясь в лейб-гвардии Гусарский полк, поступил в гвардейскую школу. В то время гвардейские юнкера не состояли при своих полках, а все находились в означенной школе, где должны были пробыть два года, по прошествии которых выдержавшие экзамен производились в офицеры. Поступали туда не моложе семнадцати лет.

Между товарищами своими Лермонтов ничем не выделялся особенно от других. В школе Лермонтов имел страсть приставать с своими острыми и часто даже злыми насмешками к тем из товарищей, с которыми он был более дружен. Разумеется, многие платили ему тем же, и это его очень забавляло. Редкий из юнкеров в школе не имел какого-либо прозвища; Лермонтова прозвали *Маёшкой,* уменьшительное от Маё — название одного из действующих лиц бывшего тогда в моде

романа «Notre-Dame de Paris» *, Маё этот изображен в романе уродом, горбатым [2]. Разумеется, к Лермонтову не шло это прозвище, и он всегда от души смеялся над ним. Лермонтов был небольшого роста, плотный, широкоплечий и немного сутуловатый. Зимою в большие морозы юнкера, уходя из школы, надевали шинели в рукава, сверх мундиров и ментиков; в этой форме он действительно казался неуклюжим, что и сам сознавал и однажды нарисовал себя в этой одежде в карикатуре. Впоследствии под именем Маёшки он описал себя в стихотворении «Монго». «Монго» — тоже школьное прозвище, данное Алексею Аркадьевичу Столыпину, юнкеру лейб-гвардии Гусарского полка. Столыпин был очень красив собой и очень симпатичен. Название «Монго» взято было также из какого-то французского романа, в то время бывшего в большом ходу, один из героев которого носил это имя.

Лермонтов не был из числа отъявленных шалунов, но любил иногда пошкольничать. По вечерам, когда бывали свободны от занятий, мы часто собирались вокруг рояля (который на зиму мы брали напрокат); на нем один из юнкеров, знавших хорошо музыку, аккомпанировал товарищам, певшим хором разные песни. Лермонтов немедленно присоединялся к поющим, прегромко запевал совсем иную песню и сбивал всех с такта; разумеется, при этом поднимался шум, хохот и нападки на Лермонтова. Певали иногда романсы и проч., которые для нашей забавы переделывал Лермонтов, применяя их к многим из наших юнкеров, как, например, стихотворение (ходившее тогда в рукописи), в котором говорится:

Как в ненастные дни
Собирались они
Часто... и проч. [3].

Названия этого стихотворения не помню, переделанное же Лермонтовым слишком нескромного содержания и в печати появиться не может.

У нас был юнкер Ш<аховско>й, отличный товарищ; его все любили, но он имел слабость сердиться, когда товарищи трунили над ним. Он имел пребольшой нос, который шалуны юнкера находили похожим на ружей-

---

* «Собор Парижской богоматери» (*фр.*).

ный курок. Шаховской этот получил прозвище курка и князя носа. В стихотворении «Уланша» Лермонтов о нем говорит:

Князь-нос, сопя, к седлу прилег —
Никто рукою онемелой
Его не ловит за курок.

Этот же Шаховской был влюбчивого характера; бывая у своих знакомых, он часто влюблялся в молодых девиц и, поверяя свои сердечные тайны товарищам, всегда называл предмет своей страсти богинею. Это дало повод Лермонтову сказать экспромт, о котором позднее я слышал от многих, что будто экспромт этот сказан был поэтом нашим по поводу ухаживания молодого француза Баранта за одною из великосветских дам. Не знаю, может, это так и было, но, во всяком случае, это было уже повторение экспромта, сказанного Лермонтовым, чтобы посердить Шаховского для забавы товарищей. Сообщаю ниже этот экспромт, нигде не напечатанный; прежде же того позволю себе объяснить читателю, в чем дело. В юнкерской школе, кроме командиров эскадрона и пехотной роты, находились при означенных частях еще несколько офицеров из разных гвардейских кавалерийских и пехотных полков, которые заведовали отделениями в эскадроне и роте, и притом по очереди дежурили: кавалерийские — по эскадрону, пехотные — по роте. Между кавалерийскими офицерами находился штаб-ротмистр Клерон, уланского полка, родом француз, уроженец Страсбурга; его более всех из офицеров любили юнкера [4]. Он был очень приветлив, обходился с нами как с товарищами, часто метко острил и говорил каламбуры, что нас очень забавляло. Клерон посещал одно семейство, где бывал и Шаховской, и там-то юнкер этот вздумал влюбиться в гувернантку. Клерон, заметив это, однажды подшутил над ним, проведя целый вечер в разговорах с гувернанткой, которая была в восхищении от острот и любезности нашего француза и не отходила от него все время, пока он не уехал. Шаховской был очень взволнован этим. Некоторые из товарищей, бывшие там вместе с ними, возвратясь в школу, передали другим об этой шутке Клерона. На другой день многие из шалунов по этому случаю начали приставать с своими насмешками к Шаховскому. Лермонтов, разумеется, тоже, и тогда-то

появился его следующий экспромт (надо сказать, что гувернантка, обожаемая Шаховским, была недурна собою, но довольно толста):

О, как мила твоя богиня!
За ней волочится француз, —
У нее лицо, как дыня,
Зато... как арбуз [5].

Надо заметить, что вообще Лермонтов не любил давать другим списывать свои стихотворения, даже и читать, за исключением шутливых и не совсем скромных, появлявшихся в нашем рукописном журнале. Составителями нумеров этого журнала были все, желавшие и умевшие написать что-либо забавное в стихах или прозе для потехи товарищей. Выход этого школьного рукописного журнала [6] (появлявшегося раз в неделю) недолго продолжался, и журнал скоро наскучил непостоянным повесам.

По вечерам, после учебных занятий, поэт наш часто уходил в отдаленные классные комнаты, в то время пустые, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи, стараясь туда пробраться не замеченным товарищами. Иногда он занимался рисованием; он недурно рисовал и любил изображать кавказские виды и черкесов, скакавших по горам. Виды Кавказа у него остались в памяти после того, как он был там в первый раз еще будучи ребенком (двенадцати лет) [7], с своей родной бабушкой Е. А. Арсеньевой. К этой всеми уважаемой старушке он бывал увольняем по праздникам из школы.

Кстати при этом замечу, что поэмы Лермонтова «Демон» и «Хаджи Абрек», в которых так поэтично изображены кавказские виды, были им написаны до его первой ссылки на Кавказ. Кто-то из наших критиков, не зная того, укорял поэта, что он описал и воспел то, чего не видал. Лермонтов, побывав во второй раз на Кавказе уже юношею, переделал и пополнил поэму «Демон», и потому-то есть две редакции этой поэмы [8]. «Хаджи Абрек» написан был им в юнкерской школе.

Лермонтов был довольно силен, в особенности имел большую силу в руках, и любил состязаться в том с юнкером Карачинским, который известен был по всей школе как замечательный силач — он гнул шомполы и делал узлы, как из веревок. Много пришлось за испорченные шомполы гусарских карабинов переплатить ему денег унтер-офицерам, которым поручено было сбере-

жение казенного оружия. Однажды оба они в зале забавлялись подобными tours de force *, вдруг вошел туда директор школы, генерал Шлиппенбах. Каково было его удивление, когда он увидал подобные занятия юнкеров. Разгорячась, он начал делать им замечания: «Ну, не стыдно ли вам так ребячиться! Дети, что ли, вы, чтобы так шалить!.. Ступайте под арест». Их арестовали на одни сутки. После того Лермонтов презабавно рассказывал нам про выговор, полученный им и Карачинским. «Хороши дети, — повторял он, — которые могут из железных шомполов вязать узлы», — и при этом от души заливался громким хохотом.

Командиром нашего юнкерского эскадрона, в описываемое мною время, был лейб-гвардии Кирасирского полка полковник Алексей Степанович Стунеев, женатый на старшей сестре жены знаменитого композитора М. И. Глинки, который был тогда еще женихом и целые дни проводил в доме Стунеевых, где жила его невеста. Часто по вечерам приглашались туда многие из юнкеров, разумеется, и Лермонтов тоже; но он редко там бывал и вообще неохотно посещал начальников и не любил ухаживать за ними.

В учебных и литературных занятиях, в занятиях по фрунтовой части и манежной езде, иногда в шалостях и школьничестве — так прошли незаметно для Лермонтова два года в юнкерской школе. В конце 1834 года он был произведен в корнеты. Через несколько дней по производстве он уже щеголял в офицерской форме. Бабушка его Е. А. Арсеньева поручила тогда же одному из художников снять с Лермонтова портрет. Портрет этот, который я видел, был нарисован масляными красками в натуральную величину, по пояс. Лермонтов на портрете изображен в вицмундире (форма того времени) гвардейских гусар, в корнетских эполетах; в руках треугольная шляпа с белым султаном, какие тогда носили кавалеристы, и с накинутой на левое плечо шинелью с бобровым воротником. На портрете этом, хотя Лермонтов был немного польщен, но выражение глаз и турнюра его схвачены были верно [9].

По производстве в офицеры юнкера приведены были к присяге, после чего школьным начальством представ-

* проявлениями силы (*фр.*).

лены великому князю Михаилу Павловичу, который представил их государю Николаю Павловичу. Наконец вся новопроизведенная молодежь, расставшись с товарищами, разъехалась по разным полкам. Лермонтов уехал в Царское Село.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕРМОНТОВЕ

Лермонтов был брюнет, с бледно-желтоватым лицом, с черными как уголь глазами, взгляд которых, как он сам выразился о Печорине, был иногда тяжел. Невысокого роста, широкоплечий, он не был красив, но почему-то внимание каждого, и не знавшего, кто он, невольно на нем останавливалось.

В 1831 году, переехав из Москвы в Петербург, он начал приготовляться к экзамену для вступления в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, куда и поступил в начале 1832 года (кажется, в марте) [1], в лейб-гвардии Гусарский полк *. Годом позднее Лермонтова, определяясь в гвардейские уланы, я поступил в ту же школу и познакомился с ним, как с товарищем. Вступление его в юнкера не совсем было счастливо. Сильный душой, он был силен и физически и часто любил выказывать свою силу. Раз после езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, *новичком,* подстрекаемый старыми юнкерами, он, чтоб показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Он проболел более двух месяцев, находясь в доме у своей бабушки Е. А. Арсеньевой, которая любила его до обожания. Добрая старушка, как она тогда была огорчена и сколько впоследствии перестрадала за нашего поэта. Все юнкера, его товарищи, знали ее, все ее уважали и любили. Во всех она принимала участие, и многие из нас часто бывали обязаны ее ловкому ходатайству перед строгим начальством. Живя каждое лето в Петергофе, близ кадет-

---

* В то время юнкера, находившиеся в школе, считались в полках и носили каждый своего полка мундир. (*Примеч. А. М. Меринского.*)

ского лагеря, в котором в это время обыкновенно стояли юнкера, она особенно бывала в страхе за своего внука, когда эскадрон наш отправлялся на конные ученья. Мы должны были проходить мимо ее дачи и всегда видели, как почтенная старушка, стоя у окна, издали крестила своего внука и продолжала крестить всех нас, пока длинною вереницею не пройдет перед ее домом весь эскадрон и не скроется из виду.

В юнкерской школе Лермонтов был хорош со всеми товарищами, хотя некоторые из них не очень любили его за то, что он преследовал их своими остротами и насмешками за все ложное, натянутое и неестественное, чего никак не мог переносить. Впоследствии и в свете он не оставил этой привычки, хотя имел за то много неприятностей и врагов. Между юнкерами он особенно дружен был с В. А. Вонлярлярским * (известным беллетристом, автором «Большой барыни» и проч.), которого любил за его веселые шутки. Своими забавными рассказами Вонлярлярский привлекал к себе многих. Бывало, в школе, по вечерам, когда некоторые из нас соберутся, как мы тогда выражались, «поболтать», рассказы Вонлярлярского были неистощимы; разумеется, при этом Лермонтов никому не уступал в остротах и веселых шутках.

Зимой, в начале 1834 года, кто-то из нас предложил издавать в школе журнал, конечно, рукописный. Все согласились, и вот как это было. Журнал должен был выходить один раз в неделю, по средам; в продолжение семи дней накоплялись статьи. Кто писал и хотел помещать свои сочинения, тот клал рукопись в назначенный для того ящик одного из столиков, находившихся при кроватях в наших каморах. Желавший мог оставаться неизвестным. По середам вынимались из ящика статьи и сшивались, составляя довольно толстую тетрадь, которая вечером в тот же день, при сборе всех нас, громко прочитывалась. При этом смех и шутки не умолкали. Таких нумеров журнала набралось несколько. Не знаю, что с ними сталось; но в них много было помещено стихотворений Лермонтова, правда, большею частью не совсем скромных и не подлежащих печати, как, например, «Уланша», «Праздник в Петергофе» и другие.

---

* В то время Вонлярлярский тоже был юнкером лейб-гвардии Гусарского полка. Произведен офицером в гвардейские конно-пионеры. (*Примеч. А. М. Меринского.*)

«Уланша» была любимым стихотворением юнкеров; вероятно, и теперь, в нынешней школе, заветная тетрадка тайком переходит из рук в руки. Надо сказать, что юнкерский эскадрон, в котором мы находились, был разделен на четыре отделения: два тяжелой кавалерии, то есть кирасирские, и два легкой — уланское и гусарское. Уланское отделение, в котором состоял и я, было самое шумное и самое шаловливое. Этих-то улан Лермонтов воспел, описав их ночлег в деревне Ижорке, близ Стрельны, при переходе их из Петербурга в Петергофский лагерь. Вот одна из окончательных строф, — описание выступления после ночлега:

Заутро раннее светило
Взошло меж серых облаков,
И кровли спящие домов
Живым лучом позолотило.
Вдруг слышен крик: вставай, скорей!
И сбор пробили барабаны *,
И полусонные уланы,
Зевая, сели на коней[2].

В одной из тетрадей того же журнала было помещено следующее шутливое стихотворение Лермонтова «Юнкерская молитва»:

Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.
От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.
Пускай в манеже
Алехин ** глаз
Как можно реже
Там видит нас.
Еще моленье
Позволь послать —
Дай в воскресенье
Мне опоздать!

То есть прийти из отпуска после зори, позже девяти часов и, разумеется, безнаказанно.

---

* Хотя при эскадроне были трубачи, но как в отряде, шедшем в лагерь, находились подпрапорщики и кадеты, то подъем делался по барабанному бою. (*Примеч. А. М. Меринского.*)

** Бывший в то время командиром юнкерского эскадрона, покойный Алексей Степанович С<туне>ев, которого юнкера очень любили. (*Примеч. А. М. Меринского.*)

Никто из нас тогда, конечно, не подозревал и не разгадывал великого таланта в Лермонтове. Да были ли тогда досуг и охота нам что-нибудь разгадывать, нам, юношам в семнадцать лет, смело и горячо начинавшим жизнь, что называется, без оглядки и разгадки. В то время Лермонтов писал не одни шаловливые стихотворения; но только немногим и немногое показывал из написанного. Раз, в откровенном разговоре со мной, он мне рассказал план романа, который задумал писать прозой и три главы которого были тогда уже им написаны. Роман этот был из времен Екатерины II, основанный на истинном происшествии, по рассказам его бабушки. Не помню хорошо всего сюжета, помню только, что какой-то нищий играл значительную роль в этом романе;[3] в нем также описывалась первая любовь, не вполне разделенная, и встреча одного из лиц романа с женщиной с сильным характером, что раз случилось и с самим поэтом в его ранней юности, как он мне сам о том рассказывал и о чем, кажется, намекает в одном месте записок Печорина. Печорин пишет, что один раз любил такую женщину, а перед тем говорит: «Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело?» Но и без характера женщина, прибавлю я от себя, не большая находка. На такую женщину нельзя полагаться. Да и сама она, испытывая невзгоды и огорчения любящей женщины с характером, не пользуется ее наслаждениями...

Роман, о котором я говорил, мало кому известен и нигде о нем не упоминается; он не был окончен Лермонтовым и, вероятно, им уничтожен. Впрочем, впоследствии наш поэт замышлял написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), как говорит о том Белинский в своей рецензии второго издания «Героя нашего времени», в «Отечественных записках»[4].

Поэма «Демон», не вполне напечатанная и всем известная в рукописи, была написана Лермонтовым еще в тридцатом и тридцать первом годах, когда ему было не более семнадцати лет. Я имею первоначальную рукопись этой поэмы, впоследствии переделанной и увеличенной. В некоторых монологах «Демона» поэт уничтожил несколько стихов прекрасных, но слишком смелых. В юнкерской школе он написал стихотворную повесть (1833 г.) «Хаджи Абрек». Осенью 1834 года

его родственник и товарищ, тоже наш юнкер Н. Д. Юрьев, тайком от Лермонтова, отнес эту повесть к Смирдину[5], в журнал «Библиотеку для чтения», где она и была помещена в следующем 1835 году. Это, если не ошибаюсь, было первое появившееся в печати стихотворение Лермонтова, по крайней мере, с подписью его имени[6].

В то время в юнкерской школе нам не позволялось читать книг чисто литературного содержания, хотя мы не всегда исполняли это; те, которые любили чтение, занимались им большею частью по праздникам, когда нас распускали из школы. Всякий раз, как я заходил в дом к Лермонтову, почти всегда находил его с книгою в руках, и книга эта была — сочинения Байрона и иногда Вальтер Скотт, на английском языке, — Лермонтов знал этот язык. Какое имело влияние на поэзию Лермонтова чтение Байрона — всем известно; но не одно это, и характер его, отчасти схожий с Байроновым, был причиной, что Лермонтов, несмотря на свою самобытность, невольно иногда подражал британскому поэту.

Наконец, в исходе 1834 года, Лермонтов был произведен в корнеты в лейб-гвардии Гусарский полк и оставил юнкерскую школу. По производстве в офицеры он начал вести рассеянную и веселую жизнь, проводя время зимой в высшем кругу петербургского общества и в Царском Селе, в дружеских пирушках гусарских; летом — на ученьях и в лагере под Красным Селом, откуда один раз он совершил романическое путешествие верхом, сопровождая ночью своего товарища на одну из дач, лежащих по петергофской дороге. Путешествие это описано им в стихотворении «Монго» очень игриво, но не для печати.

Лермонтов, как сказано, был далеко не красив собою и в первой юности даже неуклюж. Он очень хорошо знал это и знал, что наружность много значит при впечатлении, делаемом на женщин в обществе. С его чрезмерным самолюбием, с его желанием *везде* и *во всем* первенствовать и быть замеченным, не думаю, чтобы он хладнокровно смотрел на этот небольшой свой недостаток. Знанием сердца женского, силою своих речей и чувства он успевал располагать к себе женщин, — но видел, как другие, иногда ничтожные люди легко этого достигали. Вот как говорит об этом один из его героев Лугин, в отрывке из начатой повести:

«Я себя спрашивал: могу ли я влюбиться в дурную? Вышло нет: я дурен и, следственно, женщина меня любить не может. Это ясно». Потом далее продолжает: «Если я умею подогреть в некоторых то, что называют капризом, то это стоило мне неимоверных трудов и жертв; но так как я знал поддельность этого чувства, внушенного мною, и благодарил за него только себя, то и сам не мог забыться до полной, безотчетной любви: к моей страсти примешивалось всегда немного *злости*; все это грустно — а правда!..»

В обществе Лермонтов был очень злоречив, но душу имел добрую: как его товарищ, знавший его близко, я в том убежден. Многие его недоброжелатели уверяли в противном и называли его *беспокойным человеком*...

Тысяча восемьсот тридцать седьмой год был несчастлив для нашего поэта, которого перевели из гвардии тем же чином в армию, в Нижегородский драгунский полк, стоявший в Грузии. В то время Лермонтов написал стихотворение на смерть А. С. Пушкина, убитого тогда на дуэли. Не удовольствовавшись первоначальным текстом, он через несколько дней прибавил к нему еще шестнадцать окончательных стихов, вызванных толками противной партии и имевших влияние на его участь...

Мне ничего не известно о пребывании его в Грузии и на Кавказе за этот год, в конце которого (или в начале следующего) он был возвращен снова в гвардию, сперва в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, а вскоре потом в прежний, где служил[7]. В феврале 1838 года, будучи еще в гродненских гусарах, при прощании с одним из своих товарищей того же полка М. И. Ц<ейдлеро>м, ехавшим на Кавказ для участвования в экспедиции против горцев, Лермонтов написал ему на память восемь стихов. Вот они:

Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
Едет он, томим печалью,
На могучий пир войны,
Но иной, не бранной, сталью
Мысли юноши полны.

В последнем двустишии есть очень милая игра слов; но я не имею право ее обнаружить[8].

В начале 1840 года Лермонтова снова отправили на Кавказ, за дуэль его с молодым Барантом, сыном

французского посланника. В апреле он уже был на пути из Петербурга в Ставрополь. Тогда-то, в дороге, он написал известное стихотворение:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную... и проч. [9].

Прибыв в эту «сторону южную», он отправился в горы, в экспедицию против чеченцев. Впоследствии он описал одно из дел с горцами в своем стихотворении «Валерик». В то время как Лермонтов уезжал на юг, издан был в первый раз его роман «Герой нашего времени»; через год уже вышло второе его издание [10]. Также при жизни поэта напечатаны были в одной книге его мелкие стихотворения, самые безукоризненные, как выразился о них покойный Белинский. До появления их вместе они помещаемы были почти исключительно в «Отечественных записках».

В конце 1840 года Лермонтову разрешен был приезд в Петербург на несколько месяцев. Перед окончанием этого отпуска и перед последним своим отъездом на Кавказ весною 1841 года он пробыл некоторое время в Москве и с удовольствием вспоминал о том. «Никогда я так не проводил приятно время, как этот раз в Москве», — сказал он мне, встретясь со мной при проезде своем через Тулу. Эта встреча моя с ним была последняя. В Туле он пробыл один день, для свидания с своей родною теткой, жившей в этом городе. Вместе с ним на Кавказ ехал его приятель и общий наш товарищ А. А. С<толыпи>н. Они оба у меня обедали и провели несколько часов. Лермонтов был весел и говорлив; перед вечером он уехал. Это было 15 апреля 1841 года, ровно за три месяца до его кровавой кончины. По приезде в Ставрополь он был уволен, перед экспедицией), на несколько времени в Пятигорск. Покойный П. А. Гвоздев, тоже его товарищ по юнкерской школе, бывший в то время на кавказских водах, рассказал мне о последних днях Лермонтова.

Восьмого июля он встретился с ним довольно поздно на пятигорском бульваре. Ночь была тихая и теплая. Они пошли ходить. Лермонтов был в странном расположении духа: то грустен, то вдруг становился он желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем его окружавшем. Между прочим, в разговоре он сказал:

«Чувствую — мне очень мало осталось жить». Через неделю после того он дрался на дуэли, близ пятигорского кладбища, у подошвы горы Машук [11].

Вовсе не желая к воспоминанию о смерти Лермонтова примешивать мелодраматизма, которого при жизни своей он не терпел, ненавидя всякие эффекты, я невольно должен передать одну подробность о его конце, сообщенную мне П. А. Гвоздевым. 15 июля, с утра еще, над городом Пятигорском и горою Машук собиралась туча, и, как нарочно, сильная гроза разразилась ударом грома в то самое мгновение, как выстрел из пистолета поверг Лермонтова на землю *. Буря и ливень так усилились, что несколько минут препятствовали положить тело убитого в экипаж. Наконец его привезли в Пятигорск. Гвоздев, услыхав о происшествии и не зная наверное, что случилось, в смутном ожидании отправился на квартиру Лермонтова и там увидел окровавленный труп поэта. Над ним рыдал его слуга. Все, там находившиеся, были в большом смущении. Грустно и больно было ему видеть бездыханным того, чья жизнь так много обещала! Невольно тогда приятелю моему пришли на память стихи убитого товарища:

Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и с жаждой мести,
Поникнув гордой головой...

1856 г. На Южном Буге

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ЕФРЕМОВУ

Теперь расскажу вам историю этих окончательных стихов <«Смерти Поэта»>.

Через несколько дней после дуэли и смерти Пушкина Лермонтов написал это стихотворение, заключив его стихом: «И на устах его печать!» Оно разошлось по городу.

Вскоре после того заехал к нему один из его родственников, из высшего круга [1] (не назову его), у них завязался разговор об истории Дантеза (барон Гекерн) с Пушкиным, которая в то время занимала весь Петер-

* В 5 часу пополудни. «Одесский вестник», 1841, № 63. (*Примеч. А. М. Меринского.*)

бург. Господин этот держал сторону партии, противной Пушкину, во всем обвиняя поэта и оправдывая Дантеза. Лермонтов спорил, горячился, и когда тот уехал, он, взволнованный, тотчас же написал прибавление к означенному стихотворению. В тот же день вечером я посетил Лермонтова и нашел у него на столе эти стихи, только что написанные. Он мне рассказал причину их происхождения, и тут же я их списал; потом и другие из его товарищей сделали то же; стихи эти пошли по рукам.

Вскоре после того как-то на одном многолюдном вечере известная в то время старуха и большая сплетница Анна Михайловна Хитрова при всех обратилась с вопросом к Бенкендорфу (шефу жандармов): «Слышали ли вы, Александр Христофорович, что написал про нас (заметьте: *про нас*!) Лермонтов?» Бенкендорф прежде ее, вероятно, знал о том и не находил ничего в этом важного. Рассказывали тогда, что будто он выразился так: «Уж если Анна Михайловна знает про эти стихи, то я должен о них доложить государю». Вследствие этого доклада был послан начальник Гвардейского штаба <ныне> покойный Веймарн, чтоб осмотреть бумаги Лермонтова, в Царское Село, где не нашел поэта (он большею частию жил в Петербурге), а нашел только его нетопленную квартиру и пустые ящики в столах. Развязка вам известна — Лермонтова сослали на Кавказ.

О причине прибавления этих окончательных стихов я вскользь упомянул в небольшой записке, помещенной в «Атенее» и набросанной мною в 1856 году, наскоро, с недомолвками, еще под влиянием прежней ценсуры.

В. В. БОБОРЫКИН

ТРИ ВСТРЕЧИ С М. Ю. ЛЕРМОНТОВЫМ

Лермонтов, Лярский [1], Тизенгаузен, братья Череповы, как выпускные, с присоединением к ним проворного В. В. Энгельгардта составляли по вечерам так называемый ими «Нумидийский эскадрон», в котором, плотно взявши друг друга за руки, быстро скользили по паркету легкокавалерийской камеры, сбивая с ног попадавшихся им навстречу новичков. Ничего об этом не знавши и обеспокоенный стоячим воротником куртки и штрипками, я, ни с кем не будучи еще знаком, длинными шагами ходил по продолговатой, не принадлежащей моему кирасирскому отделению легкокавалерийской камере, с недоумением поглядывая на быстро скользящий мимо меня «Нумидийский эскадрон», на фланге которого, примыкающем к той стороне, где я прогуливался, был великан кавалергард Тизенгаузен. Эскадрон все ближе и ближе налетал на меня; я сторонился, но когда меня приперли к стоявшим железным кроватям и сперва задели слегка, а потом, с явно понятым мною умыслом, порядочно толкнули плечом Тизенгаузена, то я, не говоря ни слова, наотмашь здорово ударил его кулаком в спину, после чего «Нумидийский эскадрон» тотчас рассыпался по своим местам, также не говоря ни слова, и мы в две шеренги пошли ужинать. Строились по ранжиру, тяжелая кавалерия впереди, и я по росту был в первой фланговой паре. За ужином был между прочим вареный картофель, и когда мы, возвращаясь в камеры, проходили неосвещенную небольшую конференц-залу, то я получил в затылок залп вареного картофеля и, так же не говоря ни слова, разделся и лег на свое место спать. Этот мой стоицизм, вероятно, выпускным понравился, так что

я с этого первого дня был оставлен в покое, тогда как другим новичкам, почему-либо заслужившим особенное внимание, месяца по два и по три всякий вечер, засыпающим, вставляли в нос гусара, то есть свернутую бумажку, намоченную и усыпанную крепким нюхательным табаком. Этим преимущественно занимался шалун Энгельгардт, которому старшие не препятствовали.

Вот моя первая встреча с Лермонтовым.

Домашнее образование под руководством швейцарца и швейцарки, пропитанных духом энциклопедистов, сделало то, что русская литература была для меня terra incognita *, и я из нее знал только «Юрия Милославского», которого мы в Горном корпусе читали вслух во время летних каникул, проведенных в стенах корпуса. Что ж удивительного, что я даже не интересовался издаваемым в последние месяцы пребывания Лермонтова в школе рукописным журналом под названием «Всякая всячина напячена», редактором коего был, кажется, конно-пионер Лярский. <...>

Я жил во Владикавказе. <...> Однажды базарный ** пришел мне сказать, что какой-то приезжий офицер желает меня видеть. Я пошел в заезжий дом, где застал такую картину:

М. Ю. Лермонтов, в военном сюртуке, и какой-то статский (оказалось, француз-путешественник) сидели за столом и рисовали, во все горло распевая: «A moi la vie, à moi la vie, à moi la liberté» ***.

Я до сих пор хорошо помню мотив этого напева, и если это кого-нибудь интересует, то я мог бы найти кого-нибудь, кто бы его положил на ноты. Тогда это меня несколько озадачило, а еще более озадачило, что Лермонтов, не пригласив меня сесть и продолжая рисовать, как бы с участием, но и не без скрываемого высокомерия, стал расспрашивать меня, как я поживаю, хорошо ли мне.

Мне в Лермонтове был только знаком шалун, руководивший «Нумидийским эскадроном», чуть не сбившим меня с ног в первый день моего вступления

---

* неизведанная земля (*лат.*).

** Так назывался приставленный к взятому для офицеров и проезжих дому унтер-офицер. (*Примеч. В. В. Боборыкина.*)

*** Да здравствует жизнь, да здравствует жизнь, да здравствует свобода! (*фр.*).

в юнкерскую школу, а потом закатившим мне в затылок залп вареного картофеля. О Лермонтове, как о поэте, я ничего еще не знал и даже не подозревал: таково было полученное мною направление. В краткое мое пребывание в полку, в Царском Селе, я благодаря обратившему на меня внимание нашему полковому библиотекарю поручику Левицкому прочитал Тьера, Байрона и еще кой-что, более или менее серьезное. Во Владикавказе читал, кроме «Русского инвалида» и «Пчелы», «Revue Britannique» и как-то случившиеся у Нестерова «Etudes de la Nature» Bernardin de St-Pierre[2]. Все это, вместе с моею владикавказскою обстановкою, не могло не внушать мне некоторого чувства собственного достоинства, явно оскорбленного тем покровительственным тоном, с которым относился ко мне Лермонтов. А потому, ограничась кратким ответом, что мне живется недурно, я спросил, что они рисуют, и узнал, что в проезд через Дарьяльское ущелье, отстоящее от Владикавказа, как известно, в двадцати—сорока верстах, француз на ходу, вылезши из перекладной телеги, делал croquis * окрестных гор; а они, остановясь на станциях, совокупными стараниями отделывали и даже, кажется, иллюминовали эти очертания[3].

На том разговор наш и кончился, и я, пробыв несколько минут, ушел к себе, чтобы в третий раз встретиться с Лермонтовым уже в Москве, где я в 1840 году находился в годовом отпуску. <...>

Простившись с Владикавказом, я <...> приехал жить в Москву <...>, тратя время на обеды, поездки к цыганам и загородные гулянья и почти ежедневные посещения Английского клуба, где играл в лото по 50 руб. асс. ставку и почти постоянно выигрывал. Грустно вспомнить об этом времени, тем более что меня постоянно преследовала скука и бессознательная тоска. Товарищами этого беспутного прожигания жизни и мотовства были молодые люди лучшего общества и так же скучавшие, как я. Между ними назову: князя А. Б<арятинского>, барона Д. Р<озена>, М<онго-Столыпина> и некоторых других[4]. И вот в их-то компании я не помню где-то в 1840 году встретил М. Ю. Лермонтова, возвращавшегося с Кавказа или

* наброски (*фр.*).

вновь туда переведенного, — не помню. Мы друг другу не сказали ни слова, но устремленного на меня взора Михаила Юрьевича я и до сих пор забыть не могу: так и виделись в этом взоре впоследствии читанные мною его слова:

Печально я гляжу на наше поколенье, —
Грядущее его иль пусто, иль темно...

Но хуже всего то, что в ту пору наш круг так мало интересовался русской литературой, что мне, например, едва ли из нее было известно более как «Думы» Рылеева и его поэма «Войнаровский», «Братья-разбойники» Пушкина и «Юрий Милославский» Загоскина, — и все это прочитанное, а отчасти наизусть выученное еще в Горном корпусе. В юнкерской школе нас интересовали только французские романсы Гризара и водевильные куплеты; в полку успел прочесть Тьера «Историю революции» и Байрона во французском переводе, а на Кавказе, кроме «Инвалида», «Etudes de la Nature» Bernardin de St-Pierre и изредка «Revue Britannique» и — ничего из современной литературы. Вот и сформировалось исключительно эпикурейское мировоззрение, основным фондом коего было существовавшее тогда во всей силе крепостное право.

Нужно было особое покровительство провидения, чтобы выйти из этого маразма. Не скрою, что глубокий, проницающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на переворот в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой, с горькими воспоминаниями о прошедшем.

Но об этом когда-нибудь в другой раз.

11 февраля 1885 года
с. Лысково

Н. Н. МАНВЕЛОВ

ВОСПОМИНАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РИСУНКАМ ТЕТРАДИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Узнав из газет, что учрежденный в память Михаила Юрьевича Лермонтова музей собирает среди лиц, знавших поэта, и среди публики материалы, относящиеся к его жизни и художественному творчеству, я, как бывший воспитанник давнишней Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которую поступил в 1833 году, то есть годом позже Лермонтова, и в течение одного года до производства Лермонтова в офицеры в 1834 году бывший товарищем его по школе, считаю себя счастливым, что могу с своей стороны принести музею в дар сохранившийся у меня экземпляр с собранием рисунков, составляющий ныне весьма, может быть, редкий памятник этого рода художественных дарований незабвенного поэта, доставшийся мне благодаря особой счастливой случайности.

Когда произведены были в офицеры юнкера выпуска 1834 года и в числе их и Лермонтов и приятель его Леонид Николаевич Хомутов, выпущенный в конно-гренадеры, то я, будучи назначен на место сего последнего старшим отделенным унтер-офицером 4-го уланского взвода, должен был занять и его койку в дортуаре, и находившийся при ней шкапик, приводя в порядок который я нашел завалившуюся между стенками выдвижного ящика и стенками самого шкапика тетрадку, виденную мною прежде у Лермонтова [1] и признанную товарищами как принадлежавшую Лермонтову, и так как никто из товарищей моих в школе, ни кто-либо иной не заявлял прав на эту находку, то она так и осталась у меня и по сие время хранилась

в имении моем, откуда я только недавно имел возможность ее выписать.

Приведу здесь, сколько помню, фамилии лиц, бывших в школе в качестве воспитанников или преподавателей одновременно с Лермонтовым и со мной в надежде, что одни из них могут, я полагаю, не только удостоверить о принадлежности рисунков этой тетради карандашу Лермонтова, но вместе с тем по собственным воспоминаниям о пребывании в школе одновременно с поэтом разъяснить также значение тех весьма многих еще рисунков, сюжет которых я ныне, страдая расстройством зрения и не видя, не могу восстановить в своей памяти. Других же лиц я поименовываю ввиду того, что они послужили поэту предметом многих портретов и карикатур.

Так, 1) Василий Васильевич Зиновьев, ныне генерал-адъютант (поступивший юнкером конной гвардии в 1832 году, одновременно с Лермонтовым, выпущенный в 1835 году, годом позже Лермонтова, пробыв по болезни одним годом больше курса), 2) Михаил Иванович Цейдлер [2], ныне генерал в отставке, проживающий, сколько мне известно, в г. Вильно (поступивший в школу и выпущенный в офицеры одновременно со мною (1833—1835 гг.) и 3) граф Петр Киприянович Крейц, ныне генерал от кавалерии, поступивший в школу также в 1833 году и выпущенный в 1835 году в лейб-драгуны, да, вероятно, и многие другие, бывшие товарищи наши по школе, в числе которых упомяну еще о бывших моего уланского отделения: младшем унтер-офицере юнкере Меринском 1-м [3] и ефрейторе-юнкере Камынине — признают лермонтовскую тетрадку, а может быть, дадут и свои указания о значении картинок с сюжетами из военной жизни и назовут лиц, послуживших оригиналами тех портретов и карикатур, которых, по сказанной выше причине, я тут не поясняю, но упомяну при этом мимоходом, что Лермонтов имел обыкновение рисовать всегда во время лекций. Полковник Алексей Степанович Стунеев, командир эскадрона кавалерийских юнкеров, изображался Лермонтовым с бичом в руках среди манежа школы, в котором он производил езду юнкеров, а на особой картинке, посвященной этому сюжету, кроме Стунеева, нарисованы: гусарский юнкер Вонлярлярский, бывший сосед Лермонтова по койке, вышедший в конно-пионеры, впоследствии литератор, и жалонерный унтер-офицер

по фамилии Жолмир. Другого же юнкера, изображенного едущим подбоченясь, достоверно назвать не могу, но полагаю, что в нем изображен уланский юнкер Поливанов, отличавшийся посадкою.

Затем на одном из очень памятных мне рисунков изображен юнкер князь Шаховской, сын бывшего командира гренадерского корпуса, а впоследствии председателя Генерал-аудиториата. Юнкер князь Шаховской, имевший огромный нос, получил прозвание «Курок» оттого, что наш общий товарищ юнкер уланского полка Сиверс, поступивший в 1832 году и в следующем году умерший в школе, в виде шутки подкладывал свою согнутую у локтя руку под громадный нос Шаховского и командовал прием «под курок». Этот самый Шаховской изображался лежащим в постели в дортуаре школы с резко выдающимся на подушке носом, а неподалеку от него группа юнкеров-товарищей у стола читала: «Историю носа Шаховского, иллюстрированную картами и политипажами», сочиненную товарищами и в числе их и самим Лермонтовым. Особый рисунок был посвящен характеристике бывшего нашего дежурного офицера и преподавателя кавалерийского устава штабс-ротмистра Кирасирского его величества полка (в черных латах) Владимира Ивановича Кноринга, известного в нашей среде своим романтическим характером. А из портретов очень похожих помню в тетради поясное изображение приятеля Лермонтова юнкера Леонида Николаевича Хомутова, нарисованного облокотившимся на руку и в шинели внакидку, который, как я уже сказал, был старшим отделенным унтер-офицером 4-го уланского взвода лермонтовского выпуска 1834 года.

Но, кроме портретов и карикатур, мне памятны по содержанию многие рисунки Лермонтова, отличавшие собственно интимное настроение его: его личные планы и надежды в будущем, или мечты его художественного воображения. К этой категории рисунков относятся многочисленные сцены из военного быта и преимущественно на Кавказе, с его живописною природою, с его типическим населением, с боевой жизнью в том крае и в ту пору русского воина, вдохновленные поэту чтением «Аммалат Бека» Марлинского, в числе коих была картинка, изображающая двух русских офицеров, сидящих на валу укрепления и рассматривающих клинок кинжала с девизом «Будь медлен на обиду, к отмщенью будь скор!» [4], по которому они в лежащем

тут же с обвязанною рукой раненом узнают Аммалат Бека, который на другом рисунке изображен в папахе и бурке, гарцующим на коне перед русским укреплением, на которое нападают горцы. Мечтая же о своей будущности, Лермонтов любил представлять себя едущим в отпуск после производства в офицеры и часто изображал себя в дороге на лихой ли тройке, на перекладной, в коляске ли, или на санях, причем весьма мне памятно, что ямщика своего он всегда изображал с засученными рукавами рубахи и в арзамасской шапке, а себя самого в форменной шинели и, если не в фуражке, то непременно в папахе.

Вообще, сколько помню, рисунки Лермонтова отличались замечательною бойкостью и уверенностью карандаша, которым он с одинаковым талантом воспроизводил как отдельные фигуры, так и целые группы из многочисленных фигур в различных положениях и движениях, полных жизни и правды. Поэтому встречающиеся в его тетради фигуры, не отвечающие тому отличительному характеру рисунков Лермонтова, следует, конечно, приписать кому-нибудь из его товарищей. Но вместе с бойкостью, без помарок эскизов нашего художника, изображавших преимущественно лошадей — которых он рисовал сперва иноходцами и, видимо, только впоследствии ради правды, одной чертою переменяя положение задних ног, — всадников, кавалеристов с безукоризненною посадкой и т. п., в числе его произведений были и весьма тонкие изящные фигуры или метко схваченные отличительные черты представленных им в карикатуре лиц, свидетельствующие о разносторонности этого, неизвестного в публике, таланта столь известного поэта.

По поводу обнаружившихся уже в школе художественных дарований Лермонтова припоминаю факт, рассказанный мне товарищами старшего, выпускного класса, которым и заключу эти воспоминания мои о бывшем товарище. В год своего производства в офицеры Лермонтов представил нашему преподавателю русской словесности Плаксину — имя и отчество коего не помню — сочинение свое в стихах «Хаджи Абрек», по прочтении которого Плаксин тут же на своей кафедре, поднявшись со стула, торжественно произнес: «Приветствую будущего поэта России!» [5]

А. А. ЛОПУХИН

ПИСЬМО К А. А. БИЛЬДЕРЛИНГУ

Позвольте мне, бывшему воспитаннику Школы гвардейских подпрапорщиков и (кавалерийских) юнкеров, коего рождения воспето Лермонтовым («Ребенка милого рожденье...»), принести свой вклад в устроенный Вашим превосходительством Лермонтовский музей. Прилагаемое изображение рисовано рукою поэта при следующих обстоятельствах: покойный отец мой был очень дружен с Лермонтовым, и сей последний, приезжая в Москву, часто останавливался в доме отца на Молчановке, где гостил подолгу. Отец рассказывал мне, что Лермонтов вообще, а в молодости в особенности, постоянно искал новой деятельности и, как говорил, не мог остановиться на той, которая должна бы его поглотить всецело, и потому, часто меняя занятия, он, попадая на новое, всегда с полным увлечением предавался ему. И вот в один из таких периодов, когда он занимался исключительно математикой, он однажды до поздней ночи работал над разрешением какой-то задачи, которое ему не удавалось, и, утомленный, заснул над ней. Тогда ему приснился человек, изображенный на прилагаемом полотне, который помог ему разрешить задачу. Лермонтов проснулся, изложил разрешение на доске и под свежим впечатлением мелом и углем нарисовал портрет приснившегося ему человека на штукатурной стене его комнаты. На другой день отец мой пришел будить Лермонтова, увидел нарисованное, и Лермонтов рассказал ему, в чем дело. Лицо изображенное было настолько характерно, что отец хотел сохранить его и призвал мастера, который должен был сделать раму кругом нарисованного, а самое изображение покрыть стеклом, но мастер оказался

настолько неумелым, что при первом приступе штукатурка с рисунком развалилась. Отец был в отчаянии, но Лермонтов успокоил его, говоря: «Ничего, мне эта рожа так в голову врезалась, что я тебе намалюю ее *на полотне*», — что и исполнил. Отец говорил, что сходство вышло поразительное. Этот портрет приснившегося человека с тех пор постоянно висел в кабинете отца, от которого и перешел мне по наследству. К сожалению, я не могу определить, в котором году было написано это изображение, и в настоящее время за смертию всех лиц, домашних моего отца, которые могли бы дать мне эти сведения, это остается неразъясненным [1].

М. Н. ЛОНГИНОВ

ЗАМЕТКИ О ЛЕРМОНТОВЕ

Известно, какое сильное влияние имели Кавказ и Грузия на вдохновение Лермонтова. Ими внушены: «Хаджи Абрек», «Демон», «Измаил-Бей», «Мцыри», «Дары Терека», «Спор», «Валерик», «Тамара», «Свидание», «Казбеку», «Беглец», «Кавказ». Влияние это заметно и в «Казачьей колыбельной песне», «Кинжале», «Сне», в пьесах «Памяти Одоевского» и «Не плачь, не плачь, мое дитя». Прибавьте к этому «Героя нашего времени», и увидите, какую обильную дань принес он описанию этого края [1]. Кавказ вдохновил двадцатиодноголетнего Пушкина и двадцатидвухлетнего Лермонтова (он родился в 1815 году, в Москве, у Красных ворот, в доме, принадлежащем теперь купцу Бурову) [2]. Первая его поездка в юности на Кавказ относится к началу 1837 года. Вторая происходила ровно три года спустя. Из нее он возвращался ненадолго в Петербург, в начале 1841 года, и, возвратясь на Кавказ, кончил там дни свои в том же году 15 июля. Он очень любил этот дикий край, с которым успел свыкнуться. В стихотворении «Кавказ» три раза повторяется припев: «Люблю я Кавказ». И во многих других его произведениях высказывается не только восторжение красотами кавказской природы, но и особенная привязанность к этому краю, с которым поэт ознакомился с детства. Вспомните начало «Измаил-Бея».

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили.

Основание этого поэтического обращения взято из действительности. В доказательство тому привожу

свидетельство «Отечественных записок» Свиньина (1825 г., август, № 64). Там напечатан присланный издателем с Кавказских минеральных вод список посетителей и посетительниц, прибывших туда по июль 1825 года, и на стр. 260 под №№ 57, 58, 59, 60, 61 и 62 показаны: «Арсеньева Елизавета Алексеевна, вдова, поручица из Пензы, при ней внук Михайло Лермантов, родственник ее Михайло Пожогин, доктор Ансельм Левиз, учитель Иван Капа, гувернерка Христина Ремер».

Лермонтов родился в доме у своей бабушки Е. А. Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Мать Лермонтова, Марья Михайловна, была единственная дочь ее от супружества с Михайлом Васильевичем Арсеньевым. Выйдя замуж за Юрия Петровича Лермонтова, она прожила недолго, и после нее будущий поэт остался лет двух от роду. Нежность Елизаветы Алексеевны, лишившейся единственной дочери, перенеслась вся на внука, и Лермонтов до самого вступления в юнкерскую школу (1832) жил и воспитывался в ее доме. Она так любила внука, что к ней можно применить выражение: «не могла им надышаться», и имела горесть пережить его. Она была женщина чрезвычайно замечательная по уму и любезности. Я знал ее лично и часто видал у матушки, которой она по мужу была родня. Не знаю почти никого, кто бы пользовался таким общим уважением и любовью, как Елизавета Алексеевна. Что это была за веселость, что за снисходительность! Даже молодежь с ней не скучала, несмотря на ее преклонные лета. Как теперь, смотрю на ее высокую, прямую фигуру, опирающуюся слегка на трость, и слышу ее неторопливую, внятную речь, в которой заключалось всегда что-нибудь занимательное. У нас в семействе ее все называли бабушкой, и так же называли ее во всем многочисленном ее родстве. К ней относится следующий куплет в стихотворении гр. Ростопчиной «На дорогу М. Ю. Лермонтову», написанном в 1841 году, по случаю последнего отъезда его из Петербурга и напечатанном в «Русской беседе» Смирдина, т. II. После исчисления лишений и опасностей, которым подвергается отъезжающий на Кавказ поэт, в стихотворении этом сказано:

Но есть заступница родная,
С заслугою преклонных лет:
Она ему конец всех бед
У неба вымолит, рыдая.

К несчастию, предсказание не сбылось. Когда эти стихи были напечатаны, Лермонтова уже полгода не было на свете [3].

* * *

Я узнал Лермонтова в 1830 или 1831 году, когда он был еще отроком, а я ребенком. Он привезен был тогда из Москвы в Петербург, кажется, чтобы поступить в университет, но вместо того вступил в 1832 году в юнкерскую школу лейб-гусарским юнкером, а в офицеры произведен в тот же полк в начале 1835 года [4]. Мы находились в дальнем свойстве по Арсеньевым, к роду которых принадлежали мать Лермонтова и моя прабабушка. Старинные дружеские отношения в течение нескольких поколений тесно соединяли всех членов многочисленного рода, несмотря на то что кровная связь их с каждым поколением ослабевала. В Петербурге жил тогда Никита Васильевич Арсеньев (род. 1775 г., ум. 1847), родной брат деда Лермонтова и двоюродный брат моей бабушки; Лермонтов был поручен его попечениям. У Никиты Васильевича, большого хлебосола и весельчака, всеми любимого, собирались еженедельно по воскресеньям на обед и на вечер многочисленные родные, и там часто видал я Лермонтова, сперва в полуфраке, а потом юнкером. В 1836 году на святой неделе я был отпущен в Петербург из Царскосельского лицея, и, разумеется, на второй или третий день праздника я обедал у дедушки Никиты Васильевича (так его все родные называли). Тут обедал и Лермонтов, уже гусарский офицер, с которым я часто видался и в Царском Селе, где стоял его полк. Когда Лермонтов приезжал в Петербург, то занимал в то время комнаты в нижнем этаже обширного дома, принадлежавшего Никите Васильевичу (в Коломне, за Никольским мостом). После обеда Лермонтов позвал меня к себе вниз, угостил запрещенным тогда плодом — трубкой, сел за фортепьяно и пел презабавные русские и французские куплеты (он был живописец и немного музыкант). Как-то я подошел к окну и увидел на нем тетрадь in folio * и очень толстую; на заглавном листе крупными буквами было написано: «Маскарад, драма» [5]. Я взял ее и спросил Лермонтова: его ли это сочинение? Он обернулся и сказал: «Оставь, оставь,

* Формат в половину бумажного листа (*лат.*).

это секрет». Но потом подошел, взял рукопись и сказал, улыбаясь: «Впрочем, я тебе прочту что-нибудь; это сочинение одного молодого человека», — и действительно, прочел мне несколько стихов, но каких, этого за давностью лет вспомнить не могу.

Здесь не место входить в описание дальнейших сношений моих с Лермонтовым. Я хотел только определить время сочинения единственной вполне сохранившейся драмы его. Из сказанного выше видно, что она написана была в первый период его авторства, когда один только «Хаджи Абрек» его был напечатан. Может быть, он и исправлял потом «Маскарад», который я видел тщательно переписанным в апреле 1836 года, но едва ли сделал в нем существенные перемены[6], тем более что в позднейшее время он, кажется, вовсе не принимался за драматический род.

* * *

Когда Пушкин был убит, я лежал в постели, тяжко больной и едва-едва спасенный недавно от смерти заботами Арендта и попечительным уходом за мною доброй матушки. Мне не смели объявить сейчас же и прямо о смерти Пушкина. Я узнал о ней после разных приготовлений к такому объявлению. Тогда же получил я рукописные стихи на эту кончину Губера[1] и Лермонтова. Известно, что пьеса последнего произвела вскоре громкий скандал и автору готовилась печальная участь. Бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна была в отчаянии и с горя говорила, упрекая себя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе; вот до чего он довел его».

После дуэли Лермонтова с Барантом нужно было ожидать большой беды для первого, так как он уже во второй раз попадался. Можно вообразить себе горе «бабушки». Понятно также, что родные и друзья старались утешать ее, сколько было возможно. Между прочим, ее уверяли, будто участь внука будет смягчена, потому что «свыше» выражено удовольствие за то, что Лермонтов при объяснении с Барантом вступился вообще за честь русских офицеров перед французом. Старушка высказала как-то эту надежду при племяннике своем, покойном Екиме Екимовиче Хастатове, служившем

адъютантом при гвардейском дивизионном начальнике Ушакове. Хастатов был большой чудак и, между прочим, имел иногда обыкновение произносить речи, как говорят, по-театральному, «в сторону», но делал это таким густым басом, что те, от которых он хотел скрыть слова свои, слышали их как нельзя лучше. Когда «бабушка» повторила утешительное известие, он обратился к кому-то из присутствовавших и сказал ему по-своему «в сторону»: «Как же! Напротив того, говорят, что упекут голубчика». Старушка услышала это и пришла в отчаяние.

Поединок с Барантом грозил Лермонтову тем более серьезными последствиями, что покойный государь долго не соглашался перевести его обратно в гвардию в 1837 году. Император разрешил этот перевод единственно по неотступной просьбе любимца своего, шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. Граф представил государю отчаяние старушки «бабушки», просил о снисхождении к Лермонтову, как о личной для себя милости, и обещал, что Лермонтов не подаст более поводов к взысканиям с него, и наконец получил желаемое. Это было, если не ошибаюсь, перед праздником рождества 1837 года. Граф сейчас отправился к «бабушке». Перед ней стоял портрет любимого внука. Граф, обращаясь к нему, сказал, не предупреждая ее ни о чем: «Ну, поздравляю тебя с царскою милостию». Старушка сейчас догадалась, в чем дело, и от радости заплакала [8]. Лермонтова перевели тогда в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший на поселениях, близ Спасской Полести, в Новгородской губернии. Таково было тогда обыкновение: выписанные в армию переводились в гвардейские полки, расположенные вне Петербурга: так, Хвостов, Лермонтов (бывшие лейб-гусары), Тизенгаузен (бывший кавалергард) переведены были в гродненские гусары; Трубецкой, Новосильцев (бывшие кавалергарды) — в кирасиры его величества, квартировавшие в Царском Селе. Впрочем, уже на святой неделе 1838 года Лермонтов опять поступил в лейб-гусарский полк, где и служил до второй ссылки в 1840 году.

* * *

Особенно дружен был Лермонтов с двоюродным братом своим Алексеем; [9] они были вместе в школе и в гусарах, а также два раза (как помнится) на

Кавказе: в 1837 году, когда первый был переведен туда за стихи на смерть Пушкина, последний же ездил туда охотником из гвардии, а затем в 1840—1841 годах, когда первый вторично был выслан туда за дуэль с Барантом, а последний, впоследствии той же дуэли, по внушению покойного государя поступил из отставки (в которую недавно вышел) на службу капитаном в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе.

* * *

Алексей Столыпин вышел в офицеры лейб-гусарского полка из юнкерской школы в 1835 году. В 1837 году ездил охотником на Кавказ, где храбро сражался. В конце 1839 года, будучи поручиком, вышел в отставку. В начале 1840 года поступил на службу на Кавказ капитаном Нижегородского драгунского полка. В 1842 году вышел опять в отставку. В последнюю войну он, несмотря на немолодые уже лета, вступил на службу ротмистром в белорусский гусарский полк и храбро дрался под Севастополем, а по окончании войны вышел в отставку и скончался несколько лет тому назад. Это был совершеннейший красавец; красота его, мужественная и вместе с- тем отличавшаяся какою-то нежностию, была бы названа у французов «proverbiale» *. Он был одинаково хорош и в лихом гусарском ментике, и под барашковым кивером нижегородского драгуна, и, наконец, в одеянии современного льва, которым был вполне, но в самом лучшем значении этого слова. Изумительная по красоте внешняя оболочка была достойна его души и сердца. Назвать «Монгу-Столыпина» значит для людей нашего времени то же, что выразить понятие о воплощенной чести, образце благородства, безграничной доброте, великодушии и беззаветной готовности на услугу словом и делом. Его не избаловали блистательнейшие из светских успехов, и он умер уже не молодым, но тем же добрым, всеми любимым «Монго», и никто из львов не возненавидел его, несмотря на опасность его соперничества. Вымолвить о нем худое слово не могло бы никому прийти в голову и принято было бы за нечто чудовищное. Столыпин отлично ездил вер-

---

* легендарной *(фр.)*.

хом, стрелял из пистолета и был офицер отличной храбрости.

Прозвище «Монго», помнится, дано было Столыпину от клички, памятной современникам в Царском Селе, собаки, принадлежавшей ему. Собака эта, между прочим, прибегала постоянно на плац, где происходило гусарское ученье, лаяла, хватала за хвост лошадь полкового командира М. Г. Хомутова и иногда даже способствовала тому, что он скоро оканчивал скучное для молодежи ученье [10].

В 1839—1840 годах Лермонтов и Столыпин, служившие тогда в лейб-гусарах, жили вместе в Царском Селе, на углу Большой и Манежной улиц. Тут более всего собирались гусарские офицеры, на корпус которых они имели большое влияние. Товарищество (esprit de corps) было сильно развито в этом полку и, между прочим, давало одно время сильный отпор не помню каким-то притязаниям командовавшего временно полком полковника С*. Покойный великий князь Михаил Павлович, не любивший вообще этого «esprit de corps», приписывал происходившее в гусарском полку подговорам товарищей со стороны Лермонтова со Столыпиным и говорил, что «разорит это гнездо», то есть уничтожит сходки в доме, где они жили. Влияния их действительно нельзя было отрицать; очевидно, что молодежь не могла не уважать приговоров, произнесенных союзом необыкновенного ума Лермонтова, которого побаивались, и высокого благородства Столыпина, которое было чтимо, как оракул.

* * *

В начале 1841 года Лермонтов в последний раз приехал в Петербург. Я не знал еще о его недавнем приезде. Однажды, часу во втором, зашел я в известный ресторан Леграна, в Большой Морской. Я вошел в бильярдную и сел на скамейку. На бильярде играл с маркером небольшого роста офицер, которого я не рассмотрел по своей близорукости. Офицер этот из дальнего угла закричал мне: «Здравствуй, Лонгинов!» — и направился ко мне; тут узнал я Лермонтова в армейских эполетах с цветным на них полем. Он рассказал мне об обстоятельствах своего приезда, разрешенного ему для свидания с «бабушкой». Он был тогда на той

высшей степени апогея своей известности, до которой ему только суждено было дожить. Петербургский «beau-monde» * встретил его с увлечением; он сейчас вошел в моду и стал являться по приглашениям на балы, где бывал двор. Но все это было непродолжительно. В одно утро после бала, кажется, у графа С. С. Уварова, на котором был Лермонтов, его позвали к тогдашнему дежурному генералу графу Клейнмихелю, который объявил ему, что он уволен в отпуск лишь для свидания с «бабушкой», а что в его положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает двор, и что поэтому он должен воздержаться от посещений таких собраний. Лермонтов, тщеславный и любивший светские успехи, был этим чрезвычайно огорчен и оскорблен, в совершенную противоположность тому, что выражено в написанном им около этого времени стихотворении «Я не хочу, чтоб свет узнал»...[11]

* * *

Лермонтов был очень плохой служака, в смысле фронтовика и исполнителя всех мелочных подробностей в обмундировании и исполнений обязанностей тогдашнего гвардейского офицера. Он частенько сиживал в Царском Селе на гауптвахте, где я его иногда навещал. Между прочим, помню, как однажды он жестоко приставал к арестованному вместе с ним лейб-гусару покойному Владимиру Дмитриевичу Бакаеву (ум. в 1871 г.). Весною 1839 года Лермонтов явился к разводу с маленькою, чуть-чуть не игрушечного детскою саблею при боку, несмотря на присутствие великого князя Михаила Павловича, который тут же арестовал его за это, велел снять с него эту саблю и дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, которых привели смотреть на развод[12]. В августе того же года великий князь за неформенное шитье на воротнике и обшлагах вицмундира послал его под арест прямо с бала, который давали в ротонде царскосельской китайской деревни царскосельские дамы офицерам расположенных там гвардейских полков (лейб-гусарского и кирасирского), в отплату за праздники, которые эти кавалеры устраивали в их честь. Такая нерадивость причитывалась

---

* большой свет (*фр.*).

к более крупным проступкам Лермонтова и не располагала начальство к снисходительности в отношении к нему, когда он в чем-либо попадался.

* * *

Госпожа Верзилина, в пятигорском доме которой произошла последняя ссора Лермонтова, была супруга храброго старого кавказца, радушно принимавшая служивших на Кавказе и приезжавших туда. У ней были дочери очень миловидные и любезные, по отзыву всех, кто был знаком с ними. Кажется, Лермонтов имел отчасти в виду это семейство, когда говорил комплимент кавказским дамам от лица Печорина.

* * *

Говорили, будто, рисуя некоторые черты характера Грушницкого (в «Княжне Мери»), Лермонтов имел в виду живое лицо, долго служившее на Кавказе, именно Н. П. К<олюбакина> [13].

* * *

Слышно было, будто при последнем поединке Лермонтова присутствовали не одни секунданты, а были еще некоторые лица, стоявшие в отдалении; но это было скрыто при следствии, без чего эти свидетели подвергнулись бы ответственности. Заношу этот слух в мои заметки, не отвечая нисколько за его достоверность.

* * *

Публике долго был известен один только портрет Лермонтова, где он изображен в черкеске с шашкой. Я первый заявил о несходстве и безобразии этого портрета, о чем говорила и г-жа Хвостова. Г. Глазунов, так старательно издававший сочинения Лермонтова в последние годы, стал заботиться о приискании лучшего и достал у князя В. А. Меньшикова (служившего прежде тоже в лейб-гусарах), портрет Лермонтова, впрочем также неудовлетворительный, изображающий его в гусарском сюртуке с эполетами. Тогда я указал г. Глазунову на поколенный, в натуральную величину,

портрет Лермонтова, писанный масляными красками, сохранившийся в саратовском имении А. А. Столыпина Нееловке, где я его и видел. Тут Лермонтов изображен в лейб-гусарском вицмундире и накинутой поверх его шинели, с треугольною шляпой в руках. Г. Глазунов приложил гравюру его к иллюстрированному изданию «Песни о купце Калашникове». Это лучший из известных мне портретов Лермонтова; хотя он на нем и очень польщен, но ближе всех прочих передает общее выражение его физиономии (в хорошие его минуты), особенно его глаза, взгляд которых имел действительно нечто чарующее, «fascinant», как говорится по-французски, несмотря на то что лицо поэта было очень некрасиво.

Д. А. СТОЛЫПИН И А. В. ВАСИЛЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе П. К. Мартьянова)

Граф Алексей Владимирович Васильев сообщил мне некоторые из своих воспоминаний о встречах и совместной службе с Лермонтовым в лейб-гвардии Гусарском полку (ныне полк его величества) в первые годы по зачислении поэта в полк, то есть в 1834 и 1835 годах. Он знал Михаила Юрьевича еще в Школе гвардейских юнкеров и, по выпуске его в офицеры, очень интересовался им, тем более что слава поэта предшествовала появлению его в полку. Граф Васильев числился в полку старшим корнетом, когда Лермонтов был произведен в офицеры, и поэт, по заведенному порядку, после представления начальству явился и к нему с визитом. Представлял его, как старший и знакомый со всеми в полку, А. А. Столыпин. После обычных приветствий любезный хозяин обратился к своему гостю с вопросом:

— Надеюсь, что вы познакомите нас с вашими литературными произведениями?

Лермонтов нахмурился и, немного подумав, отвечал:

— У меня очень мало такого, что интересно было бы читать.

— Однако мы кое-что читали уже [1].

— Все пустяки! — засмеялся Лермонтов. — А впрочем, если вас интересует это, заходите ко мне, я покажу вам.

Но когда приходили к нему любопытствовавшие прочитать что-либо новое, Лермонтов показывал немногое и, как будто опасаясь за неблагоприятное впечатление, очень неохотно. Во всяком случае, некоторые товарищи, как, например, Годеин и *другие,* чтили в нем поэта и гордились им.

Во время служения Лермонтова в лейб-гвардии Гусарском полку командирами полка были: с 1834 по 1839 год — генерал-майор Михаил Григорьевич Хомутов [2], а в 1839 и 1840 годах — генерал-майор Николай Федорович Плаутин [3]. Эскадронами командовали: 1-м — флигель-адъютант, ротмистр Михаил Васильевич Пашков; 2-м — ротмистр Орест Федорович фон Герздорф; 3-м — ротмистр граф Александр Осипович Витт, а потом — штабс-ротмистр Алексей Григорьевич Столыпин; [4] 4-м — полковник Федор Васильевич Ильин, а затем — ротмистр Егор Иванович Шевич; 5-м — ротмистр князь Дмитрий Алексеевич Щербатов 1-й; 6-м — ротмистр Иван Иванович Ершов и 7-м — полковник Николай Иванович Бухаров [5]. Корнет Лермонтов первоначально был зачислен в 7-й эскадрон, а в 1835 году переведен в 4-й эскадрон. Служба в полку была не тяжелая, кроме лагерного времени или летних кампаментов по деревням, когда ученье производилось каждый день. На ученьях, смотрах и маневрах должны были находиться все числящиеся налицо офицеры. В остальное время служба обер-офицеров, не командовавших частями, ограничивалась караулом во дворце, дежурством в полку да случайными какими-либо нарядами. Поэтому большинство офицеров, не занятых службою, уезжало в С.-Петербург и оставалось там до наряда на службу. На случай экстренного же требования начальства в полку всегда находилось два-три обер-офицера из менее подвижных, которые и отбывали за товарищей службу, с зачетом очереди наряда в будущем. За Лермонтова отбывал службу большей частью Годеин, любивший его, как брата.

В праздничные же дни, а также в случаях каких-либо экстраординарных событий в свете, как-то: балов, маскарадов, постановки новой оперы или балета, дебюта приезжей знаменитости, — гусарские офицеры не только младших, но и старших чинов уезжали в Петербург и, конечно, не все возвращались в Царское Село своевременно. Граф Васильев помнит даже такой случай. Однажды генерал Хомутов приказал полковому адъютанту, графу Ламберту, назначить на утро полковое ученье, но адъютант доложил ему, что вечером идет «Фенелла» [6] и офицеры в Петербурге, так что многие, не зная о наряде, не будут на ученье. Командир полка принял во внимание подобное представление, и ученье было отложено до следующего дня. Лермонтов жил

с товарищами вообще дружно, и офицеры любили его за высоко ценившуюся тогда «гусарскую удаль». Не сходился только он с одними поляками, в особенности он не любил одного из наиболее чванных из них — Понятовского, бывшего впоследствии адъютантом великого князя Михаила Павловича. Взаимные их отношения ограничивались холодными поклонами при встречах. <...>

Квартиру Лермонтов имел, по словам Д. А. Столыпина, в Царском Селе, на углу Большого проспекта и Манежной улицы [7], но жил в ней не с одним только Алексеем Аркадьевичем, как заявлено П. А. Висковатовым в биографии поэта; вместе с ними жил также и Алексей Григорьевич Столыпин, и хозяйство у всех троих было общее. Лошадей Лермонтов любил хороших и ввиду частых поездок в Петербург держал верховых и выездных. Его конь Парадёр считался одним из лучших; он купил его у генерала Хомутова и заплатил более 1500 рублей, что по тогдашнему времени составляло на ассигнации около 6000 рублей [8]. О резвости гусарских скакунов можно судить по следующему рассказу Д. А. Столыпина. Во время известной поездки Лермонтова с А. А. Столыпиным на дачу балерины Пименовой, близ Красного кабачка, воспетой Михаилом Юрьевичем в поэме «Монго», когда друзья на обратном пути только что выдвинулись на петергофскую дорогу, вдали показался возвращающийся из Петергофа в Петербург в коляске четверкою великий князь Михаил Павлович. Ехать ему навстречу значило бы сидеть на гауптвахте, так как они уехали из полка без спросу [9]. Не долго думая, они повернули назад и помчались по дороге в Петербург, впереди великого князя. Как ни хороша была четверка великокняжеских коней, друзья ускакали и, свернув под Петербургом в сторону, рано утром вернулись к полку благополучно. Великий князь не узнал их, он видел только двух впереди его ускакавших гусар, но кто именно были эти гусары, рассмотреть не мог и поэтому, приехав в Петербург, послал спросить полкового командира: все ли офицеры на ученье? «Все», — отвечал генерал Хомутов; и действительно, были все, так как друзья прямо с дороги отправились на ученье. Гроза миновала благодаря резвости гусарских скакунов.

В Гусарском полку, по рассказу графа Васильева, было много любителей большой карточной игры и гоме-

рических попоек с огнями, музыкой, женщинами и пляской. У Герздорфа, Бакаева и Ломоносова велась постоянная игра, проигрывались десятки тысяч, у других — тысячи бросались на кутежи. Лермонтов бывал везде и везде принимал участие, но сердце его не лежало ни к тому, ни к другому. Он приходил, ставил несколько карт, брал или давал, смеялся и уходил. О женщинах, приезжавших на кутежи из С.-Петербурга, он говаривал: «Бедные, их нужда к нам загоняет», или: «На что они нам? у нас так много достойных любви женщин». Из всех этих шальных удовольствий поэт более всего любил цыган. В то время цыгане в Петербурге только что появились. Их привез из Москвы знаменитый Илья Соколов, в хоре которого были первые по тогдашнему времени певицы: Любаша, Стеша, Груша и другие, увлекавшие не только молодежь, но и стариков на безумные с ними траты. Цыгане, по приезде из Москвы, первоначально поселились в Павловске, где они в одной из слободок занимали несколько домов, а затем уже, с течением времени, перебрались и в Петербург. Михаил Юрьевич частенько наезжал с товарищами к цыганам в Павловск, но и здесь, как во всем, его привлекал не кутеж, а их дикие разудалые песни, своеобразный быт, оригинальность типов и характеров, а главное, свобода, которую они воспевали в песнях и которой они были тогда единственными провозвестниками. Все это он наблюдал и изучал и возвращался домой почти всегда довольный проведенным у них временем.

Д. А. Столыпин рассказывал мне, что он, будучи еще юнкером (в 1835 или 1836 году), приехал однажды к Лермонтову в Царское Село и с ним после обеда отправился к цыганам, где они и провели целый вечер. На вопрос его: какую песню он любит более всего? — Лермонтов ответил: «А вот послушай!» — и велел спеть. Начала песни, к сожалению, Дмитрий Аркадьевич припомнить не мог, он вспомнил только несколько слов ее: «А ты слышишь ли, милый друг, понимаешь ли...» — и еще: «Ах ты, злодей, злодей...» Вот эту песню он особенно любил и за мотив и за слова [10].

Граф Васильев жил в то время в Царском Селе на одной квартире с поручиком Гончаровым, родным братом Натальи Николаевны, супруги А. С. Пушкина. Через него он познакомился с поэтом и бывал у него впоследствии нередко. А. С. Пушкин, живший тогда

тоже в Царском, близ Китайского домика, полюбил молодого гусара и частенько утром, когда он возвращался с ученья домой, зазывал к себе, шутил, смеялся, рассказывал или сам слушал рассказы о новостях дня. Однажды в жаркий летний день граф Васильев, зайдя к нему, застал его чуть не в прародительском костюме. «Ну, уж извините, — засмеялся поэт, пожимая ему руку, — жара стоит африканская, а у нас там, в Африке, ходят в таких костюмах».

Он, по словам графа Васильева, не был лично знаком с Лермонтовым, но знал о нем и восхищался его стихами.

— Далеко мальчик пойдет, — говорил он[11].

Между тем некоторые гусары были против занятий Лермонтова поэзией. Они находили это несовместимым с достоинством гвардейского офицера.

— Брось ты свои стихи, — сказал однажды Лермонтову любивший его более других полковник Ломоносов, — государь узнает, и наживешь ты себе беды!

— Что я пишу стихи, — отвечал поэт, — государю известно было, еще когда я был в юнкерской школе, через великого князя Михаила Павловича, и вот, как видите, до сих пор никаких бед я себе не нажил.

— Ну, смотри, смотри, — грозил ему шутя старый гусар, — не зарвись, куда не следует.

— Не беспокойтесь, господин полковник, — отшучивался Михаил Юрьевич, делая серьезную мину, — сын Феба не унизится до самозабвения.

Когда последовал приказ о переводе Лермонтова за стихи «На смерть А. С. Пушкина» на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, офицеры лейб-гвардии Гусарского полка хотели дать ему прощальный обед по подписке, но полковой командир не разрешил, находя, что подобные проводы могут быть истолкованы как протест против выписки поэта из полка.

* * *

Дмитрий Аркадьевич Столыпин (брат секунданта поэта в барантовской дуэли А. А. Столыпина) дал очень уклончивый отзыв о Мартынове. По его словам, он его знал вообще очень мало, встречался с ним, но близко никогда не сходился. С сестрами Мартынова Лермонтов был знаком в московский период его жизни, заезжал к ним и после, когда случалось быть в Белокаменной, но об ухаживании его за которой-нибудь из них, а тем

более о близких дружественных отношениях, ни от кого — ни от самого Лермонтова, который был с ним дружен, ни от кого другого не слыхал. О казусе с пакетом при жизни Лермонтова никакого разговора не было [12]. Это, вероятно, была простая любезность, желание оказать услугу добрым знакомым, и если поэт ее не исполнил, то потому, что посылка дорогой была украдена. Если он так заявил, то это, значит, так и было: он никогда не лгал, ложь была чужда ему. Во всяком случае, подобное обстоятельство причиной дуэли быть не могло, иначе она должна была состояться несколькими годами раньше, то есть в то же время, когда Мартынов узнал, что Лермонтов захватил письма его сестер. О кровавой развязке дуэли Д. А. Столыпин только однажды беседовал с Н. С. Мартыновым, который откровенно сказал ему, что он отнесся к поединку серьезно, потому, что не хотел впоследствии подвергаться насмешкам, которыми вообще осыпают людей, делающих дуэль предлогом к бесполезной трате пыжей и гомерическим попойкам.

* * *

Д. А. Столыпин, как близкий родственник и товарищ Михаила Юрьевича, частенько делил с ним досуги в последний приезд его с Кавказа в Петербург в 1841 году, и вот что он говорил нам весною 1892 года в Москве относительно рукописи «Демона» и некоторых сопряженных с ней вопросов.

Рукопись «Демон» переписана начисто Лермонтовым собственноручно еще на Кавказе. Это была тетрадь большого листового формата, сшитая из дести обыкновенной белой писчей бумаги и перегнутая сверху донизу надвое. Текст поэмы написан четко и разборчиво, без малейших поправок и перемарок на правой стороне листа, а левая оставалась чистою. Автограф этот поэт приготовил и привез с собой в Петербург в начале 1841 года для доставления удовольствия бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой прочитать «Демона» лично, за что она и сделала предупредительному внуку хороший денежный подарок. «Демон» читался неоднократно в гостиной бабушки, в интимном кружке ее друзей, и в нем тут же, когда поэт собирался отвезти рукопись к А. А. Краевскому для снятия копии и набора в типографии, по настоянию А. Н. Муравьева, отмечен был чертою сбоку, как не отвечающий цензурным усло-

виям тогдашнего времени, диалог Тамары с Демоном: «Зачем мне знать твои печали?» Рукопись «Демона» поэт еще раз просмотрел и исправил, когда ее потребовали для прочтения ко двору. Сделанные поэтом исправления были написаны на левой чистой стороне тетради, а замененные места в тексте зачеркнуты. Диалог Тамары с Демоном и после последнего исправления поэтом замаран не был, и хотя из копии, представленной для прочтения высоким особам, исключен, но в рукописи остался незамаранным и напечатан в карлсруэском издании поэмы 1857 года, следовательно, к числу отбросов, как уверяет г. Висковатов, отнесен быть не может. У Краевского «Демона» читал поэт сам, но не всю поэму, а только некоторые эпизоды, вероятно, вновь написанные. При чтении присутствовало несколько литераторов, и поэму приняли восторженно. Но относительно напечатания ее поэт и журналист высказались противоположно. Лермонтов требовал напечатать всю поэму сразу, а Краевский советовал напечатать эпизодами в нескольких книжках. Лермонтов говорил, что поэма, разбитая на отрывки, надлежащего впечатления не произведет, а Краевский возражал, что она зато пройдет полнее. Решили послать в цензуру всю поэму, которая при посредстве разных влияний, хотя и с большими помарками, но была к печати дозволена [13]. (Почему рукопись взята от Краевского и не попала в печать при жизни поэта — говорилось выше.) Поэму не одобрили В. А. Жуковский и П. А. Плетнев, как говорили, потому, что поэт не был у них на поклоне. Князь же Вяземский, князь Одоевский, граф Соллогуб, Белинский и многие другие литераторы хвалили поэму и предсказывали ей большой успех. В обществе слава поэмы распространилась, когда список с нее был представлен, через А. И. Философова, ко двору. Ее стали читать в салонах великосветских дам и в кабинетах сановных меценатов, где она до высылки поэта на Кавказ и пользовалась большим фавором. Недаром еще Шиллер говорил: «Искусство — роскошный цветок, растущий для людского блага и счастия».

Из тогдашних разговоров и отзывов о поэме Дмитрий Аркадьевич припомнил следующее.

— Скажите, Михаил Юрьевич, — спросил поэта князь В. Ф. Одоевский, — с кого вы списали вашего Демона?

— С самого себя, князь, — отвечал шутливо поэт, — неужели вы не узнали?

— Но вы не похожи на такого страшного протестанта и мрачного соблазнителя, — возразил князь недоверчиво.

— Поверьте, князь, — рассмеялся поэт, — я еще хуже моего Демона. — И таким ответом поставил князя в недоумение: верить ли его словам или же смеяться его ироническому ответу. Шутка эта кончилась, однако, всеобщим смехом. Но она дала повод говорить впоследствии, что поэма «Демон» имеет автобиографический характер. И вот эту салонную шутку ныне г. Висковатов выдает за самостоятельное историческое исследование!..

Княгиня М. А. Щербатова после чтения у ней поэмы сказала Лермонтову:

— Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака.

А красавица М. П. Соломирская, танцуя с поэтом на одном из балов, говорила:

— Знаете ли, Лермонтов, я вашим Демоном увлекаюсь... Его клятвы обаятельны до восторга... Мне кажется, я бы могла полюбить такое могучее, властное и гордое существо, веря от души, что в любви, как в злобе, он был бы действительно неизменен и велик [14].

Вот как встречал свет не кающегося «грешника», а протестанта и соблазнителя Демона. Но при дворе «Демон» не стяжал особой благосклонности. По словам А. И. Философова, высокие особы, которые удостоили поэму прочтения, отозвались так: «Поэма — слов нет, хороша, но сюжет ее не особенно приятен. Отчего Лермонтов не пишет в стиле «Бородина» или «Песни про царя Ивана Васильевича»? [15] Великий же князь Михаил Павлович, отличавшийся, как известно, остроумием, возвращая поэму, сказал:

— Были у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло. Я только никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли — духа зла или же дух зла — Лермонтова?

Во все продолжение времени, которое Михаил Юрьевич прожил в Петербурге, в начале 1841 года, всего около трех месяцев, он был предметом самых заботливых попечений о нем со стороны друзей, которые группировались вокруг него, и он в ответ на это дарил их своим доверием и братской откровенностью.

— М ы , — говорил Дмитрий Аркадьевич, — его близкие родственники и друзья интимные, знали все его шаги в свете, все шалости и увлечения, знали каждый день его жизни: где он был, что делал и даже с кем и что говорил он. Михаил Юрьевич сообщал нам свои мысли и предположения, делился с нами своим горем, тревогами и сомнениями, все, написанное им в это время, мы читали у него прежде, чем он выносил из дому автограф свой. Поэтому могли ли мы не знать, если бы он задумал переделать фабулу «Демона» так, как представляет теперь ее профессор Висковатов, а тем более если бы он привел подобную мысль в исполнение? Но я смело утверждаю, что ничего подобного не только поэтом не сделано, но и в голове у него не было. Допустим даже мысль, что мы, то есть интимный кружок друзей поэта, не знали о том, что Михаил Юрьевич переделал сюжет поэмы. Но как же это могло укрыться от литературного кружка, в котором поэт вращался? Литературные друзья поэта интересовались всеми его работами, следовательно, его переделка поэмы не могла бы пройти ими не замеченною. Или же переделка совершена в тайне от всех? Но для чего нужна была такая тайна? Ведь если бы поэт нашел бы почему-либо нужным переделать Демона — этого титана тьмы и злобы, зиждителя соблазна и греха — в кающегося грешника, он бы прежде всего сообщил об этом своим друзьям, чтобы подготовить к задуманной им переделке общественное мнение и обеспечить ее успех в свете. И мы, его друзья и живые свидетели тех немногих ясных дней, когда Михаил Юрьевич озарял и наполнял собою общество, и все те кружки, среди которых он вращался, конечно, поддержали бы в свете новую концепцию его поэмы. Но ничего подобного, повторяю, тогда не было, и никто нигде не слыхал об этом. Каким же образом теперь мог появиться неизвестный в то время список кающегося Демона? Неужели поэт переделал поэму для того только, чтобы послать ее для прочтения г-же Бахметевой, а черную рукопись бросить в переписчика? Но у Варвары Александровны находился список с настоящей рукописи, который, как известно, лег в основание карлсруэского издания «Демона». Следовательно, все разглагольствования на подобную тему не имеют никакого основания. А между тем им верят даже ученые люди. Г. Висковатов имеет особый дар: он беззаветно увлекается сам и других увлекает за собою.

В. П. БУРНАШЕВ

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ В РАССКАЗАХ ЕГО ГВАРДЕЙСКИХ ОДНОКАШНИКОВ

(Из «Воспоминаний В. П. Бурнашева, по его ежедневнику, в период времени с 15 сентября 1836 по 6 марта 1837 г.»)

В одно воскресенье, помнится, 15 сентября 1836 года, часу во втором дня, я поднимался по лестнице конногвардейских казарм в квартиру доброго моего приятеля А. И. Синицына [1]. <...> Подходя уже к дверям квартиры Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и жестоко гремевшим шпорами и саблею по каменным ступеням молоденьким гвардейским гусарским офицером в треугольной, надетой с поля, шляпе, белый перистый султан которой развевался от сквозного ветра. Офицер этот имел очень веселый, смеющийся вид человека, который сию минуту видел, слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня или, скорее, мою камлотовую шинель на байке (какие тогда были в общем употреблении) длинным капюшоном своей распахнутой и почти распущенной серой офицерской шинели с красным воротником и, засмеявшись звонко на всю лестницу (своды которой усиливали звуки), сказал, вскинув на меня свои довольно красивые, живые, черные, как смоль, глаза, принадлежавшие, однако, лицу бледному, несколько скуластому, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким носом, чуть-чуть приподнятым, именно таким, какой французы называют nez à la cousin: * «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хито-

---

* вздернутым носом (*фр.*).

н о м», — и продолжал быстро спускаться с лестницы, все по-прежнему гремя ножнами сабли, не пристегнутой на крючок, как делали тогда все светски благовоспитанные кавалеристы, носившие свое шумливое оружие с большою аккуратностью и осторожностью, не позволяя ему ни стучать, ни греметь. Это было не в тоне. Развеселый этот офицерик не произвел на меня никакого особенного впечатления, кроме только того, что взгляд его мне показался каким-то тяжелым, сосредоточенным; да еще, враг всяких фамильярностей, я внутренно нашел странною фамильярность его со мною, которого он в первый раз в жизни видел, как и я его. Под этим впечатлением я вошел к Синицыну и застал моего доброго Афанасия Ивановича в его шелковом халате, надетом на палевую канаусовую с косым воротом рубашку, занятого прилежным смахиванием пыли метелкою из петушьих перьев со стола, дивана и кресел и выниманием окурков маисовых пахитосов, самого толстого калибра, из цветочных горшков, за которыми патриархальный мой Афанасий Иванович имел тщательный и старательный личный уход, опасаясь дозволять слугам касаться до его комнатной флоры, покрывавшей все его окна, увешанные, кроме того, щеголеватыми проволочными клетками, в которых распевали крикуньи канарейки и по временам заливались два жаворонка, датский и курский.

— Что это вы так хлопочете, Афанасий Иванович? — спросил я, садясь в одно из вольтеровских кресел, верх которого прикрыт был антимакассаром, чтоб не испортил бы кто жирными волосами яркоцветной штофной покрышки, впрочем, и без того всегда покрытой белыми коленкоровыми чехлами.

— Да, как же (отвечал Синицын с несколько недовольным видом), я, вы знаете, люблю, чтоб у меня все было в порядке, сам за всем наблюдаю; а тут вдруг откуда ни возьмись влетает к вам товарищ по школе, курит, сыплет пепел везде, где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу, и вдобавок швыряет окурки своих проклятых трабукосов * в мои цветочные горшки и при всем этом без милосердия болтает, лепечет, рассказывает всякие грязные истории о петербургских

* Толстые пахитосы в маисовой соломе, вроде нынешних папиросов, явившихся в Петербурге только в конце сороковых годов. (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

продажных красавицах, декламирует самые скверные французские стишонки, тогда как самого-то бог наградил замечательным талантом писать истинно прелестные русские стихи. Так небось не допросишься, чтоб что-нибудь свое прочел! Ленив, пострел, ленив страшно, и что ни напишет, все или прячет куда-то, или жжет на раскурку трубок своих же сорвиголов гусаров. А ведь стихи-то его — это просто музыка! Да и распречестный малый, превосходный товарищ! Вот даже сию минуту привез мне какие-то сто рублей, которые еще в школе занял у меня «Курок»...[2] Да, ведь вы «Курка» не знаете: это один из наших школьных товарищей, за которого этот гусарчик, которого вы, верно, сейчас встретили, расплачивается. Вы знаете, Владимир Петрович, я не люблю деньги жечь; но, ей-богу, я сейчас предлагал этому сумасшедшему: «Майошка, напиши, брат, сотню стихов, о чем хочешь — охотно плачу тебе по рублю, по два, по три за стих с обязательством держать их только для себя и для моих друзей, не пуская в печать!» Так нет, не хочет, капризный змееныш этакой, не хочет даже «Уланшу» свою мне отдать целиком и в верном оригинале и теперь даже божился, греховодник, что у него и «Монго» нет, между тем Коля Юрьев давно у него же для меня подтибрил копию с «Монго». Прелесть, я вам скажу, прелесть, а все-таки не без пакостной барковщины[3]. S'est plus fort que lui! * Еще у этого постреленка, косолапого Майошки, страстишка дразнить меня моею аккуратною обстановкою и приводить у меня мебель в беспорядок, сорить пеплом и, наконец, что уж из рук вон, просто сердце у меня вырывает, это то, что он портит мои цветы, рододендрон вот этот, и, как нарочно, выбрал же он рододендрон, а не другое что, и забавляется, разбойник этакой, тем, что сует окурки в землю, и не то чтобы только снаружи, а расковыривает землю, да и хоронит. Ну далеко ли до корня? Я ему резон говорю, а он заливается хохотом! Просто отпетый какой-то Майошка, мой любезный однокашник.

И все это Афанасий Иванович рассказывал, стараясь как можно тщательнее очистить поверхность земли в горшке своего любезного рододендрона, не поднимая на меня глаз и устремив все свое внимание

* Здесь: Он перед этим не может устоять! (*фр.*).

на цветочную землю и на свою работу; но, вдруг заметив, что и я курю мои соломинки-пахитосы, он быстро взглянул, стоит ли в приличном расстоянии от меня бронзовая пепельница. Вследствие этого не по натуре его быстрого движения я сказал ему:

— Не опасайтесь, дорогой Афанасий Иванович, я у вас не насорю. Но скажите, пожалуйста, гость ваш, так вас огорчивший, ведь это тот молоденький гусар, что сейчас от вас вышел хохоча?

— Да, да, — отвечал Синицын, — тот самый. И вышел, злодей, с хохотом от меня, восхищаясь тем, что доставил мне своим визитом работы на добрый час, чтоб за ним подметать и подчищать. Еще, слава богу, ежели он мне не испортил вконец моего рододендрона. <...>

...Я спросил Синицына: «Кто же этот гусар? Вы называете его «Майошкой»; но это, вероятно, школьная кличка, nom de guerre?» *

— Лермонтов, — отвечал Синицын, — мы с ним были вместе в кавалерийском отделении школы. <...>

— Вы говорили давеча, любезнейший Афанасий Иванович, — спросил я, почти не слушая служебных рассуждений моего собеседника, — вы говорили, что этот гусарский офицер, Лермонтов, пишет стихи?

— Да и какие прелестные, уверяю вас, стихи пишет он! Такие стихи разве только Пушкину удавались. Стихи этого моего однокашника Лермонтова отличаются необыкновенною музыкальностью и певучестью; они сами собой так и входят в память читающего их. Словно ария или соната! Когда я слушаю, как читает эти стихи хоть, например, Коля Юрьев, наш же товарищ, лейб-драгун, двоюродный брат Лермонтова, также недурной стихотворец, но, главное, великий мастер читать стихи, — то, ей-богу, мне кажется, что в слух мой так и льются звуки самой высокой гармонии. Я бешусь на Лермонтова, главное, за то, что он не хочет ничего своего давать в печать, и за то, что он повесничает с своим дивным талантом и, по-моему, просто-напросто оскорбляет божественный свой дар, избирая для своих стихотворений сюжеты совершенно нецензурного характера и вводя в них вечно отвратительную барковщину. Раз как-то, в последние месяцы своего пребывания в школе, Лермонтов, под влиянием

* прозвище (*фр.*).

воспоминаний о Кавказе, где он был еще двенадцатилетним мальчишкой, написал целую маленькую поэмку из восточного быта, свободную от проявлений грязного вкуса. И заметьте, что по его нежной природе это вовсе не его жанр; а он себе его напускает, и все из какого-то мальчишеского удальства, без которого эти господа считают, что кавалерист вообще не кавалерист, а уж особенно ежели он гусар. И вот эту-то поэмку у Лермонтова как-то хитростью удалось утащить его кузену Юрьеву. Завладев этою драгоценностью, Юрьев полетел с нею к Сенковскому и прочел, ее ему вслух с тем мастерством, о котором я уже вам говорил сейчас. Сенковский был в восторге, просил Юрьева сказать автору, что его стихотворения все, сколько бы он их ни давал, будут напечатаны, лишь бы только цензура разрешила. А та-то и беда, что никакая в свете цензура не может допустить в печать хотя и очаровательные стихи, но непременно с множеством грязнейших подробностей, против которых кричит чувство изящного вкуса.

— А, вот что, — заметил я, — так эта прелестная маленькая поэма «Хаджи Абрек», напечатанная в «Библиотеке для чтения» прошлого тысяча восемьсот тридцать пятого года, принадлежит этому маленькому гусарику, который сейчас почти закутал меня капюшоном своей шинели и уверял меня, личность ему совершенно незнакомую, что его гусарский плащ целуется с моею гражданскою тогою, причем употребил один очень нецензурный глагол, который может быть кстати разве только за жженкой в компании совершенно разнузданной. Кто бы мог подумать, что такой очаровательный талант — принадлежность такого сорвиголовы!

— Ну, эта фарса с шинелью очень похожа на Лермонтова, — засмеялся Синицын. — За тем-то он все хороводится с Константином Булгаковым *, проделками которого нынче полон Петербург, почему он, гусь лапчатый, остался лишний год в школе. Однако, многоуважаемый Владимир Петрович, я с вами не согласен

* Этот Булгаков Константин, служивший в л.-гв. Московском полку, хотя в Школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров числился в Преображенском полку, был знаменит своими разнообразными, иногда очень остроумными проказами, почему он был в милости у великого князя Михаила Павловича, снисходительно относившегося к шалостям молодежи, ежели шалости эти не проявляли ничего вредного. (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

насчет вашего удивления по поводу поэтического таланта, принадлежащего сорвиголове, как вы сказали. После Пушкина, который был в свое время сорвиголовой, кажется, почище всех сорвиголов бывших, сущих и грядущих, нечего удивляться сочетанию талантов в Лермонтове с страстью к повесничанью и молодечеству. А только мне больно то, что ветреность моего товарища-поэта может помешать ему в дальнейшем развитии этого его дивного таланта, который ярко блещет даже в таких его произведениях, как, например, его «Уланша». Маленькую эту шуточную поэмку невозможно печатать целиком; но, однако, в ней бездна чувства, гармонии, музыкальности, певучести, картинности и чего-то такого, что так и хватает за сердце.

— Не помните ли вы, Афанасий Иванович, — спросил я, — хоть нескольких стихов из этой поэмки? Вы бы прекрасно угостили меня, прочитав из нее хоть какой-нибудь отрывок.

— Как не знать, очень знаю, — воскликнул Синицын, — и не только десяток или дюжину стихов, а всю эту поэмку, написанную под впечатлением лагерных стоянок школы в Красном Селе, где между кавалерийскими нашими юнкерами (из которых всего больше в этот выпуск случилось уланов) славилась своею красотою и бойкостью одна молоденькая красноселька. Главными друзьями этой деревенской Аспазии были уланы наши, почему в нашем кружке она и получила прозвище «Уланши». И вот ее-то, с примесью всякой скарроновщины[4], воспел в шуточной поэмке наш Майошка. Слушайте, я начинаю.

— Прежде чем начать, — перебил я, — скажите на милость, почему юнкера прозвали Лермонтова Майошкой? Что за причина этого собрике? *

— Очень простая, — отвечал Синицын. — Дело в том, что Лермонтов маленько кривоног благодаря удару, полученному им в манеже от раздразненной им лошади еще в первый год его нахождения в школе, да к тому же и порядком, как вы могли заметить, сутуловат и неуклюж, особенно для гвардейского гусара. Вы знаете, что французы, бог знает почему, всех горбунов зовут Mayeux и что под названием «Monsieur Mayeux» есть один роман Рикера, вроде Поль де

* насмешливого прозвища (от *фр.* sobriquet).

Кока; так вот Майошка косолапый — уменьшительное французского Mayeux [5].

Дав мне это объяснение, Синицын прочел наизусть вслух, от первой строки до последней, всю поэмку Лермонтова. <...>

Я с большим удовольствием прослушал стихотворение, в котором нельзя не заметить и не почувствовать нескольких очень бойких стихов, преимущественно имеющих цель чисто живописательную. Тогда Синицын вынул из своего письменного стола тетрадку почтовой бумаги, сшитую в осьмушку, и сказал мне:

— По пословице: «Кормил до бороды, надо покормить до усов». Вам, Владимир Петрович, по-видимому, нравятся стишки моего однокашника, так я вам уж не наизусть, а по этой тетрадке прочту другие его стихи, только что вчера доставленные мне Юрьевым для списка копии. Это маленькое стихотворение Лермонтова называется «Монго» *.

— Вот странное название! — воскликнул я.

— Да, — отозвался Синицын, — странное и источник которого мне неизвестен. Знаю только, что это прозвище носит друг и товарищ детства Лермонтова, теперешний его однополчанин, лейб-гусар же, Столыпин, красавец, в которого, как вы знаете, влюблен весь петербургский beau-monde ** и которого в придачу к прозвищу «Монго» зовут еще le beau *** Столыпин и la coqueluche des femmes ****. То стихотворение Лермонтова, которое носит это название и написано им на днях, имело soit dit entre nous *****, основанием то, что Столыпин и Лермонтов вдвоем совершили верхами, недель шесть тому назад, поездку из села Копорского близ Царского Села на петергофскую дорогу, где в одной из дач близ Красного кабачка все лето жила

---

* Стихотворение это с некоторыми пропусками напечатано П. А. Ефремовым в «Библиографических записках», 1861 г., № 20, и перепечатано в «Собрании стихотворений Лермонтова» 1862 г., редакция Дудышкина, т. I, стр. 192. В 1871 г. М. И. Семевский с некоторыми дополнениями напечатал «Монго» в своих приложениях к «Запискам» Е. А. <Сушковой>-Хвостовой». Но и тут есть описка против того манускрипта, писанного рукою М. Ю. Лермонтова в 1836 г. и с неделю находившегося у моего приятеля А. И. Синицына, позволившего мне списать тогда же верную копию. (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

** большой свет (*фр.*).

*** красавец (*фр.*).

**** любимец женщин (*фр.*).

***** между нами говоря (*фр.*).

наша кордебалетная прелестнейшая из прелестных нимфа, Пименова, та самая, что постоянно привлекает все лорнеты лож и партера, а в знаменитой бенуарной ложе «волокит» производит появлением своим целую революцию. Столыпин был в числе ее поклонников, да и он ей очень нравился; да не мог же девочке со вкусом не нравиться этот писаный красавец, нечего сказать. Но громадное богатство приезжего из Казани, некоего, кажется, господина Моисеева, чуть ли не из иерусалимской аристократии и принадлежащего, кажется, к почтенной плеяде откупщиков, понравилось девочке еще больше черных глаз Монго, с которым, однако, шалунья тайком видалась, и вот на одно-то из этих тайных и неожиданных красоткою свиданий отправились оба друга, то есть Монго с Майошкой. Они застали красавицу дома; она угостила их чаем; Лермонтов скромно уселся в сторонке, думая о том, какое ужасное мученье (тут Синицын опустил глаза в тетрадку и стал читать):

Быть адъютантом на сраженьи
При генералишке пустом;
Быть на параде жалонером *
Или на бале быть танцором;
Но хуже, хуже во сто раз
Встречать огонь прелестных глаз,
И думать: это не для нас!
Меж тем «Монго» горит и тает...
Вдруг самый пламенный пассаж
Зловещим стуком прерывает
На двор влетевший экипаж.
Девятиместная коляска,
И в ней пятнадцать седоков...
Увы! печальная развязка,
Неотразимый гнев богов!..
То был Мойсеев с своею свитой... и проч.

— Можете представить смущение посетителей и хозяйки! — продолжал Синицын. — Но молодцы-гусары, не долго думая, убедились, что (он снова прочел по рукописи):

Осталось средство им одно:
Перекрестясь, прыгнуть в окно.
Опасен подвиг дерзновенный,

* Солдат, поставленный для указания линии, по которой должна строиться воинская часть. (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

И не сдержать им головы;
Но в них проснулся дух военный:
Прыг, прыг!.. И были таковы *.

— Вот вам вся драма этого милого, игривого, прелестного в своем роде стихотворения, которое я целиком сейчас вам прочту; извините, попортил эффект тем, что прочел эти отрывки [6].

* * *

В одно воскресенье, уже в конце поста, кажется, на вербной, я обедал у Петра Никифоровича Беклемишева и встретился там с Афанасьем Ивановичем Синицыным, который тут говорил нам, что он был аудитором военного суда над кавалергардским поручиком Дантесом. В числе гостей, как теперь помню, был молодой, очень молодой семеновский офицер Линдфорс с золотым аксельбантом Военной академии. Этот молодой человек с восторгом говорил о Пушкине и в юношеском увлечении своем уверял, что непременно надо Дантеса за убийство славы России не просто выслать за границу, как это решили, а четвертовать, то есть предать такой казни, которая не существует с незапамятных времен, и пр. При этом он из стихов Лермонтова бойко и восторженно читал те несколько стихов, в которых так достается Дантесу. Затем он сказал, что Лермонтов написал еще шестнадцать новых стихов, обращенных к нашей бездушной и эгоистичной аристократии, которые он, Линдфорс, знает наизусть. Я и некоторые другие, бывшие тут, молодые люди стали просить Линдфорса продиктовать нам эти стихи. Не успев хорошо заучить эти стихи, Линдфорс сбивался, и никто из нас не мог ничего записать толково. Само собой разумеется, что весь этот разговор и эти тирады читаемых рукописных стихов совершались не в гостиной и не в столовой, а до обеда, на половине молодого Беклемишева, Николая Петровича, тогда штаб-ротмистра Харьковского белого уланского полка (того самого, в котором служил и Глинка) и носившего аксельбант Военной академии. Дело в том, что в присутствии стариков, особенно такого придворного старика, каким был шталмейстер

* Я намеренно привожу здесь эти стихи, потому что у М. И. Семевского по рукописи П. А. Ефремова изложение в них неправильное и недостает двух стихов, которые здесь напечатаны курсивом. (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

двора его величества Петр Никифорович Беклемишев, этого рода беседы считались «либеральною» контрабандою в те времена, когда либерализм, то есть маломальское проявление самобытности, считался наряду с государственными преступлениями. Почтеннейшие старички в наивности своей и называли все это un arrière-gout du décabrisme de néfaste mémoire *.

В то время как бесновался Линдфорс, Синицын, всегда спокойный и сдержанный, шепнув мне, что он имеет кое-что мне сказать наедине, вышел со мною в пустую тогда бильярдную и, чтоб никто не подумал, что мы секретничаем, предложил мне, проформы ради, шарокатствовать, делая вид, будто играем партию.

— Я с намерением, — сказал Синицын, — удалил вас от того разговора, какой там завязался между молодыми людьми, еще не знающими, что случилось с автором этих дополнительных стихов, с тем самым Лермонтовым, которого, помнится, в сентябре месяце вы встретили на моей лестнице. Дело в том, что он написал эти дополнительные шестнадцать стихов вследствие какого-то горячего спора с своим родственником. Стихи эти у меня будут сегодня вечером в верном списке, и я их вам дам списать даже сегодня же вечером, потому что здесь теперь нам долго гостить не придется: после обеда все разъедутся, так как хозяева званы на soirée de clôture ** к Опочининым [7]. Мы же с вами, ежели хотите, поедем ко мне, и у меня вы и прочтете и спишете эти стихи, да еще и познакомитесь с автором их, добрейшим нашим Майошкой, и с его двоюродным братом Юрьевым. Оба они обещали мне провести у меня сегодняшний вечер и рассказать про всю эту историю с этими шестнадцатью стихами, ходившими несколько уже времени по городу, пока не подвернулись под недобрый час государю императору, который так за них прогневался на Лермонтова, что, как водится у нас, тем же корнетским чином перевел его в нижегородские драгуны на Кавказ с приказанием ехать туда немедленно. Но старуха бабушка Лермонтова, всеми уважаемая Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожденная Столыпина), успела упросить, чтобы ему предоставлено было остаться несколько деньков в Петербурге, и вот вечер одного из этих дней, именно

---

* отрыжкой злосчастной памяти декабризма (*фр.*).
** заключительный вечер сезона (*фр.*).

сегодняшний, Майошка обещал подарить мне. Стихи Лермонтова не только добавочные эти шестнадцать, но и все стихотворение на смерть Пушкина сделалось контрабандой и преследуется жандармерией, что, впрочем, не только не мешает, но способствует весьма сильному распространению копий. А все-таки лучше не слишком-то бравировать, чтоб не иметь каких-нибудь неудовольствий. Вот причина, почему я позволил себе отвлечь вас от того кружка из половины Николая Петровича.

Я дружески поблагодарил Афанасья Ивановича за его внимание, повторив пословицу: «Береженого бог бережет», — и мы вместе перешли в столовую, где какой-то сенатор с тремя звездами и с немецкою, выпарившеюся из моей памяти, фамилией рассказывал очень положительно о разных городских новостях и, между прочим, о том, что один из гусарских офицеров, недовольный тем, что будто бы Пушкин пал жертвою каких-то интриг, написал «самые революционные стихи» и пустил их по всему городу; он достоин был за это надеть белую лямку [8], но вместо всего того, что «сорванец этот» заслуживал, государь по неисчерпаемому своему милосердию только перевел его тем же чином в армию на Кавказ. Пылкий Линдфорс не утерпел и стал было доказывать превосходительному звездоносцу из немцев, что стихи вовсе не «революционные», и в доказательство справедливости своих слов задекламировал было:

> А вы, надменные потомки
> Известной подлостью прославленных отцов, —

как вдруг почтенный Петр Никифорович, громко засмеявшись, остановил порыв юноши и вперил в него свои строгие глаза, хотя все лицо его для всех сохраняло вид веселости.

— Помилуй бог, — воскликнул он по-суворовски, — стихи, стихи, у меня за столом стихи! Нет, душа моя, мы люди не поэтические, а я, хозяин-хлебосол, люблю, чтобы гости кушали во здравие мою хлеб-соль так, чтобы за ушами пищало. А тут вдруг ты со стихами: все заслушаются, и никто не узнает вполне вкуса этого фрикасе из перепелок, присланных мне замороженными из воронежских степей.

И тотчас хозяин-хлебосол, перебив весь разговор о новостях и о контрабандных стихах, самым подроб-

ным образом стал объяснять трехзвездному сенатору и дамам все высокие достоинства перепелов и самый способ их ловли соколами с такими любопытными и живописными подробностями, что поистине гости все от мала до велика слушали с величайшим интересом и вниманием мастерской рассказ хозяина, по-видимому, страстного степного охотника.

После кофе гости, большею частью все интимные (как всегда у Петра Никифоровича было), зная, что старик хозяин и его молоденькие дочки должны до выезда в гости: он выспаться богатырски, а они заняться серьезно туалетом, — поразъехались. Мы с Синицыным также улетучились, и мигом его лихая пара рыжих казанок умчала нас в плетеных санках в конногвардейские казармы, где в квартире Афанасия Ивановича нас встретил товарищ его, однокашник по школе, прапорщик лейб-гвардии Драгунского, расположенного в Новгородской губернии, полка Николай Дмитриевич Юрьев, двоюродный брат и закадычный друг Лермонтова, превосходный малый, почти постоянно проживавший в Петербурге, а не в месте расположения своего полка, на скучной стоянке в Новгородских военных поселениях. Приезжая в столицу, Николай Дмитриевич обыкновенно нигде не останавливался, как у своего кузена и друга Майошки, который, хотя и служил в царскосельских лейб-гусарах, но почти никогда не был в Царском, а пребывал постоянно у бабушки Елизаветы Алексеевны.

— А что же Майошка? — спросил Синицын Юрьева, познакомив нас взаимно, после чего Юрьев отвечал:

— Да что, брат Синицын, Майошка в отчаянии, что не мог сопутствовать мне к тебе: бабушка не отпускает его от себя ни на один час, потому что на днях он должен ехать на Кавказ за лаврами, как он выражается.

— Экая жалость, что Майошка изменничает, — сказал Синицын. — А как бы хотелось напоследках от него самого услышать рассказ о том, как над ним вся эта беда стряслась.

— Ну, — заметил Юрьев, — ты, брат Синицын, видно, все еще не узнал вполне нашего Майошку: ведь он очень неподатлив на рассказы о своей особе, да и особенно при новом лице. <...>

— А теперь, Юрьев, — приставал Синицын, — идем к цели: расскажи нам всю суть происшествия со стихами, которые были причиною, что наш Майошка из лейб-гусаров так неожиданно попал в нижегородские драгуны тем же чином, то есть из попов в дьяконы, как говорится.

— К твоим услугам, — отозвался Юрьев, закуривая трубку на длинном чубуке, поданном ему казачком Синицына, который сам, однако, никогда ничего не курил, но для гостей держал всегда табак и чубуки в отличном порядке, соблюдаемом этим четырнадцатилетним постреленком, прозванным «чубукши-паша».

— Дело было так, — продолжал Юрьев, затянувшись и обдав нас густым облаком ароматного дыма. — Как только Пушкин умер, Лермонтов, как и я, как я думаю, все мы, люди земли не немецкой, приверженец и обожатель поэзии Пушкина, имел случай, незадолго до этой роковой катастрофы, познакомиться лично с Александром Сергеевичем[9] и написал известное теперь почти всей России стихотворение на смерть Пушкина, стихотворение, наделавшее столько шума и, несмотря на то что нигде не напечатанное, поставившее вдруг нашего школьного поэта почти в уровень с тем, кого он в своих великолепных стихах оплакивал. Нам говорили, что Василий Андреевич Жуковский относился об этих стихах с особенным удовольствием и признал в них не только зачатки, но все проявление могучего таланта, а прелесть и музыкальность версификации признаны были знатоками явлением замечательным, из ряду вон. Князь Владимир Федорович Одоевский сказал в разговоре с бабушкой, где-то в реюньоне *, что многие выражают только сожаление о том, зачем энергия мысли в этом стихотворении не довольно выдержана, чрез что заметна та резкость суждений, какая слишком рельефирует самый возраст автора. Говорят (правда ли, нет ли, не знаю), это не что иное, как придворное повторение мнения самого императора, прочитавшего стихи со вниманием и сказавшего будто бы: «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина!» На днях, еще до катастрофы за прибавочные

* в обществе (от *фр.* réunion).

стихи [10], наш Шлиппенбах * был у бабушки и рассказывал ей, что его высочество великий князь Михаил Павлович отозвался в разговоре с ним о Лермонтове так: «Ce poète en herbe va donner de beaux fruits» **. А потом, смеясь, прибавил: «Упеку ж его на гауптвахту, ежели он взводу вздумает в стихах командовать, чего доброго!» В большом свете вообще выражалось сожаление только о том, что автор стихов слишком будто бы резко отозвался о Дантесе, выставив его не чем иным, как искателем приключений и почти chevalier d'industrie ***.

За этого Дантеса весь наш бомонд, особенно же юбки. Командир лейб-гусаров Х<омутов> за большим званым ужином сказал, что, не сиди Дантес на гауптвахте и не будь он вперед назначен к высылке за границу с фельдъегерем, кончилось бы тем, что как Пушкин вызвал его, так он вызвал бы Лермонтова за эти «ругательные стихи». А по правде, что в них ругательного этому французишке, который срамил собою и гвардию, и первый гвардейский кавалерийский полк [11], в котором числился?

— Правду сказать, — заметил Синицын, — я насмотрелся на этого Дантесишку во время военного суда. Страшная французская бульварная сволочь с смазливой только рожицей и с бойким говором. На первый раз он не знал, какой результат будет иметь суд над ним, думал, что его, без церемонии, расстреляют и в тайном каземате засекут казацкими нагайками. Дрянь! Растерялся, бледнел, дрожал. А как проведал чрез своих друзей, в чем вся суть-то, о! тогда поднялся на дыбы, захорохорился, черт был ему не брат, и осмелился даже сказать, что таких версификаторов, каким был Пушкин, в его Париже десятки. Ведь вы, господа, все меня знаете за человека миролюбивого, недаром великий князь с первого раза окрестил меня «кормилицей Лукерьей»; но, ей-богу, будь этот французишка не подсудимый, а на свободе, — я так и дал бы ему плюху за его нахальство и за его презрение к нашему хлебу-соли.

— Ну, вот же видишь, — подхватил с живостью Юрьев, — уж на что ты, Синицын, кроток и добр, а и ты

* Барон Константин Антонович Шлиппенбах, некогда директор гвардейской Школы подпрапорщиков и юнкеров, а потом директор 1-го кадетского корпуса. Умер генерал-лейтенантом в 1859 году здесь, в Петербурге. (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

** Этот начинающий поэт обещает многое (*фр.*).

*** авантюристом (*фр.*).

хотел этого фанфарона наказать. После этого чего мудреного, что такой пламенный человек, как Лермонтов, не на шутку озлился, когда до него стали справа и слева доходить слухи о том, что в высшем обществе, которое русское только по названию, а не в душе и не на самом деле, потому что оно вполне офранцужено от головы до пяток, идут толки о том, что в смерти Пушкина, к которой все эти сливки высшего общества относятся крайне хладнокровно, надо винить его самого, а не те обстоятельства, в которые он был поставлен, не те интриги великосветскости, которые его доконали, раздув пламя его и без того всепожирающих страстных стремлений. Все это ежедневно раздражало Лермонтова, и он, всегда такой почтительный к бабушке нашей, раза два с трудом сдерживал себя, когда старушка говорила при нем, что покойный Александр Сергеевич не в свои сани сел и, севши в них, не умел ловко управлять своенравными лошадками, мчавшими его и намчавшими наконец на тот сугроб, с которого одна дорога была только в пропасть. С старушкой нашей Лермонтов, конечно, не спорил, а только кусал ногти и уезжал со двора на целые сутки. Бабушка заметила это и, не желая печалить своего Мишу, ни слова уже не говорила при нем о светских толках; а эти толки подействовали на Лермонтова до того сильно, что недавно он занемог даже. Бабушка испугалась, доктор признал расстройство нервов и прописал усиленную дозу валерьяны; заехал друг всего Петербурга добрейший Николай Федорович Арендт и, не прописывая никаких лекарств, вполне успокоил нашего капризного больного своею беседою, рассказав ему всю печальную эпопею тех двух с половиною суток с двадцать седьмого по двадцать девятое января, которые прострадал раненый Пушкин. Он все, все, все, что только происходило в эти дни, час в час, минута в минуту, рассказал нам, передав самые заветные слова Пушкина. Наш друг еще больше возлюбил своего кумира после этого откровенного сообщения, обильно и безыскусственно вылившегося из доброй души Николая Федоровича, не умевшего сдержать своих слов.

Лермонтов находился под этим впечатлением, когда явился к нам наш родня Н<иколай> А<ркадьевич> С<толыпин>, дипломат, служащий под начальством графа Нессельроде, один из представителей и членов самого что ни есть нашего высшего круга, но, впрочем,

джентльмен во всем значении этого слова. Узнав от бабушки, занявшейся с бывшими в эту пору гостями, о болезни Мишеля, он поспешил наведаться об нем и вошел неожиданно в его комнату, минут десять по отъезде Николая Федоровича Арендта. По поводу городских слухов о том, что вдова Пушкина едва ли долго будет носить траур и называться вдовою, что ей вовсе не к лицу, Столыпин расхваливал стихи Лермонтова на смерть Пушкина; но только говорил, что напрасно Мишель, апофеозируя поэта, придал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после всего того, что было между ними, не мог бы не стреляться. Honneur oblige!.. * Лермонтов сказал на это, что русский человек, конечно, чистый русский, а не офранцуженный и испорченный, какую бы обиду Пушкин ему ни сделал, снес бы ее, во имя любви своей к славе России, и никогда не поднял бы на этого великого представителя всей интеллектуальности России своей руки. Столыпин засмеялся и нашел, что у Мишеля раздражение нервов, почему лучше оставить этот разговор, и перешел к другим предметам светской жизни и к новостям дня. Но Майошка наш его не слушал и, схватив лист бумаги, что-то быстро на нем чертил карандашом, ломая один за другим и переломав так с полдюжины. Между тем Столыпин, заметив это, сказал, улыбаясь и полушепотом: «La poésie enfante»; ** потом, поболтав еще немного и обращаясь уже только ко мне, собрался уходить и сказал Лермонтову: «Adieu, Michel!» *** Но наш Мишель закусил уже поводья, и гнев его не знал пределов. Он сердито взглянул на Столыпина и бросил ему: «Вы, сударь, антипод Пушкина, и я ни за что не отвечаю, ежели вы сию секунду не выйдете отсюда». Столыпин не заставил себя приглашать к выходу дважды и вышел быстро, сказав только: «Mais il est fou à lier» ****. Четверть часа спустя Лермонтов, переломавший столько карандашей, пока тут был Столыпин, и потом писавший совершенно спокойно набело пером то, что в присутствии неприятного для него гостя писано им было так отрывисто, прочитал мне те стихи, которые, как ты знаешь,

---

* Честь обязывает (*фр.*).
** Поэзия разрешается от бремени (*фр.*).
*** Прощай, Мишель (*фр.*).
**** Но ведь он просто бешеный (*фр.*).

начинаются словами: «А вы, надменные потомки!» — и в которых так много силы.

— Я отчасти знаю эти стихи, — сказал Синицын, — но не имею верной копии с них. Пожалуйста, Юрьев, ты, который так мастерски читаешь всякие стихи, прочти нам эти, «с чувством, с толком, с расстановкой», главное «с расстановкой», а мы с Владимиром Петровичем их спишем под твой диктант.

— Изволь, — отозвался Юрьев, — вот они.

Мы тотчас вооружились листами бумаги и перьями, а Юрьев декламировал, повторяя каждый стих:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!.. и т. д.

Когда мы с Синицыным записали последний стих, то оба с неподдельным и искренним чувством выражали наш восторг к этим звучным и сильным стихам. Юрьев продолжал:

— Я тотчас списал с этих стихов, не выходя из комнаты Лермонтова, пять или шесть копий, которые немедленно развез к некоторым друзьям. Эти друзья частью сами, частью при помощи писцов, написали еще изрядное количество копий, и дня через два или три почти весь Петербург читал и знал «дополнение к стихам Лермонтова на смерть Пушкина». Когда старушка бабушка узнала об этих стихах, то старалась всеми силами, нельзя ли как-нибудь, словно фальшивые ассигнации, исхитить их из обращения в публике; но это было решительно невозможно: они распространялись с быстротою, и вскоре их читала уже вся Москва, где старики и старухи, преимущественно на Тверской, объявили их чисто революционерными и опасными. Прочел их и граф Бенкендорф, но отнесся к ним как к поэтической вспышке, сказав Дубельту: «Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обращать никакого внимания, тогда слава их скоро померкнет, ежели же мы примемся за преследование и запрещение их, то хорошего ничего не выйдет, и мы только раздуем пламя страстей». Стихи эти читал даже великий князь Михаил Павлович и только сказал, смеясь: «Эх, как же он расходился! Кто подумает, что он сам не принадлежит к высшим дворянским родам?» Даже до нас доходили слухи, что великий князь при встрече с Бенкендорфом

шепнул ему, что желательно, чтоб этот «вздор», как он выразился, не обеспокоил внимания государя императора. Одним словом, стихи эти, переписываемые и заучиваемые всеми повсюду, в высших сферах считались ребяческою вспышкою, а в публике хотя негромко, но признавались за произведение гениальное. Государь об них ничего не знал, потому что граф Бенкендорф не придавал стихам значения, пока дней пять или шесть назад был раут у графа Ф<икельмона>, где был и граф Бенкендорф в числе гостей. Вдруг к нему подходит известная петербургская болтунья и, как ее зовут, la lèpre de la société *, Х<итрово> [12], разносительница новостей, а еще более клевет и пасквилей по всему городу, и, подойдя к графу, эта несносная вестовщица вдруг говорит: «А вы, верно, читали, граф, новые стихи на всех нас и в которых la crème de la noblesse ** отделаны на чем свет стоит?» — «О каких стихах вы говорите, сударыня?» — спрашивает граф. «Да о тех, что написал гусар Лермонтов и которые начинаются стихами: «А вы, надменные потомки!» — то есть, ясно, мы все, toute l'aristocratie russe» ***. Бенкендорф ловко дал тотчас другое направление разговору и столько же ловко постарался уклониться от своей собеседницы, которую, как известно, после всех ее проделок, особенно после ее попрошайничеств, нигде не принимают, кроме дома ее сестры, графини Ф<икельмон> [13], которая сама, бедняжка, в отчаянии от такого кровного родства. Однако после этого разговора на рауте граф Бенкендорф на другой же день, перед отправлением своим с докладом к государю императору, сказал Дубельту: «Ну, Леонтий Васильевич, что будет, то будет, а после того, что Х<итрово> знает о стихах этого мальчика Лермонтова, мне не остается ничего больше, как только сейчас же доложить об них государю». Когда граф явился к государю и начал говорить об этих стихах в самом успокоительном тоне, государь показал ему экземпляр их, сейчас им полученный по городской почте, с гнусною надписью: «Воззвание к революции» [14]. Многие того мнения, что это работа de la lèpre de la société, которая, не довольная уклончивостью графа на рауте, чем свет послала копию на высочайшее имя в Зимний дворец,

* язва общества (*фр.*).
** сливки дворянства (*фр.*).
*** вся русская аристократия (*фр.*).

причем, конечно, в отделении городской почты в Главном почтамте поверенный дал вымышленный адрес, и концы в воду, но, естественно, не для жандармерии, которая имеет свое чутье. Как бы то ни было, государь был разгневан, принял дело серьезнее, чем представлял граф, и велел великому князю Михаилу Павловичу немедленно послать в Царское Село начальника штаба гвардии Петра Федоровича Веймарна для произведения обыска в квартире корнета Лермонтова. Веймарн нашел прежде всего, что квартира Лермонтова уже много дней не топлена, потому что сам хозяин ее проживает постоянно в Петербурге у бабушки. Начальник штаба делал обыск и опечатывал все, что нашел у Лермонтова из бумаг, не снимая шубы. Между тем дали знать Мише, он поскакал в Царское и повез туда с полною откровенностью весь свой портфель, в котором, впрочем, всего больше было, конечно, барковщины; но, однако, прискакавший из Царского фельдъегерь от начальника штаба сопровождал полкового адъютанта и жандармского офицера, которые приложили печати свои к бюро, к столам, к комодам в нашем апартаменте. Бабушка была в отчаянии; она непременно думала, что ее Мишеля арестуют, что в крепость усадят; однако все обошлось даже без ареста, только велено было ему от начальника штаба жить в Царском, занимаясь впредь до повеления прилежно царской службой, а не «сумасбродными стихами» [15]. Вслед за этим сделано по гвардии строжайшее распоряжение о том, чтобы офицеры всех загородных полков отнюдь не смели отлучаться из мест их квартирования иначе как с разрешения полкового командира, который дает письменный отпуск, и отпуск этот офицер должен предъявлять в ордонанс-гаузе и в гвардейском штабе. Просто история! Мне это также не по шерсти, ей-богу. И все это из-за стихов Майошки. Однако несколько дней спустя последовал приказ: «Л.-гв. Гус. полка корнет Лермонтов переводится прапорщиком в Нижегородский драгунский полк». Сначала было приказано выехать ему из Петербурга через сорок восемь часов, то есть в столько времени, во сколько может быть изготовлена новая форма, да опять спасибо бабушке: перепросила, и, кажется, наш Майошка проведет с нами и пасху. Теперь ведь вербная неделя, ждать не долго.

— Бедный, жаль мне его, — сказал Синицын, — а со всем тем хотелось бы видеть его в новой форме:

куртка с кушаком, шаровары, шашка через плечо, кивер гречневиком из черного барашка с огромным козырьком. Все это преуморительно сидеть будет на нем.

— Не уморительнее юнкерского ментика, — заметил Юрьев, — в котором он немало-таки времени щеголял в школе. Но страшно забавен в этой кавказской форме Костька Булгаков.

— Как, разве и он угодил на Кавказ? — спросил Синицын, — для компании, что ли?

— О нет, он на Кавказ не назначен, — сказал Юрьев, — а только с этой кавказской формой Лермонтова удрал презабавную и довольно нелепую, в своем роде, штуку. Заезжает он на днях к нам и видит весь этот костюм, только что принесенный от портного и из магазина офицерских вещей. Тотчас давай примерять на своей карапузой фигуре куртку с кушаком, шашку на портупее через плечо и баранью шапку. Смотрится в зеркало и находит себя очень воинственным в этом наряде. При этом у него мелькает блажная мысль выскочить в этом переодеванье на улицу и, пользуясь отсутствием как Лермонтова, так и моим, глухой к убеждениям Вани *, садится на первого подвернувшегося у подъезда лихача и несется на нем по Невскому. Между тем Майошка ездил по своим делам по городу, и, на беду, наехал у Английского магазина, где кое-что закупал, на великого князя Михаила Павловича, который остановил его и, грозя пальцем, сказал: «Ты не имеешь права щеголять в этой лейбгусарской форме, когда должен носить свою кавказскую: об тебе давно уж был приказ». — «Виноват, ваше высочество, не я, а тот портной, который меня обманывает. Между тем по делам, не терпящим отлагательства, необходимо было выехать со двора», — был ответ Лермонтова. «Смотри же, поторопи хорошенько твоего портного, — заметил великий князь, — он так неисполнителен, верно, потому, что, чего доброго, подобно тебе, шалуну, строчит какую-нибудь поэму или оду. В таком роде я до него доберусь. Но, во всяком случае, чтоб я тебя больше не встречал в этой не твоей форме». — «Слушаю, ваше высочество, — рапортовал

---

* Камердинер М. Ю. Лермонтова, несколько помоложе его, всегда находившийся при нем в школе и носивший денщичью форму. (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

Лермонтов, — сегодня же покажусь в городе кавказцем». — «Сегодня, так, значит, экипировка готова?» — спросил великий князь. «Постараюсь в исполнение воли вашего высочества из невозможного сделать возможное», — пробарабанил Лермонтов, и его высочество, довольный молодецким ответом, уехал. Он отправлялся в Измайловские казармы, почему кучер его, проехав часть Невского проспекта (встреча с Лермонтовым была против Английского магазина), повернул за Аничковым мостом на Фонтанку, и тут едва подъехали сани великого князя к Чернышеву мосту, от Садовой вперерез, мимо театрального дома, стрелой несутся сани, и в санях кавказский драгун, лорнирующий внимательно окна театральной школы. Великий князь, зная, что во всем Петербурге в это время нижегородского драгуна * не находится, кроме Лермонтова, и удивляясь быстроте, с которою последний успел переменить костюм, велел кучеру догнать быстро летевшего нижегородского драгуна; но куда! у лихача был какой-то двужильный рысак, который мог бы, кажется, премии выигрывать на бегах, и баранья шапка мигом скрылась из глаз. Нечего было делать: великий князь оставил перегонку и отправился в Измайловские казармы, где в этот день был какой-то экстраординарный смотр. После смотра великий князь подозвал к себе подпоручика Ф**** из наших подпрапорщиков и, спросив его, знает ли он квартиру Лермонтова, живущего у нашей бабушки Арсеньевой, велел ему ехать туда сейчас и узнать от него, как он успел так скоро явиться в новой кавказской форме близ Чернышева моста, тогда как не больше десяти минут его высочество оставил его у Полицейского моста; и о том, что узнает, донести тотчас его высочеству в Михайловском дворце. Измайловец к нам приехал в то время, как только Булгаков возвратился и, при общем хохоте, снимал кавказские доспехи, рассказывая, как благодаря лихому рысаку своего извозчика Терешки он дал утечку от великого князя. Вследствие всего этого доложено было его высочеству, что Лермонтов, откланявшись ему, полетел к своему неисправному портному, у которого будто бы были и все вещи обмундировки, и, напугав его именем великого

---

* Они в ту пору в Петербурге были очень редки, как и вообще все кавказцы, обращавшие на себя на улицах внимание публики. (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

князя, ухватил там все, что было готового, и поскакал продолжать свою деловую поездку по Петербургу, уже в бараньей шапке и в шинели драгунской формы. Великий князь очень доволен был исполнительностью Лермонтова, никак не подозревая, что он у Чернышева-то моста видел не Лермонтова, а шалуна Булгакова. <...>

— А вот, брат Синицын, — говорил Юрьев, — ты, кажется, не знаешь о нашей юнкерско-офицерской проделке на Московской заставе в первый год, то есть в тысяча восемьсот тридцать пятом году, нашего с Лермонтовым производства в офицеры. Проделка эта названа была нами, и именно Лермонтовым, *всенародною энциклопедиею имен.*

— Нет, не знаю, — отозвался Синицын, — расскажи, пожалуйста.

— Раз как-то Лермонтов зажился на службе дольше обыкновенного, — начал Юрьев, — а я был в городе, приехав, как водится, из моей скучной Новгородской стоянки. Бабушка соскучилась без своего Мишеля, пребывавшего в Царском и кутившего там напропалую в веселой компании. Писано было в Царское; но Майошка и ухом не вел, все никак не приезжал. Наконец решено его было оттуда притащить в Петербург bon gré, mal gré *. В одно прекрасное февральское утро честной масленицы я, по желанию бабушки, распорядился, чтоб была готова извозчичья молодецкая тройка с пошевнями, долженствовавшая мигом доставить меня в Царское, откуда решено было привезти le déserteur **, который, масленица на исходе, не пробовал еще у бабушки новоизобретенных блинов ее повара Тихоныча, да к тому же и прощальные дни близки были, а Мишенька все в письмах своих уверяет, что он штудирует в манеже службу царскую, причем всякий раз просит о присылке ему малых толик деньжат. В деньжатах, конечно, отказа никогда не было; но надобно же, в самом деле, и честь знать. Тройка моя уже была у подъезда, как вдруг швейцарский звон объявляет мне гостей, и пять минут спустя ко мне вваливается с смехом и грохотом и cliquetis des armes ***, как говорит бабушка, честная наша компания, пред-

* хочет не хочет (*фр.*).
** беглеца (*фр.*).
*** бряцанием оружия (*фр.*).

водительствуемая Костей Булгаковым, тогда еще подпрапорщиком Преображенского полка, а с ним подпрапорщик же лейб-егерь Гвоздев * да юнкер лейб-улан М<ерин>ский **. Только что они явились, о чем узнала бабушка, тотчас явился к нам завтрак с блинами изобретения Тихоныча и с разными другими масленичными снадобьями, а бабушкин камердинер, взяв меня в сторону, почтительнейше донес мне по приказанию ее превосходительства Елизаветы Алексеевны, что не худо бы мне ехать за Михаилом Юрьевичем с этими господами, на какой конец явится еще наемная тройка с пошевнями. Предложение это принято было, разумеется, с восхищением и увлечением, и вот две тройки с нами четырьмя понеслись в Царское Село. Когда мы подъехали к заставе, то увидели, что на офицерской гауптвахте стоят преображенцы, и караульным офицером — один из наших недавних однокашников, князь Н*****, веселый и добрый малый, который, увидев между нами Булгакова, сказал ему: «Когда вы будете ехать все обратно в город, то я вас, господа, не пропущу через шлагбаум, ежели Костя Булгаков не в своем настоящем виде, то есть на шестом взводе, как ему подобает быть». Мы, хохоча, дали слово, что не один

* Павел Александрович Гвоздев, брат того Александра Александровича, который был впоследствии директором департамента общих дел министерства внутренних дел и погиб такою трагическою смертию, как говорили тогда, в припадке ипохондрии, под колесами вагона Николаевской железной дороги в 1862 году. Этот Гвоздев, даровитый, добрый и умный малый, но необыкновенно впечатлительный и вспыльчивый, из подпрапорщиков л.-гв. Егерского полка был в 1835 году переведен в армию юнкером же на Кавказ. Потом он вышел в отставку, служил по статской службе при протекции брата и умер в молодых еще годах, то есть моложе 30 лет. Когда был в Петербурге шум и гвалт по поводу стихов графини Ев. Петр. Ростопчиной, напечатанных в «Сев. пчеле» Булгариным, думавшим угодить ими правительству, не зная, что стихи эти, под названием «Барон», были направлены против императора Николая Павловича, — явилось следующее довольно бойкое четверостишие:

Шутить я не привык,
Я сам великий барии,
И за дерзкий свой язык
Заплатит... Булгарин.

(Стихи эти были написаны именно этим Пав. Ал. Гвоздевым.) (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

** Ал. М. Меринский, ныне полковник в отставке, мой добрый знакомец. Он сообщил в печати некоторые замечательные подробности о Лермонтове, в приложениях к «Запискам» Е. А. Хвостовой. (*Примеч. В. П. Бурнашева.*)

Булгаков, а вся честная компания с прибавкою двух-трех гусар, будет проезжать в самом развеселом, настоящем масленичном состоянии духа, а ему представит честь и удовольствие наслаждаться в полной трезвости обязанностями службы царю и отечеству. В Царском мы застали у Майошки пир горой и, разумеется, всеми были приняты с распростертыми объятиями, и нас принудили, впрочем, конечно, не делая больших усилий для этого принуждения, принять участие в балтазаровой пирушке, кончившейся непременною жженкой, причем обнаженные гусарские сабли играли не последнюю роль, служа усердно своими невинными лезвиями вместо подставок для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещавшим столовую, из которой эффекта ради были вынесены все свечи и карсели. Эта поэтичность всех сильно воодушевила и настроила на стихотворный лад. Булгашка сыпал французскими стишонками собственной фабрикации, в которых перемешаны были les rouges hussards, les bleus lanciers, les blancs chevaliers gardes, les magnifiques grenadiers, les agiles chasseurs * со всяким невообразимым вздором вроде Mars, Paris, Apollon, Henri IV, Louis XIV, la divine Natascha, la suave Lisette, la succulente Georgette ** и прочее, а Майошка изводил карандаши, которые я ему починивал, и соорудил в стихах застольную песню в самом что ни есть скарроновском роде, и потом эту песню мы пели громчайшим хором, так что, говорят, безногий царскосельский бес сильно встревожился в своей придворной квартире и, не зная, на ком сорвать свое отчаяние, велел отпороть двух или трех дворцовых истопников; словом, шла «гусарщина» на славу. Однако нельзя же было не ехать в Петербург и непременно вместе с Мишей Лермонтовым, что было условием бабушки sine qua non ***. К нашему каравану присоединилось еще несколько гусар, и мы собрались, решив взять с собою на дорогу корзину с пол-окороком, четвертью телятины, десятком жареных рябчиков и с добрым запасом различных ликеров, ратафий, бальзамов и дюжиною шампанской искрометной влаги, никогда Шампаньи, конечно, не

---

* красные гусары, голубые уланы, белые кавалергарды, великолепные гренадеры, проворные егеря (*фр.*).

** Марс, Париж, Аполлон, Генрих IV, Людовик XIV, божественная Наташа, нежная Лизетта, аппетитная Жоржетта (*фр.*).

*** обязательным (*лат.*).

видавшей. Перед выездом заявлено было Майошкой предложение дать на заставе оригинальную записку о проезжающих, записку, в которой каждый из нас должен был носить какую-нибудь вымышленную фамилию, в которой слова «дурак», «болван», «скот» и пр. играли бы главную роль с переделкою характеристики какой-либо национальности. Булгаков это понял сразу и объявил за себя, что он marquis de Gloupignon (маркиз Глупиньон). Его примеру последовали другие, и явились: дон Скотилло, боярин Болванешти, фанариот Мавроглупато, лорд Дураксон, барон Думшвейн, пан Глупчинский, синьор Глупини, паныч Дураленко и, наконец, чистокровный российский дворянин Скот Чурбанов. Последнюю кличку присвоил себе Лермонтов. Много было хохота по случаю этой, по выражению Лермонтова, «всенародной энциклопедии фамилий». На самой середине дороги вдруг наша бешеная скачка была остановлена тем, что упал коренник одной из четырех троек, говорю четырех, потому что к нашим двум в Царском присоединилось еще две тройки гусар. Кучер объявил, что надо «сердечного» распречь и освежить снегом, так как у него «родимчик». Не бросить же было коня на дороге, и мы порешили остановиться и воспользоваться каким-то торчавшим на дороге балаганом, местом, служившим для торговли, а зимою пустым и остающимся без всякого употребления. При содействии свободных ямщиков и кучеров мы занялись устройством балагана, то есть разместили там разные доски, какие нашли, на поленья и снарядили что-то вроде стола и табуретов. Затем зажгли те фонари, какие были с нами, и приступили к нашей корзине, занявшись содержанием ее прилежно, впрочем, при помощи наших возниц, кушавших и пивших с увлечением. Тут было решено в память нашего пребывания в этом балагане написать на стене его, хорошо выбеленной, углем все наши псевдонимы, но в стихах, с тем чтоб каждый написал один стих. Нас было десять человек, и написано было десять нелепейших стихов, из которых я помню только шесть; остальные четыре выпарились из моей памяти, к горю потомства, потому что, когда я летом того же года хотел убедиться, существуют ли на стене балагана наши стихи, имел горе на деле сознать тщету славы: их уничтожила новая штукатурка в то время, когда балаган, пустой зимою, сделался временно лавочкою летом.

Гостьми был полон балаган,
Болванешти, Молдаван,
Стоял с осанкою воинской;
Болванопуло было Грек,
Чурбанов, русский человек,
Да был еще Поляк Глупчинский.

— Таким образом, — продолжал Юрьев, — ни испанец, ни француз, ни хохол, ни англичанин, ни итальянец в память мою не попали и исчезли для истории. Когда мы на гауптвахте, в два почти часа ночи, предъявили караульному унтер-офицеру нашу шуточную записку, он имел вид почтительного недоумения, глядя на красные гусарские офицерские фуражки; но кто-то из нас, менее других служивших Вакху (как говаривали наши отцы), указал служивому оборотную сторону листа, где все наши фамилии и ранги, правда, не выше корнетского, были ясно прописаны.

«Но все-таки, — кричал Булгаков, — непременно покажи записку караульному офицеру и скажи ему, что французский маркиз был на шестом взводе». — «Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал преображенец и крикнул караульному у шлагбаума: «Бом-высь!» И мы влетели в город, где вся честная компания разъехалась по квартирам, а Булгаков ночевал у нас. Утром он пресерьезно и пренастоятельно уверял бабушку, добрейшую старушку, не умеющую сердиться на наши проказы, что он весьма действительно маркиз де Глупиньон.

Ю. К. АРНОЛЬД

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

То был дурной, печальный день для интеллигентного круга северной столицы русского народа, тот день 30 января 1837 года, когда <...> с одного конца города до другого пролетела, словно на крыльях зловещего урагана, страшная молва: «Погиб поэт!» — «Погиб наш Пушкин, слава и гордость мыслящей России!» С недоумением испуга <...> оглядывались все мы тогда друг на друга. «Пушкин пал в дуэли! Да неужели пал? Неужели в дуэли? Как? За что? И кем убит?» И когда мы узнали, кем и за что, когда мы проведали, что кучка праздных, безмозглых и бессердечных фатов-тунеядцев имела дерзость ради нахально-шутовской своей забавы надсмехаться над семейным счастием и над честью великого поэта и тем подготовить ужасную катастрофу предшествовавшего дня, тогда из души каждого и всякого, в чьей груди билось сердце истого, честного сочлена великой русской семьи, единодушно вырвался крик глубокого негодования против того круга, который мог породить подобных уродов русской земли. И это общее проклятие нашло полное свое выражение в вещих устах всемилосердным, всемогущим богом нам в утешение посланного нового поэта:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов... и т. д.

Из почвы, орошенной дорогою кровию Пушкина, вдруг вырос преемник могучей его лиры — Лермонтов!

* * *

Не помню я, кто именно, в один из декабрьских понедельников 1840 года, привез <в салон В. Ф. Одоев-

ского>[1] известие, что «старуха Арсеньева подала на высочайшее имя весьма трогательное прошение о помиловании ее внука Лермонтова и об обратном его переводе в гвардию». Завязался, конечно, общий и довольно оживленный диспут о том, какое решение воспоследует со стороны государя императора. Были тут и оптимисты и пессимисты: первые указали на то, что Лермонтов был ведь уже раз помилован и что Арсеньева — женщина энергичная, да готовая на всякие пожертвования для достижения своей цели, а вследствие того наберет себе массу сильнейших заступников и защитниц; ergo: результатом неминуемо должно воспоследовать помилование. С своей же стороны, пессимисты гораздо основательнее возражали: во-первых, что вторичная высылка Лермонтова на Кавказ, при переводе на сей раз уже не в прежний Нижегородский драгунский, а в какой-то пехотный полк, находящийся в самом отдаленнейшем и опаснейшем пункте всей военной нашей позиции, доказывает, что государь император считает второй проступок Лермонтова гораздо предосудительнее первого; во-вторых, что тут вмешаны политические отношения к другой державе, так как Лермонтов имел дуэль с сыном французского посла, и в-третьих, что по двум первым причинам неумолимыми противниками помилованию неминуемо должны оказаться с дисциплинарной стороны великий князь Михаил Павлович, как командир гвардейского корпуса, а с политической стороны канцлер граф Нессельроде, как министр иностранных дел[2]. Прения длились необыкновенно долго, тем более что тут вмешались барыни и даже преимущественно завладели диспутом. Я соскучился и незаметно улизнул. На прошение г-жи Арсеньевой, как надобно было ожидать, воспоследовал отказ, но особою милостию государь император разрешил Лермонтову трехмесячный отпуск с дозволением провести это время у своей бабушки в Петербурге. Услышав про этот исход дела, я надеялся когда-нибудь встретить Лермонтова у кн. Одоевского, но ошибся в своем ожидании: Лермонтов ни на одном из литературных вечеров князя ни разу не показывался. Осенью же того же 1841 года пришло с Кавказа известие, что Лермонтов был убит на дуэли.

А. Н. МУРАВЬЕВ

ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ ПОЭТАМИ

Не много уже времени оставалось Пушкину украшать отечественную словесность зрелыми плодами своего гения, когда появился другой необычайный талант, обещавший наследовать его славу, если бы и ему не предназначен был еще более краткий срок на литературном поприще и не ожидала его такая же роковая судьба, как и нашего великого поэта. Я хочу говорить о Лермонтове; он еще был тогда лейб-гусарским юнкером в гвардейской школе, и никто о нем не слыхал. Однажды его товарищ по школе, гусар Цейдлер, приносит мне тетрадку стихов неизвестного поэта и, не называя его по имени, просит только сказать мое мнение о самых стихах. Это была первая поэма Лермонтова «Демон» [1]. Я был изумлен живостью рассказа и звучностью стихов и просил передать это неизвестному поэту. Тогда лишь, с его дозволения, решился он мне назвать Лермонтова, и когда гусарский юнкер надел эполеты, он не замедлил ко мне явиться. Таково было начало нашего знакомства. Лермонтов просиживал у меня по целым вечерам; живая и остроумная его беседа была увлекательна, анекдоты сыпались, но громкий и пронзительный его смех был неприятен для слуха, как бывало и у Хомякова, с которым во многом имел он сходство; не один раз просил я и того и другого «смеяться проще» [2]. Часто читал мне молодой гусар свои стихи, в которых отзывались пылкие страсти юношеского возраста, и я говорил ему: «Отчего не изберет более высокого предмета для столь блистательного таланта?» Пришло ему на мысль написать комедию, вроде «Горе от ума» [3], резкую критику на современные нравы, хотя и далеко не в уровень с бессмертным творением Грибо-

едова. Лермонтову хотелось видеть ее на сцене, но строгая цензура III Отделения не могла ее пропустить. Автор с негодованием прибежал ко мне и просил убедить начальника сего Отделения, моего двоюродного брата Мордвинова [4], быть снисходительным к его творению, но Мордвинов оставался неумолим; даже цензура получила неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом.

Случилась несчастная дуэль Пушкина; столица поражена была смертью любимого поэта; народ толпился около его дома, где сторожила полиция, испуганная таким сборищем; впускали только поодиночке поклониться телу усопшего. Два дня сряду в тесной его квартире являлись, как тени, люди всякого рода и звания, один за другим благоговейно подходили к его руке и молча удалялись, чтобы дать место другим почитателям его памяти. Было даже опасение взрыва народной ненависти к убийце Пушкина. Если потеря его произвела такое сильное впечатление на народ, то можно себе представить, каково было раздражение в литературном круге. Лермонтов сделался его эхом, и тем приобрел себе громкую известность, написав энергические стихи на смерть Пушкина; но себе навлек он большую беду, так как упрекал в них вельмож, стоявших около трона, за то что могли допустить столь печальное событие. Ходила молва, что Пушкин пал жертвою тайной интриги, по личной вражде, умышленно возбудившей его ревность; деятелями же были люди высшего слоя общества. Поздно вечером приехал ко мне Лермонтов и с одушевлением прочел свои стихи, которые мне очень понравились. Я не нашел в них ничего особенно резкого, потому что не слыхал последнего четверостишия, которое возбудило бурю против поэта. Стихи сии ходили в двух списках по городу, одни с прибавлением, а другие без него, и даже говорили, что прибавление было сделано другим поэтом, но что Лермонтов благородно принял это на себя. Он просил меня поговорить в его пользу Мордвинову, и на другой день я поехал к моему родичу.

Мордвинов был очень занят и не в духе. «Ты всегда с старыми вестями, — сказал он, — я давно читал эти стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли в них ничего предосудительного». Обрадованный такой вестью, я поспешил к Лермонтову, чтобы его успокоить, и, не застав дома, написал ему от слова до слова то, что сказал

мне Мордвинов. Когда же возвратился домой, нашел у себя его записку, в которой он опять просил моего заступления, потому что ему грозит опасность. Долго ожидая меня, написал он на том же листке чудные свои стихи «Ветка Палестины», которые по внезапному вдохновению у него исторглись в моей образной при виде палестинских пальм, принесенных мною с Востока:

Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты цвела, где ты росла?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?.. и проч [5].

Меня чрезвычайно тронули эти стихи, но каково было мое изумление вечером, когда флигель-адъютант Столыпин [6] сообщил мне, что Лермонтов уже под арестом. Случилось мне на другой день обедать у Мордвинова; за столом потребовали его к гр. Бенкендорфу; через час он возвратился и с крайним раздражением сказал мне: «Что ты на нас выдумал? ты сам будешь отвечать за свою записку». Оказалось, что, когда Лермонтов был взят под арест, генерал Веймарн, исполнявший должность гр. Бенкендорфа за его болезнью, поехал опечатать бумаги поэта и между ними нашел мою записку. При тогдашней строгости это могло дурно для меня кончиться, но меня выручил из беды бывший начальник штаба жандармского корпуса генерал Дубельт. Когда Веймарн показал ему мою записку, уже пришитую к делу, Дубельт очень спокойно у него спросил, что он думает о стихах Лермонтова, без конечного к ним прибавления. Тот отвечал, что в четырех последних стихах и заключается весь яд. «А если Муравьев их не читал, точно так же как и Мордвинов, который ввел его в такой промах?» — возразил Дубельт. Веймарн одумался и оторвал мою записку от дела. Это меня спасло, иначе я совершенно невинным образом попался бы в историю Лермонтова. Ссылка его на Кавказ наделала много шуму; на него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностию читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения. <...>

Между тем Лермонтов был возвращен с Кавказа и, преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву. На Кавказе было, действительно, где искать вдохновения: не только чуд-

ная красота исполинской его природы, но и дикие нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли воодушевить всякого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели Лермонтов, ибо в то время это было единственное место ратных подвигов нашей гвардейской молодежи, и туда устремлены были взоры и мысли высшего светского общества. Юные воители, возвращаясь с Кавказа, были принимаемы как герои. Помню, что конногвардеец Глебов, выкупленный из плена горцев, сделался предметом любопытства всей столицы [7]. Одушевленные рассказы Марлинского рисовали Кавказ в самом поэтическом виде; песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду. Он поступил опять в лейб-гусары. Мне случилось однажды в Царском Селе уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобою?» — спросил я. «Сядьте и слушайте», — сказал он и в ту же минуту в порыве восторга прочел мне от начала до конца всю свою великолепную поэму «Мцыри» (послушник по-грузински), которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера [8]. Внимая ему, и сам пришел я в невольный восторг: так живо выхватил он из ребр Кавказа одну из его разительных сцен и облек ее в живые образы пред очарованным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления. Много раз впоследствии перечитывал я его «Мцыри», но уже не та была свежесть красок, как при первом одушевленном чтении самого поэта.

Недолго суждено было Лермонтову пользоваться своею славой и наслаждаться блестящим обществом столицы. По своему заносчивому характеру он имел неприятность с сыном французского посла, которая должна была кончиться дуэлью, и, для того чтобы развести соперников, молодого Баранта отправили в Париж, а Лермонтова опять на Кавказ, с переводом в армейский полк. Видно, уже такова была его судьба, что не миновал ее даже и там, где хотели спасти его от поединка [9]. Он пал от руки приятеля, который всячески старался избежать дуэли, но был вынужден драться назойливостью самого Лермонтова, потому что он не давал ему нигде покоя колкими своими шутками [10]. Розно рассказывают причину столь странного поведения пылкого поэта, и трудно теперь узнать истину.

Мне случилось в 1843 году встретиться в Киеве с тем, кто имел несчастие убить Лермонтова; он там исполнял возложенную на него епитимию и не мог равнодушно говорить об этом поединке; всякий год в роковой его день служил панихиду по убиенном, и довольно странно случилось, что как бы нарочно прислали ему в тот самый день портрет Лермонтова; это его чрезвычайно взволновало. <...>

На Кавказе поклонился я уединенной могиле Грибоедова, на горе Св. Давида, но мне не пришлось посетить могилы Лермонтова на водах, в виду снежного Эльборуса, которого заоблачную беседу с Шат-горою столь поэтически он подслушал и передал нам в чудных стихах. Мир душе обоих великих поэтов! С одним встретился я на заре моей жизни, с другим же в знойный ее полдень, но их память доселе живет в моем сердце. Обоих осенил безмолвным своим величием Кавказ, на котором положили огненное свое клеймо Пушкин, Лермонтов и Марлинский; вдохновенными поэмами и рассказами они еще более его сроднили с русскою землею.

Е. А. АРСЕНЬЕВА

ИЗ ПИСЕМ К П. А. КРЮКОВОЙ

Петербург. 31 декабря 1834 г.

<...> Гусар мой по городу рыщет [1], и я рада, что он любит по балам ездить: мальчик молоденький, в хорошей компании и научится хорошему, а ежели только будет знаться с молодыми офицерами, то толку не много будет. <...>

31 декабря

Тарханы. 17 января 1836 г.

Милый и любезнейший друг Прасковья Александровна!

Поздравляю тебя, Александра Степановича и Анну Александровну [2] с Новым годом. Дай боже вам всего лучшего, а я через 26 лет в первый раз встретила Новый год в радости: [3] Миша приехал ко мне накануне Нового году. Что я чувствовала, увидя его, я не помню и была как деревянная, но послала за священником служить благодарный молебен. Тут начала плакать, и легче стало. План жизни моей, мой друг, переменился: Мишенька упросил меня ехать в Петербург с ним жить, и так убедительно просил, что не могла ему отказать и так решилась ехать в мае [4]. Его отпустили не надолго, ваканции не было, но его отпустили на шесть недель, и в первых числах февраля должен ехать, то уж он не заедет в Ефремов, а прямо поедет отсюда в Петербург на первой неделе и пошлет отсюда верющее письмо на имя Григорья Васильевича, чтоб он разделил имение с тетками [5]. Авдотья Евгеньевна Бабарыкина сказывала Мишеньке, что Алена Петровна [6] идет замуж, но Миша забыл фамилию; какова у вас зима, а у нас морозы доходят до 30 градусов, но пуще всего почти всякий день метель, снегу такое множество, что везде бугры [7],

дожидаюсь февраля, авось либо потеплее будет, ветра ужасные, очень давно такой жестокой зимы не было. Рожь я продала по 7 рублей в восемь мер; восьмая верхом, а та в гребло; греча, говорят, дорожает, но вообще весь хлеб не дорог, а не отлично хорошо родился. Письмо одно от тебя, мой друг, получила, а сама виновата, не писала, в страшном страдании была, обещали мне Мишеньку осенью еще отпустить и говорили, что для разделу непременно отпустят, но великий князь без ваканции не отпускал на четыре месяца. Я все думала, что он болен и оттого не едет, и совершенно страдала. Нет ничего хуже, как пристрастная любовь, но я себя извиняю: он один свет очей моих, все мое блаженство в нем, нрав его и свойства совершенно Михайла Васильича, дай боже, чтоб добродетель и ум его был. Итак, прощай, мой друг, до мая, а в мае я к тебе заеду. Дай боже, чтоб сие нашло вас всех в совершенном здоровье. Александру Степановичу и Анне Александровне скажи мое почтение.

Остаюсь с истинною и нелицемерною привязанностию верный друг

Елизавета Арсеньева.

1836 года
17 генваря

Петербург. 25 июня 1836 г.

<...> Что тебе сказать об себе. От Миши получаю всякую почту письма [8]. Горестное это происшествие расстроило его здоровье [9], он еще и здесь был болен, но, слава богу, ему позволено взять курс на Кавказских водах [10], что с божиею помощию восстановит его здоровье, а я продала его часть в деревне отца его, она заложена в Опекунский совет, и по заплате процентов ему присылали триста рублей в год, а Алена Петровна купила его часть, долг на себя берет; так как формального разделу не было, раздел на себя берет и совершение купчей, одним словом, мне ни до чего дела нет, а Мише двадцать пять тысяч ассигнациями на вексель, но с порукой Петра Дмитрича Норова [11], которому очень можно поверить; с купчей и с разделом им не менее 30 000 будет стоить, то как же дать за имение, которое дает 300 р. доходу, 30 000, а и Григорий Васильич пишет, что больше эта деревня не может дать доходу, деревня такова, что посторонние дороже бы дали, но я уж рада, что с ними развязалась. Марья Александровна [12] в Царском Селе и слышала, что Миша ее стал

гораздо покрепче. Здесь всякий день дожди и холод престрашный, а как время уставится, то я с Авдотьей Емельяновной [13] собираюсь дни на два в Царское Село. Сюда ждут на днях великого князя Михаила Павловича, а другие говорят, что будет к десятому июля; наверное никто не знает. Об себе что сказать: жива, говорят, постарела, но уж и лета, пора быть старой, а Катерина Александровна Новосильцева, право, ничего не переменилась. Николай Петрович [14] был очень болен — инфламация в желудке, теперь гораздо лучше, но все еще слаб, сохрани его бог, и Шлипенбах [15] плохо выздоравливает, я была у них в деревне; он ходит, но слаб еще, да и время слишком холодно и сыро. Мавра Николаевна [16] тебе кланяется; ты найдешь в ней большую перемену, пристрастилась к картам и играет очень порядочно, без дочерей ей точно тоска, слава богу, что карты ее занимают. Итак, прощай, мой друг, дай боже, чтоб сие нашло всех вас здоровыми. Александру Степановичу и Анне Александровне свидетельствую мое почтение. Остаюсь навсегда истинный друг

Елизавета Арсеньева.

1836 года
25 июня

Петербург. 15 ноября 1837 г.

Любезнейший друг Прасковья Александровна,

Посылаю порошки от глаз; каждый порошок на обыкновенную бутылку воды; желаю, чтоб тебе так же помогла эта примочка, как и мне; виновата, что забыла прежде послать, истинно была как ума лишенная. Теперь начинаю понемногу отдыхать, но я писала к тебе, как Философов мне сказал, что Мишу перевели в лейб-гусарский полк, вместо того в Гродненский; для него все равно тот же гвардейский полк, но для меня тяжело: этот полк стоит между Петербурга и Новагорода в бывшем поселеньи, и жить мне в Новегороде, я там никого не знаю и от полка с лишком пятьдесят верст, то все равно что в Петербурге и все с ним розно [17], но во всем воля божия, что ему угодно с нами, во всем покоряюсь его святой воле. Теперь жду его и еще, кроме радости его видеть, не об чем не думаю, иные говорят, что будет к Николину дню, а другие говорят, что не прежде Рождества, приказ по команде идет [18]. Я часто видаюсь с Дарьей Николаевной и Прасковьей Николаевной, и всегда об вас говорим. Очень благодарна Марье Александровне, она вспомнила меня в день

именин моего Миши и была у меня. Приезжай побывать к нам, провели бы несколько месяцев веселых. Граф Мордвинов [19] очень слаб стал, они таят, но говорят, у него был удар. Марья Аркадьевна [20] вышла замуж за Бека, и я была мать посаженая. Я была и прежде у Мордвиновых, но старика не видала, давно он не выходил, а тут при отпуске невесты он так был слаб, что тяжело было его видеть. С моими Арсеньевыми, что в Васильевском живут, у меня нет ладов, гневаются на меня. Я писала Григорью Васильичу, что Миша внук Михайла Васильича и что он не хочет гоняться и дает ему доходу 300 р., Варвара Васильевна на это письмо отвечает, хотя я не к ней писала, что я обидела честнейшего человека [21]. Я уж не рассудила на это письмо ей отвечать, и с тех пор у нас переписка кончилась. Я очень рада, что продала Мишину часть Виолеву, ежели бы постороннему продала, хотя бы наверное тысяч десять получила лишнего, но стали бы жаловаться, что я их разорила и что Миша не хотел меня упросить, и на него бы начали лгать, рада, что с ними развязала. Итак прощай, мой друг. Александру Степановичу и Анне Александровне свидетельствую мое почтение. Остаюсь искренний друг

Елизавета Арсеньева.

1837 года
15 ноября

ПИСЬМО К С. Н. КАРАМЗИНОЙ

Петербург. 18 апреля 1841 г.

Милостивая государыня Софья Николаевна! Опасаясь обеспокоить вас моими приездами, решилась просить вас через письмо; вы так милостивы к Мишеньке, что я смело прибегаю к вам с моею просьбою, попросите Василия Андреевича [22] напомнить государыне, вчерашний день прощены: Исаков, Лихачев, граф Апраксин и Челищев; [23] уверена, что и Василий Андреевич извинит меня, что я его беспокою, но сердце мое растерзано. Он добродетелен и примет в уважение мои страдания. С почтением пребываю вам готовая к услугам

Елизавета Арсеньева.

Маменьке вашей и сестрицам прошу сказать мое почтение.

1841 года
апреля 18

Е. А. ВЕРЕЩАГИНА

ИЗ ПИСЕМ К А. М. ХЮГЕЛЬ

16/28 сентября 1838 г.

На другой день приезда нашего прислали звать нас провожать Афан<асия> Алек<сеевича> [1] в Царское Село, куда он накануне всей семьей выехал... Итак, мы в два часа пополудни — сестрица [2], Маша [3], я и Яким Хастатов [4] — пустились по железной дороге и в 36 минут были там [5]. Обедали вся семья, все Аркадьевичи [6], и, разумеется, и Атрешковы [7], Елизав<ета> Алексеевна, Миша. Представь себе Елизав<ету> Алекс<еевну> по железной дороге, насилу втащили в карету, и она там <т. е. в Царском Селе> три дня жила. Итак, все обедали с обыкновенным тебе известным шумом, спором Афанасия. А Философов [8] не обедал, а так приходил... Очень много смеялись и, как ты знаешь, спорили, кричали... Из Царского отправились опять в 10-ть часов вечера по железной дороге. Нас из дворца отвезли в придворной линейке до галереи, это довольно далеко от дворца, где наши живут. Поехал с нами Николай Аркадьевич, Яким Хастатов, и Миша Лермонтов проводил нас и пробыл с нами до время отъезда.

8/20 октября 1838 г.

<...> третьяго дня вечер у Арсеньевой — Мишино рождение. Но его не было, по службе он в Царском Селе, не мог приехать [9].

Нашей почтенной Елиз<авете> Алексеевне сокрушенье — все думает, что Мишу женят, все ловят. Он ездил в каруселе с Карамзиными [10]. Но это не К<атенька> Суш<кова>. Эта компания ловят или богатых, или чиновных, а Миша для них беден. Что такое 20 тысяч его доходу? Здесь толкуют: сто тысяч — мало, говорят, petite fortune *. А старуха сокрушается, боится beau monde **.

* маленькое состояние (*фр.*).
** большого света (*фр.*).

29 октября / 10 ноября 1838 г.

Миша Лерм<онтов> сидел под арестом очень долго. Сам виноват. Как ни таили от Ел<изаветы> Алексеевны — должны были сказать. И очень было занемогла, пиявки ставили. Философ<ов> довел до сведения великого князя, и его к бабушке выпустили. Шалость непростительная, детская.

<...> зато нарисовал прекрасную картину масляными красками для тебя — вид Кавказских гор и река Терек и черкесы — очень мила [11]. Отдал для тебя, говоря мне, чтоб я теперь взяла к себе, а то кто-нибудь выпросит и не сберется нарисовать еще для тебя. Итак, она у меня, довольно большая. Но обещал еще тебе в альбом нарисовать.

10/22 января 1839 г.

У нас очень часто веселье для молодежи — вечера, сбирается все наше семейство. Танцы, шарады и игры, маскарады. Миша Лерм<онтов> часто у нас балагурит... Вчера делали fête de Rois *, и досталось: королева Lise Розен, а королем граф Рошелин. Все наряжались, и всё как должно — и трон, и вся молодежь наряжена, и так им было весело. Танцевали, и все без церемоний бесились. Все наши были, офицеры и Миша Лер<монтов>, Хастатов, все Столыпины и все юнкера, даже Философов.

6/18 марта 1839 г.

Представь себе Афанасья, играющего все игры, и, например, играли в коршуны. Он матку представлял, а Миша Лерм<онтов> коршуна.

24 марта/5 апреля 1839 г.

Прилагаю тебе стихи Мишины. И еще у меня есть целая тетрадка списана. При оказии пришлю. Знаю, что тебе приятно и чтоб не забыла ты читать по-русски.

10—11/22—23 мая 1839 г.

Посылаю тебе с ними Мишину картину [12], и его стихи я списала. А от него самого не добьешься получить.

---

* праздник королей (*фр.*).

27 мая/8 июня 1839 г.

Миша уговорил остаться <Е. А. Арсеньеву в Петербурге>. Ненадолго — не стоит труда так далеко, а надолго — грустно расстаться — а ему уже в отпуск нельзя проситься, и так осталась.

11/23 января 1840 г.

Миша Лермонтов велел тебе сказать, что он очень рад, что получил письмо твое [13], что он чувствует и будет к тебе писать непременно. Очень занят — всякой день на балах и в милости у модных дам. У Завадовской [14] часто бывает. Вчера он был у нас. Все так же балагурит. Прилагаю тебе стихи его — выписала из последнего номера журнала. Он подрядился за деньги писать в журналах. Прежде все давал даром, но Елизавета Алекс<еевна> уговорила его деньги взять, нынче очень год тяжел — ей половину доходу не получить.

22 марта/3 апреля 1840 г.

Миша Лер<монтов> опять сидит под арестом, и судят его — но кажется, кончится милостиво. Дуэль имел с Барантом, сыном посла. Причина — барыни модные. Но его дерзости обыкновенные — беда [15]. И бедная Елиз<авета> Алексеевна. Я всякой день у нее. Нога отнималась. Ужасное положение ее — как была жалка. Возили ее к нему в караульную.

11/23 апреля 1840 г.

Миша Лерм<онтов> еще сидит под арестом, и так досадно — все дело испортил [16]. Шло хорошо, а теперь господь знает, как кончится. Его характер несносный — с большого ума делает глупости. Жалка бабушка — он ее ни во что не жалеет. Несчастная, многострадальная. При свидании все расскажу. И ежели бы не бабушка, давно бы пропал. И что еще несносно — что в его делах замешает других, ни об чем не думает, только об себе, и об себе неблагоразумно. Никого к нему не пускают, только одну бабушку позволили, и она таскается к нему, и он кричит на нее, а она всегда скажет — желчь у Миши в волнении. Барант-сын уехал.

8/20 мая 1840 г.

Об Мише Л<ермонтове> что тебе сказать? Сам виноват и так запутал дело. Никто его не жалеет, а бабушка жалка. Но он ее так уверил, что все прини-

мает она не так, на всех сердится, всех бранит, все виноваты, а много милости сделано для бабушки и по просьбам, и многие старались об нем для бабушки, а для него никто бы не старался. Решительно, его ум ни на что, кроме дерзости и грубости. Все тебе расскажу при свидании, сама поймешь, где его ум, и доказал сам — прибегнул к людям, которых он, верно, считал дураками [17]. Он иногда несносен дерзостью, и к тому же всякая его неприятная история завлечет других [18]. Он после суда, который много облегчили государь император и великий князь, отправился в армейский полк на Кавказ. Он не отчаивается и рад на Кавказ, и он не жалок ничего [19], а бабушка отправляется в деревню и будет ожидать там его возвращения, ежели будет. Причину дуэли все расскажу при свидании. Такая путаница всего дела, и сам виноват, не так бы строго было. Барант-сын еще не возвращался — он в Париж уехал. А толков сколько было, и все вышло от дам.

Н. М. САТИН

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Одно воспоминание влечет за собой другие. Говоря о Соколовском, я упомянул, что весь 1837 год я провел на Кавказе: лето на водах, а осень и зиму в Ставрополе. Этот год был замечателен разными встречами. Начнем с Белинского и Лермонтова. Ив. Ив. Панаев в своих «Литературных воспоминаниях» говорит, что Белинский и Лермонтов познакомились в Петербурге, у г. Краевского, в то время когда Белинский принимал деятельное участие в издании «Отечественных записок», то есть в 1839 или 1840 году. Это несправедливо [1]. Они познакомились в 1837 году в Пятигорске у меня [2]. Сошлись и разошлись они тогда вовсе не симпатично. Белинский, впоследствии столь высоко ценивший Лермонтова, не раз подсмеивался сам над собой, говоря, что он тогда не *раскусил* Лермонтова.

Летом 1837 года я жил в Пятигорске, больной, почти без движения от ревматических болей в ногах. Туда же и тогда же приехал Белинский и Лермонтов; первый из Москвы, лечиться, второй — из Нижегородского полка, повеселиться.

С Белинским я не был знаком прежде, но он привез мне из Москвы письмо от нашего общего приятеля К<етчера>; [3] на этом основании мы скоро сблизились, и Белинский навещал меня ежедневно. С Лермонтовым мы встретились как старые товарищи. Мы были с ним вместе в Московском университетском пансионе; но в 1831 году после преобразования пансиона в Дворянский институт (когда-нибудь поговорим и об этом замечательном факте) и введения в него *розог,* вместе и оставили его [4]. Лермонтов тотчас же вступил в Московский университет и прямо наткнулся на историю

профессора Малова, вследствие которой был исключен из университета и поступил в юнкерскую школу [5]. Я поступил в университет только на следующий год. На пороге школьной жизни мы расстались с Лермонтовым холодно и скоро забыли друг о друге. Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать. «Пристанет, так не отстанет», — говорили об нем. Замечательно, что эта юношеская наклонность привела его и к последней трагической дуэли!

В 1837 году мы встречались уже молодыми людьми, и, разумеется, школьные неудовольствия были взаимно забыты. Я сказал, что был серьезно болен и почти недвижим; Лермонтов, напротив, пользовался всем здоровьем и вел светскую, рассеянную жизнь. Он был знаком со всем *водяным* обществом (тогда очень многочисленным), участвовал на всех обедах, пикниках и праздниках. Такая, по-видимому, пустая жизнь не пропадала, впрочем, для него даром: он писал тогда свою «Княжну Мери» и зорко наблюдал за встречающимися ему личностями [6]. Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мери, и Грушницкого, и в особенности милого, умного и оригинального доктора Майера [7].

Майер был доктором при штабе генерала Вельяминова. Это был замечательно умный и образованный человек; тем не менее он тоже не раскусил Лермонтова. Лермонтов снял с него портрет поразительно верный; но умный Майер обиделся, и, когда «Княжна Мери» была напечатана, он писал ко мне о Лермонтове: «Pauvre sire, pauvre talent!» *

Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать. Он не любил говорить о своих литературных занятиях, не любил даже читать своих стихов, но зато охотно рассказывал о своих светских похождениях, сам первый подсмеиваясь над своими *любвями* и волокитствами.

В одно из таких посещений он встретился у меня с Белинским. Познакомились, и дело шло ладно, пока разговор вертелся на разных пустячках; они даже открыли, что оба — уроженцы города Чембара (Пензенской губ.) [8].

---

* Ничтожный человек, ничтожный талант! (*фр.*).

Но Белинский не мог долго удовлетворяться пустословием. На столе у меня лежал том записок Дидерота; взяв его и перелистав, он с увлечением начал говорить о французских энциклопедистах и остановился на Вольтере, которого именно он в то время читал. Такой переход от пустого разговора к серьезному разбудил юмор Лермонтова. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками; это явно сердило Белинского, который начинал горячиться; горячность же Белинского более и более возбуждала юмор Лермонтова, который хохотал от души и сыпал разными шутками.

— Да я вот что скажу вам об вашем Вольтере, — сказал он в заключение, — если бы он явился теперь к нам в Чембар, то его ни в одном порядочном доме не взяли бы в гувернеры.

Такая неожиданная выходка, впрочем, не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Белинского. Он в течение нескольких секунд посмотрел молча на Лермонтова, потом, взяв фуражку и едва кивнув головой, вышел из комнаты[9].

Лермонтов разразился хохотом. Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек; он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость.

Белинский с своей стороны иначе не называл Лермонтова как *пошляком,* и когда я ему напоминал стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина», он отвечал: «Вот важность — написать несколько удачных стихов! От этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком».

На впечатлительную натуру Белинского встреча с Лермонтовым произвела такое сильное влияние, что в первом же письме из Москвы он писал ко мне: «Поверь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов»[10].

Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. Через два или три года они глубоко уважали и ценили друг друга. <...>[11]

По окончании курса вод я переехал в Ставрополь зимовать, чтобы воспользоваться ранним курсом 1838 года. Я поместился с доктором Майером. Это был

замечательный человек как в физическом, так и в умственном отношении. В физическом отношении Майер был почти урод: одна нога была короче другой более чем на два вершка; лоб от лицевой линии выдавался вперед на неимоверно замечательное пространство, так что голова имела вид какого-то треугольника; сверх этого он был маленького роста и чрезвычайно худощав. Тем не менее своим умом и страстностью он возбудил любовь в одной из самых красивейших женщин, г-же М<ансуровой>. Я был свидетелем и поверенным этой любви. Майер, непривычный внушать любовь, был в апогее счастья! Когда она должна была ехать, он последовал за нею в Петербург, но, увы, скоро возвратился оттуда, совершенно убитый ее равнодушием.

Над г-жой Мансуровой эта любовь или, правильнее, шутка прошла, вероятно, бесследно; но на Майера это подействовало разрушительно; из веселого, остроумного, деятельного человека он сделался ленивым и раздражительным.

По вечерам собиралось у нас по нескольку человек, большею частию из офицеров генерального штаба. <...> Из посещавших нас мне в особенности памятны Филипсон и Глинка. Первый (бывший впоследствии попечителем С.-Петербургского университета, а ныне сенатор) был умный и благородный человек...[12]

Глинка был ниже Филипсона своими умственными способностями, но интересовал нас более своим добродушием и пылкостью своего воображения. Он тогда был серьезно занят проектом завоевания Индии, — но эта фантазия не была в нем глупостью, а скорее оригинальностью; он много учился и много читал и [воображал] вытеснить англичан из Индии, доказывая фактами, которые не всегда можно было опровергнуть.

Постоянно посещали нас еще два солдата, два декабриста: Сергей Кривцов[13] и Валериан Голицын[14]. Первый — добрый, хороший человек, далеко ниже по уму и выше по сердцу своего брата Николая, бывшего воронежским губернатором. Второй — замечательно умный человек, воспитанник иезуитов; он усвоил себе их сосредоточенность и изворотливость ума. Споры с ним были самые интересные: мы горячились, а он, хладнокровно улыбаясь, смело и умно защищал свои софизмы и большею частию, не убеждая других, оставался победителем.

Несмотря на свой ум, он, видимо, тяготился своею солдатскою шинелью, и ему приятно было, когда называли его князем. В этот же год произвели его в офицеры, и он не мог скрыть своего удовольствия — надеть снова тонкий сюртук вместо толстой шинели.

Позднее, зимой, к нашему обществу присоединился Лермонтов [15], но — признаюсь — только помешал ему. Этот человек постоянно шутил и подтрунивал, что наконец надоело всем. Белинский, как рассказывает Панаев, имел хотя раз случай слышать в ордонанс-гаузе серьезный разговор Лермонтова о Вальтер Скотте и Купере. Мне — признаюсь, несмотря на мое продолжительное знакомство с ним, — не случалось этого. Этот человек постоянно шутил и подтрунивал. Ложно понятый байронизм сбил его с обычной дороги. Пренебрежение к пошлости есть дело достойное всякого мыслящего человека, но Лермонтов доводил это до absurdum *, не признавая в окружающем его обществе ничего достойного его внимания.

---

* абсурда (*лат.*).

М. И. ЦЕЙДЛЕР

НА КАВКАЗЕ В ТРИДЦАТЫХ ГОДАХ

Восемнадцатого февраля 1838 года командирован был я в отдельный Кавказский корпус в числе прочих офицеров Гвардейского корпуса для принятия участия в военных действиях против горцев. <...>

По пути заехал я в полк проститься с товарищами и покончить с мелкими долгами, присущими всякому офицеру. Пробыв в полку сутки и распростившись со всеми, я отправился уже окончательно в дальний путь. Товарищи, однако, непременно вздумали устроить, по обычаю, проводы. Хор трубачей отправлен был вперед, а за ним моя кибитка и длинная вереница саней с товарищами покатила к Спасской Полести, то есть на станцию Московского шоссе, в десяти верстах от полка. Станционный дом помещался в длинном каменном одноэтажном строении, похожем на огромный сундук. Уже издали видно было, что это казенное здание времен аракчеевских: оно более походило на казарму, хотя и носило название дворца. Все комнаты, не исключая так называемой царской половины, были блистательно освещены. Хор трубачей у подъезда встретил нас полковым маршем, а в большой комнате накрыт был стол, обильно уставленный всякого рода напитками. Меня усадили, как виновника прощальной пирушки, на почетное место. Не теряя времени начался ужин, чрезвычайно оживленный. Веселому расположению духа много способствовало то обстоятельство, что товарищ мой и задушевный приятель Михаил Юрьевич Лермонтов, входя в гостиную, устроенную на станции, скомандовал содержателю ее, почтенному толстенькому немцу, Карлу Ивановичу Грау, немедленно вставить во все свободные подсвечники и пустые бутылки свечи

и осветить, таким образом, без исключения все окна. Распоряжение Лермонтова встречено было сочувственно, и все в нем приняли участие; вставлялись и зажигались свечи; смех, суета сразу расположили к веселью. Во время ужина тосты и пожелания сопровождались спичами и экспромтами. Один из них, сказанный нашим незабвенным поэтом Михаилом Юрьевичем, спустя долгое время потом, неизвестно кем записанный, попал даже в печать. Экспромт этот имел для меня и отчасти для наших товарищей особенное значение, заключая в конце некоторую, понятную только нам, игру слов. Вот он:

Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
Едет он, томим печалью,
На могучий пир войны;
Но иной, не бранной, *сталью*
Мысли юноши полны [1].

Само собою разумеется, что ужин кончился обильным излиянием чувств и вина. Предшествуемый снова хором полковых трубачей, несомый товарищами до кибитки, я был наконец уложен в нее, и тройка в карьер умчала меня к Москве.

Не помню, в каком-то городе, уже днем, разбудил меня человек, предложив напиться чайку. Очнувшись наконец, я немало был удивлен, когда увидел, что кругом меня лежали в виде гирлянды бутылки с шампанским: гусарская хлеб-соль на дорогу.

* * *

Сухопутное странствование наконец кончилось прибытием в Тамань. В то время, то есть в 1838 году, полвека тому назад, Тамань была небольшим, невзрачным городишком, который состоял из одноэтажных домиков, крытых тростником; несколько улиц обнесены были плетневыми заборами и каменными оградами. Кое-где устроены были палисадники и виднелась зелень. На улицах тихо и никакой жизни. Мне отвели с трудом квартиру, или, лучше сказать, мазанку, на высоком утесистом берегу, выходящем к морю мысом. Мазанка эта состояла из двух половин, в одной из коих я и поместился. Далее, отдельно, стояли плетневый, смазан-

ный глиной сарайчик и какие-то клетушки. Все эти невзрачные постройки обнесены были невысокой каменной оградой. Однако домик мой показался мне приветливым: он был чисто выбелен снаружи, соломенная крыша выдавалась кругом навесом, низенькие окна выходили с одной стороны на небольшой дворик, а с другой — прямо к морю. Под окнами сделана была сбитая из глины завалина. Перед крылечком торчал длинный шест со скворешницей. Внутри все было чисто, смазанный глиняный пол посыпан полынью. Вообще как снаружи, так и внутри было приветливо, опрятно и прохладно. Я велел подать самовар и расположился на завалинке. Вид на море для меня, жителя болот, был новостью. Никогда еще не случалось мне видеть ничего подобного: яркие лучи солнца, стоявшего над горизонтом, скользили золотою чешуею по поверхности моря; далее синеватые от набегающих тучек пятна то темнели, то снова переходили в лазуревый колорит. Керченский берег чуть отделялся розоватой полоской и, постепенно бледнея, скрывался в лиловой дали. Белые точки косых парусов рыбачьих лодок двигались по всему взморью, а вдали пароходы оставляли далеко за собой черную струю дыма. Я не мог оторваться от этого зрелища. Хозяин мой, старый черноморец, уселся тоже на завалинке.

— А что, хозяин, — спросил я, — много ли приехало уже офицеров? И где собирается отряд?

— Нема, никого не бачив.

Расспрашивать далее было нечего; флегматическая натура черноморца вся так и высказалась: его никогда не интересуют чужие дела.

— Погода буде, — сказал он, помолчав немного.

— А почему так? — спросил я.

— А бачь, птыця разыгралась, тай жабы заспивали.

Я взглянул вниз с отвесной горы на берег. Сотни больших морских чаек с криком летали у берега; то садились на воду, качаясь на волнах, то снова подымались с пронзительным криком и опять приседали качаться. Солнце окунулось в море. Быстро начало смеркаться; яркие отблески исчезли; вся даль потемнела, «зайчики», катившиеся до того к берегу друг за другом, превратились в пенистые волны и, далеко забегая на берег, с шумом разбивались о камни. Задул холодный ветер с моря; рыбачьи лодки спешили к пристани; все стемнело вдруг. Послышались далекие

раскаты грома, и крупные капли дождя зашумели в воздухе. Надо было убираться в хату. Долго не спалось мне под шум бушующего моря, а крупные капли дождя стучали в дребезжащие окна. Буря бушевала недолго; налетевший шквал пронесся вместе с дождем, и все снова стихло. Мне послышалось где-то очень близко заунывное пение матери, баюкавшей свое дитя, и эта протяжная заунывная песня усыпила наконец и меня. <...>

...Я почти весь день проводил в Тамани на излюбленной завалинке; обедал, читал, пил чай над берегом моря в тени и прохладе. Однажды, возвращаясь домой, я издали заметил какие-то сидящие под окнами моими фигуры: одна из них была женщина с ребенком на руках, другая фигура стояла перед ней и что-то с жаром рассказывала. Подойдя ближе, я поражен был красотой моей неожиданной гостьи. Это была молодая татарка лет девятнадцати с грудным татарчонком на руках. Черты лица ее нисколько не походили на скуластый тип татар, но скорей принадлежали к типу чистокровному европейскому. Правильный античный профиль, большие голубые с черными ресницами глаза, роскошные, длинные косы спадали по плечам из-под бархатной шапочки; шелковый бешмет, стянутый поясом, обрисовывал ее стройный стан, а маленькие ножки в желтых мештах выглядывали из-под широких складок шальвар. Вообще вся она была изящна; прекрасное лицо ее выражало затаенную грусть. Собеседник ее был мальчик в сермяге, босой, без шапки. Он, казалось, был слеп, судя по бельмам на глазах. Все лицо его выражало сметливость, лукавство и смелость. Несмотря на бельма, ходил он бойко по утесистому берегу. Из расспросов я узнал, что красавица эта — жена старого крымского татарина, золотых дел мастера, который торгует оружием, и что она живет по соседству в маленьком сарае, на одном со мной дворе: самого же его здесь нет, но что он часто приезжает. Покуда я расспрашивал слепого мальчика, соседка тихо запела свою заунывную песню, под звуки которой в бурную ночь, по приезде моем, заснул я так сладко. Слепой мальчик сделался моим переводчиком. Всякий раз, когда она приходила посидеть под окном, он, видимо, следил за ней. Муж красавицы, с которым я познакомился впоследствии, купив у него прекрасную шашку и кинжал, имел злое и лукавое лицо, говорил по-русски

неохотно, на вопросы отвечал уклончиво; он скорее походил на контрабандиста, чем на серебряных дел мастера. По всей вероятности, доставка пороха, свинца и оружия береговым черкесам была его промыслом.

Сходство моего описания с поэтическим рассказом о Тамани в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова заставляет меня сделать оговорку: по всей вероятности, мне суждено было жить в том же домике, где жил и он; тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести. Мне даже помнится, что когда я, возвратясь, рассказывал в кругу товарищей о моем увлечении соседкою, то Лермонтов пером начертил на клочке бумаги скалистый берег и домик, о котором я вел речь [2].

А. И. АРНОЛЬДИ

ИЗ ЗАПИСОК

1. ЛЕРМОНТОВ В ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГРОДНЕНСКОМ ГУСАРСКОМ ПОЛКУ

Семнадцатого августа 1837 года, темным вечером, после переправы на пароме чрез р. Волхов, на перекладной въехал я в 1-й Округ пахотных солдат Аракчеевского поселения [1], где расположен был тогда лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, принадлежавший к составу 2-й гвардейской кавалерийской дивизии и в котором я прослужил двадцать пять лет.

Многочисленные огоньки в окнах больших каменных домов и черные силуэты огромнейшего манежа, гауптвахты с превысокой каланчой, большого плаца с бульваром, обсаженным липами, на первый раз и впотьмах очень живописно представились моему воображению, и я мнил, что вся моя будущая жизнь будет хоть и провинциальная, но городская.

С светом все мои надежды рушились: я увидел себя в казармах, окруженного казармами, хотя, правду сказать, великолепными, так как на полуверстном квадратном пространстве полк имел все необходимое и даже роскошное для своего существования.

Огромный манеж (в длину устанавливалось три эскадрона в развернутом фронте) занимал одну сторону плаца и был расположен своим длинным фасом к р. Волхову на полугоре, на которой к реке были полковые огороды. На противоположном фасе квадратного плаца тянулись пять офицерских флигелей, разделенных между собою садиками за чугунными решетками и двумя отдельными домами по бокам, в которых помещались: в одном нестроевая рота, а в другом — наш полковой «Елисеев» — маркитант Ковровцев. На пра-

вом фасе, подъезжая от Волхова, были два дома для женатых офицеров или штаб-офицеров, гауптвахта с каланчою, о которой я упомянул выше, а на внутреннем дворе помещалась трубачевская команда; на левом фасе был дом полкового командира, такие же два дома с квартирами для женатых, временный деревянный дворец и дом для приезда начальствующих лиц; за ними влево, треугольником, построены были прекрасные деревянные конюшни на три дивизиона или шесть эскадронов. За гауптвахтой были полковые мастерские, кухня, конный лазарет и малый манеж с конюшнею верховых лошадей полкового командира. На концах полкового манежа были флигеля, причем в правом — цейхгаузы, швальни, шорная, лазарет, ванны и квартиры докторов, а в левом — казармы всех шести эскадронов и дежурная комната.

Дух Аракчеева, года за два-три перед тем скончавшегося в своем имении Грузино, верстах в тридцати от 1-го Округа, царил всецело над его созданием, и порядок, заведенный при нем, все еще сохранялся. Все дороги были шоссированы, дерн по аллеям поддерживался во всей свежести, деревья подсаживались, обрезались и также поддерживались; дома красились, и все имело привлекательный вид, а в особенности весной.

Могу смело сказать, что для пользы службы лучшего места для стоянки полка и сыскать было трудно, и от того, как мне кажется, служба во всех своих проявлениях нигде так исправно не шла, как в нашем полку, да и вообще в тех полках нашей дивизии, которые были расположены, подобно нам, в таких же казармах, тянувшихся по Волхову до Новгорода.

Не знаю, чему приписать отвращение, царствовавшее впоследствии к этому месту в нашем полку, когда он изменился в составе своих офицеров, но могу сказать, что в мое время, когда полк только что перешел из Варшавы, где простоял многие годы, составляя гвардию в. к. Константина Павловича и состоял почти исключительно из людей небогатых, офицеры были довольны стоянкою полка; мы жили чрезвычайно дружно, весело и довольствовались развлечениями в своем обществе, довольно значительном, так как было время, что у нас в полку было до тринадцати человек женатых, где юные офицеры — товарищи мои проводили свои зимние вечера.

Можно было избирать себе кружки по своим вкусам, так как семейства женатых офицеров были, само собою разумеется, разнообразных сфер, и каждый свободно переходил из самой аристократической гостиной жены полкового командира А. А. Эссена (бывшей фрейлины большого двора) в скромную какого-либо ротмистра Гродецкого, моего эскадронного командира, где царствовала вполне старинная патриархальность и где за чайным столиком нередко полдюжины маленьких детей его, с салфетками на шеях, зачастую надоедали нам донельзя тем, что чадолюбивая мать их, разливая чай, одному из мальчишек утрет нос, другому накрошит хлеба в молоко и нередко забывала своего юного гостя, но зато старик эскадронный командир сам лично набьет вам трубочку и подаст вам огонька. Повторяю, что общество наше жило чрезвычайно дружно, и нередко в первые годы моей службы у нас устраивались пикники, маскарады, танцы, карусели.

В полку была хорошая библиотека русских и французских книг; в окрестностях — бесподобные места для охоты, подобных которым я во всю мою жизнь впоследствии и не видывал.

Еще в Спасской Полести, шестой станции от Петербурга на Московском шоссе, в очень хорошей гостинице, содержимой любекским уроженцем Карлом Ивановичем Грау, узнал я, что Н. А. Краснокутский, товарищ по Пажескому корпусу, вышедший за год до меня в Гродненский гусарский полк, живет в сумасшедшем доме, куда ямщик меня и привез. Надобно знать, что сумасшедшим домом назывался правый крайний дом офицерских флигелей, потому что вмещал в себе до двадцати человек холостых офицеров, большею частью юных корнетов и поручиков, которые и вправду проводили время как лишенные рассудка и в число которых, само собою разумеется, попадал невольно всякий новоприбывший.

Легко себе представить, что творилось в двадцати квартирах двадцати юношей, недавно вырвавшихся на свободу и черпающих разнообразные утехи жизни человеческой полными пригоршнями, и я полагаю, что Лесаж, автор «Хромоногого беса», имел бы более материала, ежели б потрудился снять крышу с нашего жилища и описать те занятия, которым предавались мы часто по своим кельям [2].

Были комнаты, где простая закуска не снималась со стола и ломберные столы не закрывались. В одних помещениях беспрестанно раздавались звуки или гитары, или фортепьяно или слышались целые хоры офицерских голосов, в других — гремели пистолетные выстрелы упражняющихся в этом искусстве, вой и писк дрессируемых собак, которые у нас в полку никогда не переводились, так как было много хороших охотников. Были между нами и люди-домоседы, много читавшие, и я положительно не понимаю, как они умудрялись заниматься этим делом среди такого содома. Во всякий час дня, в длинных коридорах верхнего и нижнего этажей, разделяющих дом пополам в длину, у каждой двери квартиры вы всегда могли встретить какую-нибудь смазливую поселянку с петухом, клюквой, грибами, или крестьянина, поставляющего сено, или охотника, пришедшего оповестить о найденном им медведе на берлоге или обойденных им лосях. «Личарды» наши то и дело сновали по коридорам, исполняя поручения своих господ, лихие тройки с колоколами и бубенчиками постоянно откладывались и закладывались у нас во дворе, и он постоянно имел вид почтового двора.

Я не застал Краснокутского дома, но услужливый слуга его Петр вскоре его отыскал, и я тотчас же без дальних церемоний был введен им в одну из квартир товарища, штабс-ротмистра Поливанова, где застал почти весь контингент однополчан в страшном табачном дыму, так как редко кто тогда не курил из длинных чубуков табак Жукова.

Было далеко за полночь, когда я, радушно принятый товарищами, после скромного ужина заснул на железной кровати своей посреди узкой комнаты квартиры Краснокутского. Утром по совету моего ментора и руководителя я должен был явиться <к> полковому, дивизионному и эскадронному командирам в полной парадной форме, всем женатым — в вицмундире, а остальным товарищам — в сюртуке, на что и употребил почти целый день. Полковой командир Антон Антонович Эссен принял меня любезно, назначил во 2-й эскадрон к ротмистру Гродецкому и, предуведомленный письмом моего отца, прочел мне несколько общих наставлений. <...>

С первых же дней моего поступления я горячо принялся за службу, выучился тридцати двум или тридцати

шести кавалерийским сигналам у полкового штабтрубача, понял механизм поворотов и заездов строя и ежедневно вместе с такими же неучами ездоками, как и я, ездил верхом под руководством полкового командира, так что вскоре перешел в общую офицерскую смену, которые, в составе всех наличных офицеров, по субботам обыкновенно съезжались в великолепном огромном нашем манеже. Антон Антонович сам был отличный ездок, имел много хороших лошадей на своей конюшне, в том числе знаменитого Фаворита, за которого было заплачено им 8000 р. Полковник Риземан, когда-то гейдельбергский студент, первый бретер, «питух», коронованный в знаменитой по величине своей бочке в Гейдельберге, был в то время старшим полковником, не только по старшинству чинов и своим летам, но и по тому авторитету, который успел приобрести. <...>

Полковник Стааль фон Гольштейн (Александр Карлович) был вторым по старшинству и пользовался общим уважением и любовью целого полка. Очень красивый мужчина, он ловко сидел на лошади и был переведен к нам из конной гвардии, где, отличаясь своими джентльменскими манерами и изящными танцами, был постоянным кавалером императрицы Александры Федоровны на малых аничковских балах; жена его Софья Николаевна[3], дочь Шатилова, который после долгой ссылки в Сибирь за участие в убийстве помещика Времева за карточным столом в Москве жил у дочери в нашем полку[4]. Она была красавица в полном смысле этого слова, умна, кокетлива и сводила с ума весь наш полк и ко многим из нас, что греха таить, была любезна... хотя я не попал в число избранных, отчасти оттого, что был слишком стыдлив, робок, наивен и непредприимчив.

Третьим дивизионером был полковник Адеркас, женатый также на красавице, разводке Лешерн, урожденной Берте; отец ее был камердинером или чем-то вроде церемониймейстера при скромном дворе Людовика XVIII у нас в Риге. <...>

1-м эскадроном командовал ротмистр Иван Альбертович Халецкий, магометанин из польских татар, лихой эскадронный командир, впоследствии командир Киевского гусарского полка, раненный в Крымскую кампанию под Инкерманом при отражении знаменитой атаки. Кардигана; после восстания Польши в 1863 году, будучи

генерал-майором в оставке, бежал за границу и поступил на иждивение жонда.

2-м эскадроном, в который я был зачислен, командовал, как я сказал, ротмистр Гродецкий недолго, потом Абрамович (Геркулан Помпеевич, очень умный человек, получивший образование у иезуитов) и, наконец, Эдуард Штакельберг, при котором я был уже штабс-ротмистром и вскоре сам получил эскадрон.

3-м эскадроном командовал ротмистр Роман Борисович Берг. <...>

4-м эскадроном командовал Казимир Войнилович, маленький человек с огромными усами, командовавший впоследствии Веймарнским гусарским полком.

5-м эскадроном командовал Готовский, а потом Высоцкий. Высоцкий, побочный сын генерал-адъютанта Трубецкого, был вполне русский человек и, несмотря на свои странности и плохое знание службы, был очень любим товарищами. <...>

6-м эскадроном командовал сначала Адеркас, потом Константин Штакельберг (вскоре он женился на дочери негоцианта Крамера, и я был у него шафером). Он был произведен в генералы. 7-м запасным эскадроном — Готовский.

Вообще в нашем полку был сброд порядочный, так как полк, состоя в гвардии цесаревича в Варшаве, всегда комплектовался самим великим князем Константином Павловичем, и никто не знает, что руководило им при этой вербовке офицеров. Разные авантюристы изобиловали в полку, и бог знает, каких только национальностей у нас не встречалось: кроме польских фамилий, как граф Рачинский, Гродецкий, Готовский, Абрамович, Гедройц-Юрага, попадались французы — Живон де Руссо, граф Лотрек де Тулуз, немцы — Берг, Бер, Герлах, Моллер, Лауниц, англичане — Мерфельд, польские татары — Халецкий и даже был один с мыса Доброй Надежды. С прибытием полка в Россию и с зачислением его в состав гвардейского корпуса он стал пополняться воспитанниками из юнкерской гвардейской школы и из пажей — отличнейшей молодежью: Моллер, Цейдлер, Бер, Кропотов, Ильяшевич, граф Тизенгаузен, Безобразовы, Топорнин, Арсеньев, Девитт, Бедряга, Кисловский, Клодт, Лобанов-Ростовский и проч., которые хоть какому полку не сделали бы бесчестья. Много между ними было людей образованных, богатых, и мы весьма дружно жили одной братской семьей. С переме-

ной доброго полкового командира Эссена на строгого князя Багратиона-Имеретинского многие, не соответствующие составу полка офицеры, сами оставили его, а многие были вынуждены к тому строгостью командира полка, что дало ему возможность довести Гродненский полк до возможного совершенства во всех отношениях. <...>

Итак, служба шла своим чередом, офицерская езда производилась новичкам ежедневно, а всем офицерам два раза в неделю, караулы отбывались поручиками и корнетами, дежурили по полку ротмистры, а по трем дивизионам все субалтерн-офицеры. Пешие, по конному, учения повторялись на неделе очень часто; все офицеры обязаны были присутствовать на езде своих эскадронов, производившейся через день, равно и при пешем ученье. Вечерами и в свободное время молодежь играла в карты по маленькой, ездила гурьбой в почтовую гостиницу Спасской Полести, в девяти верстах от нас, где выпивала изрядное количество шампанского, делая долги, конечно, временные, так как Карл Иванович Грау, составив себе состояние, ни на кого из нас во всю жизнь свою не мог пожаловаться. Не быв по летам нашим и по привычкам монахами, мы, правду сказать, вели жизнь старогусарскую, в подражание былым гусарам, но ни разу кутеж наш не омрачился никакой историей или скандалом, а мало-помалу, можно сказать, и прекратился. <...>

Из товарищей полка помню очень хорошо полкового казначея Федора Ивановича Левенталя, аккуратного лифляндца, который не раз выводил всех нас из денежного затруднения и никогда не отказывал мне в помощи; он успел сделать себе небольшое состояньице и ныне служит генералом для поручений при шефе жандармов. Бывало, в кошельке пусто, а насущные потребности в платье, чае, кофе, сахаре, табаке напоминают о себе; идешь к Федору Ивановичу, у которого все это всегда находилось в запасе и отпускалось в кредит, отличное и дешевейшее. <...>

Евгений Петрович Рожнов был тогда полковым адъютантом, и я смело могу сказать теперь, что он был совершенно на своем месте. Чопорный, щеголь, с всегда вкрадчивым обычным своим «душа моя», он, кроме исполнения своей обязанности по ведению дел в полку, заведованию канцелярией и хором трубачей, всегда старался быть посредником между обществом офицеров

и командиром полка, даже таким неукротимым, каким был наш Багратион, и умел согласить и свои обязанности и интересы товарищей. <...>

Кропотов и Ильяшевич, оба из гвардейской юнкерской школы, были славные ребята и оба имели большие состояния, а потому отличных лошадей, как верховых, так и упряжных. <...>

Михаил Иванович Цейдлер, русский немец, как назвал его поэт Лермонтов в экспромте, за стаканом шампанского, написанном, когда мы все провожали М. И. Цейдлера на Кавказ, был также красавец, большой любитель женщин и милейший человек, какого когда-либо можно встретить; он прекрасно лепил из воска и глины, удачно рисовал карикатуры, как на всех нас, так и на себя, и мастерски рассказывал и, конечно, более выдумывал анекдоты, в которых обыкновенно играл самую смешную и непривлекательную роль. По службе он никогда не отличался особенною ретивостью и впоследствии, командуя одновременно со мною эскадроном, только успевал удержаться на своем месте, а во фронте, по рассеянности, часто ошибался и заводил свою часть не туда, куда следовало. В 1857 году, уже полковником, он был некоторое время полицеймейстером в Нижнем Новгороде, а затем состоял по особым поручениям при Потапове, Альбединском и прочих генерал-губернаторах виленских.

Два брата Безобразовы, Владимир и Александр, были душою общества нашего, имея хорошие материальные средства, и были как бы коноводами во всех наших сборищах и собраниях. С Александром я особенно сдружился и долго делил с ним и радости, и горе свое. Шкатулки наши, ласки женщин — все у нас было общее. Владимир очень хорошо играл на гитаре и на фортепьяно, и оба брата премило пели. Зачастую у нас составлялся хор, и мы за картами, за скромным ужином или в гостинице Спасской Полести, или в лавке Малеева, коротали наши дни.

Я был с обоими братьями в артели и у них же в тридцать восьмом или тридцать девятом году в первый раз увидел и познакомился с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, старинным знакомым их по Школе юнкеров и подпрапорщиков, когда он был переведен с Кавказа в наш полк.

Надобно сказать, что Гродненский полк, да и вообще 2-я гвардейская кавалерийская дивизия в прошедшее

царствование императора Николая, вероятно, по месту нашей стоянки, вдали от столицы и всех ее прелестей, считалась как бы местом ссылки или какого-то чистилища, так что Лермонтов — не единственное лицо из гвардейских шалунов-офицеров, прощенных за разные проступки и возвращаемых в гвардию, из перебывавших у нас в полку. Несмотря на то что они садились (в отношении старшинства) на голову многим из нас, все они, будучи предобрыми малыми, немало способствовали к украшению нашего общества. Так, у нас был прикомандирован князь Сергей Трубецкой[5], товарищ по Пажескому корпусу, из Кирасирского орденского полка, в который попал из кавалергардов за какую-то шалость, выкинутую целым полком во время стоянки Кавалергардского полка в Новой деревне. (Говорили тогда, что кавалергарды устроили на Неве какие-то великолепные похороны мнимоумершему графу Борху.) За ним последовал Лермонтов, а вскоре и граф Тизенгаузен, служивший прежде также в кавалергардах и сосланный в армию за историю с Ардалионом Новосильцевым. Сергей Трубецкой, бывший в армии, соблазнил дочь генерала Мусина-Пушкина, фрейлину двора, был обвенчан с нею по приказанию государя Николая Павловича в Зимнем дворце, когда он стоял там во внутреннем карауле, и сделался отцом дочери, которая впоследствии вышла замуж за графа Морни. Трубецкой был красавец, и потому вовсе не мудрено, что в отставке уже и в летах увез г-жу Жадимировскую от живого мужа и был пойман и возвращен уже с персидской или турецкой границы, куда направлялся. Старший брат его Александр был женат на дочери известной танцовщицы Талиони и всю жизнь свою провел в Италии на своей вилле; младший брат их Андрей женился на моей племяннице Софии Николаевне Смирновой и живет поныне за границей. <...>

Лермонтов в то время не имел еще репутации увенчанного лаврами поэта, которую приобрел впоследствии и которая сложилась за ним благодаря достоинству его стиха и тем обстоятельствам, которыми жизнь его была окружена, и мы, не предвидя в нем будущей славы России, смотрели на него совершенно равнодушно.

Придя однажды к обеденному времени к Безобразовым, я застал у них офицера нашего полка, мне незна-

комого, которого Владимир Безобразов назвал мне Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Вскоре мы сели за скромную трапезу нашу, и Лермонтов очень игриво шутил и понравился нам своим обхождением. После обеда по обыкновению сели играть в банк, но вместо тех 50-ти или 100 руб., которые обыкновенно закладывались кем-либо из нас, Лермонтов предложил заложить 1000 и выложил их на стол. Я не играл и куда-то выходил. Возвратившись же, застал обоих братьев Безобразовых в большом проигрыше и сильно негодующих на свое несчастье. Пропустив несколько талий, я удачно подсказал Владимиру Безобразову несколько карт и он с моего прихода стал отыгрываться, как вдруг Лермонтов предложил мне самому попытать счастья; мне показалось, что предложение это было сделано с такою ирониею и досадой, что я в тот же момент решил пожертвовать несколькими десятками и даже сотнями рублей для удовлетворения своего самолюбия перед зазнавшимся пришельцем, бывшим лейб-гусаром... Судьбе угодно было на этот раз поддержать меня, и помню, что на одном короле бубен, не отгибаясь и поставя кушем полуимпериал, я дал способ Безобразовым отыграться, а на свою долю выиграл 800 с чем-то рублей; единственный случай, что я остался в выигрыше во всю мою жизнь, хотя несколько раз в молодости играл противу тысячных банков.

Впоследствии мы жили с Лермонтовым в двух смежных больших комнатах, разделенных общею переднею, и с ним коротко сошлись. В свободное от службы время, а его было много, Лермонтов очень хорошо писал масляными красками по воспоминанию разные кавказские виды, и у меня хранится до сих пор вид его работы на долину Кубани, с цепью снеговых гор на горизонте, при заходящем солнце и двумя конными фигурами черкесов, а также голова горца, которую он сделал в один присест *[6].

Кажется мне, что в это время с подстрочного перевода, сделанного Краснокутским, стансов Мицкевича Лермонтов тогда же облек их в стихотворную форму, а равно дописывал свои «Мцыри» и «Хаджи Абрека»[7]. Я часто заставал его за работой и живо помню его гры-

---

* В 1880 году обе картины подарены мною в школу гвардейских юнкеров (Николаевское Кавалерийское училище) в Лермонтовский музей. (*Примеч. А. И. Арнольди.*)

зущим перо с досады, что мысли и стих не гладко ложатся на бумагу.

Как и все мы, грешные, Лермонтов вел жизнь свою, участвуя во всех наших кутежах и шалостях, и я помню, как он в дыму табачном, при хлопании пробок, на проводах М. И. Цейдлера, отъезжавшего на Кавказ в экспедицию, написал известное:

Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где неверные гяуры
Вновь затеяли войну;
Едет он, томим печалью,
На кровавый пир войны,
Но иной, не бранной, сталью
Мысли юноши полны[8], —

где в словах «не бранной сталью» шутит над бедным Цейдлером, влюбленным по уши в С. Н. Стааль фон Гольштейн, жену нашего полковника.

Лермонтов пробыл у нас недолго, кажется, несколько месяцев, и по просьбе бабки своей Арсеньевой вскоре переведен был в свой прежний лейб-гусарский полк. Мы с ним встречались впоследствии, и мне довелось даже видеться с ним в 1841 году в Пятигорске. <...>

2. ЛЕРМОНТОВ В ПЯТИГОРСКЕ В 1841 г.

Ревматизм, мною схваченный в 1840 году, разыгрался не на шутку, и я должен был подумать о полном излечении, а так как сестре и мачехе понадобилось лечение минеральными водами, то и было решено всем нам целой семьей ехать туда. В начале мая мы пустились в путь. <...>

Мы часто останавливались ночевать у станичников и продовольствовались как провизией, взятой с собой, так и моей охотой. <...> Подъезжая к Ставрополю, мы ехали часто с конвоем донских казаков, человек из трех-четырех состоящих, и я до сих пор не знаю, к чему это было нужно. В Ставрополе останавливались в изрядной гостинице Найтаки, отдохнули, освежились и через Георгиевск прибыли в Пятигорск в конце мая. <...>

Встреченные еще в слободке досужими десятскими, мы скоро нашли себе удобную квартиру в доме коменданта Умана, у подошвы Машука, и посвятили целый вечер хлопотам по размещению[9]. Я сбегал на бульвар,

на котором играла музыка какого-то пехотного полка, и встретил там много знакомых гвардейцев, приехавших для лечения из России и из экспедиции, как-то: Трубецкого, Тирана, ротмистра гусарского полка, Фитингофа, полковника по кавалерии, Глебова, поручика конной гвардии, Александра Васильчикова, Заливкина, Монго-Столыпина, Дмитревского, тифлисского поэта, Льва Пушкина и, наконец, Лермонтова, который при возникающей уже своей славе рисовался — и сначала сделал вид, будто меня не узнает, но потом сам первый бросился ко мне на грудь и нежно меня обнял и облобызал.

На дворе дома, нами занимаемого, во флигеле, поселился Тиран, по фасу к Машуку подле нас жил Лермонтов с Столыпиным, а за ними Глебов с Мартыновым. С галереи нашей открывался великолепный вид: весь Пятигорск лежал как бы у ног наших, и взором можно было окинуть огромное пространство, по которому десятками рукавов бежал Подкумок. По улице, которая спускалась от нашего дома перпендикулярно к бульвару, напротив нас, поместилось семейство Орловой, жены казачьего генерала, с ее сестрами Идой и Поликсеной и m-me Рихтер (все товарки сестры моей по Екатерининскому институту), а ниже нас виднелась крыша дома Верзилиных, глава которого, также казачий генерал, состоял на службе в Варшаве, а семейство его, как старожилы Пятигорска, имело свою оседлость в этом захолустье, которое оживлялось только летом при наплыве страждущего человечества.

Семья Верзилиных состояла из матери, пожилой женщины, и трех дочерей: Эмилии Александровны, известной романическою историею своею с Владимиром Барятинским, — «le mougik» *, как ее называли, белорозовой куклы Надежды, и третьей, совершенно незаметной. Все они были от разных браков, так как m-me Верзилина была два раза замужем, а сам Верзилин был два раза женат. Я не был знаком с этим домом, но говорю про него так подробно потому, что в нем разыгралась та драма, которая лишила Россию Лермонтова.

В то время Пятигорские минеральные воды усердно посещались русскими, так как билет на выезд за границу оплачивался 500 рублями, а в 1841 году сезон был одним из самых блестящих, и, сколько мне помнится,

---

* мужик (*фр.*).

говорили, съехалось до 1500 семейств. Доктора Рожер, Норман, Конради и многие другие успешно занимались практикою, и я видел в Пятигорске многих людей, по-видимому, неизлечимых, которые в конце курса покидали целительные воды совершенно здоровыми. <...>

Раз или два в неделю мы собирались в залу ресторации Найтаки и плясали до упаду часов до двенадцати ночи, что, однако, было исключением из обычной водяной жизни, потому что обыкновенно с наступлением свежих сумерек весь Пятигорск замирал и запирался по домам.

Помню приезжавших на время из экспедиций гвардейских офицеров: Александра Адлерберга I, кирасира Мацнева, которому я проиграл 500 рублей на 12 000 им заложенных и которые заманчиво разбросаны были в разных видах по столу в одной из комнат гостиницы, носившей название chambre infernale *.

Тогда же я отыскал и, можно сказать, познакомился с дядею своим Николаем Ивановичем Лорером, который за 14 декабря 1825 года был сослан в Сибирь, провел на каторге восемь лет, на поселении в Кургане десять лет, а в описываемое время служил рядовым в Тенгинском пехотном полку и в этот год был произведен в офицеры. Дядя жил в слободке с Михаилом Александровичем Назимовым и Александром Ивановичем Вегелиным, товарищами своими по ссылке, и у него я часто встречался с двумя братьями Беляевыми, также членами «тайного общества». Не знаю за что, только они все очень меня полюбили, обласкали, и я весело с ними проводил все свое время.

Начальник штаба Кавказской линии А. Траскин, Сергей Дмитриевич Безобразов, командир Нижегородского драгунского полка, и толстый Голицын (вечный полковник) оживляли от времени до времени пятигорское общество. <...>

Я часто забегал к соседу моему Лермонтову. Однажды, войдя неожиданно к нему в комнату, я застал его лежащим на постеле и что-то рассматривающим в сообществе С. Трубецкого и что они хотели, видимо, от меня скрыть. Позднее, заметив, что я пришел не вовремя, я хотел было уйти, но так как Лермонтов тогда же сказал: «Ну, этот ничего», — то и остался. Шалуны

* роковой комнаты (*фр.*).

товарищи показали мне тогда целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертали и раскрасили [10]. Это была целая история в лицах вроде французских карикатур: Cryptogram M-r la Launisse и проч., где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов был изображен в самом смешном виде, то въезжающим в Пятигорск, то рассыпающимся пред какою-нибудь красавицей и проч. Эта-то шутка, приправленная часто в обществе злым сарказмом неугомонного Лермонтова, и была, как мне кажется, ядром той размолвки, которая кончилась так печально для Лермонтова, помимо тех темных причин, о которых намекают многие, знавшие отношения этих лиц до катастрофы... [11]

В первых числах июля я получил, кажется от С. Трубецкого, приглашение участвовать в подписке на бал, который пятигорская молодежь желала дать городу; не рассчитывая на то, чтобы этот бал мог стоить очень дорого, я с радостью согласился. В квартире Лермонтова делались все необходимые к тому приготовления, и мы намеревались осветить грот, в котором хотели танцевать, для чего наклеили до двух тысяч разных цветных фонарей. Лермонтов придумал громадную люстру из трехъярусно помещенных обручей, обвитых цветами и ползучими растениями, и мы исполнили эту работу на славу. Армянские лавки доставили нам персидские ковры и разноцветные шали для украшения свода грота, за прокат которых мы заплатили, кажется, 1500 рублей; казенный сад — цветы и виноградные лозы, которые я с Глебовым нещадно рубили; расположенный в Пятигорске полк снабдил нас красным сукном, а содержатель гостиницы Найтаки позаботился о десерте, ужине и вине [12].

Восьмого или десятого июля бал состоялся, хотя не без недоразумений с некоторыми подписчиками, благодаря тому что дозволялось привести на бал не всех, кого кто желает, а требовалось, чтобы участвующие на балу были более или менее из общих знакомых и нашего круга. Сколько мне помнится, разлад пошел из-за того, что князю Голицыну не дозволили пригласить на бал двух сестер какого-то приезжего военного доктора сомнительной репутации. Голицын в негодовании оставил наш круг и не участвовал в общей затее [13]. Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что Голицын ровно через неделю после нашего бала давал такой же на свои средства в казенном саду, где для этого

случая была выстроена им даже галерея. В этот-то день, то есть 15 июля, и случилась дуэль Лермонтова [14], и бал Голицына не удался, так как его не посетили как все близкие товарищи покойного поэта, так и представительницы лучшего дамского общества, его знакомые... [15]

Наш бал сошел великолепно, все веселились от чистого сердца, и Лермонтов много ухаживал за Идой Мусиной-Пушкиной.

Мачеха моя с сестрой незадолго до этого времени переехали в Железноводск, верстах в семнадцати отстоящий от Пятигорска, и я навещал их изредка на неделе.

Пятнадцатого июля погода была восхитительная, и я верхом часу в восьмом утра отправился туда. Надобно сказать, что дня за три до этого Лермонтов подъезжал верхом на сером коне в черкесском костюме к единственному открытому окну нашей квартиры, у которого я рисовал, и простился со мною, переезжая в Железноводск. Впоследствии я узнал, что ссора его с Мартыновым тогда уже произошла и вызов со стороны Мартынова состоялся... [16]

Проехав колонию Шотландку, я видел пред одним домом торопливые приготовления к какому-то пикнику его обитателей [17], но не обратил на это особого внимания, я торопился в Железноводск, так как огромная черная туча, грозно застилая горизонт, нагоняла меня как бы стеной от Пятигорска и крупные капли дождя падали на ярко освещенную солнцем местность.

На полпути в Железноводск я встретил Столыпина и Глебова на беговых дрожках; Глебов правил, а Столыпин с ягдташем и ружьем через плечо имел пред собою что-то покрытое платком. На вопрос мой, куда они едут, они отвечали мне, что на охоту, а я еще посоветовал им убить орла, которого неподалеку оттуда заметил на копне сена. Не подозревая того, что они едут на роковое свидание Лермонтова с Мартыновым, я приударил коня и пустился от них вскачь, так как дождь усилился. Несколько далее я встретил извозчичьи дрожки с Дмитревским и Лермонтовым [18] и на скаку поймал прощальный взгляд его... последний в жизни.

Проведя день у мачехи моей, под вечер я стал собираться в Пятигорск и, несмотря на то что меня удерживали под предлогом ненастья, все-таки поехал, так как не хотел пропустить очередной ванны.

Смеркалось, когда я проехал Шотландку, и в темноте уже светились мне приветливые огоньки Пяти-

горска, как вдруг слева, на склоне Машука, я услыхал выстрел; полагая, что это шалят мирные горцы, так как не раз слышал об этом рассказы, я приударил коня нагайкой и вскоре благополучно добрался до дома, где застал Шведе, упражнявшегося на фортепьяно. Раздевая меня, крепостной человек мой Михаил Судаков доложил мне, что по соседству у нас несчастие и что Лермонтова привезли на дрожках раненого...

Недоумевая, я поспешил к соседу, но, застав ставни и двери его квартиры на запоре, вернулся к себе. Только утром я узнал, что Михаил Юрьевич привезен был уже мертвым, что он стрелялся с Мартыновым на десяти шагах и, подобно описанному им фаталисту, кажется, далек был от мысли быть убитым, так как, не подымая пистолета, медленно стал приближаться к барьеру, тогда как Мартынов пришел уже к роковой точке и целил в него; когда Лермонтов ступил на крайнюю точку, Мартынов спустил курок, и тот пал, успев вздохнуть раз, другой и, как рассказывали, презрительно взглянул на Мартынова.

Я полагаю, что, кроме двух секундантов, Глебова и Александра Васильчикова, вся молодежь, с которою Лермонтов водился, присутствовала скрытно на дуэли, полагая, что она кончится шуткой и что Мартынов, не пользовавшийся репутацией храброго, струсит и противники помирятся [19].

Заключение это можно вывести из того, что будто бы А. Столыпин, как я тогда же слышал, сказал Мартынову: «Allez vous en, votre affaire est faite» *, — когда тот после выстрела кинулся к распростертому Лермонтову, а также и потому, что только шуточная дуэль могла заставить всю эту молодежь не подумать о медике и экипаже на всякий случай, хотя бы для обстановки, что сделал Глебов уже после дуэли, поскакав в город за тем и другим, причем при теле покойного оставались Трубецкой и Столыпин. Не присутствие ли этого общества, собравшегося посмеяться над Мартыновым, о чем он мог узнать стороной, заставило его мужаться и крепиться и навести дуло пистолета на Лермонтова?

Рассказывали в Пятигорске, что заранее было условлено, чтобы только один из секундантов пал жертвою правительственного закона, что поэтому секунданты между собою кидали жребий и тот выпал на долю Гле-

* Уходите, вы сделали свое дело (*фр.*).

бова, который в тот же вечер доложил о дуэли коменданту и был посажен им на гауптвахту. Так как Глебов жил с Мартыновым на одной квартире, правильная по законам чести дуэль могла казаться простым убийством, и вот для обеления Глебова А. Васильчиков на другой день сообщил коменданту, что он был также секундантом Лермонтова, за что посажен был в острог, где за свое участие и содержался [20].

Ранним утром на другой день я видел Лермонтова в его квартире на столе, в белой рубахе, украшенного цветами. Комната была пуста, и в углу валялась его канаусовая малиновая рубаха с кровяными пятнами на левой стороне под сердцем.

Шведе по заказу Столыпина написал портрет с покойного и сделал мне такой же. Я нахожу его лучшим портретом Лермонтова, даже лучше того, которым сестра моя владеет и поныне (в молодых еще летах в гусарском ментике) и который он сам подарил моей мачехе [21]. На портрете Шведе поэт наш коротко обстрижен, глаза полузакрыты и на устах играет еще злая насмешка. Тимм, издатель «Художественного листка», поместил этот портрет на одном из своих прелестных листков художественного альбома и окружил его различными воспоминаниями о поэте, которые я дал ему из моего альбома. Там изображен дом Реброва в Кисловодске, который мы занимали вскоре после катастрофы, где происходит действие повести Лермонтова «Княжна Мери» (предполагают в героине сестру Мартынова), балкон дома в Пятигорске, где мы частенько сиживали с покойным. Кавказский вид снеговых гор при закате солнца масляными красками работы Лермонтова, который мне дал Столыпин уже после смерти своего друга, а также временная могила Лермонтова с видом на Машук, которую я срисовал несколько дней спустя... Я храню и доселе черкесский пояс с серебряной «жерничкой» покойного, который также получил на память о нем. Все эти вещи подарены мною генерал-майору А. А. Бильдерлингу в Лермонтовский музей, который им устроен в школе юнкеров как месте воспитания поэта.

Убитого на дуэли, по правилам нашим, священник не хотел отпевать, но деньги сделали свое дело, и на другой день после дуэли в сопровождении целого Пятигорска, священника и музыки мы отнесли Михаила Юрьевича на руках в последнее его жилище.

По странному стечению обстоятельств, на похоронах поэта случились представители всех тех полков, в которых служил покойный, так как там были С. Д. Безобразов, командир Нижегородского драгунского полка, Тиран — лейб-гусарского, я — Гродненского гусарского и дядя мой Н. И. Лорер — Тенгинского пехотного полков.

Дамы забросали могилу цветами, и многие из них плакали, а я и теперь еще помню выражение лица и светлую слезу Иды Пушкиной, когда она маленькой своей ручонкой кидала последнюю горсточку земли на прах любимого ею человека.

Сам не понимаю, как не попал я в эту историю, быв так близок со всеми этими лицами и вращаясь постоянно в их кругу, и объясняю это разве только тем, что не был знаком с домом Верзилиных и ничего не знал о ссоре Мартынова с Лермонтовым. Глебов и Васильчиков долго содержались под арестом, потом прогуливались на водах в сопровождении часового, а впоследствии Глебов был обходим чинами, служа адъютантом князя Воронцова, а Васильчиков не получил награды, к которой был представлен сенатором Ганом, с которым тогда находился на ревизии на Кавказе. Полагаю, что такая милостивая расправа с секундантами была следствием как ходатайства высокопоставленных лиц, так и некоторого нерасположения самого государя к Лермонтову, хотя я и далек от веры в те слова, которые будто бы вырвались у императора при известии о его кончине: «Собаке — собачья смерть» [22].

О происшествии этом много писали, но проверить его окончательно и вполне достоверно весьма трудно, так как многие свидетели и участники его покончили свое земное существование, а скоро не останется уже никого в живых. Трубецкой, Монго-Столыпин, Глебов, Дмитревский мирно покоятся, кто во Флоренции (Столыпин), а кто у нас на Руси. Мартынов молчит, а Васильчиков рассказывает в «Русском архиве» 1872 года о происшествии так, как оно сложилось людскою молвою.

С. Н. КАРАМЗИНА

ИЗ ПИСЕМ К Е. Н. МЕЩЕРСКОЙ

Царское Село, среда утром, 7 сентября <1838 г.>

...Чтобы спуститься с облаков на землю и вернуть тебя в колею нашей веселой, многолюдной жизни в Царском Селе, я устремляюсь прямо в *Китай* [1], в середину *Ротонды* [2], и приглашаю тебя войти туда вместе со мной в пятницу в 9 часов вечера, чтобы присутствовать при появлении там Лиз [3] и послушать лестный шепот одобрения, которым ее встретили: очень она была хороша... <...>

Вот что, мне кажется, более всего заинтересовало бы тебя в Ротонде. Впрочем, она довольно плохо была освещена; великий князь [4], который был туда приглашен (и провел там час, шушукаясь и смеясь, как обычно, с моей тетушкой Вяземской) [5], сказал, что здесь можно играть в жмурки, не завязывая глаз. В Ротонде собрались все Царское Село и весь Павловск, так что общество нельзя было назвать избранным, но там оказался достаточно обширный круг знакомых, чтобы не скучать и не затеряться среди неизвестных, как в Павловске. <...>

Я забыла рассказать тебе о Надин Вяземской... [6] <...> Она и Лиз веселились вовсю. Нашими *семейными* танцорами были Александр Голицын, Абамелек, Герздорф, Столыпин, Никита Трубецкой, Озеров, Левицкий, Золотницкий; кроме того, я вальсировала с Лермонтовым (с которым мы познакомились; маменька пригласила его к нам, он очень мил, совершенный *двойник* Хомякова [7] и лицом и разговором) и с кн. Александром Трубецким — в память прошлого, а мазурку я танцевала с Коленькой Бутурлиным [8], рассказавшим мне кучу разных историй и сплетен обо всех,

и в том числе о нашей бедной м-м Багреевой:[9] он настоятельно мне советовал не *сближаться* с ней из соображений *нравственности.* Бедная женщина! <...>

<В субботу>) вечером у нас были Пашковы[10], мы с ними готовимся к *карусели*[11], на которой Пашков предложил мне быть его дамой, *в первой паре:* значит, мое несчастное падение с лошади не поколебало его веры в мой талант.

В воскресенье я провела день, *валяясь* на диванах и искушая тетушку последовать моему примеру. Вечером приехала м-м Клюпфель и позабавила нас своим враньем: будто в «карусели» она поедет первой, в паре с *Пашковым.* «Как же так, — говорит ей маменька, — ведь вчера он пригласил Софи!» Я, увидев ее смущение, поспешила сказать: «Должно быть, он забыл!» — и тут она *снова* попадает впросак: «Если у меня есть соперница, я его уступаю, — и потом он хотел <нрзб.>, чтобы я ехала не с ним, на меня притязает командир гвардии Кнорринг». Вообрази <нрзб.>, просил *Лиз* быть его дамой: всеобщий хохот! Бедная женщина пришла в полное замешательство и не нашла ничего лучшего как удалиться... <...>

Поэтому на следующий день, на именинах Лиз, бедная лгунишка уже не посмела показаться на глаза свидетелям, столь ею смущенным. У нас была куча гостей, все Царское и Павловск: Хрущевы, оба графа Шуваловы, которых м-м Багреева представила маменьке, Лермонтов, Столыпин, Абамелек, Левицкий и Золотницкий. Танцевали, но под любительскую музыку: танцы не удались! Зато было много пирожных, тартинок и мороженое!

Вчера утром у нас была первая репетиция *карусели,* и Тери[12] вызвала всеобщее восхищение...

Царское Село, вторник, 27 сентября <1838 г.>

Наконец-то, моя любимая Катрин, все *успешно* завершилось, и я обращаю к тебе свои мысли, свободные от забот, и свое сердце, полное любви к твоему нежному образу.

В четверг, в благословенный день твоего рождения, у нас была последняя репетиция «карусели»; она прошла на редкость хорошо (с моей лошадью во главе). <...> Но вообрази, что мы узнали в это утро: наш главный *актер* в обеих пьесах, г. Лермонтов, посажен под арест на пятнадцать суток его высочеством великим

князем из-за слишком короткой сабли [13], с которой он явился на парад. При этом известии нас всех охватила великая растерянность, но дело кончилось тем, что Вольдемар [14] великодушно взял на себя роль *Бурдениля* в «Двух семействах», а Левицкий — с отвращением и чуть ли не *с ужасом* — роль *Джоната* в «Карантине» [15], уверяя нас, что он провалит пьесу из-за своей отвратительной игры и робости. И в самом деле, после обеда (обедали все участники *труппы,* и мы выпили за твое драгоценное здоровье) мы провели репетицию, *приведшую всех в уныние.* Но, уповая на талант Андре [16], на мой собственный (скромно говоря), на красивое личико Лизы и на неотразимую забавность крошки Абамелека, мы все-таки решили дать спектакль. М-ль Полин Бартенева [17] аккомпанировала куплетам водевиля более с охотой, чем с талантом, но зато Андре в очаровательной манере спел *тринадцать* куплетов, и это искупило все.

<...> В пятницу утром нам пришли доложить, что у нас в кухне вот-вот может вспыхнуть пожар, и нам пришлось обедать в гостях, у милых Баратынских, к которым из города приехал князь Козловский, чтобы присутствовать на нашей «карусели». <...> В восемь часов мы <с Лизой> отправились в манеж. Сердце мое сильно билось: я очень боялась за свою лошадь *при ярком освещении,* хотя и позаботилась об этом, объезжая ее целых два часа утром, чтобы умерить ее горячность.

Там было, я думаю, около *двухсот* зрителей, которым отвели места за барьером. Манеж был очень красиво освещен, гремела музыка, гусары были в своих красных мундирах; все имело радостный и праздничный вид. Я вскочила на лошадь, вверив себя богу, и он меня не оставил. Тери достойно провела «карусель», и Пашков был очень доволен тем, как я ему помогала. Сам он верхом выглядит *очаровательно,* и лошадь у него была прекрасная, и у всех гусаров тоже! Мы удивительно точно выполнили ужасно трудные фигуры — такие, как «восьмерка», «мельница», «цепь». Временами, когда мы все галопировали, огни мерцали, будто вот-вот погаснут, и в этом полумраке мы казались какими-то т е н я м и, — и вдруг свечи вспыхивали вновь, и вся эта движущаяся картина ярко освещалась. Все говорят, что было очень красиво. (Поскольку бедного Лермонтова не было, кавалером у Лиз был другой гусар, некий г. Реми [18].)

Когда все трудные фигуры были закончены и нам оставалось исполнить только экосез и котильон, устроили общий *перерыв.* Дамы остались на лошадях, кавалеры же спешились и поднесли своим дамам чай и пирожные, зрителей тоже ими обносили. Затем к *одиннадцати* часам вечера мы закончили «карусель», после чего еще до *двух часов* ночи у нас дома была репетиция «Карантина». <...>

Все воскресное утро (признаться, мы пропустили даже обедню) ушло на репетиции. Обедали мы у Пашковых... В семь часов вечера мы были дома, гостиная наверху уже была полна гостей, которых маменька принимала *одна* с очаровательной обходительностью. Были Пашковы, Баратынские, Шевичи [19], фрейлины Бартеневы [20], Бороздин [21] и Трюке, Лили Захаржевская, приехавшая из города, чтобы посмотреть наш спектакль, *все* Балабины [22], г. Ланской, Клюпфели [23], Толстые [24], Мердеры, *м-м Варези,* Хрущевы, Реми, Тиран, Огаревы [25], Зыбин [26], Золотницкий, Шувалов, *наш* Захаржевский [27] и м-м Багреева, — вот, кажется, и все; в общем, человек сорок.

Наконец нам сообщают, что все собрались. Занавес поднимается, сердце мое бьется от страха за успех спектакля. Первые сцены между Андре и Александриной Трубецкой [28] проходят чудесно; последняя в белой муслиновой тунике с локонами по-английски вызывала восхищение своим изяществом и искренностью, непринужденностью и тонкой очаровательной игрой. Затем на сцене в платье из светло-голубого и кораллового шелка появляюсь я в очень милой и очень забавной роли *ревнивой жены.* Все смеялись, и, к несчастью, я тоже дважды засмеялась, потому что публика падала от смеха, — а ведь *искренний* смех (он был и в самом деле искренним) так заразителен! Вольдемар играл моего мужа, Дюпона, с огромными *бакенбардами,* изрядно его старившими; свою роль он сыграл очень весело и очень смешно. Лиз играла молоденькую *вдовушку* — ту самую, что сеет раздор в обоих семействах. Она была очень хороша в платье из органди, вышитом букетами, с белой розой и кружевной наколкой на голове (этот очень изящный головной убор ей дала м-м Пашкова); она играла тонко и уверенно. Надин в белом закрытом платье, в темном переднике и в маленьком чепчике с розами играла *торговку* подержанными вещами. Андре играл восхитительно и как всегда был обворожителен!

Уходя со сцены, я из-за кулис, украдкой рассматривала зрителей; „физиономии у всех были внимательные, оживленные и смеющиеся, а когда закончились все *три* акта, зрители, все еще продолжая смеяться, восклицали: *«Уже?!»* Затем все снова поднялись в большую гостиную выпить чаю. Его сервировала на длинном столе Фиона[29], которую мы *весьма изящно* нарядили ради такого случая. *За это время* мы переоделись, так что никто не томился *в ожидании.*

В «Карантине» Левицкий приятно нас поразил: он был очарователен. Подстегиваемый лихорадочным страхом, он играл, словно *в бреду,* и дурачился à la Поль Мине[30], которого напоминал дородностью, париком с зачесанными на лоб прядями (этот парик придавал ему чрезвычайно глупый вид) и, наконец, своим костюмом *жениха* с криво приколотым букетом. Все хохотали над ним и над маленьким Абамелеком, восхитительным в роли *доктора,* распевавшим во все горло с истинно комической непринужденностью. Андре в роли Габриеля был весел, трогателен, остроумен, влюблен, а пел так, что, право, не будь я его сестрой, я бы просто влюбилась.

Что до меня, я была в костюме *невесты:* белое платье, кружевная фата с белой розой поверх локонов, падающих на плечи. Во время длинной сцены между мной и Андре зрители то и дело повторяли: «Хорошо, очень хорошо, очаровательно, — и, мне кажется, они были *искренни.* Виктор Балабин сказал мне, что он желал бы, чтобы этот «Карантин» длился сорок дней. Я доверяю больше лицам, нежели словам, и уверяю тебя, у всех они были весьма оживленными.

После спектакля все снова поднялись в гостиную, где ели мороженое, станцевали два экосеза, и к двум часам ночи все разъехались...

Петербург, четверг, 13 октября <1838 г.>, полночь

...Во вторник утром за нами заехала м-м Пашкова, повезла нас к себе завтракать, а затем проводила до железной дороги. Мы совершили очень приятное путешествие с Абамелеком и бедным Лермонтовым, освобожденным наконец-то из-под *21-дневного* ареста, которым его заставили искупить свою *маленькую* саблю: вот что значит слишком рано стать знаменитым!..[31]

Петербург, пятница, 21 октября <1838 г.>

...Мы продолжаем вести наш обычный скромный образ жизни: по утрам — визиты (я больше не спорю из-за них с маменькой, лишь бы вечера оставались свободными); вечерами в наших красивых комнатах у горящего камина я чувствую себя совсем счастливой, особенно когда приходит охота читать или работать... <...> По-прежнему к десяти часам приезжают гости, но их немного. Впрочем, в это воскресенье было человек десять: Шевичи, Озеровы, Путята, Одоевская [32], Левицкий, Лермонтов, Серж Баратынский и Веневитинов...

Петербург, пятница, 4 ноября <1838 г.>

...Итак, постараюсь пока вспомнить, что мы делали на этой неделе. В субботу мы получили большое удовольствие — слушали Лермонтова (он у нас обедал), который читал свою поэму «Демон» [33]. Ты скажешь, что название избитое, но сюжет, однако, *новый,* он полон свежести и прекрасной поэзии. Поистине блестящая звезда восходит на нашем ныне столь бледном и тусклом литературном небосклоне. <...>

Вчера, в четверг, провела у нас вечер Сашенька Смирнова [34] вместе с Лермонтовым и нашим милым Абамелеком. Какая она веселая и как похорошела!..

Царское Село, понедельник утром, 26 июня <1839 г.>

...В субботу утром вся колония прекрасных дам Царского совершила поездку в Петергоф, а мои братья приехали из лагеря, чтобы провести эти два дня с нами... В десять часов вечера мы сидели за чайным столом с Валуевыми [35], м-м Клюпфель, Лермонтовым и Репниным [36], как вдруг, *ужасно некстати,* появляется верный *Амос,* прибывший курьером из лагеря с приказом братьям явиться в Петергоф на завтрашний бал «в чулках и башмаках». <...>

Вчера, в понедельник (ибо я пишу тебе уже *во вторник*), был дивный день. М-м Смирнова вернулась из Петергофа (менее осчастливленная, чем давеча, потому что на сей раз ей пришлось ожидать *в толпе,* затерявшись среди множества слишком интересных «особ», но не менее пикантная в своих многочисленных вуалях); она видела дорогого Жуковского [37], который чувствует себя великолепно и первыми словами которого были: «Ну, что Карамзины? Катерина Андреевна все спорит?»

Ты же помнишь — это была его излюбленная тема. Маменька нашла, что подобные воспоминания, после восемнадцатимесячного отсутствия, *не слишком любезны.* Что до меня, то мне это даже нравится, потому что эти слова характеризуют Жуковского и его *логику.* <...>

За чаем у нас были Смирновы [38], Валуевы, гр. Шувалов, Репнин и Лермонтов. С последним у меня в конце вечера случилась *неприятность;* я должна рассказать тебе об этом, чтобы облегчить свою совесть. Я давно уже дала ему свой *альбом,* чтобы он в него написал. Вчера он мне объявляет, *«что когда все разойдутся, я что-то прочту и скажу ему доброе слово».* Я догадываюсь, что речь идет о моем альбоме, — и в самом деле, когда все разъехались, он мне его вручает с просьбой прочесть вслух и, *если стихи мне не понравятся, порвать их, и он тогда напишет мне другие.* Он не мог бы угадать вернее! Эти стихи, слабые и попросту скверные, написанные на *последней* странице, были ужасающе банальны: «он-де не осмеливается писать там, где оставили свои имена столько знаменитых людей, с большинством из которых он незнаком; что среди них он чувствует себя, как неловкий дебютант, который входит в гостиную, где оказывается не в курсе идей и разговоров, но он улыбается шуткам, делая вид, что понимает их, и, наконец, смущенный и сбитый с толку, с грустью забивается *в укромный уголок»,* — и это все. «Ну, как?» — «В самом деле, это мне не нравится: *очень заурядно* и стихи посредственные». — «Порвите их». Я не заставила просить себя дважды, вырвала листок и, разорвав его на мелкие кусочки, бросила на пол. Он их подобрал и сжег над свечой, очень сильно покраснев при этом и улыбаясь, признаться, весьма принужденно. Маменька сказала мне, что я сошла с ума, что это глупый и дерзкий поступок, словом, она действовала столь успешно, что довела меня до слез и в то же время заставила раскаяться, хотя я и утверждала (и это чистая *правда*), что не могла бы дать более веского доказательства моей дружбы и *уважения* к поэту и человеку. Он тоже сказал, что благодарен мне, что я верно сужу о нем, раз считаю, что он выше ребяческого тщеславия. Он попросил обратно у меня альбом, чтобы написать что-нибудь другое, так как теперь *задета его честь.* Наконец он ушел довольно смущенный, оставив меня очень расстроенной. Мне не терпится снова его увидеть,

чтобы рассеять это неприятное впечатление, и я надеюсь сегодня вечером вместе с ним и Вольдемаром совершить прогулку верхом...

Царское Село, среда утром, 5 июля <1839 г.>

...В пятницу мы совершили большую прогулку верхом, а вечером у нас снова собрались все наши завсегдатаи, в том числе и Лермонтов, который, кажется, совсем не сердится на меня за мою неслыханную дерзость по отношению к нему как *к поэту*. <...>

Царское Село, понедельник утром, 24 июля <1839 г.>

...<В четверг> мы ездили с Беннигсеном[39] и братьями в Павловск, где было большое празднество; московские купцы давали обед в честь петербургских; обед обошелся в *15* тысяч рублей; можешь представить себе весь этот шум, голоса и лица, разгоряченные вином, дым сигар и запах шампанского, толпу, запрудившую аллеи, всех этих разряженных прекрасных дам купеческого звания, песельников Жукова[40], оглашавших воздух своими немного дикими песнями, и среди всего этого нас, царскосельчан, державшихся маленькой кучкой, которые то бродили, то сидели, слушая музыку, смеялись, болтали, зевали по сторонам <нрзб.> на пеструю незнакомую толпу — и так до *одиннадцати* часов вечера, после чего мы вернулись домой и пили чай с Валуевыми, Репниным и Лермонтовым; лишь в *третьем часу* эти господа нас покинули, а братья отправились обратно в лагерь. <...>

В субботу у нас за обедом собралось много гостей. <...> Были Валуевы, Вяземский, Лермонтов и Вигель. Из-за последнего все и собрались; он должен был читать нам свои мемуары (братья тоже приехали из лагеря). С половины седьмого до *десяти* мы были так захвачены чтением Вигеля, что не заметили, как пролетело время. Даже Вяземский, который отнюдь не относится к числу его друзей, был очарован. Это остроумно, смешно, интересно, порою глубоко и написано в стиле, исполненном изящества, легкости и силы, сообразно сюжету, который он трактует; различные *портреты* набросаны рукой мастера, и там есть персонажи настолько забавные, настолько живые, что кажется, будто ты жил вместе с ними, и если бы однажды увидел их, то пошел бы им навстречу, улыбаясь, как старым

знакомым. Итак, в *десять* часов «заседание» было закрыто, и мы отправились в Павловск к м-м Шевич, у которой были именины. <...>

В воскресенье двенадцатичасовым поездом я со своей горничной поехала в Петербург навестить бедную графиню Беннигсен. <...> В *пять* часов я была уже дома; там я застала Валуевых, Вяземского и *г. Поля Муханова.* <...>

Вечером мы все отправились в Павловский воксал. Странно было снова ехать в коляске, сидя напротив Муханова — the same, but how different *. Я все время с трудом подавляла сильное желание засмеяться. Он потом еще пил у нас чай вместе с Валуевыми, Вяземским, Лермонтовым, Репниным и Виктором Балабиным и уехал ночным двенадцатичасовым поездом, пообещав приехать на этой неделе, которую он еще пробудет в Петербурге, где рассчитывает этой зимой поступить на службу...

Царское Село, вторник утром, 1 августа
<1839 г.>

...Господин Вигель давеча сказал мне: «Не иначе как вы владеете неким *притягательным талисманом;* из всех знакомых мне женщин вас любят больше всех — а между тем вы многих обижали, одних по необдуманности, других по небрежности. Я не нахожу даже, чтобы вы когда-либо особенно старались быть любезной. И что же? Вам все это прощают; у вас такой взгляд и такая улыбка, перед которыми отступают антипатия и недоброжелательство, в вас есть что-то милое и привлекающее всех». Не правда ли, очень любезно и очень лестно, если это в самом деле так? Хотя, бог знает, почему, я говорю *«очень лестно»!* Быть любимой всеми означает *в сущности* не быть *по-настоящему* любимой никем! Но я никогда не смотрю *в сущность* вещей. Лишь бы меня устраивала видимость. И еще есть *книги,* эти добрые и дорогие спутники, которые <нрзб.> любить бескорыстно (это тот *прекрасный идеал,* к которому я стремлюсь в своей системе взглядов на человечество, но которого я еще не д о с т и г л а), — а прогулки, а моя лошадь! Как глупы люди, которые находят время скучать в жизни! Извини мне, дорогая Катрин, это длинное, философическое и капельку эгоистическое рассуждение! Вернемся к повествованию. <...>

---

* то же самое, но какое различие (*англ.*).

В пятницу у нас были Катрин Спафарьева [41] со своей племянницей, красавицей м-ль Траверсе, и Мишель Рябинин, более толстый и веселый, чем когда-либо. Их мы тоже заставили совершить неплохую прогулку, только не утром, а вечером, который был поистине жарким, потому что за *полчаса,* минута в минуту, мы *пробежали* (в полном смысле слова) через парк и сад от арсенала до железной дороги, по которой дамы должны были отправиться в Павловск, куда мы их и проводили. В воксале мы съели много мороженого и выпили множество стаканов холодной воды, чтобы умерить наш внутренний жар, и в *десять* часов опять по железной дороге вернулись домой с Вольдемаром, Рябининым, Тираном и Золотницким. У нас мы застали Полуектовых, Баратынских, Вяземского и Валуевых; он (я разумею: Валуев) и Поль приезжали попрощаться с нами, на следующий день они отплывали пароходом в Гамбург и Нордерней, где Поль останется вместе с моей тетушкой на морских купаньях. Я забыла упомянуть Лермонтова, который назавтра ездил провожать этих господ на пароходе и потом нам рассказывал, что во время переезда несчастного Поля успело *вырвать* уже четыре раза. Мари проявляет героическое мужество: она не плакала до самого их отъезда. С ней оставили обеих девиц Полуектовых, чтобы те утешали ее и скрашивали ее одиночество. В субботу я каталась верхом с ней, Вольдемаром, Репниным, Виктором Балабиным и Икскюлем [42]. <...>

Вечером у нас были Аннет Оленина [43] со своим батюшкой [44], Мари, Балабин, Репнин и Лермонтов; все они являли собой общество очень веселое, очень говорливое и очень занимательное. <...>

Во вторник я обедала в Павловске у кн. Щербатовой-Штерич. Ты меня спросишь: по какому случаю? Понятия не имею. Но я никак не могла отказаться, потому что она *настоятельно* просила меня об этом и сама за мной приехала. Там были ее престарелая бабушка с седыми волосами и румяными щеками, Антуанетт Блудова [45], Аннет Оленина и Лермонтов (можешь себе вообразить смех, любезности, шушуканье и всякое кокетничание — живые цветы, которыми украшали волосы друг у друга, словом, the whole array * обольщения, что мешает этим дамам быть приятными, какими

* все средства (*англ.*).

они могли бы быть, веди они себя проще и естественнее, ведь они более умны и образованны, чем большинство петербургских дам). Они были очень увлечены разговорами о вечере, который давала в тот же день Аннет Оленина и который назывался *«вечером шалуний»;* каждая из них должна была изображать на нем один из московских *колоколов;* что же до мужчин, то туда допускались только *мужья* (*а они не мужчины,* говорили дамы), вроде г. Ковалькова, г. Донаурова[46] и т. п.

Я услышала, как кн. Щербатова спросила у Аннет: «Вы не приглашаете м-ль Софи?» — и та ей ответила: «Нет, Софи было бы скучно, она любит побеседовать, а мы будем только смеяться и дурачиться друг с другом; будем беситься». При этом *ужасном* слове я, разумеется, сделала вид, будто ничего не слышу. Лермонтов был поражен моим *серьезным* выражением лица и степенным поведением, так что мне совестно стало, и я в конце концов принялась шутить и любезничать вместе со всеми, и даже смеялась от всей души, и даже бегала взапуски с Аннет Олениной.

Мы прогулялись всей компанией, дойдя до воксала, а в девять часов кн. Щербатова снова в коляске отвезла меня в Царское Село. Она такая добрая, что я больше не хочу считать ее глупой. За чаем у нас были Мари Валуева со своими обеими спутницами, дядюшка Вяземский, Репнин и Лермонтов, чье присутствие всегда приятно и всех одушевляет. Антуанетт Блудова сказала мне, что ее отец очень *ценит* Лермонтова и почитает единственным из наших молодых писателей, чей талант *постепенно созревает,* подобно богатой жатве, взращиваемой на *плодоносной почве,* ибо находит в нем *живые источники* таланта — душу и мысль!

Дождь перестал идти. Как мне хотелось бы, чтобы небо прояснилось: ведь именно с *Лермонтовым,* Репниным, Лиз и Катрин Полуектовой мы собираемся совершить верховую прогулку сегодня вечером. Шла было речь даже о прогулке на *мельницу,* которую знает Пьер[47]; вместе с нами должны были поехать в коляске м-м Шевич с маменькой, кн. Трубецкая и Ливен; но *«Будем справедливы»* очень взволнована из-за падения с лошади, случившегося с ее братом, графом Бенкендорфом, на маневрах. Я надеюсь, он отделается тем, что немного похромает...

Царское Село, вторник утром, 8 августа <1839 г.>

...В *четверг* целый день у нас была м-ль Плюскова, которая приехала провести неделю в «Китае». Она обедала у нас, а потом мы повели ее в Павловский воксал, где я очень приятно провела два часа, гуляя и болтая с Шевичами, Озеровыми, Репниным и Лермонтовым. М-ль Плюскова непременно желала познакомиться с последним, повторяя мне раз *десять* по своей привычке: «Ведь это *ерой*! Мне так жаль, что я не знакома с вашим *ероем»* (ты ведь знаешь, она не произносит начальную букву). И снова: «Ах, это поэт, это *ерой*! Вы должны бы мне представить вашего *ероя».* Я вынуждена была это сделать, но при этом, опасаясь какой-нибудь выходки с его стороны, — ведь я еще прежде грозила ему этим знакомством, а он ответил мне *гримасой,* — я вдруг краснею как маков цвет, в то время как она расточает ему комплименты по поводу его стихов. Он раскланивается перед ней и восклицает, глядя на меня: «Софья Николаевна, отчего вы так покраснели? Мне надобно краснеть, а не вам». И как объяснишь это смущение м-ль Плюсковой, увидевшей в нем новое доказательство моей страсти к не слишком скромному *«ерою»,* который этим забавлялся? <...>

В субботу целый день лил дождь как из ведра, мы не могли даже двинуться из дома. У нас обедала м-ль Плюскова, а вечером были Лермонтов, Мари, Баратынские, Вяземский и Репнин. В воскресенье я узнала от м-ль Плюсковой, что г. *Шарль де Бурмон* собирается посетить Царское Село с генералом Чевкиным; еще две недели назад из газет я узнала о его приезде в Петербург и тщетно пыталась найти средство снестись с ним; я поручила м-ль Плюсковой, которая должна с ним обедать, сообщить ему, что мы здесь и что маменька будет рада принять его у себя; я была уверена, что это доставит ему удовольствие.

Во вторник утром мне пришлось прервать свое письмо (чтобы хорошенько понять, что рассказываю я уже *о том, что было,* а не о том, что будет, тебе надобно знать, что пишу я это в среду, в час пополуночи; и это единственно моя *вина,* так что не вздумай жалеть меня). Итак, мне пришлось прервать письмо, так как приходило несколько человек прощаться с нами перед отъездом: Баратынский — в Бородино, Натали Озерова — в Москву, а м-ль Плюскова — в Петербург. Последняя стала громко выражать свое удовольствие при виде входящего

г. де Бурмона, который ей очень нравится и которого, благодаря ей, я вновь увидела. <...>

Бурмон обедал у нас с Мари; к моему великому удовольствию, обед был *превосходный;* затем мы долго беседовали, и Андре, против своего обыкновения, был любезен с Бурмоном, который ему тоже понравился. В *семь* часов мы поехали кататься верхом: он, Лермонтов, Лиз и я. Бурмон был очарован Павловском, он уверял, что здесь намного красивее, чем в окрестностях Рима, а прогулка со мной *более приятна,* потому что я стала *весьма благоразумной* и уже не внушаю ему ужаса. Еще бы! Я предпочитала беседовать с ним, нежели скакать во весь опор, и я даже боялась за Лиз, которая ехала на Тери в сопровождении этого безумца Лермонтова, сидевшего на лошади по-гусарски и все время горячившего лошадь Лиз. Мы с ней вернулись к *десяти* часам; за чаем у нас было большое общество: Герздорф с женой, Жорж Шевич с женой, Тиран, Золотницкий, Лермонтов, Репнин и Мари. Г. Бурмон сидел за столом между нею и мной...

Царское Село, четверг, 8 часов утра, 17 августа <1839 г.>

...Полетика <...> провел у нас три дня <нрзб.> в обществе моих братьев, в комнатках на их половине; очень забавно было видеть, как он прибыл к нам со своим дормезом, своими дорожными сундуками и двумя слугами; впрочем, мы совсем не стесняем его свободы и видели его только за завтраком, обедом и ужином <...>. Приехал он в пятницу, и в этот же день, после обеда, в нашей гостиной неожиданно появился г. Тургенев; он нисколько не изменился: все такой же любезный по-своему, неожиданный и оригинальный. Вечером он пил у нас чай с Вяземским и Мари Валуевой; Полетика в *десять* часов уже отправился спать.

В субботу была прекраснейшая погода, и мы воспользовались этим и совершили вечернюю прогулку верхом по новой очаровательной дороге *через парк,* которую проложили в Павловск; на прогулку ездили мы с Лиз, м-ль Штерич, Андре, Репнин, *Виктор* Балабин и Золотницкий. <...> А кончилось все ужасной грозой... <...> Нам пришлось переодеться с ног до головы. Вернувшись в гостиную, мы застали там множество гостей: г. Вигеля и его протеже, маленького г. Демидова из гусаров, кн. Щербатову, Антуанетт Блудову и ее

батюшку, Мари Валуеву, Лермонтова, Левицкого, Репнина и Виктора Балабина, Вяземского и Полетику. В воскресенье сюда прибыл двор; прощай сельская *свобода!* <...>

В понедельник мы устроили прогулку верхом с Репниным и Балабиными, а вечером у нас были Мари, Лермонтов и наши кавалеры. Во вторник у нас обедала Аннет Оленина с твоим деверем Базилем... Вечером у нас была куча народу: Балабины и Репнин, *все* Тираны, Абамелек, Лермонтов, Вяземский, Тургенев, *дамы* Пашковы, Баратынский, Бартенев и Бороздин, — и Александр вернулся с *полей!..*

Н. М. СМИРНОВ

ИЗ ПАМЯТНЫХ ЗАМЕТОК

Перехожу теперь к Лермонтову. Его в первый раз узнали по стихам, которые он написал о Пушкине. В них нападает он на аристократию за малое участие, ею принятое в смерти незабвенного нашего поэта. За эти стихи он был переведен в армию из л.-гв. Гусарского полка; [1] но через два года возвращен. По приезде в Петербург он стал ездить в большой круг и, получив известность, был везде принят очень хорошо. Через несколько времени он влюбился во вдову княгиню Щербатову, урожденную Штерич, за которою волочился сын французского посла барона Баранта. Соперничество в любви и сплетни поссорили Лермонтова с Барантом [2]. Они дрались; последний выстрелил и не попал, а другой выстрелил на воздух. Сия история осталась долго скрытою от начальства; но болтовня самого Лермонтова разгласила ее, и он был посажен под арест. Впрочем, не было бы никаких других дурных последствий для нашего поэта, ибо все его оправдывали, если б он не потребовал новой сатисфакции от Баранта [3] по случаю новых сплетней. Узнав об этом, военное начальство сослало его в армию на Кавказ, откуда он приезжал в Петербург только однажды и где он нашел смерть от пули не в сраженье, а на новом поединке. На теплых водах Пятигорска он встретил старого товарища юнкерской школы, бывшего в кавалергардах, Мартынова. По старой школьной привычке он стал над ним трунить и прозвал его le chevalier du poignard *, потому что Мартынов носил черкесскую одежду с огромным кинжалом. Однажды вечером у г-жи

* рыцарь с кинжалом (*фр.*).

Верзилиной шутки надоели Мартынову, и по выходе из общества он просил Лермонтова их прекратить. Сия просьба была принята дурно, и на другой день в 6 часов вечера они дрались за горою Бештау. Князь Васильчиков был секундантом Лермонтова, а Глебов Мартынова[4]. Сей последний выстрелил, и противник его упал мертвым.

Так не стало нашего юного поэта, заменившего Пушкина. Об его таланте нечего говорить: его творения всегда останутся живыми. Другими же качествами он был несравненно ниже Пушкина; он не имел начитанности Пушкина, ни резкого проницательного его ума, ни его глубокого взгляда, ни чувствительной, всеобъемлющей души его. Его характер не был еще совершенно сформирован, и, беспрестанно увлеченный обществом молодых людей, он характером был моложе, чем следовало по летам. Он еще любил шумную, разгульную жизнь, волочиться за дамами, подраться на саблях, заставить об себе говорить, подтрунить, пошутить и жаждал более славы светской, остряка, чем славы поэта. Эта молодость убила его. Все приятели ожидали сего печального конца, ибо знали его страсть насмехаться и его готовность отвечать за свои насмешки. Не взирая на то, его смерть поразила всех как неожиданная новость. И в какую минуту он был похищен! В то время, когда его талант начинал созревать. Нет сомнения, что, если б он прожил еще несколько лет и если б мог оставить службу и удалиться (как он хотел) в деревню, он близко бы достиг высоты Пушкина.

А. Н. СТРУГОВЩИКОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. И. ГЛИНКЕ

В конце ноября 1840 г.[1], когда он <В. А. Соллогуб> окончил свою «Аптекаршу», я встретился у него с Лермонтовым и на вопрос его: не перевел ли я «Молитву путника» Гете, я отвечал, что с первой половиной сладил, а во второй недостает мне ее певучести и неуловимого ритма. «А я, напротив, мог только вторую половину перевести, — сказал Лермонтов, — и тут же по просьбе моей набросал мне на клочке бумаги свои «Горные вершины».

Этот автограф, остающийся у меня и поныне[2], я показал на другой день Глинке, прочитав ему и мои обе половины.

О. Н. СМИРНОВА

О СТИХОТВОРЕНИИ «А. О. СМИРНОВОЙ»

Он <Лермонтов> написал их тайком, потом признался в этом гр. Ростопчиной, которая передала эту тайну А. О. Смирновой [1]. Альбом лежал на столе в кабинете, и Лермонтов их написал у А<лександры> О<сиповны> на вечере [2]. После этого он принес еще другой экземпляр на листе и торжественно передал А<лександре> О<сиповне>. Он очень робел перед ней в первый период знакомства, но после 1838 г. он уже читал ей свои стихи и перестал робеть.

А<лександра> О<сиповна> говорила всегда, что Лермонтов вовсе *не* дерзкий человек, его в этом обвиняли, но что он свою природную застенчивость маскирует притворной дерзостью.

Его стихи «Молитва» посвящены княгине Щербатовой, рожд<енной> Штерич, впоследствии за Лутковским (который был в родстве с Смирновой), они написаны вот по какому случаю: кн<ягиня> Щербатова его спросила (он за ней ухаживал), молится ли он когда-нибудь? Он жаловался, что ему грустно, это было при Смирновой. Он отвечал, что забыл все молитвы. Смирнова сказала ему: «Какой вздор, а молитва успокоит вашу грусть, Лерма». (Его так звали все его близкие знакомые, братья Смирновой были очень с ним хороши, А<лександр> Ив<анович> Арнольди, служивший с ним в гусарах, и А. О. Россет [3], который часто сидел с ним под арестом (он был улан) на Адмиралтейской гауптвахте; когда они сидели под арестом, они сочиняли вместе *челобитни* А<лександре> О<сиповне>, которая просила за них прощенье у в<еликого> к<нязя> Михаила Павловича, который очень благоволил и Россету, и Лермонтову вообще.)

«Неужели вы забыли все молитвы, — спросила кн<ягиня> Щербатова, — не может быть!

А<лександра> О<сиповна> сказала княгине: «Научите его читать хоть Богородицу».

Кн<ягиня> Щербатова тут же прочла Лермонтову Богородицу.

К концу вечера он написал стихи, всем известную «Молитву», и показал Смирновой, она сказала ему, что стихи *дивно* хороши и что следует их переписать и поднести княгине (она была тогда уже вдовой).

И. С. ТУРГЕНЕВ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖИТЕЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Лермонтова я тоже видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Ш<аховск>ой [1], и несколько дней спустя на маскараде в Благородном собрании, под новый 1840 год. У княгини Шаховской я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц — белокурая графиня М<усина>-П<ушкина> — рано погибшее, действительно прелестное создание [2]. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии Гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш<увалов>у, тоже гусару [3]. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова «Глаза его не смеялись, когда он смеялся» и т. д. — действительно, применялись к нему. Помнится, граф Шувалов и его собеседница внезапно

засмеялись чему-то, и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Шувалова он любил, как товарища — и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них! Внутренно Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале дворянского собрания [4] ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки... и т. д.

М. А. КОРФ

ИЗ ДНЕВНИКА

21 марта <1840 г.>. На днях был здесь дуэль, кончившийся ничем, но примечательный по участникам. Несколько лет тому назад молоденькая и хорошенькая Штеричева [1], жившая круглою сиротою у своей бабки, вышла замуж за молодого офицера кн. Щербатова, но он спустя менее года умер, и молодая вдова осталась одна с сыном, родившимся уже через несколько дней после смерти отца. По прошествии траурного срока она натурально стала являться в свете, и столько же натурально, что нашлись тотчас и претенденты на ее руку и просто молодые люди, за нею ухаживавшие. В числе первых был гусарский офицер Лермонтов, — едва ли не лучший из теперешних наших поэтов; в числе последних — сын французского посла Баранта, недавно сюда приехавший для определения в секретари здешней миссии. Но этот ветреный француз вместе с тем приволачивался за живущей здесь уже более года женою консула нашего в Гамбурге Бахерахта — известною кокеткою и даже, по общим слухам, — femme galante *. В припадке ревности она как-то успела поссорить Баранта с Лермонтовым, и дело кончилось вызовом.

Сперва дрались на шпагах, причем одно только неловкое падение Баранта спасло жизнь Лермонтова; потом стрелялись, и когда первый дал промах, то последний выстрелил на воздух, чем все и кончилось. Между тем все это было ведено в такой тайне, что несколько недель оставалось сокрытым и от публики, и от правительства, пока сам Лермонтов как-то проговорился, и дело дошло до государя. Теперь он под военным

---

* женщиной легкого поведения (*фр.*).

судом *, а Баранту (сыну), вероятно, придется возвращаться восвояси. Щербатова уехала в Москву, а между тем ее ребенок, остававшийся здесь у бабки, умер, что, вероятно, охладит многих из претендентов на ее руку: ибо у нее ничего нет и все состояние было мужнино, перешедшее к сыну, со смертию которого возвращается опять в род отца.

Странно, что лучшим нашим поэтам приходится драться с французами: Дантес убил Пушкина, и Барант, вероятно, точно так же бы убил Лермонтова, если б не поскользнулся, нанося решительный удар, который таким образом только оцарапал ему грудь.

---

* По приговору сего суда, смягченному государем, он был переведен в армию и отправлен за Кавказ. (*Примеч. М. А. Корфа.*)

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

Н. В. СТАНКЕВИЧУ [1]

29 сентября — 8 октября 1839 г.

На Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов; вот одно из его стихотворений:

ТРИ ПАЛЬМЫ
(Восточное сказание)

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли... и т. д.

Какая образность! — так все и видишь перед собою, а увидев раз, никогда уж не забудешь! Дивная картина — так и блестит всею яркостию восточных красок! Какая живописность, музыкальность, сила и крепость в каждом стихе, отдельно взятом! Идя к Грановскому, нарочно захватываю новый № «Отечественных записок», чтобы поделиться с ним наслаждением — и что же? — он предупредил меня: «Какой чудак Лермонтов — стихи гладкие, а в стихах черт знает что — вот хоть его «Три пальмы» — что за дичь!» [2] Что на это было отвечать? Спорить — но я уже потерял охоту спорить, когда нет точек соприкосновения с человеком. Я не спорил, но, как майор Ковалев частному приставу, сказал Грановскому, расставив руки: «Признаюсь, после таких с вашей стороны поступков я ничего не нахожу» [3], — и вышел вон. А между тем этот человек со слезами восторга на глазах слушал «О царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и удалом купце Калашникове».

В. П. БОТКИНУ [4]

16—21 апреля 1840 г.

Кстати: вышли повести Лермонтова [5]. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговаривал с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше Вальтер Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так думал и еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина». Женщин ругает: одних за то, что <...>, других за то, что не <...>. Пока для него женщины и <...> — одно и то же. Мужчин он также презирает, но любит одних женщин и в жизни только их и видит. Взгляд чисто онегинский. Печорин — это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: «Дай бог!» Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве. Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. Я с ним р о б о к, — меня давят такие целостные, полные натуры, я пред ними благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества [6]. <...>

Он славно знает по-немецки и Гете почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике. Кстати: дуэль его — просто вздор, Барант (салонный Хлестаков) слегка царапнул его по руке, и царапина давно уже зажила. Суд над ним кончен и пошел на конфирмацию к царю. Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где приготовляется какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его, тем более что он любит его не для него самого, а для женщин. <...> Ну, от света еще можно бы оторваться, а от жен-

щин — другое дело. Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера.

Что ты, Боткин, не скажешь мне ничего о его «Колыбельной казачьей песне». Ведь чудо!

* * *

17 марта 1842 г.

Стихотворение Лерм<онтова> «Договор» — чудо как хорошо, и ты прав, говоря, что это глубочайшее стихотворение, до понимания которого не всякий дойдет; но не такова ли же и большая часть стихотворений Лермонтова? Лермонтов далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-гибком; во всем этом он уступит даже Майкову (в его антологических стихотворениях); но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах, демонский полет — *с небом гордая вражда* [7] — все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. Надо удивляться детским произведениям Лермонтова — его драме, «Боярину Орше» и т. п. (не говорю уже о «Демоне»): это не «Руслан и Людмила», тут нет ни легкокрылого похмелья, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина и шалостей амура, — нет, это — сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие еще уста, это «с небом гордая вражда», это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это детски, но страшно сильно и *взмашисто.* Львиная натура! Страшный и могучий дух! Знаешь ли, с чего мне вздумалось разглагольствовать о Лермонтове? Я только вчера кончил переписывать его «Демона», с двух списков, с большими разницами, — и еще более вник в это детское, незрелое и колоссальное создание. Трудно найти в нем и четыре стиха сряду, которых нельзя было бы окритиковать за неточность в словах и выражениях, за натянутость в образах; с этой стороны «Демон» должен уступить даже «Эдде» Баратынского; но — боже мой! — что же перед ним все антологические стихотворения Майкова или и самого Анакреона, да еще в подлиннике? [8] Да, Боткин, глуп я был с моею художественностию, из-за которой не понимал, что такое содержание. Но об этом никогда довольно не наговоришься. Обращаюсь к «Договору»: эта пьеса напечатана не вполне; вот ее конец: [9]

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер южный,
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои...

Сравнение как будто натянутое; но в нем есть что-то лермонтовское.

ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА «ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Немного стихотворений осталось после Лермонтова. Найдется пьес десяток первых его опытов, кроме большой его поэмы — «Демон»; пьес пять новых, которые подарил он редактору «Отечественных записок» перед отъездом своим на Кавказ... Наследие не огромное, но драгоценное! «Отечественные записки» почтут священным долгом скоро поделиться ими с своими читателями. Лермонтов немного написал — бесконечно меньше того, сколько позволял ему его громадный талант. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, — отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества[1] (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями»... как вдруг —

Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре!..[2]

Нельзя без печального содрогания сердца читать этих строк, которыми оканчивается в 63 № «Одесского вестника» статья г. Андреевского «Пятигорск»: «15 июля, около 5-ти часов вечера, разразилась ужасная буря с молниею и громом: в это самое время, между горами Машукою и Бештау, скончался — лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта»...

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял!..[3]

И. И. ПАНАЕВ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Лермонтов хотел слыть во что бы то ни стало и прежде всего за светского человека и оскорблялся точно так же, как Пушкин, если кто-нибудь рассматривал его как литератора. Несмотря на сознание, что причиною гибели Пушкина была, между прочим, наклонность его к великосветскости (сознание это ясно выражено Лермонтовым в его заключительных стихах «На смерть Пушкина»), несмотря на то что Лермонтову хотелось иногда бросать в светских людей *железный стих,*

Облитый горечью и злостью... —

он никак не мог отрешиться от светских предрассудков, и высший свет действовал на него обаятельно [1].

Лермонтов сделался известен публике своим стихотворением «На смерть Пушкина»; но еще и до этого, когда он был в юнкерской школе, носились слухи об его замечательном поэтическом таланте — и его поэма «Демон» ходила уже по рукам в рукописи.

Литературная критика обратила на него внимание после появления его повести о купце Калашникове в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», издававшихся под редакциею г. Краевского.

Я в первый раз увидел Лермонтова на вечерах князя Одоевского [2].

Наружность Лермонтова была очень замечательна.

Он был небольшого роста, плотного сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий и большой лоб, глубокие, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил

смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом. Однажды он встретил у г. Краевского моего приятеля М. А. Языкова... Языков сидел против Лермонтова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз. Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда. Он и до сих пор не забыл его.

Я много слышал о Лермонтове от его школьных и полковых товарищей. По их словам, он был любим очень немногими, только теми, с которыми был близок, но и с близкими людьми он не был сообщителен. У него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость, и, отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его наконец из терпения. Когда он достигал этого, он был очень доволен.

— Странно, — говорил мне один из его товарищей, — в сущности, он был, если хотите, добрый малый: покутить, повеселиться — во всем этом он не отставал от товарищей; но у него не было ни малейшего добродушия, и ему непременно нужна была жертва, — без этого он не мог быть покоен, — и, выбрав ее, он уж беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был кончить так трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его.

Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями. Я в первый раз увидел его у Одоевского и потом довольно часто встречался с ним у г. Краевского. Где и как он сошелся с г. Краевским, этого я не знаю;[3] но он был с ним довольно короток и даже говорил ему *ты*.

Лермонтов обыкновенно заезжал к г. Краевскому по утрам (это было в первые годы «Отечественных записок», в сороковом и сорок первом годах) и привозил ему свои новые стихотворения. Входя с шумом в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры, в том алхимическом костю-

ме, о котором я упоминал и покрой которого был снят им у Одоевского, — разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Г. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться; но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на *ты,* и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил:

— Ну, полно, полно... перестань, братец, перестань. Экой школьник...

Г. Краевский походил в такие минуты на гетевского Вагнера, а Лермонтов на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие [4].

Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. Посещения его всегда были очень непродолжительны.

Заговорив о Лермонтове, я выскажу здесь, кстати, все, что помню об нем, и читатель, верно, простит меня за нарушение в рассказе моем хронологического порядка.

Раз утром Лермонтов приехал к г. Краевскому в то время, когда я был у него. Лермонтов привез ему свое стихотворение.

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно... —

прочел его и спросил:

— Ну что, годится?..

— Еще бы! дивная вещь! — отвечал г. Краевский, — превосходно, но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность...

— Что такое? — спросил с беспокойством Лермонтов.

Из *пламя* и света
Рожденное слово...

— Это неправильно, не так, — возразил г. Краевский, — по-настоящему, по грамматике, надо сказать из *пламени* и света...

— Да если этот пламень не укладывается в стих? Это вздор, ничего, — ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности — и у Пушкина их много... Однако... (Лермонтов на минуту задумался)... дай-ка я попробую переделать этот стих.

Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался.

Так прошло минут пять. Мы молчали.

Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:

— Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук...

В другой раз я застал Лермонтова у г. Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за напечатание без его спроса «Казначейши» в «Современнике», издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не допустил его до этого.

— Это черт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! — говорил Лермонтов, размахивая книжечкою... — Это ни на что не похоже!

Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру [5].

Вероятно, этот нумер «Современника» сохраняется у г. Краевского в воспоминание о поэте.

Я также встретился у г. Краевского с Лермонтовым в день его дуэли с сыном г. Баранта, находившимся тогда при французском посольстве в Петербурге [6]... Лермонтов приехал после дуэли прямо к г. Краевскому и показывал нам свою царапину на руке. Они дрались на шпагах. Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский.

Белинский часто встречался у г. Краевского с Лермонтовым [7]. Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение.

— Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Белинский, — было бы довольно странно; но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова. Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою.

И действительно, Лермонтов как будто щеголял ею, желая еще примешивать к ней иногда что-то сатанинское и байроническое: пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, страсть показать презрение к жизни, а иногда даже и задор бретера. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то, по крайней мере, идеал, сильно тревоживший его в то время и на который он очень желал походить.

Когда он сидел в ордонанс-гаузе после дуэли с Барантом, Белинский навестил его;[8] он провел с ним часа четыре глаз на глаз и от него прямо пришел ко мне.

Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову.

— Знаете ли, откуда я? — спросил Белинский.

— Откуда?

— Я был в ордонанс-гаузе у Лермонтова, и попал очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!!! Вы знаете мою светскость и ловкость: я взошел к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких, я буду его женировать *, он меня... Что еще связывает нас немного — так это любовь к искусству, но он не поддается на серьезные разговоры... Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер Скотте... «Я не люблю Вальтер Скотта, — сказал мне Лермонтов[9], — в нем мало поэзии. Он сух». И начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою... В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. Он перешел от Вальтер Скотта к Куперу и говорил о Купере с жаром, доказывал, что в нем несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте, и доказывал это с тонкостью, с умом и — что удивило меня — даже с увлече-

* стеснять (от *фр.* gêner).

нием. Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим с о б о ю, — я уверен в этом...

В материалах для биографии, во второй части сочинений Лермонтова, г. Дудышкин говорит:

«В 1840 году, когда Лермонтов сидел уже под арестом за дуэль, он познакомился с Белинским. Белинский навестил его, и с тех пор *дружеские отношения их не прерывались».*

Это несправедливо. Белинский после возвращения Лермонтова с Кавказа, зимою 1841 года, несколько раз виделся с ним у г. Краевского и у Одоевского, но между ними не только не было никаких дружеских отношений, а и серьезный разговор уже не возобновлялся более...

Странные и забавные отзывы слышатся до сих пор о Лермонтове. «Что касается его т а л а н т а, — рассуждают т а к, — об этом и говорить нечего, но он был пустой человек и притом недоброго сердца».

И вслед за тем приводятся обыкновенно доказательства этого — различные анекдоты о нем во время пребывания его в юнкерской школе и гусарском полку.

Как же соединить эти два понятия о Лермонтове-человеке и о Лермонтове-писателе?

Как писатель он поражает прежде всего умом смелым, тонким и пытливым: его миросозерцание уже гораздо шире и глубже Пушкина — в этом почти все согласны. Он дал нам такие произведения, которые обнаруживали в нем громадные задатки для будущего. Он не мог обмануть надежд, возбужденных им, и если бы не смерть, так рано прекратившая его деятельность, он, может быть, занял бы первое место в истории русской литературы... Отчего же большинству своих знакомых он казался пустым и чуть не дюжинным человеком, да еще с злым сердцем? С первого раза это кажется странным.

Но это большинство его знакомых состояло или из людей светских, смотрящих на все с легкомысленной, узкой и поверхностной точки зрения, или из тех мелкоплавающих мудрецов-моралистов, которые схватывают только одни внешние явления и по этим внешним явлениям и поступкам произносят о человеке решительные и окончательные приговоры.

Лермонтов был неизмеримо выше среды, окружавшей его, и не мог серьезно относиться к такого рода людям. Ему, кажется, были особенно досадны последние — эти тупые мудрецы, важничающие своею дельностию и рассудочностию и не видящие далее своего носа. Есть какое-то наслаждение (это очень понятно) казаться самым пустым человеком, даже мальчишкой и школьником перед такими господами. И для Лермонтова это было, кажется, действительным наслаждением. Он не отыскивал людей равных себе по уму и по мысли вне своего круга. Натура его была слишком горда для этого, он был весь глубоко сосредоточен в самом себе и не нуждался в посторонней опоре.

Конечно, отчасти предрассудки среды, в которой Лермонтов взрос и воспитывался, отчасти увлечения молодости и истекавшее отсюда его желание эффектно драпироваться в байроновский плащ неприятно действовали на многих действительно серьезных людей и придавали Лермонтову неприятный, неестественный колорит. Но можно ли строго судить за это Лермонтова?.. Он умер еще так молод. Смерть прекратила его деятельность в то время, когда в нем совершалась сильная внутренняя борьба с самим собою, из которой он, вероятно, вышел бы победителем и вынес бы простоту в обращении с людьми, твердые и прочные убеждения...

Появление Лермонтова в первых книжках «Отечественных записок», без сомнения, много способствовало успеху журнала...

А. А. КРАЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе П. А. Висковатова)

В начале февраля, на масленой, Михаил Юрьевич в последний раз приехал в Петербург. Бабушка, усиленно хлопотавшая о прощении внука, не успела в своем предприятии и добилась только того, что поэту разрешили отпуск для свидания с нею. Круг друзей и теперь встретил его весьма радушно. В нем заметили перемену. Период брожения пришел к концу. Поэтический талант креп, и сознательность суждений сказывалась все яснее. Он нашел свой жизненный путь, понял назначение свое и зачем призван в свет. Ему хотелось более чем когда-либо выйти в отставку и совершенно предаться литературной деятельности. Он мечтал об основании журнала и часто говорил о нем с Краевским, не одобряя направления «Отечественных записок». «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, — обращался он к Краевскому, — там на Востоке тайник богатых откровений!»[1] Хотя Лермонтов в это время часто видался с Жуковским, но литературное направление и идеалы его не удовлетворяли юного поэта. «Мы в своем журнале, — говорил он, — не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что-либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их»[2]. <...>

— Как-то вечером, — рассказывал А. А. Краевский, — Лермонтов сидел у меня и, полный уверенности, что его наконец выпустят в отставку, делал планы своих будущих сочинений. Мы расстались в самом веселом и мирном настроении. На другое утро часу в десятом вбегает ко мне Лермонтов и, напевая какую-то невозможную песню, бросается на диван. Он, в буквальном смысле слова, катался по нем в сильном возбуждении. Я сидел за письменным столом и работал. «Что с тобою?» — спрашиваю Лермонтова. Он не отвечает и продолжает петь свою песню, потом вскочил и выбежал. Я только пожал плечами. У него таки бывали странные выходки — любил школьничать! Раз он меня потащил в маскарад, в дворянское собрание; взял у кн. Одоевской ее маску и домино и накинул его сверх гусарского мундира, спустил капюшон, нахлобучил шляпу и помчался. На все мои представления Лермонтов отвечает хохотом. Приезжаем; он сбрасывает шинель, надевает маску и идет в залы. Шалость эта ему прошла безнаказанно. Зная за ним совершенно необъяснимые шалости, я и на этот раз принял его поведение за чудачество. Через полчаса Лермонтов снова вбегает. Он рвет и мечет, снует по комнате, разбрасывает бумаги и вновь убегает. По прошествии известного времени он опять тут. Опять та же песня и катание по широкому моему дивану. Я был занят; меня досада взяла: «Да скажи ты, ради бога, что с тобою, отвяжись, дай поработать!» Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты! мне велят выехать в сорок восемь часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейнмихель приказывал покинуть столицу в дважды двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Дело это вышло по настоянию гр. Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку.

М. Б. ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ

ИЗ ЗАПИСОК

<Лермонтов> был молодой человек, одаренный божественным даром поэзии; поэзии, насыщенной глубокой мыслью, пантеистически окрашенной, исполненной пламенных чувств, овеянных, однако, некоей грустью, отзвуком отчаяния и презрения, вошедших в привычку. Он также вскоре погиб на Кавказе, великолепно воспев его красоты. Там он еще больше проникся духом независимости и безграничной свободы, который почитается преступным в Петербурге и который послужил причиной изгнания его на Кавказ, где он погиб еще молодым в злополучном поединке, навеки оплакиваемый всеми, кто ценит в России талант. Он был некрасив и мал ростом, но у него было милое выражение лица, и глаза его искрились умом. С глазу на глаз и вне круга товарищей он был любезен, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. Но в своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки. Он не мог жить без того, чтобы не насмехаться над кем-либо; таких лиц было несколько в полку, и между ними один, который был излюбленным объектом его преследований. Правда, это был смешной дурак, к тому же имевший несчастье носить фамилию Тиран; Лермонтов сочинил песню о злоключениях и невзгодах Тирана, которую нельзя было слушать без смеха; ее распевали во все горло хором в уши этому бедняге [1].

Первое появление Лермонтова в свете произошло под покровительством одной очень оригинальной женщины. Это была отставная красавица лет за пятьдесят, сохранившая тем не менее следы прежней красоты, сверкающие глаза и плечи и грудь, которые она охотно выставляла напоказ. У нее была взрослая дочь, любимая фрейлина императрицы, неразлучная с ней.

К. В. БРАНИЦКИЙ

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ «СЛАВЯНСКИЕ НАЦИИ»

В 1839 году в Петербурге существовало общество молодых людей, которое называли, по числу его членов, кружком шестнадцати. Это общество составилось частью из университетской молодежи, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там, после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III Отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе и не существовало: до того они были уверены в скромности всех членов общества.

Мы оба с вами принадлежали к этому свободному, веселому кружку — и вы, мой уважаемый отец, бывший тогда секретарем посольства, и я, носивший мундир гусарского поручика императорской гвардии.

Как мало из этих друзей, тогда молодых, полных жизни, осталось на этой земле, где, казалось, долгая и счастливая жизнь ожидала всех их!

Лермонтов, сосланный на Кавказ за удивительные стихи, написанные им по поводу смерти Пушкина, погиб в 1841 году на дуэли, подобно великому поэту, которого он воспел.

Вскоре таким же образом умер А. Долгорукий [1]. Не менее трагический конец — от пуль дагестанских горцев — ожидал Жерве и Фридерикса. Еще более горькую утрату мы понесли в преждевременной смерти Монго-Столыпина и Сергея Долгорукого, которых свела в могилу болезнь. Такая же судьба позднее ожидала и Андрея Шувалова.

Из оставшихся в живых некоторые оказали заметное влияние на современную политику. Но лишь один занимает видное место еще поныне; это — Валуев, принадлежавший к министерству, при котором совершилось освобождение крепостных и про которого говорят в последнее время, что ему предстоит получить наследство князя Горчакова.

Что касается нас обоих, то мы согласно с нашими убеждениями пошли другим путем — совершенно отличным от пути наших товарищей.

С. Т. АКСАКОВ

ИЗ «ИСТОРИИ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ»

Приблизился день именин Гоголя, 9 мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. Можно себе представить, как было мне досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью. Несмотря на то, я приехал в карете, закутав совершенно свою голову, чтобы обнять и поздравить Гоголя; но обедать на открытом воздухе, в довольно прохладную погоду, не было никакой возможности. Разумеется, Константин [1] там обедал и упросил именинника позвать Самарина, с которым Гоголь был знаком еще мало. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду, маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно. Константин не слыхал чтения, потому что в это время находился в другом конце обширного сада с кем-то из своих приятелей. Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особенным старанием приготовлял жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говаривал много очень забавных шуток. Вечером приехали к имениннику пить чай, уже в доме, несколько дам: А. П. Елагина, К. А. Свербеева, К. М. Хомякова и Черткова. На вечер многие из гостей отправились к Павловым, куда Константин, будучи за что-то сердит на Павлова, не поехал.

А. ЧАРЫКОВ

К ВОСПОМИНАНИЯМ О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ

Зная, с каким живым интересом все почитатели нашего знаменитого поэта следят за каждым сведением из его кратковременной жизни, я решился написать несколько строк о мимолетных встречах с ним на Кавказе.

Я перешел на Кавказ из России, как тогда выражались, в 1840 году, поступив в 20-ю артиллерийскую бригаду, штаб которой находился в Ставрополе, почему мне довольно часто приходилось в нем бывать.

В один из этих приездов в дворянском собрании давали бал. Война тогда была в полном разгаре, и так как Ставрополь в то время был сборным пунктом, куда ежегодно стекалась масса военных для участия в экспедициях против горцев, то на бале офицерства было многое множество и теснота была страшная; и вот благодаря этой самой тесноте мне привелось в первый раз увидать нашего незабвенного поэта; пробираясь шаг за шагом в танцевальный зал, я столкнулся с одним из офицеров Тенгинского полка, и когда, извиняясь, мы взглянули друг на друга, то взгляд этот и глаза его так поразили меня и произвели такое чарующее впечатление, что я уже не отставал от него, желая непременно узнать, кто он такой. Случались со мною подобные столкновения и прежде и после в продолжение моей долгой жизни, но мне никогда не приходило в голову справляться о тех особах, с которыми я имел неудовольствие или удовольствие сталкиваться.

На другой день после бала я слышал следующий анекдот о Лермонтове: пригласил он на вальс графиню

Ростопчину. «Avec vous? — сказала о н а , — après»; * но отмщение не заставило себя долго ждать; в мазурке подводят ее к нему с другой дамой. «Мне с в а м и », — объявила графиня. «С вами? — п о с л е », — был ответ Лермонтова [1].

В Ставрополе, когда я там вращался, самыми популярнейшими лицами были барон Вревский [2] и Николай Павлович Слепцов [3], они служили при штабе командующего войсками Кавказской линии и оба пользовались всеобщею любовью. Гостеприимные их двери были всегда раскрыты для приезжавшей военной молодежи.

В один прекрасный день мы, артиллеристы, узнали, что у барона на вечере будет Лермонтов, и, конечно, не могли пропустить случая его видеть. Добрейший хозяин по обыкновению очень радушно нас встретил и перезнакомил со своим дорогим гостем. Публики, как мне помнится, было очень много, и, когда солидные посетители уселись за карточными столами, молодежь окружила Лермонтова. Он, казалось, был в самом веселом расположении духа и очаровал нас своею любезностью. Но, не прибегая к фантазии, которая вечно молода и игрива, не могу сообщить о нашем гениальном любимце всего, что говорилось и рассказывалось им, так как неумолимое время все это изгладило из моей памяти. Придерживаясь же в воспоминаниях одной строгой истины, могу рассказать единственный факт из этого памятного вечера.

Михаил Юрьевич роздал нам по клочку бумаги и предложил написать по порядку все буквы и обозначить их цифрами; потом из этих цифр по соответствующим буквам составить какой-либо вопрос; приняв от нас эти вопросы, он уходил в особую комнату и спустя некоторое время выносил каждому ответ; и все ответы до того были удачны, что приводили нас в изумление. Любопытство наше и желание разгадать его секрет было сильно возбуждено, и, должно быть, по этому поводу он изложил нам целую теорию в довольно длинной речи, из которой, к сожалению, в моей памяти остались только вступительные слова, а именно, что между буквами и цифрами есть какая-то таинственная связь; потом упоминал что-то о высшей математике. Вообще же речь его имела характер мистический; говорил он очень увлекательно, серьезно; но подмечено было, что

---

* С вами?.. после (*фр.*).

серьезность его речи как-то плохо гармонировала с коварной улыбкой, сверкавшей на его губах и в глазах [4]. Затем ничего уже более не могу припомнить об этом знаменательном для меня вечере: тяжелая завеса времени затмила мою память.

В 1841 году, в первой половине июля, после весенней экспедиции, я прибыл из крепости Грозной для излечения от раны в Пятигорск, и здесь была моя последняя встреча с Лермонтовым. Припоминаю, что шел я как-то в гору по улице совсем еще тогда глухой, которая вела к Железноводску, а он в то же время спускался по противоположной стороне с толстой суковатой палкой, сюртук на нем был уже не с белым, а с красным воротником. Лицо его показалось мне чрезвычайно мрачным; быть может, он предчувствовал тогда свой близкий жребий. Злой рок уже сторожил свою жертву.

Когда страшная весть о его кончине пронеслась по городу, я тотчас же отправился разыскивать его квартиру, которой не знал. Последняя встреча помогла мне в этом; я пошел по той же улице, и вот на самой окраине города, как бы в пустыне, передо мною, в моей памяти, вырастает домик, или, вернее, убогая хижинка. Вхожу в сени, налево дверь затворенная, а направо, в открытую дверь, увидел труп поэта, покрытый простыней, на столе; под ним медный таз; на дне его алела кровь, которая за несколько часов еще сочилась из груди его.

Но вот что меня особенно поразило тогда: я ожидал тут встретить толпу поклонников погибшего поэта и, к величайшему удивлению моему, не застал ни одной души.

Впрочем, не стану отравлять свою память воспоминанием о легкомысленном тогдашнем обществе Пятигорска с его навек запятнанным героем, которому оно расточало в то время свои симпатии.

Р. И. ДОРОХОВ

ПИСЬМО К М. В. ЮЗЕФОВИЧУ[1]

Шестимесячная экспедиция и две черкесские пули, одна в лоб, а другая в левую ногу навылет, помешали мне, любезный и сердечно любимый Мишель, отвечать на твое письмо. К делу, я теперь в Пятигорске лечусь от ран под крылышком у жены — лечусь и Жду погоды! Когда-то проветрит? В крепости Грозной, в Большой Чечне, я, раненный, встретился с Левушкой, он наконец добился махровых эполет и счастлив как медный грош[2]. Он хочет писать к тебе. В последнюю экспедицию я командовал летучею сотнею казаков[3], и прилагаемая копия с приказа начальника кавалерии объяснит тебе, что твой Руфин еще годен к чему-нибудь; по силе моих ран я сдал моих удалых налетов Лермонтову. Славный малый — честная, прямая душа — не сносить ему головы. Мы с ним подружились и расстались со слезами на глазах. Какое-то черное предчувствие мне говорило, что он будет убит. Да что говорить — командовать летучею командою легко, но не малина. Жаль, очень жаль Лермонтова, он пылок и *храбр*, — не сносить ему головы[4]. Я ему говорил о твоем журнале, он обещал написать, если останется жить и приедет в Пятигорск. Я ему читал твои стихи, и он был в восхищении, это меня обрадовало...

А. В. ДРУЖИНИН

ИЗ СТАТЬИ «СОЧИНЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА»

Во всей истории русской литературы, за исключением личности Пушкина, с каждым годом и с каждым новейшим исследованием становящейся ближе и ближе к сердцу нашему, мы не находим фигуры более симпатичной, чем фигура поэта Лермонтова. Загадочность, ее облекающая, еще сильнее приковывает к Лермонтову помыслы наши, уже подготовленные к любви и юностью великого писателя, и его безвременною кончиною, и страдальческими тонами многих его мелодий, и необыкновенными чертами всей его жизни. Большая часть из современников Лермонтова, даже многие из лиц, связанных с ним родством и приязнью, говорят о поэте как о существе желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам, — но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу. По словам их, стоило только раз пробить ледяную оболочку, только раз проникнуть под личину суровости, родившейся в Лермонтове отчасти вследствие огорчений, отчасти просто через прихоть молодости, — для того чтоб разгадать сокровища любви, таившиеся в этой богатой натуре. Жизнь Лермонтова, до сей поры еще никем не рассказанная, известна нам лишь весьма поверхностно, а между тем она изобилует фактами, говорящими в пользу поэта красноречивее всех дружеских панегириков. Лермонтов умел быть смелым в то время, когда прямая и смелая речь вела к великим бедам, — он заявил свою преданность русской музе в ту пору, когда эта муза могла лишь подвергать

своих поклонников гонению и осуждению света. Когда погиб Пушкин, перенесший столько неотразимых обид от общества, еще не дозревшего до его понимания, — мальчик Лермонтов в жгучем, поэтическом ямбе первый оплакал поэта, первый кинул железный стих в лицо тем, которые ругались над памятью великого человека. Немилость и изгнание, последовавшие за первым подвигом поэта, Лермонтов, едва вышедший из детства, вынес так, как переносятся житейские невзгоды людьми железного характера, предназначенными на борьбу и владычество. Вместо того чтоб тосковать в чужом крае и тосковать о столичной жизни, так привлекательной в его лета, — он привязался к Кавказу, сердцем отдаваясь практической жизни, и мало того что приготовил себя самого к разумной военной деятельности, — но с помощью своего великого дарования сделал для Кавказа то, что для России было сделано Пушкиным. Когда быстрая и ранняя литературная слава озарила голову кавказского изгнанника, наш поэт принял ее так, как принимают славу писатели, завоевавшие ее десятками трудовых годов и подготовленные к знаменитости. Вспомним, что Байрон, идол юноши Лермонтова, возился со своей известностью как мальчик, обходился со своими сверстниками как турецкий паша, имел сотни литературных ссор и вдобавок еще почти стыдился звания литератора. Ничего подобного не позволил себе Лермонтов даже в ту пору, когда вся грамотная Россия повторяла его имя. Для этого насмешливого и капризного офицера, еще так недавно отличавшегося на юнкерских попойках или кавалерийских маневрах под Красным Селом, мир искусства был святыней и цитаделью, куда не давалось доступа ничему недостойному. Гордо, стыдливо и благородно совершил он свой краткий путь среди деятелей русской литературы, которая, нечего скрывать, в то время представляла много искушений и много путей к дурному. События последнего, самого великого, самого плодовитого года в жизни знаменитого юноши почти неизвестны. Как человек, Лермонтов, может быть, в эту пору был незамечателен, а временами и грешен, — но как поэт, он, видимо, переживал эпоху необыкновенную (и, по всей вероятности, имевшую влияние на его характер). Он зрел с каждым новым произведением, он что-то чудное носил под своим сердцем, как мать носит ребенка, мотивы невыразимой, подавляющей скорби вырывались у его музы и смеши-

вались с другими восторженно-сладкими звуками. Опыт веков, история литературы всех народов показывают с ясностью, что природа никогда не тратит сил своих по-пустому, не дает писателю, предназначенному на скромную деятельность, — языка и замашек поэта великого. А в 1841 году, за самое короткое время от преждевременной смерти, Лермонтов показал нам все частные особенности поэта истинно великого. Лорд Байрон с гордостью подписал бы свое имя под иными строфами «Сказки для детей», самые возвышенные из песен Гейне не имели в себе столько силы и грусти, как многие из предсмертных песен русского двадцатишестилетнего писателя. Общеевропейская, общечеловеческая физиономия поэта Лермонтова еще не успела высказаться, определиться с ясностью, но все признаки и задатки мирового поэта тут были — начиная с формы стиха, до сих пор недосягаемой по совершенству, до удивительного проникновения в жизнь природы, выразившегося множеством картин, мастерства первоклассного.

Не говорим уже о разнообразии и всесторонности последних пьес Лермонтова, о глубине мысли, проникавшей многие из них, о богатырских порывах к недосягаемому миру, какими они наполнены.

Да, тысяча восемьсот сорок первый год — последний год в жизни поэта нашего — есть истинное чудо в своем роде, и лучшее право Лермонтова на наше восторженное сочувствие. Просмотрите со вниманием оглавление книжки, изданной г-м Дудышкиным [1], и вы убедитесь в справедливости слов наших. И до этого года поэт был первенствующим деятелем в нашей литературе, — вся его заслуженная слава была основана на творениях предыдущих годов (особенно на «Герое нашего времени»), но потрудитесь взглянуть на список стихотворений, относящихся к последнему году жизни Лермонтова, — и вы увидите, что почти все написанное им прежде, за исключением трех или четырех стихотворений *, и «Герой нашего времени», в свое время сводив-

* Замечательна правильная прогрессивность в развитии таланта Лермонтова. У него нет блистательных начинаний, за которыми следуют периоды вялости, бездействия или слабого творчества. Чем ближе к 1841 году, тем более силы и гениальных задатков. Мы видим только один перерыв, в 1838 году, но этот год был очень хлопотливым по служебным делам Лермонтова, и сверх того, в этом году задуман им «Герой нашего времени». (*Примеч. А. В. Дружинина.*)

ший с ума читающую Россию, — все померкнет перед творчеством означенного года. В числе тридцати шести стихотворений, принадлежащих к 1841 году, есть три или четыре заимствованных, даже слабых («Вид гор из степей Козлова», «Кинжал»), но если мы исключим их без сожаления, все-таки количество вещей, написанных в 1841 году, будет равно всему, что было прежде написано Лермонтовым[2]. О внутреннем же достоинстве и говорить нечего. Много поэтов в мире погибало раньше срока — все славнейшие деятели русской поэзии сошли в могилу, не исполнив и половины того, на что их соотечественники могли рассчитывать, — но никогда еще судьба не поступала так жестоко с надеждами, ею же возбужденными, никогда она так безвременно не похищала существа, в такой степени украшенного присутствием гения. Последний, загадочный год в жизни Лермонтова, весь исполненный деятельности, — сокровище для внимательного ценителя, всегда имеющего наклонность заглядывать в «лабораторию гения», напряженно следить за развитием каждой великой силы в мире искусства. Тут на всяком шагу виден новый порыв в сокровеннейшие тайники творчества, — новый шаг к той неразгаданной грани, которая отделяет деятелей гениальных от деятелей высокоталантливых. И вот, кажется, грань перейдена, вот будто послышались небывалые звуки, от которых забьются сердца миллионов людей... все пророчит победу, кажется, одна только минута отделяет нас от новой силы и нового слова, — и вдруг все становится мрачно, все ожидания падают, как здание, выстроенное на песке. Безвременная насильственная смерть заканчивает всю эту великолепную картину, невольная злоба наполняет душу нашу, — злоба на общество, не сумевшее оградить своего певца, злоба на презренные орудия его гибели, злоба на мерзавцев, осмелившихся ей радоваться или холодно встречать весть, скорбную для отечества. И только после долгого озлобления, после долгих уверений самого себя в невозвратимости утраты дух наш успокаивается. Мы принимаем то, что дано нам, снова дивимся песням безвременно погибшего юноши и, проклиная лиц, допустивших его погибель, — все-таки с гордостью убеждаемся, что «не бездарна та природа, не погиб еще тот край», где при стечении самых неблагоприятных случайностей, при полной неспособности общества ценить

людей, его возвеличивающих, — все еще появляются личности, подобные поэту Лермонтову.

В издании, принадлежащем С. С. Дудышкину и теперь нами разбираемом, нет биографии Лермонтова, нет даже материалов для его биографии. В этом отношении винить издателя невозможно, для полного жизнеописания еще не пришло время, материалов же готовых слишком мало, неизданных же, может быть, и довольно, но все они раскиданы по рукам людей, весьма мало заботящихся о литературе. Жизнь Лермонтова не была скупа событиями, но многие слишком интимные ее подробности, касаясь людей живых или еще недавно умерших, не могут принадлежать печати. Поэт имел, как говорят люди, его знававшие, небольшое число страстных привязанностей, имевших решительное влияние на его жизнь, касаться их невозможно, когда еще живы женщины, ценимые им выше всего на свете. Умея любить, Лермонтов был и тем, что Байрон называет a good hater, то есть человек, умевший ненавидеть глубоко. Друзей имел он мало и с ними редко бывал сообщителен, может быть, вследствие детской привычки к сосредоточенной мечтательности, может быть, потому, что их интересы совершенно рознились с его собственными. На переписку был он ленив, и хотя, соприкасаясь <со> всем кругом столичного и провинциального общества, имел множество знакомых, но во всех сношениях с ними держал себя скорее наблюдателем, чем действующим лицом, за что многие его считали человеком без сердца. Не надо забывать и влияния Байрона, и многих афоризмов из «Героя нашего времени» — для оценки Лермонтова как человека. По натуре своей горделивый, сосредоточенный, и сверх того, кроме гения, отличавшийся силой характера, — наш поэт был честолюбив и скрытен. Эти качества с годами нашли бы себе применение и выяснились бы в нечто стройно-определенное, — но при молодости, горечи изгнания и байроническом влиянии они, естественно, высказывались иногда в капризах, иногда в необузданной насмешливости, иногда в холодной сумрачности нрава. Вот причина противоречащих отзывов о Лермонтове как о человеке и, может быть, той неохоты писать о нем, какую не раз мы сами подмечали в лицах, имевших кое-что сказать о Лермонтове. Между всеми теми, которых мы в разное время вызывали на сообщение нам воспоминаний о поэте, мы помним только одного человека, говорившего о нем охотно, с полной

любовью, с решительным презрением к слухам о дурных сторонах частной жизни поэта, — но и он все-таки решительно отказался набросать хотя несколько заметок о своем покойном друге, отговариваясь ленью и служебными делами. Мы должны прибавить, что последняя причина была уважительна, наш приятель собирался в экспедицию, где и положил свою голову [3]. Дружеские отношения его к Лермонтову были несомненны. За день до своего выступления из города <Пятигор>ска, где мы сошлись случайно, — он, укладываясь в поход, показывал нам мелкие вещицы, принадлежавшие Лермонтову, свой альбом с несколькими шуточными стихами поэта, портрет, снятый с него в день смерти, и большую тетрадь в кожаном переплете, наполненную рисунками (Лермонтов рисовал очень бойко и недурно). Картинки карандашом изображали по большей части сцены кавказской жизни, стычки линейных казаков с татарами и т. д. Кой-где между ними были еще стихи — отрывки из известных уже произведений да опять шуточные двустишия и четверостишия, относящиеся к каким-то неизвестным лицам и не имеющие другого значения [4].

Так как, пользуясь правами рецензента, мы намерены передать читателям кое-что из изустных рассказов приятеля Лермонтова, — то не мешает предварительно сказать два слова о том, какого рода человек был сам рассказчик. Он считался храбрым и отличным кавказским офицером, носил имя, известное в русской военной истории; и, подобно Лермонтову, страстно любил кавказский край, хотя брошен был туда не по своей охоте. Чин у него был небольшой, хотя на лицо мой знакомый казался очень стар и издержан, — товарищи его были в больших чинах, и сам он не отстал бы от них, если б в разное время не подвергался разжалованию в рядовые (два или три раза, — об этом спрашивать казалось неловко). Должно признаться, что знакомец наш, обладая множеством достоинств, храбрый как лев, умный и приятный в сношениях, был все-таки человеком из породы, которая странна и даже невозможна в наше время, из породы удальцов, воспетых Денисом Давыдовым и памятных, по преданию, во многих полках легкой кавалерии. Живи он в двенадцатом году, при широкой дороге для военного разгула и дисциплине, ослабленной необходимостью, его прославляли бы как рубаку и, может быть, за самые шало-

сти его не взыскивалось бы со строгостью, но при мире и тишине дела шли иначе. Молодость его прошла в постоянных бурях, шалостях и невзгодах, с годами все это стало реже, но иногда возобновлялось с великой необузданностью. Но, помимо этих периодических отклонений от общепринятой стези, Д<орохо>в был человеком умным, занимательным и вполне достойным заслужить привязанность такого лица, как Лермонтов. Во все время пребывания поэта на Кавказе приятели видались очень часто, делали вместе экспедиции и вместе веселились на водах. С годами, — когда подробные рассказы о последних годах поэта будут возможны в печати, — мы передадим на память несколько особенных приключений, а также подробности о последних днях Лермонтова, в настоящее же время, по весьма понятной причине, мы можем лишь держаться общих отзывов и общих рассуждений о его характере.

«Лермонтов, — рассказывал нам его покойный приятель, — принадлежал к людям, которые не только не нравятся с первого раза, но даже на первое свидание поселяют против себя довольно сильное предубеждение. Было много причин, по которым и мне он не полюбился с первого разу. Сочинений его я не читал, потому что до стихов, да и вообще до книг не охотник, его холодное обращение казалось мне надменностью, а связи его с начальствующими лицами и со всеми, что терлось около штабов, чуть не заставили меня считать его за столичную выскочку. Да и физиономия его мне не была по вкусу, — впоследствии сам Лермонтов иногда смеялся над нею и говорил, что судьба, будто на смех, послала ему *общую армейскую наружность.* На каком-то увеселительном вечере мы чуть с ним не посчитались очень крупно, — мне показалось, что Лермонтов трезвее всех нас, ничего не пьет и смотрит на меня насмешливо[5]. То, что он был трезвее меня, — совершенная правда, но он вовсе не глядел на меня косо и пил сколько следует, только, как впоследствии оказалось, — на его натуру, совсем не богатырскую, вино почти не производило никакого действия. Этим качеством Лермонтов много гордился, потому что и по годам, и по многому другому он был порядочным ребенком.

Мало-помалу неприятное впечатление, им на меня произведенное, стало изглаживаться. Я узнал события его прежней жизни, узнал, что он по старым связям имеет много знакомых и даже родных на Кавказе,

а так как эти люди знали его еще дитятей, то и естественно, что они оказывались старше его по служебному положению. Вообще говоря, начальство нашего края хорошо ведет себя с молодежью, попадающей на Кавказ за какую-нибудь историю, и даже снисходительно обращается с виновными более важными. Лермонтова берегли по возможности и давали ему все случаи отличиться, ему стоило попроситься куда угодно, и его желание *исполнялось*, — но ни несправедливости, ни обиды другим через это не делалось. В одной из экспедиций, куда пошли мы с ним вместе, случай сблизил нас окончательно: обоих нас татары чуть не изрубили, и только неожиданная выручка спасла нас. В походе Лермонтов был совсем другим человеком против того, чем казался в крепости или на водах, при скуке и безделье».

Итак, по необходимости — все, что могут биографы сказать о жизни поэта Лермонтова, и все, что можем сказать мы сами, имевшие случай сходиться с небольшим числом лиц, его хорошо знавших, до сих пор ограничивается одними общими соображениями. Как ни хотелось бы и нам поделиться с публикою запасом сведений о службе Лермонтова на *Кавказе*, — историею его кончины, рассказанной нам на самом ее театре с большими *подробностями*, — мы хорошо знаем, что для таких подробностей и сведений не пришло время. Примиримся же с необходимостью и расскажем, по крайней мере, тот бедный запас фактов, который теперь может быть рассказан.

Изо всей жизни Лермонтова, взятой с внешней точки зрения, только начало и конец заключают в себе нечто благоприятное поэтическому развитию его таланта. Дитятей он живал в деревне с старым домом и запущенным садом, смерть нашла его между величавых гор Кавказа, посреди обильной, уму и сердцу говорящей деятельности. Лучше всех анекдотов о детстве Лермонтова, живее всех рассказов о его ученических годах является его бессмертная элегия, задуманная на бале, дописанная в невольном уединении и подписанная тысяча восемьсот сороковым годом. Элегия эта — «Первое *января*», — по справедливости считающаяся жемчужиной в поэтическом венце Лермонтова. Тут история его детских дум и радостей, тут сведены в одном фокусе все лучи, кидавшие свет ранней поэзии на целое детство истинного поэта.

...памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями.
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч, и желтые листы
Шумят под робкими шагами.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.

Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.

Мы не можем не заметить от себя при этом случае, что все рассказы о детстве Лермонтова, в разное время слышанные нами и иногда от людей вовсе не поэтических по натуре, — словно почерпнуты из этого стихотворения. Во всех ребенок Лермонтов изображается нам сосредоточенным и мечтательным (мы видим, что у него даже была воображаемая подруга с голубыми глазами и розовой улыбкой!), умеющим находить наслаждение в одиночестве и недовольным, когда что-нибудь отрывало его от уединенных прогулок. Как все дети с подобным развитием, Лермонтов долго был нескладным мальчиком и даже в молодости, выезжая в свет, имея на всем Кавказе славу льва-писателя, не мог отделаться от застенчивости, которую только прикрывал то холодностью, то насмешливой сумрачностью приемов. К наукам, особенно к наукам точным, мальчик Лермонтов расположения не имел, да и вообще не подавал блестящих надежд в будущем, отчасти потому, что учился понемногу, как все русские мальчики, отчасти и по развитию поэтического элемента в ущерб прочим. Читал он, конечно, много, хотя по большей части лишь произведения изящной литературы, — поэзия Пушкина и знакомство с иностранными языками ограждали его от слишком неразборчивого чтения. О том, когда и как

начал писать Лермонтов, многого говорить не сможем, потому что в произведениях его детства нет особенных залогов будущего совершенства [6], и в этом роде они далеко ниже лицейских стихотворений Пушкина.

С поступлением мальчика или, скорее, молодого человека в учебное заведение (в старую Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров принимались воспитанники не моложе шестнадцати лет) внешняя обстановка жизни Лермонтова становится не только не поэтическою, но даже антипоэтическою. Дошедшие до нас школьные произведения поэта, острые и легко написанные, хотя по содержанию своему неудобные к печати, оставляют в нас чувство весьма грустное. Всякая молодость имеет свой разгул, и от семнадцатилетних гусаров никто не может требовать катоновских доблестей, но самый снисходительный наблюдатель сознается, что разгул молодежи лермонтовского времени был разгулом нехорошим. Даже старый Бурцов, забияка и ёра, не одобрил бы своих мальчиков-потомков, не одобрил бы и среды, в которую они были поставлены. Гусар Бурцов никак не понял бы этих полузатворнических, полуудалых нравов, этих ребяческих кутежей, основанных не столько на потребности веселья, сколько на моде и подражании взрослым. Нам кажется, что если бы семнадцатилетнего Бурцова посадили в закрытое заведение, он или удрал бы из него для того, чтоб пойти солдатом в настоящие гусары, или выдержал бы искус, скрепя сердце, не роняя достоинства молодости, не увлекаясь полупроказами и полуудальством воспитанника. В юношеских стихах, относящихся ко времени затворничества Лермонтова, мы не встречаем и тени протеста в бурцовском отношении. Он доволен своим «пестрым эскадроном» *[7], восхищается своими удалыми сверстниками, а в товарищах, едва вышедших из ребяческого возраста, выхваляет то, что едва спускалось герою Денису, прославившему себя в бою и честно послужившему родине. Понятно, что при таком направлении жизни речи не могло быть о науке, о дельном чтении, даже об основательном изучении военного ремесла, к которому Лермонтов готовился. К счастию, срок юнкерского воспитания был не долог, и Лермонтов не замедлил про-

---

* В старой школе юнкера носили мундир своих полков, а не один общий, как в настоящее время. (*Примеч. А. В. Дружинина.*)

ститься с бытом не то офицерским, не то кадетским, и, во всяком случае, — для него ничего не давшим[8].

Жизнь молодого поэта в столице как военного и светского человека тоже не во многом была радостна. Лермонтов принадлежал к тому кругу петербургского общества, который составляет какой-то промежуточный слой между кругом высшим и кругом средним, и потому и не имеет прочных корней в обоих. По роду службы и родству он имел доступ всюду, но ни состояние, ни привычки детских лет не позволяли ему вполне стать человеком большого света. В тридцатых годах, когда разделение петербургских кругов было несравненно резче, чем теперь, или когда, по крайней мере, нетерпимость между ними проявлялась сильнее, такое положение имело свои большие невыгоды. Но в смягчение им оно давало поэту, по крайней мере, досуг, мешало ему слишком часто вращаться в толпе и тем поперечить своим врожденным наклонностям. Сверх того, служба часто требовала присутствия Лермонтова в окрестностях Петербурга, где поневоле все располагало его к трудам, чтению, пересмотру его заброшенных было тетрадок. Нужно ли говорить о том, что скоро к другим побуждениям высказаться присовокупилась страсть, самая горячая и самая способная возвысить душу славолюбивого юноши? Как бы то ни было, но период первой службы Лермонтова, довольно бесцветный по событиям, принес ему с собою охоту к труду. Уже силы были испробованы в печати, наступал довольно заметный перелом в направлении новых стихотворений, влияние Пушкина как образца сменило собою рабское увлечение Байроном, — не повредив, однако же, страсти Лермонтова к байроновской поэзии, захватившей собой всю душу талантливого юноши почти что с детского возраста.

А. Д. ЕСАКОВ

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

...Мне вспомнился 1840 год, когда я, еще совсем молодым человеком, участвовал в осенней экспедиции в Чечне и провел потом зиму в Ставрополе, и тут и там в обществе, где вращался наш незабвенный поэт. Редкий день в зиму 1840—1841 годов мы не встречались в обществе. Чаще всего сходились у барона Ипп. Ал. Вревского [1], тогда капитана Генерального штаба, у которого, приезжая из подгородней деревни, где служил в батарее, там расположенной, останавливался. Там, то есть в Ставрополе, действительно в ту зиму собралась, что называется, la fine fleur молодежи *. Кроме Лермонтова, там зимовали: гр. Карл Ламберт [2], Столыпин (Mongo), Сергей Трубецкой [3], Генерального штаба: Н. И. Вольф, Л. В. Россильон [4], Д. С. Бибиков, затем Л. С. Пушкин, Р. И. Дорохов и некоторые другие, которых не вспомню. Увы, всех названных пережил я. Вот это общество, раза два в неделю, собиралось у барона Вревского. Когда же случалось приезжать из Прочного Окопа (крепость на Кубани) рядовому Михаилу Александровичу Назимову (декабрист, ныне живущий в городе Пскове), то кружок особенно оживлялся. Несмотря на скромность свою, Михаил Александрович как-то само собой выдвигался на почетное место, и все, что им говорилось, бывало выслушиваемо без прерывов и шалостей, в которые чаще других вдавался Михаил Юрьевич. Никогда я не замечал, чтобы в разговоре с М. А. Назимовым, а также с И. А. Вревским Лермонтов позволял себе обычный свой тон persiflage'a **.

* цвет молодежи (*фр.*).
** насмешки (*фр.*).

Не то бывало со мной. Как младший, юнейший в этой избранной среде, он школьничал со мной до пределов возможного, а когда замечал, что теряю терпение (что, впрочем, недолго заставляло себя ждать), он, бывало, ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл.

Итак, прочитав в статье г. Висковатова отзыв Л. В. *Россильона* о Лермонтове, я вспомнил их обоюдные отношения, которые действительно были несколько натянуты. Вспомнил, как один в отсутствие другого нелестно отзывался об отсутствующем. Как Россильон называл Лермонтова фатом, рисующимся (теперь бы сказали poseur) и чересчур много о себе думающим и как М. Ю., в свою очередь, говорил о Россильоне: «Не то немец, не то поляк, а пожалуй, и жид». Что же было первою причиной этой обоюдной антипатии — мне неизвестно. Положа руку на сердце, скажу, что оба были неправы. Мне не раз случалось видеть М. Ю. сердечным, серьезно разумным и совсем не позирующим. Льва Вас<ильевича> Россильона, намного пережившего Лермонтова, знают очень многие и вне Кавказа. Это была личность почтенная, не ищущая многого в людях и тоже, правда, немного дававшая им, но проведшая долгую жизнь вполне честно.

16 декабря 1884 г.
Тифлис.

P. S. Из всех портретов М. Ю. Лермонтова, которые где-либо издавались, положительно ни один не схож с оригиналом. Помнится мне, что офицеры лейб-гвардии гусарского полка поднесли свои акварельные портреты бывшему своему командиру М. Г. Хомутову. Между этими портретами был и Михаила Юрьевича, и единственный, по мне, лучше других его напоминающий. Куда он девался? [5]

К. Х. МАМАЦЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(В пересказе В. А. Потто)

«Я хорошо помню Лермонтова, — рассказывает Константин Христофорович, — и как сейчас вижу его перед собою, то в красной канаусовой рубашке, то в офицерском сюртуке без эполет, с откинутым назад воротником и переброшенною через плечо черкесскою шашкой, как обыкновенно рисуют его на портретах. Он был среднего роста, с смуглым или загорелым лицом и большими карими глазами. Натуру его постичь было трудно. В кругу своих товарищей, гвардейских офицеров, участвующих вместе с ним в экспедиции, он был всегда весел, любил острить, но его остроты часто переходили в меткие и злые сарказмы, не доставлявшие особого удовольствия тем, на кого были направлены. Когда он оставался один или с людьми, которых любил, он становился задумчив, и тогда лицо его принимало необыкновенно выразительное, серьезное и даже грустное выражение; но стоило появиться хотя одному гвардейцу, как он точас же возвращался к своей банальной веселости, точно стараясь выдвинуть вперед одну пустоту светской петербургской жизни, которую он презирал глубоко. В эти минуты трудно было узнать, что происходило в тайниках его великой души. Он имел склонность и к музыке, и к живописи, но рисовал одни карикатуры, и если чем интересовался — так это шахматного игрою, которой предавался с увлечением». Он искал, однако, сильных игроков, и в палатке Мамацева часто устраивались состязания между ним и молодым артиллерийским поручиком Москалевым. Последний был действительно отличный игрок, но ему только в редких случаях удавалось выиграть партию

у Лермонтова. Как замечательный поэт Лермонтов давно оценен по достоинству, но как об офицере о нем и до сих пор идут бесконечные споры. Константин Христофорович полагает, впрочем, что Лермонтов никогда бы не сделал на этом поприще блистательной карьеры — для этого у него недоставало терпения и выдержки. Он был отчаянно храбр, удивлял своею удалью даже старых кавказских джигитов, но это не было его призванием, и военный мундир он носил только потому, что тогда вся молодежь лучших фамилий служила в гвардии. Даже в этом походе он никогда не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, бродила всюду, появлялась там, где ей вздумается, в бою она искала самых опасных мест, — и... находила их чаще всего у орудий Мамацева[1].

Чеченский поход начался 1 мая движением в Аух и Салатавию, потом войска через Кумыкскую плоскость прошли на правый берег Сунжи и, наконец, перенесли военные действия в Малую Чечню, где встречи с неприятелем сделались чаще и битвы упорнее и кровопролитнее.

Первое горячее дело, в котором пришлось участвовать Мамацеву и которое составило ему репутацию лихого артиллерийского офицера, произошло 11 июля, когда войска проходили дремучий гойтинский лес. Мамацев с четырьмя орудиями оставлен был в арьергарде и в течение нескольких часов один отбивал картечным огнем бешеные натиски чеченцев. Это было торжество хладнокровия и ледяного мужества над дикою, не знающей препон, но безрассудною отвагою горцев. Под охраной этих орудий войска вышли наконец из леса на небольшую поляну, и здесь-то, на берегах Валерика, грянул бой, составляющий своего рода кровавую эпопею нашей кавказской войны. Кто не знает прекрасного произведения Лермонтова, озаглавленного им «Валерик» и навеянного именно этим кровавым побоищем.

Выйдя из леса и увидев огромный завал, Мамацев с своими орудиями быстро обогнул его с фланга и принялся засыпать гранатами. Возле него не было никакого прикрытия. Оглядевшись, он увидел, однако, Лермонтова, который, заметив опасное положение артиллерии, подоспел к нему с своими охотниками. Но едва начался штурм, как он уже бросил орудия и верхом на белом коне, ринувшись вперед, исчез за завалами. Этот момент хорошо врезался в память Константина

Христофоровича. После двухчасовой страшной резни грудь с грудью неприятель бежал. Мамацев преследовал его со своими орудиями — и, увлекшись стрельбой, поздно заметил засаду, устроенную в высокой кукурузе. Один миг раздумья — и из наших лихих артиллеристов ни один не ушел бы живым. Их спасло присутствие духа Мамацева: он быстро приказал зарядить все четыре орудия картечью и встретил нападающих таким огнем, что они рассеялись, оставив кукурузное поле буквально заваленное своими трупами. С этих пор имя Мамацева приобрело в отряде широкую популярность.

До глубокой осени оставались войска в Чечне, изо дня в день сражаясь с чеченцами, но нигде не было такого жаркого боя, как 27 октября 1840 года. В Автуринских лесах войскам пришлось проходить по узкой лесной тропе под адским перекрестным огнем неприятеля; пули летели со всех сторон, потери наши росли с каждым шагом, и порядок невольно расстраивался. Последний арьергардный батальон, при котором находились орудия Мамацева, слишком поспешно вышел из леса, и артиллерия осталась без прикрытия. Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг Мамацев увидел возле себя Лермонтова, который точно из земли вырос со своею командой. И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, чтобы кинуться на горцев, если б они добрались до орудий. Но этого не случилось. Мамацев подпустил неприятеля почти в упор и ударил картечью. Чеченцы отхлынули, но тотчас собрались вновь, и начался бой, не поддающийся никакому описанию. Чеченцы через груды тел ломились на пушки; пушки, не умолкая, гремели картечью и валили тела на тела. Артиллеристы превзошли в этот день все, что можно было от них требовать; они уже не банили орудий — для этого у них недоставало времени — и только посылали снаряд за снарядом. Наконец эту страшную канонаду услыхали в отряде, и высланная помощь дала возможность орудиям выйти из леса. <...>

Не менее жаркий бой повторился 4 ноября и в Алдинском лесу, где колонна лабинцев дралась в течение восьми с половиною часов в узком лесном дефиле. Только уже по выходе из леса попалась наконец

небольшая площадка, на которой Мамацев поставил четыре орудия и принялся обстреливать дорогу, чтобы облегчить отступление арьергарду. Вся тяжесть боя легла на нашу артиллерию. К счастью, скоро показалась другая колонна, спешившая на помощь к нам с левого берега Сунжи. Раньше всех явился к орудиям Мамацева Лермонтов с своею командой, но помощь его оказалась излишнею: чеченцы прекратили преследование.

«Здесь четвертого ноября, — говорит Константин Христофорович, — было мое последнее свидание с поэтом. После экспедиции он уехал в отпуск в Петербург, а на следующий год мы с невыразимою скорбью узнали о трагической смерти его в Пятигорске».

Я. И. КОСТЕНЕЦКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Когда уже я был на третьем курсе, в 1831 году поступил в университет по политическому же факультету Лермонтов [1], неуклюжий, сутуловатый, маленький, лет шестнадцати юноша, брюнет, с лицом оливкового цвета и большими черными глазами, как бы исподлобья смотревшими. Вообще студенты последнего курса не очень-то сходились с первокурсниками, и потому и я был мало знаком с Лермонтовым, хотя он и часто подле меня садился на лекциях; тогда еще никто и не подозревал в нем никакого поэтического таланта. Кстати, расскажу теперь все мои случайные встречи с этим знаменитым поэтом. На Кавказе, в 1841 году, находился я в Ставрополе, в штабе командующего войсками в то время генерала Граббе, где я, в должности старшего адъютанта, заведовал первым, то есть строевым, отделением штаба. Однажды входит ко мне в канцелярию штаба офицер в полной форме и рекомендуется поручиком Тенгинского пехотного полка Лермонтовым [2]. В то время мне уже были известны его поэтические произведения, возбуждавшие такой восторг, и поэтому я с особенным волнением стал смотреть на него и, попросив его садиться, спросил, не учился ли он в Московском университете. Получив утвердительный ответ, я сказал ему мою фамилию, и он припомнил наше университетское с ним знакомство. После этого он объяснил мне свою надобность, приведшую его в канцелярию штаба: ему хотелось знать, что сделано по запросу об нем военного министра. Я как-то и не помнил этой бумаги, велел писарю отыскать ее,

и когда писарь принес мне бумагу, то я прочитал ее Лермонтову. В бумаге этой к командующему войсками военный министр писал, что государь император, вследствие ходатайства бабки поручика Тенгинского полка Лермонтова (такой-то, не помню фамилии) об отпуске его в С.-Петербург для свидания с нею, приказал узнать о службе, поведении и образе жизни означенного офицера. «Что же вы будете отвечать на это?» — спросил меня Лермонтов. По обыкновению в штабе по некоторым бумагам, не требующим какой-либо особенной отписки, писаря сами составляли черновые отпуски, и вот в эту-то категорию попал как-то случайно и запрос министра о Лермонтове, и писарь начернил и ответ на него. «А вот вам и о т в е т», — сказал я, засмеявшись, и начал читать Лермонтову черновой отпуск, составленный писарем, в котором было сказано, что такой-то поручик Лермонтов служит исправно, ведет жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен... Лермонтов расхохотался над такой аттестацией и просил меня нисколько не изменять ее выражений и этими же самыми словами отвечать министру, чего, разумеется, нельзя было так оставить.

После этого тотчас же был послан министру самый лестный об нем отзыв, вследствие которого и был разрешен ему двадцативосьмидневный отпуск в Петербург. Это было в начале 1841, рокового для Лермонтова года, зимою. В мае месяце я по случаю болезни отправился в Пятигорск для пользования минеральными водами. Вскоре приехал туда и Лермонтов, возвратившийся уже из Петербурга. В Пятигорске знакомство мое с Лермонтовым ограничивалось только несколькими словами при встречах. Сойтиться ближе мы не могли.

Во-первых, он был вовсе не симпатичная личность, и скорее отталкивающая, нежели привлекающая, а главное, в то время, даже и на Кавказе, был особенный, известный род изящных людей, людей светских, считавших себя выше других по своим аристократическим манерам и светскому образованию, постоянно говорящих по-французски, развязных в обществе, ловких и смелых с женщинами и высокомерно презирающих весь остальной люд, которые с высоты своего

величия гордо смотрели на нашего брата армейского офицера и сходились с нами разве только в экспедициях, где мы, в свою очередь, с презрением на них смотрели и издевались над их аристократизмом. К этой категории принадлежала большая часть гвардейских офицеров, ежегодно тогда посылаемых на Кавказ, и к этой же категории принадлежал и Лермонтов, который, сверх того, и по характеру своему не любил дружиться с людьми: он всегда был едок и высокомерен, и едва ли он имел хоть одного друга в жизни[3].

П. П. ВЯЗЕМСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Когда я возвратился из-за границы в 1840 году, Лермонтов в том же году приехал в Петербург. Он был чем-то встревожен, занят и со мною холоден. Я это приписывал Монго-Столыпину, у которого мы видались. Лермонтов что-то имел с Столыпиным и вообще чувствовал себя неловко в родственной компании. Не помню, жил ли он у братьев Столыпиных или нет, но мы там еженощно сходились. Раз он меня позвал ехать к Карамзиным: «Скучно здесь, поедем освежиться к Карамзиным». Под словом освежиться, se rafraîchir, он подразумевал двух сестер княжон О<боленских>, тогда еще незамужних [1]. Третья сестра была тогда замужем за кн. М<ещерским>. Накануне отъезда своего на Кавказ Лермонтов по моей просьбе мне перевел шесть стихов Гейне: «Сосна и пальма». Немецкого Гейне нам принесла С. Н. Карамзина. Он наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод. Я подарил его тогда же княгине Юсуповой. Вероятно, это первый набросок, который сделал Лермонтов, уезжая на Кавказ в 1841 году, и который ныне хранится в императорской Публичной библиотеке [2]. Летом во время красносельских маневров приехал из лагеря к Карамзиным флигель-адъютант полковник конногвардейского полка Лужин (впоследствии московский обер-полицеймейстер). Он нам привез только что полученное в главной квартире известие о смерти Лермонтова. По его словам, государь сказал: «Собаке — собачья смерть» [3].

А. П. АРАПОВА

Н. Н. ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ

Нигде она <Наталья Николаевна Пушкина> так не отдыхала душою, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ее, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность.

Это был Лермонтов.

Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз.

Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению ее души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонения его таланту так и рвалась ему навстречу, но врожденная застенчивость, смутный страх сковывали уста. Постоянно вращаясь в том же маленьком кругу, они чувствовали незримую, но непреодолимую преграду, выросшую между ними.

Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер к Карамзиным, сказать грустное прости собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью.

Он точно стремился заглянуть в тайник ее души и, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности осуждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним не повинных людей.

Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением; она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно, и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротою вешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления.

В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал:

— Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в этой гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть ее обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собою вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.

— Прощать мне вам нечего, — ответила Наталья Николаевна, — но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.

Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной пере-

мене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом.

Ему не суждено было вернуться в Петербург, и когда весть о его трагической смерти дошла до матери, сердце ее болезненно сжалось. Прощальный вечер так наглядно воскрес в ее памяти, что ей показалось, что она потеряла кого-то близкого.

Мне было шестнадцать лет, я с восторгом юности зачитывалась «Героем нашего времени» и все расспрашивала о Лермонтове, о подробностях его жизни и дуэли. Мать тогда мне передала их последнюю встречу и прибавила:

— Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение обо мне унес с собою в могилу.

В. А. СОЛЛОГУБ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта — *Лермонтова.* С Лермонтовым я сблизился у Карамзиных и был в одно время с ним сотрудником «Отечественных записок». Светское его значение я изобразил под именем Леонина в моей повести «Большой свет», написанной по заказу великой княгини Марии Николаевны. Вообще все, что я писал, было по случаю, по заказу — для бенефисов, для альбомов и т. п. «Тарантас» был написан текстом к рисункам князя Гагарина, «Аптекарша» — подарком Смирдину [1]. Я всегда считал и считаю себя не литератором ex professo *, а любителем, прикомандированным к русской литературе по поводу дружеских сношений. Впрочем, и Лермонтов, несмотря на громадное его дарование, почитал себя не чем иным, как любителем, и, так сказать, шалил литературой. Смерть Лермонтова, по моему убеждению, была не меньшею утратою для русской словесности, чем смерть Пушкина и Гоголя. В нем выказывались с каждым днем новые залоги необыкновенной будущности: чувство становилось глубже, форма яснее, пластичнее, язык самобытнее. Он рос по часам, начал учиться, сравнивать. В нем следует оплакивать не столько того, кого мы знаем, сколько того, кого мы могли бы знать. Последнее наше свидание мне очень памятно. Это было в 1841 году: он уезжал на Кавказ и приехал ко мне проститься. «Однако ж, — сказал он мне, — я чувствую, что во мне действительно есть талант. Я думаю серьезно посвятить себя литературе. Вернусь с Кавказа, выйду в отставку,

* по профессии (*лат.*).

и тогда давай вместе издавать журнал»[2]. Он уехал в ночь. Вскоре он был убит. <...>

Настоящим художникам нет еще места, нет еще обширной сферы в русской жизни. И Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и Глинка, и Брюллов были жертвами этой горькой истины.

* * *

Самыми блестящими после балов придворных были, разумеется, празднества, даваемые графом Иваном Воронцовым-Дашковым. Один из этих балов остался мне особенно памятным. Несколько дней перед этим балом Лермонтов был осужден на ссылку на Кавказ. Лермонтов, с которым я находился сыздавна в самых товарищеских отношениях, хотя и происходил от хорошей русской дворянской семьи, не принадлежал, однако, по рождению к квинтэссенции петербургского общества, но он его любил, бредил им, хотя и подсмеивался над ним, как все мы, грешные... К тому же в то время он страстно был влюблен в графиню Мусину-Пушкину[3] и следовал за нею всюду, как тень. Я знал, что он, как все люди, живущие воображением, и в особенности в то время, жаждал ссылки, притеснений, страданий, что, впрочем, не мешало ему веселиться и танцевать до упаду на всех балах; но я все-таки несколько удивился, застав его таким беззаботно веселым почти накануне его отъезда на Кавказ; вся его будущность поколебалась от этой ссылки, а он как ни в чем не бывало кружился в вальсе. Раздосадованный, я подошел к нему.

— Да что ты тут делаешь! — закричал я на него, — убирайся ты отсюда, Лермонтов, того и гляди, тебя арестуют! Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович!

— Не арестуют у меня! — щурясь сквозь свой лорнет, вскользь проговорил граф Иван, проходя мимо нас.

В продолжение всего вечера я наблюдал за Лермонтовым. Его обуяла какая-то лихорадочная веселость; но по временам что-то странное точно скользило на его лице; после ужина он подошел ко мне.

— Соллогуб, ты куда поедешь отсюда? — спросил он меня.

— Куда?.. домой, брат, помилуй — половина четвертого!

— Я пойду к тебе, я хочу с тобой поговорить!.. Нет, лучше здесь... Послушай, скажи мне правду. Слышишь — правду... Как добрый товарищ, как честный человек... Есть у меня талант или нет?.. говори правду!..

— Помилуй, Лермонтов, — закричал я вне себя, — как ты *смеешь* меня об этом спрашивать! — человек, который, как ты, который написал...

— Хорошо, — перебил он меня, — ну, так слушай: государь милостив; когда я вернусь, я, вероятно, застану тебя женатым [4], ты остепенишься, образумишься, я тоже, и мы вместе с тобою станем издавать толстый журнал.

Я, разумеется, на все соглашался, но тайное скорбное предчувствие как-то ныло во мне. На другой день я ранее обыкновенного отправился вечером к Карамзиным. У них каждый вечер собирался кружок, состоявший из цвета тогдашнего литературного и художественного мира. Глинка, Брюллов, Даргомыжский, словом, что носило известное в России имя в искусстве, прилежно посещало этот радушный, милый, высокоэстетический дом. Едва я взошел в этот вечер в гостиную Карамзиных, как Софья Карамзина стремительно бросилась ко мне навстречу, схватила мои обе руки и сказала мне взволнованным голосом:

— Ах, Владимир, послушайте, что Лермонтов написал, какая это прелесть! Заставьте сейчас его сказать вам эти стихи!

Лермонтов сидел у чайного стола; вчерашняя веселость с него «соскочила», он показался мне бледнее и задумчивее обыкновенного. Я подошел к нему и выразил ему мое желание, мое нетерпение услышать тотчас вновь сочиненные им стихи.

Он нехотя поднялся со своего стула.

— Да я давно написал эту вещь, — проговорил он и подошел к окну.

Софья Карамзина, я и еще двое, трое из гостей окружили его; он оглянул нас всех беглым взглядом, потом точно задумался и медленно начал:

На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане... [5]

И так далее. Когда он кончил, слезы потекли по его щекам, а мы, очарованные этим едва ли не самым поэтическим его произведением и редкой музыкальностью созвучий, стали горячо его хвалить.

— C'est du Pouchkine cela *, — сказал кто-то из присутствующих.

— Non, c'est du Лермонтов, ce qui vaudra son Pouchkine! ** — вскричал я.

Лермонтов покачал головой.

— Нет, брат, далеко мне до Александра Сергеевича, — сказал он, грустно улыбнувшись, — да и времени работать мало остается; убьют меня, Владимир!

Предчувствие Лермонтова сбылось: в Петербург он больше не вернулся; но не от черкесской пули умер гениальный юноша, а на русское имя кровавым пятном легла его смерть.

* * *

Лермонтов, одаренный большими самородными способностями к живописи, как и к поэзии, любил чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого подымалась оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом. В таком изображении отзывалась его безотрадная, жаждавшая горя фантазия [7].

* * *

Елизавета Михайловна Хитрово вдохновила мое первое стихотворение: оно, как и другие мои стихи, увы, не отличается особенным талантом, но замечательно тем, что его исправлял и перевел на французский язык Лермонтов [8].

---

* Это по-пушкински (*фр.*).

** Нет, это по-лермонтовски, одно другого стоит! (*фр.*).

К. А. БОРОЗДИН

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Сказать, что я был знаком с Лермонтовым, было бы неточно, между нами существовала чересчур большая разница в годах, чтобы можно было говорить о знакомстве: мне только минуло тринадцать лет, когда двадцатисемилетний поэт пал на дуэли; но мне привелось незадолго до его преждевременной, трагической кончины видеть его два раза, слышать его разговор, говорить с ним, и черты лица его, как и вся наружность, остались навсегда запечатленными в моей памяти.

Покойная моя матушка была дружески знакома с бабкой Лермонтова, Елисаветой Алексеевной Арсеньевой, урожденной Столыпиной. Нередко навещали они друг друга, зимой чередовались вечерами с любимым ими преферансом, были обе очень набожны, принадлежали к одному приходу Всех Скорбящих, так как Арсеньева жила на Шпалерной, а матушка — на Захарьевской. Больше же всего сближали их материнские заботы, одной о своем внуке, а другой о своих трех сыновьях, из которых младшим был я, учившийся тогда в пансионе г. Крылова, при Петропавловском училище.

Арсеньева, несмотря на свои шестьдесят лет, была очень бодрая еще старуха [1], годами двенадцатью старше моей матушки. Высокая, полная, с крупными чертами лица, как все Столыпины, она располагала к себе своими добрыми и умными голубыми глазами и была прекрасным типом, как говорилось в старину, степенной барыни. Матушка моя, недурно писавшая масляными красками, имела дар схватывать сходство и сняла с Елисаветы Алексеевны портрет, поразительно похожий. Он много лет сохранялся у нас в семье.

При такой близости знакомства моей матушки с бабкой Лермонтова я десятилетним еще мальчиком слышал подробности о ссылке ее внука на Кавказ за стихи на смерть Пушкина, знал, что его вернули оттуда и простили; прошло года два, и <я> опять услышал о ссылке его туда же за дуэль с Барантом. Все это сопровождалось горем и слезами бабушки, делившей их с моей матушкой, так же как радостное наконец известие в начале 1841 года, что Лермонтову дали отпуск в Петербург после того, как он был в экспедиции с горцами, отличился там, и есть надежда, что его скоро опять простят. Бабушка, усердно хлопотавшая за своего ненаглядного Мишу, сияла счастием, и вскоре моя матушка мне сказала, что он приехал; она его видела.

В эту пору мне и самому уже захотелось его увидать; я был уже в гросстерции, то есть в пятом классе Петропавловского училища, и благодаря прекрасному учителю русской словесности А. Т. Крылову, умевшему вселить в учениках своих любовь к своему предмету, знал множество стихов и в особенности Пушкина. Товарищами моими по классу, сидевшими на одной со мною скамейке, были два старших сына Н. А. Полевого, один из них знал наизусть всего «Онегина», и у нас с ним шло горячее соревнование. На Лермонтова нам указывал Крылов, как на прямого продолжателя Пушкина, не уступавшего ему в силе своего таланта, и он предсказывал молодому поэту великую будущность. «Хаджи Абрек», «Купец Калашников» и немало других мелких стихотворений Лермонтова, разбросанных тогда по различным изданиям, нам были знакомы, мы ими восторгались и тоже заучивали. Понятно после того, что, зная уже цену таланта Лермонтова, во мне с особенною силою сказалось желание увидеть самого поэта. Он рисовался в моем воображении чем-то идеально прекрасным, носящим на своем челе печать высокого своего призвания, и я стал приставать к матушке с просьбою устроить так, чтобы я его мог увидеть. Она с улыбкою отвечала мне, что это сделается само собою: бабка, конечно, рассказала ему, насколько делила она с нею свое горе, и пришлет его к ней благодарить.

— Но когда же он приедет? Вероятнее всего, что в то время, как я буду в пансионе и его не увижу.

— Тогда я устрою иначе, — успокаивала меня матушка; но все это меня не удовлетворяло, и нетерпение мое росло.

Меня отпускали из пансиона по субботам, в воскресенье вечером я уже возвращался туда, и первым моим вопросом в следующую субботу было:

— Что Лермонтов?

— Был, — ответили мне, — в середу.

Это совсем меня опечалило, случай пропущен, когда я дождусь другого? С горя я даже не расспрашивал подробностей о визите. Матушка дала мне слово повезти меня самого к Арсеньевой в такой день, когда я непременно увижу там Лермонтова.

Да когда же это будет? Нужно все-таки ожидать, а Полевые тоже нетерпеливы, торопят меня расспросами.

Печально настроенный, побрел я в воскресенье утром к обедне к Спасу Преображения, отстоял ее и направился уже к выходу, как меня остановила одна наша знакомая, Наталья Ивановна Запольская.

— Куда вы? Пойдемте ко мне, я вас угощу кофеем.

Не сразу решился я на то, говоря, что мне не позволено никуда заходить из церкви; но Наталья Ивановна настояла на своем, сказала, что берет на себя ответственность, и увлекла меня. С небольшим тридцати лет, бойкая, веселая, она за что-то разъехалась с мужем и жила в Петербурге для сына, моего ровесника, учившегося в артиллерийском училище. Квартира ее была на Шестилавочной, то есть на теперешней Надеждинской, в церкви же с нею была хорошенькая ее племянница, Унковская, очень мне нравившаяся, и это-то меня больше всего занимало.

Когда мы уже сидели в столовой и, попивая чудесный кофе со сливками и сдобными булочками, весело болтали, в передней раздался звонок, и через минуту вошел к нам офицер небольшого роста, коренастый, мешковатый, в какой-то странной, никогда не виданной мною армейской форме. Хозяйка стремительно бросилась к нему навстречу и, протягивая ему руку, сказала с тоном упрека:

— Наконец-то и меня вы вспомнили.

— Знаете, ведь это всегда так бывает, — отвечал он, целуя ее руку и усаживаясь возле нее. — Когда хочешь кого-нибудь увидеть поскорей, непременно увидишь

нескоро. Сам к вам рвался, да мешали все эти несносные обязательные визиты.

Разговор начался и шел у них все время по-французски. Я написал карандашом на клочке бумажки вопрос: «Кто это?» — и передал бумажку Унковской. Она вернула мне ее с ответом: «Лермонтов».

Меня так и обожгло. Лермонтов! Боже! какое разочарование! Какая пропасть между моею фантазией и действительностью! Корявый какой-то офицер — и это Лермонтов! Я стал его разглядывать и с лихорадочною жадностью слушал каждое его слово.

Сколько ни видел я потом его портретов, ни один не имел с ним ни малейшего сходства, все они писаны были на память, и никому не удалось передать живьем его физиономии, как то сделал, например, Эммануил Александрович Дмитриев-Мамонов в наброске своем карандашом портрета Гоголя. Но из всех портретов Лермонтова приложенный к изданию с биографическим очерком Пыпина самый неудачный. Поэт представлен тут красавцем с какими-то колечками волос на висках и с большими, вдумчивыми глазами, в действительности же он был, как его метко прозвали товарищи по школе, «Маёшка», то есть безобразен.

Огромная голова, широкий, но невысокий лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком, угрястое и желтоватое, нос вздернутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики и волосы на голове, коротко остриженные. Но зато глаза!.. я таких глаз никогда после не видал. То были скорее длинные щели, а не глаза, и щели, полные злости и ума. Во все время разговора с хозяйкой с лица Лермонтова не сходила сардоническая улыбка, а речь его шла на ту же тему, что и у Чацкого, когда тот, разочарованный Москвою, бранил ее беспощадно. Передать всех мелочей я не в состоянии, но помню, что тут повально перебирались кузины, тетеньки, дяденьки говорившего и масса других личностей большого света, мне неизвестных и знакомых хозяйке. Она заливалась смехом и вызывала Лермонтова своими расспросами на новые сарказмы. От кофе он отказался, закурил пахитосу и все время возился с своим неуклюжим кавказским барашковым кивером, коническим, увенчанным круглым помпоном [2]. Он соскакивал у него с колен и, видимо, его стеснял. Да и вообще тогдашняя некрасивая кавказская форма еще более его уродовала.

Визит Лермонтова продолжался с полчаса. Взглянув на часы, он заторопился, по словам его, ему много еще предстояло концов, опять поцеловал руку Натальи Ивановны, нас подарил общим поклоном и уехал. Хозяйка так усердно им занялась, что о нас позабыла и ему не представила.

Впечатление, произведенное на меня Лермонтовым, было жуткое. Помимо его безобразия, я видел в нем столько злости, что близко подойти к такому человеку мне казалось невозможным, я его струсил. И не менее того, увидеть его снова мне ужасно захотелось. Когда я все это передал матушке и настоятельно просил ее поскорее отвезти меня к Арсеньевой, она снова обещала и действительно выполнила свое обещание в следующую же субботу; как только я пришел из Peter-Schule, она взяла меня с собой ко всенощной в церковь Всех Скорбящих, там мы нашли старушку Елисавету Алексеевну и после окончания службы направились к ней.

Она жила в одноэтажном деревянном сереньком домике с подъездом посередине, с улицы, а в pendant * к нему и рядом с ним стоял такой же точно домик. Их разделяли ворота. В другом жила Кайсарова, тоже старушка, дочь с левой стороны графа Валериана Зубова, известного красавца, брата фаворита Екатерины II. Эти два домика-могикана существовали на Шпалерной еще лет двадцать тому назад, а теперь их стер с лица земли какой-то выступивший на их месте колосс в четыре или пять этажей. Так у нас нещадно исчезают все жилья людей, имеющих историческое значение. В этом домике много лет прожил Лермонтов с своей бабушкой.

Когда мы расселись в ее убранной по-старинному, уютной гостиной, увешанной фамильными портретами, она приказала подать чай и осведомилась: дома ли Михаил Юрьевич. Старый слуга, чисто выбритый, в сапогах без скрипу, доложил, что «они дома и изволят писать».

— Да, он сегодня собирался работать, — сказала старушка. — Передай ему, что у меня знакомая ему гостья; когда он кончит заниматься, пусть пожалует к нам.

Слуга вышел.

---

* Здесь: в пару (*фр.*).

— Вот говорят про него, что безбожник, безбожник, а я вам покажу, — обратилась она к моей матушке, — стихи, которые он мне вчера принес.

Она порылась в своем рабочем столике и, вынув их оттуда, передала моей матушке. Они были писаны карандашом, и я впервые прочитал тогда из-за спинки (кресла) матушки всем известную «Молитву»: «В минуту жизни трудную» и т. д.

Арсеньева позволила мне их списать, я унес их с собою вполне счастливый такою драгоценною ношею, а покуда, перечитав несколько раз, в то время как старушки вели свою беседу, знал уже наизусть. Арсеньева между тем с грустью рассказала моей матушке, что срок отпуска ее внука приходит к концу и, несмотря на усиленные ее хлопоты и просьбы, его здесь не оставляют, надо опять возвращаться ему на Кавказ, опять идти в экспедицию и подставлять лоб под черкесскую пулю. Правда, дают надежду в будущем, а покуда великий князь Михаил Павлович непреклонен; но будущее, в особенности для нее, старухи, гадательно: увидит ли она своего внука, доживет ли до того. И старушка расплакалась. Когда пробило уже одиннадцать часов, Лермонтов вошел в гостиную. На нем расстегнутый сюртук без эполет. Бабка меня ему представила, назвала своим любимцем и прибавила, что я знаю множество его стихов. Он приветливо протянул мне руку и, вглядевшись в меня, сказал:

— А я где-то вас видел.

— У Натальи Ивановны Запольской.

— Да, да теперь припоминаю.

Матушка, к крайнему моему смущению, шутливо передала ему о давнишнем желании моем его увидеть, о печали моей, когда я узнал, что в моем отсутствии он был у нее, и что я учусь в пансионе при Петропавловской лютеранской церкви. Он слушал ее с улыбкою и спросил меня:

— И всему учат вас там по-немецки?

— Всему, кроме русской словесности и русской истории.

— Хорошо, что хоть и это оставили.

Разговор пошел у него затем со старушками. Лермонтов сидел в глубоком кресле, откинувшись назад, и я мог его прекрасно видеть. На этот раз он не показался мне таким странным, как прежде, да и лицо его было как бы иное, более доброе; сардоническое выражение

его сменилось задумчивым и даже грустным. Говорили больше его собеседницы, а он изредка давал ответы и вставлял свое слово. В тоне его с бабушкой я заметил чрезвычайную почтительность и нежность.

Было уже поздно, когда матушка моя поднялась, чтобы уйти, и при прощанье Лермонтов опять приветливо пожал мне руку.

Вскоре затем он уехал на Кавказ. То было, как мне твердо помнится, в мае[3] и совпадало с порою моих экзаменов, а подобная пора никогда не забывается даже и стариками. В конце июля пришло известие о мрачной кончине Лермонтова. Матушка знала о ней одна из первых в Петербурге и в минуты такого ужасного несчастия для бабки не покидала ее. В обществе смерть Лермонтова отозвалась сильным негодованием на начальство, так сурово и небрежно относившееся к поэту и томившее его из-за пустяков на Кавказе, а на Мартынова сыпались общие проклятия. В 1837 году благодаря ненавистному иностранцу Дантесу не стало у нас Пушкина, а через четыре года то же проделывает с Лермонтовым уже русский офицер; лишиться почти зараз двух гениальных поэтов было чересчур тяжело, и гнев общественный всею силою своей обрушился на Мартынова и перенес ненависть к Дантесу на него; никакие оправдания, ни время не могли ее смягчить. Она преемственно сообщалась от поколения к поколению и испортила жизнь этого несчастного человека, дожившего до преклонного возраста. В глазах большинства Мартынов был каким-то прокаженным, и лишь небольшой кружок людей, знавших лично его и Лермонтова, судили о нем иначе.

Двадцать лет спустя после кончины Лермонтова мне привелось на Кавказе сблизиться с Н. П. Колюбакиным, когда-то разжалованным за пощечину своему полковому командиру в солдаты и находившемуся в 1837 году в отряде Вельяминова, в то время как туда же прислан был Лермонтов, переведенный из гвардии за стихи на смерть Пушкина. Они вскоре познакомились для того, чтобы скоро раззнакомиться благодаря невыносимому характеру и тону обращения со всеми безвременно погибшего впоследствии поэта. Колюбакин рассказывал, что их собралось однажды четверо, отпросившихся у Вельяминова недели на две в Георгиевск, они наняли немецкую фуру и ехали в ней при оказии, то есть среди небольшой колонны, периоди-

чески ходившей из отряда в Георгиевск и обратно. В числе четверых находился и Лермонтов. Он сумел со всеми тремя своими попутчиками до того перессориться на дороге и каждого из них так оскорбить, что все трое ему сделали вызов, он должен был наконец вылезть из фургона и шел пешком до тех пор, пока не приискали ему казаки верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске выбранные секунданты не нашли возможным допустить подобной дуэли: троих против одного, считая ее за смертоубийство, и не без труда уладили дело примирением, впрочем, очень холодным. В «Герое нашего времени» Лермонтов в лице Грушницкого вывел Колюбакина, который это знал и, от души смеясь, простил ему эту злую на себя карикатуру [4]. А с таким несчастным характером Лермонтову надо было всегда ожидать печальной развязки, которая и явилась при дуэли с Мартыновым.

Е. П. РОСТОПЧИНА

ИЗ ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ ДЮМА

27 августа / 10 сентября 1858 г.

Лермонтов родился в 1814 или в 1815 году [1] и происходил от богатого и почтенного семейства; потеряв еще в малолетстве отца и мать, он был воспитан бабушкой, со стороны матери; г-жа Арсеньева, женщина умная и достойная, питала к своему внуку самую безграничную любовь, словом сказать, — любовь бабушки; она ничего не жалела для его образования. В четырнадцать или пятнадцать лет он уже стал писать стихи, которые далеко еще не предвещали будущего блестящего и могучего таланта. Созрев рано, как и все современное ему поколение, он уже мечтал о жизни, не зная о ней ничего, и таким образом теория повредила практике. Ему не достались в удел ни прелести, ни радости юношества; одно обстоятельство, уже с той поры, повлияло на его характер и продолжало иметь печальное и значительное влияние на всю его будущность. Он был дурен собой, и эта некрасивость, уступившая впоследствии силе выражения, почти исчезнувшая, когда гениальность преобразила простые черты его лица, была поразительна в его самые юные годы. Она-то и решила его образ мыслей, вкусы и направление молодого человека, с пылким умом и неограниченным честолюбием. Не признавая возможности нравиться, он решил соблазнять или пугать и драпироваться в байронизм, который был тогда в моде. Дон-Жуан сделался его героем, мало того, его образцом; он стал бить на таинственность, на мрачное и на колкости. Эта детская игра оставила неизгладимые следы в подвижном и впечатлительном воображении; вследствие того что он представлял из себя Лара и Манфреда [2], он привык быть таким. В то

время я его два раза видела на детских балах, на которых я прыгала и скакала, как настоящая девочка, которою я и была, между тем как он, одних со мною лет, даже несколько моложе, занимался тем, что старался вскружить голову одной моей кузине[3], очень кокетливой; с ней, как говорится, шла у него двойная игра; я до сей поры помню странное впечатление, произведенное на меня этим бедным ребенком, загримированным в старика и опередившим года страстей трудолюбивым подражанием. Кузина поверяла мне свои тайны; она показывала мне стихи, которые Лермонтов писал ей в альбом; я находила их дурными, особенно потому, что они не были правдивы. В то время я была в полном восторге от Шиллера, Жуковского, Байрона, Пушкина; я сама пробовала заняться поэзией и написала оду на Шарлотту Корде, и была настолько разумна, что впоследствии ее сожгла. Наконец, я даже не имела желания познакомиться с Лермонтовым, — так он мне казался мало симпатичным.

Он тогда был в благородном пансионе, служившем приготовительным пансионом при Московском университете.

Впоследствии он перешел в Школу гвардейских подпрапорщиков; там его жизнь и его вкусы приняли другое направление: насмешливый, едкий, ловкий — проказы, шалости, шутки всякого рода сделались его любимым занятием; вместе с тем, полный ума, самого блестящего, богатый, независимый[4], он сделался душою общества молодых людей высшего круга; он был первым в беседах, в удовольствиях, в кутежах, словом, во всем том, что составляет жизнь в эти годы.

По выходе из школы он поступил в гвардейский егерский полк[5], один из самых блестящих полков и отлично составленный; там опять живость, ум и жажда удовольствий поставили Лермонтова во главе его товарищей, он импровизировал для них целые поэмы, на предметы самые обыденные из их казарменной или лагерной жизни. Эти пьесы, которые я не читала, так как они написаны не для женщин, как говорят, отличаются жаром и блестящей пылкостью автора. Он давал всем различные прозвища в насмешку; справедливость требовала, чтобы и он получил свое; к нам дошел из Парижа, откуда к нам приходит все, особый тип, с которым он имел много сходства, — горбатого Майё (Mayeux), и Лермонтову дали это прозвище вследствие его

малого роста и большой головы, которые придавали ему некоторым образом фамильное сходство с этим уродцем [6]. Веселая холостая жизнь не препятствовала ему посещать и общество, где он забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом их покидать и оставлять в тщетном ожидании; другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжение нескольких дней; всем этим, как казалось, он старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность. Мне случалось слышать признания нескольких из его жертв, и я не могла удержаться от смеха, даже прямо в лицо, при виде слез моих подруг, не могла не смеяться над оригинальными и комическими развязками, которые он давал своим злодейским донжуанским подвигам. Помню, один раз он, забавы ради, решился заместить богатого жениха, и, когда все считали уже Лермонтова готовым занять его место, родители невесты вдруг получили анонимное письмо, в котором их уговаривали изгнать Лермонтова из своего дома и в котором описывались всякие о нем ужасы. Это письмо написал он сам [7] и затем уже более в этот дом не являлся.

Около того же времени умер Пушкин; Лермонтов вознегодовал, как и все молодое в России, против той недоброй (mauvaise) партии нашего общества, которая восстановляла друг против друга двух противников. Лермонтов написал посредственное, но жгучее стихотворение, в котором он обращался прямо к императору [8], требуя мщения. При всеобщем возбуждении умов этот поступок, столь натуральный в молодом человеке, был перетолкован. Новый поэт, выступивший в защиту умершего поэта, был посажен под арест на гауптвахту, а затем переведен в полк на Кавказ. Эта катастрофа, столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась в значительной степени в его пользу: оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный в присутствие строгих обязанностей и постоянной опасности, перенесенный на театр постоянной войны, в незнакомую страну, прекрасную до великолепия, вынужденный, наконец, сосредоточиться в самом себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся. До того времени все его опыты, хотя и многочисленные, были как будто только ощупывания, но тут он стал работать по вдохно-

вению и из самолюбия, чтобы показать свету что-нибудь свое; о нем знали лишь по ссылке, а произведений его еще не читали. Здесь будет уместно провести параллель между Пушкиным и Лермонтовым, собственно, в смысле поэта и писателя.

Пушкин — весь порыв, у него все прямо выливается; мысль исходит или, скорее, извергается из его души, из его мозга, во всеоружии с головы до ног; затем он все переделывает, исправляет, подчищает, но мысль остается та же, цельная и точно определенная.

Лермонтов ищет, сочиняет, улаживает; разум, вкус, искусство указывают ему на средство округлить фразу, усовершенствовать стих; но первоначальная мысль постоянно не имеет полноты, неопределенна и колеблется; даже и теперь в полном собрании его сочинений попадается тот же стих, та же строфа, та же идея, вставленная в совершенно разных пьесах.

Пушкин давал себе тотчас отчет в ходе и совокупности даже и самой маленькой из его отдельных пьес.

Лермонтов набрасывал на бумагу стих или два, пришедшие в голову, не зная сам, что он с ними сделает, а потом включал их в то или другое стихотворение, к которому, как ему казалось, они подходили. Главная его прелесть заключалась преимущественно в описании местностей; он сам, хороший пейзажист, дополнял поэта — живописцем; очень долго обилие материалов, бродящих в его мыслях, не позволяло ему привести их в порядок, и только со времени его вынужденного бездействия на Кавказе начинается полное обладание им самим собою, осознание своих сил и, так сказать, правильное использование своих различных способностей; по мере того как он оканчивал, пересмотрев и исправив, тетрадку своих стихотворений, он отсылал ее к своим друзьям в Петербург; эти отправки — причина того, что мы должны оплакивать утрату нескольких из лучших его произведений. Курьеры, отправляемые из Тифлиса, бывают часто атакуемы чеченцами или кабардинцами, подвергаются опасности попасть в горные потоки или пропасти, через которые они переправляются на досках или же переходят вброд, где иногда, чтобы спасти самих себя, они бросают доверенные им пакеты, и таким образом пропали две-три тетради Лермонтова; это случилось с последней тетрадью, отправленной Лермонтовым к своему издателю, так что от нее у нас остались только первоначаль-

ные наброски стихотворений вполне законченных, которые в ней заключались.

На Кавказе юношеская веселость уступила место у Лермонтова припадкам черной меланхолии, которая глубоко проникла в его мысли и наложила особый отпечаток на его поэтические произведения. В 1838 году ему разрешено было вернуться в Петербург [9], а так как талант, а равно и ссылка уже воздвигли ему пьедестал, то свет поспешил его хорошо принять.

Несколько успехов у женщин, несколько салонных волокитств вызвали против него вражду мужчин; спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и г. де Барантом, сыном французского посланника; последствием спора была дуэль, и в очень короткое время — вторая между русским и французом; некоторые женщины выболтали, и о поединке узнали до его совершения; чтобы покончить эту международную вражду, Лермонтов был вторично сослан на Кавказ.

От времен второго пребывания в этой стране войны и величественной природы исходят лучшие и самые зрелые произведения нашего поэта. Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит, и его дивные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку, пробовавшему свои силы в предшествовавшем году; тут уже находишь больше правды и добросовестности в отношении к самому себе; он с собою более ознакомился и себя лучше понимает; маленькое тщеславие исчезает, и если он сожалеет о свете, то только в смысле воспоминаний об оставленных там привязанностях.

В начале 1841 года его бабушка, госпожа Арсеньева, выхлопотала ему разрешение приехать в Петербург для свидания с нею и получения последнего благословения; года и слабость понуждали ее спешить возложить руки на главу любимого детища. Лермонтов прибыл в Петербург 7 или 8 февраля, и, горькою насмешкою судьбы, его родственница, госпожа Арсеньева, проживавшая в отдаленной губернии, не могла с ним съехаться по причине дурного состояния дорог, происшедшего от преждевременной распутицы.

Именно в это время я познакомилась лично с Лермонтовым, и двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой; одним днем более, чем с вами, любезный Дюма, а потому не ревнуйте. Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром

и вечером; что нас окончательно сблизило, это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах; мы вместе вдоволь над ними посмеялись, и таким образом вдруг сошлись, как будто были знакомы с самого того времени. Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе благодаря его неисчерпаемой веселости.

Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман под заглавием «Штос» [10], причем он рассчитал, что ему понадобится, по крайней мере, четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати: наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне; написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен.

Отпуск его приходил к концу, а бабушка не ехала. Стали просить об отсрочках, в которых сначала было отказано, а потом они были взяты штурмом благодаря высокой протекции. Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец, около конца апреля или начала мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути [11]. Я одна из последних пожала ему руку. Мы ужинали втроем, за маленьким столом, он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну. Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Через два месяца они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил у России драгоценную

жизнь, составлявшую национальную гордость. Но что было всего ужаснее, в этот раз удар последовал от дружеской руки.

Прибыв на Кавказ, в ожидании экспедиции, Лермонтов поехал на воды в Пятигорск. Там он встретился с одним из своих приятелей, который с давних пор бывал жертвой его шуток и мистификаций. Он принялся за старое, и в течение нескольких недель Мартынов был мишенью всех безумных выдумок поэта. Однажды, увидев на Мартынове кинжал, а может быть, и два, по черкесской моде, что вовсе не шло к кавалергардскому мундиру, Лермонтов в присутствии дам подошел к нему и, смеясь, закричал:

— Ах! Как ты хорош, Мартынов! Ты похож на двух горцев!

Эта шутка переполнила чашу; последовал вызов, и на следующее утро два приятеля дрались на дуэли. Напрасно секунданты пытались примирить противников; от судьбы было не уйти. Лермонтов не хотел верить, что он будет драться с Мартыновым.

— Возможно ли, — сказал он секундантам, когда они передавали ему заряженный пистолет, — чтобы я в него целил?

Целил ли он? Или не целил? Но известно только то, что раздалось два выстрела и что пуля противника смертельно поразила Лермонтова.

Таким образом окончил жизнь в двадцать восемь лет, и тою же смертью, поэт, который один мог облегчить утрату, понесенную нами со смертью Пушкина.

Странная вещь! Дантес и Мартынов оба служили в кавалергардском полку.

ФР. БОДЕНШТЕДТ

ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ К ПЕРЕВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛЕРМОНТОВА

Немногие поэты сумели, подобно Лермонтову, остаться во всех обстоятельствах жизни верными искусству и самим себе. Выросший среди общества, где лицемерие и ложь считаются признаками хорошего тона, Лермонтов до последнего вздоха остался чужд всякой лжи и притворства. Несмотря на то что он много потерпел от ложных друзей, а тревожная кочевая жизнь не раз вырывала его из объятий истинной дружбы, он оставался неизменно верен своим друзьям и в счастии, и в несчастии; но зато был непримирим в ненависти. А он имел право ненавидеть, имел его более, нежели кто-либо! <...>

Постоянные неудачи в жизни производят совершенно различное действие на твердые и слабые характеры, так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат [1]. Характер Лермонтова был самого крепкого закала, и чем грознее падали на него удары судьбы, тем более становился он твердым. Он не мог противостоять преследовавшей его судьбе, но в то же время не хотел ей покориться. Он был слишком слаб, чтобы одолеть ее; но и слишком горд, чтобы позволить одолеть себя.

Вот причина того пылкого негодования, того бурного беспокойства во многих стихотворениях его, в которых отражаются — как в кипящем под грозою море, при свете молний, — и небо и земля.

Вот причина также и его раздражительности, и желчи, которыми он в своей жизни часто отталкивал от себя лучших друзей и давал повод к дуэлям. Первая из этих дуэлей привела его к долгому заточению [2], а по-

следняя — к преждевременной смерти (умер 15/27 июля 1841).

Не берусь решить, что именно подало повод к этой последней дуэли; неосторожные ли остроты и шутки Лермонтова, как говорят некоторые, вызвали ее, или, как утверждают другие, то, что противник его г. Мартынов принял на свой счет некоторые намеки в романе «Герой нашего времени» и оскорбился ими, как касавшимися притом и его семейства[3]. В этом последнем смысле слышал я эту историю от секунданта Лермонтова, г. Глебова, который и закрыл глаза своему убитому другу.

Очень вероятно, что Лермонтов, обрисовавший себя немножко яркими красками в главном герое этого романа, списал с натуры и других действующих лиц, так что прототипам их не трудно было узнать себя. <...>

Чтобы дать хоть слабое понятие о том впечатлении, какое производила личность Лермонтова, я хочу рассказать о моих первых встречах с ним, насколько они сохранились у меня в памяти. К сожалению, мне редко удавалось вести правильный дневник во время моего пребывания в России; не удавалось, во-первых, потому, что я пишу кропотливо и тяжело, и мне нужно не мало досуга для собрания воедино впечатлений; во-вторых, потому, что моя — может быть, излишняя — осторожность оставляла в моей записной книжке лишь самую слабую помощь моей памяти, только имена и числа.

Зимой 1840—1841 года в Москве, незадолго до последнего отъезда Лермонтова на Кавказ, в один пасмурный воскресный или праздничный день мне случилось обедать с Павлом Олсуфьевым[4], очень умным молодым человеком, во французском ресторане, который в то время усердно посещала знатная московская молодежь.

Во время обеда к нам присоединилось еще несколько знакомых и, между прочим, один молодой князь замечательно красивой наружности и довольно ограниченного ума[5], но большой добряк. Он добродушно сносил все остроты, которые другие отпускали на его счет.

Легкая шутливость, искрящееся остроумие, быстрая смена противоположных предметов в разговоре, — одним словом, французский esprit * также свойственен знатным русским, как и французский язык.

---

* остроумие (*фр.*).

Мы пили уже шампанское. Снежная пена лилась через край бокалов, и через край пенились из уст моих собеседников то плоские, то меткие остроты. В то время мне не исполнилось еще двадцати двух лет, я был толстощеким юнцом, довольно неловким и сентиментальным, и больше слушал, чем участвовал в разговоре, и, вероятно, казался несколько странным среди этой блестящей, уже порядочно пожившей молодежи.

«А, Михаил Юрьевич!» — вдруг вскричали двое-трое из моих собеседников при виде только что вошедшего молодого офицера, который слегка потрепал по плечу Олсуфьева, приветствовал молодого князя словами: «Ну, как поживаешь, умник!», — а остальное общество коротким: «Здравствуйте!» У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и необычайная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на паркет бумажник или сигарочницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто он был вовсе без костей, хотя, судя по плечам и груди, у него должны были быть довольно широкие кости.

Гладкие, белокурые [6], слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб. Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого офицера [7].

Очевидно, он был одет не в парадную форму. У него на шее был небрежно повязан черный платок; военный сюртук без эполет был не нов и не до верху застегнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести тонкое белье.

Мы говорили до тех пор по-французски, и Олсуфьев, говоря по-французски, представил меня вошедшему. Обменявшись со мною несколькими беглыми фразами, он сел с нами обедать. При выборе кушаньев и в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих, чтобы не сказать у всех русских, но которые в устах этого гостя — это был Михаил Лермонтов — неприятно поразили меня. Эти выражения иностранец прежде всего научается понимать в России, потому что слышит их повсюду и беспрестанно; но ни один порядочный человек — за исключением грека или турка, у которых в ходу точь-в-точь такие выраже-

н и я , — не решится написать их в переводе на свой родной язык.

После того как Лермонтов быстро отведал несколько кушаньев и выпил два стакана вина (при этом он не прятал под стол свои красивые, выхоленные руки), он сделался очень разговорчив, и, надо полагать, то, что он говорил, было остроумным и смешным, так как слова его несколько раз прерывались громким смехом. К сожалению, для меня его остроты оставались непонятными, так как он нарочно говорил по-русски и к тому же чрезвычайно быстро, а я в то время недостаточно хорошо понимал русский язык, чтобы следить за разговором. Я заметил только, что шпильки его часто переходили в личности; но, получив несколько раз резкий отпор от Олсуфьева, он счел за лучшее избирать мишенью своих шуток только молодого князя.

Некоторое время тот добродушно переносил остроты Лермонтова; но наконец и ему уже стало невмочь и он с достоинством умерил его пыл, показав этим, что при всей ограниченности ума он порядочный человек.

Казалось, Лермонтова искренне огорчило, что он обидел князя, своего друга молодости, и он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел.

Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедших в 1840 году, но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота ближе сойтись с ним. Весь разговор, с самого его прихода, звенел у меня в ушах, как будто кто-нибудь скреб по стеклу.

Я никогда не мог, может быть, ко вреду моему, сделать первый шаг к сближению с задорным человеком, какое бы он ни занимал место в обществе, никогда не мог простить шалости знаменитых и талантливых людей только во имя их знаменитости и таланта. Я часто убеждался, что можно быть основательным ученым, сносным музыкантом, поэтом или писателем и в то же время невыносимым человеком в обществе. У меня правило основывать мнение о людях на первом впечатлении: но в отношении Лермонтова мое первое, неприятное впечатление вскоре совершенно изгладилось приятным.

Не далее как на следующий вечер я встретил его в гостиной г-жи Мамоновой, где он предстал передо мной в самом привлекательном свете, так как он вполне умел быть любезным.

Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, но это редко с ним случалось. В самых близких и дружественных отношениях находился он с остроумною графинею Ростопчиной, которой поэтому было бы легче всех дать верное представление о его характере[8].

Людей же, недостаточно знавших его, чтобы прощать его недостатки за прекрасные качества, преобладавшие в его характере, он отталкивал, так как слишком часто давал волю своему несколько колкому остроумию. Впрочем, он мог быть кроток и нежен, как ребенок, и вообще в его характере преобладало задумчивое, часто грустное настроение.

Серьезная мысль была главною чертою его благородного лица, как и всех значительнейших его произведений, к которым его легкие, шутливые стихотворения относятся, как насмешливое выражение его тонко очерченных губ к его большим, полным думы глазам.

Многие из соотечественников Лермонтова разделили его прометеевскую судьбу, но ни у одного страдания не вырвали столь драгоценных слез, которые служили ему облегчением при жизни, а по смерти обвили венком славы его бледное чело.

Чтобы точнее определить значение Лермонтова в русской и во всемирной литературе, следует прежде всего заметить, что он выше всего там, где становится наиболее народным. И что высшее проявление этой народности (как «Песня о царе Иване Васильевиче») не требует ни малейшего комментария, чтобы быть понятною для всех. Это тем замечательнее, что описываемые в ней нравы и частности столь же чужды для нерусских, как и выбранный поэтом стихотворный размер стиха, сделавшийся известным в Германии только по некоторым моим переводным опытам, а в России имеющий почти то же значение, как у нас размер «Песни о Нибелунгах».

Поэма Лермонтова, в которой сквозит поистине гомеровская верность, высокий дух и простота, произвела сильнейшее впечатление во многих германских городах, где ее читали публично. <...>

Лермонтов имеет то общее с великими писателями всех времен, что творения его верно отражают его время со всеми его дурными и хорошими особенностями и всею его мудростью и глупостью и что они способствовали искоренению этих дурных особенностей и этой глупости.

Но наш поэт отличается от своих предшественников и современников тем, что дал более широкий простор в поэзии картинам природы, и в этом отношении он до сих пор стоит на недосягаемой высоте. Своими изображениями он решил трудную задачу — удовлетворить в одно и то же время и естествоиспытателя, и любителя прекрасного.

Рисует ли он перед нами исполинские горы многовершинного Кавказа, где наш взор то теряется в снежных облаках, то тонет в безднах; или горный поток, то клубящийся по скале, на которой страшно стоять дикой козе, то светло ниспадающий, «как согнутое стекло», в пропасть, где, сливаясь с новыми ручьями, снова возникает в мутном потоке; описывает ли он горные аулы и леса Дагестана или испещренные цветами долины Грузии; указывает ли на облака, бегущие по голубому, бесконечному небу, или на коня, несущегося по синей, бесконечной степи; воспевает ли он священную тишину лесов или дикий шум битвы, — он всегда и во всем остается верен природе до малейших подробностей. Все эти картины предстают нам в отчетливых красках и в то же время от них веет какой-то таинственной поэтической прелестью, как бы благоуханием и свежестью этих гор, цветов, лугов и лесов[9]. <...>

Два замечательнейших ученых новейшего времени Александр Гумбольдт и Христиан Эрстед, первый в своем «Космосе» (ч. II, стр. 1—103), второй в своем рассуждении об отношении естествознания к поэзии (в «Духе природы», ч. II, стр. 1—52), указывают, как на настоятельное требование нашего времени, на более обширное приложение в области изящного современных открытий и исследований природы. <...>

Стоит прочесть целиком упомянутые сочинения, чтобы убедиться, что Лермонтов выполнил в своих стихотворениях большую часть того, что эти великие ученые признают потребностью нашего времени и чего так живо желают.

Пусть назовут мне хоть одно из множества толстых географических, исторических и других сочинений о Кавказе, из которого можно бы живее и вернее познакомиться с характеристическою природою этих гор и их жителей, нежели из какой-нибудь кавказской поэмы Лермонтова. <...>

Поэтический гений Пушкина, о котором до сего времени появившиеся стихотворные переводы на немецкий

язык могут дать лишь слабое представление, выразился в его зрелых произведениях с такою мощью и имел столь народный характер, что молодые поэты не могли не подчиниться его огромному влиянию, и оно было тем сильнее, чем даровитее была натура поэта, как, например, у Лермонтова.

Лермонтов явился достойным последователем своего великого предшественника; он сумел извлечь пользу для себя и для своего народа из его богатого наследства, не впадая в рабское подражание. Он выучился у Пушкина простоте выражения и чувству меры; он подслушал у него тайну поэтической формы. Некоторые из его ранних лирических стихотворений, — из которых я перевел одно, «Ветка Палестины», — невольно напоминают Пушкина; известное внешнее сходство с Пушкиным представляют и некоторые другие стихотворения, например, «Казначейша». Но противоположности между характерами и творчеством обоих поэтов гораздо ярче и определеннее этого сходства. Сходство в них скорее случайное, внешнее, условное, тогда как то, в чем они расходятся, составляет самую сущность творческой индивидуальности каждого из них.

Поэтические средства Пушкина и Лермонтова были почти одинаковы, точно так же и обстоятельства, при которых они развивались; только само развитие было различно.

Оба поэта заплатили изгнанием за первый поэтический порыв, за их юношеское стремление к свободе. Пушкин вернулся из изгнания — Лермонтов умер в изгнании.

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Через него <Павла Олсуфьева> я познакомился также с Лермонтовым, когда тот на своем последнем пути из Петербурга на Кавказ — в марте 1841 года [1], — уединившись в доме тетки графини Мамоновой, провел в Москве несколько дней. <...>

Хотя он еще не достиг тридцатилетнего возраста, но уже казался уставшим от жизни; он был среднего роста и ничем особенно не выделялся, если не считать высокого лба и больших, печально сверкающих глаз. В то время был в продаже лишь небольшой томик его стихов, а другими стихотворениями, ходившими по рукам

в списках, меня снабдил Павел Олсуфьев. Этот небольшой томик, изданный очень скромно, был вскоре раскуплен, и прошло продолжительное время, пока появилось новое издание [2]. Критика отнюдь не была единодушна в признании его таланта. Казалось, не хотели сразу же после смерти Пушкина возвести на его трон преемника; и находили, что Лермонтов слишком своевольно и настойчиво плывет против течения и ведет себя как враждебно настроенный иностранец в своем отечестве, которому он всем обязан. Упрек в отсутствии у него истинной любви к родине и побудил его написать глубоко прочувствованное стихотворение «Родина» [3]. <...>

В августе 1841 года пришло известие о смерти Лермонтова; он был застрелен на дуэли 15 июля Мартыновым, товарищем по полку, на склоне горы Машук, вблизи Пятигорска. Газеты коротко сообщали только о самом факте. Подробности я узнал позднее на Кавказе от секунданта Лермонтова Глебова и штабного врача доктора фон Ноодта. Мартынов счел себя задетым острым словцом любившего пошутить Лермонтова и вызвал его на дуэль. Все попытки добиться примирения были тщетны, и Лермонтов пал на дуэли от первой пули, посланной ему в сердце твердой рукой Мартынова, который ненавидел его люто. В переведенном на немецкий язык романе «Герой нашего времени» [4] Лермонтов описывает подобную дуэль — создается впечатление, что писатель, как бы предчувствуя, предсказал свою собственную судьбу. Во всяком случае, он мало дорожил той жизнью, какую должен был вести в России, и поэтому он охотно ставил жизнь на карту не только в сражениях против много раз воспетых им горцев, но и при всех случаях, которые его волновали. Свое пресыщение жизнью он сильнее всего запечатлел в небольшом стихотворении, которое озаглавлено «Благодарность» [5]. <...>

Только после смерти Лермонтова, с изданием ранее разбросанных его произведений, пришла к нему слава; с тех пор она все возрастала, тем более что ему не нашлось достойного продолжателя.

А. В. МЕЩЕРСКИЙ

ИЗ МОЕЙ СТАРИНЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

<Отрывки>

Кроме товарищей моего брата по университету да сверстников и друзей нашей юности, о которых было говорено и с которыми я продолжал часто видеться, я приобрел тогда много новых знакомых, преимущественно с приезжими из Петербурга, в числе которых между прочими был Лермонтов.

Замечательно, как глаза и их выражение могут изобличать гениальные способности в человеке. Я, например, испытал на себе это влияние при следующем случае. Войдя в многолюдную гостиную дома, принимавшего всегда только одно самое высшее общество, я с некоторым удивлением заметил среди гостей какого-то небольшого роста пехотного армейского офицера, в весьма нещегольской армейской форме, с красным воротником без всякого шитья. Мое любопытство не распространилось далее этого минутного впечатления: до такой степени я был уверен, что этот бедненький армейский офицер, попавший, вероятно, случайно в чуждое ему общество, должен обязательно быть человеком весьма мало интересным. Я уже было совсем забыл о существовании этого маленького офицера, когда случилось так, что он подошел к кружку тех дам, с которыми я разговаривал. Тогда я пристально посмотрел на него и так был поражен ясным и умным его взглядом, что с большим любопытством спросил об имени незнакомца. Оказалось, что этот скромный армейский офицер был не кто иной, как поэт Лермонтов.

Происшедшая с Лермонтовым метаморфоза, состоявшая в том, что он из блестящего офицера лейб-гвардии гусарского полка преобразился в скромного

армейского офицера, последовала от перехода его из Петербурга на службу на Кавказ, где он и оставался на службе до своей преждевременной и горькой кончины.

Я с ним познакомился в семействе Мартыновых, где были три незамужние дочери, из которых одна, по-видимому, занимала собою нашего поэта [1]. Их старший брат был тот самый Мартынов, который впоследствии убил Лермонтова на дуэли. Мартынов в то время перешел из гвардии в Нижегородский драгунский полк (на Кавказ), как кажется, потому, что мундир этого полка славился тогда, совершенно справедливо, как один из самых красивых в нашей кавалерии. Я видел Мартынова в этой форме; она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой, и, по-видимому, эта слабость, подмеченная в нем Лермонтовым, послужила ему постоянным предметом довольно злых острот над Мартыновым. Лермонтов, к сожалению, имел непреодолимую страсть дразнить и насмехаться, что именно и было причиной его злосчастной дуэли.

В другой раз была серьезная беседа об интенсивном хозяйстве, о котором в настоящее время так много пишут в журналах и о чем тогда уже заботились. Лермонтов, который питал полное недоверие и обнаруживал даже некоторое пренебрежение к сельскому хозяйству, называя его ковырянием земли, сказал нам при этом, что он сам недавно был в своем маленьком имении в Малороссии, откуда не получалось никакого дохода. Его долготерпение наконец истощилось, и он поехал туда, чтобы лично убедиться в причине бездоходности имения[2]. «Приезжаю, — говорит Лермонтов, — в деревню, призываю к себе хохла-приказчика, спрашиваю, отчего нет никакого дохода? Он говорит, что урожай был плохой, что пшеницу червь попортил, а гречиху солнце спалило. «Ну, — я спрашиваю, — а скотина что?» — «Скотина, — говорит приказчик, — ничего, благополучно». — «Ну, — я спрашиваю, куда же молоко девали?» — «На масло били», — отвечает он. «А масло куда девали?» — «Продавали», — говорит. «А деньги куда девали?» — «Соль, — говорит, — куповали». — «А

соль куда девали?» — «Масло солили». — «Ну, а масло куда девали?» — «Продавали». — «Ну, а деньги где?» — «Соль куповали!..» И так далее, и так далее. Не истинный ли это прототип всех наших русских хозяйств? — сказал Лермонтов и прибавил: — Вот вам при этих условиях не угодно ли завести интенсивное хозяйство!..»

Лермонтов хорошо говорил по-малороссийски и неподражаемо умел рассказывать малороссийские анекдоты. Им, например, был пущен известный анекдот (который я после слышал и от других) о том хохле, который ехал один по непомерно широкой почтовой малороссийской дороге саженей во сто ширины. По обыкновению хохол заснул на своем возе глубоким сном, волы его выбились из колеи и, наконец, осью зацепили за поверстный столб, отчего остановились. От толчка хохол вдруг проснулся, спросонья осмотрелся, увидел поверстный столб, плюнул и, слезая с своего воза, сказал: «Що за бісова тиснота, не можно и возом розминутця!»

По поводу лености и невозмутимости хохла Лермонтов мне рассказал, как, оставляя Петербург и лейб-гусарский полк, чтобы перейти на службу на Кавказ, он ставил свою тысячную верховую лошадь на попечении все того же своего денщика Сердюка, поручив своему товарищу по полку, князю Меншикову, в возможно скорейшее время ее продать. Очень долго не находилось покупщиков. Наконец Меншиков нашел покупателя и с ним отправился в полковой манеж, чтобы показать ему продажную лермонтовскую лошадь. Немало времени они ожидали в манеже Сердюка с его лошадью. Наконец показался за барьером манежа какой-то человек, который с веревкой на плече тащил с трудом что-то, должно быть, очень тяжелое; через несколько времени показалась голова лошади, которая, фыркая и упираясь, медленно подвигалась вперед и озиралась на все стороны. Когда Сердюк с трудом втащил ее на средину манежа, то издали она не похожа была на лошадь, а на какого-то допотопного зверя: до такой степени она обросла длинной шерстью; уши, которыми она двигала то взад, то вперед, так заросли, что похожи были на огромные веера, которыми она махала. Князь Меншиков, возмущенный этой картиной,

спросил у Сердюка, что за зверя он привел, но Сердюк отвечал очень хладнокровно. «Это лошадь, ваше высокоблагородие!» — «Да что ты с ней сделал, Сердюк, с этой лошадью?» — «Да что же, ваше высокоблагородие, с ней сделается? Она себе корм ест, пьет, никто ее не трогает; помилуйте, что с ней сделается?»

Оказывается, что Сердюк целый год лошадь не чистил и не выводил из денника, так что она совершенно одичала и обросла.

Пробыв в Москве несколько месяцев, Лермонтов уехал на Кавказ, и я более его никогда не видел. Позже, когда я был в Пятигорске, где лечился от раны, полученной мною в Даргинскую экспедицию 1845 года, я почел нравственным долгом посетить на Машуке то место, где происходила дуэль и где был убит незабвенный наш гениальный поэт. Какой величественный вид с этого места на широкую долину, окружающую Пятигорск, на величавый Эльбрус, покрытый вечными снегами, и на цепь Кавказских гор!.. Эта чудная картина, мне показалось, была в соответствии с гением и талантом покойного поэта, который так любил Кавказ.

«Нет! Не так желалось тебе умереть, милый наш Лермонтов», — думал я, сидя под зеленым дубом, на том самом месте, где он простился с жизнью.

Но не тем холодным сном могилы...

Впоследствии, сблизившись с Лермонтовым, я убедился, что изощрять свой ум в насмешках и остротах постоянно над намеченной им в обществе жертвой составляло одну из резких особенностей его характера. Я помню, что раз я застал у него одного гвардейского толстого кирасирского полковника З. [3], служившего в то время жертвой всех его сарказмов, и хотя я не мог не смеяться от души остроумию и неистощимому запасу юмора нашего поэта, но не мог также в душе не сострадать его жертве и не удивляться ее долготерпению.

Он мне сам рассказывал, например, как во время лагеря, лежа на постели в своей палатке, он, скуки ради, кликал к себе своего денщика и начинал его дразнить. «Презабавный был, — говорил он, — мой денщик малоросс Сердюк. Бывало, позову его и спрашиваю:

«Ну, что, Сердюк, скажи мне, что ты больше всего на свете любишь?» Сердюк, зная, что должны начаться над ним обыкновенные насмешки, сначала почтительно пробовал уговаривать барина не начинать вновь ежедневных над ним испытаний, говоря: «Ну, що, ваше благородие... оставьте, ваше благородие... я ничого не люблю...» Но Лермонтов продолжал: «Ну, что, Сердюк, отчего ты не хочешь сказать?» — «Да не помню, ваше благородие». Но Лермонтов не унимался: «Скажи, говорит, что тебе стоит? Я у тебя спрашиваю, что ты больше всего на свете любишь?» Сердюк все отговаривался незнанием. Лермонтов продолжал его пилить, и наконец, через четверть часа, Сердюк, убедившись, что от барина своего никак не отделается, добродушно делал признание: «Ну, що, ваше благородие, говорил он, ну, пожалуй, мед, ваше благородие». Но и после этого признания Лермонтов от него не отставал. «Нет, — говорил он, — ты, Сердюк, хорошенько подумай: неужели ты в самом деле мед всего больше на свете любишь?» Лермонтов начинал снова докучливые вопросы и на разные лады. Это опять продолжалось четверть часа, если не более, и, наконец, когда истощался весь запас хладнокровия и терпения у бедного Сердюка, на последний вопрос Лермонтова о том, чтобы Сердюк подумал хорошенько, не любит ли он что-нибудь другое на свете лучше меда, Сердюк с криком выбегал из палатки, говоря: «Терпеть его не могу, ваше благородие!..»

Вообще Лермонтов был преприятный собеседник и неподражаемо рассказывал анекдоты.

Среди множества сохранившихся в моей памяти анекдотов, слышанных мною от него, хотя и очень затруднителен будет выбор, но я не могу лишить себя удовольствия упомянуть здесь хотя о некоторых, попадающихся мне случайно более свежими в эту минуту на память. Ведь в сущности всякая мелочь, которая касается такого любимого всеми поэта, каким был Лермонтов, дорога, а мне несомненно больше других, потому что я его лично хорошо знал и что для меня память о нем связана с воспоминаниями о моей молодости...

Вообще в холостой компании Лермонтов особенно оживлялся и любил рассказы, перерывая очень часто самый серьезный разговор какой-нибудь шуткой, а нередко и нецензурными анекдотами, о которых я не буду говорить, хотя они были остроумны и смешны донельзя.

Так, как-то раз, среди серьезной беседы об искусстве и поэзии, Лермонтов стал комично рассказывать что-то о неизданных поэтах и об их сношениях с издателями и книгопродавцами. «А вот что, — сказал Лермонтов, — говорил мне приказчик одного книгопродавца, мальчик лет шестнадцати. «Приходит на днях в лавку какой-то господин (хозяина не было), обращается ко мне и спрашивает: «Что, говорит, стихотворения мои проданы?» (Тут я его узнал, говорит мальчик, он к нам уже месяцев шесть ходит). «Никак нет, — отвечаю ему, — еще не проданы». — «Как, — говорит он, — не проданы? Отчего не проданы? Вы, — говорит, — все мошенничаете!» Подошел ко мне, да бац, — говорит мальчик, — мне в ухо!.. Вот тебе раз, думаю себе, что из этого будет? «Отчего, — говорит, — не проданы?» Я говорю: «Никто не спрашивал». — «Как, — говорит, — никто не спрашивал?» Бац, — говорит, — мне в другое ухо! Я думаю себе, что из этого будет? «Где, — говорит, — мои стихотворения? Подай, — говорит, — мне их все сюда!» А сам ругается. «Вы, — говорит, — все кровопийцы!» Я побежал, принес связку его сочинений. Думаю себе: «Господи, что из этого будет?» Господин подошел ко мне. «Все ли они, — говорит, — тут?» Я говорю: «Извольте видеть, как были связаны, так и есть!» Он тут схватил меня за волосы и начал таскать по лавке; таскал, таскал, да как бросит, плюнул и ушел! «Так, — говорит мальчик, — я ничего и не дождался от него! Такой, — говорит, — чудак этот господин стихотворец! Я и фамилии его не упомню».

А. Н. ВУЛЬФ

ИЗ ДНЕВНИКА

Преждевременная смерть в прошлом году Лермонтова, еще одного первоклассного таланта, который вырос у нас не по дням, а по часам, в два или три года сделавшегося первым из всех живших поэтов, застреленного на дуэли из-за пустой шутки на Кавказских водах, служит другим доказательством, как от страстей своих никто не уходит безнаказанно. Лев [1] рассказывал, как очный свидетель этой печальной потери, которую понесла в Лермонтове вся мыслящая Русь. Прошлую зиму я встретился с ним в Петербурге в одном доме, именно у Арсеньевых, его родственников, и с любопытством вглядывался в черты его лица, думая, не удастся ли на нем подглядеть напечатления этого великого таланта, который так сильно проявлялся в его стихах. Ростом он был не велик и не строен; в движениях не было ни ловкости, ни развязности, ни силы; видно, что тело не было у него никогда ни напрягаемо, ни развиваемо; это общий недостаток воспитания у нас. Голова его была несоразмерно велика с туловищем; лоб его показался для меня замечательным своею величиною; смуглый цвет лица и черные глаза, черные волосы, широкое скулистое лицо напомнили мне что-то общее с фамилией Ганнибалов, которые известно, что происходят от арапа, воспитанного Петром Великим, и от которого по матери и Пушкин происходит. Хотя вдохновение и не кладет тавра на челе, в котором гнездится, <...> но все, кажется, есть в лице некоторые черты, в которых проявляется гениальность человека. Так и у Лермонтова страсти пылкие отражались в больших, широко расставленных черных глазах, под широким нависшим лбом и в остальных крупных <...> очерках его лица. Я не имел случая говорить с ним, почему и не прибавлю к сказанному ничего об его умственных качествах.

В. И. КРАСОВ

ИЗ ПИСЬМА К А. А. КРАЕВСКОМУ

Июль 1841 г.

Что наш Лермонтов? В последнем № «Отечественных записок» не было его стихов. Печатайте их больше. Они так чудно-прекрасны! Лермонтов был когда-то короткое время моим товарищем по университету. Нынешней весной, перед моим отъездом в деревню за несколько дней — я встретился с ним в зале Благородного собрания, — он на другой день ехал на Кавказ. Я не видал его десять лет — и как он изменился! Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо. Он был грустен, и, когда уходил из собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером, у меня сжалось сердце — так мне жаль его было. Не возвращен ли он? Вы бы засмеялись, если б узнали, отчего я особенно спрашиваю про его возвращение. Назад тому месяц с небольшим я две ночи сряду видел его во сне — в первый раз в жизни. В первый раз он отдал мне свой шлафрок какого-то огненного цвета, и я в нем целую ночь расхаживал по незнакомым огромным покоям; в другой раз я что-то болтал ему про свои любовные шашни, и он с грустной улыбкой и бледный как смерть качал головой. Проснувшись, я был уверен, что он возвращен. И я почти был уверен, что он проехал уже мимо нас, потому что я живу на большой дороге от юга.

Ю. Ф. САМАРИН

ИЗ ДНЕВНИКА

31 июля <1841>

Лермонтов убит на дуэли Мартыновым!

Нет духа писать!

Лермонтов убит. Его постигла одна участь с Пушкиным. Невольно сжимается сердце и при новой утрате болезненно отзываются старые. Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов. Становится страшно за Россию при мысли, что не слепой случай, а какой-то приговор судьбы поражает ее в лучших из ее сыновей: в ее поэтах. За что такая напасть... и что выкупают эти невинные жертвы.

Бедный Лермонтов. Он умер, оставив по себе тяжелое впечатление. На нем лежит великий долг, его роман — «Герой нашего времени». Его надлежало выкупить, и Лермонтов, ступивши вперед, оторвавшись от эгоистической рефлексии, оправдал бы его и успокоил многих [1].

В этом отношении участь Пушкина была завидна. В полном обладании всех своих сил, всеми признанный, беспорочен и чист от всякого упрека умчался Пушкин, и, кроме слез и воспоминаний, на долю его переживших друзей ничего не осталось. Пушкин не нуждается в оправдании. Но Лермонтова признавали не все, поняли немногие, почти никто не любил его. Нужно было простить ему.

Да, смерть Лермонтова поражает незаменимой утратой целое поколение. Это не частный случай, но общее горе, гнев божий, говоря языком Писания, и, как некогда при казнях свыше, посылаемых небом, целый народ облекался трауром, посыпая себя пеплом, и долго молился в храмах, так мы теперь должны считать себя

не безвинными и не просто сожалеть и плакать, но углубиться внутрь и строго допросить себя.

В первый раз я встретился с Лермонтовым на вечере на Солянке [2]. Он возвращался с Кавказа. Я был в восторге от его стихов на смерть Пушкина. После двух или трех свиданий он пленил меня простым обращением, детскою откровенностью. После того я увидел его несколько лет спустя на обеде у Гоголя [3]. Это было после его дуэли с Барантом. Лермонтов был очень весел. Он узнал меня, обрадовался; мы разговорились про Гагарина; [4] тут он читал свои стихи — Бой мальчика с барсом. Ему понравился Хомяков. Помню его суждение о Петербурге и петербургских женщинах. Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе.

Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня. Я не скрывался. Помню последний вечер у Павловых. К нему приставала Каролина Карловна Павлова. Он уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились на крыльце. Встретились мы после того в его проезд с Кавказа у Россетти [5]. Молодежь собралась провожать его. Лермонтов сам пожелал меня видеть и послал за мной. Он имел обо мне выгодное мнение, как сказывал Р. [6]. Он очень мне обрадовался. Р. пенял мне, что я обошелся с ним холодно. Через три месяца он снова приехал в Москву. Я нашел его у Розена [7]. Мы долго разговаривали. Он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой... [8] Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России: «Ce qu'il y a de pire, ce n'est pas qu'un certain nombre d'hommes souffre patiemment, mais c'est qu'un nombre immense souffre sans le savoir» *.

Вечером он был у нас. На другой день мы были вместе под Новинском [9]. Он каждый день посещал меня. За несколько дней до своего отъезда он провел у нас

---

* Хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого (*фр.*).

вечер с Голицыными и Зубовыми. На другой день я виделся с ним у Оболенских. Его занимала К. В. Потапова, тогда еще не замужем. Помню наш спор и ответ Лермонтова: «Ласковые глазки, теплые ручки, что ж больше». Одного утра, проведенного у Россетти, я никогда не забуду. Лермонтова что-то тревожило, и досада и желчь его изливались на несчастного Золотницкого [10]. Тут он рассказал с неподражаемым юмором, как Левицкий дурачил Иваненко [11]. Дуэль напоминала некоторые черты из дуэли «Героя нашего времени». Мы простились. Вечером, часов в девять, я занимался один в своей комнате. Совершенно неожиданно входит Лермонтов. Он принес мне свои стихи для «Москвитянина» — «Спор» [12]. Не знаю почему, мне особенно было приятно видеть Лермонтова в этот раз. Я разговорился с ним. Прежде того какая-то робость связывала мне язык в его <присутствии> [13].

ИЗ ПИСЕМ К И. С. ГАГАРИНУ [1]

19 июля 1840 г.

Сегодня 19 июля, мой дорогой друг; завтрашний день в проведу в Ясеневе, а сегодняшний вечер я хочу посвятить удовольствию беседы с вами. Я давно уже хотел писать вам; каждый раз, когда мне случится испытать какое-нибудь впечатление, живо постичь какой-нибудь занимающий меня предмет, у меня к радостному чувству движения вперед присоединяется желание поделиться с вами и знать ваше о нем мнение.

Вскоре после вашего отъезда я видел, как через Москву проследовала вся группа шестнадцати [2], направляющаяся на юг. Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве. Это в высшей степени артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию благодаря своей неутомимой наблюдательности и большой глубине индифферентизма. Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял: ничто не ускользает от него; взор его тяжел, и его трудно переносить. Первые мгновенья присутствие этого человека было мне неприятно; я чувствовал, что он наделен большой проницательной силой и читает в моем уме, и в то же время я понимал, что эта сила происходит лишь от простого любопытства, лишенного всякого участия, и потому чувствовать себя поддавшим-

ся ему было унизительно. Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами, и, после того как он к вам присмотрелся и вас понял, вы не перестаете оставаться для него чем-то чисто внешним, не имеющим права что-либо изменить в его существовании. В моем положении мне жаль, что я его не видел более долгое время. Я думаю, что между ним и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь многое.

Москва, 3 августа 1841 г.

Пишу вам, мой друг, под тяжким впечатлением только что полученного мною известия. Лермонтов убит Мартыновым на дуэли на Кавказе. Подробности ужасны. *Он выстрелил в воздух, а противник убил его, стрелял почти в упор.* Эта смерть после смерти Пушкина, Грибоедова и других наводит на очень грустные размышления. Смерть Пушкина вызвала Лермонтова из неизвестности, и Лермонтов, в большинстве своих произведений, был отголоском Пушкина, но уже среди нового, лучшего поколения.

Он унес с собою более чем надежды. После своего романа «Герой нашего времени» он очутился в долгу пред современниками, и этот нравственный долг никто теперь не может за него уплатить. Только ему самому возможно было бы в этом оправдаться. А теперь у очень многих он оставляет за собою тяжелое и неутешительное впечатление, тогда как творчество его еще далеко не вполне расцвело. Очень мало людей поняли, что его роман указывал на переходную эпоху в его творчестве, и для этих людей дальнейшее направление этого творчества представляло вопрос высшего интереса.

Я лично тотчас же почувствовал большую пустоту. Я мало знал Лермонтова, но он, казалось, чувствовал ко мне дружбу. Это был один из тех людей, с которыми я любил встречаться, окидывая взором окружающих меня. Он «присутствовал» в моих мыслях, в моих трудах; его одобрение радовало меня. Он представлял для меня лишний интерес в жизни. Во время его последнего проезда через Москву мы очень часто встречались. Я никогда не забуду нашего последнего свидания, за полчаса до его отъезда. Прощаясь со мной, он оставил мне стихи, его последнее творение. Все это восстает у меня в памяти с поразительною ясностью. Он сидел на том самом месте, на котором я вам теперь пишу.

Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны. Я был последний, который пожал ему руку в Москве.

Собираются печатать его посмертные произведения. Мы снова увидим его имя там, где любили его отыскивать, снова прочтем еще несколько новых вдохновенных творений, всегда искренних, но, как все последние его поэтические вещи, конечно, грустных и вызывающих особенно скорбное чувство при воспоминании, что родник иссяк.

П. И. МАГДЕНКО

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

<Весной> 1841[1] года я в четырехместной коляске с поваром и лакеем, в качестве ремонтера[2] Борисоглебского уланского полка, с подорожною «по казенной надобности» катил с лихой четверней к городу Ставрополю. (В то время на Кавказе возили на почтовых превосходно, как нигде в России.) Мы остановились перед домом, в котором внизу помещалась почтовая станция, а во втором этаже, кажется, единственная тогда в городе гостиница. Покуда человек мой хлопотал о лошадях, я пошел наверх и в ожидании обеда стал бродить по комнатам гостиницы. Помещение ее было довольно комфортабельно: комнаты высокие, мебель прекрасная. Большие растворенные окна дышали свежим, живительным воздухом. Было обеденное время, и я с любопытством озирался на совершенно новую для меня картину. Всюду военные лица, костюмы — ни одного штатского, и все почти раненые: кто без руки, кто без ноги; на лицах рубцы и шрамы; были и вовсе без рук или без ног, на костылях; немало с черными широкими перевязками на голове и руках. Кто в эполетах, кто в сюртуке. Эта картина сбора раненых героев глубоко запала мне в душу. Незадолго перед тем было взято Дарго. Многие из присутствовавших участвовали в славных штурмах этого укрепленного аула.

Зашел я и в бильярдную. По стенам ее тянулись кожаные диваны, на которых восседали штаб- и обер-офицеры, тоже большею частью раненые. Два офицера в сюртуках без эполет, одного и того же полка, играли на бильярде. Один из них, по ту сторону бильярда, с левой моей руки, первый обратил на себя мое внима-

ние. Он был среднего роста, с некрасивыми, но невольно поражавшими каждого, симпатичными чертами, с широким лицом, широкоплечий, с широкими скулами, вообще с широкою костью всего остова, немного сутуловат — словом, то, что называется «сбитый человек». Такие люди бывают одарены более или менее почтенною физическою силой. В партнере его, на которого я обратил затем свое внимание, узнал я бывшего своего товарища Нагорничевского, поступившего в Тенгинский полк, стоявший на Кавказе. Мы сейчас узнали друг друга. Он передал кий другому офицеру и вышел со мною в обеденную комнату.

— Знаешь ли, с кем я играл? — спросил он меня.

— Нет! Где же мне знать — я впервые здесь.

— С Лермонтовым; он был из лейб-гусар за разные проказы переведен по высочайшему повелению в наш полк и едет теперь по окончании отпуска из С.-Петербурга к нам за Лабу.

Отобедав и распростясь с бывшим товарищем, я продолжал путь свой в Пятигорск и Тифлис. Чудное время года, молодость (мне шла двадцать четвертая весна) и дивные, никогда не снившиеся картины величественного Кавказа, который смутно чудился мне из описаний пушкинского «Кавказского пленника», наполняли душу волшебным упоением. Во всю прыть неслися кони, погоняемые молодым осетином. Он вгонял их на кручу, и когда кони, обессилев, останавливались, быстро соскакивал, подкладывал под задние колеса экипажа камни, давал им передохнуть и опять гнал и гнал во всю прыть. И вот с горы, на которую мы взобрались, увидал я знаменитую гряду Кавказских гор, а над ними двух великанов — вершины Эльбруса и Казбека, в неподвижном величии, казалось, внимали одному аллаху. Стали мы спускаться с крутизны — что-то на дороге в долине чернеется. Приблизились мы, и вижу я сломавшуюся телегу, тройку лошадей, ямщика и двух пассажиров, одетых по-кавказски, с шашками и кинжалами. Придержали мы лошадей, спрашиваем: чьи люди? Люди в папахах и черкесках верблюжьего сукна отвечали просьбою сказать на станции господам их, что с ними случилось несчастье — ось сломилась. Кто господа ваши? «Лермонтов и Столыпин», — отвечали они разом.

Приехав на станцию, я вошел в комнату для проезжающих и увидал, уже знакомую мне, личность

Лермонтова в офицерской шинели с отогнутым воротником — после я заметил, что он и на сюртуке своем имел обыкновение отгинать воротник — и другого офицера чрезвычайно представительной наружности, высокого роста, хорошо сложенного, с низкоостриженною прекрасною головой и выразительным лицом. Это был — тогда, кажется, уже капитан гвардейской артиллерии — Столыпин[3]. Я передал им о положении слуг их. Через несколько минут вошел только что прискакавший фельдъегерь с кожаною сумой на груди. Едва переступил он за порог двери, как Лермонтов с кликом: «А, фельдъегерь, фельдъегерь!» — подскочил к нему и начал снимать с него суму. Фельдъегерь сначала было заупрямился. Столыпин стал говорить, что они едут в действующий отряд и что, может быть, к ним есть письма из Петербурга. Фельдъегерь утверждал, что он послан «в армию к начальникам»; но Лермонтов сунул ему что-то в руку, выхватил суму и выложил хранившееся в ней на стол. Она, впрочем, не была ни запечатана, ни заперта. Оказались только запечатанные казенные пакеты; писем не было. Я не мало удивлялся этой проделке. Вот что, думалось мне, могут дозволять себе петербуржцы.

Солнце уже закатилось, когда я приехал в город, или, вернее, только крепость Георгиевскую. Смотритель сказал мне, что ночью ехать дальше не совсем безопасно. Я решился остаться ночевать и в ожидании самовара пошел прогуляться. Вернувшись, я только что принялся пить чай, как в комнату вошли Лермонтов и Столыпин. Они поздоровались со мною, как со старым знакомым, и приняли приглашение выпить чаю. Вошедший смотритель на приказание Лермонтова запрягать лошадей отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях и его не запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось и от смотрительского рассказа, что позавчера в семи верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер. Я с своей стороны тоже стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня, утверждая что-то вроде того, что лучше же приберечь храбрость на время какой-либо экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными разбойниками. К тому же разразился страшный дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решился-

таки заночевать. Принесли что у кого было съестного, явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд за Лабу, чтобы участвовать в «экспедициях против горцев». Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, конечно, доступны не будут...

На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще несколько имен) ; поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему? — быстро спросил Лермонтов, — там комендант старый Ильяшенков, и являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии сорока верст, по тогдашнему — один перегон. Из Георгиевска мне приходилось ехать в одну сторону, им — в другую.

Столыпин сидел, задумавшись. «Ну, что, — спросил я его, — решаетесь, капитан?» — «Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено везти его в отряд. Вон, — говорил он, указывая на стол, — наша подорожная, а там инструкция — посмотрите». Я поглядел на подорожную, которая лежала раскрытою, а развернуть сложенную инструкцию посовестился и, признаться, очень о том сожалею.

Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном:

«Столыпин, едем в Пятигорск! — С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: — Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом — едем в отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?»

Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен, и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: «В Пятигорск, в Пятигорск! позвать людей, нам уже запрягли!» Люди, два дюжих татарина, узнав, в чем дело, упали перед

господами и благодарили их, выражая непритворную радость. «Верно, — думал я, — нелегка пришлась бы им жизнь в отряде».

Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. Лермонтов и я сидели на задней скамье, Столыпин на передней. Нас обдавало целым потоком дождя. Лермонтову хотелось закурить трубку, — оно оказалось немыслимым. Дорогой и Столыпин и я молчали, Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии. Между прочим, он указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне.

Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным.

Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через двадцать в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми, в белом как снег белье и халатах. Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, опоясанный толстым снурком с золотыми желудями на концах. Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним».

Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного своего хорошего знакомого, а потом скоро противника, которому рок судил убить надёжу русскую на поединке.

Я познакомился в Пятигорске со всеми людьми, бывавшими у Лермонтова; но весть о печальной кончине поэта нагнала меня уже вне Пятигорска.

М. Х. ШУЛЬЦ

ВОСПОМИНАНИЯ О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ

(В пересказе Г. К. Градовского)

— Знаете ли, как я очутился на Кавказе? — спросил меня однажды Шульц.

— Будьте добры, расскажите.

— Был я молодым офицером, без связей, без средств. Но тогда все дворянство служило в войске и приобретало положение на военной службе. Служил я в Петербурге. Военному все двери были открыты... Познакомился я с одним семейством, где была дочь красавица... Конечно, я влюбился, но и я ей понравился. По тогдашнему обычаю, сделал предложение родителям девушки и получил *нос.* Они нашли меня недостаточно заслуженным и мало пригодным женихом... Тогда-то я и поехал на Кавказ, заявив, что буду или на щите, или под щитом. Она обещала *ждать.* Это обещание и горячая к ней любовь и окрыляли меня, смягчали горечь разлуки. На Кавказе в то время нетрудно было отличиться: в делах и экспедициях недостатка не было. Чины и награды достались на мою долю... В известном деле под Ахульго [1] я получил несколько ран, но не вышел из строя, пока одна пуля в грудь не повалила меня замертво... Среди убитых и раненых пролежал я весь день... Затем меня подобрали, подлечили, послали за границу на казенный счет для окончательной поправки. За это дело получил я Георгиевский крест. За границей, уже на возвратном пути в Россию, был я в Дрездене. Конечно, пошел в знаменитую картинную галерею... Подхожу и смотрю на Мадонну... Вдруг чувствую, будто электрический ток пробежал по мне, сердце застучало, как молот... Оглядываюсь и не верю своим глазам... Воображение или действительность?.. Возле

меня, около той же картины, стоит *она...* Достаточно было одного взгляда, довольно было двух слов... Мы поняли друг друга и придали особое значение чудесному случаю, сведшему нас после долгих лет разлуки. Моя мадонна осталась верна мне. Родные уже не возражали, и мы обвенчались. Сама судьба соединила нас!

— Прелестный роман, — сказал я.

— Но вы не знаете, почему я рассказал вам эту старую историю. Дело в том, что так же, как вам, я рассказал ее Лермонтову... Давненько это было: вас и на свете тогда еще не было... Мы с ним встречались на Кавказе... Рассказал, и Лермонтов спрашивает меня: «Скажите, что вы чувствовали, когда лежали среди убитых и раненых?» — «Что я чувствовал? Я чувствовал, конечно, беспомощность, жажду под палящими лучами солнца; но в полузабытьи мысли мои часто неслись далеко от поля сражения, к той, ради которой я очутился на Кавказе... Помнит ли она меня, чувствует ли, в каком жалком положении очутился ее жених». Лермонтов промолчал, но через несколько дней встречает меня и говорит: *«Благодарю вас за сюжет.* Хотите прочесть?» И он прочел мне свое известное стихотворение:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана... и т. д.[2]

— Вот для чего я затронул эту древнюю историю... Мне суждено было, совершенно случайно, *вдохновить* такого поэта, как Лермонтов... Это великая честь, и мне думается, что вам приятно узнать происхождение этого стихотворения; известно, что оно положено на музыку и долго распевалось, а может быть, и теперь поется, как прелестнейший, трогательный романс[3].

Рассказ маститого генерала Шульца, правдивого воина, чуждого всякой хлестаковщины, хорошо запечатлелся в моей памяти, и мне даже на одно мгновение не приходило малейшее сомнение в истинности этого сообщения.

Н. И. ЛОРЕР

ИЗ «ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА»

В Ставрополе познакомился я с очень ученым, умным и либеральным доктором Николаем Васильевичем Мейером [1], находившимся при штабе Вельяминова... Он был очень дружен с Лермонтовым, и тот целиком описал его в своем «Герое нашего времени» под именем Вернера, и так верно, что кто только знал Мейера, тот сейчас и узнавал. Мейер был в полном смысле слова умнейший и начитанный человек и, что более еще, хотя медик, истинный христианин. Он знал многих из нашего кружка и помогал некоторым и деньгами, и полезными советами. Он был друг декабристам.

* * *

В это же время в одно утро явился ко мне молодой человек в сюртуке нашего Тенгинского полка, рекомендовался поручиком Лермонтовым, переведенным из лейб-гусарского полка. Он привез мне из Петербурга от племянницы моей, Александры Осиповны Смирновой, письмо и книжку «Imitation de Jesus Christ» [2] в прекрасном переплете. Я тогда еще ничего не знал про Лермонтова, да и он в то время не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени» и другие его сочинения вышли позже [3]. С первого шага нашего знакомства Лермонтов мне не понравился. Я был всегда счастлив нападать на людей симпатичных, теплых, умевших во всех фазисах своей жизни сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствие ко всему высокому, прекрасному, а говоря с Лермонтовым, он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще, и я должен

был показаться ему мягким добряком, ежели он заметил мое душевное спокойствие и забвение всех зол, мною претерпенных от правительства. До сих пор не могу дать себе отчета, почему мне с ним было как-то неловко, и мы расстались вежливо, но холодно. Он ехал в штаб полка, явиться начальству, и весною собирался на воды в Пятигорск. Это второй раз, что он ссылается на Кавказ: в первый за немножко вольные стихи, написанные им на смерть Пушкина Александра Сергеевича, а теперь — говорят разно, — но, кажется, за дуэль (впрочем, не состоявшуюся) с сыном французского посла в Петербурге, Барантом [4].

* * *

При захождении солнца я приехал в Пятигорск. За несколько верст от городка вы чувствуете, что приближаетесь к водам, потому что воздух пропитан серой. Первою заботою моей было найти себе помещение поуютнее и подешевле, и я вскоре нашел себе квартиру по вкусу в так называемой «солдатской слободке» у отставного унтер-офицера, за пятьдесят рублей на весь курс. Квартира моя состояла из двух чистеньких горенок и нравилась мне в особенности тем, что стояла у подошвы обрыва, а окнами выходила на обширную зеленую равнину, замыкавшуюся Эльборусом, который при захождении солнца покрывается обыкновенно розовым блеском.

Устроившись немного, я начал приискивать себе доктора, чтобы, посоветовавшись с ним, начать пить какие-нибудь воды. По рекомендации моего товарища вскоре явился ко мне молодой человек, доктор, по имени Барклай-де-Толли. Я тогда же сказал моему эскулапу: «Ежели вы такой же искусник воскрешать человечество, каким был ваш однофамилец — уничтожать, то я поздравляю вас и наперед твердо уверен, что вылечусь». К сожалению, мой доктор себя не оправдал впоследствии, и вероятно, не поняв моей болезни, как бы ощупью, беспрестанно заставлял меня пробовать разные воды. Наконец опыты эти мне надоели, и я с ним простился.

На третий день моего пребывания в Пятигорске я сделал несколько визитов. А вечером ко мне пришел Александр [5] и артист Шведе, любовались видом и из

моих окон, положили его на полотно, а Шведе впоследствии снял с меня портрет масляными красками.

Мне сказали, что полковник Фрейтаг, командир Куринского полка, жестоко раненный в шею, привезен из экспедиции и желает со мной видеться. Я поспешил исполнить его желание, и он объявил мне печальную весть о том, что товарищ мой по Сибири, Лихарев, убит в последнем деле [6]. После него остались некоторые бумаги на разных языках и портрет красивой женщины превосходной работы, который Фрейтаг, зная мою дружбу с покойным, хотел мне передать. Я узнал портрет жены его, рисованный Изабе в Париже. Я посоветовал полковнику отправить все эти драгоценности к родным покойного и дал адрес.

Лихарев был один из замечательнейших людей своего времени. Он был выпущен из школы колонновожатых, основанной Муравьевым, в Генеральный штаб [7], и при арестовании его, как члена общества, состоял при графе Витте. Он отлично знал четыре языка и говорил и писал на них одинаково свободно, так что мог занять место первого секретаря при любом посольстве. Доброта души его была несравненна. Он всегда готов был не только делиться, но, что <труднее>, отдавать свое последнее. К сожалению, он страстно любил карточную игру и вообще рассеянную жизнь. В последнем деле, где он был убит, он был в стрелках с Лермонтовым, тогда высланным из гвардии. Сражение приходило к концу, и оба приятеля шли рука об руку, споря о Канте и Гегеле, и часто, в жару спора, неосторожно останавливались [8]. Но горская пуля метка, и винтовка редко дает промахи. В одну из таких остановок вражеская пуля поразила Лихарева в спину навылет, и он упал навзничь. Ожесточенная толпа горцев изрубила труп так скоро, что солдаты не поспели на выручку останков товарища-солдата. Где кости сибирского товарища моего? Подобною смертью погиб бесследно и Александр Бестужев [9].

Я очень был рад познакомиться с храбрым, славным Фрейтагом, и мы в частых беседах наших вспоминали про бедного Лихарева. Фрейтаг после этого не долго оставался на Кавказе, вскоре, выздоровев, произведен был в генералы и назначен генерал-квартирмейстером к Паскевичу в Варшаву.

Кто не знает Пятигорска из рассказов, описаний и проч.? Я не берусь его описывать и чувствую, что перо мое слабо для воспроизведения всех красот природы.

Скажу только, что в то время съезды на Кавказские воды были многочисленны, со всех концов России. Кого, бывало, не встретишь на водах? Какая смесь одежд, лиц, состояний! Со всех концов огромной России собираются больные к источникам в надежде — и большею частью справедливой — исцеления. Тут же толпятся и здоровые, приехавшие развлечься и поиграть в картишки. С восходом солнца толпы стоят у целительных источников с своими стаканами. Дамы с грациозным движением опускают на беленьком снурочке свой <стакан> в колодец, казак с нагайкой через плечо — обыкновенного принадлежностью — бросает свой стакан в теплую вонючую воду и потом, залпом выпив какую-нибудь десятую порцию, морщится и не может удержаться, чтоб громко не сказать: «Черт возьми, какая гадость!» Легко больные не строго исполняют предписания своих докторов держать диету, и я слышал, как один из таких звал своего товарища на обед, хвастаясь ему, что получил из колонии два славных поросенка и велел их обоих изжарить к обеду своему.

Гвардейские офицеры после экспедиции нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодости, воды не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после трудной экспедиции. Они бывают также у источников, но без стаканов: лорнеты и хлыстики их заменяют. Везде в виноградных аллеях можно их встретить, увивающихся и любезничающих с дамами.

У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их: Алексей Столыпин (Монго), товарищ Лермонтова по школе и полку в гвардии; Глебов, конногвардеец, с подвязанной рукой, тяжело раненный в ключицу; Тиран, лейб-гусар, Александр Васильчиков, чиновник при Гане для ревизии Кавказского края, сын моего бывшего корпусного командира в гвардии; Сергей Трубецкой, Манзей [10] и другие. Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу. Часто любовались они моею палкою из виноградной лозы, которая меня никогда не оставляла и с которой я таскался по трущобам Кавказа в цепи застрельщиков, — мой верный Антонов, отличный стрелок, как я уже сказал, за меня отстреливался. В одном деле он в моих глазах положил двух горцев, и мы после ходили на них смотреть. Я просил своего полкового командира

наградить моего телохранителя Георгиевским крестом из числа присылаемых в роты, но, оставив в то время отряд, не знаю, получил ли мой Антонов тот крестик, за который кавказский солдат делает часто чудеса молодечества, храбрости, отваги.

Товарищ мой по Сибири Игельстром [11] все пребывание свое на Кавказе провел в этой охоте за людьми в цепи... В белом кителе, с двухствольным ружьем, вечно, бывало, таскается он по кустам и отыскивает своих жертв. В одном деле и ему удалось положить на месте двух горцев. Генерал Раевский [12], делая представление об отличившихся, велел написать в донесении своем, что рядовой саперной роты такой-то убил пятерых горцев. Лишь только Игельстром узнал об этом, то отправился к генералу и объяснил ему неверность слухов, дошедших до него, что он, застрелив только двух, не берет на себя того, чего не сделал. Тогда Раевский, засмеявшись, сказал ему: «Пожалуйста, подари мне этих троих в счет будущего...» Донесение пошло, и Игельстром произведен был в офицеры.

Лев Пушкин приехал в Пятигорск в больших эполетах. Он произведен в майоры, а все тот же! Прибежит на минуту впопыхах, вечно чем-то озабочен, — уж такая натура! Он свел меня с Дмитревским, нарочно приехавшим из Тифлиса, чтобы с нами, декабристами, познакомиться. Дмитревский был поэт и в то время был влюблен и пел прекрасными стихами о каких-то прекрасных карих глазах. Лермонтов восхищался этими стихами и говаривал обыкновенно: «После твоих стихов разлюбишь поневоле черные и голубые очи и полюбишь карие глаза».

Дмитревскому везло, как говорится, и по службе; он назначен был вице-губернатором Кавказской области, но, к сожалению, недолго пользовался этими благами жизни и скоро скончался. Я был с ним некоторое время в переписке и теперь еще храню автограф его «Карих глаз».

* * *

Гвардейская молодежь жила разгульно в Пятигорске, а Лермонтов был душою общества и делал сильное впечатление на женский пол. Стали давать танцевальные вечера, устраивали пикники, кавалькады, прогулки в горы, но для меня они были слишком шумны,

и я не пользовался ими часто. В это же время приехал из Тифлиса командир Нижегородского драгунского полка полковник Сергей Дмитриевич Безобразов, один из красивейших мужчин своего века, и много прибавил к веселью блестящей молодежи. Я знал его еще в Варшаве, когда был адъютантом в. к. Константина Павловича. В то время его смело можно было назвать Аполлоном Бельведерским, а при его любезности, ловкости, уменье танцевать, в особенности мазурку, не мудрено было ему сводить всех полек с ума. В 1841 году я нашел Безобразова уже не тем, и время взяло свое, хотя еще оставило следы прежней красоты.

В июле месяце молодежь задумала дать бал пятигорской публике, которая более или менее, само собою <разумеется>, была между собою знакома. Составилась подписка, и затея приняла громадные размеры. Вся молодежь дружно помогала в устройстве праздника, который 8 июля и был дан на одной из площадок аллеи у огромного грота, великолепно украшенного природой и искусством. Свод грота убрали разноцветными шалями, соединив их в центре в красивый узел и прикрыв круглым зеркалом, стены обтянули персидскими коврами, повесили искусно импровизированные люстры из простых обручей и веревок, обвитых чрезвычайно красиво великолепными живыми цветами и вьющеюся зеленью; снаружи грота, на огромных деревьях аллей, прилегающих к площадке, на которой собирались танцевать, развесили, как говорят, более двух тысяч пятисот разноцветных фонарей... Хор военной музыки поместили на площадке, над гротом, и во время антрактов между танцами звуки музыкальных знаменитостей нежили слух очарованных гостей, бальная музыка стояла в аллее. Красное сукно длинной лентой стлалось до палатки, назначенной служить уборною для дам. Она также убрана шалями и снабжена заботливыми учредителями всем необходимым для самой взыскательной и избалованной красавицы. Там было огромное зеркало в серебряной оправе, щетки, гребни, духи, помада, шпильки, булавки, ленты, тесемки и женщина для прислуги. Уголок этот был так мило отделан, что дамы бегали туда для того только, чтоб налюбоваться им. Роскошный буфет не был также забыт. Природа, как бы согласившись с общим желанием и настроением, выказала себя в самом благоприятном виде. В этот вечер небо было чистого темно-синего цвета и усеяно

бесчисленными серебряными звездами. Ни один листок не шевелился на деревьях. К восьми часам приглашенные по билетам собрались, и танцы быстро следовали один за другим. Неприглашенные, не переходя за черту импровизированной танцевальной залы, окружали густыми рядами кружащихся и веселящихся счастливцев.

Лермонтов необыкновенно много танцевал, да и все общество было как-то особенно настроено к веселью. После одного бешеного тура вальса Лермонтов, весь запыхавшийся от усталости, подошел ко мне и тихо спросил:

— Видите ли вы даму Дмитревского?.. Это его «карие глаза»... Не правда ли, как она хороша?

Я тогда стал пристальнее ее разглядывать и в самом деле нашел ее красавицей. Она была в белом платье какой-то изумительной белизны и свежести. Густые каштановые волосы ее были гладко причесаны, а из-за уха только спускались красивыми локонами на ее плечи; единственная нитка крупного жемчуга красиво расположилась на лебединой шее этой молодой женщины как бы для того, чтобы на ее природной красоте сосредоточить все внимание наблюдателя. Но главное, что поразило бы всякого, это были большие карие глаза, осененные длинными ресницами и темными, хорошо очерченными бровями. Красавица, как бы не зная, что глаза ее прелестны, иногда прищуривалась, а обращаясь к своему кавалеру, вслед за сим скромным движением обдавала его таким огнем, что в состоянии была бы увлечь и, вероятно, увлекала не одного своего поклонника. Я не любопытствовал узнать, кто она, боясь разочароваться тою обстановкой, которою она может быть окружена. Я не хотел знать даже, замужем ли она, опасаясь, что мне назовут и укажут какого-либо уродливого мужа-грузина, армянина или казачьего генерала. На другой день бала она уехала из Пятигорска, а счастливый Дмитревский полетел за ней [13].

Бал продолжался до поздней ночи, или, лучше сказать, до самого утра. Семейство Арнольди удалилось раньше, а скоро и все стали расходиться. Я говорю «расходиться», а не «разъезжаться», потому что экипажей в Пятигорске нет, да и участницы бала жили все недалеко, по бульвару. С вершины грота я видел, как усталые группы спускались на бульвар и белыми пятнами пестрили отблеск едва заметной утренней зари.

Молодежь также разошлась. Фонари стали гаснуть, шум умолк: «и тихо край земли светлеет, и вестник утра, ветер веет, и всходит постепенно день» [14], а я все еще сидел, погруженный в мои мечты, устремив взоры мои в величественный Машук, у подошвы которого тогда находился. Медленными шагами добрел я до своего жилища, и хотя вся долина спала еще в синем тумане, но Эльборус горел уже розовым атласом. При полном рассвете я лег спать. Кто думал тогда, кто мог предвидеть, что через неделю после такого веселого вечера настанет для многих, или, лучше сказать, для всех нас, участников, горесть и сожаление?

В одно утро я собирался идти к минеральному источнику, как к окну моему подъехал какой-то всадник и постучал в стекло нагайкой. Обернувшись, я узнал Лермонтова и просил его слезть и войти, что он и сделал. Мы поговорили с ним несколько минут и потом расстались, а я и не предчувствовал, что вижу его в последний раз... Дуэль его с Мартыновым уже была решена, и <15> июля он был убит.

Мартынов служил в кавалергардах, перешел на Кавказ в линейный казачий полк и только что оставил службу. Он был очень хорош собой и с блестящим светским образованием. Нося по удобству и привычке черкесский костюм, он утрировал вкусы горцев и, само собой разумеется, тем самым навлекал на себя насмешки товарищей, между которыми Лермонтов по складу ума своего был неумолимее всех. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо, но вода и камень точит, и, когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, называя Мартынова «homme à poignard» *, потому что он в самом деле носил одежду черкесскую и ходил постоянно с огромным кинжалом у пояса, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял своей жертвы, и, когда они однажды снова сошлись в доме Верзилиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угроз ничьих не боится, а поведения своего не переменит.

* человек с кинжалом (*фр.*).

Наутро враги взяли себе по секунданту, Мартынов — Глебова, а Лермонтов — А. Васильчикова [15]. Товарищи обоих, находя, что Лермонтов виноват, хотели помирить противников и надеялись, что Мартынов смягчится и первым пожелает сближения. Но судьба устроила иначе, и все переговоры ни к чему не повели, хотя Лермонтов, лечившийся в это время в Железноводске, и уехал туда по совету друзей. Мартынов остался непреклонен, и дуэль была назначена. Антагонисты встретились недалеко от Пятигорска, у подошвы Машука, и Лермонтов был убит наповал — в грудь под сердце, навылет.

На другой день я еще не знал о смерти его, когда встретился с одним товарищем сибирской ссылки, Вигелиным, который, обратившись ко мне, вдруг сказал:

— Знаешь ли ты, что Лермонтов убит?

Ежели бы гром упал к моим ногам, я бы и тогда, думаю, был менее поражен, чем на этот раз. «Когда? Кем?» — мог я только воскликнуть.

Мы оба с Вигелиным пошли к квартире покойника, и тут я увидел Михаила Юрьевича на столе, уже в чистой рубашке и обращенного головою к окну. Человек его обмахивал мух с лица покойника, а живописец Шведе снимал портрет с него масляными красками. Дамы — знакомые и незнакомые — и весь любопытный люд стали тесниться в небольшой комнате, а первые являлись и украшали безжизненное чело поэта цветами... Полный грустных дум, я вышел на бульвар. Во всех углах, на всех аллеях только и было разговоров что о происшествии. Я заметил, что прежде в Пятигорске не было ни одного жандармского офицера, но тут, бог знает откуда, их появилось множество, и на каждой лавочке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Они, как черные враны, почувствовали мертвое тело и нахлынули в мирный приют исцеления, чтоб узнать, отчего, почему, зачем, и потом доносить по команде, правдиво или ложно [16].

Глебова, как военного, посадили на гауптвахту, Васильчикова и Мартынова — в острог, и следствие и суд начались. Вскоре приехал начальник штаба Траскин и велел всей здоровой молодежи из военных отправиться по полкам. Пятигорск опустел.

Со смертью Лермонтова отечество наше лишилось славного поэта, который мог бы заменить нам отчасти покойного А. С. Пушкина, который так же, как и Гри-

боедов, и Бестужев, и Одоевский, все умерли в цветущих летах, полные сил душевных, умственных и телесных, и не своею смертью.

На другой день были похороны при стечении всего Пятигорска. Представители всех полков, в которых Лермонтов волею и неволею служил в продолжение своей короткой жизни, нашлись, чтоб почтить последнею почестью поэта и товарища. Полковник Безобразов был представителем от Нижегородского драгунского полка, я — от Тенгинского пехотного, Тиран — от лейб-гусарского и А. Арнольди — от Гродненского гусарского. На плечах наших вынесли мы гроб из дому и донесли до уединенной могилы кладбища на покатости Машука. По закону священник отказывался было сопровождать останки поэта, но деньги сделали свое, и похороны совершены были со всеми обрядами христианина и воина. Печально опустили мы гроб в могилу, бросили со слезою на глазах горсть земли, и все было кончено.

Через год тело Лермонтова по просьбе бабки его перевезено было в родовое именье его, кажется, Пензенской губернии.

* * *

На другой день я переехал в Железноводск, где находилась и половина семейства Арнольди. <...> Однажды явился ко мне казак с известием, что губернатор Хомутов приехал и просит меня в Пятигорск. Я собрался и приехал. При выезде из Железноводска урядник останавливает моих лошадей.

— Что это значит? — спросил я его.

— При захождении солнца не велено никого выпускать.

— Но, помилуй, солнце еще высоко.

— Никак нельзя, ваше благородие.

— Вот тебе, любезный, двугривенный, пусти меня, и <я> успею засветло переехать благополучно в Пятигорск.

— Извольте ехать, ваше благородие, солнце и впрямь еще не село, — сказал мне соблазненный часовой, и я поехал.

На другой день я прошатался с Хомутовым и племянницей его по Пятигорску, а вечер провел на бульваре, в толпе гуляющих, при звуке музыки полковой,

которая особенно часто тешит публику любимым Aurore-valse.

— Чем кончится судьба Мартынова и двух секундантов? — спросил я одного знакомого.

— Да ведь царь сказал «туда ему и дорога», узнав о смерти Лермонтова, которого не любил, и, я думаю, эти слова послужат к облегчению судьбы и х , — отвечал он мне.

И в самом деле, в то время, когда дуэли так строго преследовались, с убийцею и секундантами обошлись довольно снисходительно. Секундантам зачли в наказание продолжительное содержание их под арестом и велели обойти чином, а Мартынова послали в Киев на покаяние на двенадцать лет. Но он там скоро женился на прехорошенькой польке и поселился в своем собственном доме в Москве.

В. И. ЧИЛЯЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе П. К. Мартьянова)

Дом, где жил Лермонтов, находится в верхнем квартале г. Пятигорска, на верхней городской площадке, и принадлежит отставному майору Василию Ивановичу Чиляеву <...>

В домовой книге майора Чиляева за 1841 год записано так: «С коллежского секретаря Александра Илларионовича князя Васильчикова из СПетербурга получено за три комнаты в старом доме 62 руб. 50 к. сер., с капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова из СПетербурга получено за весь средний дом 100 руб. сер.» <...>

Наружность домика самая непривлекательная. Одноэтажный, турлучный, низенький, он походит на те постройки, которые возводят отставные солдаты в слободках при уездных городах. Главный фасад его выходит на двор и имеет три окна, но все три различной архитектуры. Самое крайнее слева окно в роде итальянского имеет обыкновенную раму о 8-ми стеклах и по бокам полурамы, каждая с 4-мя стеклами, и две ставни. Второе окно имеет одну раму о 8-ми стеклах и одну ставню. Наконец, третье также в одну раму о 8-ми стеклах, но меньше второго на целую четверть и снабжено двумя ставнями. С боку домика с правой стороны пристроены деревянные сени с небольшим о 2-х ступеньках крылечком.

В сенях, кроме небольшой деревянной скамейки, не имеется ничего. Из сеней налево дверь в прихожую. Домик разделен капитальными стенами вдоль и поперек и образует 4 комнаты, из которых две комнаты левой долевой (западной) половины домика обращены

окнами на двор, а другие две правой (восточной) половины — в сад. Первая комната левой половины, в которую ведет дверь из сеней, разгорожена перегородкой в ближайшей ко входу части и образует, как широковещательно определил хозяин, прихожую, приемную и буфет.

Прихожая — небольшая темная комнатка с дверями: прямо — в приемную, направо — в зало. Мебели в прихожей никакой нет. В приемной окно на двор и дверь в спальню. По левой стене, под окном, столик и большая двухспальная кровать, направо в углу часть построенной в центре дома большой голландской печи, у стены стул. Близ стола по задней стене дверь в так называемый буфет. Это маленький чуланчик с четырьмя рядами полок вокруг стен, освещаемый тем маленьким окошком, о котором я упомянул выше. Далее спальня с большим 16-ти стекольным окном и дверью в кабинет. В ней под окном стол с маленьким выдвижным ящиком и 2 стула; у противоположной ко входу стены кровать и платяной шкаф; направо в углу между дверями помещается часть печи.

В кабинете такое же 16-ти стекольное окно, как и в спальне, и дверь в зало; под окном довольно большой стол с выдвижным ящичком, имеющим маленькое медное колечко, и два стула. У глухой стены противу двери в зало прикрытая двумя тоненькими дощечками, длинная и узкая о 6-ти ножках кровать (3 1/4 арш. длины и 14 вершк. ширины) и трехугольный столик. В углу между двумя дверями печь, по сторонам дверей четыре стула.

Зало имеет: два 8-ми стекольные окна налево и одно — прямо. Слева при выходе из кабинета складной обеденный стол. В простенке между окнами стоит ломберный стол, а над столом единственное во всей квартире зеркало; под окнами по два стула. Направо в углу печь. У стены маленький, покрытый войлочным ковром диванчик и маленький же переддиванный об одной ножке столик.

Общий вид квартиры далеко не в ее пользу. Низкие приземистые комнаты, стены которых оклеены не обоями, но просто бумагой, окрашенной домашними средствами: в приемной — мелом, в спальне — голубоватой, в кабинете — светло-серой и в зале — искраснарозовой клеевой краской. Потолок положен прямо на балки и выбелен мелом, полы окрашены желтой, а двери

и окна синеватой масляной краской. Мебель самой простой работы и почти вся, за исключением ломберного ясеневого столика и зеркала красного дерева, окрашена красной масляной краской. Стулья с высокими в переплет спинками и мягкими подушками, обитыми дешевым ивановским узорчатым ситцем.

Все: и наружность дома, и внутреннее его убранство, по уверению домохозяина, сохраняется в том самом виде, как было в 1841 году, во время квартирования Лермонтова. Только в зале вместо окна у дверей в кабинет в то время был выход на маленький крытый балкончик, обветшалый и отнятый впоследствии, да спальня была окрашена бланжевой краской. Перемена же в мебели заключается только в том, что вместо нынешнего, под ковром дивана стоял в зале диван, обитый клеенкой.

Не может не казаться странным, что поэт, имевший хорошие средства к жизни, мог помещаться в таком скромном домике. Впрочем, если принять во внимание, что и теперь, спустя почти 30 лет, Пятигорск не представляет больших удобств для приезжающих на воды, само собой уяснится, почему поэт избрал себе на время курса такое скромное, помещение.

Может быть, причиной тому было то обстоятельство, что рядом был дом генеральши Верзилиной, из-за старшей дочери которой, известной в то время красавицы Эмилии *, произошло, как гласит стоустая молва, то пагубное столкновение, последствием которого была дуэль поэта с Мартыновым.

Василий Иванович Чиляев знал поэта лично и, во время квартирования Михаила Юрьевича в его доме, посещал его не раз. Вот что передавал он мне из воспоминаний о его жизни.

Квартира у Лермонтова и Столыпина была общая, стол они имели дома и жили дружно.

То ли значение имели комнаты у них, как сказано было мне при осмотре домика, он не упомнит, но положительно удостоверил, что комнаты левой половины домика были заняты вещами Столыпина, а ком-

---

* Эмилия Верзилина вышла впоследствии замуж за ставропольского помещика Шангиреева и жила с мужем в Тифлисе. Нужно думать, что это тот самый Шангиреев, которому принадлежат некоторые рукописи Лермонтова, предложенные г. Хохряковым, временным владельцем этих бумаг, в дар Императорской Публичной библиотеке. (*Примеч. П. К. Мартьянова.*)

наты правой стороны вещами Лермонтова. Михаил Юрьевич работал на том самом письменном столе, который теперь стоит в кабинете, и работал большею частию при открытом окне. Под окном стояло черешневое дерево, и он, работая, машинально протягивал руку к осыпанному черешнями дереву, срывал и лакомился черешнями.

Спал он на той же самой кровати, которая стоит в кабинете и теперь. На ней лежал он, когда привезли его с места поединка, лежал он в исторической красной канаусовой рубашке. Кровать эта освящена кровию поэта, а также и обеденный стол, на котором он лежал до положения в гроб.

Квартиру приходил нанимать Лермонтов вместе с Столыпиным. Обойдя комнаты, он остановился на балконе, выходившем в садик, граничивший с садиком Верзилиных, и пока Столыпин делал разные замечания и осведомлялся о цене квартиры, Лермонтов стоял задумавшись. Наконец, когда Столыпин спросил его: «Ну что, Лермонтов, хорошо ли?» — он как будто очнулся и небрежно ответил: «Ничего... здесь будет удобно... дай задаток». Столыпин вынул бумажник и заплатил все деньги за квартиру. Затем они ушли и в тот же день переехали.

Лермонтов любил поесть хорошо, повара имел своего и обедал большею частию дома. На обед готовилось четыре, пять блюд; мороженое же приготовлялось ежедневно.

Лошади у него были свои; одну черкесскую он купил по приезде в Пятигорск. Верхом ездил часто, в особенности любил скакать во весь карьер. Джигитуя перед домом Верзилиных, он до того задергивал своего черкеса, что тот буквально ходил на задних ногах. Барышни приходили в ужас, и было от чего, конь мог ринуться назад и придавить всадника.

Образ жизни его был до известной степени однообразен. Вставал он не рано, часов в 9 или 10 утра, пил чай и уходил из дому, около 2 или 3 часов возвращался домой обедать, затем беседовал с друзьями на балкончике в саду, около 6 часов пил чай и уходил из дому.

Вообще он любил жить открыто, редкий день, чтобы у него кого-нибудь не было. В особенности часто приходили к нему Мартынов, Глебов и князь Васильчиков, которые были с поэтом очень дружны, даже на «ты»,

обедали, гуляли и развлекались большею частию вместе. Но Лермонтов посещал их реже, нежели они его.

— Домик мой, — говорил Василий Иванович, — был как будто приютом самой непринужденной веселости: шутки, смех, остроты царили в нем. Характер Лермонтова был — характер джентльмена, сознающего свое умственное превосходство; он был эгоистичен, сух, гибок и блестящ, как полоса полированной стали, подчас весел, непринужден и остроумен, подчас антипатичен, холоден и едок. Но все эти достоинства, или скорее недостатки, облекались в национальную русскую форму и поражали своей блестящей своеобразностью. Для людей, хорошо знавших Лермонтова, он был поэт-эксцентрик, для не знавших же или мало знавших — поэт-барич, аристократ-офицер, крепостник, в смысле понятия: *хочу — казню, хочу — милую.*

Мартынов и Глебов жили по соседству в доме Верзилиных. Семейство Верзилиных было центром, где собиралась приехавшая на воды молодежь. Оно состояло из матери и двух дочерей, из которых старшая, Эмилия, *роза Кавказа,* как называли ее ее поклонники, кружила головы всей молодежи.

Ухаживал ли за ней поэт серьезно или так, от нечего делать, но ухаживал. В каком положении находились его сердечные дела — покрыто мраком неизвестности.

Известно лишь одно, что m-lle Эмилия была не прочь пококетничать с поэтом, которого называла интимно *Мишель.* Так или иначе, но, как гласит молва, ей нравился больше красивый и статный Мартынов, и она отдала ему будто бы предпочтение. Мартынов выделялся из круга молодежи теми физическими достоинствами, которые так нравятся женщинам, а именно: высоким ростом, выразительными чертами лица и стройностью фигуры. Он носил белый шелковый бешмет и суконную черкеску, рукава которой любил засучивать. Взгляд его был смел, вся фигура, манеры и жесты полны самой беззаветной удали и молодечества. Нисколько не удивительно, если Лермонтов, при всем дружественном к нему расположении, всей силой своего сарказма нещадно бичевал его невыносимую заносчивость. Нет никакого сомнения, что Лермонтов и Мартынов были соперники, один сильный умственно, другой физически. Когда ум стал одолевать грубую стихийную силу, сила сделала последнее усилие —

и задушила ум. Мартынов, говорят, долго искал случая придраться к Лермонтову — и случай выпал: сказанная последним на роковом вечере у Верзилиных острота, по поводу пристрастия Мартынова к засученным рукавам, была признана им за casus belli *.

Выходя из дому Верзилиных, он бесцеремонно остановил Лермонтова за руку и, возвысив голос, резко спросил его: «Долго ли ты будешь издеваться надо мной, в особенности в присутствии дам?.. Я должен предупредить тебя, Лермонтов, — прибавил он, — что если ты не перестанешь насмехаться, то я тебя заставлю перестать», — и он сделал выразительный жест.

Лермонтов рассмеялся и, продолжая идти, спросил:

— Что же ты, обиделся, что ли?

— Да, конечно, обиделся.

— Ну так не хочешь ли требовать удовлетворения?

— Почему и не так...

Тут Лермонтов перебил его словами: «Меня изумляет и твоя выходка, и твой тон... Впрочем, ты знаешь, вызовом меня испугать нельзя, я от дуэли не откажусь... хочешь драться — будем драться».

— Конечно, хочу, — отвечал Мартынов, — и потому разговор этот можешь считать вызовом.

Лермонтов рассмеялся и сказал: «Ты думаешь торжествовать надо мной у барьера. Но это ведь не у ног красавицы».

Мартынов быстро повернулся и пошел назад. Уходя, он сказал, что наутро пришлет секунданта [1].

На все примирительные попытки Глебова и кн. Васильчикова Мартынов требовал одного, чтобы Лермонтов извинился, но Лермонтов не находил это нужным.

Дуэль состоялась через день, Лермонтов с своим секундантом поехали верхом. Дело было под вечер, часу в 6-м или 7-м, Лермонтов, садясь на лошадь, был молчалив и серьезен. Выезжая из ворот, он обернулся назад, посмотрел на дом Верзилиных, и какая-то не то ироничная, не то нервная улыбка осветила его сжатые губы [2]. Поздним вечером привезли тело его в квартиру; дом и двор мгновенно переполнился народом, дамы плакали, а некоторые мочили платки свои в крови убитого, сочившейся из неперевязанной раны. Все, что называлось в Пятигорске обществом, перебывало в течение трех дней, пока покойник лежал в квартире.

---

* причину ссоры (*фр.*).

Город разделился на две партии: одна защищала Мартынова, другая, бóльшая числом, оправдывала Лермонтова. Было слышно даже несколько таких озлобленных голосов против Мартынова, что, не будь он арестован, ему бы несдобровать.

Спустя три дня хоронили поэта при торжественной обстановке. Гроб, обитый малиновым бархатом, несли друзья и почитатели таланта покойного. Погода стояла великолепная. Почти полгорода вышло проводить поэта. Дамы были в трауре. Мартынов просил позволения проститься с покойным, но ему, вероятно ввиду раздражения массы, не позволили. <...>

Достойный комендант этот <Ильяшенков>, когда Глебов явился к нему после дуэли и, рассказав о печальном событии, просил арестовать их, до такой степени растерялся, что не знал, что делать. Расспрашивая Глебова о происшествии, он суетился, бегал из одной комнаты в другую, делал совершенно неуместные замечания; наконец послал за плац-адъютантом[3] и, переговорив с ним, приказал арестовать Мартынова.

Между тем тело Лермонтова привезли с места дуэли к его дому — он приказал отвезти его на гауптвахту. Привезли на гауптвахту, возник вопрос: что с ним делать? Разумеется, оказалось, что телу на гауптвахте не место, повезли его к церкви Всех Скорбящих (что на бульваре) и положили на паперти. Тут оно лежало несколько времени, и только под вечер, по чьему-то внушению, тело было отвезено на квартиру, и там подвергли его медицинскому освидетельствованию.

Могла ли подобная личность дозволить воздать покойному последние воинские почести?

Н. П. РАЕВСКИЙ

РАССКАЗ О ДУЭЛИ ЛЕРМОНТОВА

(В пересказе В. П. Желиховской)

<...> Мы просили почтенного Николая Павловича Раевского, близко знавшего Лермонтова, рассказать, что он помнит о последних днях жизни поэта.

И Николай Павлович рассказал так интересно, что мы слушали, боясь проронить слово.

Николай Павлович Раевский, кажется, теперь единственный, близкий Михаилу Юрьевичу современник, который не только еще живет на свете, но и думает, и чувствует, и откликается своей, еще юной, душой на всякую живую мысль. Я думала попросить его самого записать свои воспоминания, но говорит, что теперь он уже больше «не грамотей», хотя в былые времена несколько лет сотрудничал в «Москвитянине». В помощь мне он принес только конспект своего рассказа, со всеми именами и числами, да план тогдашнего Пятигорска. Записываю его рассказ.

Этому чуть не пятьдесят лет прошло. Пятигорск был не то, что теперь. Городишко был маленький, плохенький; каменных домов почти не было, улиц и половины тех, что теперь застроены, так же. Лестницы, что ведет к Елизаветинской галерее, и помину не было, а бульвар заканчивался полукругом, ходу с которого никуда не было и на котором стояла беседка, где влюбленным можно было приютиться хоть до рассвета. За Елизаветинской галереей, там, где теперь Калмыцкие ванны, была одна общая ванна, т. е. бассейн, выложенный камнем, в котором купались без разбору лет, общественных положений и пола [1]. Был и грот с боко-

выми удобными выходами, да не тот грот на Машуке, что теперь называется Лермонтовским. Лермонтов, может, там и бывал, да не так часто, как в том, о котором я говорю, что на бульваре около Сабанеевских ванн. В нем вся наша ватага частенько пировала, в нем бывали пикники; в нем Лермонтов устроил и свой последний праздник, бывший отчасти причиной его смерти [2]. Была и слободка по сю сторону Подкумка, замечательная тем, что там, что ни баба — то капитанша. Баба — мужик мужиком, а чуть что: «Я капитанша!» Так мы и называли эту слободку «слободкой капитанш». Но жить там никто не жил, потому, во-первых, что капитанши были дамы амбиционные, а во-вторых, в ту сторону спускались на ночь все серные ключи и дышать там было трудно. Была еще и эолова арфа в павильоне на Машуке, ни при каком ветре, однако, не издававшая ни малейшего звука.

Но в Пятигорске была жизнь веселая, привольная; нравы были просты, как в Аркадии. Танцевали мы много и всегда по простоте. Играет, бывало, музыка на бульваре, играет, а после перетащим мы ее в гостиницу к Найтаки, барышень просим прямо с бульвара, без нарядов, ну вот и бал по вдохновению. А в соседней комнате содержатель гостиницы уж нам и ужин готовит. А когда, бывало, затеет начальство настоящий бал, и гостиница уж не трактир, а благородное собрание, — мы, случалось, барышням нашим, которые победней, и платьица даривали. Термалама, мовь и канаус в ход шли, чтобы перед наезжими щеголихами барышни наши не сконфузились. И танцевали мы на этих балах все, бывало, с нашими; такой и обычай был, чтобы в обиду не давать [3].

Зато и слава была у Пятигорска. Всякий туда норовил. Бывало, комендант вышлет к месту служения; крутишься, крутишься, дельце сварганишь, — ан и опять в Пятигорск. В таких делах нам много доктор Ребров помогал. Бывало, подластишься к нему, он даст свидетельство о болезни. Отправит в госпиталь на два дня, а после и домой, за неимением в госпитале места. К таким уловкам и Михаил Юрьевич не раз прибегал.

И слыл Пятигорск тогда за город картежный, вроде кавказского Монако, как его Лермонтов прозвал [4]. Как теперь вижу фигуру сэра Генри Мильса, полковника английской службы и известнейшего игрока тех времен. Каждый курс он в наш город наезжал.

В 1839 году, в экспедиции против Шамиля, я был ранен под Ахульго. <...> Решили отправить меня на излечение в Пятигорск. <...> Петр Семенович Верзилин был в то время уже в чине генерал-майора, но определенных занятий никаких не имел. Некогда он был в бессмертных гусарах, и воспоминания про 12-й год и Адамову голову на мундире были его любимой темой. Некоторое время он служил в штабе, в Ставрополе, при генерале Эмануэле, и в Ставрополе же и женился, будучи вдовым и имея дочку Аграфену Петровну, на очень красивой даме польского происхождения, вдове Марии Ивановне Клингенберг, у которой тоже была дочь, Эмилия Александровна. Впоследствии, когда эти две барышни и родившаяся от нового брака Надежда Петровна выросли, любимой шуткой в банде Лермонтова был следующий математический казус: «У Петра Семеновича две дочери и у Марии Ивановны две. Как же выходит, что барышень только три?» [5] Младшей из этих трех барышень Лермонтов раз сказал следующий экспромт:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд
И букли назад?
Платочек небрежно
Под шейкою нежной
Завязан узлом...
Пропал мой Монго потом! [6]

Дослужившись до чина полковника, Петр Семенович был поставлен наказным атаманом над всем казачьим войском Кавказа и именно в это время поселился в Пятигорске, так как штаб его был там же. Тут он и построил себе большой дом на Кладбищенской улице, в котором жил сам со своею семьей, и маленький, для приезжих, ворота которого выходили прямо в поле, против кладбища. В бытность свою наказным атаманом, он хаживал на усмирение первого польского мятежа в начале 30-х годов, и очень любил вспоминать о своем разгроме местечка Ошмяны; хотя хвалиться тут было нечем, — дело далеко не блестящее. В конце же 30-х годов он был лишен своего атаманства. И вот по какому случаю. Неизвестно с чего ему пришло в голову приравнять себя к древним гетманам украинского казачества, вздев на свою кавказскую папаху белое перо, как то делывали разные Наливайки и Сагайдачные.

Таким-то образом, когда покойный государь Николай Павлович приезжал на Кавказ и увидел этот «маскарад», как он изволил выразиться, Петр Семенович наш слетел со своего места[7]. Хлебосольна и ласкова эта семья была, как в наше время уже не увидишь. Достаточно сказать, что Лермонтов, я, Мартынов и прочие — все жили по годам, со своими слугами, на их хлебах и в их помещении, а о плате никогда никакой речи не было[8].

Когда Петр Семенович и Марья Ивановна узнали, что я в Пятигорске, ранен и нуждаюсь в уходе, они немедленно перетащили меня к себе и дали мне комнату в домике для приезжих. В этом-то домике мне и пришлось, некоторое время спустя, близко узнать покойного Михаила Юрьевича. Я и в прежние времена знавал его, но близок со мною он стал только, когда мы вместе поселились у Верзилиных.

Этот домик для приезжих был разделен на две половины коридором. С одной стороны жил полковник Антон Карлович Зельмиц, прозванный нами «О-то!» за привычку начинать речь с этого междометия, со своими дочерьми, болезненными и незаметными барышнями. Он был адъютантом генерала Эмануэля в то самое время, когда наш общий хозяин служил в его штабе, и между ними велась старинная дружба. С другой же стороны коридора в первой комнате жил я и поручик конной гвардии Михаил Петрович Глебов, называвшийся нами не иначе, как Миша; во второй комнате жил отставной майор Николай Соломонович Мартынов, а в двух последних, из которых одна служит рабочей комнатой, а другая спальней, жили вместе Михаил Юрьевич Лермонтов и его двоюродный брат, самый близкий друг его Столыпин-Монго. В рабочей же комнате Михаила Юрьевича мы все и чай пили по утрам. Вечером-то всегда у Верзилиных бывали, и обедали у них; а по утрам у него; не ставить же каждому порознь самовар?

Любили мы его все. У многих сложился такой взгляд, что у него был тяжелый, придирчивый характер. Ну, так это неправда; знать только нужно было, с какой стороны подойти. Особенным неженкой он не был, а пошлости, к которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними и сам был прост и ласков. Над всеми нами он командир был. Всех окрестил по-своему. Мне,

например, ни от него, ни от других, нам близких людей, иной клички, как Слёток, не было. А его никто даже и не подумал называть иначе, как по имени. Он хотя нас и любил, но вполне близок был с одним Столыпиным. В то время посещались только три дома постоянных обитателей Пятигорска. На первом плане, конечно, стоял дом генерала Верзилина. Там Лермонтов и мы все были дома. Потом, мы также часто бывали у генеральши Катерины Ивановны Мерлини, героини защиты Кисловодска от черкесского набега, случившегося в отсутствие ее мужа, коменданта кисловодской крепости. Ей пришлось самой распорядиться действиями крепостной артиллерии, и она сумела повести дело так, что горцы рассеялись прежде, чем прибыла казачья помощь. За этот подвиг государь Николай Павлович прислал ей бриллиантовые браслеты и фермуар с георгиевскими крестами [9]. Был и еще открытый дом Озерских, приманку в котором составляла миленькая барышня Варенька. Отец ее заведывал Калмыцким улусом, был человек состоятельный, и поэтому она была барышня хорошо образованная; но у них Михаил Юрьевич никогда не бывал, так как там принимали неразборчиво, а поэт не любил, чтобы его смешивали с l'armée russe *, как он окрестил кавказское воинство.

Обычной нашей компанией было, кроме нас, вместе живущих, еще несколько человек, между прочими, полковник Манзей, Лев Сергеевич Пушкин, про которого говорилось: «Мой братец Лев, да друг Плетнев», командир Нижегородского драгунского полка Безобразов и др. Но князя Трубецкого [10], на которого указывается как на человека, близкого Михаилу Юрьевичу в последнее время его жизни, с нами не было. Мы видались с ним иногда, как со многими, но в эпоху, предшествовавшую дуэли, его даже не было в Пятигорске, как и во время самой дуэли. Мы с ним были однополчане, я его хорошо помню и потому не могу в этом случае ошибаться.

Часто устраивались у нас кавалькады, и генеральша Катерина Ивановна почти всегда езжала с нами верхом по-мужски, на казацкой лошади, как и подобает георгиевскому кавалеру. Обыкновенно мы езжали в Шотландку, немецкую колонию в 7-ми верстах от Пятигорска, по дороге в Железноводск. Там нас с распро-

---

* русскими армейскими (*фр.*).

стертыми объятиями встречала немка Анна Ивановна [11], у которой было нечто вроде ресторана и которой мильх и бутерброды, наравне с двумя миленькими прислужницами Милле и Гретхен, составляли погибель для l'armée russe.

У нас велся точный отчет об наших parties de plaisir *. Их выдающиеся эпизоды мы рисовали в «альбоме приключений», в котором можно было найти все: и кавалькады, и пикники, и всех действующих лиц. После этот альбом достался князю Васильчикову или Столыпину; не помню, кому именно. Все приезжие и постоянные жители Пятигорска получали от Михаила Юрьевича прозвища. И язык же у него был! Как, бывало, прозовет кого, так кличка и пристанет. Между приезжими барынями были и belles pâles и grenouilles évanouies **. А дочка калужской помещицы Быховец, имени которой я не помню именно потому, что людей, окрещенных Лермонтовым, никогда не называли их христианскими именами, получила прозвище la belle noire ***. Они жили напротив Верзилиных, и с ними мы особенно часто видались.

Николай Соломонович Мартынов поселился в домике для приезжих позже нас и явился к нам истым денди à la Circassienne ****. Он брил по-черкесски голову и носил необъятной величины кинжал, из-за которого Михаил Юрьевич и прозвал его poignard'ом *****. Эта кличка, приставшая к Мартынову еще больше, чем другие лермонтовские прозвища, и была главной причиной их дуэли, наравне с другими маленькими делами, поведшими за собой большие последствия. Они знакомы были еще в Петербурге, и хотя Лермонтов и не подпускал его особенно близко к себе, но все же не ставил его наряду с презираемыми им людьми. Между нами говорилось, что это от того, что одна из сестер Мартынова пользовалась большим вниманием Михаила Юрьевича в прежние годы и что даже он списал свою княжну Мери именно с нее. Годами Мартынов был старше нас всех; и, приехавши, сейчас же принялся перетягивать все внимание belle noire, милости которой мы все добивались, исключительно на

---

* увеселительных прогулках (*фр.*).
** бледные красавицы и лягушки в обмороке (*фр*).
*** прекрасной смуглянки (*фр.*).
**** по-черкесски (*фр.*).
***** кинжалом (*фр.*).

свою сторону. Хотя Михаил Юрьевич особенного старания не прилагал, а так только вместе со всеми нами забавлялся, но действия Мартынова ему не понравились и раздражали его[13]. Вследствие этого он насмешничал над ним и настаивал на своем прозвище, не обращая внимания на очевидное неудовольствие приятеля, пуще прежнего.

Как-то раз, недели за три-четыре до дуэли, мы сговорились, по мысли Лермонтова, устроить пикник в нашем обычном гроте у Сабанеевских ванн. Распорядителем на наших праздниках бывал обыкновенно генерал князь Владимир Сергеевич Голицын, но в этот раз он с чего-то заупрямился и стал говорить, что неприлично женщин хорошего общества угощать постоянными трактирными ужинами после танцев с кем ни попало на открытом воздухе. Лермонтов возразил ему, что здесь не Петербург, что то, что неприлично в столице, совершенно на своем месте на водах с разношерстным обществом. На это князь предложил устроить настоящий бал в казенном Ботаническом саду. Лермонтов заметил, что не всем это удобно, что казенный сад далеко за городом и что затруднительно будет препроводить наших дам, усталых после танцев, позднею ночью обратно в город. Ведь биржевых-то дрожек в городе было 3—4, а свои экипажи у кого были. Так не на повозках же тащить?

— Так здешних дикарей учить надо! — сказал князь.

Лермонтов ничего ему не возразил, но этот отзыв князя Голицына о людях, которых он уважал и в среде которых жил, засел у него в памяти, и, возвратившись домой, он сказал нам:

— Господа! На что нам непременное главенство князя на наших пикниках? Не хочет он быть у нас, — и не надо. Мы и без него сумеем справиться.

Не скажи Михаил Юрьевич этих слов, никому бы из нас и в голову не пришло перечить Голицыну, а тут словно нас бес дернул. Мы принялись за дело с таким рвением, что праздник вышел — прелесть. Площадку перед гротом занесли досками для танцев, грот убрали зеленью, коврами, фонариками, а гостей звали, по обыкновению, с бульвара. Лермонтов был очень весел, не уходил в себя и от души шутил и смеялся, несмотря на присутствие armée russe. Нечего и говорить, что князя Голицына не только не пригласили на наш пик-

ник, но даже не дали ему об нем знать. Но ведь немыслимо же было, чтоб он не узнал о нашей проделке в таком маленьком городишке. Узнал князь и крепко разгневался: то он у нас голова был, а тут вдруг и гостем не позван. Да и не хорошо это было: почтенный он был, заслуженный человек.

Ну да только так не так, а слышим мы через некоторое время, что и князь от своей мысли не отстал; выписывает угощение, устраивает ротонду в казенном саду, сзывает гостей, а нашей банде ни слова! Михаил Юрьевич как узнал, что нас-то обошли, и говорит нам:

— Что ж? Прекрасно. Пускай он себе дам из слободки набирает, благо там капитанш много. Нас он не зовет, и, даю голову на отсечение, ни одна из наших дам у него не будет!

Разослал он нас, кого куда, во все стороны с убедительной просьбой в день княжеского бала пожаловать на вечеринку к Верзилиным. Мы дельце живо оборудовали. Никто к князю Голицыну не поехал: ни Верзилинские барышни [14], ни дочки доктора Лебединского, ни Варенька Озерская [15]. А про la belle noire и говорить нечего. Все отозвались, что приглашены уже к Верзилиным, а хозяйка Марья Ивановна ничего не знает про то, что у нее бал собирается.

Вот собрались мы все и перед танцами вздумали музыкой заняться. А у Михаила Юрьевича, надо вам знать, была странность: терпеть он не мог, когда кто из любителей, даже и талантливый, играть или петь начнет; и всегда это его раздражало.

Я и сам пел, он ничего, мне позволял, потому что любил меня. Вот тоже и со стихами моими бывало. Был у нас чиновничек из Петербурга, Отрешков-Терещенко [16] по фамилии, и грамотей считался. Он же потом первый и написал в русские газеты, не помню куда именно, о дуэли и смерти Лермонтова. Ну, так вот, этот чиновник стишки писал. И знаю я, что ничуть не хуже меня. А вот поди ж ты! Попросит его Михаил Юрьевич почитать что-нибудь и хвалит, да так хвалит, что мы рады были бы себе языки пооткусывать, лишь бы свой хохот скрыть. А мои стишки, хоть и не лучше, а слушает, ничего не говорит. Ну, так же вот и с музыкой было.

А тут, как на грех, засел за фортепиано юнкер один, офицерства дожидавшийся, Бенкендорф. Играл он недурно, скорей даже хорошо; но беда в том, что

Михаил Юрьевич его не очень-то жаловал; говорили даже, что и Грушницкого с него списал.

Как началась наша музыка, Михаил Юрьевич уселся в сторонке, в уголку, ногу на ногу закинув, что его обычной позой было, и не говорит ничего; а я-то уж вижу по глазам его, что ему не по себе. Взгляд у него был необыкновенный, а глаза черные. Верите ли, если начнет кого, хоть на пари, взглядом преследовать, — загоняет, места себе человек не найдет. Подошел я к нему, а он и говорит:

— Слёток! будет с нас музыки. Садись вместо него, играй кадриль. Пусть уж лучше танцуют.

Я послушался, стал играть французскую кадриль. Разместились все, а одной барышне кавалера недостало. Михаил Юрьевич почти никогда не танцевал. Я никогда его танцующим не видал. А тут вдруг Николай Соломонович, poignard наш, жалует. Запоздал, потому франт! Как пойдет ноготки полировать да душиться, — часы так и бегут. Вошел. Ну просто сияет. Бешметик беленький, черкеска верблюжьего тонкого сукна без галунчика, а только черной тесемкой обшита, и серебряный кинжал чуть не до полу. Как он вошел, ему и крикнул кто-то из нас:

— Poignard! вот дама. Становитесь в пару, сейчас начнем.

Он — будто и не слыхал, поморщился слегка и прошел в диванную, где сидели Марья Ивановна Верзилина и ее старшая дочь Эмилия Александровна Клингенберг. Уж очень ему этим poignard'ом надоедали. И от своих, и от приезжих, и от l'armée russe ему другого имени не было. А, на беду, барышня оказалась из бедненьких, и от этого Михаил Юрьевич еще пуще рассердился. Жаль, забыл я, кто именно была эта барышня. Однако, ничего, протанцевали кадриль. Барышня, переконфуженная такая, подходит ко мне и просит, чтобы пустил я ее играть, а сам бы потанцевал. Я пустил ее и вижу, что Мартынов вошел в залу, а Михаил Юрьевич и говорит громко:

— Велика важность, что poignard'ом назвали. Не след бы из-за этого неучтивости делать!

А Мартынов в лице изменился и отвечает:

— Михаил Юрьевич! Я много раз просил!.. Пора бы и перестать!

Михаил Юрьевич сдержался, ничего ему не ответил, потому что видел, какая от этих слов на всех лицах

легла тень. Да только видно было, что его весь вечер крутило. Тут и с князем Голицыным, которого, в сущности, он уважал, размолвка, тут и от музыки раздражение, да и мысль, что вот-де барышень лишили и без того удовольствия по своему же капризу, да еще и ссориться при них вздумали. Вечер-то и сошел благополучно.

А после, как кончился ужин, стали мы расходиться, Михаил Юрьевич и Столыпин поотстали, а Мартынов подошел к Глебову и говорит ему:

— Послушай, Миша! Скажи Михаилу Юрьевичу, что мне это крепко надоело. Хорошо пошутить, да и бросить. Скажи, что дурным может кончиться.

А Лермонтов, откуда ни возьмись, тут как тут.

— Что ж? — говорит, — можете требовать удовлетворения.

Мартынов поклонился, и разошлись.

Меня-то при этом не было. Я, как был помоложе всех, всегда забегал вперед ворота отворять, да мне после Глебов рассказывал.

Конечно, эта размолвка между приятелями произвела на всех нас неприятное впечатление. Мы с Глебовым говорили об ней до глубокой ночи и решили наутро собраться всем вместе и потолковать, как делу пособить.

Но ни тогда, ни после, до самой той минуты, когда мы узнали, что все уже кончено, нам и в голову не приходили какие бы то ни было серьезные опасения. Думали, так себе, повздорили приятели, а после и помирятся. Только хотелось бы, чтобы поскорее все это кончилось, потому что мешала их ссора нашим увеселениям. А Мартынов и стрелять-то совсем не умел. Раз мы стреляли все вместе, забавы ради, так Николай Соломонович метил в забор, а попал в корову. Так понятно, что мы и не беспокоились.

На другое утро собрались мы в нашей с Глебовым комнате. Пришел и некий поручик Дорохов, знаменитый тем, что в 14-ти дуэлях участие принимал, за что и назывался он у нас бретер. Как человек опытный, он нам и дал совет.

— В таких, — говорит, — случаях принято противников разлучать на некоторое время. Раздражение пройдет, а там, бог даст, и сами помирятся.

Мы и его послушаться согласились, да и еще решили попросить кого-нибудь из старших переговорить с нашими спорщиками. Кого же было просить? Петр

Семенович Верзилин, может, еще за месяц перед тем уехал в Варшаву хлопотать о какой-нибудь должности для себя. Был у нас еще один друг, старик Ильяшенко. Он нашу банду очень любил, а в особенности Лермонтова, хотя, бывало, когда станешь его просить не высылать из Пятигорска, он всегда бранится да приговаривает: «Убей меня бог, что вы, мальчишки, со мной делаете!» Ну, да его нельзя было в такое дело мешать, потому что он комендантом Пятигорска был. Думали полковника Зельмица, что вместе с нами жил, попросить, да решили, что он помолчать не сумеет. Он всегда, как что-нибудь проведает, сейчас же бежит всех дам оповещать. Ну, так нам же не было охоты барынь наших пугать, тем более что и сами мы смотрели на эту историю как на пустяки. Оставался нам, значит, один только полковник Манзей, тот самый, которому Лермонтов раз сказал:

Куда, седой прелюбодей,
Стремишь своей ты мысли беги?
Кругом с арбузами телеги
И нет порядочных людей!

Позвали мы его, рассказали ему всю историю. Он поговорить со спорщиками не отказался, но совершенно основательно заметил, что с Лермонтовым ему не совладать, а что лучше было бы, кабы Столыпин с ним сперва поговорил. Столыпин сейчас же пошел в рабочую комнату, где Михаил Юрьевич чем-то был занят. Говорили они довольно долго, а мы сидели и ждали, дыхание притаивши.

Столыпин нам после рассказывал, как было дело. Он, как только вошел к нему, стал его уговаривать и сказал, что мы бы все рады были, кабы он уехал.

— Мало тебе и без того неприятностей было? Только что эта история с Барантом, а тут опять. Уезжай ты, сделай милость!

Михаил Юрьевич не рассердился: знал ведь, что все мы его любим.

— Изволь, — говорит, — уеду и все сделаю, как вы хотите.

И сказал он тут же, что в случае дуэли Мартынов пускай делает, как знает, а что сам он целить не станет. «Рука, — сказал, — на него не поднимается!»

Как Столыпин рассказал нам все это, мы обрадовались. Велели лошадь седлать, и уехал наш Михаил Юрьевич в Железноводск.

Устроили мы это дело, да и подумали, что конец, — и с Мартыновым всякие предосторожности оставили. Ан и вышло, что маху дали. Пошли к нему все, стали его убеждать, а он сидит угрюмый.

— Нет, — говорит, — господа, я не шучу. Я много раз его просил прежде, как друга; а теперь уж от дуэли не откажусь.

Мы как ни старались — ничего не помогло. Так и разошлись. Предали все в руки времени. Авось-де он это так сгоряча, а после, может, и обойдется. Ну, и побежали день за днем. В то время и la belle noire в Железноводск уехала. Ее матери там надо было лечиться.

Мы подождали недели полторы [17]. Видим, что Мартынов развеселился, о прошлом ни слова не поминает; стали подумывать о том, как бы изгнанника нашего из Железноводска вернуть: скучно ведь ему там одному. Собрались мы все опять. И Манзей тут был, и Дорохов, и князь Васильчиков, дерптский студент, что лечиться в Пятигорск приехал [18]. Его отец чем-то видным при дворе государя Николая Павловича был; чуть ли не шталмейстером, да уж хорошо не помню. И государь его очень любил, сказывали. Сошлись мы все, а тут и Мартынов жалует. Догадался он, что ли, о чем мы речь собрались держать, да только без всяких предисловий нас так и огорошил.

— Что ж, господа, — говорит, — скоро ли ожидается благополучное возвращение из путешествия? Я уж давно дожидаюсь. Можно бы понять, что я не шучу!

Тут кто-то из нас и спросил:

— Кто же у вас секундантом будет?

— Да вот, — отвечает: — я был бы очень благодарен князю Васильчикову, если б он согласился сделать мне эту честь! — и вышел.

Мы давай судить да рядить. А бретер Дорохов опять свое слово вставил:

— Можно, господа, так устроить, чтобы секунданты постановили какие угодно условия.

Мы и порешили, чтобы они дрались в 30-ти шагах и чтобы Михаил Юрьевич стоял выше, чем Мартынов. Вверх еще труднее целить. Сейчас же отправились на Машук и место там выбрали за кладбищем. Глебов и еще кто-то, кажется, Столыпин, хорошо не помню, отправились сообщить об этом Михаилу Юрьевичу, и встретили его по дороге, в Шотландке, у немки Анны

Ивановны. А князь Васильчиков сказал Мартынову, что будет его секундантом с условием, чтобы никаких возражений ни со стороны его самого, ни со стороны его противника не было. Посланные так и сказали Михаилу Юрьевичу.

Он сказал, что согласен, повторил только опять, что целить не будет, на воздух выстрелит, как и с Барантом; и тут же попросил Глебова секундантом у него быть. Как только переговорили, приезжает la belle noire с матерью. Уж не знаю, сговорились они так с Михаилом Юрьевичем или случайно она туда приехала; но он был с ней очень любезен в этот вечер, шутил и смеялся с ней. А у нее, по тогдашней моде, на лбу была фероньерка надета на узеньком золотом ободке.

Михаил Юрьевич снял с ее головы эту фероньерку и все время, пока болтал с ней, навертывал на пальцы гибкий ободок; потом спрятал в правый карман и сказал ей:

— Оставьте эту вещицу у меня, вам после отдадут [19].

После он вместе с ними в Железноводск вернулся, а наши посланные в Пятигорск возвратились.

На другой день, 15 июля 1841 года, после обеда, видим, что Мартынов с Васильчиковым выехали из ворот на дрожках. Глебов же еще раньше верхом поехал Михаила Юрьевича встретить. А мы дома пир готовим, шампанского накупили, чтобы примирение друзей отпраздновать. Так и решили, что Мартынов уж никак не попадет. Ему первому стрелять, как обиженной стороне, а Михаил Юрьевич и совсем целить не станет. Значит, и кончится ничем.

Когда они все сошлись на заранее выбранном месте и противников поставили, как было условлено: Михаила Юрьевича выше Мартынова и спиной к Машуку, — Глебов отмерил 30 шагов и бросил шапку на то место, где остановился, а князь Васильчиков, — он такой тонкий, длинноногий был, — подошел да и оттолкнул ее ногой, так что шапка на много шагов еще откатилась.

— Тут вам и стоять, где она лежит, — сказал он Мартынову.

Мартынов и стал, как было условлено, без возражений. Больше 30-ти шагов — не шутка! Тут хотя бы и из ружья стрелять. Пистолеты-то были Кухенрейтера, да и из них на таком расстоянии не попасть. А к тому ж еще целый день дождь лил, так Машук весь туманом заволокло: в десяти шагах ничего не видать. Мартынов

снял черкеску, а Михаил Юрьевич только сюртук расстегнул. Глебов просчитал до трех раз, и Мартынов выстрелил. Как дымок-то рассеялся, они и видят, что Михаил Юрьевич упал. Глебов первый подбежал к нему и видит, что как раз в правый бок и, руку задевши, навылет *. И последние свои слова Михаил Юрьевич ему сказал:

— Миша, умираю...

Тут и Мартынов подошел, земно поклонился и сказал:

— Прости меня, Михаил Юрьевич!

Потому что, как он после говорил нам всем, не хотел он убить его, и в ногу, а не в грудь целил.

А мы дома с шампанским ждем. Видим, едут Мартынов и князь Васильчиков. Мы к ним навстречу бросились. Николай Соломонович никому ни слова не сказал и, темнее ночи, к себе в комнату прошел, а после прямо отправился к коменданту Ильяшенко и все рассказал ему. Мы с расспросами к князю, а он только и сказал: «Убит!» — и заплакал. Мы чуть не рехнулись от неожиданности; все плакали, как малые дети. Полковник же Зельмиц, как услышал, — бегом к Марии Ивановне Верзилиной и кричит:

— О-то! ваше превосходительство, наповал!

А та, ничего не зная, ничего и не поняла сразу, а когда уразумела в чем дело, так, как сидела, на пол и свалилась. Барышни ее услыхали, — и что тут поднялось, так и описать нельзя. А Антон Карлыч наш кашу заварил, да и домой убежал. Положим, хорошо сделал, что вернулся: он нам-то и понадобился в это время.

Приехал Глебов, сказал, что покрыл тело шинелью своею, а сам под дождем больше ждать не мог. А дождь, перестав было, опять беспрерывный заморосил. Отправили мы извозчика биржевого за телом, так он с полудороги вернулся: колеса вязнут, ехать невозможно. И пришлось нам телегу нанять. А послать кого с телегой — и не знаем, потому что все мы никуда не годились и никто своих слез удержать не мог. Ну, и попросили

---

* В «Хрестоматии для всех» Гербеля в биографии Лермонтова сказано, что поэт был убит выстрелом в самое сердце. Но Н. П. Раевский сказал мне, когда я ему указала на это, что этого не могло быть уже по одному тому, что, держа пистолет в правой руке, выставляют вперед и правый же бок. Он вполне уверен, что не ошибается. (*Примеч. В. П. Желиховской.*)

полковника Зельмица. Дал я ему своего Николая, и столыпинский грузин с ними отправился. А грузин, что Лермонтову служил, так так убивался, так причитал, что его и с места сдвинуть нельзя было. Это я к тому говорю, что, если бы у Михаила Юрьевича характер, как многие думают, в самом деле был заносчивый и неприятный, так прислуга бы не могла так к нему привязываться.

Когда тело привезли, мы убрали рабочую комнату Михаила Юрьевича, заняли у Зельмица большой стол и накрыли его скатертью. Когда пришлось обмывать тело, сюртука невозможно было снять, руки совсем закоченели. Правая рука как держала пистолет, так и осталась. Нужно было сюртук на спине распороть, и тут все мы видели, что навылет пуля проскочила, да и фероньерка belle noire в правом кармане нашлась, вся в крови. В день похорон m-lle Быховец как сумасшедшая прибежала, так ее эта новость поразила, и взяла свою фероньерку, как она была, даже вымыть, не то что починить не позволила.

Глебов с Васильчиковым тоже отправились, вслед за Мартыновым, к коменданту Ильяшенко. И когда явились они, он сказал:

— Мальчишки, мальчишки, убей меня бог! Что вы наделали, кого вы убили! — И заплакал старик.

Сейчас же они все трое были на гауптвахту отправлены и сидели там долгое время.

А мы дома снуем из угла в угол как потерянные. И то уж мы не знали, как вещи-то на свете делаются, потому что, по тогдашней глупой моде, неверием хвастались, а тут и совсем одурели *. Ходим вокруг тела да плачем, а для похорон ничего не делаем. Дело было поздно вечером, из публики никто не узнал, а Марья Ивановна Верзилина соберется пойти телу покланяться, дойдет до подъезда, да и падает без чувств. Только уж часов в одиннадцать ночи приехал к нам Ильяшенко, сказал, что гроб уж он заказал, и велел

* Тут Николай Павлович Раевский приводил рассказ о том, как Лермонтов и Столыпин, будучи проездом в Воронеже, сказали друг другу, что пойдут побродить в одиночестве, и неожиданно, представляясь оба неверующими, встретились в соборе, куда каждый пошел втайне от другого. Столыпин принял удивленный вид и спрашивает: «Как ты сюда попал?» А Лермонтов смутился так и говорит: «Да бабушка велела Угоднику здешнему молебен отслужить! А ты зачем?» И когда Столыпин ответил, что и ему тоже бабушка велела, оба отвернулись. Так все же сильно это тогда было! (*Примеч. В. П. Желиховской.*)

нам завтра пойти священника попросить. Мы уж и сами об этом подумывали, потому что знали, что бабушка поэта, Елизавета Алексеевна Арсеньева, женщина очень богомольная и никогда бы не утешилась, если б ее внука похоронили не по церковным установлениям. Столыпин, конечно, ее хорошо знал, да и я к ней в ранней молодости хаживал, потому что наши имения были смежные, хотя и считались в разных губерниях. На другой день Столыпин и я отправились к священнику единственной в то время православной церковки в Пятигорске. Встретила нас красавица-попадья, сказала нам, что слышала о нашем несчастии, поплакала, но тут же прибавила, что батюшки нет и что вернется он только к вечеру. Мы стали ее просить, целовали у нее и ручки, чтобы уговорила она батюшку весь обряд совершить. Она нам обещала свое содействие, а мы, чтоб уж она не могла на попятный пойти, тут же ей и подарочек прислали, разных шелков тогдашних, и о цене не спрашивали.

Вернулись домой, а народу много набралось: и приезжие, и офицеры, и казачки из слободки. Принесли и гроб, и хорошо так его белым глазетом обили. Мы уж собрались тело в него класть, когда кто-то из публики сказал, что так нельзя, что надо сперва гроб освятить. А где нам святой воды достать! Посоветовали нам на слободку послать, потому что там у всякой казачки есть святая вода в пузырьке за образом, да у кого-то из прислуги нашлось. Мы хотя, в гроб тело положивши, и пропели все хором «Святый Боже, святый крепкий...» и покрестились, даром что не христиане были, но полагали, что этого недостаточно, и очень беспокоились об отсутствии священника. Тут же из публики и подушку в гроб сшили, и цветов принесли, и нам всем креп на рукава навязали. Нам бы самим не догадаться.

На другой день опять мы со Столыпиным пошли к священнику. Матушка-то его предупредила, но он все же не сразу согласился, и пришлось Столыпину ему, вместо 50-ти, 200 рублей пообещать. Решили мы с ним, что, коли своих денег не хватит, у Верзилиных занять; а уж никак не скупиться. Однако батюшка все настаивал на том, что, по такой-то-де главе Стоглава, дуэлисты причтены к самоубийцам, и потому Михаилу Юрьевичу никакой заупокойной службы не полагается и хоронить его следует вне кладбища. Боялся он очень

от архиерея за это выговор получить. Мы стали было уверять его, что архиерей не узнает, а он тут и говорит:

— Вот если бы комендант дал мне записочку, что в своем доносе он обо мне не упомянет, я был бы спокоен.

Мы попробовали у Ильяшенко эту записочку для священника выпросить, но он сказал, что этого нельзя, а велел на словах передать, что хуже будет, когда узнают, что такого человека дали без заупокойных служений похоронить. Сказали мы это батюшке, а он опять заартачился. Однако, когда ему еще и икону обещали в церковь дать, он обещался прийти. А икона была богатая, в серебряной ризе и с камнями драгоценными, — одна из тех, которых бабушка Михаила Юрьевича ему целый иконостас надарила.

Мы вернулись домой с успокоенным сердцем. Народу — море целое. Все ждут, а священника все нет. Как тут быть? Вдруг из публики католический ксендз, спасибо ему, вызвался.

— Он боится, — говорит, — а я не боюсь, и понимаю, что такого человека, как собаку, не хоронят. Давайте-ка я литию и панихиду отслужу.

Мы к этому были привычны, так как в поход с нами ходили по очереди то католический, то православный священник, поэтому с радостию согласились.

Когда он отслужил, то и лютеранский священник, тут бывший, гроб благословил, речь сказал и по-своему стал служить. Одного только православного батюшки при сем не было. Уж народ стал расходиться, когда он пришел, и, узнавши, что священнослужители других вероисповеданий служили прежде него, отказался служить, так как нашел, что этого довольно. Насилу мы его убедили, что на похоронах человека грекороссийского вероисповедания полагается и служение православное.

При выносе же тела, когда увидел наш батюшка музыку и солдат, как и следует на похоронах офицера, он опять испугался.

— Уберите трубачей, — говорит, — нельзя, чтобы самоубийцу так хоронили.

Пришлось хоть на время спрятать музыку.

Похороны вышли торжественные. Весь народ был в трауре. И кого только не было на этих похоронах.

Когда могилу засыпали, так тут же ее чуть не разобрали: все бросились на память об Лермонтове булыжников мелких с его могилы набирать. Потом долгое еще время всем пятигорским золотых дел мастерам только и работы было, что вделывать в браслеты, серьги и брошки эти камешки. А кольца в моду вошли тогда масонские, такие, что с одной стороны Гордиев узел, как тогда называли, а с другой камень с могилы Лермонтова. После похорон был поминальный обед, на который пригодилось наше угощение, приготовленное за два дня пред тем с совсем иною целью. Тогда же Столыпин отдал батюшке и деньги, и икону; а мы тогда же и черновую рукопись «Героя нашего времени», оказавшуюся в столе в рабочей комнате, на память по листкам разобрали.

Немецкий художник Шведе нарисовал портрет с Михаила Юрьевича в гробу для коменданта Ильяшенко. С него и я сделал копии для себя и для Марии Ивановны Верзилиной, а после акварелью и для Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Этот же художник нарисовал прекрасный проект памятника на могилу Лермонтова, для которого в один день было собрано 1500 рублей; но их пришлось возвратить, когда стало известно, что бабушка поэта хлопочет о перемещении тела его в ее имение.

Вся наша компания скоро разлетелась. Столыпин уехал тогда же; Верзилиных вскоре выписал Петр Семенович в Варшаву; а я еще долго оставался в Пятигорске и был там, когда гроб, шесть месяцев спустя, вырыли для отправления в Россию. Впрочем, при этом были еще и Верзилины. Пришлось мне также быть свидетелем того, как ненависть прекрасного пола к Мартынову, сидевшему на гауптвахте, перешла мало-помалу в сострадание, смягчаемая его прекрасною, заунывною игрою на фортепиано и печальным видом его черного бархатного траура. Глебова и князя Васильчикова выпустили без всякого наказания, слава богу, благодаря расположению государя Николая Павловича к отцу последнего; хотя, говорили, Васильчиков воздерживался от всякого представительства за сына. Да и сам Мартынов недолго насиделся: он был приговорен к церковному покаянию в Киев и уехал в Россию.

Во время допроса никто из нас не показывал всей истины, чтобы не впутать в это дело семьи Верзилиных,

и приехавший для допроса следователь, жандармский полковник Кувшинников, сам своими советами помог нам выгородить Марию Ивановну и ее дочерей.

Доктор Раевский рассказывал нам еще много интересного, относящегося до прошлого России, но я взялась в этом рассказе записать из его речей только то, что имеет хоть какую-нибудь связь с жизнью и смертью одного из известнейших русских поэтов. Поэтому мне остается упомянуть еще только о встрече его с Николаем Соломоновичем Мартыновым перед самой Крымской кампанией в одном из московских клубов. Они никогда не были особенно расположены друг к другу, но тут встретились как истинные друзья, и много горьких и веселых воспоминаний пришло им на память. Это была его последняя встреча с одним из знаемых им людей в то далекое время, когда они жили под гостеприимной кровлей семьи Верзилиных и составляли обычный кружок вокруг Михаила Юрьевича Лермонтова.

Э. А. ШАН-ГИРЕЙ

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕРМОНТОВЕ

Часто слышу я рассказы и расспросы о дуэли М. Ю. Лермонтова; не раз приходилось и мне самой отвечать и словесно и письменно; даже печатно принуждена была опровергать ложное обвинение, будто я была причиною дуэли. Но, несмотря на все мои заявления, многие до сих пор признают во мне *княжну Мери.*

Каково же было мое удивление, когда я прочла в биографии Лермонтова в последнем издании его сочинений: [1] «Старшая дочь ген. Верзилина Эмилия кокетничала с Лермонтовым и Мартыновым, отдавая преимущество последнему, чем и возбудила в них ревность, что и подало повод к дуэли».

В мае месяце 1841 года М. Ю. Лермонтов приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей молодежи. Он нисколько не ухаживал за мной, а находил особенное удовольствие me taquiner *. Я отделывалась, как могла, то шуткою, то молчанием, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец это мне надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. Но, по-видимому, игра эта его забавляла просто от нечего делать, и он не переставал меня злить. Однажды он довел меня почти до слез: я вспылила и сказала, что, ежели бы я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. Он как будто остался доволен, что наконец вывел меня из терпения, просил прощенья, и мы помирились, конечно, ненадолго. Как-то раз ездили верхом

---

* дразнить меня (*фр.*).

большим обществом в колонку Каррас. Неугомонный Лермонтов предложил мне пари à discrétion *, что на обратном пути будет ехать рядом со мною, что ему редко удавалось. Возвращались мы поздно, и я, садясь на лошадь, шепнула старику Зельмицу и юнкеру Бенкендорфу, чтобы они ехали подле меня и не отставали. Лермонтов ехал сзади и все время зло шутил на мой счет. Я сердилась, но молчала. На другой день, утром рано, уезжая в Железноводск, он прислал мне огромный прелестный букет в знак проигранного пари.

В начале июля Лермонтов и компания устроили пикник для своих знакомых дам в гроте Дианы, против Николаевских ванн. Грот внутри премило был убран шалями и персидскими шелковыми материями, в виде персидской палатки, пол устлан коврами, а площадку и весь бульвар осветили разноцветными фонарями. Дамскую уборную устроили из зелени и цветов; украшенная дубовыми листьями и цветами люстра освещала грот, придавая окружающему волшебно-фантастический характер. Танцевали по песку, не боясь испортить ботинки, и разошлись по домам лишь с восходом солнца в сопровождении музыки. И странное дело! Никому это не мешало, и больные даже не жаловались на беспокойство.

Лермонтов иногда бывал весел, болтлив до шалости; бегали в горелки, играли в кошку-мышку, в серсо; потом все это изображалось в карикатурах, что нас смешило. Однажды сестра просила его написать что-нибудь ей в альбом. Как ни отговаривался Лермонтов, его не слушали, окружили всей толпой, положили перед ним альбом, дали перо в руки и говорят: «пишите!» И написал он шутку-экспромт:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд,
И локон небрежно
Над шейкою нежной...
На поясе нож,
C'est un vers qui cloche! **

Зато после нарисовал ей же в альбом акварелью курда. Все это цело и теперь у дочери ее.

---

* по усмотрению выигравшего (*фр.*).
** Вот стих, который хромает (*фр.*).

Лермонтов жил больше в Железноводске, но часто приезжал в Пятигорск. По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и вот именно 13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин, и порешили не ехать в собрание, а провести вечер дома, находя это и приятнее и веселее [2]. Я не говорила и не танцевала с Лермонтовым, потому что в этот вечер он продолжал свои поддразнивания. Тогда, переменив тон насмешки, он сказал мне: «M-lle Emilie, je vous en prie, un tour de valse seulement, pour la dernière fois de ma vie» *. — «Ну уж так и быть, в последний раз, пойдемте». Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык à qui mieux **. Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его «montagnard au grand poignard» *** (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал). Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при д а м а х», — и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: «Язык мой — враг м о й», — Михаил Юрьевич отвечал спокойно: «Ce n'est rien; demain nous serons bons amis» ****. Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: «Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?» Мартынов ответил решительно «да»,

---

* Мадемуазель Эмилия, прошу Вас на один только тур вальса, последний раз в моей жизни (*фр.*).

** наперебой (*фр.*).

*** горец с большим кинжалом (*фр.*).

**** Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями (*фр.*).

и тут же назначили день. Все старания товарищей к их примирению оказались напрасными. Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову своими насмешками; у него был альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах.

Пятнадцатого июля пришли к нам утром кн. Васильчиков и еще кто-то, не помню, в самом пасмурном виде; даже maman заметила и, не подозревая ничего, допрашивала их, отчего они в таком дурном настроении, как никогда она их не видала. Они тотчас замяли этот разговор вопросом о предстоящем князя Голицына бале, а так как никто из них приглашен не был, то просили нас прийти на горку смотреть фейерверк и позволить им явиться туда инкогнито. Жаль было, что лучших танцоров и самых интересных кавалеров не будет на балу, где предполагалось так много удовольствий. Собираться в сад должны были в шесть часов; но вот с четырех начинает накрапывать мелкий дождь; надеясь, что он пройдет, мы принарядились, а дождь все сильнее да сильнее и разразился ливнем с сильнейшей грозой: удары грома повторялись один за одним, а раскаты в горах не умолкали. Приходит Дмитревский и, видя нас в вечерних туалетах, предлагает позвать *этих господ* всех сюда и устроить свой бал; не успел он докончить, как вбегает в залу полковник Зельмиц (он жил в одном доме с Мартыновым и Глебовым) с растрепанными длинными седыми волосами, с испуганным лицом, размахивает руками и кричит: *«Один наповал, другой под арестом!»* Мы бросились к нему — что такое, кто наповал, где? *«Лермонтов убит!»* Такое известие и столь внезапное до того поразило матушку, что с ней сделалась истерика; едва могли ее успокоить. От Дмитревского узнали мы подробнее, что случилось. Вот что он нам сообщил.

Когда назначили день, то условились так: Лермонтов и Столыпин выедут верхом из Железноводска; а Васильчиков, Глебов, Мартынов и Трубецкой к ним навстречу из Пятигорска. В колонке Каррас Лермонтов и Столыпин нашли m-lle Быховец и ее больную тетку, ехавших в Железноводск лечиться; вместе обедали, и Лермонтов выпросил у Быховец bandeau * золотое, которое у нее было на голове, с тем что на другой же день оно будет возвращено ей, ежели не им самим, то

* обруч, который носили на голове (*фр.*).

кем-нибудь из его товарищей. Не придавая большого значения этим словам, она дала ему bandeau, которое и нашли у него в кармане, что подало повод думать, не была ли причиною дуэли m-lle Быховец; конечно, скоро в этом разуверились, а bandeau было возвращено ей [3]. Выехав из колонки, Лермонтов, Столыпин и прочие свернули с дороги в лес, недалеко от кладбища, и остановились на первой полянке, показавшейся им удобной: выбирать было и трудно под проливным дождем. Первый стрелял Мартынов, а Лермонтов будто бы прежде сказал секунданту, что стрелять не будет, и был убит наповал, как рассказывал нам Глебов.

Когда мы несколько пришли в себя от такого треволнения, переоделись и, сидя у открытого окна, смотрели на проходящих, то видели, как проскакал Васильчиков к коменданту и за доктором; позднее провели Глебова под караул на гауптвахту. Мартынова же, как отставного, посадили в тюрьму, где он провел ужасных три ночи, в сообществе двух арестантов, из которых один все читал псалтырь, а другой произносил страшные ругательства. Это говорил нам сам Мартынов впоследствии [4]. К девяти часам все утихло. Вечер был чудный, тишина в воздухе необыкновенная, луна светила как день. Роковая весть быстро разнеслась по городу. *Дуэль* — неслыханная вещь в Пятигорске! Многие ходили смотреть на убитого поэта из любопытства; знакомые же его из участия и желания узнать о причине дуэли спрашивали нас, но мы и сами ничего не знали тогда верного. Это хождение туда-сюда продолжалось до полуночи. Все говорили шепотом, точно боялись, чтобы их слова не раздались в воздухе и не разбудили бы поэта, спавшего уже непробудным сном. На бульваре и музыка два дня не играла.

На другой день, когда собрались все к панихиде, долго ждали священника, который с большим трудом согласился хоронить Лермонтова, уступив убедительным и неотступным просьбам кн. Васильчикова и других, но с условием, чтобы не было музыки и никакого параду. Наконец приехал отец Павел, но, увидев на дворе оркестр, тотчас повернул назад; музыку мгновенно отправили, но зато много усилий употреблено было, чтобы вернуть отца Павла. Наконец все уладилось, отслужили панихиду и проводили на кладбище; гроб несли товарищи; народу было много, и все шли за гробом в каком-то благоговейном молчании. Это меня пора-

жало: ведь не все же его знали и не все его любили! Так было тихо, что только слышен был шорох сухой травы под ногами.

Похоронили и положили небольшой камень с надписью: *Михаил,* как временный знак его могилы (потому что весной 1842 года его увезли; мы были, когда вынули его гроб, поставили в свинцовый, помолились и отправили его в путь). Во время панихиды мы стояли в другой комнате, где лежал его окровавленный сюртук, и никому тогда не пришло в голову сохранить его. Несколько лет спустя мне случилось быть в Тарханах и удалось поклониться праху незабвенного поэта; над могилою его выстроена маленькая часовня, в ней стоит один большой образ (какого святого, не помню) и *ветка Палестины,* — подаренная ему А. Н. Муравьевым, в ящике под стеклом. Рядом с Михаилом Юрьевичем похоронена и бабушка его Арсеньева. Тарханы опустели, и что сталось теперь с часовней!

Когда Мартынова перевели на гауптвахту, которая была тогда у бульвара, то ему позволено было выходить вечером в сопровождении солдата подышать чистым воздухом, и вот мы однажды, гуляя на бульваре, встретили нечаянно Мартынова. Это было уже осенью; его белая черкеска, черный бархатный бешмет с малиновой подкладкой произвели на нас неприятное впечатление. Я не скоро могла заговорить с ним, а сестра Надя положительно не могла преодолеть своего страха (ей тогда было всего шестнадцать лет). Васильчикову и Глебову заменили гауптвахту домашним арестом, а потом и совсем всех троих освободили; тогда они бывали у нас каждый день до окончания следствия и выезда из Пятигорска. Старательно мы все избегали произнести имя Лермонтова, чтобы не возбудить в Мартынове неприятного воспоминания о горестном событии.

Глебов предложил мне карандашик в камышинке, который Лермонтов постоянно имел при себе, записывал и рисовал им что приходилось, и я храню его в память о поэте, творениями которого я всегда восторгалась!

Глебов рассказывал мне, какие мучительные часы провел он, оставшись один в лесу, сидя на траве под проливным дождем. Голова убитого поэта покоилась у него на к о л е н я х, — темно, кони привязанные ржут, рвутся, бьют копытами о землю, молния и гром беспрерывно; необъяснимо страшно стало! И Глебов хо-

тел осторожно спустить голову на шинель, но при этом движении Лермонтов судорожно зевнул. Глебов остался недвижим, и так пробыл, пока приехали дрожки, на которых и привезли бедного Лермонтова на его квартиру.

Не знаю, насколько займет читающую публику мое воспоминание давно минувшего, но я сказала все, что было в продолжение двухмесячного моего знакомства с Лермонтовым. Надеюсь, что наконец перестанут видеть во мне княжну Мери и, главное, опровергнут несправедливое обвинение за дуэль.

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе В. Д. Корганова)

Воображение рисует нам великих людей либо красавцами, либо уродами. Лермонтов не был красив, но и не так безобразен, каким рисуют его и каков он на памятнике; скулы там слишком уж велики, нос слишком неправилен; волосы он носил здесь летом коротко остриженными, роста был среднего, говорил приятным грудным голосом, но самым привлекательным в нем были глаза — большие, прекрасные, выразительные. Характера он был неровного, капризного: то услужлив и любезен, то рассеян и невнимателен. Он любил повеселиться, потанцевать, посмеяться, позлословить; часто затевал пикники и кавалькады, причем брал на себя нелегкую обязанность распорядителя. Бывало, велит настлать досок над Провалом, призовет полковую музыку, и мы беззаботно танцуем над бездною, точно в этой комнате [1]. Сначала многие из нас, барышень, боялись ступить на этот помост, но, глядя на Лермонтова, с увлечением носившегося в мазурке, и мы набирались смелости, потом привыкли, танцевали, и — ничего... В гроте он бывал, но редко. Фантазия публики приписывает этому гроту такое значение в жизни поэта, какого в действительности не было. Некоторые действующие лица в «Герое нашего времени» взяты автором, так сказать, с натуры; по крайней мере, в Грушницком многое напоминает Кулебякина-Немирного: [2] в княжне Мери можно найти сходство с m-lle Киньяковой [3], Вера списана с личности, в которую Лермонтов был влюблен и которая не жила в Пятигорске [4]. Печорин — тип тогдашних молодых людей... В течение по-

следнего месяца он бывал у нас ежедневно; здесь, в этой самой комнате, он охотно проводил вечера в беседе, играх и танцах. Бывало, сестра заиграет на пианино, а он подсядет, свесит голову на грудь и сидит так неподвижно час и два. Никому он не мешает, никто его и не тревожит.

Зато как разойдется да пустится играть в кошки-мышки, так удержу нет! Бывало, поймает меня во дворе, за кучей камней (они и сейчас лежат там) и ведет торжественно сюда... Сестре моей он вписал в альбом несколько стихотворений... С будущим мужем моим был в родстве и дружеских отношениях... Не знаю, правда ли, что Лермонтов прочел письмо к Мартынову, но только они постоянно пикировались, хотя были между собою на «ты»: Лермонтов называл его обыкновенно «Мартышкой» и иными кличками. Мартынов был глуповат, но — красавец и любимец барышень, что часто раздражало поэта. Тут же, у нас, 13 июля они немного повздорили, потом ушли вместе с Л. С. Пушкиным и кн. Трубецким. Впоследствии я узнала, что Мартынов, выйдя на улицу, погрозил ему отучить от затрагивания в обществе, на что получил в ответ:

— Вместо угроз лучше делать дело... Меня не запугаешь, я не боюсь дуэли.

На следующий день Мартынов, принявший эти слова за вызов, послал к нему секундантов, которые приложили немало усилий, чтоб расстроить дуэль, но старания их были напрасны; пришлось обсудить условия и наметить место встречи противников. Лермонтов заявил, что намерен поехать 15 июля в немецкую колонию Каррас, куда он часто ездил верхом один или в обществе приятелей и дам, он предложил противнику и всем секундантам встретить его на обратном пути, что произошло около 7 часов вечера на склоне Машука. Все сошли с коней, секунданты зарядили револьверы, расставили дуэлянтов и дали знак стрелять. Лермонтов подошел к барьеру и стоял спокойно, подняв пистолет вверх, а Мартынов стал долго прицеливаться, чем вызвал упрек секундантов, намеривавшихся уже развести их, но раздался выстрел, и пуля была в груди поэта, сраженного наповал. В это время мы сидели у окна, не зная ничего о дуэли. Разразилась гроза, дождь усиливался. Мимо окна проскакал Мартынов, спешивший явиться к коменданту и доложить о дуэли; один из секундантов поехал за доктором, другой — за дро-

гами... После дуэли Мартынов был арестован, но ненадолго, помню его спустя недели две разгуливающим по бульвару в белой черкеске, в черном бархатном бешмете на красной подкладке: он, видимо, бравировал своим поступком; это был фат, довольно глупый и льстивый в разговоре, но очень красивый...

В кармане жилета Лермонтов носил всегда карандаш, который я храню уже 48 лет, но никогда еще им не писала[5].

Н. Ф. ТУРОВСКИЙ

ИЗ «ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ В 1841 ГОДУ»

Между пяти гор — Бештау, Машука, Змеиной, Лысой и Железной — лежит небольшой, красивенький городок Пятигорск. <...>

Съезд-нынешнего курса невелик и очень незамечателен. Дам мало, да и те... Только в последний месяц явление хорошенькой генеральши Ор<ло>вой с хорошенькими сестрами М. П.[1] наделало шуму; в честь их кавалеры дали роскошный bal champêtre * в боковой аллее бульвара. В тридцать девятом году съезд дам был тоже невелик и мало интересен; но тогда блистала графиня Ростопчина, которая везде — и в скромной беседе, и в шумном собрании, и в поэтических мечтаниях, — везде мила, везде завлекательна.

Мужчины — большею частью пехотные жалкие армейцы, которых сперва выставляют черкесам, как мишень, а потом калеками присылают лечить на воды. Есть и гвардейцы: им или *вреден север*[2], или нужен крестик; также встретите интересных петербуржцев, искателей новых сил для новых соблазнов столичной жизни: один из них В. В. Дж. остался мне постоянно приятным знакомым. Но самые занимательные из посетителей — это помещики в венгерках, с усами и без причесок; они пожаловали так, от нечего делать: поиграть в карты и отведать кахетинского.

20 июня. Несносна жизнь в Пятигорске. Отдавши долг удивления колоссальной природе, остается только скучать однообразием; один воздух удушливый, серный отвратит всякого. Вот утренняя картина: в пять часов

---

* сельский бал (*фр.*).

мы видим — по разным направлениям в экипажах, верхом, пешком тянутся к источникам. Эти часы самые тяжелые; каждый обязан проглотить по нескольку больших стаканов гадкой теплой воды до десяти и более: такова непременная метода здешних медиков. Около полудня все расходятся: кто в ванны, кто домой, где каждого ожидает стакан маренкового кофе и булка; обед должен следовать скоро и состоять из тарелки Wassersuppe и deux oeufs à la coque * со шпинатом. В пять часов вечера опять все по своим местам — у колодцев с стаканами в руках. С семи до девяти часов чопорно прохаживаются по бульвару под звук *музыки полковой;* тем должен заключиться день для больных. Но не всегда тем кончается, и как часто многие напролет просиживают ночи за картами и прямо от столов как тени побредут к водам; и потом они же бессовестно толкуют о бесполезности здешнего лечения.

По праздникам бывают собрания в зале гостиницы, и тутошние очень веселятся.

21 июня. Нынешняя почта насмешила меня; петербургские знакомцы завидуют мне, проказники. Они там слушают Олебуля и на огне [3] разъезжают по узорчатым дачам, а я здесь, от нечего делать, карабкаюсь по горам. Не дальше как вчера чуть было головы не сломил, въезжая верхом на Машук; и для чего же? Чтобы взглянуть на свое имя и возле 1839 г. поставить 1841. Вид отсюда в ясную погоду очаровательный, единственный в природе. У самой подошвы горы белеются Пятигорск и Горячеводск; между ними узкой лентой вьется Подкумок; влево (в 40 в.) Георгиевск как на ладони; по сторонам в разных расстояниях клумбами разбросаны станицы и аулы; далее донебесные великаны, простираясь амфитеатром, оканчиваются снежною цепью гор, между которыми Эльбрус, как бы в серебряных волнах, сливается с Казбеком.

На самой вершине Машука, на небольшой площадке, возвышается столб; на нем множество имен, надписей, стихов; тут же простодушная надпись Хозрев-Мирзы: «Добрая слава, оставленная по себе человеком, лучше золотых палат» и пр. Как нежно рассуждают эти звери, а спросить бы у правоверных братий: не болят ли у них пятки.

---

* каши на воде и двух яиц всмятку (*нем.* и *фр.*).

Лучшая, приятная для меня прогулка была за восемнадцать верст в Железноводск; самое название говорит, что там железные ключи; их много, но самый сильный и употребительный № 8, который вместе с другими бьет в диком лесу; между ними идет длинная, прорубленная аллея. Здесь-то в знойный день — истинное наслаждение: чистый ароматический воздух, и ни луча солнечного. Есть несколько источников и на открытом месте, где выстроены казенные домики и вольные для приезжающих. Виды здешние не отдалены и граничат взор соседними горами; но зато сколько жизни и свежести в природе. Как нежна, усладительна для глаз эта густая зелень, которою, как зеленым бархатом, покрыты горы.

На половине пути лежит немецкая колония, называемая Шотландкой; она крестообразно пересечена двумя улицами; на самой середине, под навесом, стоит пушка и боевой ящик, так что если бы вздумалось заглянуть сюда черкесам, как то и было, то одной пушкой по всем направлениям можно их засыпать картечью. В колонии вы найдете дешевый и вкусный обед.

Армяне господствуют в Пятигорске; вся внутренняя торговля в их руках: армянин и в лавках, и в гостинице, и в мастерских. Но главное их занятие — серебряные изделия с чернью, как-то: обделка седел, палок, трубок, колец, наперстков и пр.; все это чрезвычайно дорого и вовсе не изящно; но раскупается с большой жадностью; каждый посетитель как бы обязан вывезти что-нибудь на память с надписью: «Кавказ, такого-то года».

Есть несколько хороших лавок персидских с коврами и азиатскими материями.

Жизненные припасы дешевы до крайности; их поставляют колонисты и мирные черкесы из соседних аулов.

75 *июля.* Лермонтова уже нет, вчера оплакивали мы смерть его. Грустно было видеть печальную церемонию, еще грустней вспомнить: какой ничтожный случай отнял у друзей веселого друга, у нас — лучшего поэта. Вот подробности несчастного происшествия.

«Язык наш — враг наш». Лермонтов был остер, и остер иногда до едкости; насмешки, колкости, эпиграммы не щадили никого, ни даже самых близких ему; увлеченный игрою слов или сатирическою мыслию, он не рассуждал о последствиях: так было и теперь.

Пятнадцатого числа утро провел он в небольшом дамском обществе (у Верзилиных) вместе с приятелем своим и товарищем по гвардии *Мартыновым,* который только что окончил службу в одном из линейных полков и, уже получивши отставку, не оставлял ни костюма черкесского, присвоенного линейцам, ни духа лихого *джигита* и тем казался действительно смешным. Лермонтов любил его, как *доброго малого,* но часто забавлялся его странностью; теперь же больше, нежели когда. Дамам это нравилось, все смеялись, и никто подозревать не мог таких ужасных последствий. Один Мартынов молчал, казался равнодушным, но затаил в душе тяжелую обиду.

«Оставь свои шутки — или я заставлю тебя молчать», — были слова его, когда они возвращались домой. *Готовность всегда и на все* — был ответ Лермонтова, и через час-два новые враги стояли уже на склоне Машука с пистолетами в руках [4].

Первый выстрел принадлежал Лермонтову, как вызванному; но он опустил пистолет и сказал противнику: *«Рука моя не поднимается, стреляй ты, если хочешь...»*

Ожесточение не понимает великодушия: курок взведен — паф, и пал поэт бездыханен.

Секунданты не хотели или не сумели затушить вражды (кн. Васильчиков и конногв. офицер Глебов); но как бы то ни было, а Лермонтова уже нет, и новый глубокий траур накинут на литературу русскую, если не европейскую.

В продолжение двух дней теснились усердные поклонники в комнате, где стоял гроб.

Семнадцатого числа, на закате солнца, совершено погребение. Офицеры несли прах любимого ими товарища до могилы, а слезы множества сопровождавших выразили потерю общую, незаменимую.

Как недавно, увлеченные живою беседой, мы переносились в студенческие годы; вспоминали прошедшее, разгадывали будущее... Он высказывал мне свои надежды скоро покинуть скучный юг и возвратиться к удовольствиям севера; я не утаил надежд *наших — литературных,* и прочитал на память одно из лучших его произведений. Черные большие глаза его горели; он, казалось, утешен был моим восторгом и в благодарность продекламировал несколько стихов, которые и теперь еще звучат в памяти моей.

Вот они:

И скучно и грустно, и некому руку подать
    В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
    А годы проходят — все лучшие годы!

Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда,
    А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
    И радость, и муки, и все там ничтожно...

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
    Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
    Такая пустая и глупая шутка...

Так провел я в последний раз незабвенные два часа с незабвенным Лермонтовым.

А. С. ТРАСКИН

ИЗ ПИСЬМА К П. Х. ГРАББЕ [1]

Пятигорск, 17 июля 1841

<...> Из прилагаемого при сем рапорта коменданта Пятигорска вы узнаете о несчастной и неприятной истории, происшедшей позавчера. Лермонтов убит на дуэли с Мартыновым, бывшим казаком Гребенского войска. Секундантами были Глебов из кавалергардов [2] и князь Васильчиков, один из новых законодателей Грузии [3]. Причину их ссоры узнали только после дуэли; за несколько часов их видели вместе, и никто не подозревал, что они собираются драться. Лермонтов уже давно смеялся над Мартыновым и пускал по рукам карикатуры, наподобие карикатур на г-на Майе, на смешной костюм Мартынова, который одевался по-черкесски, с длинным кинжалом, — и называл его «Г-н Пуаньяр с Диких гор». Однажды на вечере у Верзилиных он смеялся над Мартыновым в присутствии дам. Выходя, Мартынов сказал ему, что заставит его замолчать; Лермонтов ему ответил, что не боится его угроз и готов дать ему удовлетворение, если он считает себя оскорбленным. Отсюда вызов со стороны Мартынова, и секунданты, которых они избрали, не смогли уладить дело, несмотря на все предпринятые ими усилия; они собирались драться без секундантов [4]. Их раздражение заставляет думать, что у них были и другие взаимные обиды. Они дрались на расстоянии, которое секунданты с 15 условленных шагов увеличили до 20-ти. Лермонтов сказал, что он не будет стрелять и станет ждать выстрела Мартынова. Они подошли к барьеру одновременно; Мартынов выстрелил первым, и Лермонтов упал. Пуля пробила тело справа налево и прошла через серд-

це. Он жил только 5 минут — и не успел произнести ни одного слова [5].

Пятигорск наполовину заполнен офицерами, покинувшими свои части без всякого законного и письменного разрешения, приезжающими не для того, чтобы лечиться, а чтобы развлекаться и ничего не делать; среди других сюда прибыл г-н Дорохов, который, конечно уж, не болен. Сами командиры полков позволяют являться сюда кому заблагорассудится, и даже юнкерам. Было бы необходимо запретить это. Старик Ильяшенков, доблестный и достойный человек, не наделен способностью сдерживать столь беспокойных молодых людей, и они ходят на голове. Я положил конец этому и выслал кое-кого из тех, кто проживал без законного разрешения, и среди прочих князя Трубецкого [6], но не могу привести все в порядок, так как здесь множество таких, которые не подчинены мне и даже не состоят на военной службе.

Е. Г. БЫХОВЕЦ

ИЗ ПИСЬМА

Пятигорск, 1841 г. августа 5-го, понедельник

Как же я весело провела время. Этот день молодые люди делали нам пикник в гроте, который был весь убран шалями; колонны обвиты цветами, и люстры все из цветов: танцевали мы на площадке около грота; лавочки были обиты прелестными коврами; освещено было чудесно; вечер очаровательный, небо было так чисто; деревья от освещения необыкновенно хороши были, аллея также освещена, и в конце аллеи была уборная прехорошенькая; два хора музыки. Конфет, фрукт, мороженого беспрестанно подавали; танцевали до упада; молодежь была так любезна, занимала своих гостей; ужинали; после ужина опять танцевали; даже Лермонтов, который не любил танцевать, и тот был так весел; оттуда мы шли пешком. Все молодые люди нас провожали с фонарями; один из них начал немного шалить. Лермонтов, как cousin, предложил сейчас мне руку; мы пошли скорей, и он до дому меня проводил.

Мы с ним так дружны были — он мне правнучатый брат — и всегда называл cousine, а я его cousin и любила как родного брата. Так меня здесь и знали под именем charmante cousine * Лермонтова. Кто из молодежи приезжал сюда, то сейчас его просили, чтобы он их познакомил со мной.

Этот пикник последний был; ровно через неделю мой добрый друг убит, а давно ли он мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга!

Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив; карикатуры <на него> его

---

* очаровательной кузины (*фр.*).

беспрестанно прибавлялись; Лермонтов имел дурную привычку острить. Мартынов всегда ходил в черкеске и с кинжалом; он его назвал при дамах m-r le poignard и Sauvage'ом *. Он <Мартынов> тут ему сказал, что при дамах этого не смеет говорить, тем и кончилось. Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывши так хорош с ним.

Это было в одном частном доме. Выходя оттуда, Мартынка глупый вызвал Лермонтова. Но никто не знал. На другой день Лермонтов был у нас ничего, весел; он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, государь его не любил, великий князь ненавидел, <они> не могли его видеть — и тут еще любовь: он был страстно влюблен в В. А. Бахметьеву; она ему была кузина; я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был [1].

Чрез четыре дня он поехал на Железные; был <в> этот день несколько раз у нас и все меня упрашивал приехать на Железные; это четырнадцать верст отсюда. Я ему обещала, и 15 <июля> мы отправились в шесть часов утра, я с Обыденной в коляске, а Дмитревский, и Бенкендорф, и Пушкин — брат сочинителя — верхами.

На половине дороги в колонке мы пили кофе и завтракали. Как приехали на Железные, Лермонтов сейчас прибежал; мы пошли в рощу и все там гуляли. Я все с ним ходила под руку. На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман. Он при всех был весел, шутил, а когда мы были вдвоем, он ужасно грустил, говорил мне так, что сейчас можно догадаться, но мне в голову не приходила дуэль. Я знала причину его грусти и думала, что все та же, уговаривала его, утешала, как могла, и с полными глазами слез <он меня> благодарил, что я приехала, умаливал, чтоб я пришла к нему на квартиру закусить, но я не согласилась; поехали назад, он поехал тоже с нами.

В колонке обедали. Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит:

— Cousine, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни.

* господин кинжал и дикарь (*фр.*).

Я еще над ним смеялась; так мы и отправились. Это было в пять часов, а <в> восемь пришли сказать, что он убит. Никто не знал, что у них дуэль, кроме двух молодых мальчиков, которых они заставили поклясться, что никому не скажут; они так и сделали.

Лермонтову так жизнь надоела, что ему надо было первому стрелять, он не хотел, и тот изверг имел духа долго целиться, и пуля навылет! Ты не поверишь, как его смерть меня огорчила, я и теперь не могу его вспомнить.

Прощай, мой милый друг, грустно и пора на почту. Сестра и брат вам кланяются. Я тебя и детишек целую бессчетно раз. Не забывай верного твоего друга и обожающую тебя сестру

Катю Быховец.

Сейчас смотрела на часы, на почту еще рано, и я еще с тобою поговорю. Дмитревский меня раздосадовал ужасно: бандо мое, которое было в крови Лермонтова, взял, чтоб отдать мне, и потерял его; так грустно, это бы мне была память. Мне отдали шнурок, на котором он всегда носил крест. Я была на похоронах; с музыкой его хоронить не позволили, и священника насилу уговорили его отпеть.

Он мертвый был так хорош, как живой. Портрет его сняли.

ПОЛЕВОДИН

ИЗ ПИСЬМА

Июля 21-го 1841 г. Пятигорск

Плачьте, милостивый государь, Александр Кононович, плачьте, надевайте глубокий траур, нашивайте плёрезы, опепелите Вашу главу, берите из Вашей библиотеки «Героя нашего времени» и скачите к Лёренцу, велите переплести его в черный бархат, читайте и плачьте. Нашего поэта нет, — Лермонтов пятнадцатого числа текущего месяца в семь часов пополудни убит на дуэли отставным майором Мартыновым. Неисповедимы судьбы твои, господи! И этот возрождающийся гений должен погибнуть от руки подлеца: Мартынов — чистейший сколок с Дантеса. Этот Мартынов служил прежде в кавалергардах, по просьбе переведен в Кавказский корпус капитаном [1], в феврале месяце отставлен с чином майора, и жил в Пятигорске, обрил голову, оделся совершенно по-черкесски и тем пленял, или думал пленять, здешнюю публику. Мартынов никем не был терпим в кругу, который составлялся из молодежи гвардейцев. Лермонтов, не терпя глупых выходок Мартынова, всегда весьма умно и резко трунил над Мартыновым, желая, вероятно, тем заметить, что он ведет себя неприлично званию дворянина. Мартынов никогда не умел порядочно отшутиться — сердился, Лермонтов более и более над ним смеялся; но смех его был хотя едок, но всегда деликатен, так что Мартынов никак не мог к нему придраться. В одно время Лермонтов с Мартыновым и прочею молодежью были у В<ерзилиных> (семейство казацкого генерала). Лермонтов в присутствии девиц трунил над Мартыновым целый вечер, до того, что Мартынов сделался предметом общего смеха, — предлогом к тому был его, Мартынова, костюм. Мартынов,

выйдя от Верзилиных вместе с Лермонтовым, просил его на будущее время удержаться от подобных шуток, а иначе он заставит его это сделать. На это Лермонтов отвечал, что он может это сделать завтра и что секундант его об остальном с ним условится. На другой день, когда секунданты (прапорщик конногвардейский Глебов и студент князь Васильчиков) [2] узнали о причине ссоры, то употребили все средства помирить их. Лермонтов был согласен оставить, но Мартынов никак не соглашался. Приехав на место, назначенное для дуэли (в двух верстах от города на подошве горы Машука, близ кладбища), Лермонтов сказал, что он удовлетворяет желанию Мартынова, но стрелять в него ни в каком случае не будет. Секунданты отмерили для барьера пять шагов, потом от барьера по пяти шагов в сторону, развели их по крайний след, вручили им пистолеты и дали сигнал сходиться. Лермонтов весьма спокойно подошел первый к барьеру, скрестив вниз руки, опустил пистолет и взглядом вызвал Мартынова на выстрел. Мартынов, в душе подлец и трус, зная, что Лермонтов всегда держит свое слово, и радуясь, что тот не стреляет, прицелился в Лермонтова. В это время Лермонтов бросил на Мартынова такой взгляд презрения, что даже секунданты не могли его выдержать и *потупили очи долу* (все это сказание секундантов). У Мартынова опустился пистолет. Потом он, собравшись с духом и будучи подстрекаем презрительным взглядом Лермонтова, прицелился — выстрел... Поэта не стало! После выстрела он не сказал ни одного слова, вздохнул только три раза и простился с жизнью. Он ранен под грудь навылет. На другой день толпа народа не отходила от его квартиры. Дамы все приходили с цветами и усыпали его оными, некоторые делали прекраснейшие венки и клали близ тела покойника. Зрелище это было восхитительно и трогательно. Семнадцатого числа в час поединка его хоронили. Все, что было в Пятигорске, участвовало в его похоронах. Дамы все были в трауре, гроб его до самого кладбища несли штаб- и обер-офицеры, и все без исключения шли пешком до кладбища. Сожаления и ропот публики не умолкали ни на минуту. Тут я невольно вспомнил о похоронах Пушкина. Теперь шестой день после этого печального события, но ропот не умолкает, явно требуют предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу. Пушкин Лев Сергеевич, родной брат нашего бессмерт-

ного поэта, весьма убит смертию Лермонтова, он был лучший его приятель. Лермонтов обедал в этот день с ним и прочею молодежью в Шотландке (в шести верстах от Пятигорска) и не сказал ни слова о дуэли, которая должна была состояться чрез час. Пушкин уверяет, что эта дуэль никогда бы состояться не могла, если б секунданты были не мальчики, она сделана против всех правил и чести. <...>

Лермонтов похоронен на кладбище, в нескольких саженях от места поединка [3]. Странная игра природы. За полчаса до дуэли из тихой и прекрасной погоды вдруг сделалась величайшая буря; весь город и окрестности были покрыты пылью, так что ничего нельзя было видеть. Буря утихла, и чрез пять минут пошел проливной дождь. Секунданты говорят, что как скоро утихла буря, то тут же началась дуэль, и лишь только Лермонтов испустил последний вздох — пошел проливной дождь. Сама природа плакала об этом человеке. Много бы еще подробностей я мог Вам сообщить о жизни его здесь на Кавказе, но лист оканчивается. <...>

Больно вспоминать, что Кавказ в самое короткое время лишил нас трех прекраснейших писателей — Марлинского, Веревкина [4] и Лермонтова.

РОЩАНОВСКИЙ

ПОКАЗАНИЯ

В прошлом 1841 году, в июле месяце, кажется, 18 числа, в 4 или 5 часов пополудни, я, слышавши, что имеет быть погребено тело умершего поручика Лермонтова, пошел, по примеру других, к квартире покойника, у ворот коей встретил большое стечение жителей г. Пятигорска и посетителей минеральных вод, разговаривавших между собою: о жизни за гробом, о смерти, рано постигшей молодого поэта, обещавшего много для русской литературы. Не входя во двор квартиры этой, я с знакомыми мне вступил в общий разговор, в коем, между прочим, мог заметить, что многие как будто с ропотом говорили, что более двух часов для выноса тела они дожидаются священника, которого до сих пор нет. Заметя общее постоянное движение многочисленного собравшегося народа, я из любопытства приблизился к воротам квартиры покойника и тогда увидел на дворе том, не в дальнем расстоянии от крыльца дома, стоящего о. протоиерея, возлагавшего на себя епитрахиль; в это самое время с поспешностию прошел мимо меня во двор местной приходской церкви диакон, который тотчас, подойдя к церковнослужителю, стоящему близ о. протоиерея Александровского, взял от него священную одежду, в которую немедленно облачился, и принял от него кадило. После этого духовенство это погребальным гласом обще начало пение: «Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», и с этим вместе медленно выходило из двора этого; за этим вслед было несено из комнат тело усопшего поручика Лермонтова. Духовенство, поя вышеозначенную песнь, тихо шествовало к кладбищу; за ним в богато убранном гробе было попеременно несено тело умершего штаб- и обер-

офицерами, одетыми в мундиры, в сопровождении многочисленного народа, питавшего уважение к памяти даровитого поэта или к страдальческой смерти его, принятой на дуэли. Таким образом эта печальная процессия достигла вновь приготовленной могилы, в которую был опущен в скорости несомый гроб без отправления по закону христианского обряда: в этом я удостоверяю, как самовидец.

А. П. СМОЛЬЯНИНОВ

ИЗ ДНЕВНИКА

9 августа 1841 г. Что сделать с тем, который, позабыв все священное, презрев всеми чувствами, попрал, затоптал стыд, совесть, честь, который, унизившись до степени животного, отымает у бедного, умирающего голодною смертию, последний кусок, единственную надежду его — и все для того, чтобы удовлетворить свой каприз, сделать по-своему? Или что сделать с тем, кто, удовлетворяя своим глупым страстям, позорит, развращает невинную девушку, губит ее навек, и потом через короткое время сам же покидает ее на произвол судьбы? Суд людской определит ли наказание, достойное этих двух преступников? Глас божий разразится ли над ними?.. Теперь другой вопрос: как поступить с убийцею нашей славы, нашей народной гордости, нашего Лермонтова, причислить ли его к категории первых двух преступников или глядеть на него еще хуже — тем более что он русский... нет, он не русский после этого, он недостоин этого священного имени... Увы, Лермонтова нет, к несчастию, это верно, хотя мы и желаем, чтобы это были неверные слухи, он убит — убит подлым образом — рукою Мартынова — дуэль была за M-e Steritch. Секунданты были со стороны Лермонтова — Глебов, а со стороны того — Васильчиков — сын Иллариона Васильевича — председателя Государственного совета, и государь сказал ему, что его седины не спасут сына. Кавказ, блаженный Кавказ был свидетелем Его смерти, он счастлив, по крайней мере, в этом отношении, а мы несчастные, мы бедные, лишены даже и трупа этого гения нашего века. Рано последовал он Пушкину, рано скрылся от нас. Поступок Мартынова подл, низок, ему, конечно, не следовало отказываться

от вызова и не следовало также пользоваться счастием — первым выстрелом, он должен был разрядить его на воздух — в этом случае я скорей бы самим собой пожертвовал — мне было бы счастие погибнуть от руки Лермонтова — и честь моя была бы ограждена. Не так поступил Мартынов, он низок в моих глазах; дайте мне право, дайте мне власть, я бы выдумал для него достойное наказание; но я пока простой человек, я ничто, — я раздражен и жестоко раздражен — уста мои одни только в движении, они поминутно лепечут: cara vendetta, cara vendetta *. Да, это не пустые звуки, не простые слова — они осуществятся со временем. Две тени, две милые дорогие тени взывают ко мне, требуют мщения, я отвечу им — заплачу должное должным — будет время, будет мщение cara, cara, vendetta, vendetta.

2 октября 1841 г. Кстати о Лермонтове: я должен загладить мою оговорку, должен описать действительную причину его смерти, а не ту, которая была мною рассказана 9 августа, а мне передана в искаженном виде. Итак, была иная причина смерти Лермонтова, — и эта иная причина достоверна, потому что почерпнута мною из письма из Пятигорска (где погиб поэт) барона Розена [1] к брату одного из моих товарищей, который сам читал мне это письмо. Печальное это событие происходило в Пятигорске, где Лермонтов лечился. Из числа молодежи тамошнего водяного общества находился некто Мартынов, отставной артиллерист [2], редкий стрелок. Едва показался он в том краю, как своими странными манерами, неуместными выходками и, как видно, даже ограниченностию ума навлек какое-то особое чувство на душу поэта, который сначала начал тайно, а потом уж и явно над ним насмехаться, давал ему разные эпитеты, как, например, «Montagnard au grand poignard» **, и это было не без причины, Мартынов носил на себе всегда бурку и имел пистолет. 14 июля [3] Лермонтов был в каком-то особенном расположении духа, — видно было, что он был чем-то недоволен, и в эту минуту нужен был ему человек, над которым бы он мог излить свое неудовольствие. Является Мартынов, чего лучше, шутки и колкие сатиры начинаются. Мартынов мало обращал на них внимания,

---

* сладкая месть, сладкая месть (*ит.*).
** Горец с большим кинжалом (*фр.*).

или, лучше, не принимал их на свой счет и не казался обиженным. Это кольнуло самолюбие Лермонтова, который теперь уже прямо адресуется к Мартынову с вопросом, читал ли он «Героя нашего времени»? — «Читал», — был ответ. «А знаешь, с кого я списал портрет Веры?» — «Нет». — «Это твоя сестра». Не знаю, что было причиною этого вопроса, к чему сказаны эти слова: «Это твоя сестра», которые стоили Лермонтову жизни, а нас лишили таланта, таланта редкого, — следствием этих слов был, конечно, вызов со стороны Мартынова. Благородно он поступил, всякий бы сделал то же на его месте, но одно его не оправдывает, это именно то, что зачем он стрелял не на воздух и удар его был так верен, что был нацелен и попал прямо в сердце, — и пуля тогда только достигла своего назначения, когда Лермонтов сам подымал руку и наводил на противника пистолет. В дополнение выпишу статью г-на Андриевского, помещенную в 63-м № «Одесского вестника». Вот она: «Пятигорск. 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с молниею и громом: в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта...»

En ce cas je fais ce que font les femmes qui mettent en P. S. ce qui les intéresse le plus *.

---

* В этом случае я поступаю так, как поступают женщины, которые помещают в постскриптуме то, что их больше всего интересует (*фр.*).

Т. А. БАКУНИНА

ИЗ ПИСЬМА К Н. А. БАКУНИНУ

Пятница, утро, 25 или 26 сентября не знаю, а знаю, что год 1841...

<Ржевский> [1] сейчас рассказывал про Лермонтова, он видел его убитого, он знал его и прежде; почти поневоле шел он на дуэль, этот страшный дуэль, и там уже на месте сказал М<артынову>, что отдает ему свой выстрел, что причина слишком маловажна, слишком пуста и что он не хочет стреляться с ним. Но Мартынов непременно требовал, оба прицелились, Лермонтов повернул пистолет в сторону, а тот убил его.

Невыносимо это, всю душу разрывает, так погибнуть, погибнуть поневоле лучшей надежде России; горе во мне, какое бы ни было, как-то худо облегчается временем, напротив, это все увеличивающаяся боль, которую я все сильнее, все мучительнее чувствую, покуда она не обхватит всю меня и я как будто потеряюсь в ней.

Об Лермонтове скоро позабудут в России — он еще так немного с д е л а л, — но не все же забудут, и по себе чувствую, что скорбь об нем не может пройти, он будет жить, правда не для многих, но когда же толпа хранила святое или понимала его.

Мне кажется, я слышу, как все эти умные люди рассуждают, толкуют об Лермонтове, одни обвиняют, другие с важностью извиняют его, просто противно. Если же не противно, так уморительно смешно. Мне кажется, «Московский вестник» очень верное выражение этого общества, его ничтожества и чванно-натянутой важности [2].

А. Я. БУЛГАКОВ

ИЗ ДНЕВНИКА

Странную имеют судьбу знаменитейшие наши поэты, большая часть из них умирает насильственною смертью. Таков был конец Пушкина, Грибоедова, Марлинского <Бестужева>... Теперь получено известие о смерти Лермонтова. Он был прекрасный офицер и отличнейший поэт, иные сравнивают его даже с самим Пушкиным. Не стало Лермонтова! Сегодня (26 июля) получено известие, что он был убит 15 июля в Пятигорске на водах; он был убит, убит не на войне, не рукою черкеса или чеченца, увы, Лермонтов был убит на дуэли — русским! Вот как рассказывают это печальное происшествие. Молодой Мартынов Николай (сын покойного Соломона Михайловича Мартынова, известного только потому, что он разбогател от московских винных откупов), служивший прежде в кавалергардском полку, перешедший оттуда в какой-то казацкий линейный полк, а потом оставивший совершенно службу, поехал на Кавказ лечиться. Там съехался он с Лермонтовым, с коим некогда вместе служил. Мартынов показывался всякий день на водах в каком-то необыкновенном костюме и волочился за одною дамою, и довольно неудачно. Лермонтов сочинил на него какие-то стихи, к коим присовокупил и нарисованный им очень похожий портрет Мартынова в странном его костюме. Все это он поднес самому Мартынову, первому ему показал сам, но Мартынов не принял это как шутку, а выйдя из себя, требовал сатисфакции за то, что называл обидою. Тщетны были все усилия Лермонтова, ему сделалось наконец невозможным отклонить настояния своего противника. Назначен день, час дуэли, выбраны секунданты. Когда явились

на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна только шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощение не токмо тут, но везде, где он только захочет!.. «Стреляй! Стреляй!» — был ответ исступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая все кончить глупую эту ссору дружелюбно, не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему прямо в сердце [1]. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас испустил дух! Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Он поступил противу всех правил чести и благородства и справедливости. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить. Так поступил бы благородный, храбрый офицер, Мартынов поступил как убийца. Он посажен в острог, а секунданты на гауптвахту. Одно обстоятельство еще более умножает вину Мартынова. Убив Лермонтова и страшась ожидавшей его судьбы, он хотел бежать... бежать, и куда же? К чеченцам, нашим неприятелям. Он был пойман на дороге и отдан военному начальству [2]. Армия закавказская оплакивает потерю храброго своего офицера, а Россия одного из лучших своих поэтов. Не знаю, что будет с бедною его бабкою Арсеньевой. Она взяла к себе Лермонтова еще в колыбели, дала ему отличное воспитание, накопила ему прекрасное состояние, для него одного жила и долго противилась нелепому его желанию ехать на Кавказ учиться военному ремеслу на самом деле. Наконец должна была согласиться на желание внука своего! [3] Я не знал Лермонтова, но как не пожалеть об нем?! — хоть и говорят, что он был нрава сварливого и имел уже подобного рода историю с сыном французского посла барона Баранта за жену нашего консула в Гамбурге, известную красавицу [4].

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

31 июля 1841. Москва

Не знаю, известно ли уже у вас о смерти Лермонтова. Он убит — и убит не черкесом, не чеченцем, а убит русским на дуэли. Сообщу тебе подробности, кои мне известны и кои слышал от Путяты [1], а он знает их по письму князя Владимира Голицына к жене [2]. Съехались в Пятигорске Лермонтов с Мартыновым, сыном Соломона, нашего здешнего покойного Соломона Михайловича [3]. Этот сын служил в кавалергардах, перешел в линейные казаки, наконец вышел в отставку и поехал лечиться на Кавказ. Он приволачивался за какою-то дамою, не очень успешно. Лермонтов сделал стихи и маленькую карикатурку, в коей Мартынов представлен в своей странной одежде, и все это посвятил ему же, Мартынову, с коим, бывало, служил вместе, но Мартынов принял это иначе, вспыхнул, не могли его урезонить, драться, да и полно. Нельзя было Лермонтову отказать. Судьба ему предоставляла первый выстрел. Он объявил Мартынову, что не имел в виду его оскорбить, что все была одна шутка, и что он ему же все первому показал, чтобы вместе посмеяться, но что ежели он не так это принимает, то он, Лермонтов, при всех тотчас же готов просить у него прощение, но ответ был: «Стреляй!» — «Я буду стрелять, но только не в тебя», — сказал Лермонтов и выстрелил на воздух, — конечно, справедливость и благородство требовали, чтобы Мартынов сказал своему сопернику (ежели уже хотел непременно драться): этак неразумно, заряжай пистолет вновь и целься получше, потому что я буду искать убить тебя, вместо того Мартынов подошел к самому Лермонтову, выстрелил ему à bout portant * прямо в сердце. Смерть была скоропостижна, как выстрел. Удивительно, что секунданты допустили такой бесчеловечный поступок. Слышно также, что Мартынов хотел бежать в Одессу, а другие говорят, к горцам, как будто Одесса не та же Россия. Секунданты на гауптвахте, а Мартынов посажен в острог. Это было 15 июля. Все чрезмерно жалеют о Лермонтове, одну имел смерть с Пушкиным, а жаль необычный талант, так много его имел. Жаль!

---

* в упор (*фр.*).

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

ИЗ ПИСЬМА К А. Я. БУЛГАКОВУ

4 августа 1841 г. Царское Село

Мы все под грустным впечатлением известия о смерти бедного Лермонтова. Большая потеря для нашей словесности. Он уже многое исполнил, а еще более обещал. В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Людвига-Филиппа [1]. Второй раз не дают промаха. Грустно!..

Сейчас получаю и письмо твое [2]. Да, сердечно жаль Лермонтова, особенно узнавши, что он был так бесчеловечно убит. На Пушкина целила, по крайней мере, французская рука, а русской руке грешно было целить в Лермонтова, особенно когда он сознавался в своей вине [3].

ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

В одно время с выпискою из письма Жуковского дошло до меня известие о смерти Лермонтова. Какая противоположность в этих участях [1]. Тут есть, однако, какой-то отпечаток провидения. Сравните, из каких стихий образовалась жизнь и поэзия того и другого, и тогда конец их покажется натуральным последствием и заключением. Карамзин и Жуковский: в последнем отразилась жизнь первого, равно как в Лермонтове отразился Пушкин. Это может подать повод ко многим размышлениям. Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Людвига-Филиппа: во второй раз, что не дают промаха. По случаю дуэли Лермонтова кн. Александр Николаевич Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между кн. Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, так в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке [2].

А. И. ВЕГЕЛИН

ПИСЬМО К СЕСТРЕ

Пятигорск, 24 сентября 1841 г.

Удивляюсь, что письмо мое от 18 июля не получено тобою, в нем упомянул вкратце о дуэли Лермонтова и описывал посетителей нынешнего курса, о первом вот как оно было. Покойник любил посмеиваться всегда над некоторыми слабостями Мартынова и, будучи с детства с ним знаком и в связи, позволял себе шутить над ним и перед чужими людьми. Однажды, находясь в доме генеральши Виртилиной [1], у которой три дочери и за которыми вся молодежь ухаживает, назвал Мартынова данным им прежде эпитетом Chevalier du poignard venu du monde sauvage *; (Мартынов носит черкесское платье и всегда при кинжале, по странностям умственным приобрел остальное). Мартынова это кольнуло, пошло объяснение, и назначена дуэль... Покойник жил с Васильчиковым [2] <и> взял его в секунданты; Мартынов — с Глебовым и избрал его; и так все четверо — люди молодые, неопытные, не сказав никому слова, на другой день отправились за город, и по первому выстрелу бедный Лермонтов пал на землю! Конечно, нельзя оправдывать покойника, но и нельзя крепко винить Мартынова [3]. Эпитет, данный Лермонтовым, был так часто повторяем им, что никак не мог он думать, чтобы Мартынов мог тем обидеться; присутствие девушек сделало всю беду, где они и не делают?..

Если б секунданты были бы поопытнее, можно бы было легко все это дело кончить бутылкой шампанского... Всех их отдали под военный суд без содержания под арестом — бедного Глебова крепко жаль, юноша едва начал поприще свое, уже жестоко ранен и сомнительно, чтобы когда-нибудь владел рукою, теперь эта история, с которой также нелегко развязаться.

---

* Рыцарь с кинжалом, пришедший с диких гор (*фр.*).

К. ЛЮБОМИРСКИЙ

ПИСЬМО ИЗ СТАВРОПОЛЯ В ОДЕССУ
К. Н. И В. Н. СМОЛЬЯНИНОВЫМ

Я должен рассказать вам, любезные друзья мои, об одном происшествии, горестном не только для меня и вас, но и для всякого, кто читает и понимает русскую литературу. Лермонтов, который только что сделался известен своими сочинениями и подал столько надежд, покинул нас навсегда — он убит на дуэли. Страшная судьба наших современных литераторов!.. Лермонтов служил на Кавказе в Тенгинском пехотном полку, недавно ездил в Петербург и, возвратившись, жил в Пятигорске, где он нашел прежнего сослуживца своего, отставного гвардейского офицера Мартынова, который валочился за одной из водяниц и уморительно одевался. Он носил азиатский костюм, за поясом пистолет, через плечо на земле плеть, прическу â la мужик и французские бакенбарды с козлиным подбородком. Говорят, что Лермонтов по-приятельски несколько раз сказывал ему, как он смешон в этом шутовском виде, и советовал сбросить с себя эту дурь, наконец, нарисовал его в сидячем положении, державшегося обеими руками за ручку кинжала и объяснявшегося в любви, придав корпусу то положение или выражение, которое получает он при испражнении, и эту карикатуру показал ему первому. Мартынов вызвал его на дуэль. Положено стреляться в шести шагах. Лермонтов отговаривал его от дуэли и, прибыв на место, когда должно было ему стрелять первому, снова говорил, что он не предполагал, чтобы эта шутка так оскорбила Мартынова, да и не имел намерения, а потому не хочет стрелять в него. Отвел руку и выстрелил мимо. Но Мартынов выстрелил метко, и Лермонтова не стало. Не ручаюсь за версию причин дуэли и за верность подробностей, но теперь еще у нас рассказывают так, как описал я. Может быть, впоследствии откроется

что-либо другое достоверное, и я тогда не промедлю сообщить и вам, но теперь могу ручаться только за то, что Лермонтов убит и что убил его Мартынов. Вот вам печальная новость, как бы я желал рассказывать их как можно реже.

Н. МОЛЧАНОВ

ИЗ ПИСЬМА К В. В. ПАССЕКУ

Пятигорск, 27 июля 1841 г.

Письмо мое, добрый и любезный Вадим Васильевич, встретит вас в Пятигорске, а я тем временем буду направляться в Москву. Последние дни пребывания моего здесь были весьма печальны: смерть Лермонтова, смерть нашего незабвенного Иустина Евдокимовича [1], все это было в последние дни.

О Лермонтове, о кончине его, вы узнаете здесь все точно. Бедный поэт! Проживи он далее, что было бы! Иустин Евдокимович привез ему от бабушки его гостинца и письма. Иустин Евдокимович сам пошел к нему и, не застав его дома, передал слуге его о себе и чтоб Лермонтов пришел к нему в дом Христофорович. В тот же вечер мы видели Лермонтова. Он пришел к нам и все просил прощенья, что не брит. Человек молодой, бойкий, умом остер. Беседа его с Иустином Евдокимовичем зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о Беконе. Лермонтов с жадностью расспрашивал о московских знакомых. По уходе его Иустин Евдокимович много раз повторял: «Что за умница».

На другой день поутру Лермонтов пришел звать на вечер Иустина Евдокимовича в дом Верзилиных, жена Петра Семеныча велела звать его к себе на чай. Иустин Евдокимович отговаривался за болезнью, но вечером Лермонтов его увез и поздно вечером привез его обратно. Опять восторг им: «Что за человек! Экой умница, а стихи его — музыка, но тоскующая».

Через несколько дней Лермонтова убили, что Иустина Евдокимовича потрясло. Через шесть дней закрыл глаза здесь навсегда и наш незабвенный Иустин Евдокимович.

А. И. ВАСИЛЬЧИКОВ

ПИСЬМО К Ю. К. АРСЕНЬЕВУ

Пятигорск, 30 июля <1841 г.>

Виноват я пред тобой, любезный Арсеньев [1], что так замедлил отвечать на твое письмо. Но это последнее время было у нас грустное и хлопотливое. Ты, вероятно, уже знаешь о дуэли Лермонтова с Мартыновым и что я был секундантом у первого. Признаться, смерть его меня сильно поразила, и долго мне как будто не верилось, что он действительно убит и мертв. Не в первый раз я участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и твердо убежден, что дело обойдется, по крайней мере, без кровопролития. С первого выстрела Лермонтов упал и тут же скончался.

N. B. Перевернув страницу, я заметил, что она уже исписана; ленюсь переписывать и продолжаю, читай как умеешь.

Мы состоим под арестом, и производится следствие. Меня перевели по моей просьбе в Кисловодск, потому что нарзан мне необходим. Я живу здесь в Слободке скромно, вдвоем с Столыпиным. Меня выпускают в ванны и на воды с часовым. В Кисловодске холодно, как и прошлого года. Кроме того, пусто, как в степи. Мы с Столыпиным часто задумываемся, глядя на те места, где прошлого лета... Но, что старое вспоминать. Из нас уже двоих нет на белом свете. Жерве умер от раны после двухмесячной мучительной болезни [2]. А Лермонтов, по крайней мере, без страданий. Жаль его! Отчего люди, которые бы могли жить с пользой, а может быть, и с славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано, между тем как на свете столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной старости.

Ничего не умею тебе сказать нового о водах и водяном обществе. Дом Верзилиных процветает по-прежнему. Эмилия все так же и хороша и дурна; Наденька не выросла; Груша[3] не помолодела. Дома Ребровы стоят на том же месте. В гостинице в окошках стекла вставлены. По вечерам играет музыка. Вот и все. Я ожидаю решения моей участи.

Напиши мне, где Долгорукий[4]. Не уехал ли он за границу. Кланяйся всем знакомым.

Скучно! Грустно!

Твой преданный *Александр Васильчиков.*

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНЧИНЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА И О ДУЭЛИ ЕГО С Н. С. МАРТЫНОВЫМ

За последнее время появилось несколько статей и отрывочных рассказов о смерти Лермонтова, в коих мое имя было упомянуто в числе свидетелей дуэли. В приложениях к «Запискам» г-жи Хвостовой помещено заявление Н. С. Мартынова, который прямо ссылается на мои показания. В тех же приложениях к «Запискам» г-жи Хвостовой и в статье журнала «Всемирный труд» сообщается много подробностей, столько же интересных, сколько и неверных [1].

Это вынуждает меня прервать тридцатилетнее молчание, чтобы восстановить факты и описать это горестное происшествие, которому я действительно имел несчастье быть свидетелем на двадцать втором году моей жизни. Молчал же я по сие время потому, что не считал себя вправе, по смерти одного из противников, без уполномочия другого, живого, излагать мое мнение о событии, в свидетели коего я был приглашен по доверенности обеих сторон. Но тридцатилетняя давность, посмертная слава Лермонтова и, наконец, заявление Мартынова, напечатанное в «Русской старине» [2] и вызывающее меня к сообщению подробностей, все это побудило меня сказать несколько слов в ответ на неточные и пристрастные отзывы.

В июле месяце 1841 года Лермонтов, вместе с своим двоюродным братом А. А. Столыпиным[3] и тяжело раненным М. П. Глебовым[4] возвратились из экспедиции, описанной в стихотворении «Валерик», для отдыха и лечения в Пятигорск[5]. Я с ними встретился, и мы

поселились вместе в одном доме, кроме Глебова, который нанял квартиру особо. Позже подъехал к нам князь Трубецкой, которому я уступил половину моей квартиры.

Мы жили дружно, весело и несколько разгульно, как живется в этом беззаботном возрасте, двадцать — двадцать пять лет. Хотя я и прежде был знаком с Лермонтовым, но тут узнал его коротко, и наше знакомство, не смею сказать наша дружба, были искренны, чистосердечны. Однако глубокое уважение к памяти поэта и доброго товарища не увлечет меня до одностороннего обвинения того, кому, по собственному его выражению, злой рок судил быть убийцею Лермонтова.

В Лермонтове (мы говорим о нем как о частном лице) было два человека: один добродушный для небольшого кружка ближайших своих друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение, другой — заносчивый и задорный для всех прочих его знакомых.

К этому первому разряду принадлежали в последнее время его жизни прежде всех Столыпин (прозванный им же Монго), Глебов, бывший его товарищ по гусарскому полку, впоследствии тоже убитый на дуэли князь Александр Николаевич Долгорукий [6], декабрист М. А. Назимов и несколько других ближайших его товарищей. Ко второму разряду принадлежал по его понятиям весь род человеческий, и он считал лучшим своим удовольствием подтрунивать и подшучивать над всякими мелкими и крупными странностями, преследуя их иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмешками.

Но, кроме того, в Лермонтове была черта, которая трудно соглашается с понятием о гиганте поэзии, как его называют восторженные его поклонники, о глубокомысленном и гениальном поэте, каким он действительно проявился в краткой и бурной своей жизни.

Он был шалун в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины между серьезными занятиями и чтениями, и такими шалостями, какие могут прийти в голову разве только пятнадцатилетнему школьному мальчику; например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто остав-

лял всех нас без обеда. Раз какой-то проезжий стихотворец пришел к нему с толстой тетрадью своих произведений и начал их читать; но в разговоре, между прочим, сказал, что едет из России и везет с собой бочонок свежепросольных огурцов, большой редкости на Кавказе; тогда Лермонтов предложил ему прийти на его квартиру, чтобы внимательнее выслушать его прекрасную поэзию, и на другой день, придя к нему, намекнул на огурцы, которые благодушный хозяин и поспешил подать. Затем началось чтение, и покуда автор все более и более углублялся в свою поэзию, его слушатель Лермонтов скушал половину огурчиков, другую половину набил себе в карманы и, окончив свой подвиг, бежал без прощанья от неумолимого чтеца-стихотворца [7].

Обедая каждый день в Пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу. Собирая столовые тарелки, он сухим ударом в голову слегка их надламывал, но так, что образовывалась только едва заметная трещина, а тарелка держалась крепко, покуда не попадала при мытье посуды в горячую воду; тут она разом расползалась, и несчастные служители вынимали из лохани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, что эта шутка не могла продолжаться долго, и Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невинности прислуги и расплатился щедро за свою забаву.

Мы привели эти черты, сами по себе ничтожные, для верной характеристики этого странного игривого и вместе с тем заносчивого нрава. Лермонтов не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запрещенным плодом; он был вполне человек своего века, герой своего времени: века и времени, самых пустых в истории русской гражданственности. Но, живя этой жизнию, к коей все мы, юноши тридцатых годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы 14 декабря, он глубоко и горько сознавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах «Печально я гляжу на наше поколенье», но и в ежедневных, светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был, вообще, нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах; [8] при дворе его считали вредным,

неблагонамеренным и притом, по фрунту, дурным офицером, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что *«туда ему и дорога»*[9]. Все петербургское великосветское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом.

Итак, отдавая полную справедливость внутренним побуждениям, которые внушали Лермонтову глубокое отвращение от современного общества, нельзя, однако, не сознаться, что это настроение его ума и чувств было невыносимо для людей, которых он избрал целью своих придирок и колкостей, без всякой видимой причины, а просто как предмет, над которым он изощрял свою наблюдательность.

Однажды на вечере у генеральши Верзилиной Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали; знаю только, что, выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», — на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: *«А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения».* Больше ничего в тот вечер и в последующие дни, до дуэли, между ними не было, по крайней мере, нам, Столыпину, Глебову и мне, неизвестно, и мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Тем не менее все мы, и в особенности М. П. Глебов, который соединял с отважною храбростью самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбою обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение трех дней[10] наши миролюбивые усилия без всякого успеха. Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению.

На этом сокрушились все наши усилия; трехдневная отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля часов в шесть-семь вечера мы поехали на роковую встречу;

но и тут в последнюю минуту мы, и я думаю сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать.

Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню) [11], темная, громовая туча поднималась из-за соседней горы Бештау.

Мы отмерили с Глебовым тридцать шагов; последний барьер поставили на десяти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на десять шагов по команде «марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: «Сходись!» Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру [12] и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди раненые или ушибленные [13].

Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие.

Хотя признаки жизни уже видимо исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли, доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка по случаю дурной погоды (шел проливной дождь) они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого.

Когда я возвратился, Лермонтов уже мертвый лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли.

Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу.

Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убитом [14]. Как теперь, помню странный эпизод этого рокового вечера; наше сиденье в поле при трупе Лермонтова продолжалось очень долго, потому что извозчики, следуя примеру храбрости гг. докторов, тоже отказались один за другим ехать для перевозки тела убитого. Наступила ночь, ливень не прекращался... [15] Вдруг мы услышали дальний топот лошадей по той же тропинке, где лежало тело, и, чтобы оттащить его в сторону, хотели его приподнять; от этого движения, как обыкновенно случается, спертый воздух выступил из груди, но с таким звуком, что нам показалось, что это живой и болезный вздох, и мы несколько минут были уверены, что Лермонтов еще жив.

Наконец, часов в одиннадцать ночи, явились товарищи с извозчиком, наряженным, если не ошибаюсь, от полиции. Покойника уложили на дроги, и мы проводили его все вместе до общей нашей квартиры.

Вот и все, что я могу припомнить и рассказать об этом происшествии, случившемся 15 июля 1841 года и мною описываемом в июле 1871 года, ровно через тридцать лет. Если в подробностях вкрались ошибки, то я прошу единственного оставшегося в живых свидетеля Н. С. Мартынова их исправить. Но за верность общего очерка я ручаюсь.

Нужно ли затем возражать на некоторые журнальные статьи, придающие, для вящего прославления Лермонтова, всему этому несчастному делу вид злонамеренного, презренного убийства? Стоит ли опровергать рассказы вроде того, какой приведен в статье «Всемирного труда» (1870 года № 10), что будто бы Мартынов, подойдя к барьеру, закричал: «Лермонтов! Стреляйся, а не то убью», и проч., проч.; наконец, что должно признать вызовом, слова ли Лермонтова «потребуй у меня удовлетворения» или последовавшее затем и почти вынужденное этими словами самое требование от Мартынова.

Положа руку на сердце, всякий беспристрастный свидетель должен признаться, что Лермонтов сам, можно сказать, напросился на дуэль и поставил своего противника в такое положение, что он не мог его не вызвать [16].

Я, как свидетель дуэли и друг покойного поэта, не смею судить так утвердительно, как посторонние

рассказчики и незнакомцы, и не считаю нужным ни для славы Лермонтова, ни для назидания потомства обвинять кого-либо в преждевременной его смерти. Этот печальный исход был почти неизбежен при строптивом, беспокойном его нраве и при том непомерном самолюбии или преувеличенном чувстве чести (point d'honneur), которое удерживало его от всякого шага к примирению.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ОПРАВДАНИЕ ЛЕРМОНТОВА ОТ НАРЕКАНИЙ Г. МАРКЕВИЧА

В одном из последних номеров журнала «Русский вестник» мы прочли в повести г. Маркевича «Две маски» [1] следующую невероятную фразу: *«и Лермонтов, скажу мимоходом, был прежде всего представитель тогдашнего поколения гвардейской молодежи».* Это столько же верно, как если б мы написали, что Пушкин был представитель придворной молодежи, потому что носил камер-юнкерский мундир, как Лермонтов лейб-гусарский. Так как из знакомых и друзей поэта я остаюсь едва ли не один из последних в живых и на меня пал жребий быть свидетелем последних его дней и смерти, то я считаю своим долгом восстановлять истинное понятие о нем, когда оно нарушается такими грубыми искажениями, как вышеприведенное заявление г. Маркевича. Впрочем, может быть, что в тех видах, в коих редактируется «Русский вестник», требуется именно представить Лермонтова и Пушкина типами великосветского общества, чтобы облагородить описание этого общества и внушить молодому поколению, не знавшему Лермонтова, такое понятие, что гвардейские офицеры и камер-юнкеры тридцатых годов были все более или менее похожи на наших двух великих поэтов по своему высокому образованию и образу мыслей. Но это не только неверно, но совершенно противоположно правде, и фразу г. Маркевича надо переделать так, что Лермонтов был *представитель направления, противного тогдашнему поколению великосветской молодежи,* что он отделился от него при самом своем появлении на поприще своей будущей славы известными стихами «А вы, надменные потомки», что с того дня он стал в некоторые, если не неприязненные, то холодные отношения к товарищам Дантеса,

убийцы Пушкина, и что даже в том полку, где он служил, его любили немногие.

В статье моей о смерти Лермонтова, напечатанной в «Русском архиве»[2], я позволил себе сделать легкий очерк тогдашнего настроения высшего петербургского общества: парады и разводы для военных, придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки праздников 6 декабря, в Новый год и в пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц во фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры — вот и все, решительно все, чем интересовалось это общество, представителями которого были не Лермонтов и Пушкин, а молодцеватые Скалозубы и всепокорные Молчалины. Лермонтов и те немногие из его сверстников и единомышленников, которых рождение обрекло на прозябание в этой холодной среде, сознавали глубоко ее пустоту и, не зная куда деться, не находя пищи ни для дела, ни для ума, предавались буйному р а з г у л у, — разгулу, погубившему многих из них; лучшие из офицеров старались вырваться из Михайловского манежа и Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые люди, привязанные родственными связями к гвардии и к придворному обществу, составляли группу самых бездарных и бесцветных парадеров и танцоров.

Эта-то пустота окружающей его светской среды, эта ничтожность людей, с которыми ему пришлось жить и знаться, и наложили на всю поэзию и прозу Лермонтова печальный оттенок тоски бессознательной и бесплодной: он печально глядел «на толпу этой угрюмой» молодежи, которая действительно прошла бесследно, как и предсказывал поэт, и ныне, достигнув зрелого возраста, дала отечеству так мало полезных деятелей; «ему некому было руку подать в минуту душевной невзгоды», и, когда в невольных странствованиях и ссылках удавалось ему встречать людей другого закала, вроде Одоевского[3], он изливал свою современную грусть в души людей другого поколения, других времен. С ними он действительно мгновенно сходился, их глубоко уважал, и один из них, еще ныне живущий, М. А. Назимов мог бы засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором он описывал ему, выходцу из Сибири, ничтожество того поколения, к коему принадлежал[4].

К сожалению, Лермонтов прожил весь свой короткий век в одном очень тесном кружке и прочие слои нашего русского общества знал очень мало [5]. Поэтому его описания и относятся почти исключительно к высшему кругу великосветского общества, в коем он вращался и который изучил верно и глубоко. Но он не был представитель этого общества, а, напротив, его обличитель и противник, и он очень бы оскорбился, а может быть, и посмеялся, если б кто-нибудь *«мимоходом назвал его представителем гвардейской молодежи тогдашнего поколения».*

М. А. НАЗИМОВ

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС»

Милостивый государь, по слабости зрения моего, я, к крайнему моему сожалению, только на днях узнал, что в фельетоне № 15-го «Голоса» помещена статья князя А. И. Васильчикова, озаглавленная: «Несколько слов в оправдание Лермонтова против г. Маркевича» [1]. Статья эта была вызвана следующим выражением, помещенным в повести последнего «Две маски» [2] («Русский вестник»). «Лермонтов — *скажу мимоходом* — был, *прежде всего,* представителем тогдашнего поколения гвардейской молодежи». Читавшие статью, вероятно, еще помнят силу, с которою уважаемый автор ее опровергает вышеприведенный отзыв нашего беллетриста. Чтоб показать всю его несостоятельность, князь Васильчиков представляет в ярком и истинном свете коротко известное ему направление своего друга-поэта, его серьезное отношение к жизни вообще и к современной русской жизни в особенности. Вместе с тем, в подтверждение сказанного им, он ссылается на небольшой кружок тех, которым поэт открывал свою душу, и в числе их на меня, как могущего засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором Лермонтов описывает ничтожество того поколения, к которому принадлежал. Спешу подтвердить истину этого показания. Действительно, так не раз высказывался Лермонтов мне самому и другим, ему близким, в моем присутствии. В сарказмах его слышалась скорбь души, возмущенной пошлостью современной ему великосветской жизни и страхом неизбежного влияния этой пошлости на прочие слои общества. Это чувство души его отразилось на многих его стихотворениях, которые останутся живыми памятниками приниженности нравственного

уровня той эпохи. При таком критически-серьезном отношении к светской молодежи его общественной среды может ли быть сколько-нибудь применим к нему отзыв г. Маркевича и особенно выдающиеся в нем слова: *прежде всего* был представителем... и проч. Можно ли говорить о такой личности, как Лермонтов, *мимоходом,* и чем объяснить появление в нашей беллетристике, особенно в таком видном журнале, как «Русский вестник», такого легкомысленно-бесцеремонного и лишенного всякого основания отзыва о нашем знаменитом поэте, успевшем еще в молодых летах проявить столько пытливого, наблюдательного ума, оставить столько драгоценных произведений своего поэтического творчества и память которого дорога всем, умеющим ценить сокровища родного языка, а особенно тем, которые близко знали и любили Лермонтова? [3]

М. А. ЛОПУХИНА

ИЗ ПИСЕМ К А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ-ХЮГЕЛЬ

28 октября 1839 г.

И наконец, я получила письмо от Мишеля[1], который наговорил мне сто и одну глупость и объявил, что прилагает большие усилия, чтобы уговорить бабушку разрешить ему оставить службу, — что она и обещает, если его не назначат адъютантом, поскольку сейчас именно это — пункт ее помешательства.

18 сентября 1841 г.

Последние известия о моей сестре Бахметевой поистине печальны. Она вновь больна, ее нервы так расстроены, что она вынуждена была провести около двух недель в постели, настолько была слаба. Муж предлагал ей ехать в Москву — она отказалась, за границу — отказалась и заявила, что решительно не желает больше лечиться. Быть может, я ошибаюсь, но я отношу это расстройство к смерти Мишеля, поскольку эти обстоятельства так близко сходятся, что это не может не возбудить известных подозрений. Какое несчастие эта смерть; бедная бабушка самая несчастная женщина, какую я знаю. Она была в Москве, но до моего приезда; я очень огорчена, что не видала ее. Говорят, у нее отнялись ноги и она не может двигаться. Никогда не произносит она имени Мишеля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя какого бы то ни было поэта. Впрочем, я полагаю, что мне нет надобности описывать все подробности, поскольку ваша тетка, которая ее видала, вам, конечно, об этом расскажет. В течение нескольких недель я не могу освободиться от мысли об этой смерти, я искренно ее оплакиваю. Я его действительно очень, очень любила.

Е. А. СТОЛЫПИНА

ПИСЬМО К А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ-ХЮГЕЛЬ

26 августа 1841 г.

<...> Наталья Алексеевна <Столыпина> намерена была, как я к тебе писала, прибыть на свадьбу, но несчастный случай, об котором, видно, уже до вас слухи дошли, ей помешал приехать, Мишеля Лермонтова дуэль, в которой он убит *Мартыновым,* сыном Саввы [1], он был на Кавказе; вот все подробности сего дела.

Мартынов вышел в отставку из кавалергардского полка и поехал на Кавказ к водам, одевался очень странно, в черкесском платье и с кинжалом на боку, Мишель, по привычке смеяться над всеми, все его называл le chevalier des monts sauvages и Monsieur du poignard. Мартынов ему говорил: «Полно шутить, ты мне надоел», — тот еще пуще, начали браниться, и кончилось так ужасно. Мартынов говорил после, что он не целился, но так был взбешен и взволнован, попал ему прямо в грудь, бедный Миша только жил 5 минут, ничего не успел сказать, пуля навылет. У него был секундантом Глебов [2], молодой человек, знакомый наших Столыпиных, он все подробности и описывает к Дмитрию Столыпину [3], а у Мартынова — Васильчиков. Сие несчастье так нас всех, можно сказать, поразило, я не могла несколько ночей спать, все думала, что будет с Елизаветой Алексеевной. Нам приехал о сем объявить Алексей Александрович, потом уже Наталья Алексеевна ко мне написала, что она сама не может приехать — нельзя оставить сестру, — и просит, чтобы свадьбу не откладывать, а в другом письме описывает, как они объявили

Елизавете Алексеевне, она сама догадалась и приготовилась[4], и кровь ей прежде пустили. Никто не ожидал, чтобы она с такой покорностью сие известие приняла, теперь всё богу молится и сбирается ехать в свою деревню, на днях из Петербурга выезжает. Мария Якимовна, которая теперь в Петербурге, с ней едет. <...>

ПРИЛОЖЕНИЕ

С. А. РАЕВСКИЙ

ОБЪЯСНЕНИЕ ГУБЕРНСКОГО СЕКРЕТАРЯ РАЕВСКОГО О СВЯЗИ ЕГО С ЛЕРМОНТОВЫМ И О ПРОИСХОЖДЕНИИ СТИХОВ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА

Бабка моя Киреева во младенчестве воспитывалась в доме Столыпиных, с девицею Е. А. Столыпиной), впоследствии по мужу Арсеньевою (дамой шестидесяти четырех лет, *родною бабушкою корнета Лермонтова,* автора стихов на смерть Пушкина).

Эта связь сохранилась и впоследствии между домами нашими, Арсеньева крестила меня в г. Пензе в 1809 году и постоянно оказывала мне родственное расположение, по которому — и потому что я, видя отличные способности в молодом Лермонтове, коротко с ним сошелся — предложены были в доме их стол и квартира.

Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих занятиях, в особенности последние три месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал.

В генваре Пушкин умер. Когда 29 или 30 дня эта новость была сообщена Лермонтову с городскими толками о безыменных письмах, возбуждавших ревность Пушкина и мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и ноябре (месяцы, в которые, по слухам, Пушкин исключительно сочинял), — то в тот же вечер Лермонтов написал элегические стихи, которые оканчивались словами:

И на устах его печать.

Среди их слова: *«не вы ли гнали* его свободный чудный дар» означают безыменные письма, что совершенно доказывается вторыми двумя стихами:

И для потехи возбуждали
Чуть затаившийся пожар.

Стихи эти появились прежде многих и были лучше всех, что я узнал из отзыва журналиста Краевского, который сообщил их В. А. Жуковскому, князьям Вяземскому, Одоевскому и проч. Знакомые Лермонтова беспрестанно говорили ему приветствия, и пронеслась даже молва, что В. А. Жуковский читал их его императорскому высочеству государю наследнику и что он изъявил высокое свое одобрение.

Успех этот радовал меня по любви к Лермонтову, а Лермонтову вскружил, так сказать, голову — из желания славы. Экземпляры стихов раздавались всем желающим, даже с прибавлением двенадцати стихов, содержащих в себе выходку противу лиц, не подлежащих русскому суду — дипломатов <и> иностранцев, а происхождение их есть, как я убежден, следующее:

К Лермонтову приехал брат его камер-юнкер Столыпин [1]. Он отзывался о Пушкине невыгодно, говорил, что он себя неприлично вел среди людей большого света, что Дантес обязан был поступить так, как поступил. Лермонтов, будучи, так сказать, обязан Пушкину известностию, невольно сделался его партизаном и по врожденной пылкости повел разговор горячо. Он и половина гостей доказывали, между прочим, что даже иностранцы должны щадить людей замечательных в государстве, что Пушкина, несмотря на его дерзости, щадили два государя и даже осыпали милостями и что затем об его строптивости мы не должны уже судить.

Разговор шел жарче, молодой камер-юнкер Столыпин сообщал мнения, рождавшие новые споры, — и в особенности настаивал, что иностранцам дела нет до поэзии Пушкина, что дипломаты свободны от влияния законов, что Дантес и Геккерн, будучи знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому.

Разговор принял было юридическое направление, но Лермонтов прервал его словами, которые после почти вполне поместил в стихах: «Если над ними нет закона и суда земного, если они палачи Гения, так есть божий суд».

Разговор прекратился, а вечером, возвратясь из гостей, я нашел у Лермонтова и известное прибавление, в котором явно выражался весь спор. Несколько времени это прибавление лежало без движения, потом по неосторожности объявлено об его существовании и дано для переписывания; чем более говорили Лермонтову и мне про него, что у него большой талант, тем охотнее давал я переписывать экземпляры.

Раз пришло было нам на мысль, что стихи темны, что за них можно пострадать, ибо их можно перетолковывать по желанию, но сообразив, что фамилия Лермонтова под ними подписывалась вполне, что высшая цензура давно бы остановила их, если б считала это нужным, и что государь император осыпал семейство Пушкина милостями, следовательно, дорожил и м , — положили, что, стало быть, можно было бранить врагов Пушкина, оставили было идти дело так, как оно шло, но вскоре вовсе прекратили раздачу экземпляров с прибавлениями потому, что бабку его Арсеньеву, и не знавшую ничего о прибавлении, начали беспокоить общие вопросы о ее внуке, и что она этого пожелала.

Вот все, что по совести обязан я сказать об этом деле.

Обязанный дружбою и одолжениями Лермонтову и видя, что радость его очень велика от соображения, что он в *22* года от роду сделался всем известным, я с удовольствием слушал все приветствия, которыми осыпали его за экземпляры.

Политических мыслей, а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло. Лермонтову, по его состоянию, образованию и общей любви, ничего не остается желать, разве кроме славы. Я трудами и небольшим имением могу также жить не хуже моих родителей. Сверх того, оба мы русские душою и еще более верноподданные: вот еще доказательство, что Лермонтов неравнодушен к славе и чести своего государя.

Услышав, что в каком-то французском журнале напечатаны клеветы на государя императора, Лермонтов в прекрасных стихах обнаружил русское негодование противу французской безнравственности, их палат и т. п. и, сравнивая государя императора с благороднейшими героями древними, а журналистов — с наемными клеветниками, оканчивает словами:

Так в дни воинственные Рима,
Во дни торжественных побед,
Когда с триумфом шел Фабриций,
И раздавался по столице
Народа благодарный к л и к , —
Бежал за светлой колесницей
Один *наемный клеветник*[2].

Начала стихов не помню — они писаны, кажется, в 1835 году, и тогда я всем моим знакомым раздавал их по экземпляру с особенным удовольствием.

Губернский секретарь *Раевский*

21 февраля 1837

А. Х. БЕНКЕНДОРФ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О СТИХОТВОРЕНИИ ЛЕРМОНТОВА «СМЕРТЬ ПОЭТА» С РЕЗОЛЮЦИЕЙ НИКОЛАЯ I

Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермантова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без права сноситься с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи, и о взятии его бумаг как здесь, так и на квартире его в Царском Селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. По словам Лермонтова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать.

А. Бенкендорф

РЕЗОЛЮЦИЯ НИКОЛАЯ I

Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону.

НИКОЛАЙ I

ИЗ ПИСЬМА К ИМПЕРАТРИЦЕ

13/25 <июня 1840 г.> $10^1/_2$. Я работал и читал всего «Героя», который хорошо написан. <...>

14/26... 3 часа дня. Я работал и продолжал читать сочинение Лермонтова; я нахожу второй том менее удачным, чем первый. Погода стала великолепной, и мы могли обедать на верхней палубе. Бенкендорф ужасно боится кошек, и мы с Орловым мучим его — у нас есть одна на борту. Это наше главное времяпрепровождение на досуге.

7 часов вечера... За это время я дочитал до конца «Героя» и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер. И хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненное действие, потому что в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе как по гнусным и грязным побуждениям. Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора. Характер капитана набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде людей встречаются куда более на-

стоящие, чем те, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом. Несомненно, Кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть. Однако капитан появляется в этом сочинении как надежда, так и неосуществившаяся, и господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и таким простым характером; он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем наводить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности — чтобы не вызывать отвращения [1]. Счастливый путь, господин Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана, если вообще он способен его постичь и обрисовать.

Н. С. МАРТЫНОВ

ОТРЫВКИ ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК

В 18<32> году поступил юнкером в лейб-гусары, в эскадрон гвардейских юнкеров, М. Ю. Лермонтов. Наружность его была весьма невзрачна; маленький ростом, кривоногий, с большой головой, с непомерно широким туловищем, но вместе с тем весьма ловкий в физических упражнениях и с сильно развитыми мышцами. Лицо его было довольно приятное. Обыкновенное выражение глаз в покое несколько томное; но как скоро он воодушевлялся какими-нибудь проказами или школьничеством, глаза эти начинали бегать с такой быстротой, что одни белки оставались на месте, зрачки же передвигались справа налево с одного на другого, и эта безостановочная работа производилась иногда по нескольку минут сряду. Ничего подобного я у других людей не видал. Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнить его можно только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей. Волосы у него были темные, но довольно редкие, с светлой прядью немного повыше лба, виски и лоб весьма открытые, зубы превосходные — белые и ровные, как жемчуг. Как я уже говорил, он был ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади; но, как в наше время преимущественно обращали внимание на посадку, а он был сложен дурно, не мог быть красив на лошади, поэтому он никогда за хорошего ездока в школе не слыл, и на ординарцы его не посылали [1]. Если я вхожу в эти подроб-

ности, то единственно потому, чтобы объяснить, как смотрело на него наше ближайшее начальство, то есть эскадронный командир. К числу физических упражнений следует также отнести маршировку, танцы и фехтование (гимнастике у нас тогда не учили). По пешему фронту Лермонтов был очень плох: те же причины, как и в конном строю, но еще усугубленные, потому что пешком его фигура еще менее выносила критику. Эскадронный командир сильно нападал на него за пеший фронт, хотя он тут ни в чем виноват не был.

Странное обстоятельство, которое я припоминаю только теперь.

По пятницам у нас учили фехтованию; класс этот был обязательным для всех юнкеров, и оставлялось на выбор каждому рапира или эспадрон. Сколько я ни пробовал драться на рапирах, никакого толку из этого не выходило, потому что я был чрезвычайно щекотлив, и в то время как противник меня колет, я хохочу и держусь за живот. Я гораздо охотнее дрался на саблях. В числе моих товарищей только двое умели и любили, так же как я, это занятие: то были гродненский гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, и эти полутеатральные представления привлекали много публики из товарищей, потому что борьба на эспадронах всегда оживленнее, красивее и занимательнее неприметных для глаз эволюций рапиры. Танцевал он ловко и хорошо.

Умственное развитие его было настолько выше других товарищей, что и параллели между ними провести невозможно. Он поступил в школу уже человеком, много читал, много передумал; тогда как другие еще вглядывались в жизнь, он уже изучил ее со всех сторон; годами он был не старше других, но опытом и воззрением на людей далеко оставлял их за собой. В числе товарищей его был Василий Вонлярлярский, человек тоже поживший, окончивший курс в университете и потом не знаю вследствие каких обстоятельств добровольно променявший полнейшую свободу на затворническую жизнь в юнкерской школе. В эпоху, мною описываемую, ему было уже двадцать два или двадцать три года. Эти два человека, как и должно было ожидать, сблизились. В рекреационное время их всегда можно было застать вместе. Лярский, ленивейшее создание в целом мире (как герой «Женитьбы» у Гоголя), большую часть дня

лежал с расстегнутой курткой на кровати. Он лежал бы и раздетый, но дисциплина этого не позволяла.

Из наук Лермонтов с особенным рвением занимался русской словесностью и историей. Вообще он имел способности весьма хорошие, но с любовью он относился только к этим двум предметам. Курс в юнкерской школе для получения офицерского звания был положен двухлетний, но вряд ли из этих двух лет ему довелось провести с нами полных шесть месяцев. <...>

МОЯ ИСПОВЕДЬ

15 июля 1871 года, село Знаменское.

Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли. Трудно поверить! Тридцать лет — это почти целая жизнь человеческая, а мне памятны малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера. Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен, я чувствую желание высказаться, потребность облегчить свою совесть откровенным признанием самых заветных помыслов и движений сердца по поводу этого несчастного события. Для полного уяснения дела мне требуется сделать маленькое отступление: представить личность Лермонтова так, как я понимал его, со всеми его недостатками, а равно и с добрыми качествами, которые он имел.

Не стану говорить об его уме: эта сторона его личности вне вопроса; все одинаково сознают, что он был очень умен, а многие видят в нем даже гениального человека. Как писатель, действительно, он весьма высоко стоит, и, если сообразить, что талант его еще не успел прийти к полному развитию, если вспомнить, как он был еще молод и как мало окружающая его обстановка способствовала к серьезным занятиям, то становится едва понятным, как он мог достигнуть тех блестящих результатов при столь малом труде и в таких ранних годах. Перейдем к его характеру. Беспристрастно говоря, я полагаю, что он был добрый человек от природы, но свет его окончательно испортил. Быв с ним в весьма близких отношениях, я имел случай неоднократно замечать, что все хорошие движения сердца, всякий порыв нежного чувства он старался так же тща-

тельно в себе заглушать и скрывать от других, как другие стараются скрывать свои гнусные пороки. Приведу в пример его отношения к женщинам. Он считал постыдным признаться, что любил какую-нибудь женщину, что приносил какие-нибудь жертвы для этой любви, что сохранил уважение к любимой женщине: в его глазах все это было романтизм, напускная экзальтация, которая не выдерживает ни малейшего анализа.

Я стал знать Лермонтова с юнкерской школы, куда мы поступили почти в одно время. Предыдущая его жизнь мне была вовсе неизвестна, и только из печатных о нем биографий узнал я, что он воспитывался прежде в Московском университетском пансионе; но, припоминая теперь личность, характер, привычки этого человека, мне многое становится понятным нынче из того, что прежде я никак не мог себе уяснить.

По существовавшему положению в юнкерскую школу поступали молодые люди не моложе шестнадцати лет и восьми месяцев и в большей части случаев прямо из дому; исключения бывали, но редко. По крайней мере, сколько я помню, большинство юнкеров не воспитывались прежде в других заведениях. По этой причине школьничество и детские шалости не могли быть в большом ходу между нами. У нас держали себя более серьезно. Молодые люди в семнадцать лет и старше этого возраста, поступая в юнкера, уже понимали, что они не дети. В свободное от занятий время составлялись кружки; предметом обыкновенных разговоров бывали различные кутежи, женщины, служба, светская жизнь. Все это, положим, было очень незрело; суждения все отличались увлечением, порывами, недостатком опытности; не менее того, уже зародыши тех страстей, которые присущи были отдельным личностям, проявлялись и тут и наглядно показывали склонности молодых людей. Лермонтов, поступив в юнкерскую школу, остался школяром в полном смысле этого слова. В общественных заведениях для детей существует почти везде обычай подвергать различным испытаниям или, лучше сказать, истязаниям вновь поступающих новичков. Объяснить себе этот обычай можно разве только тем, как весьма остроумно сказано в конце повести Пушкина «Пиковая дама», что Лизавета Ивановна, вышед замуж, тоже взяла себе воспитанницу; другими словами, что все страдания, которые вынесли новички в свое время, они желают выместить на новичках, которые их заменяют.

В юнкерской школе эти испытания ограничивались одним: новичку не дозволялось в первый год поступления курить, ибо взыскания за употребление этого зелья были весьма строги, и отвечали вместе с виновными и начальники их, то есть отделенные унтер-офицеры и вахмистры. Понятно, что эти господа не желали подвергать себя ответственности за людей, которых вовсе не знали и которые ничем еще не заслужили имя хороших товарищей. Но тем и ограничивалась разница в социальном положении юнкеров; но Лермонтов, как истый школьник, не довольствовался этим, любил помучить их способами более чувствительными и выходящими из ряда обыкновенно налагаемых испытаний. Проделки эти производились обыкновенно ночью. Легкокавалерийская камера была отдельная комната, в которой мы, кирасиры, не спали (у нас были свои две комнаты), а потому, как он распоряжался с новичками легкокавалеристами, мне неизвестно; но расскажу один случай, который происходил у меня на глазах, в нашей камере, с двумя вновь поступившими юнкерами в кавалергарды. Это были Эмануил Нарышкин (сын известной красавицы Марьи Антоновны) и Уваров. Оба были воспитаны за границей; Нарышкин по-русски почти вовсе не умел говорить, Уваров тоже весьма плохо изъяснялся. Нарышкина Лермонтов прозвал «французом» и не давал ему житья; Уварову также была дана какая-то особенная кличка, которой не припомню. Как скоро наступало время ложиться спать, Лермонтов собирал товарищей в своей камере; один на другого садились верхом; сидящий кавалерист покрывал и себя и лошадь своею простыней, а в руке каждый всадник держал по стакану воды; эту конницу Лермонтов называл «Нумидийским эскадроном» [1]. Выжидали время, когда обреченные жертвы заснут, по данному сигналу эскадрон трогался с места в глубокой тишине, окружал постель несчастного и, внезапно сорвав с него одеяло, каждый выливал на него свой стакан воды. Вслед за этим действием кавалерия трогалась с правой ноги в галоп обратно в свою камеру. Можно себе представить испуг и неприятное положение страдальца, вымоченного с головы до ног и не имеющего под рукой белья для перемены.

Надобно при этом прибавить, что Нарышкин был очень добрый малый, и мы все его полюбили, так что эта жестокость не имела даже никакого основательного

повода, за исключением разве того, что он был француз. Наша камера пришла в негодование от набегов нумидийской кавалерии, и в следующую ночь несколько человек из нас уговорились блистательно отомстить за нападение. Для этого мы притворились все спящими, и когда ничего не знавшие об этом заговоре нумидийцы собрались в комплект в нашу комнату, мы разом вскочили с кроватей и бросились на них. Кавалеристы принуждены были соскочить со своих лошадей, причем от быстроты этого драгунского маневра и себя и лошадей препорядочно облили водой, затем легкая кавалерия была изгнана со стыдом из нашей камеры. Попытки обливать наших новичков уже после этого не возобновлялись.

Хотя курс юнкерской школы был двухлетний, Лермонтов едва ли и несколько месяцев провел между нами. При строгостях, тогда существовавших для всех юнкеров безразлично, подобное исключительное положение требует разъяснения. У Лермонтова была бабушка, старуха Арсеньева, которая любила его без памяти и по связям своим имела доступ к нашему высшему начальству. Генерал Шлиппенбах, начальник школы...[2]

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Андроников — А н д р о н и к о в И. Л. Лермонтов. Исследования и находки. М., 1964.

Белинский — Б е л и н с к и й В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953—1957.

Бродский — Б р о д с к и й Н. Л. М. Ю. Лермонтов. Биография, т. I. 1814—1832 гг. М., 1945.

Висковатов — В и с к о в а т о в П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1987.

Вырыпаев — В ы р ы п а е в П. А. Лермонтов. Новые материалы к биографии. Саратов, 1976.

Герцен — Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1954—1965.

Герштейн — Г е р ш т е й н Э. Г. Судьба Лермонтова. 2-е изд., испр. и доп. М., 1986.

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

ГИМ — Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (Москва).

ГПБ — Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ИВ — «Исторический вестник».

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (Ленинград).

Исследования и материалы — М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979.

Лермонтов — Л е р м о н т о в М. Ю. Собр. соч. в 4-х томах. Л., 1979—1981.

Лермонтов в воспоминаниях, 1972 — М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1972.

Лермонтовский сборник — Лермонтовский сборник. Л., 1985.

Летопись — М а н у й л о в В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.—Л., 1964.

ЛН — «Литературное наследство».

ЛЭ — Лермонтовская энциклопедия. М., 1981.

РА — «Русский архив».

РВ — «Русский вестник».

РО — «Русское обозрение».

РС — «Русская старина».

Сборник ИМЛИ — Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сборник I. М., 1941.

ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов (Москва).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).

А. П. ШАН-ГИРЕЙ

Аким Павлович Шан-Гирей (1819—1883) — троюродный брат и один из самых близких друзей Лермонтова. Он участвовал в детских играх поэта, подолгу жил в доме Арсеньевой в Тарханах, в Москве, а затем в Петербурге, провожал на Кавказ в апреле 1841 г.; ему передает Лермонтов поручение в последнем своем письме.

Может быть, только С. А. Раевский значил больше в жизни поэта. Надо полагать, что «советы», которые давал Шан-Гирей Лермонтову по поводу окончания «Демона», о чем идет речь в воспоминаниях, вызывали у поэта улыбку, но, как видим, выслушивал он его терпеливо.

Узнав, что Шан-Гирей написал воспоминания о Лермонтове, С. А. Раевский послал ему 8 мая 1860 г. такое письмо: «Друг Аким Павлович! Наконец исполняется постоянное мое желание — ты решаешься записать твои воспоминания о незабвенном Михаиле Юрьевиче. Ты был его другом, преданным с детства, и почти не расставался с ним; по крайней мере все значительные изменения в его жизни совершились при тебе, при теплом твоем участии, и редкая твоя память порукою, что никто вернее тебя не может передать обществу многое замечательное об этом человеке, гордости нашей литературы...» (*РО,* 1890, № 8, с. 742—743).

Действительно, с фактической стороны воспоминания Шан-Гирея представляют для нас необыкновенную ценность.

Жаль только, что он недооценивал ранние произведения Лермонтова и даже считал поэтому за лучшее уничтожить их. Это тем более обидно, что в Апалихе, имении Шан-Гиреев, хранились многие рукописи и памятные вещи Лермонтова.

В письме к Е. А. Арсеньевой от 10 мая 1841 г. Лермонтов писал: «Скажите Екиму Шангирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда на Кавказ. Оно

и ближе и гораздо веселее» (*Лермонтов,* т. 4, с. 426). А. П. Шан-Гирей последовал этому совету и в начале 40-х годов поехал на Кавказ. Там он и остался, в 1845 г. купил имение в пятидесяти верстах от Пятигорска, а затем женился на Э. А. Клингенберг, свидетельнице последних дней поэта, и жил то в Тифлисе, то в Пятигорске.

Воспоминания Шан-Гирея, написанные весной 1860 г., были опубликованы только после его смерти, в 1890 г. Многие сведения о жизни Лермонтова Шан-Гирей сообщил также Висковатову, когда тот писал биографию поэта.

О Шан-Гирее см. статью В. А. Мануйлова и С. И. Недумова «Друг Лермонтова А. П. Шан-Гирей». — Михаил Юрьевич Лермонтов. Сб. статей и материалов. Ставрополь, 1960, с. 251—270.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

(стр. 33)

[1] Имеется в виду статья С. С. Дудышкина «Ученические тетради Лермонтова» (Отечественные записки, 1859, № 7, с. 1—62; № 11, с. 245—270).

[2] Лермонтов родился не в Тарханах, а в Москве в ночь с 2-го на 3 октября.

[3] Ошибка мемуариста: М. М. Лермонтова умерла 24 февраля 1817 г., когда Лермонтову шел уже третий год. В 1830 г. он записал: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».

[4] Кропотово.

[5] Известны две поездки Лермонтова на Кавказ в детские годы: в 1820 и 1825 гг.

[6] Мария Акимовна Шан-Гирей — двоюродная тетка Лермонтова, с которой его связывали трогательные, доверчивые отношения. Сохранилось 4 письма юного Лермонтова к ней от 1827—1830 гг. В одном из них он посылает ей стихотворение «Поэт» («Когда Рафаэль вдохновенный...»), обещает нарисовать картинку, в другом заверяет, что постарается следовать ее советам, «ибо я уверен, — прибавляет он, — что они служат к моей пользе», в третьем — спорит о «Гамлете».

В ее альбоме сохранилось несколько рисунков Лермонтова и самый ранний его автограф. Некоторые рисунки выполнены уже в 1836 г., когда поэт приезжал в Тарханы в отпуск.

О М. А. Шан-Гирей и ее альбоме см.: Сандомирская В. Б. Альбом с рисунками Лермонтова (Лермонтов и М. А. Шан-Гирей). — *Исследования и материалы,* с. 122—138.

[7] Жан Капе *(Capet)* — гувернер-учитель Лермонтова. В 1825 г. ездил с ним в Пятигорск. П. А. Висковатов писал: «Эльзасец Капе был офицер наполеоновской гвардии. Раненым попал он в плен к русским. Добрые люди ходили за ним и поставили его на ноги. Он, однако же, оставался хворым, не мог привыкнуть к климату, но, полюбив Россию и найдя в ней кусок хлеба, свыкся и глядел на нее как на вторую свою родину... Лермонтов очень любил Капе, о коем сохранилась добрая память и между старожилами села Тарханы» (*Висковатов,* с. 50). Вскоре после переселения в Москву Капе умер от чахотки. Лермонтов тяжело пережил его смерть.

[8] *Христина Осиповна* Ремер — немка, приставленная к Лермонтову со дня его рождения. Она учила своего воспитанника уважительному отношению к окружающим, в том числе и к крепостным, поэтому она пользовалась уважением всей дворни.

Ансельм *Левис* был человеком образованным и авторитетным. О нем см.: Нахапетов Б. Приглашен в Тарханы. Новые данные о докторе А. Леви. — Медицинская газета, 1986, 6 августа.

[9] Эпизоды из истории Александра Македонского. По свидетельству С. А. Раевского, Лермонтов «вылепил из воску спасение жизни Александра Великого Клитом при переходе через Граник». В сражении при Арабеллах Александр Македонский разбил персидское войско. Об увлечении Лермонтова лепкой см.: Вейс А. Ю. Затерянные восковые фигуры работы Лермонтова. — Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома, т. 2. М.—Л. 1953, с. 331—336.

[10] О развлечениях маленького Миши и его сверстников в Тарханах со слов С. А. Раевского рассказывает в своей книге П. А. Висковатов. «Елизавета Алексеевна так любила своего внука, что для него не жалела ничего, ни в чем ему не отказывала. Все ходило кругом да около Миши. Все должны были угождать ему, забавлять его. Зимою устраивалась гора, на ней катали Михаила Юрьевича, и вся дворня, собравшись, потешала его. Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, играли кто во что горазд. При каждом появлении нового лица Михаил Юрьевич бежал к Елизавете Алексеевне в смежную комнату и говорил: «Бабушка, вот еще один такой пришел!» — и ребенок делал ему посильное описание. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича, на время святок освобождались от урочной работы. Праздники встречались с большими приготовлениями, по старинному обычаю. К пасхе заготовлялись крашеные яйца в громадном количестве. Начиная с светлого воскресенья, зал наполнялся девушками, приходившими

катать яйца. Михаил Юрьевич все проигрывал, но лишь только удавалось выиграть яйцо, то с большою радостью бежал к Елизавете Алексеевне и кричал:

— Бабушка, я выиграл!

— Ну, слава богу, — отвечала Елизавета Алексеевна. — Бери корзинку яиц и играй еще.

«Уж так веселились, — рассказывают тархановские старушки, — так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то, шум такой выносила!

А летом опять свои удовольствия. На троицу и семик ходили в лес со всею дворней, и Михаил Юрьевич впереди всех. Поварам работы было страсть — на всех закуску готовили, всем угощение было».

Бабушка в это время сидела у окна гостиной комнаты и глядела на дорогу в лес и длинную просеку, по которой шел ее баловень, окруженный девушками. Уста ее шептали молитву. С нежнейшего возраста бабушка следила за играми внука. Ее поражала ранняя любовь его к созвучиям речи. Едва лепетавший ребенок с удовольствием повторял слова в рифму: «пол — стол» или «кошка — окошко», ему ужасно нравилось, и, улыбаясь, он приходил к бабушке поделиться своею радостью.

Пол в комнате маленького Лермонтова был покрыт сукном. Величайшим удовольствием мальчика было ползать по нем И чертить мелом» (*Висковатов,* с. 41—42).

[11] Жан Пьер Жандро — гувернер Лермонтова, взятый в дом после смерти Капе. Это был эмигрант, роялист, живший в России со времен Великой французской революции. «Жандро сумел понравиться избалованному своему питомцу, а особенно бабушке и московским родственницам, каких он пленял безукоризненностью манер и любезностью обращения, отзывавшихся старой школой галантного французского двора» (*Висковатов,* с. 56). По-видимому, с него списан образ гувернера Саши в поэме «Сашка».

[12] Недавно И. Т. Трофимов обнаружил в *ЦГАЛИ* поэму без названия за подписью «М. Лермонтов» и высказал предположение, что это и есть считавшаяся утраченной «Индианка». Возможно, найденная поэма действительно написана Лермонтовым в пансионские годы, но ни сюжет, ни имена действующих лиц не дают основания считать, что это — «Индианка». См.: Трофимов И. Т. Поиски и находки в московских архивах. М., 1987, с. 137—139.

[13] В качестве образца для Лермонтова мог служить только «Московский телеграф» (1825—1834); «Московский наблюдатель» тогда еще не издавался.

[14] Арсеньева с внуком переехала на Малую Молчановку, дом № 2 весной 1830. г., когда Лермонтов собирался поступать в университет. Здесь они прожили до отъезда в Петербург. В настоящее время дом восстановлен и в нем открыт Музей М. Ю. Лермонтова.

[15] Ср. воспоминания А. З. Зиновьева (с. 77 наст. изд.).

[16] *Винсон* (Федор Федорович Виндсон) — английский гувернер Лермонтова, преподававший английский язык и литературу. О нем см.: Иванова Т. А. Лермонтов в Москве. М., 1979, с. 55—57.

[17] Первая анонимная публикация воспоминаний Е. А. Сушковой о Лермонтове (*PB,* 1857, № 9, с. 396—408).

[18] А. М. Верещагина. См. с. 550—552.

[19] Е. А. Сушкова. См. с. 516—520.

[20] Е. П. Ростопчина. См. с. 595—597.

[21] Варваре Александровне Лопухиной (в замужестве Бахметевой) посвящены стихотворения «К*» («Оставь напрасные заботы...»), «К*» («Мы случайно сведены судьбою...»), «Она не гордой красотою...», «Слова разлуки повторяя...», «К*» («Мой друг, напрасное старанье..!») и др. Лопухина явилась прототипом Веры («Княгиня Лиговская», драма «Два брата», «Герой нашего времени»). Ей посвящены поэмы «Измаил-Бей» и «Демон». В 1838 г. В. А. Бахметева послала Лермонтову список «Демона» с просьбой проверить точность текста. Поэт вернул ей рукопись (редакция, датированная 8 сентября 1838 г.) с некоторыми поправками и приписанным в конце посвящением: «Я кончил — и груди невольное сомненье...». О В. А. Лопухиной см. также: Пахомов Н. П. Подруга юных дней. М., 1975.

Н. Ф. Бахметев и его родственники не допускали упоминания в печати об отношениях В. А. Лопухиной и Лермонтова. Поэтому Шан-Гирей не мог напечатать свои воспоминания, пока они были живы.

[22] В Московский университет Лермонтов поступил в 1830 г.

[23] Первые наброски «Демона» относятся к 1829 г.

[24] Об этом см.: Шумихин С. В. Лермонтов в Российском Благородном собрании. — *Лермонтовский сборник,* с. 233—245.

[25] Шан-Гирей имеет в виду новогодние мадригалы и эпиграммы, написанные в самом конце 1831 г. П. Шаликов, описывая этот маскарад в «Дамском журнале», писал: «Некоторые маски раздавали довольно затейливые стихи, и одни поднесены той, которая недавно восхищала нас «Пиксисовыми вариациями». Не будучи балладою, сии стихи заслужили ласковую улыбку нашей Зонтаг» (Дамский журнал, 1832, ч. 37, № 3, с. 47). Шаликов имеет в виду пользовавшуюся в то время большим успехом певицу П. А. Бартеневу.

[26] В тексте воспоминаний опубликовано письмо А. М. Верещагиной к Лермонтову от 18 августа 1835 г.

[27] Поэма «Боярин Орша» написана в 1835—1836 гг., «Беглец» — в 1837 г., «Хаджи Абрек» — в 1833—1834 гг.

[28] Лермонтов уехал из Москвы в июле 1832 г. Так называемая «маловская история» (см. воспоминания А. И. Герцена на с. 133—134) на его решение покинуть Московский университет не повлияла. К этому вынудили Лермонтова столкновения с профессорами (см. воспоминания П. Ф. Вистенгофа на с. 139—140).

[29] Дом № 6 по Исаакиевской площади. В нем теперь находится исполком Ленинградского городского Совета.

[30] Дом Ланского, находившийся на углу Мойки и Глухого переулка, не сохранился. На этом участке теперь дом № 84 по набережной Мойки и № 15 по переулку Пирогова.

[31] Строфы поэмы, приведенные Шан-Гиреем, имеют некоторые разночтения с известными источниками текста. Вероятно, он цитировал по своему, ныне утраченному списку.

[32] *Mayeux* — персонаж, популярный во французской литературе 1830—1840-х гг. Впервые он появляется в рисунках Шарля Травье как тип мелкого буржуа, затем в целом ряде сатирических и карикатурных листков. Имя Mayeux вошло и в название юмористического журнала, встречается и в шаржах Бальзака, где герой выступает как смешной и неловкий в обществе человек, которому приписаны комические выходки, остроты, каламбуры, эпиграммы. «Тип Mayeux претерпел известную эволюцию и с течением времени как бы очистился от своих несимпатичных качеств», — замечает П. Н. Сакулин, автор статьи «Маёшка» (Известия ОРЯС АН, 1910, т. 15, кн. 2, с. 62—72).

[33] Лермонтов был произведен в корнеты 22 ноября 1834 г.

[34] «Хаджи Абрек» был опубликован в «Библиотеке для чтения» в 1835 г. (№ 8, отд. I, с. 81—94). После смерти поэта О. И. Сенковский уверял, что Лермонтов сам просил напечатать его поэму. Вряд ли он мог предвидеть, что этот эпизод найдет место в воспоминаниях Шан-Гирея и Меринского.

[35] *Андрей* Иванович Соколов — дядька и камердинер Лермонтова.

[36] Цитируется поэма «Монго» (1836).

[37] По-видимому, «Княгиня Лиговская».

[38] В письме С. А. Раевскому от 16 января 1836 г. Лермонтов также называет раннюю редакцию драмы «Маскарад» — «Арбенин».

[39] В. А. Лопухина вышла замуж за Н. Ф. Бахметева 25 мая 1835 г.

[40] См. статью: Иванова Т. А. Об эпиграфе в стихотворении Лермонтова «Смерть Поэта». — Вопросы литературы, 1970, № 8, с. 91—105.

[41] Лермонтов был потрясен, узнав, что С. А. Раевский пострадал из-за него. «Ты не можешь вообразить моего отчаяния, — писал ему

Лермонтов 27 февраля 1837 г., — когда я узнал, что я виной твоего несчастия, что ты, желая мне же добра, за эту записку пострадаешь... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет, и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес в жертву ей...» (*Лермонтов,* т. 4, с. 399; см. также письма Лермонтова к нему на с. 399—400).

Раевский, по-видимому, старался успокоить друга (его письмо к Лермонтову не сохранилось). «Я всегда был убежден, что Мишель напрасно исключительно себе приписывает маленькую мою катастрофу в Петербурге в 1837 г., — писал Раевский Шан-Гирею. Объяснения, которые Михаил Юрьевич был вынужден дать своим судьям, допрашивавшим о мнимых соучастниках в появлении стихов на смерть Пушкина, составлены им вовсе не в том тоне, чтобы сложить на меня какую-нибудь ответственность, и во всякое другое время не отозвались бы резко на ходе моей службы; но, к несчастию моему и Мишеля, я был тогда в странных отношениях к одному из служащих лиц... Когда Лермонтов произнес перед судом мое имя, служаки этим воспользовались, аттестовали меня непокорным и ходатайствовали об отдаче меня под военный суд, рассчитывая, вероятно, что во время суда я буду усерден и покорен, а покуда они приищут другого — способного человека. К счастию, ходатайство это не было уважено, а я просто без суда переведен на службу в губернию; записываю это для отнятия права упрекать память благородного Мишеля» (*РО,* 1890, № 8, с. 742—743). Сестра Раевского А. А. Соловцова рассказывала П. А. Висковатову о встрече друзей после возвращения их в Петербург. «Она помнила, — пишет он, — как брат ее вернулся из ссылки в Петербург, как была обрадована старушка-мать и как через несколько часов вбежал в комнату Лермонтов и бросился на шею к ее брату. «Я помню, как он его целовал и потом все гладил и говорил: «Прости меня, прости меня, милый». Я была ребенком и не понимала, что это значило, но как теперь помню растроганное лицо Лермонтова и его большие, полные слез глаза. Брат был тоже растроган до слез и успокаивал друга своего» (Вестник Европы, 1887, № I, с. 345).

[42] Здесь опущено приведенное в воспоминаниях Шан-Гирея письмо Лермонтова к С. А. Раевскому от второй половины ноября — начала декабря 1837 г.

[43] Отрывок из стихотворения «Опять, народные витии...» был

напечатан в «Современнике» (1854, № 5, отд. 1, с. 5); полностью стихотворение напечатано в «Библиографических записках» (1859, № 1, стб. 21—22). Приведенный текст имеет разночтения с окончательной редакцией.

[44] Из стихотворения «Журналист, читатель и писатель».

[45] Речь идет об императрице Александре Федоровне. Об этом см.: *Герштейн,* с. 38—41. О последней редакции «Демона» см. статью Найдича Э. Э. — Русская литература, 1971, № 1, с. 72—78, а также его статью «Спор о «Демоне». — Литературная Россия, 1968, 5 июля, № 27, с. 16—17.

[46] Правильнее Цинандали.

[47] Мария Алексеевна Щербатова была увлечена Лермонтовым. Навестив ее в Москве, А. И. Тургенев записал в дневнике: «Сквозь слезы смеется, любит Лермонтова». После дуэли поэта с Барантом Щербатова, сделавшаяся предметом бесконечных пересудов, потерявшая маленького сына, который умер в ее отсутствие, оказалась в ужасном положении. В письмах этого времени к своей приятельнице А. Д. Блудовой (о ней см. с. 566 наст. изд.) она, стараясь притушить сплетни и поняв, что Лермонтов для нее потерян, изображает их отношения как просто дружеские. 21 марта 1840 г. она писала: «...свет и прекрасные дамы оказывают мне слишком большую честь, уделяя мне так много внимания! Предполагают, что я была причиной того, что состоялась эта несчастная дуэль. А я совершенно уверена, что оба собеседника во время своей ссоры вовсе не думали обо мне. К несчастью, казалось, что оба молодых человека ухаживали за мной. Что я положительно знаю, так это то, что они меня в равной степени уважали. Я их обоих очень любила, и я могу сказать об этом любому, кто захочет услышать это. Так что же в этом плохого, спрашиваю я Вас? Они много раз слышали от меня, что я не выйду вновь замуж. Таким образом, у них не было никакой надежды. И потом каждый из них знал всю глубину моего дружеского расположения к другому. Я этого не скрывала. И я не видела в этом ничего, заслуживающего порицания.

Что касается этой дуэли, то мое поведение никоим образом не могло дать повод для нее, так как я всегда была одинакова как по отношению к одному, так и по отношению к другому. Эрнест, говоря со мной о Лермонтове, называл его «ваш поэт», а Лермонтов, говоря о Баранте, называл его «ваш любезный дипломат». Я смеялась над этим, вот и все.

Было бы слишком долго отвечать Вам на все то, о чем говорится в Ваших письмах... Если б горе столь

большой потери не удручало меня, я бы часто от всего сердца смеялась над той доброжелательностью, с которой будут вестись все эти пересуды. Мой поспешный отъезд дает повод для сплетен, но Вы сами можете засвидетельствовать, прочитав отчаянное письмо моей мачехи о состоянии здоровья моего отца.

Меня бесконечно огорчает отчаяние госпожи Арсеньевой, этой замечательной старушки, она должна меня ненавидеть, хотя никогда меня не видела. Она осуждает меня, я в этом уверена, но если б она знала, как я сама изнемогаю под тяжестью только что услышанного! Мадам Барант справедлива ко мне, в этом я уверена. Она читала в моей душе так же легко, как и в душе Констанции <дочери>, она знала о моих отношениях с ее сыном, и она не может, таким образом, сердиться на меня из-за его отъезда. Эта семья мне очень дорога, я им многим обязана». А 23 марта она продолжает: «Один друг моего отца... человек, наделенный очень рассудительным и обстоятельным умом, интересуется всем, что касается нашей семьи. Именно он пишет, что Эрнест уже покинул Петербург. Теперь мне не терпится узнать, каким будет путь М.: мне пишут также, что он просит, чтобы его послали на Кавказ. Какой безумец! Думает ли он о своей бабушке, которая умрет от огорчения? Думает ли он о проклятиях, которые вся его семья пошлет на мою голову? Никогда его родственники не захотят поверить, что я ничего не значила в этой дуэли и что лишь благодаря хорошему воспитанию, которое они ему дали, вся эта история имела место. Как с одной, так и с другой стороны, они действовали как безумцы или как дети, которые ссорятся, не зная почему <...>

Расскажите мне немного, что говорят Карамзины. Настроена ли против меня Софи? Это привело бы меня в отчаяние, потому что я ее так любила и так хорошо понимала истинный такт и чистосердечие ее разговора...» (Литературная Россия, 1987, 24 июля, с. 16).

[48] А. А. Столыпин (Монго) был секундантом Лермонтова.

[49] Марка дуэльных пистолетов.

[50] Тереза фон Бахерахт, немецкая писательница, жена секретаря русского консульства в Гамбурге. О ней и ее роли в истории дуэли Лермонтова с Э. Барантом см.: *Герштейн,* с. 10—18.

[51] Об истории дуэли Лермонтова с Э. Барантом и последовавших событиях см.: *Герштейн,* с. 6—35.

[52] Прибавление к стихотворению «Соседка» неизвестно. В. А. Соллогуб также вспоминал, что «Лермонтов в ордонанс-гаузе читал ему это стихотворение, позднее переделанное». Он видел и рисунок Лермонтова, изображавший эту девушку (*Висковатов,* с. 294).

[53] Лермонтов приехал в Петербург в начале февраля 1841 г., а Е. А. Арсеньева — только в середине марта.

[54] «Герой нашего времени» был закончен раньше и в апреле 1840 г. уже вышел отдельным изданием.

[55] Этот рисунок Шан-Гирея не сохранился.

[56] Лермонтов последний раз выехал из Петербурга 14 апреля 1841 г.

[57] Теперь эта книга находится в *ГПБ.* В нее вписаны стихотворения «Спор», «Сон» («В полдневный жар...»), «Утес», «Они любили друг друга...», «Тамара», «Свидание», «Листок», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Выхожу один я на дорогу...», «Морская царевна», «Пророк», «Лилейной рукой поправляя...», «На бурке под тенью чинары...». На первой странице надпись В. Ф. Одоевского: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную. *К<нязь> В. Одоевский. 1841. Апреля 13-е. СПБург».* Возвращена Одоевскому книга была только 30 декабря 1843 г. А. А. Хастатовым.

[58] Это произошло 13 июля.

[59] Имеется в виду рисунок Р. К. Шведе «Лермонтов в гробу», который в настоящее время находится в музее *ИРЛИ,* так же как и его картина, выполненная по этому рисунку.

И. А. АРСЕНЬЕВ

Илья Александрович Арсеньев (1820?—?) — московский знакомый и дальний родственник Лермонтова (его отец — пятиюродный дядя деда поэта). С 1840 г. Арсеньев служил чиновником особых поручений при московском ген.-губернаторе. Много занимался журналистикой: он был издателем-редактором «Занозы», «Петербургского листка», «Петербургской газеты».

Поскольку мемуарист был на шесть или (по другим источникам) на девять лет моложе Лермонтова, его отношение к поэту складывалось, конечно, в большей мере под воздействием разговоров старших. Остроумие Лермонтова, его независимые взгляды и собственное мнение об окружающих воспринимались в этой среде как своеволие и невоспитанность. Характерно, что о посещениях их дома А. С. Пушкиным Арсеньев замечает: «Ни один приезд к нам Александра Сергеевича не проходил без какой-нибудь с его стороны злой шутки» (*ИВ,* 1887, № 1, с. 79).

Хотя Арсеньев и пишет об уме, таланте и даже гениальности Лермонтова, это, вероятно, только дань общему мнению. Судя по замечанию мемуариста о стихотворении «Парус», поэзия Лермонтова была ему совершенно чужда.

В окружении поэта недоброжелателей было гораздо больше, чем друзей, и воспоминания Арсеньева объективно передают ту атмосферу неприязни, которая постоянно окружала поэта, когда он сталкивался с людьми, чуждыми ему по духу.

СЛОВО ЖИВОЕ О НЕЖИВЫХ

(стр. 56)

Впервые — Нива, 1885, № 27.

Печатается по тексту: *ИВ,* 1887, № 2, с. 353—354 (отрывок) *

[1] В своей оценке Мартынова автор расходится с подавляющим большинством современников, которые считали его человеком пустым и чванливым. Раскаяние Мартынова не было искренним. В своей первоначальной публикации «Из моей памятной книжки» (Нива, 1885, № 27, с. 647) Арсеньев дал Мартынову менее лестную оценку, отмечая, что он «был человек щепетильно-самолюбивый и обидчивый, не отличаясь большим развитием», и также «довольно бесхарактерен и всегда находился под чьим-либо посторонним влиянием».

П. К. ШУГАЕВ

Петр Кириллович Шугаев (1855—1917) — пензенский помещик, постоянно живший в Чембаре (ныне г. Белинский, центр района, где находится село Лермонтово, бывшие Тарханы). Имение его находилось неподалеку от Тархан. Он интересовался историческим и литературным прошлым родных мест и в особенности всем, что имеет отношение к биографии Лермонтова и В. Г. Белинского. С этой целью он разыскивал современников поэта, ездил по Чембарскому уезду и записывал рассказы старожилов. Таким образом ему удалось собрать многие интересные факты, к которым неизбежно присоединились и предания, легенды, вкрались неточности.

К сожалению, он не сообщает, от кого получил собранные сведения, какие разночтения обнаружил в полученной им тетради, а также текст неизвестно кому принадлежавшего стихотворения.

---

* Библиографические справки публикаций даются в наст. изд. лишь к текстам, не входившим в издание *Лермонтов в воспоминаниях, 1972.*

ИЗ КОЛЫБЕЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

(стр. 58)

[1] *Воейково* — ныне станция Белинская.

[2] Шугаев ошибочно писал вместо Арсеньевы — Арсентьевы. В тексте наст. книги эта ошибка исправлена.

[3] Арсеньевы приобрели Тарханы 13 ноября 1794 г. Деньги на покупку имения взяли из приданого Елизаветы Алексеевны, поэтому Тарханы были записаны на ее имя.

[4] Елизавета Алексеевна родилась в 1773 г. После смерти мужа она имела обыкновение прибавлять себе годы, одевалась во все черное, и все молодые родственники называли ее бабушкой.

[5] Висковатов передавал другую версию: Елизавета Алексеевна, зная об отношениях мужа с Мансыревой, выслала ей навстречу доверенных людей «с какой-то энергической угрозой». О княгине Н. М. Мансыревой см.: Семченко А. Д., Фролов П. А. Мгновения и вечность. К истокам творчества Лермонтова. Саратов, 1982, с. 164—170.

[6] По сведениям, полученным Висковатовым, М. В. Арсеньев в этот вечер собирался играть роль могильщика в «Гамлете».

[7] В действительности Юрий Петрович совсем не так безропотно расстался с сыном. 5 июня 1817 г. М. М. Сперанский писал А. А. Столыпину: «Ее <Елизавету Алексеевну> ожидает крест нового рода. Лермонтов требует к себе сына. Едва согласился оставить еще на два года». Ю. П. Лермонтову пришлось уступить после того, как Е. А. Арсеньева завещала М. Ю. Лермонтову все свое состояние на том условии, что внук останется при ней до его совершеннолетия. «Тебе известны причины моей с тобой разлуки, — писал отец в своем завещании за девять месяцев до смерти, — и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерею». См. главу «Спор Е. А. Арсеньевой с Ю. П. Лермонтовым о дальнейшей судьбе Михаила Юрьевича» в книге: Вырыпаев П. А. Лермонтов. Новые материалы к биографии. Саратов, 1976, с. 49—61, 170.

[8] В среде тарханских крестьян из поколения в поколение передаются рассказы о Лермонтове, иногда полулегендарные. Все они рисуют поэта добрым, щедрым, заступником за крестьянские интересы. Записи этих рассказов см.: Корнилов В. Тарханы. Музей-усадьба М. Ю. Лермонтова. М., 1948, с. 55—71; Вырыпаев П. А. Лермонтов с нами. Саратов, 1966, с. 77—79; Он же. Кругом родные все места. Пенза, 1963, с. 91 —101.

[9] Последние архивные разыскания лермонтоведов говорят о том, что Е. А. Арсеньева не выделялась мягкосердечием из среды соседей-крепостников. Об этом см.: Семченко А. Д., Фролов П. А. Указ соч., с. 15—25.

[10] В этой надписи, которая точно воспроизведена Шугаевым,

продолжительность жизни Арсеньевой указана неверно: она умерла 72 лет.

[11] Речь идет о П. С. Озерецком, профессоре Пензенской духовной семинарии; родители его были знакомы с М. Ю. Лермонтовым и Е. А. Арсеньевой.

[12] Местонахождение этой тетради неизвестно.

[13] По-видимому, этот портрет является копией с портрета (или автопортрета), принадлежавшего А. И. Соколову и теперь, видимо, утраченного. Эту копию Озерецкий посылал в Петербург в Лермонтовский музей при Николаевском кавалерийском училище для сличения с имеющимися там портретами, получил ее обратно и не расставался с ней до самой смерти. П. К. Шугаев разыскал портрет у его бывшей экономки, а в 1938 г. его сын Н. П. Шугаев передал его в Литературный музей *ИРЛИ*. Об этом подробнее см.: Вейс А. Ю., Ковалевская Е. А. Неизвестный портрет Лермонтова. — Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома, т. 2. М.—Л., 1953, с. 317—323.

[14] Сведения об акварели Лермонтова «Маскарад» еще два раза появлялись в печати в те годы. В 1891 г. 24 июля в харьковской газете «Южный край» в заметке «На могиле М. Ю. Лермонтова» между прочим сообщалось: «В одной из комнат тарханского дома на стене висят две акварели работы Лермонтова, из коих одна напоминает эпизод из жизни Пушкина, приведший гениального поэта к роковой развязке, а другая изображает сцену из «Маскарада». В 1897 г. они были переданы в Пензу. В *ИВ* (1899, № 5, с. 765) в статье «К юбилею Пушкина» сообщалось: «Между прочим, в доме Лермонтова в Тарханах Пензенской губернии года два тому назад заведующим музеем губернского статистического комитета г. Поповым найдены были в числе других картин две картины, которые приписываются работе М. Ю. Лермонтова и изображают: одна сцену в маскараде, а другая сцену из интимной жизни А. С. Пушкина. Картины эти, благодаря содействию управляющего имением в Тарханах, переданы были в распоряжение г. Попова и в настоящее время находятся в помещении музея статистического комитета». Местонахождение этих акварелей неизвестно.

[15] По словам снохи А. И. Соколова, это она передала эполеты Лермонтова Турнеру. Теперь они экспонируются в Литературном музее *ИРЛИ,* но это эполеты Лермонтова-корнета, а не те, что были на нем во время дуэли.

А. Н. КОРСАКОВ

Алексей Николаевич Корсаков (1823—1890) — сотрудник исторических журналов, автор статей, в основном по русской истории XVIII в. До 1869 г. он служил в саперных войсках, выйдя в отставку, занялся медициной, переводами с польского и т. д.

Познакомившись с Михаилом Антоновичем Пожогиным-Отрошкевичем, двоюродным братом, товарищем детских лет поэта, Корсаков воспользовался случаем записать и опубликовать неизвестные сведения о жизни и характере Лермонтова.

ЗАМЕТКА О ЛЕРМОНТОВЕ

(стр. 69)

[1] Рыбкин Н. Материалы к биографии Белинского и Лермонтова. — *ИВ,* 1881, № 10, с. 365—378.

[2] Михаил Антонович Пожогин-Отрашкевич был сыном Авдотьи Петровны, сестры Ю. П. Лермонтова. О взаимоотношениях двоюродных братьев после того, как они расстались в детстве, ничего не известно. Но в описи бумаг поэта при аресте в 1837 г. значатся «письма Пожогина», вероятно, М. А. Пожогина-Отрашкевича. Узнав о смерти Лермонтова, М. А. Пожогин-Отрашкевич, лечившийся в это время в пятигорском госпитале, подал рапорт коменданту Ильяшенкову с требованием выдать ему как ближайшему родственнику покойного его вещи. На это А. А. Столыпин, назвав себя двоюродным братом Лермонтова, ответил, что все имущество убитого поэта отправлено к его бабке как ближайшей родственнице и что поручик Пожогин-Отрашкевич может истребовать их у нее, если докажет свое близкое родство. В этом высокомерном ответе сказалось отчужденное отношение Столыпиных к родственникам Лермонтова по отцовской линии.

[3] Николай Гаврилович Давыдов жил с Лермонтовым не только в Тарханах, но и в Москве в 1828—1829 гг. В Тарханах жила в 1820—1824 гг. и старшая сестра Давыдова Пелагея. Она, вероятно, помогала обучению мальчиков русскому языку. Лермонтов, возможно, бывал в их имении Пачелме. Об этой семье см.: Храбровицкий А. Дело помещицы Давыдовой. — *ЛН,* т. 57, с. 243—247.

[4] Утверждение, что у Лермонтова первым гувернером был некий Жако, представляется сомнительным. Все другие источники называют имя Жана Капе.

[5] О Винсоне см. с. 501.

М. Е. МЕЛИКОВ

Моисей Егорович Меликов (1818 — после 1896) — художник, один из самых преданных учеников К. П. Брюллова. В Академию художеств Меликов поступил в 1837 г., а начинал учение в Москве одновременно с Лермонтовым.

Его воспоминания содержат интересные подробности о жизни Лермонтова пансионских лет и его окружении. Описание наружности поэта, сделанное Меликовым с наблюдательностью живописца-портретиста, выделяется яркостью и образностью из всей мемуарной литературы о поэте.

ЗАМЕТКИ И ВОСПОМИНАНИЯ ХУДОЖНИКА-ЖИВОПИСЦА

(стр. 72)

[1] П. М. Меликов был одним из тех, от кого Лермонтов мог слышать рассказы о А. П. Ермолове. Упоминания имени легендарного полководца, популярного среди декабристов, в творчестве Лермонтова, несмотря на их краткость, очень многозначительны («Спор», «Валерик», «Герой нашего времени», «Кавказец»). Известно, что Лермонтов задумывал историческую трилогию, где Ермолов должен был играть значительную роль. По-видимому, состоялась и личная встреча поэта с прославленным полководцем, т. к. П. Х. Граббе послал Ермолову письмо с Лермонтовым, когда тот в январе 1841 г. ехал в отпуск через Москву, где жил опальный генерал.

Ермолов высоко ценил творчество Лермонтова и с негодованием отозвался об его убийце: «Уж я бы не спустил этому Мартынову. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать, да, вынувши часы, считать, через сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался. Можно позволить убить всякого другого человека, будь он вельможа и знатный; таких завтра будет много, а этих людей не скоро дождешься!» (*РВ,* 1864, № 8, с. 229).

[2] Ср. воспоминания А. П. Шан-Гирея на с. 35 наст. изд.

[3] Меликов ошибается: Брюллов не увидел в лице Лермонтова отражения его гениальности. «Физиономия Лермонтова заслоняет мне его т а л а н т, — признавался он впоследствии. — Я, как художник, всегда прилежно следил за проявлением способностей в чертах лица человека; но в Лермонтове я ничего не нашел». Об этом см.: К о р н и л о в а А. В. Карл Брюллов в Петербурге. Л., 1976, с. 123; Т у р ч и н В. С. Портреты русских писателей в русской живописи XIX в. М., 1970, с. 37.

[4] Этот эпизод подробно описан Е. А. Сушковой (см. с. 89).

А. З. ЗИНОВЬЕВ

Алексей Зиновьевич Зиновьев (1801—1884) — преподаватель русского и латинского языков в Московском университетском Благородном пансионе (1822—1830); переводчик, автор трудов по педагогике, теории словесности и по римским древностям.

Зиновьев готовил Лермонтова к поступлению в 4-й класс пансиона, а затем поэт обучался под его присмотром в пансионе (сентябрь 1828 — апрель 1830). Зиновьев следил за новыми течениями в искусстве и литературе, питал склонность к романтическим произведениям. Теоретические воззрения Зиновьева повлияли на формирование поэтических принципов юного Лермонтова (см.:

Гроссман Л. Стиховедческая школа Лермонтова. — *ЛН,* т. 45-46, с. 262—265).

Воспоминания Зиновьева, за исключением мелких неточностей, оговоренных нами в примечаниях, вполне достоверны; они были написаны между 1860 и 1872 гг., поскольку мемуарист полемизирует с С. С. Дудышкиным, опубликовавшим в 1860 г. статью «Материалы для биографии и литературной оценки Лермонтова», во втором томе редактируемых им сочинений поэта, и поскольку воспоминаниями Зиновьева воспользовался А. Н. Пыпин для своей статьи, изданной в 1873 г. (Сочинения Лермонтова в издании Ефремова).

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

(стр. 76)

[1] Арсеньева привезла внука в Москву для подготовки к поступлению в Университетский пансион осенью 1827 г.

[2] Мемуарист ошибается: переводу «Перчатки» (1829) предшествовал ряд стихотворений, написанных Лермонтовым в 1828 г. («Осень», «Заблуждение Купидона», «Цевница», поэмы «Кавказский пленник», «Корсар»). Перевод «Перчатки» сохранился, впервые был опубликован в 1860 г. в издании: Шиллер Ф. Разные сочинения в переводах русских писателей, т. 8. СПб., 1860, с. 319—321.

[3] Зиновьев возражает С. С. Дудышкину, статья которого была написана под влиянием воспоминаний Сушковой (*РВ,* 1857, № 9, кн. 2, № 18).

[4] К этому месту сделана приписка мемуариста на отдельном листе: «Статься может, что впоследствии он не поддавался военной выправке и, вероятно, по этой причине заслужил прозвище Маёшка (Mayeux). Зато он не только не сердился, но и обрисовал себя под именем Маёшки. Немногие из его товарищей не имели особенной клички; прозвище Мунго придано было другу и его близкому родственнику. Он вовсе не гнался за славой неукоризненного паркетного юноши. Он не дорожил знанием французского языка, не щеголял никакой внешностью».

О происхождении прозвища «Маёшка» см. примеч. 32 к воспоминаниям А. П. Шан-Гирея.

[5] В гвардии Наполеона служил не Жандро, а гувернер Лермонтова — Капе, умерший в доме Арсеньевой.

[6] Ошибка мемуариста: Ансельм Леви (Левис) был домашним доктором в Тарханах; сопровождал Лермонтова на Кавказ, а затем в Москву,

[7] Стихи из поэмы Лермонтова «Монго» (1836) Зиновьев цитирует по изд.: Лермонтов М. Ю. Сочинения, приведенные в порядок С. С. Дудышкиным. 2-е изд. СПб., 1863, т. 1.

[8] Ошибка мемуариста: М. Н. Шубин оставил пансион летом 1828 г., до поступления в него Лермонтова. По предположению Н. Л. Бродского, Лермонтов познакомился с Шубиным через Мещериновых (*Бродский,* с. 155). Шубин был однокашником поэта по Школе юнкеров; упомянут в юнкерской поэме «Гошпиталь».

[9] Последний абзац перенесен на отдельный лист в измененной редакции: «Один из умных, просвещенных и благороднейших товарищей Лермонтова по пансиону и по юнкерской школе Михаил Николаевич Шубин положительно убежден, что Михаил Юрьевич был далек и чужд всякого искательства, что он был добрый товарищ, il avait l'esprit varié et enjoué, il voulait avoir de (?) l'avantage... <нрзб.> <«У него ум был разнообразный и живой, он хотел иметь некоторые (?) преимущества»>, но он был истинно любим за свои благородные правила. P. S. Из портретов Лермонтова более всех схож приложенный к первому изданию его сочинений».

Помимо воспоминаний Зиновьева, известен его ответ П. А. Висковатому на вопрос, знал ли Лермонтов древние языки: «Лермонтов знал порядочно латинский язык, не хуже других, а пансионеры знали классические языки очень порядочно. <...> Языку можно научиться в полгода настолько, чтобы читать на нем, а хорошо познакомясь с авторами, узнаешь хорошо и язык. Если же все напирать на грамматику, то и будешь изучать ее, а язык-то все же не узнаешь, не зная и не любя авторов» (*Висковатов,* с. 58).

Д. А. МИЛЮТИН

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816—1912) поступил в Московский университетский пансион в 1829 г. В рукописном журнале «Улей», который редактировал Милютин, были помещены ранние стихи Лермонтова (журнал утрачен). В 1831 г. Милютин издал две книжки: «Руководство к съемке планов с приложением математики и «Опыт литературного словаря»; последний получил благожелательный отзыв в «Московском телеграфе» (1831, ч. 42, с 325—326).

В дальнейшем Д. А. Милютин избрал военную карьеру, в 1838—1845 гг. служил в Отдельном Кавказском корпусе. Будучи в 1861—1881 гг. военным министром, проводил прогрессивные реформы в армии (отмена телесных наказаний, сокращение срока службы и т. д.).

Воспоминания Милютина написаны в 70-е годы. Сообщаемые им сведения о широте литературных интересов воспитанников пансиона полностью подтверждаются исследованиями советских литературоведов Ф. Ф. Майского и Н. Л. Бродского.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(стр. 80)

[1] Ныне на месте Московского университетского пансиона находится Центральный телеграф (угол ул. Горького и ул. Огарева).

[2] Согласно табели о рангах все должности в гражданском аппарате царской России были разделены на четырнадцать классов. Четырнадцатому классу соответствовало звание коллежского регистратора, двенадцатому — губернского секретаря, десятому — коллежского секретаря.

[3] В 1820-е гг. исторические романы и повести Вальтера Скотта в большом количестве издавались в России; русские переводы делались и с английского оригинала, и с французских изданий. Об отношении Лермонтова к Вальтеру Скотту см. статью Ю. Д. Левина (*ЛЭ,* с. 507—508).

М. Н. Загоскин опубликовал в эти годы два романа: «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) и «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831).

[4] Речь идет о существовании в пансионе Общества любителей российской словесности, о котором С. Е. Раич так вспоминал в 1854 г.: «В последние годы существования Благородного пансиона <...> под моим руководством вступили на литературное поприще некоторые из юношей, как-то: г. Лермонтов, Стромилов, Колачевский, Якубович, В. М. Строев. Соображаясь с письменным уставом В. А. Жуковского, открыл я для воспитанников Благородного пансиона Общество любителей отечественной словесности; каждую неделю, по субботам, собирались они в одном из куполов, служившем моею комнатою и пансионскою библиотекой. Здесь читались и обсуживались сочинения и переводы молодых словесников, каждый месяц происходили торжественные собрания в присутствии попечителя университета А. А. Писарева, директора П. А. Курбатова, инспектора пансиона М. Г. Павлова и нескольких посторонних посетителей; в собрании читались предварительно одобренные переводы и сочинения воспитанников, разборы образцовых произведений отечественной словесности и решались изустно вопросы из области ифики, эстетики и пр., предлагавшиеся попечителем, директором или инспектором» (Русский библиофил, 1913, кн. 8, с. 32—33). Подробнее об обществе и его участниках см.: *Бродский,* с. 122—146; Вацуро В. Э. Литературная школа Лермонтова. — *Лермонтовский сборник,* с. 49—90.

[5] О рукописных журналах, издававшихся в пансионе, см. также воспоминания В. С. Межевича на с. 84.

[6] Милютин ошибочно указывает дату 29 сентября. Об этом посещении см. воспоминания Г. Головачева (*РВ,* 1880, № 10, с. 698—699).

[7] «Высочайший указ» о преобразовании Университетского пансиона в казенную гимназию последовал 29 марта 1830 г.

В. С. МЕЖЕВИЧ

Василий Степанович Межевич (1814—1849) — журналист, литературный критик. Печатался в «Телескопе», «Галатее» и «Отечественных записках», затем стал сотрудником «Северной пчелы». Знал Лермонтова еще по Московскому университетскому пансиону и воспользовался первым удобным случаем, чтобы рассказать о поэте, интерес к личности и творчеству которого был особенно велик в конце 30-х — начале 40-х гг. Возможность публикации в полуофициозной «Северной пчеле» похвальной статьи о поэзии Лермонтова (с личными воспоминаниями о поэте) возникла в результате неожиданной позиции редактора «Северной пчелы» Булгарина. Он напечатал в своей газете восторженную статью о «Герое нашего времени». Как утверждали современники, издатель И. Глазунов попросил Булгарина услужить ему и написать похвальную рецензию, чтобы публика быстрей раскупила «Героя нашего времени» (Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. 1782—1882. СПб., 1883, с. 71—72); другие версии по этому поводу см.: Головин И. Записки. Лейпциг, 1859, с. 67; *ИВ,* 1892, кн. 11, с. 387). Намекая на эти слухи, Белинский писал о *«купленном* пристрастии» Булгарина (*Белинский,* т. 4, с. 373). Воспользовавшись позицией Булгарина, В. С. Межевич послал в «Северную пчелу» свою статью в форме письма к редактору.

ИЗ СТАТЬИ О СТИХОТВОРЕНИЯХ ЛЕРМОНТОВА

(стр. 84)

[1] Переводы Лермонтова из «Лалла-Рук» неизвестны. Из дошедших до нас переводов Лермонтова лирики Т. Мура известны стихотворения: «Ты помнишь ли, как мы с тобою...» (заглавие Т. Мура «Выстрел») и «Романс» («Ты идешь на поле битвы...»), который, как установил В. Э. Вацуро, является переложением стихотворения Т. Мура «Go where glory waits thee». О влиянии творчества Т. Мура на поэзию Лермонтова, включая поэмы и драмы Лермонтова, см. статью Вацуро В. Э. (*ЛЭ,* с. 323—324).

[2] Поэма Лермонтова «Хаджи Абрек» была опубликована в «Библиотеке для чтения» (1835, № 11, отд. 1, с. 81—94).

[3] «Песня...» появилась впервые в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» (1838, 30 апреля, № 18, с. 344—347) за подписью «...въ». Однако в «Оглавлении статей, помещенных в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» 1838 г. авторство Лермонтова было раскрыто.

Е. А. СУШКОВА

Екатерина Александровна Сушкова (в замужестве Хвостова; 1812—1868) — одна из героинь лирики Лермонтова. Она происходила из семьи, многие члены которой были причастны к литературе. Это прежде всего ее двоюродная сестра поэтесса Е. П. Ростопчина, дядя Н. В. Сушков, кузина Е. А. Ган, известная в свое время писательница, повести которой высоко ценил В. Г. Белинский, В. Желиховская и др., но обстоятельства еще в детстве оторвали ее от этой среды. После разрыва родителей она была вверена попечениям тетки М. В. Беклешовой, женщины деспотичной и невежественной. Единственный выход из положения она видела в замужестве. Не имея приданого, но будучи красивой и остроумной, Сушкова пользовалась большим успехом в обществе и придирчиво перебирала своих поклонников. Встретив у Верещагиных пятнадцатилетнего Лермонтова, она поначалу совсем не обратила на него внимания.

Для Лермонтова 1830 год был отмечен увлечением творчеством и личностью Байрона (знаком он был с биографией английского поэта, написанной Томасом Муром).

В своих отношениях с Сушковой Лермонтов, вероятно, хотел видеть аналогию с юношеским безответным чувством Байрона к Мери Чаворт. И он, видимо, бессознательно конструировал свой роман с Сушковой, ориентируясь на этот эпизод биографии Байрона. Об этом подробнее см.: Глассе А. Лермонтов и Е. А. Сушкова. — *Исследования и материалы,* с. 91—101.

О петербургском этапе взаимоотношений Лермонтова с Сушковой, помимо ее воспоминаний, известно также из письма поэта к А. М. Верещагиной и из неоконченного романа «Княгиня Лиговская».

«Вступая в свет, я увидел, что у каждого был какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, покровительство, — писал Лермонтов своей приятельнице весной 1835 г. из Петербурга. — ...я увидел, что если мне удастся занять собою одно лицо, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества.

Я понял, что m-lle С, желая *изловить меня* (техническое выражение), легко скомпрометирует себя ради меня; потому я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя: я обращался с нею в обществе так, как если бы она была мне

близка, давая ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня... Когда я заметил, что мне это удалось, но что еще один шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего в свете я стал более холоден с ней, а наедине более нежным, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности, это неправда); когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я в обществе первый покинул ее, я стал жесток и дерзок, насмешлив и холоден с ней, я ухаживал за другими и рассказывал им (по секрету) выгодную для меня сторону этой истории. *Она* так была поражена неожиданностью моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, а это подало повод к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу». И далее: «Но вот смешная сторона истории: когда я увидал, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел чудесный способ — я написал анонимное письмо: *«M-lle, я человек, знающий вас, но вам неизвестный* и т. д... *предупреждаю вас, берегитесь этого молодого человека: М. Л. Он вас соблазнит* и т. д... *вот доказательства (разный вздор)* и т. д.». Письмо на четырех страницах! Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетки; в доме гром и молния. На другой день еду туда рано утром, чтобы, во всяком случае, не быть принятым. Вечером на балу я с удивлением рассказываю ей это; она сообщает мне ужасную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения — я все отношу на счет тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что ее родные запрещают ей разговаривать и танцевать со м н о ю , — я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетки. Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Впрочем, женщина всегда прощает зло, которое мы причиняем другой женщине (*афоризмы Ларошфуко*). Теперь я не пишу романов — я их делаю.

Итак, вы видите, я хорошо отомстил за слезы, которые меня заставило пролить 5 лет тому назад кокетство m-lle C.» (*Лермонтов,* т. 4, с. 393—394).

Ни в письме, ни в романе Лермонтов не старается оправдать свой поступок, объясняя его местью за кокетство и тщеславными побуждениями. Из писем М. А. Лопухиной и А. М. Верещагиной выясняется также, что обе его приятельницы были против Сушковой

и ее брака с Лопухиным. Как следует из письма Лермонтова, в не дошедшем до нас письме Лопухиной содержался какой-то неблагоприятный отзыв о Сушковой. А. М. Верещагина, видимо, имела в виду интересы М. А. Лопухиной.

Е. А. Ган, пересказывая содержание тетради, полученной от Сушковой для прочтения и излагавшей «тайную историю» ее жизни, передает следующий эпизод. Однажды в Москве, войдя в отсутствие Верещагиной в ее комнату, Сушкова увидела на столе письмо Лермонтова, в котором он писал: «Будьте спокойны, милая кузина. Мишель <т. е. Лопухин. Ган в своем рассказе называет его князем Мишелем> никогда не женится на m-lle Сушковой. Я играл двойную игру, которая удалась мне превосходно. Кокетство m-lle Сушковой хорошо наказано! Она так очернена в глазах Мишеля, что он к ней чувствует одно презрение; мне же удалось лестью вскружить ей голову и даже внушить ей страсть, которая мне неприятна... Не так-то легко будет мне от нее отделаться! Зато цель наша достигнута, а что касается до m-lle Сушковой — будь с ней что будет!..» «Тогда только Катя поняла, — добавляет Ган, — что бедные родственницы князя, Александрина и мать ее, живя с ним вместе и на его счет, отнюдь не желали, чтоб он женился, да еще на девушке без состояния» (Сушкова Е. (Хвостова Е. А.) Записки, 1812—1841 гг. Л., 1928, с. 303—304).

На эту публикацию последовало возмущенное возражение Е. Бакуниной, которая утверждала, что она знала Верещагину и ее мать, и они, имея свое достаточное состояние, ни в какой мере не были заинтересованы в семейных и имущественных делах А. А. Лопухина (*РС,* 1887, № 7, с. 430).

Бакунина была, конечно, права в отношении Верещагиных, но что касается сестер Лопухина, то они действительно жили вместе с ним и зависели от него материально. Когда Лопухин в 1838 г. женился на В. А. Оболенской, его сестра Мария Александровна (Варвара Александровна была уже замужем) попала в очень тяжелое, зависимое положение.

Записки Сушковой кончаются разрывом с Лермонтовым. Об их последующих встречах и отношениях сохранились довольно разноречивые свидетельства. В отрывочных записях М. И. Семевского со слов Сушковой говорится, что Лермонтов, когда была назначена ее свадьба с Хвостовым, просился в шаферы, в чем ему было отказано, но он на свадьбе присутствовал и будто бы плакал (Сушкова Е. Указ. соч., с. 222). Когда эти строки были прочитаны А. П. Шан-Гирею, он, как рассказывает П. А. Висковатов, расхохотался и сказал, что был в церкви вместе с Лермонтовым

и «не только не видел его плачущим, но, напротив, в весьма веселом настроении» (*РВ,* 1882, № 3, с. 338).

Семевский слышал также, что когда молодые приехали из церкви, Лермонтов умышленно рассыпал соль, сказав: «Пусть молодые новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь», а когда в 1840 г. Е. А. Сушкова с мужем была в Тифлисе, поэт прислал ей свой портрет, но она отказалась принять его. Тогда Лермонтов портрет изрезал, бросил в печку, сказав: «Если не ей, то пусть никому не достается этот портрет» (Сушкова Е. Указ. соч., с. 222—223).

Когда весной 1837 г. Лермонтов проездом на Кавказ остановился в Москве, он вписал в альбом А. М. Верещагиной ироническое послание «Катерина, Катерина», адресованное Сушковой. Между ней и Лермонтовым в отношении Сушковой такой тон, видимо, был обычным.

Сочувственное изображение Негуровой (ее прототипом была Сушкова) в романе «Княгиня Лиговская» как будто не согласуется с ироническими сообщениями Лермонтова о свадьбе Сушковой, которые по его просьбе вставляет в свое письмо к дочери Е. А. Верещагина (см. с. 552).

Свои воспоминания о Лермонтове с подзаголовком «Отрывок из записок» Сушкова опубликовала в 1857 г. в журнале «Русский вестник», а после ее смерти М. И. Семевский в 1870 г. издает отдельной книгой «Записки» с приложением других воспоминаний о Лермонтове, опубликованных к тому времени. Книга имела самый широкий резонанс в печати. С резкими возражениями выступили родственники мемуаристки, обвиняя ее в пристрастности характеристик, разглашении семейных тайн и даже клевете. Это ее родная сестра Е. А. Ладыженская, получившая в записках не слишком лестную характеристику (*РВ,* 1872, № 2, с. 637—662), Н. В. Сушков и Н. А. Фадеева (Современная летопись, 1869, № 46, с. 10—11).

М. Е. Салтыков-Щедрин горько сетовал на то, что в воспоминаниях передан только внешний облик поэта, его внутренний мир перед читателем даже не приоткрывается (Салтыков-Щедрин М. Е. Соч., т. 9. М., 1970, с. 390—391). Н. К. Михайловский писал: «Мы тут видим настоящую, несомненную правду не только в общих чертах, а и почти во всех мелких подробностях. Перед нами восстает реальный образ поэта, крайне непривлекательный, но облитый чарующей прелестью воспоминаний женщины, беззаветно любившей и все простившей» (Соч., т. 4. СПб., 1897, стб. 893). Б. Л. Модзалевский считал, что следует «относиться к тем частям ее «Записок», в которых говорится о ее отношениях к Лермонтову, как к вымыслу, блестящему обману самой себя, миражу пылкого воображения» (Русский биографический словарь. СПб., 1901, т. Фабер — Цявловский, с. 295).

Конечно, вникнуть во внутренний мир Лермонтова — задача непосильная для мемуаристки. Немало в ее книге ошибок и неточностей, но основная канва отношений с Лермонтовым, несомненно, передана верно. Это подтверждается письмом поэта к Лопухиной и романом «Княгиня Лиговская», источниками, которые не могли быть известны Сушковой, так как появились в печати уже после ее смерти. Вероятно, в какой-то мере права была Ладыженская, уверявшая, что в ту пору «в чувствах Екатерины Александровны преобладали гнев на вероломство приятельницы (А. М. Верещагиной), сожаление об утрате хорошего жениха и отнюдь не было воздвигнуто кумирни Михаилу Юрьевичу. Он обожествлен гораздо, гораздо позднее». К тому же, по словам Ладыженской, Сушкова смотрела на гибель Лермонтова «как на заслуженное наказание за беспрерывную нестерпимую придирчивость его к г. Мартынову, которому, по ее словам, он втайне завидовал» (Сушкова Е. Указ. соч., с. 337).

ИЗ ЗАПИСОК

(стр. 86)

Воспоминания печатаются в более расширенном объеме, чем в изд.: *Лермонтов в воспоминаниях, 1972.* Печатаются по изд.: Сушкова Е. (Хвостова Е. А.). Записки, 1812—1841 гг. Ред. введение и примеч. Ю. Г. Оксмана. Л., 1928, с. 107—131, 168—209, 214—218.

[1] Александра Михайловна Верещагина (о ней см. с. 550—552).

[2] Александр Ильич и Николай Ильич Алексеевы. Первый из них, штабс-капитан в отставке, в 1830 г. находился под секретным полицейским надзором (за распространение в 1827 г. стихотворения Пушкина «Андрей Шенье»). Ф. Ф. Вигель характеризует Николая, служившего в гренадерском полку, как юношу «дикого и угрюмого, отчего он казался рассудителен, чего, однако же, не было» (Записки. М., 1892, ч. 6, с. 22).

[3] А. М. Верещагину, по всей вероятности, хотели выдать замуж за Петра Васильевича Сушкова, отца Е. П. Сушковой, впоследствии Ростопчиной.

[4] Описание внешности Лермонтова в воспоминаниях Сушковой вызвало возражение многих ее знакомых. «Мишель не был косолап, — замечает А. П. Шан-Гирей, — и глаза его были вовсе не *красные,* а скорее *прекрасные».* (Сушкова Е. Указ. соч., с. 362).

П. А. Висковатов, основываясь на рассказах соучеников Лермонтова, так описывает его внешность в пансионские годы: «Он

был невысокого роста, довольно плечист, с неустоявшимися еще чертами матового, скорее смуглого лица. Темные волосы, с светлым белокурым клочком чуть повыше лба, окаймляли высокое, хорошо развитое чело. Прекрасные большие умные глаза легко меняли выражение и не теряли ничего от появлявшейся порою золотушной красноты. Слегка вздернутый нос и большей частью насмешливая улыбка, тщательно старавшаяся скрыть мелькавшее из-под нее выражение мягкости или страдания».

[5] Екатерина Аркадьевна Столыпина (о ней см. с. 631—632).

[6] О лермонтовских памятных местах в Подмосковье см.: По лермонтовским местам. М., 1985, с. 52—65.

[7] *Вениамин* — любимый ребенок в семье. Ходячее выражение, восходящее к библейскому образу младшего сына Иакова.

[8] В тетради Лермонтова сохранился автограф этого стихотворения под заглавием «К Су<шковой>» без эпиграфа, с вычеркнутой строфой:

В лесах, по узеньким тропам
Нередко я бродил с тобой,
Их шумом любовался там —
Меня не трогал голос т в о й , —

и позднейшей припиской: «При выезде из Середникова к Miss black-eyes. Шутка, предположенная от M. Kord». Вторая строфа приведенного Сушковой текста отсутствует, 8-я строка читается: «Я не люблю — зачем скрывать».

Стихотворение с небольшими разночтениями опубликовано в «Библиотеке для чтения» в 1844 г. под общим заголовком «Пять стихотворений М. Ю. Лермонтова. Из альбома Екатерины Александровны Сушковой». Вместе с ним там же опубликованы «Благодарю!», «В альбом», «Стансы» («Взгляни, как мой спокоен взор...»), «Еврейская мелодия».

По сведениям П. А. Висковатова, мистер Корд, гувернер Аркадия Столыпина, предложил в день отъезда разбудить Сушкову пением стихов, которые они часто повторяли, имея ее в виду: «Never in our lives // Have we seen such black eyes». После этого и было поднесено стихотворение «Черноокой».

[9] «Записки» Е. А. Сушковой — единственный источник текста этого стихотворения. Опубликовано вместе с предыдущим. В обозначении даты, видимо, описка. По смыслу дата должна читаться «13 августа».

[10] Сохранилась авторизованная копия другой редакции этого стихотворения, озаглавленного в тетради Лермонтова «Нищий». Впервые опубликовано под названием «К Е... А...е» в «Библиотеке для чтения» (1844, № 6, с. 132). Столыпины иначе рассказывали случай, послуживший поводом для написания стихотворения: Сущ-

кова сама бросила камень в чашку слепого нищего (Столыпин А. Средниково. — Столица и усадьба, 1914, № 1, с. 2—4).

[11] Одного из братьев Фее, учившихся вместе с Лермонтовым в Университетском пансионе, впоследствии разыскал П. А. Висковатов. Его рассказ о поэте только подтверждал наблюдения П. Ф. Вистенгофа (см.: *Висковатов,* с. 130).

[12] Сушкова, по-видимому, ошибается. Стихотворение «Ангел» было написано в 1831 г. и прислано Лермонтовым позднее.

[13] Н. А. Столыпин погиб в 1830 г. в Севастополе во время чумного бунта. С Грибоедовым он не служил. Эту ошибку Сушковой отметил в своих воспоминаниях Шан-Гирей.

[14] *Прасковья Васильевна* — сестра А. В. Сушкова, отца мемуаристки.

[15] *Дашенька С.* — неизвестное лицо. Лермонтов упоминает ее с иронией в одном из своих писем из Петербурга к А. М. Верещагиной.

[16] Мадригал А. С. Пушкина «К А. Б ***». Опубликован в 1826 г.

[17] Из поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

[18] Возможно, И. Я. Вадковский, дальний родственник Лермонтова. Вадковские часто бывали у Е. А. Арсеньевой в Москве.

[19] Подобная сценка с двустишием «Три грации» рассказана в газете «Листок» (1831, 24 февраля).

[20] *«Весна»* — первое стихотворение, отданное Лермонтовым в печать. Оно было опубликовано в журнале «Атеней» (1830, ч. 4, с. 113; цензурное разрешение дано 10 мая) в несколько отличающейся редакции, а Сушковой прислано позднее.

[21] Сушкова ошибочно относит это стихотворение к 1830 г. Оно было написано в 1831 г. и вписано в альбом А. М. Верещагиной.

[22] Анастасия Николаевна Хитрово, родственница Сушковых.

[23] *«Архивец»* — чиновник московского архива министерства иностранных дел.

[24] Имеется в виду Николай Гаврилович Головин, поручик л.-гв. Конного полка.

[25] С Александром Ивановичем *Пестелем,* поручиком кавалергардского полка, младшим братом декабриста, Сушкова была знакома еще в Петербурге.

[26] В тетради Лермонтова рядом с автографом этого стихотворения нарисована красивая большеглазая девушка. Возможно, это портрет Сушковой. Там же дата рукой поэта: 26 августа 1830.

[27] Автограф стихотворения неизвестен. Кроме текста, в воспоминаниях Сушковой имеется еще копия в альбоме А. М. Верещагиной.

[28] В 1831 г. Лермонтов переработал это стихотворение и, видимо, переадресовал, озаглавив «К Л.». Имеется также другая редакция в альбоме А. М. Верещагиной.

[29] Текст этого стихотворения известен только по воспоминаниям Сушковой.

[30] Экзамен в Университетском пансионе происходил не осенью, а весной. Отчет о нем см.: Московские ведомости, 1830, № 36, с. 1644—1645. Лермонтов упомянут там среди учеников, «награжденных за успехи в науках и искусствах книгами и другими призами».

[31] Стихотворение известно только по «Запискам» Сушковой.

[32] Автограф стихотворения неизвестен. Впервые опубликовано Сушковой в «Библиотеке для чтения» (1844, № 6, с. 129) под заглавием «К Е... А...е».

[33] Лермонтов был произведен в корнеты 22 ноября, а 4 декабря зачислен в л.-гв. Гусарский полк. «Через несколько дней по производстве он уже щеголял в офицерской форме», — вспоминал А. М. Меринский.

[34] 6 декабря — день именин Н. С. Беклешова.

[35] Дмитрия Петровича Сушкова.

[36] Эта поездка не состоялась.

[37] Михаил Лукьянович Яковлев, композитор и певец.

[38] Романс А. А. Алябьева на слова А. С. Пушкина.

[39] Стихотворение Е. А. Баратынского.

[40] Роман французской писательницы и поэтессы М. Деборд-Вальмор «Мастерская художника» (1833).

[41] Александр Семенович Шишков, консервативный политический деятель и литератор, автор «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка». По свидетельству современников, Пушкин с уважением относился к Шишкову, но никогда не соглашался с его литературными и лингвистическими взглядами.

[42] О своей встрече с Лопухиным Лермонтов писал в Москву его сестре М. А. Лопухиной: «Я был в *Царском Селе,* когда приехал Алексис; узнав о том, я едва не сошел с ума от радости: я поймал себя на том, что разговаривал сам с собою, смеялся, потирал руки; вмиг возвратился я к прошедшим радостям, двух ужасных лет как не бывало <...>. На мой взгляд, ваш брат очень переменился, он толст, как я когда-то был, румян, но всегда серьезен и солиден; и все же мы хохотали как сумасшедшие в вечер нашей встречи — и бог знает над чем?

Послушайте, мне показалось, будто он чувствует нежность к m-lle Катерине Сушковой... известно ли вам

это? Дядюшки этой девицы хотели бы их повенчать!.. Сохрани боже!.. Эта женщина — летучая мышь, крылья которой цепляются за все встречное! Было время, когда она мне нравилась; теперь она почти принуждает меня ухаживать за ней... но, не знаю, есть что-то в ее манерах, в ее голосе жесткое, отрывистое, надломанное, что отталкивает; стараясь ей нравиться, находишь удовольствие компрометировать ее, видеть ее запутавшейся в собственных сетях» *(Лермонтов,* т. 4, с. 388).

[43] Цитата из стихотворения Б. Рессегъе.

[44] «Теперь я не пишу романов — я их делаю», — писал Лермонтов А. М. Верещагиной весной 1835 г. из Петербурга в Москву. Сушкова действительно стала прототипом Негуровой в романе «Княгиня Лиговская» (1836).

[45] «Когда Екатерина Александровна готова была дать согласие на брак Лопухину, — рассказывал М. И. Семевский со слов Сушковой, — Лермонтов делал вид, что вызовет ее жениха на дуэль, о чем и предупреждал ее. По этому случаю он писал стихотворение «Сон» («В полдневный жар...»). Однако «Сон» был написан в 1841 г.

[46] По поводу подаренного Лермонтовым Сушковой кольца писательница Н. Д. Хвощинская-Зайончковская писала Н. К. Михайловскому: «Если бы вы знали г-жу Хвостову, писавшую о нем совсем не то, что она *сама* же мне рассказывала. Какой он был славный, Лермонтов, и как его не понимали эти барыни и барышни, которые только и думали, что об амуре и женихах! И хорошо они его ценили! Ведь этой самой Хвостовой он написал свое: «Когда я унесу в чужбину...», а умирая, «как сестре», послал, сняв с своей руки, кольцо: я его видела — широкое, плоское. Она подарила это кольцо некоему гусару, сосланному сто раз поделом на Кавказ за сотню подвигов. При мне это было. Я кричала: «Помилуйте, да лучше бы вы мне отдали!» — «Mais il n'est donc pas un gage d'amour, et puis déjà quinze ans!» <«Но это вовсе не знак любви, и потом уже пятнадцать лет прошло!» *(фр.)*> Видите, какой резон...» (Русская мысль, 1890, № 11, с. 100—101).

[47] Е. А. Ладыженская в своих замечаниях на «Записки» Е. А. Сушковой иначе описывает получение анонимного письма и утверждает, что «стоило бросить взгляд, чтоб узнать руку Лермонтова» (см. Сушкова Е. Указ. соч., с. 331).

[48] Ср. с аналогичным эпизодом в романе «Княгиня Лиговская» (*Лермонтов,* т. 4, с. 132) и письмом А. М. Верещагиной (там же, с. 393).

[49] Эту тетрадку М. И. Семевский уже в 1870 г. считал утраченной. Н. А. Фадеева в письме в редакцию журнала «Современная

летопись», опубликованном там в 1871 г. (№ 41, с. 8—9), сообщила, что тетрадь хранится в Одессе в семейном архиве Фадеевых. Но впоследствии, когда П. А. Висковатов пытался ее получить, ему это не удалось: тетради уже не было.

А. И. ГЕРЦЕН

Александр Иванович Герцен (1812—1870) одновременно с Лермонтовым учился в Московском университете: Герцен с 1829 г. был студентом физико-математического отделения, Лермонтов с 1830 г. — нравственно-политического отделения. Несмотря на наличие общих знакомых (Н. М. Сатин, Я. И. Костенецкий), они, видимо, не были знакомы. Однако о пребывании Лермонтова в университете Герцену было известно — позднее в статье «Провинциальные университеты» (1861) он вспоминал: «Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин — все это наши товарищи, студенты Московского университета» (*Герцен,* т. XV, с. 20).

Отрывок из книги «Былое и думы» повествует о «маловской» истории, в которой был замешан и Лермонтов, — обструкция профессору уголовного права М. Я. Малову была произведена в аудитории нравственно-политического отделения. Через неделю после «маловской» истории, 23 марта 1831 г., поэт записал в альбом Н. И. Поливанова стихотворение «Послушай! вспомни обо мне...», на полях которого имеется приписка Поливанова с поправками рукой Лермонтова: «Москва. Михайло Юрьевич Лермонтов написал *эти строки* в моей комнате во флигеле нашего дома на Молчановке, ночью, когда, вследствие какой-то университетской шалости, *он ожидал строгого наказания.* Н. Поливанов» (поправки Лермонтова даны курсивом).

ИЗ КНИГИ «БЫЛОЕ И ДУМЫ»
(стр. 131)

[1] Ср. с описанием «маловской» истории Я. И. Костенецким: *РА,* 1887, кн. 2, с. 336—345.

ИЗ СТАТЬИ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ»
(стр. 135)

Проникновенная оценка личности и творчества Лермонтова сделана Герценом в его труде «О развитии революционных идей в России». Основные положения этой работы, как они изложены Герценом в окончательном французском варианте, рассмотрены нами

во вступительной статье наст. изд. (см. с. 7—10). Между тем в первоначальном журнальном немецком тексте этого труда, как установил Г. Цигенгайст, имеется большое количество мест, исключенных при подготовке французского издания, — одно из них непосредственно относится к пониманию писателем личности Лермонтова (см. с. 10 вступ. статьи).

Десять лет спустя, в 1860 г., Герцен (совместно с М. Мейзенбуг) печатает анонимно в английском журнале «National Review» (1860, № 11, p. 330—374) статью о Лермонтове, с цитатами из своего труда «О развитии революционных идей в России», взятых как из французской, так и из немецкой редакций этой работы. Авторство Герцена и М. Мейзенбуг установлено недавно Л. М. Аринштейном (см.: Неизвестная статья А. И. Герцена и М. Мейзенбуг о Лермонтове. — *Исследования и материалы,* с. 283—308). Исследователь приводит веские аргументы, доказывающие, что наиболее существенные, концептуальные и в то же время богатые фактическими данными части статьи написаны Герценом. «Основная часть статьи представляет собой весьма подробный — а для того времени на редкость подробный — очерк жизни и творчества Лермонтова. Эта часть построена как многоплановое повествование, где изложение биографических фактов сочетается со стремлением дать углубленную социологическую и психологическую интерпретацию личности и судьбы поэта, раскрыть специфику его поэтического творчества и определить его роль и значение в истории русской литературы и общественной мысли» (Указ. соч., с. 288).

Печатаются две выдержки из этой статьи, ранее неизвестной русскому читателю, — указ. соч., с. 288—289, 293—294.

[1] Явное преувеличение. Отец поэта лишь в 1825 г. начал хлопоты о внесении себя и сына в книгу тульского дворянства. О родословной Лермонтовых см.: *ЛЭ,* с. 467—468 и вклейка между с. 464 и 465.

[2] Далее в английском подлиннике следовала обширная цитата из труда «О развитии революционных идей в России» (*Герцен,* т. VII, с. 224—226).

П. Ф. ВИСТЕНГОФ

Павел Федорович Вистенгоф (около 1815 — после 1878) поступил в Московский университет вольнослушателем на курс словесного отделения в 1831 г., лекции которого посещал Лермонтов. В конце 1831/32 г. он оставил университет, а два года спустя поступил на юридический факультет Казанского университета, окончив который вернулся в 1839 г. в Москву. В 1840 г. Вистенгоф выступил в печати с «Очерками московской жизни», которые вызвали оживленное обсуждение в журналах; он автор романа «Урод» и некоторых других произведений.

Вистенгоф не был близок с Лермонтовым, не симпатизировал ему и не понимал его; высказывания его о Лермонтове имеют даже оттенок недоброжелательства. Тем не менее его воспоминания интересны яркой зарисовкой быта и нравов московского студенчества начала 30-х годов. Но главное — они знакомят нас с некоторыми подробностями из жизни Лермонтова-студента.

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

(стр. 138)

[1] Воспоминания П. Ф. Вистенгофа положили начало представлению об одиночестве Лермонтова в студенческой среде, что не соответствовало действительности. Н. Л. Бродский собрал обширный материал, доказывающий, что в университете существовал кружок Лермонтова, в который входили А. Д. Закревский, Н. С. Шеншин, В. А. Шеншин, Н. И. Поливанов, А. А. Лопухин (*Бродский,* с. 278—290). В поэме «Сашка» (середина 1830-х гг.) Лермонтов воссоздал атмосферу студенческих споров, в которых он несомненно принимал деятельное участие:

Святое место!.. Помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: с водой иль просто голый р о м , —
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висящие клочками...

Комментируя эти строки, Бродский писал: «Термины эти выражали основные категории философских систем Спинозы, Фихте и особенно Шеллинга. Первый представлял себе бога как природу; второй представлял бога без природы; третий учил, что бог открывает себя как природа и дух: природа есть не состояние бога, а его объект, его идея, его образ. <...> Юные философы, по Велланскому, Галичу и Павлову, а иные и по подлинным сочинениям европейских философов, трактовали темы природы как субъекта-объекта; единство или тождество природы и духа — как принцип всеобщего развития вещей, всеобщего единства мира и природы» (*Бродский,* с. 254).

Богатая духовная жизнь Лермонтова и его друзей была вне досягаемости Вистенгофа.

[2] Ср. с рассказом Г. Головачева: «Исчезновение Лермонтова отправившегося в Петербург для поступления в гвардейскую юнкерскую школу, не обратило на себя особого внимания; припоминали только, что он изредка показывался на лекциях, да и то почти всегда читал какую-нибудь книгу, не слушая профессора...» (День, 1863, 19 октября, № 42), а также с воспоминаниями И. А. Гончарова: «Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочими тут был и Лермонтов, впоследствии

знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он не долго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал В Петербург. Я не успел познакомиться с ним» (Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 7. М., 1980, с. 236).

[3] Мемуарист не точен: Лермонтов просто не явился на экзамены.

[4] Подробная характеристика администрации Московского университета дана Герценом в первой части «Былого и дум».

[5] Лермонтов оставил Московский университет весной 1832 г., пробыв в нем два учебных года. Из четырех семестров пребывания Лермонтова в университете первый не состоялся из-за карантина по случаю эпидемии холеры, во втором семестре занятия не наладились отчасти из-за «маловской истории». Затем Лермонтов перевелся на словесное отделение.

«На репетициях экзаменов по риторике (Победоносцев), а также геральдике и нумизматике (М. С. Гастев) Лермонтов, обнаружив начитанность сверх программы и одновременно незнание лекционного материала, вступил в пререкания с экзаменаторами; после объяснения с администрацией возле его фамилии в списке студентов появилась помета «consilium abeundi» («посоветовано уйти») (*ЛЭ,* с. 289).

А. М. МИКЛАШЕВСКИЙ

Андрей Михайлович Миклашевский (1814—1905) — товарищ Лермонтова по Московскому университетскому пансиону и по юнкерской школе. В конце 1834 г. он, одновременно с Лермонтовым, окончил школу и был выпущен подпрапорщиком в л.-гв. Измайловский полк. Вскоре, в декабре 1834 г., А. М. Миклашевский был переведен в л.-гв. Егерский полк, а в конце 1842 г. в чине поручика уволен по болезни в отставку.

Воспоминания Миклашевского написаны через 50 лет после окончания школы (они датированы 10 августа 1884 г.), и мемуарист невольно идеализирует годы, проведенные им в стенах юнкерской школы.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ В ЗАМЕТКАХ ЕГО ТОВАРИЩА

(стр. 144)

[1] Лермонтов поступил в четвертый класс полупансионером.

[2] Стихотворение Пушкина «Зимний вечер» впервые было напечатано в альманахе «Северные цветы на 1830 год», СПб., 1829.

[3] Алексей Федорович *Мерзляков* (1778—1830) — поэт, профессор Московского университета, преподавал литературу в Университетском пансионе, а также давал Лермонтову уроки на дому. О взаимоотношениях Лермонтова с Мерзляковым см.: *Бродский,* с. 74—81.

[4] Воспоминания Д. А. Милютина см. на с. 80—83.

[5] О «маловской истории» см. отрывок из книги Герцена «Былое и думы», на с. 133—134 наст. изд.

[6] Лермонтов был уволен по его просьбе из шестого класса пансиона 16 апреля 1830 г.

[7] Мемуарист имеет в виду статью П. А. Висковатова «Пребывание М. Ю. Лермонтова в школе гвардейских юнкеров» (Русская мысль, 1884, № 7, с. 44—68).

[8] Алексей Степанович Стунеев — любитель музыки, на домашних вечерах которого бывал Лермонтов. Стунеев упомянут в «Юнкерской молитве» Лермонтова («Алехин глас»). О нем см.: Глинка М. И. Литературное наследие, т. 1. Л.-М., 1952 (по указателю).

[9] Полемика Миклашевского с Висковатовым не убедительна: дружба Лермонтова с Булгаковым не может служить доказательством того, что у Лермонтова не было близких отношений с В. А. Вонлярлярским. Возражения П. А. Висковатова на статью Миклашевского см.: *РС,* 1885, № 2, с. 475—476. См. примеч. 7. К. А. *Булгаков* — с сентября 1829 г. воспитанник Московского университетского пансиона, в котором в это время учился Лермонтов. Среди эпиграмм Лермонтова, написанных к новогоднему маскараду в Московском Благородном собрании (1 января 1832 г.), имеется эпиграмма на Булгакова («На вздор и шалости ты хват...»). Осенью 1832 г. Булгаков, как и Лермонтов, поступает в юнкерскую школу. В 1850-е гг. Булгаков написал на слова Лермонтова дуэт «Из Гете» («Горные вершины...»; сохранился в рукописи).

[10] Михаил Иванович *Сабуров* — товарищ Лермонтова по Московскому университетскому пансиону и юнкерской школе, адресат нескольких стихотворений Лермонтова.

[11] Падчерица генерала Верзилина Э. А. Клингенберг, в замужестве Шан-Гирей. Ее воспоминания о Лермонтове см. на с. 430—438 наст. изд.

[12] О докторе Н. В. Майере, прототипе доктора Вернера в «Герое нашего времени», см. на с. 555—556 наст. изд.

А. Ф. ТИРАН

С Александром Францевичем Тираном (1815—1865) Лермонтов учился в юнкерской школе и одновременно был выпущен в л.-гв. Гусарский полк. В Петербурге они встречались у Карамзиных. Летом

1841 г. Тиран жил в Пятигорске, где ближе познакомился с Лермонтовым (у декабриста Лорера). Современники большей частью нелестно отзываются об умственных способностях Тирана.

Действительно, в своих записках он предстает человеком ограниченным и неприязненно, пристрастно относящимся к поэту. Причина его недоброжелательства понятна: он часто служил объектом насмешек Лермонтова.

Иногда Тиран передает слухи, близкие к сплетне. Так, характеристика отца поэта в его воспоминаниях противоречит всем другим свидетельствам о нем. Грубейшую профанацию допускает мемуарист в трактовке стихотворения «Молитва». Немыслим и обмен репликами Лермонтова и Мартынова во время дуэли, в передаче Тирана.

Тем не менее некоторые эпизоды в воспоминаниях Тирана, дающие представление о характере и поступках Лермонтова, заслуживают внимания.

Записки А. Ф. Тирана сохранились в рукописи без подписи. Авторство установлено первым публикатором В. А. Мануйловым по косвенным данным. Рукопись находится в *ИРЛИ* в фонде Д. В. Стасова, где имеется также записка, сделанная, видимо, по рассказам А. Ф. Тирана, с которым он был знаком: «Лермонтов был ужасно самолюбив и до крайности бесился, когда его не приглашали на придворные балы, а приглашали Тирана (тогдашнего его товарища по полку), и уж за это Тирану доставалось: он на него сочинял, разыгрывал, рисовал карикатуры и раз даже написал целую поэму, в которой сначала описывал его рождение, жизнь, похождения и, наконец, смерть. В конце нарисовал надгробный памятник и к нему эпитафию: «Родился шут // ... Тиран // — А умер пьян (не помню средних слов)».

ИЗ ЗАПИСОК

(стр. 149)

Впервые — Звезда, 1936, № 5, с. 184—188. Печатается по этому изд.

[1] *Ланцада,* или лансада (от фр. lançade) — крутой и высокий прыжок верховой лошади.

[2] Стихотворения Мартынова и незаконченный рассказ «Гуаша» опубликованы в кн.: Нарцов А. Н. Материалы для истории тамбовского, пензенского и саратовского дворянства, т. 1. Тамбов, 1904, с. 111—118 (3-й паг.). Признание «таланта» Мартынова товарищами по школе, возможно, положило начало претензиям его на литературное соперничество с Лермонтовым. Об этом см.: Уманская М. М. Лермонтов и романтизм его времени. Ярославль, 1971, с. 278—288.

[3] Сохранившиеся списки «Школьной зари» не дают основания предполагать, что там могли быть тексты «Тамбовской казначейши», написанной позднее, и «Демона». О рукописном журнале юнкеров см.: *РС,* 1882, № 8, с. 391—392.

[4] Эти поэмы известны под названиями «Петергофский праздник» и «Уланша».

[5] Текст «Юнкерской молитвы» в воспоминаниях Тирана приводится с разночтениями и с неизвестной строфой.

[6] После этих слов в рукописи другим почерком написано: «Лермонтов с Долгоруким, которого он убил». Эта неизвестно кому принадлежащая запись ошибочна. А. Н. Долгорукий был убит на дуэли В. В. Яшвилем в 1842 г.

[7] В рукописи было вставлено другим почерком: «Его картины масляными красками до сих пор в дежурной гусарской комнате, в казармах в Царском Селе».

[8] Это приписываемое Лермонтову стихотворение было опубликовано в 1859 г. и поэтому могло быть знакомо Тирану по печатному источнику.

[9] В рукописи другой рукой вставлено: «Щербатова».

[10] В рукописи другой рукой вставлено: «Хомутову».

[11] В рукописи другим почерком вписано: «Соломирский». С полковником П. Д. Соломирским у Лермонтова были натянутые отношения. См. воспоминания М. Н. Лонгинова на с. 195.

Вся описанная Тираном сцена многозначительнее, чем может показаться с первого взгляда. Лермонтов своим поведением следует гусарским традициям прошлых лет, традициям, воспетым Денисом Давыдовым, когда во время офицерского застолья царила полная свобода. Сидеть за столом в мундире, застегнутом на все пуговицы, и при сабле было необязательно. Подобный порядок — отличительная черта николаевской эпохи.

И. В. АННЕНКОВ

Иван Васильевич Анненков (1814—1887) — брат литератора П. В. Анненкова — учился с 1831 г. в юнкерской школе, а затем служил в Конной гвардии, впоследствии ген.-адъютант.

Из воспоминаний И. В. Анненкова до нас дошло только начало — архив журн. «Наша старина», в котором должно было появиться продолжение его воспоминаний, утрачен. В пропавшей рукописи, вероятно, упоминался Лермонтов, так как мемуарист учился несколько месяцев с ним в школе. Воспоминания И. В. Анненкова интересны тем, что воссоздают быт юнкерской школы в годы пребывания в ней поэта.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАРОЙ ШКОЛЕ ГВАРДЕЙСКИХ ПОДПРАПОРЩИКОВ И ЮНКЕРОВ. 1831 ГОД

(стр. 154)

[1] Старший класс в юнкерской школе.
[2] То есть хранил у себя коллективную трубку.

В. И. АННЕНКОВА

Вера Ивановна Анненкова (урожд. Бухарина; 1813—1902) — жена Н. Н. Анненкова, двоюродного брата Е. А. Столыпиной и Е. А. Верещагиной. Ей посвящен новогодний мадригал Лермонтова «Не чудно ль, что зовут вас Вера?..» (1831) — поэтому считалось, что Лермонтов был знаком с ней еще в Москве. Однако, судя по ее воспоминаниям, их знакомство относится к более позднему времени; лермонтовский экспромт, вероятно, был посвящен Бухариной до начала их личного знакомства.

В воспоминаниях В. И. Анненкова рассказывает о первой встрече с Лермонтовым в конце 1832 г., когда он лежал в лазарете юнкерской школы после неудачной попытки укротить необъезженную лошадь.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(стр. 162)

[1] 29 апреля 1834 г. А. Г. Столыпина вышла замуж за адъютанта вел. кн. Михаила Павловича — А. И. Философова, который потом стал первым издателем поэмы «Демон». Об этом см.: Михайлова А. Лермонтов и его родня по документам архива А. И. Философова. — *ЛН,* т. 45-46, с. 661—690.

[2] Других свидетельств о том, что у Е. А. Арсеньевой были дети, кроме Марии Михайловны, матери Лермонтова, — нет.

[3] Ошибка мемуаристки: в 1839 г. Лермонтов в Москве не был, и «Герой нашего времени» тогда еще не вышел; он дважды посетил Анненковых в Москве в апреле 1841 г. (см. его письмо Е. А. Арсеньевой от 19 апреля 1841 г.).

А. М. МЕРИНСКИЙ

Александр Матвеевич Меринский (?—1873) поступил в юнкерскую школу в 1833 г.; затем служил в л.-гв. Уланском полку.

«Воспоминание о Лермонтове» (1856, опубл. 1858) наряду с заметками М. Н. Лонгинова, записками Е. А. Сушковой и некоторыми другими материалами является одним из ранних в лермонтовской мемуарной литературе и отмечено свежестью и свободой от позднейших наслоений.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ В ЮНКЕРСКОЙ ШКОЛЕ

(стр. 165)

[1] Лермонтов был произведен в корнеты л.-гв. Гусарского полка 22 ноября 1834 г.

[2] Имеется в виду Квазимодо из романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери». О происхождении прозвища Маёшка см. примеч. 32 на с. 502 наст. изд.

[3] По свидетельству А. П. Керн, эта «рукописная баллада» была написана Пушкиным на рукаве в 1828 г., во время карточной игры у кн. Голицына (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников в 2-х томах, т. 1. М., 1985, с. 419). Впоследствии эта песенка была популярна среди профессиональных игроков. Пушкин поставил ее эпиграфом к «Пиковой даме» (1834).

[4] Иван Степанович *Клерон* в молодости был учеником Политехнической школы в Париже; в 1825 г. участвовал в студенческом бунте против реакционного правительства Карла X, после чего эмигрировал из Франции. В 1833—1834 гг. офицер в юнкерской школе, впоследствии ген.-майор.

[5] В письме к П. А. Ефремову от 3 февраля 1862 г. А. М. Меринский утверждал, что адресатом этого экспромта была М. А. Щербатова. Вероятно, экспромт, написанный поэтом еще в юнкерской школе, был затем слегка изменен («Ах, как мила моя княгиня!..») и переадресован его врагами женщине, которую Лермонтов любил.

[6] Речь идет о рукописном журнале «Школьная заря» (см. с. 149).

[7] В детстве Лермонтов был на Кавказе в 1820 и 1825 гг.

[8] Поэму «Демон» Лермонтов писал много лет (1829—1839). Подробнее о творческой истории поэмы и ее восьми редакциях см.: *ЛЭ,* с. 130—137.

[9] В настоящее время этот портрет находится в музее *ИРЛИ*. До сих пор идут споры о том, кто автор портрета: Ф. А. Буткин или П. З. Захаров.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕРМОНТОВЕ

(стр. 170)

[1] Мемуарист путает даты: Лермонтов переехал из Москвы в Петербург летом 1832 г. и поступил в юнкерскую школу в ноябре 1832 г.

[2] Отрывок из юнкерской поэмы «Уланша», приведенный Меринским, имеет разночтение с копией журнала «Школьная заря». Автограф «Юнкерской молитвы» не сохранился. Копия (*ИРЛИ*) не полностью адекватна тексту Меринского.

[3] Речь идет о незавершенном юношеском романе Лермонтова «Вадим» (1832—1834?), который ко времени написания воспоминаний Меринского еще не был опубликован. Впервые под названием

«Юношеская повесть Лермонтова» был напечатан в журн. «Вестник Европы» (1873, кн. 10).

Меринский ссылается на анонимную рецензию Белинского (Отечественные записки, 1841, № 9, отд. 6, с. 1—5). О незавершенных замыслах Лермонтова также рассказывает М. П. Глебов в передаче П. К. Мартьянова: «Всю дорогу от Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа. Никаких предсмертных разговоров, никаких посмертных распоряжений от него Глебов не слыхал. Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это — сожаление, что он не мог получить увольнение от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд. «Я выработал уже план, — говорил он Глебову, — двух романов: одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкою в Вене, и другого из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране, и вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приниматься за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправиться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся!» (Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. 2. СПб., 1893, с. 93—94).

[5] Юрьев отнес «Хаджи Абрека» не к издателю Смирдину, а к редактору журнала О. И. Сенковскому.

[6] Первое стихотворение Лермонтова, появившееся в печати, — «Весна» (Атеней, 1830, ч. 4, с. 113. Подпись: «L»).

[7] Лермонтов прибыл в л.-гв. Гродненский гусарский полк (Новгородская губ., первый округ военных поселений) 26 февраля 1838 г. 9 апреля того же года, по просьбе Е. А. Арсеньевой, переведен обратно в л.-гв. Гусарский полк.

[8] Об этом экспромте см. воспоминания М. И. Цейдлера на с. 255 наст. изд.

[9] Мемуарист ошибается: стихотворение «Тучи» написано Лермонтовым в начале мая у Карамзиных перед отъездом на Кавказ в 1840 г.

[10] Первое издание «Героя нашего времени» вышло в апреле 1840 г. (ценз. разр. 19 февраля 1840 г.), второе — в 1841 г. (ценз. разр. первой части романа — 19 февраля 1841 г., второй части — 3 мая 1841 г.). Предварительно отдельные части романа печатались в «Отечественных записках»: «Бэла» (1839, № 3, отд. 3, с. 167—212),

«Фаталист» (1839, № 11, отд. 3, с. 146—158), «Тамань» (1840, № 2, отд. 3, с. 144—154).

[11] Павел Александрович *Гвоздев* — воспитанник юнкерской школы; в феврале 1837 г. написал стихотворный «Ответ М. Ю. Лермонтову на его стихи «Смерть Поэта». В первой половине 1837 г. Гвоздев был разжалован в солдаты и сослан на Кавказ. Хотя непосредственным поводом для исключения Гвоздева из юнкерской школы и не явилось его послание к Лермонтову, вероятно, слухи об этом стихотворении были первопричиной недоброжелательного отношения начальства к молодому юнкеру. На Кавказе Гвоздев сблизился с поэтом-декабристом А. И. Одоевским и продолжал встречаться с Лермонтовым. В день дуэли Лермонтова с Мартыновым Гвоздев находился в Пятигорске и откликнулся на гибель поэта стихотворением «Машук и Бештау (В день 15 июля 1841 года)»:

Как старец маститый, исполнен раздумья,
Стоит остроглавый Бешто, —
Стоит он и мыслит: «Суров и угрюм я,
Но силен, могуч я зато!
Ударит ли гром вдруг и эхо ущелья
Насмешкой раздастся на злость,
И, верно, в тот день уж ко мне в новоселье
Земной не пожалует гость!..

И дик я, и наг я, и голый мой камень
Зеленым плющом не порос,
Но с грудью, открытой на холод и пламень,
Не дрогнув, глядит мой утес.
Красуяся, брат мой гордится соседством,
К пятам он готов моим пасть
И рад поделиться богатым наследством,
Но где его сила и власть?..»

Умолкнул Бешто в ожиданье ответа
И видит Машука чело,
Как думой, туманом вдруг стало одето,
И черную тучу несло
По ребрам зеленым роскошного ската.
И видит он дальше: Машук
Готовит к ответу ответ без возврата
Певца отторженного звук.

Стеснилося сердце земного владыки,
Он выронил вздох громовой,
С ним выстрел раздался, раздались и клики,
И пал наш поэт молодой!..
Машук прояснялся луною полночи,
Печально горело чело,
И думы угрюмой сквозь влажные очи
Привет посылал он Бешто.

«О чем так задумчив, властитель твердыни,
Бездушных и каменных груд?
Мечтал ты родить во мне зависть гордыни,
Но в этом напрасен твой труд!
Богат я одеждой роскошной природы,
Богат я и в недрах земли,
Струею целебной текут мои воды
И пользу векам принесли.

Пред грудой камней твоих, грудой утробной,
Могу я гордиться опять, —
Мой камень бесценный, то камень надгробный,
Тот камень не в силах ты взять.
Прикован ко мне он со смерти поэта,
Как братский воспет наш союз.
И ты преклонися главою атлета
Пред прахом наперсника муз!»

(*Литературный критик, 1939, кн. 10-11, с. 247—248*)

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ЕФРЕМОВУ

(стр. 177)

[1] Имеется в виду Н. А. Столыпин, двоюродный дядя поэта, чиновник министерства иностранных дел, во главе которого стоял К. В. Нессельроде. Столыпин был завсегдатаем салона графини Нессельроде и впоследствии женился на ее незаконной дочери (*Андроников,* с. 28).

В. В. БОБОРЫКИН

Василий Васильевич Боборыкин (1817—1885) — родной дядя писателя П. Д. Боборыкина, познакомился с Лермонтовым в юнкерской школе, куда поступил в 1834 г. За буйное поведение был в 1836 г. судим и переведен прапорщиком в 6-й Кавказский линейный батальон. В середине декабря 1837 г. виделся во Владикавказе с Лермонтовым, который возвращался из первой ссылки на Кавказ.

В сентябре 1839 г. Боборыкин был ранен в бою, заслужил прощение, был переведен в Кирасирский полк и уехал с Кавказа. В 1840 г. встречался с Лермонтовым в Москве.

Боборыкин достоверен в передаче внешних примет из жизни Лермонтова. По собственному признанию, мемуарист не подозревал масштаба дарования Лермонтова; к тому же между ними не было близких отношений.

ТРИ ВСТРЕЧИ С М. Ю. ЛЕРМОНТОВЫМ

(стр. 179)

[1] *Лярский* — В. А. Вонлярлярский; о нем см. на с. 171 наст. изд.
[2] *«Русский инвалид»* (1813—1917) — газета, издававшаяся в Петербурге; «Пчела» — «Северная пчела» (1825—1864), газета

полуофициозного характера, издававшаяся в Петербурге; *«Revue Britannique»* — французский журнал (с 1825), в котором помещались переводы из английских периодических изданий и из английской литературы; *«Etudes de la Nature»* («Очерки о природе», 1784) — произведение французского писателя Бернардена де Сен-Пьера. *Нестеров* Петр Петрович — знакомый Лермонтова, в 1837 г. командир Кавказского линейного шестого батальона.

[3] О живописном наследии Лермонтова см. статью Н. П. Пахомова (*ЛЭ,* с. 163—169).

[4] Сведения об отношениях А. И. Барятинского, Д. Г. Розена, А. А. Столыпина-Монго с поэтом см. в статье М. Ашукиной-Зенгер (*ЛН,* т. 45-46, с. 741—760), а также в соответствующих статьях об этих лицах, помещенных в *ЛЭ.*

Н. Н. МАНВЕЛОВ

Николай Николаевич Манвелов, князь (1816 — после 1889), с 1833 г. ученик юнкерской школы.

В 1889 г. Манвелов передал в дар Лермонтовскому музею альбом рисунков Лермонтова, с письмом, озаглавленным «Воспоминания генерала-лейтенанта в отставке князя Николая Николаевича Манвелова».

ВОСПОМИНАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РИСУНКАМ ТЕТРАДИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

(стр. 183)

[1] Подробное описание этой тетради см.: *ЛН, т.* 45-46, с. 158—184; Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома, II. М.—Л., 1953, с. 137—150.

[2] Воспоминания М. И. Цейдлера о Лермонтове см. на с. 254.

[3] Воспоминания А. М. Меринского о поэте см. на с. 165—178.

[4] Это эпиграф к повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек» («Московский телеграф», 1832, № 1—4). По утверждению автора, источник эпиграфа — надпись на дагестанском кинжале. Сохранилось 4 рисунка Лермонтова по мотивам «Аммалат-Бека». Подробнее о воздействии творчества поэта-декабриста на Лермонтова см. в статье В. Э. Вацуро в *ЛЭ,* с. 57—58.

[5] В. Т. *Плаксин* — автор критической статьи о сочинениях Лермонтова (см: Северное обозрение, 1848, т. 3, разд. V, с. 1—20). «Хаджи Абрек» (1833) — первая из напечатанных поэм Лермонтова.

А. А. ЛОПУХИН

Александр Алексеевич Лопухин (1839—1895) — сын близкого приятеля Лермонтова, Алексея Александровича Лопухина. На его рождение Лермонтов откликнулся стихотворением «Ребенка милого рожденье...».

Письмо А. А. Лопухина к А. А. Бильдерлингу написано 3 ноября 1881 г. в связи с передачей Лопухиным в дар Лермонтовскому музею картины Лермонтова «Предок Лерма», которая ныне находится в музее *ИРЛИ*.

Письмо адресовано начальнику Николаевского кавалерийского училища А. А. Бильдерлингу, по инициативе которого был создан Лермонтовский музей, открытый в 1883 г.

ПИСЬМО К А. А. БИЛЬДЕРЛИНГУ

(стр. 187)

[1] По семейному преданию, фамилия Лермонтовых происходит от испанского герцога Лермы, который во время борьбы с маврами якобы бежал из Испании в Шотландию. Поэт заинтересовался этим преданием и даже некоторое время подписывался под письмами и стихотворениями «Лерма». Невестка мемуариста, Е. Д. Лопухина, рассказывала П. А. Висковатову, что портрет был нарисован в 1830 или 1831 г. Лерма «изображен в средневековом испанском костюме, с испанской бородкою, широким кружевным воротником и с цепью ордена «Золотого руна» вокруг шеи. В глазах и, пожалуй, во всей верхней части лица не трудно заметить фамильное сходство с самим поэтом» (*Висковатов,* с. 73). В семейном предании преувеличены и трансформированы истинные факты родословной Лермонтовых. Родоначальником русской ветви Лермонтовых является Георг (Юрий) Лермонт, вышедший из Шотландии и с 1613 г. служивший в рядах московских войск.

М. Н. ЛОНГИНОВ

Михаил Николаевич Лонгинов (1823—1875) — историк литературы, библиограф, мемуарист, впоследствии начальник Главного управления по делам печати, дальний родственник поэта, с которым он встречался начиная с 1832 г. Лонгинов был знаком с творчеством поэта по рукописным источникам.

ЗАМЕТКИ О ЛЕРМОНТОВЕ

(стр. 189)

[1] По справедливому замечанию Белинского, «юный поэт заплатил полную дань волшебной стране, поразившей лучшими, благо-

датнейшими впечатлениями его поэтическую душу». Библиографию по теме «Лермонтов и Кавказ» см. в статье К. Н. Григорьяна (*ЛЭ,* с. 212).

[2] Ошибка мемуариста: Лермонтов родился в ночь с 2 (14) на 3 (15) октября 1814 г. В те годы этот дом у Красных ворот принадлежал вдове генерала Ф. Н. Толя; в сквере на площади, где прежде был дом, в котором родился поэт, в июне 1965 г. установлен памятник Лермонтову (скульптор И. Д. Бродский, архитекторы Н. Н. Миловидов, А. В. Моргулис и Г. Е. Саевич).

[3] Об обстоятельствах трагической гибели поэта впервые в русской прессе было упомянуто в воспоминаниях А. М. Меринского в 1858 г. (см. с. 177). Три года спустя на русском языке было напечатано письмо Е. П. Ростопчиной к Александру Дюма, в котором также рассказывалось об этом трагическом событии (см. с. 358—364 наст. изд.).

[4] Знакомство Лонгинова с Лермонтовым состоялось не ранее августа 1832 г., когда поэт переехал из Москвы в Петербург. Лермонтов был произведен из юнкеров в корнеты л.-гв. Гусарского полка 22 ноября 1834 г.

[5] Работа Лермонтова над «Маскарадом» относится к 1835—1836 гг.

[6] Мемуарист ошибается: последняя пятиактная редакция драмы, озаглавленная «Арбенин», значительно отличается от более ранних трехактной и четырехактной редакций. Драма «Арбенин» поступила в цензуру в двадцатых числах октября 1836 г. и была запрещена к постановке на сцене.

[7] Стихи Э. И. Губера «На смерть Пушкина» (1837) впервые были напечатаны 20 лет спустя в «Московских ведомостях» (1857, № 136).

[8] Мемуарист пристрастно, без должной объективности излагает отношение Бенкендорфа к Лермонтову (см. докладную записку шефа жандармов к Николаю I о стихотворении «Смерть Поэта» и коммент. к ней на с. 633—634 наст. изд.).

[9] *Алексей* Аркадьевич Столыпин — двоюродный дядя Лермонтова, с 1835 г. служил в л.-гв. Гусарском полку, член «кружка шестнадцати», секундант на обеих дуэлях Лермонтова. Выйдя в 1839 г. в отставку, А. А. Столыпин после дуэли Лермонтова с Барантом был вынужден по требованию Николая I вернуться в полк: с 1840 по 1842 г. служил на Кавказе, как и Лермонтов, участвовал в военных экспедициях А. В. Галафеева; в 1843 г. опубликовал первый перевод «Героя нашего времени» на французский язык в газете «Démocratie pacifique».

[10] По утверждению Висковатова, прозвище «Монго» происходит от сокращенного названия французского сочинения «Путешествие Монгопарка».

[11] Стихотворение предположительно датируется 1837 г. Лонгинов полагал, что оно написано в 1840—1841 г.

[12] Этот эпизод подтверждается С. Н. Карамзиной в ее письме к сестре от 27 сентября 1838 г. (см.: Майский Ф. Ф. М. Ю. Лермонтов и Карамзины. — М. Ю. Лермонтов. Сб. статей и материалов. Ставрополь, 1960, с. 152).

[13] О нем см. на с. 615 наст. изд.

Д. А. СТОЛЫПИН И А. В. ВАСИЛЬЕВ

Дмитрий Аркадьевич Столыпин (1818—1893) — младший брат А. А. Столыпина (Монго), двоюродный дядя Лермонтова. Встречался с ним в Царском Селе до первой ссылки поэта, затем уже офицером л.-гв. Конного полка перед второй ссылкой. Человек независимых взглядов и разнообразных увлечений (композитор, мемуарист, автор трудов по философии, сельскому хозяйству и т. д.), он вышел в отставку в чине поручика в 1842 г., так как не видел смысла в военной службе в мирное время, но опять вступил в полк во время Крымской войны, участвовал в обороне Севастополя. Там он познакомился с Л. Н. Толстым. Столыпин — автор романсов на стихи Лермонтова: «Два великана» (1870) и «Демон» («Люблю тебя нездешней страстью...» — отрывок из поэмы; 1875).

В своих воспоминаниях Д. А. Столыпин приводит ценные подробности о работе Лермонтова над поэмой «Демон» и о восприятии поэмы в те годы, но ошибочно относит последнюю редакцию поэмы и чтение ее при дворе не к 1839, а к 1841 г.

Алексей Владимирович Васильев, граф (1809—1895), служил в л.-гв. Гусарском полку с 1832 по 1837 г., т. е. он был сослуживцем Лермонтова только до первой ссылки поэта. Поэт не был близок с ним, как, например, с П. П. Годеином, однако наблюдательность Васильева позволила ему тонко подметить отношение Лермонтова к обычным гусарским времяпрепровождениям.

Интересно его свидетельство о знакомстве Пушкина со стихами Лермонтова и его отзыв о нем.

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе П. К. Мартьянова)

(стр. 199)

[1] Лермонтов, только что произведенный в корнеты, приехал в Царское Село, где был расквартирован л.-гв. Гусарский полк, 13 декабря 1834 г. В это время сочинения Лермонтова в печати еще не появлялись (кроме стихотворения «Весна», 1830). Славу Лермонтову в полку создали стихи, читавшиеся юнкерами в рукописях, прежде всего поэма «Хаджи Абрек».

[2] Между Лермонтовым и М. Г. Хомутовым вскоре установились дружеские отношения. Хомутов ценил ум и талант Лермонтова. В его доме, где поэт часто бывал, он, вероятно, познакомился с его сестрой Анной Григорьевной. См. обращенное к ней стихотворение <А. Г. Хомутовой> («Слепец, страданьем вдохновенный...»).

Когда Лермонтов ехал во вторую ссылку, Хомутов служил в Новочеркасске начальником штаба Войска Донского. Проезжая через Новочеркасск, Лермонтов три дня гостил у Хомутова, о чем писал А. А. Лопухину 17 июня 1840 г.

[3] Н. Ф. Плаутин не только не сочувствовал Лермонтову в деле его дуэли с Э. Барантом и послушно выполнял требования властей в отношении находившегося под судом поэта, но и требовал для него самого сурового наказания. Сохранилось письмо Лермонтова Плаутину, в котором он рассказывает о причинах и ходе дуэли (*Лермонтов,* т. 4, с. 417—418).

[4] Алексей Григорьевич Столыпин, племянник Елизаветы Алексеевны. По его совету Лермонтов поступил в юнкерскую школу. В 1839 г. на его свадьбу с М. В. Трубецкой, происходившую в Зимнем дворце, был приглашен и Лермонтов как один из ближайших родственников жениха. Об этой свадьбе, отношении к ней царской семьи, А. Г. и М. В. Столыпиных см.: *Герштейн,* с. 55—59.

[5] Н. И. Бухаров был для офицеров-сверстников Лермонтова представителем легендарного поколения гусаров, воспетого Д. Давыдовым. «Столетья прошлого обломок» — так назвал его Лермонтов. Герой войны 1812 г., он был в приятельских отношениях с Пушкиным, который приезжал в его имение Михалево Порховского уезда Псковской губ. Туда же к нему приезжали и товарищи по гусарскому полку. По семейному преданию Бухаровых, бывал там и Лермонтов. Два его стихотворения обращены к Бухарову: "<К Н. И. Бухарову> («Мы ждем тебя, спеши Бухаров...») и «К портрету старого гусара» («Смотрите, как летит, отвагою пылая...»).

[6] «Немая из Портичи» (1828) — опера французского композитора Д.-Ф. Обера. О представлении этой оперы в Александринском театре (она шла под названием «Фенелла») упоминается в одной из глав романа «Княгиня Лиговская».

[7] По предположению Г. Бунатян, современники Лермонтова называли Манежной Конюшенную улицу, так как на углу ее находился придворный манеж. Об этом см.: Бунатян Г. Город муз. Л., 1975, с. 151—153, а также: По лермонтовским местам. М., 1985, с. 147.

Если в этом доме Лермонтов жил со Столыпиными только после второй ссылки, то втроем они жили недолго. В январе 1839 г. А. Г. Столыпин женился и, конечно, переехал с холостой квартиры.

[8] О своих лошадях Лермонтов писал Е. А. Арсеньевой в конце марта — первой половине апреля 1836 г.: «Лошади мои вышли, баш-

кирки, так сносны, что чудо, до Петербурга скачу — а приеду, они и не вспотели; а большими парой, особенно одной все любуются, — они так выправились, что ожидать нельзя было». И в следующем письме: «Я на днях купил лошадь у генерала и прошу вас, если есть деньги, прислать мне 1580 рублей; лошадь славная и стоит больше, — а цена эта не велика». О последующей печальной судьбе Парадёра см. в воспоминаниях А. В. Мещерского (с. 375).

[9] Михаил Павлович был командиром гвардейского корпуса и строго следил за дисциплиной в гвардейских полках.

[10] Это был один из вариантов русской народной песни:

А ты, злодей, ты злодей,
Добрый молодец.
Во моем ли саду
Соловей поет,
Громко свищет.
Слышишь ли,
Мой сердечный друг?
Разумеешь ли,
Жизнь, душа моя?

Об этой песне см.: Миллер О. В. Любимая песня Лермонтова. — Музыкальная жизнь, 1978, № 2, с. 22.

[11] В пользу этого мнения служит также свидетельство улана В. С. Глинки. Советуя своим знакомым прочитать стихи Лермонтова на смерть Пушкина, он следующим образом рекомендует их автора: «один лейб-гусар, тот самый Лермонтов, которого маленькая поэмка «Гаджи Абрек» и еще кое-какие стишки были напечатаны в «Библиотеке для чтения» и которые тот, чьи останки мы сейчас видели, признавал блестящими признаками высокого таланта» (*РА*, 1872, стб. 1813).

[12] Мартынов, желая показать, что для дуэли были более важные причины, чем насмешки над ним Лермонтова, усиленно распространял слухи о том, что будто бы Лермонтов вскрыл письма его сестры, которые взялся доставить ему на Кавказ. О несостоятельности этой выдумки см.: *Герштейн,* с. 280.

[13] Рукопись была доставлена в цензуру В. Н. Карамзиным от своего имени и по одобрении им же получена обратно. Об этом см.: Вацуро В. Э. К цензурной истории «Демона». — *Исследования и материалы,* с. 410—414.

[14] *М. П. Соломирская,* невестка сослуживца Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку. Стараясь поддержать поэта, находившегося под арестом за дуэль с Э. Барантом, Соломирская послала ему на гауптвахту письмо без подписи. В благодарность Лермонтов написал ей в альбом стихотворение <М. П. Соломирской> («Над бездной адскою блуждая...»).

[15] Этот отзыв явно принадлежит Николаю I.

В. П. БУРНАШЕВ

Виктор Петрович Бурнашев (1812 или 1809—1888) — литератор и мемуарист. Его многочисленные публикации в журналах и газетах посвящены самым различным вопросам и лицам. Излюбленный жанр Бурнашева — очерки о писателях, промышленниках и т. д., основанные иногда на пересказе воспоминаний их современников. При этом он часто сбивался на передачу анекдота и не один раз был замечен в ошибках и неточностях. Поэтому его воспоминания, а вернее пересказ воспоминаний о Лермонтове, вызывали недоверие биографов поэта, несмотря на указание, что они основаны на его ежедневнике.

Так, если П. А. Висковатов отнесся к ним с полным доверием, то редактор дореволюционного академического издания Лермонтова Д. И. Абрамович указывал, что достоверность рассказов Бурнашева очень сомнительна, а редактор другого авторитетного издания П. А. Ефремов вообще исключал мемуары Бурнашева из числа материалов для биографии поэта.

Однако И. Л. Андроников, обстоятельно исследовав воспоминания, записанные Бурнашевым и сопоставив их с другими данными, пришел к заключению, что основные изложенные в них факты вполне достоверны (*Андроников,* с. 37—46). Это заставляет иначе смотреть и на некоторые приведенные им подробности, но еще при первой публикации воспоминаний Бурнашева редакцией было сделано примечание, что за «дословную точность сообщаемых сведений» автор не ручается (*РА,* 1872, № 9, стб. 1770).

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ В РАССКАЗАХ ЕГО ГВАРДЕЙСКИХ ОДНОКАШНИКОВ

(стр. 208)

[1] Афанасий Иванович *Синицын* учился с Лермонтовым в юнкерской школе. До этого он окончил Харьковский университет. Как видно из воспоминаний Бурнашева, он интересовался литературой, более многих других ценил талант Лермонтова и собирал его произведения, распространявшиеся в рукописях.

[2] *«Курок»* — прозвище юнкера И. Шаховского. Сохранились и рисунки Лермонтова, изображающие Шаховского с утрированно большим носом.

[3] *«Барковщина»* — производное от фамилии поэта XVIII в. И. С. Баркова, прославившегося скабрезными стихами так, что его имя стало нарицательным.

[4] Французскому писателю XVII в. Полю Скаррону принадлежат поэмы бурлескного стиля, для которого характерны высмеивание, намеренное снижение традиционно высоких тем.

[5] О прозвище Лермонтова «Маёшка» см. с. 502 наст. изд.

[6] Ср. воспоминания А. М. Меринского (с. 166) и Д. А. Столыпина (с. 174).

[7] Речь идет о Федоре Петровиче Опочинине, шталмейстере двора, и его жене Дарье Михайловне, дочери М. И. Кутузова, сестре Е. М. Хитрово.

[8] Т. е. быть разжалованным в солдаты.

[9] См. с. 202—203 и примеч. 11 на с. 542 наст. изд.

[10] Имеются в виду последние 16 строк стихотворения «Смерть Поэта», написанные 7 февраля и начинающиеся словами: «А вы, надменные потомки...».

[11] Автор имеет в виду кавалергардский полк, в котором служил Дантес.

[12] Анна Михайловна *Хитрово* — дочь М. И. Кутузова, сестра Елизаветы Михайловны Хитрово (они были замужем за дальними родственниками, носившими одну фамилию).

[13] А. М. Хитрово приходилась теткой Д. Ф. Фикельмон.

[14] Эта часть воспоминаний В. П. Бурнашева подтверждается письмом А. М. Меринского к П. А. Ефремову от 3 февраля 1862 г. (см. с. 178 наст. изд.).

[15] В действительности Лермонтов был арестован и помещен в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба (см. воспоминания А. П. Шан-Гирея).

Ю. К. АРНОЛЬД

Юрий Карлович Арнольд (1811—1898) — композитор и музыковед.

Окончив Дерптский университет, он в 1831 г. «по чувству долга» вступил в военную службу и участвовал в польских событиях. В январе 1835 г. он вернулся в Петербург и с этих пор, вращаясь в музыкальных, театральных и литературных кругах Петербурга, познакомился со многими замечательными деятелями русской культуры.

Он был постоянным посетителем салона В. Ф. Одоевского, о чем упоминается в приведенном отрывке из воспоминаний, где познакомился с О. И. Сенковским, В. Г. Бенедиктовым, М. И. Глинкой, В. А. Соллогубом, В. Г. Белинским, Ф. А. Кони, В. А. Каратыгиным, П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, И. П. Мятлевым, А. А. Краевским, В. А. Жуковским, А. С. Даргомыжским и др.

Его воспоминания представляют интерес как свидетельство об отношении к Лермонтову в среде петербургской интеллигенции.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(стр. 234)

Впервые — Арнольд Ю. К. Воспоминания. М., 1892, вып. 2. Печатаются по этому изд. (с. 137—138, 215—216).

[1] Об В. Ф. Одоевском см. с. 576 наст. изд.

[2] О смысле разговоров в салоне Одоевского, переданных в воспоминаниях Арнольда, см.: *Герштейн,* с. 34.

А. Н. МУРАВЬЕВ

Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874) — автор некоторых книг по истории церкви, на религиозные темы, поэт, мемуарист. Среди его старших братьев были декабрист Александр Николаевич, генерал, участник войны 1812 г. Николай Николаевич Муравьев-Карский, а также Михаил Николаевич по прозвищу Вешатель, заслуживший графский титул за кровавое подавление польского восстания 1863 г.

А. Н. Муравьев получил домашнее образование под руководством С. Е. Раича, который в дальнейшем стал учителем и преподавателем Лермонтова в Московском университетском пансионе. Муравьев посещал литературные вечера С. Е. Раича. Во второй половине 20-х гг. он познакомился с Грибоедовым, Баратынским, Пушкиным и Вяземским. К этим годам относится начало его литературной деятельности.

В 1829—1830 гг. Муравьев совершил путешествие в Иерусалим, описанное им в книге «Путешествие ко святым местам в 1830 году» (СПб., 1832, ч. 1—2). С апреля 1833 г. он служил в Синоде, а в мае 1836 г. получил звание камергера. Конец жизни Муравьев провел в Киеве, где и написал свои мемуары.

Религиозная направленность всей деятельности Муравьева объясняется сильным влиянием на него московского митрополита Филарета, чье отношение к Лермонтову проявилось, в частности, в одном из писем, где он сокрушается по поводу представления в Зимнем дворце живых картин по мотивам «Демона» (Филарет. Письма митрополита московского к архимандриту Антонию, т. 3. М., 1883, с. 410).

Возможно, что в известной степени под этим влиянием Муравьев, сознавая значение лермонтовского творчества, не может воздержаться от вопроса: «Отчего не изберет он более высокого предмета для столь блистательного таланта?», а присутствуя на чтении «Демона» в домашней обстановке, настаивает на том, чтобы диалог Тамары с Демоном о боге был отмечен «как не отвечающий цензурным условиям» (см. воспоминания Д. А. Столыпина, с. 204—205). В то же время в 1835—1836 гг. он через Мордвинова хлопотал о постановке на сцене драмы «Маскарад».

В 1916 г. в Лермонтовский музей в Петербурге поступил портрет А. Н. Муравьева от В. А. Шаховского, считавшего его работой Лермонтова. Но тщательное исследование художественной манеры, в которой он выполнен, и некоторых других сопутствующих обстоятельств ставит под сомнение авторство Лермонтова (см.: Григо-

рьян К. Н. Живопись Лермонтова. — *Исследования и материалы,* с. 273—274). К тому же в воспоминаниях самого Муравьева нигде не упоминается о его портрете работы Лермонтова.

Воспоминания Муравьева правдиво передают тревожную атмосферу, царившую в столице в дни гибели Пушкина, и показывают, какие опасения вызвало у царского правительства стихотворение Лермонтова «Смерть Поэта» и особенно его заключительные строки.

ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ ПОЭТАМИ

(стр. 236)

[1] А. Н. Муравьеву не были известны юношеские поэмы Лермонтова.

[2] Сходство между Лермонтовым и Хомяковым отмечала и С. Н. Карамзина (см. с. 277 наст. изд.).

[3] Мемуарист имеет в виду драму «Маскарад».

[4] Александр Николаевич Мордвинов.

[5] Достоверность воспоминаний Муравьева ставилась под сомнение на том основании, что в своей книге «Описания предметов древности и святыни, собранных путешественником ко святым местам» (Киев, 1872) Муравьев относит «Ветку Палестины» к 1836 г. (так же датирована она и в прижизненном сборнике стихотворений Лермонтова). Об этом см.: Баранов В. В. Достоверен ли комментарий к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Ветка Палестины». — Ученые записки Калужского пед. ин-та, 1960, вып. 8, с. 55—61. Однако следует, вероятно, предполагать контаминацию автором двух эпизодов. Если «Ветка Палестины» написана действительно в 1836 г., то это еще не опровергает написанного мемуаристом о событиях 1837 г., относящихся к истории стихотворения «Смерть Поэта». А то, что Муравьев и его палестинские реликвии имели отношение к созданию «Ветки Палестины», подтверждается надписью в наборной копии стихотворения, зачеркнутой впоследствии: «Посвящается А. М—ву». И, конечно, не случайно Муравьев подарил Лермонтову свою «пальмовую ветвь», о чем упоминают А. П. и Э. А. Шан-Гирей.

[6] В те годы среди Столыпиных не было ни одного со званием флигель-адъютанта. По предположению современного исследователя И. П. Стамболи, в воспоминаниях речь идет об Алексее Григорьевиче Столыпине (ок. 1805—1847), который получил звание флигель-адъютанта позднее, 4 января 1846 г. По другому предположению, высказанному И. Л. Андрониковым, мемуарист ошибочно указал звание камер-юнкера Н. А. Столыпина.

[7] Следует иметь в виду, что Глебов попал в плен уже после смерти Лермонтова.

[8] Лермонтов читал Муравьеву «Мцыри» летом 1839 г. Дата окончания поэмы в рукописи — 5 августа 1839 г. Летом 1840 г. поэт был на Кавказе.

[9] Вторичная ссылка Лермонтова на Кавказ объясняется не стремлением уберечь его от дуэли с Барантом (дуэль состоялась), а враждебным отношением к нему со стороны Николая I, воспользовавшегося первым удобным случаем для того, чтобы удалить поэта из столицы.

[10] Версия о желании Мартынова отказаться от поединка может исходить только от него самого. Все известные источники опровергают это.

Е. А. АРСЕНЬЕВА

Елизавета Алексеевна Арсеньева (урожд. Столыпина; 1773—1845) — бабушка М. Ю. Лермонтова со стороны матери. Она нисколько не преувеличивала, когда писала: «Он один свет очей моих, все мое блаженство в нем».

«По рассказам знавших ее в преклонных летах, — писал П. А. Висковатов, — Елизавета Алексеевна была среднего роста, стройна, со строгими, решительными, но весьма симпатичными чертами лица. Важная осанка, спокойная, умная, неторопливая речь подчиняли ей общество и лиц, которым приходилось с нею сталкиваться. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всем говорила «ты» и никогда никому не стеснялась высказать, что считала справедливым. Прямой, решительный характер ее в более молодые годы носил на себе печать повелительности и, может быть, отчасти деспотизма, что видно из отношений ее к мужу дочери, к отцу нашего поэта. С годами, под бременем утрат и испытаний, эти черты сгладились, — мягкость и теплота чувств осилили их, — хотя строгий и повелительный вид бабушки молодого Михаила Юрьевича доставил ей имя Марфы Посадницы среди молодежи, товарищей его по юнкерской школе. В обширном круге ее родства и свойства именовали ее просто «бабушка» (*Висковатов,* с. 31, 32).

Правда, иногда безмерная любовь к внуку подавляла в ней доводы здравого смысла. Так, желание безраздельно заниматься его воспитанием побудило Арсеньеву разлучить внука с любимым отцом. Ее обращение с крепостными вызывало его возмущение. Это нашло отражение в драме «Menschen und Leidenschaften» (см. также *ЛН,* т. 58, с. 442). Не понимала она и какое значение в его жизни имело творчество. Гувернантка Столыпиных рассказывала: «Бабушка Лермонтова просила внука не писать более стихов, живя в постоянных опасениях за него. Внук обещал, чтобы успокоить горячо любимую бабушку, но стал рисовать карикатуры, которые были так похожи и удач-

ны, что наделали много шума в высшем петербургском обществе и больших неприятностей для Лермонтова. Тогда бабушка стала уговаривать его не заниматься более и карикатурами. «Что же мне делать с собой, когда я не могу так жить, как живут все светские люди? Бабушка просит меня не писать стихотворений и не брать в руки карандаша — не могу, не могу!» — говорил он с пылающими глазами» (Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М., 1959, с. 228).

Тем не менее на ее любовь и заботу Лермонтов отвечал такой же теплой привязанностью. Об этом, в частности, свидетельствует сообщение в ее письме Крюковой от 17 января 1836 г. о том, что Лермонтов упросил ее переехать в Петербург. В письме к С. А. Раевскому Лермонтов объясняет, что он это сделал ради бабушки: «Я ее уговорил потому, что она совсем истерзалась» (*Лермонтов,* т. 4, с. 396).

Включенные в настоящее издание письма Елизаветы Алексеевны адресованы Прасковье Александровне Крюковой, приятельнице и дальней родственнице, жившей в Москве.

Первое письмо относится ко времени окончания Лермонтовым кавалерийской школы, когда он только что был произведен в офицеры.

Во втором письме — радость встречи с любимым внуком после долгой разлуки. Приезд Лермонтова предполагался гораздо раньше. 18 октября Арсеньева писала ему: «Конечно, мне грустно, что долго тебя не увижу... Меня беспокоит, что ты без денег, я с десятого сентября всякий час тебя ждала, 12 октября получила письмо твое, что тебя не отпускают, целую неделю надо было почты ждать». Отпуск просили для раздела доставшегося в наследство от Ю. П. Лермонтова имения, которое он завещал разделить пополам между Лермонтовым и его тремя тетками.

Четвертое письмо написано Елизаветой Алексеевной после тяжелых переживаний в связи с ссылкой Лермонтова на Кавказ (была «истинно как ума лишенная»), когда она уже знала о его «прощении» и скором возвращении.

Письмо С. Н. Карамзиной — крик о помощи. Елизавета Алексеевна в тоске и отчаянии. Она как будто предчувствует, что больше не увидит любимого внука.

ИЗ ПИСЕМ к П. А. КРЮКОВОЙ
ПИСЬМО К С. Н. КАРАМЗИНОЙ

(стр. 241)

Впервые — *ЛН,* т. 45-46, с. 641—660. Печатаются по этому изд.

[1] Лермонтов был произведен в корнеты л.-гв. Гусарского полка 22 ноября 1834 г.; 4 декабря был объявлен приказ командира школы о производстве его в офицеры (*Летопись,* с. 58).

[2] Муж и дочь Крюковой.

[3] В ночь с 1 на 2 января 1810 г. отравился муж Е. А. Арсеньевой, дед Лермонтова Михаил Васильевич Арсеньев.

[4] Из письма Лермонтова Е. А. Арсеньевой, посланного в последних числах апреля — начале мая в Москву, известно, что она предполагала выехать 20 апреля. Лермонтов уже ждал ее, снял квартиру, купил карету.

[5] 22 января Лермонтов оформил в Чембарском уездном суде доверенность на раздел имения на имя Г. В. Арсеньева, брата деда, и в дальнейшем Григорий Васильевич несколько раз писал Лермонтову в Петербург по этому поводу, но Лермонтов в вопросы раздела имения не вникал, полагаясь полностью на Е. А. Арсеньеву. «Посылаю вам в оригинале письмо Григория Васильевича, и я буду дожидаться вашего письма, что ему отвечать, — писал он Арсеньевой весной 1836 г., — признаюсь вам, я без этого не знал бы, что и писать ему, — как вы рассудите: я боюсь наделать глупостей». Об этом же он писал ей еще два раза. См.: *Летопись,* с. 66 — текст доверенности; *Лермонтов,* т. 4, с. 397.

[6] *Алена* (Елена) *Петровна* — тетка Лермонтова, сестра Юрия Петровича. Она вышла замуж за П. В. Виолева.

[7] О метелях, глубоких снегах писал также Лермонтов из Тархан С. А. Раевскому (*Лермонтов,* т. 4, с. 395).

[8] Е. А. Арсеньева жила в Петербурге, Лермонтов — в Царском Селе. В Петербург он не ездил («Каждый день ученье, иногда два» — там же, с. 398).

[9] Имеется в виду гибель двоюродного дяди Лермонтова Павла Григорьевича Столыпина. Один современник так описывает это происшествие: «Некая госпожа Столыпина провожала своего сына в Кронштадт, этот сын должен был ехать за границу, он служил в конной гвардии; сел он на палубе на скамейку, вдруг у него закружилась голова, и он падает в воду, это было в 4-х верстах от Английской набережной. Ты знаешь, как быстро идут пароходы, так что не только не могли подать ему никакой помощи, но даже не было возможности найти тело. Вообрази себе состояние несчастной матери, бывшей там с другими родственниками, чтобы проводить молодого человека». В следующем письме тот же современник уточнял некоторые подробности: «Свидетель-очевидец рассказывал Черткову про трагическую смерть бедного Столыпина... Какой-то англичанин и матрос тотчас бросились в шлюпку. Англичанин поймал руку Столыпина, но тот был в перчатке, и рука англичанина скользнула; тело скрылось, оставив над водой его фуражку. К несчастью, у Столыпина было в карманах на 10 тысяч рублей золота, которое он взял с собой из Петербурга, быть может, эта тяжесть способствовала тому, что он пошел ко дну; дело в том, что тела больше не видели. Отчаяние семьи заставило вернуться к Английской набережной,

чтобы высадить несчастную мать и остальных родственников» (*РА,* 1906, № 2, с. 434, 470). Узнав об этой трагедии, А. С. Пушкин писал: «Утопление Столыпина — ужас! неужто невозможно было ему помочь?» (Пушкин А. С. Письма к жене. Л., 1986, с. 81).

[10] Этим разрешением Лермонтов по неизвестной нам причине не воспользовался.

[11] О П. Д. Норове см.: *ЛН,* т. 45-46, с. 654.

[12] *Мария Александровна* Лонгинова — дочь П. А. Крюковой, сын ее («Миша») Михаил Николаевич Лонгинов встречался с Лермонтовым в Царском Селе (см. с. 196).

[13] Жена Никиты Васильевича Арсеньева.

[14] Вдова и сын сенатора П. И. Новосильцева.

[15] Константин Антонович *Шлиппенбах* — начальник Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

[16] Жена К. А. Шлиппенбаха.

[17] Лермонтов 11 октября 1837 г. был переведен в л.-гв. Гродненский гусарский полк, стоявший в Новгородской губернии в 9-ти верстах от Спасской Полисти.

[18] Задержавшись в Ставрополе и в Москве, Лермонтов приехал в Петербург только во второй половине января. В новый полк он не спешил. С Кавказа он писал С. А. Раевскому: «...если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии» (*Лермонтов,* т. 4, с. 403).

[19] Николай Семенович Мордвинов, друг М. М. Сперанского, в прошлом адмирал, его деятельность, независимые взгляды высоко ценили декабристы и отводили ему значительную роль в своих планах. Его дочь Вера Николаевна была замужем за братом Е. А. Арсеньевой Аркадием Алексеевичем.

[20] Мария Аркадьевна Столыпина, племянница Е. А. Арсеньевой, в 1837 г. вышла замуж за И. А. Бека.

[21] Об этом см.: *Вырыпаев,* с. 129—130.

[22] Жуковского.

[23] В связи с бракосочетанием наследника были изданы приказы об амнистиях и награждениях. Среди прощенных были гвардейские офицеры, переведенные в армейские полки за неисправности по службе: А. С. Апраксин, А. Н. Челищев, К. Д. Есаков.

Е. А. ВЕРЕЩАГИНА

Елизавета Аркадьевна Верещагина (урожд. Анненкова; 1788—1876) — сестра Е. А. Столыпиной, жены Д. А. Столыпина, которому принадлежало Середниково. В годы учения Лермонтова в Москве она с дочерью Александрой Михайловной жила по соседству на Малой Молчановке. Верещагины, Лопухины, Столыпины составляли тот

тесный родственный круг, в котором Лермонтов постоянно вращался в московский период, был принимаем дружески, запросто. Летом Верещагины жили в своем имении в 4-х верстах от Середникова, где проводил каникулы Лермонтов.

Сашенька Верещагина, как ее называли друзья, была одним из самых верных друзей поэта. В его московском окружении она, может быть, раньше всех оценила его поэтический дар и всю жизнь тщательно сберегала его стихи и рисунки, а Лермонтов вписывал в ее альбомы свои произведения. Ей посвящена поэма «Ангел смерти», для нее он собирался перевести стихотворение Байрона «Сон».

После переезда Лермонтова в Петербург они переписывались. Сохранилось два письма Лермонтова и три Верещагиной. Эта переписка дает ясное представление об их дружеских отношениях, которые часто облекались в шутливую, ироническую форму.

В 1836 г. Верещагина с дочерью уехала за границу; в 1837 г. она выдала дочь замуж за вюртембергского дипломата, барона Хюгеля. Елизавета Аркадьевна переехала к ней только в 1840 г., а до того постоянно переписывалась, сообщая ей новости о родственниках, общих знакомых и, конечно, о Лермонтове, про которого Александра Михайловна часто спрашивала в своих письмах.

Живя в Штутгарте, Верещагина-Хюгель свято хранила лермонтовские реликвии — его рукописи, альбомы с его стихами, рисунки, акварели, картину, а также стихи и рисунки, отданные ей на сохранение В. А. Лопухиной-Бахметевой, которая решилась расстаться с ними, опасаясь, чтобы Н. Ф. Бахметев из ревности их не уничтожил. Подробнее о Верещагиной и судьбе ее архива см.: *Андроников,* с. 183—239.

Письма Е. А. Верещагиной содержат интересные подробности жизни Лермонтова тех лет. Одно ее письмо от 16(28) ноября 1838 г. драгоценно для нас тем, что написано в присутствии Лермонтова, и он сам вторгается в текст письма. Неожиданно взяв у Елизаветы Аркадьевны перо, он пишет:

Ma cousine,
Je m'incline
A genoux
à cette place!
qu'il est doux
de faire grâce!
Pardonnez
ma paresse, etc. etc.

Vraiment je n'ai trouvé que ce moyen pour me rappeler à votre souvenir, et obtenir mon pardon; soyez heureuse, et ne m'en voulez pas; demain je commence une énorme lettre pour vous... Ma tante m'arrache la plume... ah!.. *M. Lermontoff* *.

---

* Дорогая кузина, // Склоняю колени // На этом месте. // Прощать так сладостно! // Простите // мою лень, и т. д. и т. д.

По правде сказать, я придумал только этот способ, чтобы напомнить о себе и вымолить прощение. Будьте счастливы. И не упрекайте меня; завтра я начну огромное письмо к Вам... Тетушка вырывает у меня перо... ах!.. *М. Лермонтов* (фр.).

Против строк 3—4 нарисована коленопреклоненная фигурка с букетом в руке. Отобрав перо, Верещагина продолжает: «Разгляди фигуру рисованную. Не переменился ничего, сию минуту таскает и бесится с Николинькою Шангирей. Он довольно часто у нас. Близко живет Елиз. Алексеевна». Далее, по просьбе Лермонтова, она описывает свадьбу Е. А. Сушковой. В конце письма написано: «Миша Лерм. велел написать, что он с нетерпением будет ожидать ответу на его приписку, хотя в моем письме. А я тебе спишу его новые сочинения. Он обещал дать».

Этот живой эпизод ярко рисует характер Лермонтова — веселый и непринужденный в семейной обстановке. Заметим, что Н. П. Шан-Гирею, младшему брату Акима Павловича, с которым играл Лермонтов, было в 1838 г. 9 лет.

ИЗ ПИСЕМ К А. М. ХЮГЕЛЬ

(стр. 245)

Впервые — Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1963, вып. 26, с. 43—53. Печатаются по тексту этой публикации. Письма Е. А. Верещагиной находятся в *ГБЛ* (ф. 456).

[1] Столыпин, брат Елизаветы Алексеевны.

[2] Елизавета Аркадьевна Верещагина.

[3] Мария Акимовна Шан-Гирей.

[4] Аким (Яким) Акимович Хастатов, родственник Лермонтова.

[5] Железная дорога от Петербурга до Павловска с остановкой в Царском Селе была новинкой. Открытие этой первой в России железной дороги состоялось 30 сентября 1837 г. Вагоны были трех типов: первый, самый комфортабельный, называли «каретой» (Верещагина употребляет слово «карета» в этом смысле), более дешевые вагоны именовались «дилижансами», в конце прицеплялись открытые платформы для простого народа и грузов. «Галереей» называли станционный павильон, где ожидали поезда. Новый вид передвижения удивлял скоростью езды (36 минут до Царского Села), но у многих вызывал и опасения: Елизавета Алексеевна сначала взяла с Лермонтова слово, что он никогда не сядет в поезд, но впоследствии, как видно из письма, и ее удалось уговорить сесть в поезд.

[6] Дети Аркадия Алексеевича Столыпина: Алексей (Монго), Николай, Дмитрий и Мария (подробнее о них см.: *ЛЭ*).

[7] Атрешковыми называли (иногда и в официальных документах) Тарасенко-Отрешковых. Их было трое братьев и четыре сестры. Одного из них, Наркиза Ивановича, Лермонтов изобразил в «Княгине Лиговской» под именем Горшенкова, снабдив его очень выразительной и меткой характеристикой. Н. И. и Л. И. Тарасенко-Отрешковы были в Пятигорске в июле 1841 г. О них см.: Гер-

штейн Э. Г. Лермонтов и петербургский «свет». «Русский маркиз». — *Исследования и материалы,* с. 171—177.

[8] Александр Илларионович Философов — муж племянницы Е. А. Арсеньевой А. Г. Столыпиной. В 1838 г. он был назначен воспитателем младших сыновей Николая I, поэтому жил во дворце и имел некоторый вес при дворе. Лермонтов несколько раз обращался к нему за помощью, и Философов старался сделать для него все возможное. Уже после смерти Лермонтова он за границей впервые издал поэму «Демон».

[9] В действительности Лермонтов не мог приехать потому, что был под арестом (см. письмо С. Н. Карамзиной и примеч. к нему на с. 278—279 и 565).

[10] См. там же.

[11] Эта картина была передана А. М. Хюгель в 1839 г., когда М. А. Лопухина с В. А. и Н. Ф. Бахметевыми на одном из немецких курортов встретились с ней. По-видимому, это та самая картина, которая была обнаружена И. Л. Андрониковым в замке Хохберг у наследников Верещагиной-Хюгель и в 1962 г. доставлена в Советский Союз. В таком случае Верещагина ошибается: изображенная на картине речка непохожа на Терек. «Ухватившись за ярмо, помогая волам, бородатый мужчина в заломленной назад барашковой шапке обернулся, чтобы успокоить сидящую в арбе молодую женщину... Скрытые от их глаз растущими возле поворота дороги деревьями и кустами, у реки притаились два всадника и договариваются, как лучше напасть на ничего не подозревающих путников» (*Андроников,* с. 230).

Исследуя сюжет картины, чечено-ингушские краеведы А. Казаков и В. Виноградов, авторы статьи «Загадка картины из замка Хохберг» («Комсомольское племя». Грозный, 1984, 26 апреля), делают вывод, что Лермонтов изобразил готовящееся похищение невесты, широко распространенное на Кавказе в то время.

[12] См. примеч. 11.

[13] Это письмо А. М. Хюгель неизвестно.

[14] Елена Михайловна Завадовская своей красотой и умом вызывала всеобщее восхищение. Пушкин ей посвятил стихотворение «Красавице». Ее воспевали П. А. Вяземский и И. И. Козлов. Пушкин изобразил ее в «Евгении Онегине» под именем Нины Воронской (в качестве прототипа называют и А. Закревскую).

[15] Подробнее о дуэли Лермонтова с Э. Барантом см.: *Герштейн,* с. 6—35.

[16] Вероятно, намек на то, что Лермонтов вызвал на гауптвахту Баранта для объяснений.

[17] Когда А. Х. Бенкендорф стал требовать у Лермонтова, чтобы он признал ложным свое показание, что на дуэли стрелял в воздух, и извинился бы перед Барантом, Лермонтов написал письмо

брату Николая I Михаилу Павловичу, командующему гвардейским корпусом, правильно рассчитав, что тот не захочет, чтобы на офицера гвардейского полка легло обвинение во лжи.

[18] А. А. Столыпин (Монго) 12 марта послал А. Х. Бенкендорфу письмо, в котором сообщил, что был секундантом Лермонтова. 15 марта он был арестован, до 13 апреля находился под арестом. Освобождая его от наказания, Николай I приказал объявить ему, что «в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным».

[19] 15 марта 1840 г. В. Г. Белинский писал В. П. Боткину: «Лермонтов слегка ранен и в восторге от этого случая, как маленького движения в однообразной жизни. Читает Гофмана, переводит Зейдлица и не унывает. Если, говорит, переведут в армию, буду проситься на Кавказ. Душа его жаждет впечатлений и жизни» (*Белинский,* т. XI, с. 496).

Н. М. САТИН

Николай Михайлович Сатин (1814—1873) учился одновременно с Лермонтовым в Московском университетском пансионе. В 1832 г. он поступил на математический факультет Московского университета, где близко сошелся с Герценом, Огаревым и участниками их студенческого кружка. В 1835 г. Сатин вместе с Герценом и Огаревым был арестован, а затем выслан в Симбирскую губернию. В 1837 г. по болезни переведен на Кавказ. Живя в Пятигорске, он встречался там с Лермонтовым и Белинским. С 1839 г. Сатин получил разрешение вернуться в Москву. С 1841 по 1846 г. он побывал в Германии, Франции и Италии. Сатин занимался переводами произведений Байрона и Шекспира. Лермонтов, видимо, читал его перевод «Бури» Шекспира, отрывок которого был напечатан в 1837 г. в «Библиотеке для чтения», а полный текст опубликован отдельным изданием в 1840 г. Стихотворения Сатина, печатавшиеся в 1840 г. в «Отечественных записках», также могли быть известны Лермонтову.

Воспоминания Сатина о Лермонтове, написанные, по всей вероятности, в конце 1865 г., тенденциозны, и в них встречаются неточности. Между Лермонтовым и Сатиным, надо думать, произошла размолвка еще в дни юности, когда они учились в пансионе: недаром Сатин писал: «На пороге школьной жизни расстались мы с Лермонтовым холодно и скоро забыли друг о друге». По-видимому, этот школьный эпизод в какой-то мере предопределил неприязненное отношение Сатина к поэту. В то же время воспоминания Сатина являются наиболее значительными из всех мемуарных свидетельств о первой ссылке Лермонтова на Кавказ. На квартире Сатина Лермонтов встречался с сосланными на Кавказ декабристами и познакомился с Белинским.

Нельзя не признать справедливости слов Б. Кандиева, который писал, что «объективно Сатин расписался в собственном ничтожестве. Если Лермонтов на протяжении своего знакомства с Сатиным ни разу с ним не заговорил о литературе или о каком-либо другом серьезном предмете, то это единственно объясняется тем, что автор воспоминаний пользовался, видимо, у поэта репутацией ничтожного человека, достойного только разговоров о легких романических приключениях» (Ученые записки Сев.-Осет. пед. ин-та им. К. Хетагурова, 1940, т. 2(15), вып. 1, с. 108—133).

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(стр. 249)

[1] См. с. 308—309 наст. изд.

[2] Весной 1837 г. Лермонтов, заболев в дороге, поселился в Пятигорске, не доехав до Нижегородского драгунского полка, куда был сослан за стихотворение «Смерть Поэта». Белинский приехал в Пятигорск в мае 1837 г.

[3] Николай Христофорович *Кетчер* — врач, переводчик Шекспира, друг Герцена и Огарева.

[4] Сатин ошибочно относит к 1831 г. преобразование Московского университетского пансиона в гимназию — оно произошло 29 марта 1830 г., вскоре после посещения пансиона Николаем I. Подробнее об этом см. с. 81—83 и примеч. 7 на с. 515 наст. изд.

[5] 16 марта 1831 г. студенты заставили покинуть аудиторию грубого, бездарного и реакционно настроенного профессора М. Я. Малова. Подробнее о «маловской истории» см. с. 133—134 наст. изд. Лермонтов принимал участие в этой истории, но репрессии, которых он опасался, его не коснулись. Он покинул Московский университет весной 1832 г.

[6] Пятигорские впечатления 1837 г. дали Лермонтову богатый материал для «Княжны Мери», но вряд ли он уже тогда начал писать ее: сопоставление всех сохранившихся свидетельств приводит к выводу, что он приступил к работе над «Героем нашего времени» не ранее 1838 г. О прототипах в «Княжне Мери» см. в воспоминаниях Э. А. Шан-Гирей (с. 436).

[7] Николай Васильевич *Майер* — врач, с которым Лермонтов близко сошелся в Пятигорске. Г. И. Филипсон писал в своих воспоминаниях о Н. В. Майере: «Отец его был крайних либеральных убеждений; он был масон и деятельный член некоторых тайных политических обществ, которых было множество в Европе между 1809 и 1825 гг. Как ученый секретарь академии, он получал из-за границы книги и журналы без цензуры. Это давало ему возможность следить за политическими событиями и за движением умов в Европе. В начале 20-х годов он получил из-за границы несколько гравированных портретов итальянских карбонари, между которыми у него были

друзья. Его поразило сходство одного из них, только что расстрелянного австрийцами, с его младшим сыном Николаем. Позвав к себе мальчика, он поворачивал его во все стороны, осматривал и ощупывал его угловатую, большую голову и, наконец, шлепнув его ласково по затылку, сказал по-немецки: «Однако же из этого парня будет прок!» С этого времени он полюбил своего Николаса, охотно с ним говорил и читал и кончил тем, что привил сыну свои политические убеждения». Окончив Медико-хирургическую академию, Н. В. Майер поступил на службу врачом в ведение генерала Инзова, управлявшего колониями в южной России, а оттуда переведен в Ставрополь в распоряжение начальника Кавказской области, генерала Вельяминова. «Зимой он жил в Ставрополе, а летом на Минеральных Водах. <...> Ум и огромная начитанность невольно привлекали к нему. Он прекрасно владел русским, французским и немецким языками и, когда был в духе, говорил остроумно, с живостью и душевною теплотою» (*РА,* 1883, № 5, с. 178—179). Исключительный интерес представляет сообщение Г. И. Филипсона о том, что Н. В. Майер в 1837 г. рекомендовал ему для чтения «Историю французской революции» Минье, «Историю английской революции» Гизо, «Историю контрреволюции в Англии» Карреля и «О демократии в Америке» Токвиля (см.: *РА,* 1883, № 6, с. 249). Этот список указывает на широкий круг политических и социальных проблем, которые обсуждались в Пятигорске при встречах Лермонтова с Н. В. Майером и декабристами.

На Кавказе Майер близко сошелся с переведенными туда декабристами (А. А. Бестужевым, А. И. Одоевским. С. М. Палицыным и др.). Н. П. Огарев, который познакомился с Н. В. Майером в Пятигорске в 1838 г., писал о нем: «Мейер был медиком, помнится, при штабе. Необходимость жить трудом заставила его служить, а склад ума заставил служить на Кавказе, где среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где, по воле правительства, собирались изгнанники, а генералы, по преданию, оставались их друзьями. Жизнь Мейера естественно примкнулась к кружку декабристов, сосланных из Сибири на Кавказ в солдаты — кто без выслуги, кто с повышением. Он сделался необходимым членом этого кружка, где все его любили, как брата» (Огарев Н. П. Избр. произв., т. 2. М., 1956, с. 381). Подробнее о Н. В. Майере см.: Гершензон М. О. Образы прошлого. М., 1912, с. 310—320; Бронштейн Н. И. Доктор Майер. — *ЛН,* т. 45-46, с. 473—496.

[8] Лермонтов и Белинский родились не в Чембаре. Однако Лермонтов провел детство в Тарханах, в усадьбе бабушки, близ Чембара, а Белинский — в самом Чембаре.

[9] В статье «Лермонтов и Белинский на Кавказе в 1837 году» Н. Л. Бродский предположил, что Сатин при изложении беседы

перепутал точки зрения споривших сторон. Аргументируя свое предположение, Бродский ссылался на положительное отношение Лермонтова к французским энциклопедистам и на отрицательное отношение к ним Белинского в эти годы (*ЛН,* т. 45-46, с. 735—736).

Однако соображение Бродского было подвергнуто веской критике Ю. Г. Оксманом, который в статье «Переписка Белинского» писал: «Как мы полагаем, предметом спора в Пятигорске был не Вольтер — великий просветитель или Вольтер — поэт, а Вольтер — политический делец, апологет «просвещенного абсолютизма», Вольтер как человек очень невысоких моральных качеств, Вольтер — камергер Фридриха II и пенсионер Екатерины II. Вопрос именно об этом Вольтере с исключительной резкостью поставлен был в 1836 г., т. е. за несколько месяцев до спора о Вольтере между Белинским и Лермонтовым, в одной из статей Пушкина». И далее: «Статья Пушкина «Вольтер», опубликованная в «Современнике» 1836 г. (кн. 3, с. 158—169), была последним словом о Вольтере, еще не утратившим своей злободневности и остроты, особенно для Лермонтова, отвергавшего, не в пример Вольтеру, ориентацию на милости двора». Подробнее об этом см.: *ЛН,* т. 56, с. 241.

[10] Это письмо Белинского к Сатину до нас не дошло. В понимании Белинского слово «пошляк», помимо своего прямого смысла, имело и другой: человек, стремящийся эпатировать общество, — видимо, это именно подразумевал Белинский, когда называл Лермонтова «пошляком».

[11] Об оценке Белинским личности Лермонтова и его творчества см. статьи Белинского о «Герое нашего времени» и стихотворениях Лермонтова.

[12] Григорий Иванович *Филипсон* и Николай Григорьевич *Глинка* — офицеры Генерального штаба в Ставрополе.

[13] *Сергей* Иванович *Кривцов* — декабрист, подпоручик гвардейской конной артиллерии, приговорен в каторжную работу на два года (срок был сокращен до одного года). С 1827 по 1831 г. жил на поселении в Сибири. С конца 1831 г. переведен рядовым на Кавказ, сначала в 44-й егерский полк, а с августа 1834 г. в 20-ю артиллерийскую бригаду. 15 ноября 1837 г. за отличие в боях произведен в прапорщики; уволен от службы в апреле 1839 г. Подробнее о нем см.: Гершензон М. Декабрист Кривцов и его братья. М., 1914.

[14] Князь Валериан Михайлович *Голицын* — декабрист, поручик л.-гв. Преображенского полка, с февраля 1825 г. — чиновник департамента внешней торговли; приговорен на двадцать лет ссылки в Сибирь; в 1829 г. ссылка была ему заменена солдатской службой на Кавказе. В мае 1837 г. за заслуги в боях произведен в прапорщики; в июле 1838 г. по состоянию здоровья уволен с военной службы, в сентябре 1838 г. зачислен в штат общего Кавказского областного

управления в Ставрополе; уволен по болезни в сентябре 1839 г. с правом проживания в Орле (под секретным надзором).

[15] В 1837 г. Лермонтов пробыл в Ставрополе всего несколько дней проездом из Тифлиса в Петербург. 14 декабря его видели в станице Прохладной (дня два пути до Ставрополя), а 3 января он был уже в Москве.

М. И. ЦЕЙДЛЕР

Дружеские отношения Михаила Ивановича Цейдлера (1816—1892) с Лермонтовым сложились еще в юнкерской школе. Затем он был его сослуживцем по л.-гв. Гродненскому полку. А. Н. Муравьев в своих воспоминаниях рассказывает, что Цейдлер принес ему однажды лермонтовскую поэму «Демон», чтобы узнать его мнение о ней. Этот эпизод свидетельствует о многом. Только «задушевному приятелю» мог доверить Лермонтов заветного «Демона».

Михаил Иванович был сыном И. Б. Цейдлера, иркутского гражданского губернатора, который известен своим сочувствием сосланным на каторгу декабристам. О нем упоминает Н. А. Некрасов в поэме «Русские женщины». М. И. Цейдлер сам впоследствии едва избежал неприятностей, так как он в следственных документах по делу петрашевцев упоминается как участник нелегальных литературных вечеров. Его спасло то, что в 1849 г. во время ареста петрашевцев он был в походе (Дело петрашевцев, т. 1. М., 1937, с. 386).

Живую и меткую характеристику Цейдлеру дает в своих воспоминаниях сослуживец его по Гродненскому гусарскому полку А. И. Арнольди (см. с. 266). Уже тогда он заметил художественный талант Цейдлера, что подтвердилось впоследствии. В 1844 г. он переехал в Петербург и серьезно занялся искусством, изучая скульптурную технику у профессора И. П. Витали. По инициативе П. К. Клодта в 1859 г. он получил звание почетного вольного общника Академии художеств. В 1881 г. им был выполнен музейный памятник Лермонтову с бронзовым барельефом (в настоящее время утрачен), а в 1884 г. вылепил в гипсе барельеф «Лермонтов на смертном одре» по рисунку Р. К. Шведе и подарил его Лермонтовскому музею. В настоящее время находится в литературном музее *ИРЛИ*.

В воспоминаниях Цейдлера большой интерес представляет описание дома в Тамани, изображенного в «Герое нашего времени», и его обитателей, а также упоминание о рисунке Лермонтова.

НА КАВКАЗЕ В ТРИДЦАТЫХ ГОДАХ

(стр. 254)

[1] Экспромт Лермонтова «Русский немец белокурый...» до Цейдлера дважды был напечатан без каких-либо разночтений:

сначала в воспоминаниях А. Меринского (Атеней, 1858, № 48, с. 303), а затем в публикации Л. И. Арнольди (Библиографические записки, 1859, № 1, стб. 23). Объяснение каламбура в экспромте см. в воспоминаниях А. И. Арнольди (с. 269 наст. изд.).

[2] Набросанный пером в присутствии Цейдлера рисунок не сохранился. Его не следует отождествлять с карандашным рисунком Лермонтова «Тамань», сделанным с натуры и хранящимся в музее *ИРЛИ* (см.: Лермонтов. Картины. Акварели. Рисунки. М., 1980, с. 172—173). На этом вполне законченном рисунке изображен не тот домик, где останавливались Лермонтов и Цейдлер, а тот, где жил в 1840 г. декабрист Н. И. Лорер и где произошла его встреча с Лермонтовым. Об этом см.: Захаров В. А. Тамань. — По лермонтовским местам. М., 1985, с. 184, 186.

А. И. АРНОЛЬДИ

Александр Иванович Арнольди (1817—1898) — сослуживец Лермонтова по л.-гв. Гродненскому гусарскому полку, племянник декабриста Н. И. Лорера и сводный брат А. О. Смирновой, к которой обращено стихотворение Лермонтова «В простосердечии невежды...».

Арнольди, человек недалекий, службист, не вызывал симпатии Лермонтова, да и сам он относился к поэту неприязненно. Это еще явственнее, чем в воспоминаниях, выступает в его устных рассказах о поэте, известных по публикациям других лиц. Так, например, в 1888 г. он рассказал В. И. Шенроку: «Мы не обращали на Лермонтова никакого внимания, и никто из нас и нашего круга не считал Лермонтова настоящим поэтом, выдающимся человеком. Тогда еще немногие стихотворения Лермонтова были напечатаны и редкие нами читались... Ведь много лучших произведений Лермонтова появилось в печати уже после его смерти... Его чисто школьнические выходки, проделки многих раздражали и никому не нравились. Лермонтов был неуживчив, относился к другим пренебрежительно, любил ядовито острить и даже издеваться над товарищами и знакомыми, его не любили, его никто не понимал.

Даже и теперь я представляю себе непременно два Лермонтова: одного — великого поэта, которого я узнал по его произведениям, а другого — ничтожного, пустого человека, каким он мне казался, дерзкого, беспокойного офицера, неприятного товарища, со стороны которого всегда нужно было ждать какой-нибудь шпильки, обидной выходки... Мы все, его товарищи-офицеры, ни-

сколько не были удивлены тем, что его убил на дуэли Мартынов, которому столько неприятностей делал и говорил Лермонтов; мы были уверены, что Лермонтова все равно кто-нибудь убил бы на дуэли: не Мартынов, так другой кто-нибудь...» (К рассказам о М. Ю. Лермонтове. — О писателях. В записи А. Мошина. СПб., 1905, с. 3—4).

По всей вероятности, именно его имел в виду П. А. Висковатов, приводя анонимное мнение о поэте «человека почтенного, образованного и известного биографам Лермонтова»: «Я не понимаю, что о Лермонтове так много говорят; в сущности, он был препустой малый, плохой офицер и поэт неважный. В то время мы все писали такие стихи. Я жил с Лермонтовым в одной квартире, я видел не раз, как он писал. Сидит, сидит, изгрызет множество перьев, наломает карандашей и напишет несколько строк. Ну разве это поэт?!» (*Висковатов,* с. 278).

И все же воспоминания Арнольди интересны с фактической стороны своей конкретностью и подробностями, в особенности в отношении пребывания Лермонтова в Гродненском полку, о чем из других источников известно очень немного. Художник-дилетант, он оставил зарисовки видов памятных лермонтовских мест.

ИЗ ЗАПИСОК

(стр. 259)

[1] Округами пахотных солдат назывались с 1831 г. аракчеевские военные поселения, где солдаты должны были совмещать военную службу с занятием сельским хозяйством.

[2] В романе французского писателя А.-Р. Лесажа «Хромой бес» волшебным образом поднимаемые крыши домов позволили героям видеть широкую картину жизни различных слоев мадридского общества.

[3] Историк Гродненского гусарского полка Ю. Елец писал со слов С. Н. Сталь, что Лермонтов бывал у них, но общество полковых дам вообще не любил и у нее также бывал мрачен и неразговорчив. (Елец Ю. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, т. 1. СПб., 1890, с. 207).

[4] В настоящее время установлено, что обвинение в убийстве, возведенное на А. А. Алябьева, Н. А. Шатилова и др., было необоснованным. Смерть Т. М. Времева была вызвана апоплексическим ударом. См.: Штейнпресс Б. Страницы из жизни А. А. Алябьева. М., 1956, с. 179—214.

[5] *Сергей* Васильевич *Трубецкой,* офицер Кавалергардского полка, был знаком с Лермонтовым со времени производства его в офицеры. В конце 1839 г. Трубецкой был переведен на Кавказ, так же, как и Лермонтов, прикомандирован к отряду генерала Галафеева, участвовал в сражении при Валерике и был ранен. Вместе с Лермон-

товым был представлен к награде и так же, как и Лермонтов, вычеркнут Николаем I из наградных списков. Осенью 1840 г. встречался с Лермонтовым в Ставрополе у И. А. Вревского. Летом 1841 г. жил в Пятигорске и в дуэли Лермонтова был секундантом, скрытым от следствия.

[6] Арнольди имеет в виду картины Лермонтова «Черкес» и «Воспоминание о Кавказе», подаренные им впоследствии в Лермонтовский музей. Сейчас они экспонируются в Литературном музее *ИРЛИ*. О быстроте, с которой Лермонтов рисовал, вспоминал также в письме к Е. А. Карлгоф-Драшусовой С. А. Раевский в 1844 г.: «Соображения Лермонтова сменялись с необычайною быстротой, и как ни была бы глубока, как ни долговременно таилась в душе его мысль, он обнаруживал ее кистью или пером изумительно легко, и я бывал свидетелем, как во время размышлений противника его в шахматной игре Лермонтов писал драматические отрывки, замещая краткие отдыхи своего поэтического пера быстрыми очерками любимых его предметов: лошадей, резких физиогномий и т. п.» (*ЛН,* т. 19-21, с. 505). На обороте картины «Черкес» — надпись: «Сделана при мне в час времени в Селищенских казармах Новгородской губернии в так называемом сумасшедшем доме. *А. Арнольди».*

[7] Лермонтов перевел один из Крымских сонетов Адама Мицкевича «Вид гор из степей Козлова». Поэма «Хаджи Абрек» в 1838 г. была уже написана и опубликована, поэма «Мцыри» написана позднее (1839).

[8] Ср. с воспоминаниями М. И. Цейдлера (с. 255).

[9] Этот дом сохранился, ему возвращен первоначальный вид. Он находится на углу улицы Лермонтова и Проспекта К. Маркса.

[10] Этот альбом не сохранился (о нем см.: *ЛН,* т. 45-46, с. 212—213).

[11] Намек на слухи об отношениях Лермонтова с сестрой Мартынова Натальей Соломоновной.

[12] Ср. с воспоминаниями Н. И. Лорера (см. с. 398—399 наст. изд.).

[13] О причинах ссоры с В. С. Голицыным см. также в воспоминаниях Н. П. Раевского (с. 417—418 наст. изд.).

[14] В машинописном оригинале воспоминаний Арнольди вместо 15 июля напечатано 17 июля. В наст. изд. опечатка исправлена.

[15] Бал Голицына был отменен из-за разразившейся грозы.

[16] Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль 13 июля 1841 г., после вечера у Верзилиных.

[17] Ю. Г. Оксман высказал предположение, что этот «пикник» готовили Лермонтов и его друзья.

[18] Арнольди, видимо, встретил Лермонтова с Дмитревским, ехавших из Железноводска в Каррас.

[19] П. А. Висковатов, специально интересовавшийся вопросом о присутствии на дуэли посторонних лиц и расспрашивавший об этом современников Лермонтова, пришел к выводу, что такие зрители были, во всяком случае, присутствовал Р. И. Дорохов (см.: *Висковатов,* с. 366).

[20] «Когда я спросил кн. Васильчикова, кто собственно были секундантами Лермонтова, — пишет П. А. Висковатов, — он ответил, что собственно не было определено, кто чей секундант. «Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундантом, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова. Собственно секундантами были: Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. На следствии же показали: Глебов себя секундантом Мартынова: я — Лермонтова. Других мы скрыли. Трубецкой приехал без отпуска и мог поплатиться серьезнее. Столыпин уже раз был замешан в дуэль Лермонтова, следовательно, ему могло достаться серьезнее» (*Висковатов,* с. 368).

[21] Мачехе мемуариста С. К. Арнольди копию с портрета П. Е. Заболотского, выполненную А. П. Шан-Гиреем, подарил не Лермонтов, а Шан-Гирей после смерти поэта. См.: Зильберштейн И. С. М. Ю. Лермонтов в портретах. М., 1941, с. 20—21.

[22] О реакции Николая I на известие о гибели Лермонтова см. с. 589 наст. изд.

С. Н. КАРАМЗИНА

Знакомство с семейством Карамзиных имело совершенно особое значение в жизни Лермонтова. В доме вдовы Н. М. Карамзина Екатерины Андреевны, сестры поэта П. А. Вяземского, продолжали собираться писатели пушкинского круга, люди близкие к литературе, искусству, науке. Здесь были своими В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский, Е. П. Ростопчина, И. П. Мятлев.

Сыновья Карамзина Андрей и Александр, получившие университетское образование в Дерпте, были гвардейскими офицерами, и поэтому в доме бывало много их однополчан и знакомых офицеров.

Душой салона Карамзиных современники единодушно признавали дочь Н. М. Карамзина от первого брака — Софью Николаевну (1802—1856). А. Ф. Тютчева, дочь поэта, называла ее умной и вдохновенной руководительницей этого общества. «Перед началом вечера Софи, как опытный генерал на поле сражения и как ученый стратег, располагала большие красные кресла, а между ними легкие соломенные стулья, создавая уютные группы для собеседников; она умела устроить так, что каждый из гостей совершенно естественно и как бы случайно оказывался в той группе или рядом с тем соседом или

соседкой, которые лучше всего к ним подходили» (Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1928, с. 72—73).

Прочитав стихотворение «Смерть Поэта» (без последующих 16 строк) тогда еще совершенно неизвестного ей автора, Софья Николаевна сразу высоко оценила его по достоинству.

Письма Софьи Николаевны к замужней сестре Екатерине Николаевне Мещерской охватывают небольшой промежуток времени — менее года: с сентября 1838 г. до августа 1839 г. Но они ярко воссоздают картину жизни этого дома, где только что принят Лермонтов, уточняют многие эпизоды его жизни, вносят интересные штрихи в наше представление о его характере. Позднее Софья Николаевна все больше увлекалась и личностью и поэзией Лермонтова. См., например, ее отзыв о «Демоне» (с. 282). Гораздо холоднее относившаяся к поэту А. О. Смирнова несколько иронично отмечала это в письме к В. А. Жуковскому: «Софья Николаевна за него горой и до слез, разумеется» (*РА,* 1902, № 2, с. 101).

В последний год жизни поэта С. Н. Карамзина, ее братья, Е. П. Ростопчина были наиболее близкими, задушевными его друзьями. Именно в их кругу он находил понимание, неизменный дружеский прием.

Эту атмосферу радости общения с друзьями передает Лермонтов в своем стихотворении, написанном в альбом Софьи Николаевны.

В доме Карамзиных 12 апреля 1841 г. перед последним отъездом на Кавказ поэт провел вечер в кругу немногих, самых близких друзей, а 10 мая из Ставрополя послал С. Н. Карамзиной письмо, единственное известное письмо к ней поэта.

В нем он просит пожелать ему счастья и легкого ранения, шутит над какой-то ее ошибкой в отношении географического положения Астрахани. Потом, видимо, готовя новый подвох, переписывает сокращенный перевод на французский язык стихотворения Ф. Шиллера «Ожидание», выдавая его за сочиненное им «в жанре Парни», просит писать. Успела ли ответить Софья Николаевна, неизвестно.

По сведениям П. И. Бартенева, у С. Н. Карамзиной было много писем Лермонтова (*РА,* 1902; № 5, с. 118).

ИЗ ПИСЕМ К Е. Н. МЕЩЕРСКОЙ

(стр. 277)

Впервые опубликованы в отрывках Ф. Ф. Майским в его статье «М. Ю. Лермонтов и Карамзины». — Михаил Юрьевич Лермонтов. Сб. статей и материалов. Ставрополь, 1960, с. 123—164.

Печатаются по более развернутой публикации Э. В. Даниловой, В. А. Мануйлова и Л. Н. Назаровой: Письма С. Н. Карамзиной к Е. Н. Мещерской о Лермонтове. — *Исследования и материалы,*

с. 343—369. Письма хранятся в Крымском областном государственном архиве (г. Симферополь).

[1] Китайская деревня на границе Екатерининского и Александровского парка строилась по проекту Ч. Камерона в 1782 г. Проект этот, предусматривавший ансамбль из восемнадцати домиков «в китайском стиле», окруженных галереей, поднятой на столбах, и восьмиярусной пагодой в центре, осуществлен не был; построено только восемь домиков, причем и их отделку не довели до конца. В этих домиках жили придворные, а в одном с 1816 по 1826 г. жил Н. М. Карамзин со своим семейством.

[2] Восьмигранный павильон в классическом стиле в центре китайской деревни (архитектор В. П. Стасов). Летом здесь устраивались придворные балы.

[3] Елизавета Николаевна Карамзина, младшая дочь Е. А. Карамзиной.

[4] Михаил Павлович.

[5] Вера Федоровна Вяземская, жена поэта П. А. Вяземского, сводного брата Екатерины Андреевны.

[6] Надежда Петровна Вяземская — дочь П. А. и В. Ф. Вяземских.

[7] Алексей Степанович Хомяков, поэт, глава славянофильского направления. На сходство его с Лермонтовым указывает также в своих воспоминаниях А. Н. Муравьев (см. с. 236).

[8] Вероятно, Николай Александрович Бутурлин.

[9] Елизавета Михайловна Фролова-Багреева, дочь М. М. Сперанского, писательница.

[10] *Пашковы* — Михаил Васильевич, ротмистр л.-гв. Гусарского полка, и его жена Мария Трофимовна.

[11] Конно-спортивное представление, в котором участвовали пары наездников и наездниц, демонстрируя свое мастерство.

[12] *Тери* — лошадь С. Н. Карамзиной.

[13] История этого ареста описана также М. Н. Лонгиновым (см. с. 196).

[14] В. Н. Карамзин, младший сын Н. М. Карамзина.

[15] У Карамзиных были поставлены водевили «Два семейства, или Модные мужья» А. Ваффляра, И. Фульгенция и Л. Пикара и «Карантин» Э. Скриба и Э. Мазера. Об этих водевилях и ролях, которые репетировал Лермонтов, см.: Мительман Е. Лермонтов-театрал. — Музыкальная жизнь, 1987, № 23, с. 18—19.

О затеваемом Карамзиными спектакле с неудовольствием писал жене П. А. Вяземский: «У Карамзиных затевается спектакль, бал и чуть ли не карусель. Екатерина Андреевна ничего не хочет, но дети хотят, и, следовательно, будет... Машеньку завербовали Карамзины в свою комедию. И ей не хотелось, и мне не хотелось, но слезы,

вопли и неотвязчивость Софьи Николаевны все превозмогли» (Михаил Юрьевич Лермонтов. Сб. статей и материалов. Ставрополь, 1960, с. 151).

[16] А. Н. Карамзин.

[17] Прасковья Арсеньевна Бартенева.

[18] А. Г. *Реми,* штаб-ротмистр л.-гв. Гусарского полка.

[19] Шевичи: Мария Христофоровна, урожд. Бенкендорф, вдова генерал-лейтенанта И. Е. Шевича, командира л.-гв. Гусарского полка; ее сын Егор Иванович, с 1834 г. ротмистр того же полка; его жена Лидия Дмитриевна, урожд. Блудова; падчерица М. Х. Шевич — Александра Ивановна.

[20] *Фрейлины Бартеневы* — сестры Прасковья и Мария Арсеньевны.

[21] *Бороздин* — возможно, Константин Матвеевич, историк и генеалог, сенатор.

[22] *Балабины* — братья Евгений, Иван и Виктор Петровичи и их сестра Мария, приятельница Гоголя, их родители — Петр Иванович, генерал-майор, и Варвара Осиповна.

[23] *Клюпфели* — В. Ф. Клюпфель, его жена и дочь.

[24] *Толстые* — Анна Матвеевна, дочь сенатора М. Ф. Толстого, фрейлина, в 1838 г. вышедшая замуж за князя Л. М. Голицына, и ее мать — Прасковья Михайловна, урожд. Голенищева-Кутузова (старшая дочь М. И. Кутузова).

[25] *Огаревы* — Елизавета Сергеевна, урожд. Новосильцева, и ее дочь Александра Николаевна.

[26] Возможно, Ипполит Афанасьевич Зыбин.

[27] Григорий Андреевич *Захаржевский* — комендант Петербурга. После ареста Лермонтова за дуэль с Барантом содействовал улучшению условий заключения: переводу Лермонтова из ордонанс-гауза на Арсенальную гауптвахту, а также разрешению посетить поэта. Но когда Лермонтов просил позволения навестить тяжело заболевшую бабушку, Захаржевский не взял на себя решение этого вопроса, ссылаясь на запрещение великого князя Михаила Павловича.

[28] Александра Ивановна Мещерская (урожд. Трубецкая), жена брата П. И. Мещерского.

[29] Прислуга Карамзиных.

[30] Артист французской труппы Михайловского театра.

[31] См. примеч. 13. Первоначально Михаил Павлович приказал арестовать Лермонтова на 15 дней. Почему этот срок был увеличен еще на 6 дней, неизвестно. Во время ареста Лермонтов узнал, что Е. А. Арсеньева очень больна (см. письма Е. А. Верещагиной, с. 246). Он просил разрешения навестить ее, прибегал к помощи А. И. Философова, но только освободившись из-под ареста, Лермонтов смог успокоить бабушку.

[32] Ольга Степановна *Одоевская,* жена В. Ф. Одоевского, писа-

теля, ученого, историка, музыканта. Лермонтов часто посещал дом Одоевских. В свой последний приезд в Петербург он подарил О. С. Одоевской «Героя нашего времени», сделав на книге шутливую надпись. На шмуцтитуле название «Герой нашего времени» он продолжил словами «упадает к ногам ее прелестного сиятельства, умоляя позволить ему не обедать».

[33] В. А. Лопухина просила Лермонтова посмотреть, верен ли ее список «Демона». Это заставило Лермонтова еще раз вернуться к тексту поэмы. «Лопухинский список» исправлен его рукой и заключен новым посвящением: «Я кончил — и в груди невольное сомненье...». См.: Боткин В. П. Письмо А. А. Краевскому. — Публичная библиотека. Отчет за 1889 г. СПб., 1893, с. 67—68.

После этого, как видим, поэт читал «Демона» и у Карамзиных.

[34] Александра Осиповна Смирнова.

[35] *Валуевы* — Петр Александрович, камер-юнкер, позднее член «кружка шестнадцати», впоследствии министр внутренних дел, и его жена Мария Петровна, дочь П. А. Вяземского.

[36] Вероятно, Василий Николаевич Репнин-Волконский.

[37] В. А. Жуковский только что вернулся из заграничного путешествия.

[38] Александра Осиповна и ее муж Николай Михайлович.

[39] Возможно, Павел Леонтьевич Беннигсен.

[40] О песенниках с табачной фабрики В. Г. Жукова см.: Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., 1887, с. 82.

[41] О Екатерине Леонтьевне Спафарьевой и ее отношении к Лермонтову П. А. Плетнев писал Я. К. Гроту 21 января 1841 г.: «Странно, что Спафарьева могла увлечься Лермонтовым. Ужели она сознает в душе возможность таких низостей, какими унизил автор княжну и ее мать?» (Грот Я. К., Плетнев П. А. Переписка. СПб., 1896, т. 1, с. 212). Имеется в виду роман «Герой нашего времени».

[42] Возможно, Карл Петрович Икскюль.

[43] Анна Алексеевна *Оленина,* дочь А. Н. Оленина, которой был увлечен Пушкин. Ей посвящены его стихотворения. В 1840 г. она вышла за полковника л.-гв. Гусарского полка Ф. А. Андро. Лермонтов написал ей в альбом в день ее рождения 11 августа 1839 г. стихотворение, непринужденный, шутливый тон которого говорит о коротких приятельских отношениях между ней и поэтом.

[44] Алексей Николаевич Оленин, археолог и историк, директор Публичной библиотеки, президент Академии художеств, был знаком с Лермонтовым. Есть указание на их несохранившуюся переписку.

[45] Антонина Дмитриевна *Блудова,* писательница, знакомая А. С. Пушкина, Н. М. Карамзина, А. И. Тургенева, ближайшая подруга М. А. Щербатовой. В своих мемуарах она дала краткую, но меткую характеристику поэта: «Вот Лермонтов с странным смешением самолюбия не совсем ловкого светского человека и скром-

ности даровитого поэта, неумолимо строгий в оценке своих стихов, взыскательный до крайности к собственному таланту и гордый весьма посредственными успехами в гостиных. Они скоро бы надоели ему, если бы не сгубили безвременно тогда именно, когда возрастал и зрел его высокий поэтический дар» (*РА,* 1889, № 1, с. 64).

[46] Карамзина пишет об одном из братьев Донауровых — Иване Михайловиче или Петре Михайловиче. Оба увлекались театром и литературой и были женаты.

[47] П. А. Валуев.

Н. М. СМИРНОВ

Николай Михайлович Смирнов (1808—1870), чиновник министерства иностранных дел, подолгу жил за границей: в 1825—1828 гг. служил при русской миссии во Флоренции, в 1835—1837 гг. — в Берлине. После возвращения из Флоренции назначен камер-юнкером. В последующие годы был калужским, а затем петербургским губернатором. Смирнов был знаком с Пушкиным, отношения их были дружескими, они даже перешли на «ты».

Преклонение перед Пушкиным мешало Смирнову в полной мере оценить Лермонтова.

Лермонтов познакомился с Смирновым, вероятно, у Карамзиных, а впоследствии поэт бывал в доме Смирновых, в салоне Александры Осиповны, жены Николая Михайловича.

Заметки Смирнова о Лермонтове кратки, отличаются некоторой холодной отчужденностью и не всегда точны в деталях. Это мнение прежде всего посетителя светских гостиных, хотя и человека близкого к литературе.

ИЗ ПАМЯТНЫХ ЗАМЕТОК

(стр. 291)

Впервые — *РА,* 1882, № 2, с. 239—240. Печатаются по этому изд.

[1] Лермонтов был переведен из л.-гв. Гусарского полка в Нижегородский драгунский 27 февраля 1837 г., а возвращен обратно в Гусарский полк 9 апреля 1838 г.

[2] Причиной дуэли с Э. Барантом было не соперничество в любви, а «спор о смерти Пушкина», по выражению Е. П. Ростопчиной. См. также с. 362.

[3] Лермонтов имел вторичное объяснение с Барантом, вызванное тем, что Барант рассказывал знакомым, будто бы Лермонтов, стреляя в него, промахнулся, а на суде дал ложное показание, что стрелял в воздух.

[4] О секундантах см. с. 562.

А. Н. СТРУГОВЩИКОВ

Александр Николаевич Струговщиков (1808—1878) — поэт и переводчик немецкой поэзии и прозы, прежде всего Гете и Шиллера. Он печатался в «Библиотеке для чтения», «Современнике», затем одновременно с Лермонтовым в «Отечественных записках». Эволюция Струговщикова — поэта и переводчика отразилась в отзывах о нем В. Г. Белинского. Если в «Литературных мечтаниях» (1834) он называет его среди бездарных «стиходеев», то в письме И. И. Панаеву в 1838 г. уже признает его талант переводчика. «У него есть талант, он хорошо переводит Гете, по крайней мере, получше во 100 раз Губера». А в 1840 г. про «Римские элегии» в переводе Струговщикова пишет, что они «составляют одно из драгоценнейших приобретений не только в итоге месячного, но и годового бюджета нашей бедной литературы» (*Белинский,* т. I, с. 91, т. XI, с. 262, т. IV, с. 126).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. И. ГЛИНКЕ

(стр. 293)

Впервые — *РС,* 1874, № 4, с. 712. Печатается по этому изд.

[1] Если разговор с Лермонтовым действительно происходил в ноябре, то не 1840, а 1839 г., т. к. стихотворение «Из Гете» было напечатано в июле 1840 г., а Лермонтов был уже на Кавказе.

[2] Автограф Лермонтова неизвестен.

О. Н. СМИРНОВА

Ольга Николаевна Смирнова (1834—1893) — дочь Александры Осиповны, в конце жизни жила в Париже. Издавая «Записки» матери, она поставила перед собой цель изобразить Александру Осиповну аристократкой, преувеличить блестящее положение ее в петербургском обществе, близость ее ко двору. Помимо этого она видела в издании «Записок» возможность выразить свои ультрамонархические взгляды. С этой целью она в значительной мере исказила воспоминания Смирновой, рукопись которых требовала существенной работы для подготовки к печати.

Поэтому изданные ею мемуары сначала в журнале «Северный вестник» в 1894 г., а затем отдельным изданием в 1895—1897 гг. признаны недостоверным материалом и в биографических работах не используются.

В авторитетном издании «Автобиография» А. О. Смирновой, подготовленной Л. В. Крестовой (М., 1931), Лермонтову посвящены только два эпизода, связанные с творческой историей стихотворений «А. О. Смирновой» и «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). Публикуемая в наст. изд. заметка О. Н. Смирновой не противоречит тексту «Автобиографии» и вносит только некоторые подробности.

Поскольку эта заметка к печати не готовилась, есть основания предполагать, что. в данном случае О. Н. Смирнова не прибегала ни к какой мистификации.

О СТИХОТВОРЕНИИ «А. О. СМИРНОВОЙ»

(стр. 294)

Печатается по автографу — *ЦГАЛИ,* ф. 485, оп. 1, № 4, л. 1 об.-2.

[1] Александра Осиповна Смирнова (урожд. Россет) происходила из небогатой семьи француза, служившего в русском флоте. Училась в Екатерининском институте, затем была назначена фрейлиной. Ее живой ум и художественный вкус привлекли к ней внимание многих писателей и художников. Она была в дружеских отношениях с П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, Н. В. Гоголем, К. П. Брюлловым, П. Ф. Соколовым. А. С. Пушкин читал ей свои произведения и интересовался ее мнением. Смирновой посвящены несколько его стихотворений.

С Лермонтовым Смирнова познакомилась у Карамзиных в конце 1838 г. Затем поэт бывал и в доме у Смирновых. Он изобразил Смирнову в начале незаконченной повести («Штосс»). Несмотря на близкое знакомство, между ней и Лермонтовым никогда не было таких коротких дружеских отношений, как, например, с С. Н. Карамзиной. Об этом свидетельствует и стихотворение «В простосердечии невежды...», и фраза в письме поэта к С. Н. Карамзиной из Ставрополя от 10 мая 1841 г.: «Я хотел написать еще кое-кому в Петербург, в том числе и госпоже Смирновой, но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок, поэтому воздерживаюсь» (*Лермонтов,* т. 4, с. 428).

[2] В автобиографии Смирнова пишет: «Альбом всегда лежал на маленьком столике в моем салоне. Он <Лермонтов> пришел как-то утром, не застал меня, поднялся вверх, открыл альбом и написал эти стихи...»

[3] Аркадий Осипович Россет служил в конной артиллерии, был сослуживцем братьев Карамзиных.

И. С. ТУРГЕНЕВ

Для Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883) творчество Лермонтова было предметом постоянного восхищения. Поэтическое влияние Лермонтова сказалось в поэмах Тургенева «Параша», «Разговор», а в поэмах «Поп», «Помещик», «Андрей» Белинский усматривал развитие традиций лермонтовских «иронических» поэм. В некоторых прозаических произведениях Тургенева появляется герой печоринского типа (иногда в намеренно сниженных тонах). Реминисценции из произведений Лермонтова выявляются во многих стихотворениях Тургенева (об этом см.: *ЛЭ,* с. 583—584).

19 июля 1845 г. во французском журнале «Illustration» появилась

анонимная статья «De la littérature russe contemporaine» («О современной русской литературе»). В подзаголовке стояло: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь». Эта статья обратила на себя внимание как во Франции, так и в России. Недавно было установлено, что она написана И. С. Тургеневым. Здесь он впервые высказал свой взгляд на поэзию Лермонтова, которого называет единственным соперником Пушкина. «Никто не писал еще в России стихов столь энергичных в своей простоте, в своей обнаженности, столь стремительных, столь чуждых суетным украшениям, — пишет Тургенев в этой статье. — Вся его поэзия — это выражение неукротимой, мрачной и бурной души. Его упрекали в том, что он вновь ввел в моду байроническую разочарованность; но при этом ошибались в истинной природе его таланта. Не мизантропия пресыщенного и разочарованного сердца вдохновляла его, а негодование против вынужденной бездеятельности, ненависть — а не скука, порожденная пустотой жизни» (*ЛН,* т. 73, кн. 1, с. 285).

Полонский вспоминал, что «Героя нашего времени» Тургенев называл «новым откровением» (Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания. — Нива. Литературное приложение, 1898, № 12, стб. 662).

Следует однако заметить, что, отдавая должное значению Лермонтова, Тургенев неизмеримо выше ценил Пушкина. «На почве преклонения перед Пушкиным, — вспоминал Кони, — произошел у Тургенева незабвенный для всех слушателей горячий спор с Кавелиным, который ставил Лермонтова выше. Романтической натуре Кавелина ропщущий, негодующий и страдающий Лермонтов был ближе, чем величавый в своем созерцании Пушкин. Но Тургенев с таким взглядом примириться не мог, и объективность Пушкина пленяла его гораздо больше субъективности Лермонтова» (Кони А. Ф. на жизненном пути, т. 2. СПб., 1912, с. 84).

Встречи Тургенева с Лермонтовым относятся к самому концу 1839 г. Взгляд будущего писателя-психолога точно схватывает и мысленно фиксирует впечатление от облика поэта, так что через тридцать лет уже великий русский писатель в своих воспоминаниях даст непревзойденный по выразительности, проникновенности во внутренний мир и психологической достоверности портрет поэта.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖИТЕЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

(стр. 296)

[1] Софья Алексеевна Шаховская, соседка Тургеневых по имению, жила в Петербурге на Пантелеймоновской улице (ныне дом № 11 по улице Пестеля).

[2] Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной посвящено стихотворение Лермонтова «Графиня Эмилия...» (1839). По свидетельству В. А. Соллогуба, Лермонтов был страстно в нее влюблен «и следовал за нею всюду, как тень» (см. с. 347).

[3] Андрей Павлович *Шувалов,* сослуживец Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку (с февраля 1838 г.). С Лермонтовым он встречался также у Карамзиных, а в конце 1839 г. вошел в «кружок шестнадцати».

[4] Тургенев, вероятно, видел Лермонтова на маскараде в другой день: 31 декабря 1839 г. бала в Дворянском собрании не было. Первый номер «Отечественных записок» за 1840 г., где опубликовано стихотворение «Как часто пестрою толпою окружен...», вышел в середине месяца, так как цензурное разрешение на него было получено 14 января (подробнее см.: *Герштейн,* с. 41—44).

М. А. КОРФ

Модест Андреевич Корф (1800—1876) учился в Лицее вместе с Пушкиным и впоследствии часто встречался с ним (одно время они жили по соседству), обменивался письмами, однажды получил от Пушкина ценные книги, но отношения между ним и поэтом всегда оставались холодными. Корф впоследствии сделал блестящую карьеру: был доверенным лицом Николая I и членом Государственного совета.

Если в воспоминаниях Корфа о Пушкине чувствуется откровенно неприязненное, пристрастное отношение к поэту, то о Лермонтове в своем дневнике он пишет совсем в других тонах, дает высокую оценку ему как поэту, при описании ссоры его с Барантом он на стороне Лермонтова. Корф подробно осведомлен о ходе дуэли (о падении Баранта во время решительного выпада не было известно из других источников). Он также хорошо знает положение Щербатовой и сочувствует ей.

В 1856 г. А. И. Философов, напечатавший в Карлсруэ «Демона», послал М. А Корфу три экземпляра книги и подробное письмо, свидетельствующее о том, что Философов считает его лицом, осведомленным в вопросах, связанных с текстом поэмы.

ИЗ ДНЕВНИКА

(стр. 298)

[1] О М. Щербатовой (урожд. Штерич) см. примеч. 47 на с. 504.

[2] О Бахерахт см. с. 505 наст. изд.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

Начало личного знакомства Лермонтова с Белинским (1811—1848) относится к 1837 г. Эту первую их встречу в Пятигорске нельзя назвать удачной: они не поняли друг друга. Их разговор передает

в своих воспоминаниях Н. М. Сатин (см. с. 251). До 1837 г. они знакомы не были, хотя детство Белинского прошло в Чембаре, в 15 верстах от Тархан, а затем они одновременно учились в Московском университете, и эти обстоятельства нашли отражение в творчестве писателей.

Так, установлено, что в драме Лермонтова «Странный человек» и в драме Белинского «Дмитрий Калинин» отразились одни и те же события, происходившие в Пензенской губернии в имении помещицы М. Я. Давыдовой и заставившие обоих юных авторов задуматься над бесчеловечностью крепостнической действительности.

Белинскому принадлежат первые печатные отзывы о произведениях Лермонтова. «Если это первый опыт молодого поэта, — писал он о «Песне... про купца Калашникова», — то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование» (*Белинский,* т. II, с. 411).

Еще не зная имени автора, Белинский пишет о «Тамбовской казначейше»: «В XI томе («Современника») помещена целая поэма «Казначейша». Стих бойкий, гладкий, рассказ веселый, остроумный — поэма читается с удовольствием» (*Белинский,* т. III, с. 57).

В дальнейшем появление каждого нового стихотворения Лермонтова в печати вызывало отклик Белинского.

Для эволюции мировоззрения Белинского, отказа его от «примирения с действительностью» творчество Лермонтова сыграло решающую роль. Один из друзей Белинского литературный критик П. В. Анненков писал об этом в своих воспоминаниях: «Лермонтов втягивал Белинского в борьбу с собою, которая и происходила на наших глазах. Ничто не было так чуждо сначала всем умственным привычкам и эстетическим убеждениям Белинского, как ирония Лермонтова, как его презрение к теплому и благородному ощущению в то самое время, когда оно зарождается в человеке, как его горькое разоблачение собственной своей пустоты и ничтожности, без всякого раскаяния в них и даже с некоторого рода кичливостью. Новость и оригинальность этого направления именно и привязывали Белинского к поэту такой полной откровенности и такой силы. <...> Продолжительное наблюдение этой личности, вместе с другими, родственными ей по духу на Западе, забросили в душу Белинского первые семена того позднейшего учения, которое признавало, что время чистой лирической поэзии, светлых наслаждений образами, психическими откровениями и фантазиями творчества миновало и что единственная поэзия, свойственная нашему веку, есть та, которая отражает его разорванность, его духовные немощи, плачевное состояние его совести и духа. Лермонтов был первым человеком на Руси, который навел Белинского на это созерцание, впрочем, уже подготовленное и самым психическим состоянием критика. Оно пустило

обильные ростки впоследствии» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1986, с. 166—168).

Свои впечатления от произведений Лермонтова Белинский обычно выражал очень эмоционально и в статьях и в письмах к друзьям. В этом отношении очень характерны включенные в наст. изд. отрывки из писем Н. В. Станкевичу и В. П. Боткину.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ И СТАТЕЙ

(стр. 300)

[1] Николай Владимирович *Станкевич,* с которым Белинского связывали теплые дружеские отношения, возглавлял философский и литературный кружок, в который входил и Белинский.

[2] Николай Тимофеевич Грановский, историк, профессор Московского университета, был тесно связан с кружком Станкевича. Есть свидетельства того, что Грановский хотя и не относился к Лермонтову так восторженно, как Белинский, но высоко ценил «Песню... про купца Калашникова», «Спор» и другие произведения Лермонтова. Об этом см.: Гиллельсон М. И. Поэзия Лермонтова в салоне Елагиных. — *Исследования и материалы,* с. 253—270. Узнав о смерти поэта, Грановский писал: «По-прежнему печальные новости. Лермонтов, автор «Героя нашего времени», единственный человек в России, способный напомнить Пушкина (capable de rapeler Pouchkine), умер той же смертью, что и последний. Он убит на дуэли Мартыновым, братом молодой особы, которая фигурировала в его романе под именем княжны Мери. Он был моего возраста» (*Исследования и материалы,* с. 259).

[3] Цитата из повести Н. В. Гоголя «Нос».

[4] Василий Петрович *Боткин* — переводчик и литературный критик, член кружка Станкевича, друг Белинского. Литературная деятельность В. П. Боткина началась в «Телескопе» и «Молве» в 1836 г., продолжалась в «Московском наблюдателе» в 1838 г. и в «Отечественных записках» с 1839 г., а затем в некрасовском «Современнике». О В. П. Боткине см: Егоров Б. Ф. В. П. Боткин — литератор и критик. — Ученые записки Тартуского ун-та, 1963, вып. 139, с. 20—81.

[5] Имеется в виду первое отдельное издание «Героя нашего времени» (СПб., 1840).

[6] Ср. с воспоминаниями И. И. Панаева (с. 309—310).

[7] Цитата из поэмы «Демон» (редакция 1838 г.).

[8] Белинский готовил «Демона» для «Отечественных записок» (сохранилась корректура), но поэма была запрещена цензурой, в 1842 г. в шестой книжке журнала появились лишь отрывки из нее. Подробнее об этом см.: Михайлова А. Белинский —

редактор Лермонтова. Из истории первопечатной публикации «Демона» в «Отечественных записках» 1842 г. — *ЛН,* т. 57, с. 261—272.

[9] Это не продолжение «Договора», а вторая часть стихотворения «Я верю: под одной звездою...», посвященного Е. П. Ростопчиной. Но не исключено, что в первоначальный вариант «Договора» эти строки входили. Такое предположение высказывалось в печати.

Обмен мнениями в отношении «Договора» между Белинским и Боткиным не ограничился этим письмом.

В ответном письме от 22 марта 1842 г. Боткин писал Белинскому: «Я знал, что тебе понравится «Договор». В меня он особенно вошел, потому что в этом стихотворении жизнь разоблачена от патриархальности, мистики и авторитетов. Страшная глубина субъективного *я,* свергшего с себя все субстанциальные вериги. По моему мнению, Лермонтов нигде так не выражался весь, во всей своей духовной личности, как в этом «Договоре». Какое хладнокровное, спокойное презрение всяческой патриархальности, авторитетных, *привычных* условий, обратившихся в рутину. Титанические силы были в душе этого человека! <...> Внутренний, существенный пафос его есть отрицание всяческой патриархальности, авторитета, предания, существующих общественных условий и связей. Он сам, может, еще не сознавал этого — да и пора действительного творчества еще не наступила для него. Дело в том, что главное орудие всякого анализа и отрицания есть м ы с л ь , — а посмотри, какое у Лермонтова повсюдное присутствие твердой, определенной, резкой мысли — во всем, что ни писал он; заметь — мысли, а не чувств и созерцаний. Не отсюда ли происходит то, что он далеко уступает, как ты замечаешь, Пушкину — «в художественности, виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-мягком». В каждом стихотворении Лермонтова заметно, что он не обращает большого внимания на то, чтобы мысль его была высказана изящно — его занимает одна м ы с л ь , — и от этого у него часто такая стальная, острая прозаичность выражения. Да, пафос его, как ты совершенно справедливо говоришь, есть «с небом гордая вражда». Другими словами, отрицание духа и миросозерцания, выработанного средними веками, или, еще другими словами — пребывающего общественного устройства. Дух анализа, сомнения и отрицания, составляющих теперь характер современного движения,

есть не что иное, как тот диавол, демон — образ, в котором религиозное чувство воплотило различных врагов своей непосредственности. Не правда ли, что особенно важно, что фантазия Лермонтова с любовию лелеяла этот «могучий образ»; для него —

Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно...

В молодости он тоже на мгновение являлся Пушкину — но кроткая, нежная, святая душа Пушкина трепетала этого страшного духа, и он с тоскою говорил о печальных встречах с ним. Лермонтов смело взглянул ему прямо в глаза, сдружился с ним и сделал его царем своей фантазии, которая, как древний понтийский царь, питалась ядами; они не имели уже силы над ней — а служили ей пищей; она жила тем, что было бы смертию для многих (Байрона «Сон», VIII строфа, — который ты должен непременно прочесть)» (Белинский. Письма, т. 2. СПб., 1914, с. 416, 419—420). В свою очередь, Белинский отвечал на это: «Письмо твое о Пушкине и Лермонтове усладило меня. Мало чего читывал я умнее. Высказано плохо, но я понял, что хотел ты сказать. Совершенно согласен с тобою. Особенно поразили меня страх и боязнь Пушкина к демону: «Печальны были наши встречи». Именно отсюда и здесь его разница с Лермонтовым. <...> О Лермонтове согласен с тобою до последней йоты; о Пушкине еще надо потолковать» (*Белинский,* т. XII, с. 94).

ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА «ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

(стр. 303)

[1] Об этом см. примеч. 4 на с. 534 наст. изд.

[2] Цитата из «Евгения Онегина», гл. шестая, строфа XXXI.

[3] Цитата из «Евгения Онегина», гл. шестая, строфа XXXVI (дана в сокращении).

И. И. ПАНАЕВ

Иван Иванович Панаев (1812—1862) — писатель, журналист. Его повести, 30—50-х гг., вначале окрашенные романтическими тонами, а позднее близкие «натуральной школе», пользовались большим успехом. В 1839—1841 гг., когда Лермонтов постоянно

печатался в «Отечественных записках», Панаев был деятельным сотрудником этого журнала.

Его «Литературные воспоминания» содержат богатейший материал для истории русской литературы.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

(стр. 305)

[1] В последние годы жизни, продолжая посещать балы, в том числе роскошные празднества Воронцовых-Дашковых, Лермонтов с большей охотой бывал и в литературных салонах В. Ф. Одоевского, Карамзиных, отличавшихся от светских салонов тем, что собирали людей, увлеченных литературой, наукой, приезжавших туда не для пустой светской болтовни.

[2] Дом писателя Владимира Федоровича Одоевского занимал особое место в культурной жизни Петербурга. Человек разносторонней образованности, удивительно трудолюбивый, Одоевский помимо литературы углубленно занимался эстетикой, педагогикой, историей и теорией музыки.

Многие современники называют Лермонтова среди постоянных посетителей салона Одоевского.

[3] С Краевским Лермонтова познакомил С. А. Раевский.

[4] А. Я. Панаева встретила Лермонтова тоже у Краевского в 1840 г. «Я видела Лермонтова один только раз — перед его отъездом на Кавказ — в кабинете моего зятя, А. А. Краевского, к которому он пришел проститься. Лермонтов предложил мне передать письмо моему брату, служившему на Кавказе. У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз.

Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, переворошил у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась» (П а н а е в а А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 86).

[5] Панаев не понял причину раздражения Лермонтова: поэт сам отдал поэму в «Современник». 15 февраля 1838 г. он писал М. А. Лопухиной: «Я был у Жуковского и отнес ему, по его просьбе, «Тамбовскую казначейшу»; он повез ее Вяземскому, чтобы прочесть вместе; сие им очень понравилось — и сие будет напечатано в ближайшем номере «Современника» (*Лермонтов,* т. 4, с. 408). Недовольство Лермонтова, вероятно, было вызвано цензурными искажениями, с которыми была напечатана поэма.

[6] Это было 18 февраля 1840 г.

[7] Просматривая корректуру статьи А. Н. Пыпина, где цитировались эти воспоминания, Краевский сделал на полях следующее

замечание: «Это вздор. Я привез Белинского к Лермонтову в Ордонанс-гауз, куда он был переведен с Литейной гауптвахты за то, что допустил к себе визит Баранта, обещав продолжить с ним дуэль за границей. Тут только Белинский познакомился с Лермонтовым. Был длинный разговор. Потом вскоре Лермонтов был сослан в последний раз, и Белинский не видел его ни у меня, ни в Ордонанс-гаузе» (*ЛН,* т. 45—46, с. 370). Однако свидетельство Панаева подтверждается некоторыми деталями письма Белинского, где описывается эта встреча (см. с. 301 наст. изд.). Если бы это была единственная встреча Белинского с Лермонтовым, даже не считая неудачного знакомства в Пятигорске в 1837 г. (см. с. 250—251 наст. изд.), Белинский не мог бы, например, сказать, что он «первый раз поразговорился с ним по душам». Про присутствие при разговоре Краевского он также не упоминает, а разговор в этом случае должен бы был быть общим.

[8] Лермонтов находился в ордонанс-гаузе на Садовой улице с 11 по 17 марта 1840 г., затем был переведен на Арсенальную гауптвахту на Литейном проспекте, но после свидания с Барантом 22 марта опять возвращен в ордонанс-гауз.

[9] Ср. с письмом Белинского к Боткину (см. с. 301).

А. А. КРАЕВСКИЙ

Андрей Александрович Краевский (1810—1889) — один из деятельнейших журналистов и издателей XIX в. Он был помощником Пушкина в издании «Современника», в разные годы был редактором газет «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», «Санкт-Петербургские ведомости», «Литературная газета», и др. С 1839 г. Краевский издавал «Отечественные записки», к участию в которых привлек и Лермонтова. Подавляющее большинство прижизненных публикаций Лермонтова осуществлено в «Отечественных записках».

С Лермонтовым Краевского познакомил С. А. Раевский.

Впоследствии Краевский получил известность как журналист-делец, но в годы сотрудничества Лермонтова в «Отечественных записках» Краевский старался сделать свой журнал органом передовой русской мысли, привлекая к участию в нем многих прогрессивных писателей. Работа в «Современнике» сблизила его с писателями пушкинского круга. Именно через Краевского стихотворение «Смерть Поэта» стало известно В. А. Жуковскому, В. Ф. Одоевскому, П. А. Вяземскому.

До 1839 г. при содействии Краевского было опубликовано «Бородино» в «Современнике» и «Песня... про купца Калашникова» в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду».

Когда в 1840 г. финансовые дела журнала «Отечественные

записки» оказались в критическом положении, Лермонтов с группой других литераторов решили работать для журнала без гонорара (*РС,* 1900, № 5, с. 297).

С Кавказа Лермонтов присылал Краевскому свои новые стихи, между ними велась переписка, из которой уцелела только одна записка Лермонтова.

Своих воспоминаний о Лермонтове Краевский не записал, но в беседе с П. А. Висковатовым рассказал много интересных подробностей о литературных и журнальных планах Лермонтова, об интересе поэта к Востоку.

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе П. А. Висковатова)

(стр. 312)

[1] К этому месту текста П. А. Висковатов сделал следующее примечание: «Приводя слова Лермонтова, мы воспроизводим суть того, что передавал Краевский. Граф Соллогуб тоже не раз сообщал нам о планах Лермонтова относительно основания журнала. Он даже проектировал подробную программу его. В чем она состояла, Соллогуб пояснить не мог, утверждая, что не придавал «этим фантазиям» серьезного значения! На спрос мой об этих программах у Краевского Андрей Александрович отозвался: «Может быть! Лермонтов часто и много об этом говорил, но чтобы он подробно и обстоятельно на бумаге составлял свои проекты — этого не думаю» (*Висковатов,* с. 325).

[2] Об этом см. собственноручную запись А. А. Краевского на корректуре статьи А. Н. Пыпина о Лермонтове: «Отношения его <Лермонтова> к Вяземскому и Жуковскому были почтительно-холодны; а Жуковского он постоянно ругал за то, что он переводы иностранных поэтов выдавал как бы за собственные произведения, не обозначая, что это перевод» (*ЛН,* т. 45—46, с. 372). А. П. Елагина также отмечала после знакомства с поэтом «несочувствие к поэзии Жуковского» (*Висковатов,* с. 325).

М. Б. ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ

Михаил Борисович Лобанов-Ростовский (1819—1858), князь, происходил из богатой и знатной семьи. Он был знаком с Лермонтовым по «кружку шестнадцати» (возможно, и сам состоял членом кружка). Особенно теплые дружеские отношения связывали его с Кс. Браницким. Он приехал в Петербург после окончания Московского университета, поступил на службу. Позднее вспоминал свою петербургскую жизнь как пустое и бесцельно растраченное время. С годами у него сложились ярко выраженные оппозиционные

настроения. Подав в отставку, вступил в военную службу на Кавказе, оттуда послал вел. кн. Александру Николаевичу анонимную записку, в которой правдиво обрисовал положение на Кавказе, состояние Кавказской армии. Записка произвела ошеломляющее впечатление на Николая I. В Париже Лобанов-Ростовский посетил Герцена, и тот, вначале отнесясь к нему иронически, затем охарактеризовал его как «человека благородного, со всей широтой и богатством русской натуры» (*Герцен,* т. 24, с. 68). Возможно, Лобанов готов был взять на себя какие-либо поручения по установлению связей Герцена с Россией или даже говорил о своем желании присоединиться к политической эмиграции.

На Кавказе он занялся серьезным изучением мюридизма, для чего учил восточные языки.

В своей книге о Лермонтове Э. Г. Герштейн причисляет воспоминания Лобанова о поэте к самым значительным. «Лобанов убедительно указывает на политическую подоплеку последней ссылки Лермонтова на Кавказ», — отмечает она (с. 166). Интересно также свидетельство о том, что Лермонтову покровительствовала Е. М. Хитрово. Ни о ее роли в жизни Лермонтова, ни вообще об их знакомстве из других источников ничего не известно. Преданный друг Пушкина, Е. М. Хитрово хорошо знала В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, И. И. Козлова, А. И. Тургенева и Карамзиных. Она увидела в Лермонтове преемника Пушкина и, конечно, должна была с симпатией и сочувствием отнестись к молодому поэту.

ИЗ ЗАПИСОК

(стр. 314)

[1] Об А. Ф. Тиране см. на с. 529—530 наст. изд.

К. В. БРАНИЦКИЙ

Ксаверий Владиславович Корчак-Браницкий (1814?—1879), граф, познакомился с Лермонтовым в л.-гв. Гусарском полку. В своей книге «Славянские нации» он писал: «Что касается меня, поляка, я рано стал испытывать глубокую ненависть к императору Николаю, неумолимое бешенство которого обрушивалось на кровавые останки моей страны». Николаю I была хорошо известна оппозиционность Браницкого. Для того чтобы не упускать его из виду, император назначил его адъютантом Паскевича. «Ум его отвратительно направлен, — отзывался он о Браницком. — Это молодая Франция, привитая к старой Польше. Теперь я буду иметь его под рукой. Если он попадется хоть в малейшем проступке, его участь будет тут же решена. Я его зашлю в такие места, где и вороны не соберут его костей».

Но придворной службе Браницкий предпочитал службу на Кавказе, а в 1845 г. ему удалось под предлогом болезни уехать во Францию. В 1854 г. он принял французское подданство, т. е. сделался политическим эмигрантом. Деятельность его в эмиграции в основном заключалась в финансировании действий польских эмигрантов, так как он наследовал огромное состояние. В конце жизни Браницкий вступил во французскую консервативную партию.

Воспоминания Кс. Браницкого — самое содержательное свидетельство об оппозиционном «кружке шестнадцати», членом которого он был, и участии в нем Лермонтова. Боязнь скомпрометировать его членов заставила Браницкого воздержаться от упоминания бывших еще в живых членов кружка (кроме П. А. Валуева, положение которого было достаточно прочным — с 1861 г. он был министром внутренних дел), поэтому им названы только десять человек, а уже после выхода книги «Славянские нации» («Les nationalités slaves». Paris, 1879) в письме к тому же И. С. Гагарину, в форме писем к которому написана книга, назвал еще одного члена — Б. Д. Голицына.

О «кружке шестнадцати» см.: *Герштейн,* с. 129—217 и статью в *ЛЭ*; об И. С. Гагарине — см. на с. 603—604 наст. изд.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ «СЛАВЯНСКИЕ НАЦИИ»

(стр. 315)

[1] А. Н. Долгорукий погиб на дуэли с Яшвилем (см.: *РА,* 1900, № 12, с. 620).

С. Т. АКСАКОВ

Сергей Тимофеевич Аксаков (1791—1859) — известный русский писатель, автор «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука». В своих воспоминаниях, рассказывая о встречах и переписке с Гоголем, Аксаков дает широкую картину русской литературной жизни.

Описание именинного обеда Гоголя 9 мая 1840 г. расширяет наше представление о круге знакомств Лермонтова в среде московских литераторов. Особенно интересно свидетельство о личной встрече Лермонтова с Гоголем. Воспоминания Аксакова дополняются записями в дневнике А. И. Тургенева, который дает более полный перечень собравшихся: «9 мая... К Свербеевой. С ней у крыльца. Там и Павлов. Оттуда к Лермонтову, не застал, домой и к Гоголю на Девичье Поле у Погодина: там уже la jeune Russie <молодая Россия> съехалась: это напомнило мне и *наш поддевиченский Арзамас* при Павле I. Мы пошли в сад обедать. Стол накрыт

в саду: Лермонт<ов>, к. Вязем<ский>, Баратынский, Сверб<еевы>, Хомяков, Самарин, актер Щепкин, Орлов, Попов, Хотяева и пр. Глинки; веселый обед. С Лермонт<овым> о Барантах, о кн. Долгорук<ове> и о Бахерахтше <Терезе Бахерахт>. Кн. Долгоруков здесь и скрывается от публики. Жженка — и разговор о религии. В 9 час. разъехались. Приехал и Чадаев...»

Из следующей записи в дневнике А. И. Тургенева известно и о второй встрече Лермонтова с Гоголем: «10 мая... Вечер у Сверб<еевой> с гр. Зубовой. Павлова: подарил ей лиру. Очень довольна. Лермонтов и Гоголь. До 2 часов...» (*ЛН,* т. 45—46, с. 419—420).

Высказывались предположения и о других встречах поэта с Гоголем. См.: Гаско М. По следам одного сотрудничества. — Радуга, 1972, № 3, с. 161—171; Он же. Лермонтов рисует Гоголя. — Правда Украины, 1977, 3 марта.

Лермонтов и его творчество были еще раньше предметом обсуждения в переписке Гоголя с Аксаковым. В середине 1840 г. Аксаков писал Гоголю: «Я прочел «Героя нашего времени» в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова Ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца» (Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. М., 1960, с. 43). Свое отношение к прозе Лермонтова Гоголь высказал также в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубления в действительность жизни; готовился будущий великий живописец русского быта» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 8. Л., 1952, с. 402).

ИЗ «ИСТОРИИ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ»

(стр. 317)

[1] Константин Сергеевич Аксаков, сын мемуариста.

А. ЧАРЫКОВ

А. Чарыков — офицер 20-й артиллерийской бригады. Участник военных действий на Кавказе. Встречался с Лермонтовым в Ставрополе и Пятигорске в 1840—1841 гг.

К ВОСПОМИНАНИЯМ О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ

(стр. 318)

[1] Случай, рассказанный Чарыковым, не относится к ставропольскому балу. Ростопчина в том году не была на Кавказе.

[2] Ипполит Александрович *Вревский* учился в юнкерской школе одновременно с Лермонтовым. После окончания Военной академии служил на Кавказе. В 1840 г. участвовал в экспедиции в Малую и Большую Чечню, осенью и зимой 1840—1841 гг. жил в Ставрополе, где у него бывал и Лермонтов. А. П. Беляев в своих воспоминаниях называет Вревского «одним из образованнейших и умнейших людей своего времени» (Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882, с. 434, 499—500).

О вечерах в доме И. А. Вревского см. также воспоминания А. Д. Есакова (с. 333).

[3] Николай Павлович *Слепцов* был зачислен в юнкерскую школу 16 сентября 1834 г., за два месяца до окончания ее Лермонтовым. 20 декабря 1840 г. Слепцов был назначен адъютантом А. С. Траскина и находился в Ставрополе. Здесь он мог познакомиться с поэтом.

[4] О другой математической игре, которой Лермонтов также развлекал товарищей-офицеров, рассказывал Е. И. Майдель. Об этом см.: Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. 2. СПб., 1893, с. 152—154.

Р. И. ДОРОХОВ

Руфин Иванович Дорохов (1801—1852) — сын героя Отечественной войны 1812 г. И. С. Дорохова. Участник кавказской войны, он был известен современникам своим удальством, многочисленными дуэлями и громкими историями. Несколько раз он был разжалован в солдаты, но опять получал офицерский чин благодаря храбрости и хладнокровию в бою. А. С. Пушкин упоминает о своем знакомстве с Дороховым и встрече с ним во Владикавказе («Путешествие в Арзрум»). К нему обращено его стихотворение «Счастлив ты в прелестных дурах...», см.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 6. Л., 1978, с. 557. Он явился прототипом образа Долохова в «Войне и мире» Л. Н. Толстого.

До публикации письма Дорохова и статьи о нем А. В. Дружинина, хотя и было известно о его встречах с поэтом, характер их отношений был не вполне ясен. Теперь очевидно, что именно Дорохова имел в виду Дружинин в своих «Письмах иногороднего подписчика». В одном из них он писал: «Во время моей последней поездки я познакомился с одним человеком, который коротко знал и любил покойного Лермонтова, странствовал и сражался вместе с ним, следил за всеми событиями его жизни и хранит о нем самое поэтическое, нежное воспоминание. Характер знаменитого нашего поэта хорошо известен, но немногие из русских читателей знают, что Лермонтов при всей своей раздражительности и резкости был истинно предан малому числу

своих друзей, а в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности. Оттого-то до сих пор в отдаленных краях России вы еще встретите людей, которые говорят о нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему принадлежавшие, более чем драгоценность. С одним из таких людей меня свела судьба на короткое время, и я провел много приятных часов, слушая подробности о жизни, делах и понятиях человека, о котором я имел во многих отношениях самое превратное понятие. Наши разговоры происходили в виду скал и утесов, в виду тех самых снеговых гор, которые так любил великий поэт, угасший безвременно. <...> Приятель мой долго жил на Кавказе и понимал произведения Лермонтова так, как немногие их понимают: он мог рассказать происхождение почти каждого из стихотворений, событие, подавшее к нему повод, расположение духа, с которым автор «Пророка» брался за перо. Нечего и говорить, что он знал наизусть каждую строчку своего бывшего друга и сожителя» (Библиотека для чтения, 1852, № 1, отд. 7, с. 119—120).

Дорохов и Лермонтов вместе служили в отряде А. В. Галафеева в 1840 г., где они и познакомились.

Летом 1841 г. Дорохов был в Пятигорске и, возможно, присутствовал при дуэли Лермонтова.

«Когда был убит Лермонтов, — рассказывает декабрист А. С. Гангеблов, — священник отказывался было его хоронить, как умершего без покаяния. Все друзья покойника приняли живейшее участие в этом деле и старались смягчить строгость приговора... Дорохов горячился больше всех, просил, грозил, и наконец терпение его лопнуло: он как буря накинулся на бедного священника и непременно бы избил его, если б не был насильно удержан князем Васильчиковым, Львом Пушкиным, князем Трубецким и др. (Гангеблов А. С. Воспоминания декабриста. М., 1888, с. 182—183).

ПИСЬМО К М. В. ЮЗЕФОВИЧУ

(стр. 321)

Впервые в публикации С. К. Кравченко в журн. «Радянське літературознавство», 1971, № 9, с. 85, где воспроизведено по рукописи, хранящейся в ЦДІА УРСР, ф. 873, оп. 1., од. сб. 57, с. 5—6. Печатается по этому изд.

[1] Михаил Владимирович *Юзефович,* офицер, принимавший участие в военных действиях на Кавказе, адъютант Н. Н. Раевского (младшего), друг Л. С. Пушкина. Впоследствии известный археолог.

[2] Л. С. Пушкин получил чин майора.

[3] Об этом отряде Лермонтов писал: «...я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков — разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случиться с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их раскусить» (*Лермонтов,* т. 4, с. 423). Об этом отряде см. также воспоминания К. Х. Мамацева и *ЛЭ,* с. 254.

[4] В ответ на письмо Юзефовича, обеспокоенного письмом Дорохова, Л. С. Пушкин писал: «Опасения его <т. е. Дорохова> насчет Лермонтова, принявшего его командование, ни на чем не основано; командование же самое пустое, вскоре уничтоженное, а учрежденное единственно для предлога к представлению» (Радянське літературознавство, 1971, № 9, с. 86).

А. В. ДРУЖИНИН

Александр Васильевич Дружинин (1824—1864) — писатель и критик. Вначале был связан с «натуральной школой», со временем стал одним из идеологов теории «искусства для искусства». Статья Дружинина о Лермонтове представляет несомненную ценность. При сопоставлении Лермонтова с Байроном он вполне обоснованно оспаривает мнение С. С. Дудышкина о подражательном характере творчества Лермонтова. Наибольший интерес в статье Дружинина представляет пересказ воспоминаний Р. И. Дорохова о поэте.

Подробный разбор статьи Дружинина см.: *Герштейн,* с. 218—240.

ИЗ СТАТЬИ «СОЧИНЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА»

(стр. 322)

[1] Речь идет об издании: Лермонтов М. Ю. Соч. (Приведенные в порядок и дополненные С. С. Дудышкиным). СПб., 1860.

[2] Дружинин пользуется датировками произведений Лермонтова по изданию Дудышкина, во многих случаях неточными. «Вид гор из степей Козлова» и «Кинжал» датируются 1838 г.

[3] Имеется в виду Руфин Иванович Дорохов (см. с. 582 наст. изд.).

[4] Эти альбомы, вероятно, исчезли после гибели Дорохова на Кавказе в 1852 г.

[5] Как отметила Э. Г. Герштейн, эти сведения подтверждают принадлежность Лермонтову дошедшего до нас в копии письма, в котором идет речь о предполагавшейся дуэли между автором письма и человеком, прославившимся «двадцатью поединками» (см.: *Лермонтов,* т. 4. с. 432, 520—521).

[6] Недооценка Дружининым юношеских стихотворений Лермонтова вызвана тем, что к 1860 г, большая часть их еще не была опубликована.

[7] Цитата из поэмы «Уланша»: «Идет наш пестрый эскадрон...»

[8] Сам Лермонтов писал об этих годах как об исключительно тяжелых в своей жизни.

А. Д. ЕСАКОВ

Александр Дмитриевич Есаков, прапорщик 20-й артиллерийской бригады, участвовал вместе с Лермонтовым в экспедиции в Малую Чечню в октябре—ноябре 1840 г.; встречался с Лермонтовым также в Ставрополе зимой 1840/41 г.

Мемуары Есакова датированы 16 декабря 1884 г.

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ

(стр. 333)

Печатается в более полном виде, чем в изд. *Лермонтов в воспоминаниях, 1972* . Дополнение — по тексту журн. «Русская старина», 1885, № 2, с. 474—475.

[1] Об И. А. *Вревском* см. с. 582 наст. изд.

[2] Карл Карлович *Ламберт* — поручик Кавалергардского полка. В июне 1840 г. Лермонтов жил вместе с ним в Ставрополе, затем в июле они участвовали в экспедиции генерала Галафеева, в частности в сражении при Валерике. Лермонтов и Ламберт запечатлены в группе офицеров на рисунке в альбоме П. А. Урусова, изображающем привал по пути в крепость Темир-Хан-Шуру. За сражение 4 октября 1840 г. и Лермонтов и Ламберт отмечены в журнале военных действий как «отличившиеся храбростию и самоотвержением». Таким образом, Ламберт постоянно встречался с Лермонтовым с начала лета 1840 г. до отъезда поэта в отпуск в середине января 1841 г.

[3] О С. В. *Трубецком* см. с. 560—561 наст. изд.

[4] Лев Васильевич *Россильон* — подполковник гвардейского Генерального штаба, квартирмейстер 20-й пехотной дивизии. В 1840 г. участвовал в экспедиции в Чечню и часто встречался с поэтом. В походной палатке Россильона в июле 1840 г. Д. П. Пален нарисовал профильный портрет Лермонтова (об этом см.: *Висковатов,* с. 305). Между поэтом и Россильоном сложились неприязненные отношения. П. А. Висковатову он дал такую характеристику поэта:

«Лермонтов был неприятный, насмешливый человек и *хотел казаться* чем-то особенным. Он хвастал своею храбростью, как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею!

Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врезывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем *Лермонтовского отряда.* Длилось это не долго, впрочем, потому что Лермонтов нигде не мог усидеть, вечно рвался куда-то и ничего не доводил до конца. Когда я его видел на Сулаке, он был мне противен необычайною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука поэта, который носил он без эполет, что, впрочем, было на Кавказе в обычае. Гарцевал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на чеченские завалы. Чистое молодечество! — ибо кто же кидался на завалы верхом?! Мы над ним за это смеялись» (*Висковатов,* с. 304—305).

Россильона возмущало также то, что Лермонтов ходил небритый, ел из одного котла со своею командой, спал на голой земле, не понимая того, что Лермонтов искал полного взаимопонимания с людьми, которыми командовал, и не хотел для себя никаких привилегий.

[5] Имеется в виду портрет работы А. И. Клюндера. В настоящее время находится в *ИРЛИ*.

К. Х. МАМАЦЕВ

Константин Христофорович Мамацев (Мамацашвили; 1815 или 1818—1900) родился на Кавказе. Учился он в Павловском кадетском корпусе, откуда в 1837 г. был выпущен офицером. Военную службу начал на Кавказе. В начале 1840 г. подпоручик Мамацев был командирован в Чеченский отряд генерала А. В. Галафеева, куда в июне того же года прибыл Лермонтов, высланный из Петербурга за дуэль с Барантом.

К. Х. Мамацев принадлежал к передовой части русского офицерства, «был человеком незаурядных способностей и передовых взглядов, видным военачальником и крупным деятелем грузинской культуры» (Литературная Грузия, 1974, № 10, с. 83).

В своих неизданных записках Мамацев верно оценивает расстановку сил в журналистике: так, он отмечает особое значение «Московского телеграфа» и «Отечественных записок» под редакцией его бывшего учителя Краевского в противовес «прочим журналам, существовавшим прежде, как-то: «Библиотека для чтения» и тому

подобные, с отвратительно-подлою газетою («Северная) Пчела», скорее притупляли и извращали ум, чем развивали» (*ИРЛИ,* ф. 265, оп. 2, ед. хр. 1519, тетр. I).

Как явствует из записок Мамацева, в Тифлисе он часто видел А. А. Бестужева на обедах у генерала Козлянинова. По его словам, «он был знаком с другими декабристами, переведенными также солдатами из Сибири на Кавказ, например: два брата Беляевы, Назимов и Лихарев, — люди эти пользовались всеобщим уважением за свой ум и высокую нравственность» (там же, тетрадь II).

Общность взглядов и дружеские отношения связывали его с грузинскими шестидесятниками и народниками, в частности с Акакием Церетели.

Воспоминания Мамацева составили 18 тетрадей. Тетради 5—18 были обнаружены И. Л. Андрониковым и представлены для публикации В. А. Мануйлову. Страницы, относящиеся к Лермонтову, опубликованы им в «Трудах Ленинградского библиотечного института» (1957, т. 2, с. 241—249). Тетради 1—4 недавно обнаружены В. С. Шадури у потомков Мамацева (см. его статью: «Новое о Константине Мамацашвили, однополчанине М. Ю. Лермонтова». — Литературная Грузия, 1974, № 10, с. 81—85). Наиболее полно воспоминания Мамацева о Лермонтове опубликованы В. А. Потто, который пользовался не только записками Мамацева, но и его устными рассказами (Кавказ, 1897, 5 сентября, № 235). Л. Н. Назарова обратила внимание на то, что отношение Мамацева к Лермонтову в его записках гораздо сдержаннее, чем в более позднем пересказе Потто. По мнению исследовательницы, это явилось следствием общего отношения кадровых артиллеристов к петербургским гвардейским офицерам, приезжавшим на Кавказ на недолгий срок. С течением времени эти соображения потеряли значение для Мамацева, и он уже с другим чувством стал вспоминать о своих встречах с Лермонтовым (см.: Назарова Л. Н. Однополчанин М. Ю. Лермонтова. — Литературная Осетия, 1977, № 49, с. 104—106). Маловероятным представляется свидетельство сына мемуариста о том, что в их семье хранились письма Лермонтова к его отцу 1840 г., но в начале века сгорели. «Ни числа их, ни содержания В. К. Мамацев не знал» (*ЛН,* т. 45-46, с. 47).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(В пересказе В. А. Потто)

(стр. 335)

[1] Имеется в виду командование Лермонтова особым отрядом «охотников». Об этом см. с. 584, 586 наст. изд.

Я. И. КОСТЕНЕЦКИЙ

Яков Иванович Костенецкий (1811—1885) происходил из украинской дворянской семьи. Окончив в 1827 г. Полтавскую гимназию, он переехал в Москву и в августе 1828 г. поступил на нравственно-политическое (юридическое) отделение Московского университета, где примкнул к передовому студенчеству и близко сошелся с Огаревым и Герценом. «Чистые, благородные юноши», — писал Герцен о Костенецком и его друзьях (*Герцен,* т. VIII, с. 426). В 1832 г. за участие в антиправительственном Сунгуровском кружке Костенецкий был лишен дворянства и сослан рядовым на Кавказ в Куринский полк. В 1839 г. за отличие при штурме крепости Ахульго он был произведен в прапорщики, а затем генерал П. Х. Граббе взял его к себе адъютантом. В 1842 г. Костенецкий был уволен в отставку и поселился у себя на родине в Черниговской губ., где занимался хозяйством и литературным трудом. «Воспоминания из моей студенческой жизни», частью которых являются записки Костенецкого о встречах с Лермонтовым, были написаны в 1872 г.

В мемуарах Костенецкого сказано, что в студенческие годы Герцен, Огарев и А. Д. Закревский, друг Лермонтова, составляли триумвират и были неразлучны (*РА,* 1887, кн. 1, с. 114). Однако указанное свидетельство Костенецкого, который писал сорок лет спустя после того, как события совершились, не может быть безоговорочно принято на веру. Ведь имя А. Д. Закревского, помимо этого беглого упоминания мемуариста, не встречается ни в литературном наследии Герцена, ни в материалах о нем. В «Былом и думах», где Герцен подробно писал о своих университетских друзьях, Закревский не упомянут. По-видимому, Костенецкий преувеличил близость Закревского к Герцену и Огареву или просто ошибся.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(стр. 339)

[1] Лермонтов поступил на нравственно-политическое отделение Московского университета 1 сентября 1830 г.

[2] Встреча Лермонтова с Костенецким в Ставрополе относится к декабрю 1840 г.

[3] Недружелюбный характер отношений между Лермонтовым и мемуаристом объясняются не только склонностью поэта подшучивать над окружающими, но и неумением Костенецкого глубже вникнуть в противоречивую натуру Лермонтова. Утверждение Костенецкого, что Лермонтов не имел друзей, опровергается другими мемуаристами (см. об этом статью А. В. Дружинина на с. 322, 328—329 наст. изд.).

П. П. ВЯЗЕМСКИЙ

Павел Петрович Вяземский (1820—1888) — сын поэта П. А. Вяземского. Он был женат с 1852 г. на М. А. Бек (урожд. Столыпиной), сестре А. А. Столыпина-Монго. Знакомство мемуариста с Лермонтовым относится ко времени его юности — он был тогда студентом Петербургского университета. Встречался с ним и в 1833—1841 гг. у Карамзиных и Валуевых. Верноподданнический образ мыслей, столь характерный для князя П. П. Вяземского-чиновника, давал себя знать и в его студенческие годы; этим объясняется сдержанное отношение к нему Лермонтова.

П. П. Вяземский знал о Лермонтове значительно больше того, о чем сообщил в своих мемуарах. Не оставив развернутых воспоминаний о поэте, он вывел Лермонтова в качестве одного из действующих лиц в «Письмах и записках» Омэр де Гелль, являющихся, по мнению исследователей, литературной мистификацией. Подробнее об этом см. статьи Л. Каплана и П. Попова (*ЛН,* т. 45-46, с. 761—775).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(стр. 342)

[1] Имеются в виду три сестры Оболенские: Екатерина Васильевна, Софья Васильевна, Наталья Васильевна.

[2] Автограф стихотворения Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...», подаренный княгине Юсуповой П. П. Вяземским, находится в настоящее время в *ИРЛИ.*

[3] Лицемерие Николая I, его двуличное поведение при получении известия о гибели Лермонтова заставили некоторых современников сомневаться в том, что царь действительно произнес эту фразу. Рассказ П. И. Бартенева окончательно убеждает в правдивости этого утверждения: «Государь, по окончании литургии, войдя во внутренние покои дворца кушать чай со своими, громко сказал: «Получено известие, что Лермонтов убит на поединке, — собаке — собачья смерть!» Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна Веймарская, эта жемчужина семьи (la perle de famille, как называл ее граф С. Р. Воронцов), вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре своей (на десять лет его старше) и, пошедши назад в комнату перед церковью, где еще оставались бывшие у богослужения лица, сказал: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит» (*РА,* 1911, № 9, с. 160). Впервые фраза «Собаке — собачья смерть», сказанная Николаем I при получении известия о гибели Лермонтова, была напечатана за границей, в анонимном предисловии к первому полному переводу «Героя нашего времени» на английский язык (1854).

А. П. АРАПОВА

Н. Н. ПУШКИНА-ЛАНСКАЯ
(стр. 343)

Александра Петровна Арапова (1845—1919) — дочь Натальи Николаевны Пушкиной от ее брака с П. П. Ланским.

Имя Лермонтова — автора стихотворения «Смерть Поэта» — было знакомо Н. Н. Пушкиной уже через несколько дней после смерти Пушкина. С. Н. Карамзина 10 февраля 1837 г. писала брату Андрею: «Мещерский понес эти стихи Александрине Гончаровой, которая попросила их для сестры, жаждущей прочесть все, что касается ее мужа, жаждущей говорить о нем, обвинять себя и плакать» (Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, с. 175). Личное знакомство Н. Н. Пушкиной с Лермонтовым произошло в салоне Карамзиных не ранее января 1839 г., когда Наталья Николаевна вернулась из имения Гончаровых (Полотняный завод) в Петербург.

В. А. СОЛЛОГУБ

Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882), граф, известный беллетрист 30—40-х гг., познакомился с Лермонтовым, видимо, в 1839 г. у Карамзиных и затем часто встречался с ним с Петербурге. Его первые прозаические вещи пользовались успехом и заслужили одобрительные отзывы В. Г. Белинского, но в 1860-е гг. его уже называли забытым писателем, и, наверное, поэтому он стал утверждать, что никогда серьезно литературой не занимался, а писал только «по случаю».

Первый вариант воспоминаний Соллогуба о Лермонтове был опубликован в 1865 г. в *РА*; в следующем году он вышел отдельной книгой. После смерти писателя в 1886 г. в *ИВ* появился расширенный вариант воспоминаний, где были добавлены эпизоды на балу у Воронцовых-Дашковых и на прощальном вечере у Карамзиных и некоторые др.

По свидетельству Висковатова, который дважды записывал рассказы Соллогуба о Лермонтове, «граф его терпеть не мог и был склонен умалять его талант. Хваля его, он делал уступку общественному мнению, но тут же всегда прибавлял что-нибудь, ясно свидетельствовавшее, что он в душе досадовал на славу, которую приобрел себе поэт... «Он, как и я, были только наездниками на русском Парнасе. Ему посчастливилось больше меня, может быть, потому, что он вовремя умер, а я имел глупость остаться жить, что, быть может, очень приятно для меня, но не выгодно для моей славы» (цит. по кн.: *Висковатов,* с. 446).

Неприязнь Соллогуба к Лермонтову проявилась и в письме его к П. В. Шумахеру от 7 марта 1874 г.: «Лермонтов написал прекрасные стихи в этом смысле <видимо, «Опять народные витии...»> и не посмел их напечатать. Он был человек бесхарактерный и жертвовал своим убеждением в угоду нашей грамотной челяди» (Щукинский сб. М., 1912, с. 199).

В 1840 г. в «Отечественных записках» появилась повесть Соллогуба «Большой свет», где Лермонтов был выведен под именем Леонина, в образе армейского офицера, который всеми силами старается втереться в великосветское общество, но играет там самую незавидную роль.

Сам Лермонтов еще в конце 1838 г. писал в письме М. А. Лопухиной о своем положении в свете: «...я каждый день езжу на балы: я пустился в *большой* свет; в течение месяца на меня была мода, меня буквально разрывали. <...> Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как величайшей победой. <...> Было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов были для меня закрыты; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав...»

Может быть, Лермонтов когда-нибудь по-приятельски рассказывал Соллогубу о своих неудачных попытках перед первой ссылкой войти в светское общество, и тот воспользовался этим, сделав вид, что ничего в этом отношении не изменилось. «...этот новый опыт принес мне пользу, — пишет поэт в этом же письме, — потому что дал мне в руки оружие против этого общества, и если оно когда-нибудь станет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), то у меня по крайней мере найдется средство отомстить...» (*Лермонтов,* т. 4. с. 413—414). Но когда повесть Соллогуба появилась в печати, Лермонтов счел более разумным не принимать выпад Соллогуба на свой счет, тем более что общие знакомые или не поняли намеков Соллогуба, или предпочли держаться той же политики. Краевский напечатал ее в своем журнале, Белинский отозвался о ней настолько положительно, что это дало повод многим советским исследователям утверждать, что в повести Соллогуба и нет ничего обидного для Лермонтова (см.: Заборова Р. Б. Материалы о М. Ю. Лермонтове в фонде В. Ф. Одоевского. — Труды Публичной б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1958, т. 5(8), с. 185—199, и в особенности: Райфман П. С. Стихотворение Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен...» и повесть Соллогуба «Большой свет». — Литература в школе, 1958, № 3, с. 94—95).

В литературных кругах разговоры об антилермонтовской направленности повести велись сначала как бы шепотом, но в 1862 г.

А. А. Григорьев уже писал: «Как гласят никому уже не секретные литературные преданья, в фигуре Леонина довольно ловко выставлена комическая сторона великосветских стремлений поэта» (Время, 1862, № 12, с. 34).

После опубликования повести Лермонтов и Соллогуб продолжали встречаться в обществе. По свидетельству А. Н. Струговщикова, поэт и сам приезжал к Соллогубу, а тот посетил его на Арсенальной гауптвахте, когда Лермонтов был арестован за дуэль с Барантом. Соллогуб собирал списки произведений Лермонтова и некоторые издал после его смерти в сборнике «Вчера и сегодня» («Штосс», «Ашик-Кериб», «Я хочу рассказать вам...», «Волшебные звуки», «Слышу ли голос твой...» и др.).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(стр. 346)

[1] Несколько рисунков, сделанных Г. Г. Гагариным во время поездки в Казань, послужили толчком к замыслу книги, но в основном писатель и художник работали одновременно. Об этом подробнее см. в статье: Савинов А. Н. Лермонтов и художник Г. Г. Гагарин. — *ЛН,* т. 45-46, с. 463. «Аптекарша» впервые появилась в печати в сб.: Русская беседа. Собр. соч. русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина, т. 2. СПб., 1841.

[2] О журнальных планах Лермонтова см.. также воспоминания А. А. Краевского в пересказе П. А. Висковатова на с. 313 наст. изд.

[3] См. о ней в воспоминаниях И. С. Тургенева на с. 296 наст. изд.

[4] Соллогуб женился на Софье Михайловне Виельгорской 13 ноября 1840 г. Исходя из этого разговор Лермонтова с Соллогубом об издании журнала происходил раньше. Между тем, по утверждению других мемуаристов, о плане издания журнала Лермонтов рассказывал друзьям лишь в 1841 г., во время своего последнего приезда в Петербург.

[5] Висковатову Соллогуб несколько иначе рассказывал об этом эпизоде в 1877 г.: «Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою, написал стихотворение «Тучки небесные, вечные странники!..». Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез...» К этому

месту воспоминаний Соллогуба Висковатов сделал следующее примечание: «Самый вечер у Карамзиных он описывает как бы состоявшимся в 1841 г., в последний приезд Лермонтова, что неверно. Мне он говорил: «Я хорошо помню Михаила Юрьевича, стоявшего в амбразуре окна и глядевшего вдаль. Лицо его было бледно и выражало необычайную грусть — я в первый раз тогда заметил на нем это выражение и, признаюсь, не верил в его искренность» (*Висковатов,* с. 300—301). «Демона» Лермонтов читал у Карамзиных еще в 1838 г. В 1840 г., перед отъездом, он, конечно, читал «Тучи». Возможно, С. Н. Карамзина в одно из посещений Соллогуба и восхищалась отрывком «На воздушном океане...», но это было намного раньше.

[6] О предчувствиях Лермонтова перед последним отъездом из Петербурга в 1841 г. известен рассказ А. М. Веневитиновой, дочери М. Ю. Виельгорского, записанный П. А. Висковатовым: «По свидетельству многих очевидцев, Лермонтов во время прощального ужина был чрезвычайно грустен и говорил о близкой, ожидавшей его смерти. За несколько дней перед этим Лермонтов с кем-то из товарищей посетил известную тогда в Петербурге ворожею, жившую у Пяти Углов и предсказавшую смерть Пушкина от «белого человека»; звали ее Александра Филипповна *, почему она и носила прозвище «Александра Македонского», после чьей-то неудачной остроты, сопоставившей ее с Александром, сыном Филиппа Македонского. Лермонтов, выслушав, что гадальщица сказала его товарищу, с своей стороны, спросил: будет ли он выпущен в отставку и останется ли в Петербурге? В ответ он услышал, что в Петербурге ему вообще больше не бывать, не бывать и отставки от службы, а что ожидает его другая отставка, «после коей уж ни о чем просить не станешь». Лермонтов очень этому смеялся, тем более что вечером того же дня получил отсрочку отпуска и опять возмечтал о вероятии отставки. «Уж если дают отсрочку за отсрочкой, то и совсем выпустят», — говорил он. Но когда нежданно пришел приказ поэту ехать, он был сильно поражен. Припомнилось ему «предсказание» (*Висковатов,* с. 332—333).

[7] Такого рисунка Лермонтова не сохранилось.

---

* Имеется в виду немка-гадалка Александра Филипповна Кирхгоф, которая упоминается в письмах и дневниках современников Пушкина и Лермонтова.

[8] Французский перевод стихотворения «Е. М. Хитровой» («Вам холод света незнаком...»), о котором говорит Соллогуб, неизвестен. Русский текст его за подписью одного Соллогуба был опубликован в «Отечественных записках» (1841, № 2, отд. 3, с. 251).

К. А. БОРОЗДИН

Корнилий Александрович Бороздин и его старший брат Николай учились в Петропавловском училище, куда были помещены для подготовки к поступлению в Училище правоведения. Оба брата были определены в пансион Адриана Тимофеевича Крылова, учителя русской словесности, о котором Бороздин пишет в своих воспоминаниях. Позднее Бороздин закончил Московский университет и служил в Симбирске, Ярославле и Петербурге. С 1854 г. он переезжает на Кавказ, где знакомится с Николаем Петровичем Колюбакиным.

В своей работе «Упразднение двух автономий» он писал о Колюбакине как прототипе Грушницкого (*ИВ,* 1885, № 1, с. 41).

Рукопись воспоминаний Бороздина, сохранившаяся в архиве С. Н. Шубинского, редактора «Исторического вестника», не имеет подписи, и долгое время автором ошибочно считался И. П. Забелла. В статье Л. И. Бройтман «Новые сведения о последнем приезде Лермонтова в Петербург в 1841 г.» (Русская литература, 1987, № 3, с. 140—145) аргументированно доказывается принадлежность их К. А. Бороздину.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(стр. 350)

Печатается по рукописи: *ГПБ,* ф. 874, № 30.

[1] Воспоминания Бороздина интересно сопоставить с заметкой «Памяти Лермонтова», подписанной инициалами «Н. Кр.» (Новое время, 1910, 24 марта/6 апреля, № 12224, с. 5). Автор ее в 1841г. (тогда ему было 11 лет) жил в доме матери К. А. Бороздина Татьяны Тимофеевны. В этой публикации не только подтверждается адрес дома, где жила Е. А. Арсеньева, но и описывается сам дом: «Е. А. Арсеньева жила в своем доме на Шпалерной улице. В 1841 году этот деревянный одноэтажный дом был в 9 окон по улице. Двор был просторный, но застроен, и через ворота на заду сообщался с домом Лобанова на Захарьинской улице. В доме Лобанова жила Татьяна Тимофеевна Бороздина, большая приятельница Е. А. Арсеньевой». Далее описывается трагический момент, когда Е. А. Арсеньева получила известие о гибели Лермонтова.

[2] В 1841 г. Е. А. Арсеньевой было 68 лет.

[3] Кивер с кистью Лермонтов никогда не носил. Это ошибка мемуариста.

[4] Лермонтов выехал из Петербурга 14 апреля 1841 г.

[5] Э. А. Шан-Гирей также утверждает, что Колюбакин — прототип Грушницкого.

Е. П. РОСТОПЧИНА

Знакомство Евдокии Петровны Ростопчиной (урожд. Сушковой; 1811—1858) с Лермонтовым относится к юношеским годам поэта, когда он жил и учился в Москве. Она была сестрой С. П. Сушкова, товарища Лермонтова по Московскому университетскому пансиону (он учился двумя классами ниже поэта) и кузиной Е. А. Сушковой. Лермонтов был увлечен будущей поэтессой, посвятил ей стихотворение «Крест на скале» (1830) и новогодний мадригал «Додо» (1831). Затем их жизненные пути разошлись, и только десять лет спустя, во время последнего приезда Лермонтова в столицу, происходит взаимное дружеское сближение. По воспоминаниям С. П. Сушкова, зимой 1841 г. Лермонтов и Ростопчина «сошлись в одном общем им дружественном семействе Екатерины Андреевны Карамзиной (вдовы нашего знаменитого историографа Николая Михайловича и родной сестры князя Петра Андреевича Вяземского), где они встречались по вечерам почти ежедневно. Весьма скоро они сблизились между собою, потому что между ними было много общего и сочувственного: оба были почти одних лет (Лермонтов немного моложе), оба очень умны и остроумны, оба поэты с юного возраста, оба принадлежали к одному кружку общества, имели общих друзей, и оба в своей еще недолгой жизни уже успели испытать разочарования и невзгоды, каждый из них в своем роде» (Ростопчина Е. П. Соч., т. 1. СПб., 1890, с. XIV. Из «Биографического очерка», написанного С. П. Сушковым).

По словам С. П. Сушкова, «в последние месяцы пребывания Лермонтова в Петербурге и его жизни, нередко сходились мы по утрам у моей сестры» (там же, с. XXI).

Уезжая на Кавказ, Лермонтов подарил Ростопчиной альбом, в который вписал посвященное ей стихотворение: «Я верю: под одной звездою...» (1841). В свою очередь, Ростопчина посвятила Лермонтову стихотворение «На дорогу!» (27 марта 1841). После отъезда поэта Ростопчина передала Е. А. Арсеньевой свой сборник «Стихотворения» (1841) с надписью: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому. Петербург, 20 апреля 1841».

28 июня 1841 г. Лермонтов писал бабушке: «Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас же по получении моего письма пошлите мне ее сюда, в Пятигорск» (*Лер-*

монтов, т 4, с. 429). Но исполнить эту просьбу Е. А. Арсеньева не успела. В настоящее время книга хранится в библиотеке ИРЛИ, куда она поступила из Лермонтовского музея.

Первым откликом Ростопчиной на гибель Лермонтова было ее стихотворение «Нашим будущим поэтам», написанное 22 августа 1841 г., через два дня после того, как до нее дошло известие о безвременной кончине поэта (Ростопчина Е. П. Стихотворения, т. II. СПб., 1856, с. 83).

В стихотворении «Пустой альбом», написанном в ноябре 1841 г., Ростопчина снова обратилась к трагическому событию и воссоздала живой облик поэта в дружеской обстановке салона Карамзиных:

Но лишь для нас, лишь в тесном круге нашем
Самим собой, веселым, остроумным,
Мечтательным и искренним он был.
Лишь нам одним он речью, чувства полной,
Передавал всю бешеную повесть
Младых годов, ряд пестрых приключений
Бывалых дней, и зреющие думы
Текущия поры... Но лишь меж нас,
На ужинах заветных, при заре
(В приюте том, где лишь *немногим* рад,
Разборчиво-приветливый хозяин),
Он отдыхал в беседе не притворной,
Он находил свободу и простор,
И кров как будто свой, и быт семейный...
О! живо помню я тот грустный вечер,
Когда его мы вместе провожали,
Когда ему желали дружно мы
Счастливый путь, счастливейший возврат:
Как он тогда предчувствием невольным
Нас испугал! Как нехотя, как скорбно
Прощался он!.. Как верно сердце в нем
Недоброе, тоскуя, предвещало!

(Там же, с. 96—97)

Памяти Лермонтова посвящено и стихотворение «Поэтический день» (1843). Принадлежность обоих поэтов к близкому социальному кругу обусловила и совпадение некоторых общественных оценок. Так, стихотворение Ростопчиной «Поклонникам Наполеона» (1840) и лермонтовское «Последнее новоселье» (1841) отмечены общностью оценки судеб революции во Франции, противопоставлением титанической личности Наполеона «крамольной», безнравственной Франции 1830-х гг.

Письмо Ростопчиной о Лермонтове написано в 1858 г. Оно адресовано французскому писателю Александру Дюма-отцу, посетившему Россию в середине 50-х гг.; в беседах с Ростопчиной Дюма расспрашивал о судьбе русских писателей. Впервые письмо было опубликовано в его книге «Le Caucase. Journal de voyages et romans»

(Paris, 1859, p. 147—150). Два года спустя появился первый русский перевод П. Роборовского в книге: Дюма Ал. Кавказ. Путешествия А. Дюма. Тифлис. 1861, с. 451—462.

ИЗ ПИСЬМА К АЛЕКСАНДРУ ДЮМА

(стр. 358)

[1] Лермонтов родился в ночь с 2(14) на 3(15) октября 1814 г.

[2] Дон-Жуан, Лара, Манфред — герои одноименных произведений Байрона.

[3] Речь идет о Е. А. Сушковой (см. ее воспоминания на с. 86—130 наст. изд.).

[4] Неустанные заботы бабушки поэта способствовали упрочению положения Лермонтова в кругу гвардейской «золотой» молодежи.

[5] 22 ноября 1834 г. Лермонтов был произведен в корнеты не егерского, а л.-гв. Гусарского полка.

[6] О прозвище Лермонтова см. примеч. 32 на с. 502 наст. изд.

[7] Речь идет об истории взаимоотношений Лермонтова и Е. А. Сушковой.

[8] Говоря об «обращении к императору», Ростопчина имеет в виду эпиграф стихотворения (об этом см. примеч. 40 на с. 502 наст. изд.).

[9] Приказ о переводе Лермонтова из Нижегородского драгунского полка, находившегося на Кавказе, в Гродненский гусарский полк, расквартированный в Селищенских казармах под Новгородом, был подписан 11 октября 1837 г.

[10] Имеется в виду начало повести Лермонтова «Штосс» («У графа В... был музыкальный вечер...»).

[11] Проводы Лермонтова у Карамзиных состоялись вечером 12 апреля 1841 г.

Фр. БОДЕНШТЕДТ

Фридрих Боденштедт (1819—1892) — немецкий писатель, поэт, переводчик. Его книги о России и переводы на немецкий язык Пушкина, Козлова, Тургенева и в особенности Лермонтова сыграли важную роль в деле ознакомления немецкого читателя с русской культурой.

Боденштедт приехал в Москву в 1840 г. в качестве учителя немецкого языка в дом князя М. Н. Голицына. В Москве он прожил три года и познакомился там в 1841 г. с Лермонтовым. Впоследствии Боденштедт посетил Крым и Кавказ, жил в Тифлисе.

В результате путешествий по России появляются его книги «Народы Кавказа и их борьба с Россией за свою независимость» (1848), «Тысяча и один день на Востоке» (1850) и «Песни Мирза

Шафи, с прологом Боденштедта» (1851). «Песни Мирза Шафи» принесли Боденштедту поэтическую славу, переведены на многие языки, и в последующих изданиях он приписал себе их авторство полностью.

О Лермонтове Боденштедт рассказал в двух своих книгах: в послесловии к двухтомнику переводов Лермонтова (M. Lermontoff's Poetischer Nachlaß... Berlin, 1852. Bd. 2) и в воспоминаниях (Bodenstedt Fr. Erinnerungen aus meinem Leben. Berlin, 1888, B. 1).

На русском языке отрывки из воспоминаний Боденштедта о Лермонтове появились в «Современнике» (1861, № 2, отд. 2, с. 317—336) в статье М. Л. Михайлова «Заметка о Лермонтове». После этого они неоднократно перепечатывались в популярных изданиях и в избранных сочинениях Лермонтова. М. Е. Салтыков-Щедрин высоко оценил воспоминания Боденштедта о Лермонтове, отмечая, что хотя его «мнение и не выясняет нам всего Лермонтова, но оно указывает, с какими требованиями следует приступать к характеристике этой личности» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч., т. 9. М., 1970, с. 391).

Двухтомник переводов Боденштедта 1852 г. — первое собрание сочинений Лермонтова на иностранном языке. В этом издании помещены 19 стихотворений, русские оригиналы которых неизвестны. Боденштедт объяснял, что переводы сделаны с текстов, которые ему показывал М. П. Глебов. Есть основание предполагать, что это вообще не переводы, а только подражания. Решить этот вопрос трудно, так как в переводе Боденштедта и такие стихотворения, как «Дума» и «Смерть Поэта», в значительной степени утратили свою политическую остроту. Стихотворения эти были опубликованы в русском прозаическом переводе Чирикова (*РС,* 1873, № 3, с. 394—402) и в стихотворных переводах П. А. Висковатова (*РС,* 1879, № 10, с. 353—358) и Д. Д. Минаева (*ИВ,* 1883, № 9, с. 595—600).

ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ К ПЕРЕВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ ЛЕРМОНТОВА

(стр. 365)

[1] Цитата из «Полтавы» Пушкина.

[2] Под «долгим заточением» Боденштедт имеет в виду ссылку на Кавказ.

[3] После гибели Лермонтова Мартынов рассказывал, что в «Герое нашего времени» выведена его сестра Наталья. Считая это оскорбительным, он, очевидно, убедил в этом Глебова.

[4] Павел Александрович Олсуфьев — сын двоюродного брата М. Н. Голицына, в доме которого Боденштедт был гувернером.

[5] П. А. Висковатов, ссылаясь на Боденштедта, утверждал, что имеется в виду А. И. Васильчиков, но этому противоречит то, что мемуарист называет его другом детства поэта.

[6] У Лермонтова волосы были темные, но спереди была прядь светлых волос, поэтому одни мемуаристы называют его брюнетом, а другие блондином.

[7] Описание наружности Лермонтова, сделанное Боденштедтом, в некоторых чертах настолько близко к портрету Печорина, что существует предположение о влиянии романа Лермонтова на воспоминания Боденштедта. Но можно предположить также и то, что Лермонтов использовал при создании образа Печорина наблюдения над своей внешностью, а Боденштедт подметил это сходство.

[8] Воспоминания Е. П. Ростопчиной см. на с. 358—364 наст. изд.

[9] По свидетельству Ф. Кугельман, К. Маркс считал мастерство в описании природы отличительной чертой творчества Лермонтова (Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве, т. 2. М., 1976, с. 563).

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

(стр. 371)

[1] Лермонтов был в Москве не в марте, а в апреле 1841 г.

[2] При жизни Лермонтова вышел один сборник его стихотворений: Лермонтов М. Ю. Стихотворения. СПб., 1840. Следующее издание появилось через полтора года: Лермонтов М. Ю. Стихотворения. СПб., 1842, ч. 1—3.

[3] Далее в тексте следует стихотворный перевод «Родины» на немецкий язык.

[4] «Герой нашего времени» неоднократно переводился на немецкий язык. См.: Кандель Б. Л. Библиография переводов романа «Герой нашего времени» на иностранные языки. — Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. М., 1962, с. 209—210.

[5] Далее в тексте — стихотворение «Благодарность» в переводе Боденштедта на немецкий язык.

А. В. МЕЩЕРСКИЙ

Александр Васильевич Мещерский (1822—1900) — князь, офицер, участник Кавказской войны, впоследствии Крымской войны, затем московский предводитель дворянства. Между ним и поэтом сложились дружеские отношения. По семейным преданиям, у Мещерского хранились письма Лермонтова, которыми он очень дорожил (см.: Новый мир, 1988, № 4, с. 217).

С 1838 г. Мещерский — юнкер Оренбургского уланского полка. Постоянно вращаясь в великосветских и литературных кругах, он был знаком со многими лицами, хорошо знавшими поэта: Карамзиными, В. Ф. Одоевским, М. Ю. Виельгорским, И. П. Мятлевым, Ю. Ф. Самариным и др.

Все они в воспоминаниях Мещерского получили живые, конкретные характеристики. Мещерский считал, что прототипом Печорина был Столыпин-Монго. По-видимому, мемуарист не был хорошо осведомлен о жизни поэта. Зато память его сохранила истории, которые рассказывал сам Лермонтов.

К воспоминаниям Мещерского у биографов Лермонтова сложилось осторожное отношение. Вызвано оно упоминанием об украинском имении Лермонтова (или Е. А. Арсеньевой) и поездке туда поэта. Ни то, ни другое не подтверждается.

По всей вероятности, Мещерский принял очередной забавный анекдот за случай, происшедший с самим Лермонтовым.

Воспоминания Мещерского печатались в *РА* (1900—1901) и затем вышли отдельной книгой (М., 1901).

ИЗ МОЕЙ СТАРИНЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

(Отрывки)

(стр. 373)

Впервые — *РА,* 1900, № 9, с. 79—84. Печатается по этому изд.

[1] Речь идет, видимо, о Наталье Мартыновой.

[2] Принадлежность Лермонтову имения на Украине, как указывается выше, сомнительна. Но сразу после публикации воспоминаний Мещерского появилась заметка А. Маркевича (*РА,* 1900, № 12, с. 622—624), в которой сообщалось о небольшом имении около местечка Переволочно в Полтавской губ., в 30—40-е гг. принадлежавшем некоей Арсеньевой. Автор заметки высказывает предположение, что об этом имении и пишет Мещерский.

[3] П. Д. Золотницкий, с которым Лермонтов познакомился в 1838 г. у Карамзиных (ср. воспоминания Ю. Ф. Самарина на с. 383 наст. изд.).

А. Н. ВУЛЬФ

Алексей Николаевич Вульф (1805—1881) — сын П. А. Осиповой от первого брака; учился в Дерптском университете, служил в департаменте разных податей и сборов, затем поступил на военную службу. Выйдя в отставку, жил в Тригорском.

Пушкин был дружески расположен к Вульфу. Однажды он дал ему такую характеристику: «Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всем затверженное понятие, в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Л., 1949, т. 12, с. 308—309).

ИЗ ДНЕВНИКА
(стр. 379)

Печатается по изд.: Вульф А. Н. Дневники. М., 1929, с. 382—383, с проверкой по журн. *РС,* 1870, № 4, где напечатано впервые.

[1] Лев Сергеевич Пушкин.

В. И. КРАСОВ

ИЗ ПИСЬМА К А. А. КРАЕВСКОМУ
(стр. 380)

Василий Иванович Красов (1810—1854) — поэт, которого Чернышевский назвал «едва ли не лучшим из наших второстепенных поэтов в эпоху деятельности Кольцова и Лермонтова» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. 3, с. 200).

Одновременно с Лермонтовым осенью 1830 г. Красов поступил на словесное отделение Московского университета. Здесь он примкнул к кружку Н. В. Станкевича. «В этом кружке, — писал К. С. Аксаков, — выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир, — воззрение большей частью отрицательное». С 1832 г. Красов печатает стихи сначала в «Телескопе» и «Молве», затем в «Библиотеке для чтения» и «Московском наблюдателе». С 1839 г. стихи Красова появляются вместе со стихами Лермонтова в «Отечественных записках», и в некоторых можно обнаружить влияние «Думы» и других стихотворений Лермонтова, ряд стихотворений Красова можно рассматривать как вариации на лермонтовские темы, а «Благодарность» Лермонтова, возможно, — полемический ответ на «Молитву» Красова.

В университете Красов сделал попытку познакомиться с Лермонтовым, уговорив Вистенгофа вступить с ним в разговор (*Висковатов,* с. 119). Эта попытка кончилась неудачей.

Впервые письмо опубликовано в статье Н. Л. Бродского «Поэты кружка Станкевича». — Известия ОРЯС Акад. наук, 1912, № 4, с. 24.

В наст. изд. печатается по рукописи (*ГПБ,* ф. 391) А. А. Краевского.

Ю. Ф. САМАРИН

Юрий Федорович Самарин (1819—1876) — публицист, философ, славянофил. В 1838 г. окончил Московский университет, в 1844 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Стефан Яворский и Феофан Прокопович». Самарин познакомился с Лермонтовым в 1838 г. Их связывали доверительные, дружеские отношения. После смерти поэта Самарин принимал участие в публикации его произве-

дений. Тема самосознания русского народа в разговоре его с Лермонтовым возникла не случайно: общественная и публицистическая деятельность Самарина связана с борьбой за отмену крепостного права. Так, например, в 50-е гг. ходила в рукописи его записка «О крепостном состоянии и переходе из него к гражданской свободе». Позднее состоял в редакционных комиссиях по выработке крестьянской реформы. Славянофильские симпатии Самарина отразились на его оценке личности и творчества Лермонтова.

ИЗ ДНЕВНИКА

(стр. 381)

[1] Отрицательная оценка Самариным «Героя нашего времени» объясняется его славянофильскими настроениями. Он считал, что личность Печорина не органична для русской действительности, и осуждал произведение, не несущее положительной программы: Лермонтов с его талантом оказался, по его мысли, в нравственном «долгу» перед современниками. С этим, вероятно, связан его отзыв о Лермонтове, приведенный в студенческих воспоминаниях Я. П. Полонского: «Неужели он до сих пор еще не сознает своего великого призвания» (Полонский Я. П. Соч., т. 2. М., 1986, с. 425).
[2] На Солянке жил Александр Петрович Оболенский (1780—1855), женатый на тетке Ю. Ф. Самарина. Дочь Оболенских Варвара Александровна с 1838 г. стала женой друга Лермонтова Алексея Александровича Лопухина. Самарин виделся у Оболенских с Лермонтовым в первой половине января 1838 г.

[3] Имеется в виду именинный обед Гоголя в саду М. П. Погодина 9 мая 1840 г. (об этом см. воспоминания С. Т. Аксакова на с. 317 наст. изд.).

[4] Лермонтов беседовал с Самариным об Иване Сергеевиче Гагарине, участнике «кружка шестнадцати» (о нем см. ниже).

[5] Лермонтов прибыл в Москву 30 января 1841 г. Таким образом, эта встреча Лермонтова с Самариным относится к самому концу января — началу февраля. *Россетти* — по-видимому, Клементий Осипович, брат А. О. Смирновой-Россет.

[6] Вероятно, тот же К. О. Россет.

[7] Речь идет о Дмитрии Григорьевиче Розене, однополчанине Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку.

[8] Лермонтов рассказывал Самарину о Сергее Васильевиче Трубецком, который был ранен в сражении при Валерике (11 июля 1840 г.).

По поводу этого места в дневнике Самарина Э. Г. Герштейн пишет: «Многоточие, поставленное самим Самариным, восстанавливает для нас пропущенную ассоциацию. Между политическими выводами Лермонтова и издевательствами, которым подвергал Трубецкого Николай I, была прямая связь. Каждый эпизод, ранящий чувство

человеческого достоинства и напоминающий о неограниченной власти царя-самодура, приводил к размышлениям об общем политическом положении страны» (*Герштейн,* с. 190—191). Далее исследовательница реконструирует в своей книге возможный ход разговора.

[9] Лермонтов и Самарин ездили на народные гуляния под Новинское.

[10] Вероятно, речь идет о Петре Дмитриевиче Золотницком, поручике л.-гв. Кирасирского полка, знакомом Лермонтова и Карамзиных. Подробнее о нем см.: Пушкин в письмах Карамзиных. М.—Л., 1960, с. 347—348.

[11] По всей вероятности, Николай Михайлович Левицкий и Александр Михайлович Иваненко, поручики л.-гв. Кирасирского полка.

[12] Стихотворение Лермонтова «Спор» впервые было напечатано в журн. «Москвитянин» (1841, ч. 3, № 6, с. 291—294).

Автограф «Спора» с пометкой Ю. Ф. Самарина («Писан рукою Лермонтова и подарен мне») хранится в архиве Самарина (*ГБЛ,* ф. 265, к. 132, ед. хр. 1). Кроме того, среди бумаг Ю. Ф. Самарина сохранился список стихотворения Лермонтова «Я к вам пишу случайно; право...» с пометкой Самарина: «Подарено автором» (*ГБЛ,* ф. 265, к. 132, ед. хр. 7). В этом списке стихотворение имеет заглавие «Валерик», которое отсутствует в черновом автографе.

[13] Текст рукописи обрывается. Как установила Э. Г. Герштейн, далее в дневнике Самарина «вырезано семь листов, из которых, как видно по корешкам, два листка с оборотом были заполнены сплошным текстом (на странице, где обрывается запись, заметны следы от чернил следующей вырезанной страницы). Содержание утраченной записи восстановить невозможно...» (*Сборник ИМЛИ,* с. 121).

ИЗ ПИСЕМ К И. С. ГАГАРИНУ

(стр. 383)

[1] Иван Сергеевич *Гагарин* — писатель, чиновник Московского архива иностранных дел, член «кружка шестнадцати». В 1843 г. он покинул Россию и вступил в орден иезуитов. Гагарин был знаком и часто встречался с Жуковским, Вяземским, Чаадаевым, Тютчевым и Пушкиным.

На Гагарине черным пятном лежит подозрение в авторстве или участии в составлении анонимного пасквиля, который стал причиной дуэли Пушкина с Дантесом. Мнения современников разделились. Если, например, А. И. Васильчиков считал, что Гагарин участвовал в этом гнусном деле, то С. А. Соболевский был твердо уверен, что это клевета. Н. С. Лесков, который посетил Гагарина во Франции, вынес убеждение в его невиновности. Гагарину он дает такую характеристику: «Гагарин совсем не отвечал общепринятому вульгарному представлению об иезуитах. В Гагарине до конца жизни сохранялось много русского простодушия и барственности, соединенной с тою

особою кадетскою легкомысленностью, которую часто можно замечать во многих русских великосветских людях... Гагарин был положительно добр, очень восприимчив и чувствителен. Он был хорошо образован и имел нежное сердце... Он не был ни хитрец, ни человек скрытный и выдержанный...» (Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987, с. 407).

Сам Гагарин в своем оправдательном письме писал: «...в Петербурге я везде бывал и почти ежедневно встречался с Л., и во все это время помину не было о моем мнимом участии в этом темном деле» (там же, с. 403). Инициалом «Л.» Гагарин, по всей вероятности, обозначил Лермонтова. Конечно, если бы Лермонтов подозревал Гагарина в составлении пасквиля на Пушкина, он не стал бы с ним встречаться.

[2] О «кружке шестнадцати» см. воспоминания Кс. Браницкого на с. 315 наст. изд. Из названных Кс. Браницким десяти участников кружка в 1840 г. на Кавказ уехали, кроме Лермонтова, А. А. Столыпин-Монго, Д. П. Фридерикс, А. Н. Долгорукий, С. В. Долгорукий и Н. А. Жерве.

П. И. МАГДЕНКО

Петр Иванович Магденко (1817 или 1818 — после 1875) — полтавский и екатеринославский помещик. Рассказ его о монете, которую Лермонтов бросал, чтобы решить, куда ехать, подтверждается письмом московского знакомого Лермонтова А. А. Кикина 1841 г.: «Лермонтов в последнем письме к Мартынову <?> писал сюда, что он кидал вверх гривенник, загадывал, куда ему ехать. Он упал решетом. Сие означало в Пятигорск, и оттого там погиб» (*РС,* 1896, № 2, с. 316).

Публикация воспоминаний Магденко (*РС,* 1879, № 3, с. 525—530) *вызвала* резкое возражение П. К. Мартьянова, который ссылался на разрешение лечиться в Пятигорске, полученное Лермонтовым и Столыпиным. Однако документы, о которых пишет Мартьянов, получены в ответ на рапорт В. И. Ильяшенкова, коменданта г. Пятигорска, следовательно, после приезда туда поэта (*ИВ,* 1880, № 4, с. 879—882).

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

(стр. 386)

[1] В тексте первой публикации было напечатано: «Летом 1841 года», что лишает воспоминания всякой достоверности, т. к. 13 мая Лермонтов уже приехал в Пятигорск. Но Висковатов утверждал, что в рукописи Магденко было написано: «Весной 1841 года». Исправление Висковатова внесено в наст. изд.

[2] *Ремонтер* — должностное лицо военного ведомства, занимающееся приобретением лошадей для войсковых частей.

[3] А. А. Столыпин-Монго был капитаном Нижегородского драгунского полка.

М. Х. ШУЛЬЦ

Мориц Христианович Шульц (1806—1888) — полковник Генерального штаба, встретился с Лермонтовым в Ставрополе в 1841 г. В дальнейшем принимал участие в обороне Севастополя и в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Дослужился до чина генерала.

Воспоминания Шульца известны в двух вариантах: в пересказе Градовского (*ИВ,* 1902, № 11) и в пересказе А. Бежецкого (псевд. А. Н. Маслова) (Новое время, 1891, 15 июля, № 5522), где фамилия Шульца полностью не обозначена. Там он именуется Ш-ъ. Вариант А. Бежецкого отличается подробным описанием штурма Ахульго, участия в нем Шульца, его ранения. История любви мемуариста изложена совершенно иначе, лишена трогательной романтической окраски. Первая встреча с Лермонтовым и разговор с ним приводятся со всеми подробностями. По этой версии, явившись в Ставрополь к генералу Граббе, Шульц застал Лермонтова в его приемной. Он «был при шарфе и временно исполнял при Граббе должность ординарца».

Узнав, что Шульц участвовал в штурме Ахульго, поэт сказал: «Какая жалость, что я не попал под Ахульго, это, говорят, была удивительная экспедиция... Ну, все равно, я теперь тоже кое-что увижу. Я отправляюсь на днях с отрядом Галафеева. Наш полк уже там». Беседа продолжалась на тему о предстоящем походе. Лермонтов собирался выехать со дня на день и поэтому интересовался всем, что касается похода; кстати, он расспрашивал о том, какие заказать вьюки и что брать с собой и чего не брать.

Через четверть часа его позвали к генералу, а затем вышел и сам генерал, который воздал должное храбрости Шульца.

«Это еще больше расположило ко мне Лермонтова, — рассказывает Шульц, — и мы пошли вместе с ним завтракать. За бутылкой чихиря он просил меня рассказать про дело, в котором я был ранен, и очень волновался, слушая мой рассказ. «О чем же вы думали, когда вы лежали один в горах?..» — «Вы лучше спросите, чем я бредил, — отвечал я, — и затем передал ему то, что вы уже слышали». — «Это очень редкий слу-

чай, — сказал он, пожимая мне руку на прощание, — желал бы я быть на вашем месте...» — «Будто?» Лермонтов нахмурился и сказал: «Неужто вы сомневаетесь?.. Ах, я желал бы все испытать. Конечно, я пережил бы, так же, как и вы, тяжелые минуты, но все-таки желал бы их испытать... Воспоминания — это своего рода пища, которою живут люди, когда настоящее кажется им жалким и ничтожным. Дант сказал, что нет горше страдания, как воспоминание о счастливых временах во дни невзгоды, а для меня ничего нет приятнее, как воспоминания о пережитых страданиях, потому что я... слишком счастлив... Но тем не менее, — прибавил он с улыбкой, — я не желал бы покончить с жизнью в галафеевском отряде. Так до свидания, кунак!..» На следующий день он мне передал свое стихотворение, написанное на тему моего приключения».

ВОСПОМИНАНИЯ О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ

(В пересказе Г. К. Градовского)

(стр. 391)

[1] *Ахульго* — крепость Шамиля в аварском округе Дагестана, расположенная на двух огромных утесах и почти неприступная. В августе 1839 г. русские войска под начальством П. Х. Граббе, ценою больших потерь, взяли Ахульго и разрушили укрепления.

[2] В воспоминаниях Шульца в изложении А. Бежецкого приводится первый вариант стихотворения «Сон»:

В долине Кавказа, где скалы
Толпою теснятся кругом,
Лежал он с зияющей раной,
Насмерть пораженный врагом.

Вдали с крутизны необъятной
Смотрел затуманенный лес;
Смотрели орлы, пролетая
По ясной лазури небес.

И в пропасть стремясь безвозвратно
Ревел и пенился поток,
А кровь его капля за каплей
Точилась на серый песок.

И в тягостный миг расставанья,
Разлуки с бессмертной душой,
Виденья к нему отовсюду
Слетались веселой толпой.

Прелестные девы собрались
На пир, озаренный огнем.
И с смехом веселым велася
Меж ними беседа о нем.

И только одна не вступала
В веселый о нем разговор.
Склонилась она и молчала,
И грустью туманился взор.

Как муза, чиста и прекрасна,
От думы печальной бледна,
В таинственный сон уносилась
Душой молодою она.

И чудилось ей, что в долине,
Где скалы теснятся кругом,
Один, истекающий кровью,
Лежал он, сраженный врагом.

И будто любимые очи
Подернула смертная мгла,
И шепот предсмертного слова
Она разобрать не могла.

И все ей казалось, что тело
Покинуто чудной душой,
Что с этой душой отлетает
Поэзии мир золотой.

[3] Романс на слова стихотворения «Сон» написан Балакиревым. Акварель Г. Г. Гагарина к этому стихотворению Лермонтова хранится в Государственном Русском музее (Ленинград).

Н. И. ЛОРЕР

Декабрист Николай Иванович Лорер (1795—1873) в 1837 г. был переведен из Сибири рядовым Тенгинского пехотного полка на Кавказ. За отличие в боях произведен в 1840 г. в прапорщики. В 1842 г. ушел в отставку. «Записки декабриста» написаны им в 1862—1865 гг. в сельце Водяном Херсонской губ., где он жил у своего брата Д. И. Лорера.

Лорер познакомился с Лермонтовым в июне 1840 г. Поэт, как он пишет, привез ему письмо и книгу от его племянницы А. О. Смирновой (Россет). Во время беседы сразу же обнаружились расхождения их политических воззрений. Лермонтов отрицал николаевскую Россию, Лорер к этому времени отошел от революционных убеждений молодости. Лермонтову был смешон беспочвенный оптимизм Лорера. Расхождения во взглядах существенно отразились на тоне воспоминаний Лорера о Лермонтове. Кстати сказать, из «Записок»

явствует, что в 1840 г., когда Лермонтов был уже широко известным поэтом, Лорер почти не был знаком с его творчеством.

Отрывки из воспоминаний Лорера включены им также в альбом, который он подарил А. А. Капнист, дочери декабриста, А. В. Капниста. Изучение этого альбома показало, что неприятное впечатление, которое Лермонтов произвел на Лорера при встрече, не помешало декабристу впоследствии оценить значение его творчества, и безвременная гибель поэта вызвала в его памяти смерть Пушкина, Грибоедова, Одоевского (см.: Чистова И. С. О кавказском окружении Лермонтова (По материалам альбома А. А. Капнист). — *Исследования и материалы,* с. 188—208.

ИЗ «ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА»

(стр. 393)

[1] О Н. В. Майере см. с. 555—556 наст. изд.

[2] Речь идет о трактате средневекового мистика Фомы Кемпийского «О подражании Христу».

[3] «Герой нашего времени» тогда уже вышел в свет (первое издание появилось в апреле 1840 г.).

[4] О дуэли Лермонтова с Барантом см. с. 192—194, 298—299.

[5] *Александр* — А. И. Арнольди. О *Шведе* см. примеч. на с. 506 наст. изд. Портрет Лорера на фоне Кавказских гор, написанный Шведе, хранится в Эрмитаже; воспроизведен в издании «Записки декабриста» Н. И. Лорера (М., 1931).

[6] Декабрист Владимир Николаевич Лихарев был убит в сражении с горцами, возможно, под Валериком 10 или 11 июля 1840 г.

[7] Училище колонновожатых, которое впоследствии выросло в Академию Генерального штаба, было основано по инициативе М. Н. Муравьева, отца декабриста Александра Муравьева. В Москве оно было одним из очагов распространения декабристского образа мыслей. За семь лет муравьевского руководства (1816—1823) в нем обучались двадцать четыре будущих декабриста. Подробнее об этом см.: Нечкина М. В. Движение декабристов, т. 1. М., 1955, с. 102—103.

[8] Имеются и другие свидетельства современников, подтверждающие интерес Лермонтова к философии. Так, например, Н. Молчанов писал о встрече поэта с И. Е. Дядьковским и разговоре их о Бэконе (см. с. 465 наст. изд.).

[9] Речь идет о писателе-декабристе Александре Александровиче Бестужеве-Марлинском, который был убит в стычке с горцами 7 июня 1837 г. Тело его не было найдено. О гибели А. А. Бестужева имеется запись в дневнике А. И. Тургенева от 3 сентября 1839 г.: «С кн. Вол<конско>й — Бестужев-Марлин<ский> сказал: «Мы посеяли, другие пожнут» — велено посылать в опасные места, и он убит» (*ИРЛИ,* ф. 309, № 319, л. 5 об.). Подробнее об этом см.: Левин Ю.

Об обстоятельствах смерти А. А. Бестужева-Марлинского. — Русская литература, 1962, № 2, с. 219—222.

[10] Константин Николаевич *Манзей* — офицер и историк л.-гв. Гусарского полка (см.: Манзей К. История лейб-гвардии Гусарского его величества полка. 1775—1857, ч. I—IV. СПб., 1859).

[11] Речь идет о декабристе Константине Густавовиче Игельстроме.

[12] Имеется в виду Николай Николаевич Раевский-младший, генерал-лейтенант, начальник Черноморской береговой линии.

[13] Из воспоминаний А. И. Арнольди (см. с. 273 наст. изд.) и письма Е. Г. Быховец (см. с. 448 наст. изд.) явствует, что Дмитревский неделю спустя, в день дуэли Лермонтова с Мартыновым, находился еще на минеральных водах.

[14] Цитата из «Евгения Онегина» (гл. вторая, строфа XXVIII).

[15] О секундантах на дуэли Лермонтова с Мартыновым см. примеч. 20 на с. 562 наст. изд.

[16] Наплыв в Пятигорск жандармов («голубых мундиров») в лермонтоведческой литературе обычно истолковывался как реакция на дуэль Лермонтова. В. Э. Вацуро в статье «Новые материалы о дуэли и смерти Лермонтова» (Русская литература, 1974, № 1, с. 122), рассматривая письмо А. С. Траскина П. Х. Граббе, где указывается на неблагополучное положение в Пятигорске и падение воинской дисциплины, приходит к выводу, что «именно этим обстоятельством, а не интересом к личной судьбе Лермонтова» объясняется внимание жандармов к Пятигорску.

В. И. ЧИЛЯЕВ

Василий Иванович Чиляев (или Чилаев; 1798—1873) служил в Пятигорской военной комендатуре. Там он и встретил Лермонтова со Столыпиным, накануне приехавших в Пятигорск, и предложил им квартиру в своей усадьбе.

Чиляев имел чин плац-майора, был участником турецкой и персидской войн, экспедиции против горцев, служил под командованием А. П. Ермолова. Он мог быть интересным собеседником для поэта.

Рассказ Чиляева о Лермонтове был включен Мартьяновым в статью «Поэт М. Ю. Лермонтов по запискам и рассказам современников» (Всемирный труд, 1870, № 10). Позднее Мартьянов включил воспоминания в свою книгу «Дела и люди века» (СПб., 1893, т. 2), дополнив их подробно описанной сценой приема Лермонтова и Столыпина комендантом Ильяшенковым по приезде их в Пятигорск. Беллетристический характер описания этой сцены делает сомнительной ее достоверность. В книгу Мартьянова включены

также со слов Чиляева экспромты Лермонтова «Очарователен кавказский наш Монако!..», «В игре, как лев, силен...», «Милый Глебов...», «Скинь бешмет свой, друг Мартыш...», «Смело в пире жизни надо...». В изданиях Лермонтова они печатаются в разделе произведений, приписываемых Лермонтову.

В воспоминаниях Чиляева интересны описание образа жизни Лермонтова в Пятигорске, а также подробные сведения о домике, в котором жил поэт. В 1912 году здесь был открыт музей. В настоящее время это центр мемориального квартала в Музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова в Пятигорске. Руководствуясь описанием Мартьянова, домику удалось придать первоначальный вид.

Сын В. И. Чиляева Н. В. Чиляев передал в музей-заповедник «Памятную тетрадь», куда записывались сведения о квартиросъемщиках.

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе П. К. Мартьянова)

(стр. 404)

Печатается по тексту первой публикации: Всемирный труд, 1870, № 10, с. 586—594.

[1] Разговор Лермонтова с Мартыновым мог пересказать Чиляеву В. Н. Диков, жених Аграфены Петровны Верзилиной. Он в этот вечер вышел от Верзилиных с Лермонтовым и Мартыновым и был свидетелем их ссоры (Россия, 1901, 15 сентября). По-видимому, с его же слов передает этот разговор и племянник Дикова, рассказ которого о Лермонтове опубликован С. Белоконем (см.: Ставрополье, 1984, № 4, с. 91).

[2] Ошибка мемуариста: Лермонтов ехал на дуэль не из Пятигорска, а из Железноводска, через колонию Каррас.

[3] Плац-адъютантом при пятигорском комендантском управлении был в то время Ангелий Георгиевич Сидери. В 1841 г. А. Г. Сидери был женихом Екатерины Ивановны Кнольт, сироты, которая жила в доме своей опекунши М. И. Верзилиной. А. Г. Сидери, по свидетельству его сына, встречался у Верзилиных с Лермонтовым. Сохранилась запись рассказа Леонида Ангелиевича Сидери: «В семье Верзилиных были три красивые девицы: дочери Верзилина, старшая Эмилия и младшая Надежда, и моя мать <Е. И. Кнольт>, проживавшая в их семье как опекаемая. Мартынову и Лермонтову нравилась Надежда Петровна Верзилина, рыжая красавица, как ее звали, и которой Лермонтов написал стихи: «Надежда Петровна, зачем так неровно разобран ваш ряд...» Вот из ревности и разыгралась эта драма. Отец мой <А. Г. Сидери>, идя с докладом об этом происшествии к коменданту, зашел по дороге к Верзилиным и сообщил

им об этом (он уже был женихом моей матери). Все в доме были взволнованы. Вдруг вбегает возбужденный Лев Сергеевич Пушкин, приехавший на минеральные воды, с волнением говорит: «Почему раньше меня никто не предупредил об их обостренном отношении, я бы помирил...» Несмотря на несимпатичный характер Лермонтова, все его жалели, а Мартынова все обвиняли и были сильно возбуждены против него, говорили: «Стрелять-то не умел, а убил наповал». Вот и все, что я могу сообщить, если не очевидец, то все-таки как человек, слышавший от очевидцев, своих родителей» (Щеголев П. Е. Книга о Лермонтове, т. 2. Л., 1929, с. 218—219).

Н. П. РАЕВСКИЙ

О личности Николая Павловича Раевского (?—1889) известно очень немного. Он служил в Симбирском егерском полку; для участия в военных действиях на Кавказе был прикомандирован к Навагинскому пехотному полку, а затем переведен в Тенгинский пехотный полк.

Воспоминания Раевского вызвали резкий критический отклик Э. А. Шан-Гирей. «В рассказе г. Раевского в «Ниве» все с начала до конца голая выдумка», —раздраженно писала она. П. А. Висковатов, не присоединяясь к этой резкой оценке, указывал, что ошибок много, и приписывал эти искажения В. П. Желиховской. Сам он в своей книге неоднократно ссылается на Раевского.

Свои многочисленные возражения Раевскому Шан-Гирей собрала в статье «Еще по поводу воспоминаний Раевского о Лермонтове» (Нива, 1885, № 27, с. 643, 646—647). Ее конкретные замечания см. ниже в примеч.

РАССКАЗ О ДУЭЛИ ЛЕРМОНТОВА

(В пересказе В. П. Желиховской)

(стр. 411)

Печатаются в сокращении по тексту журн. «Нива», 1885, № 7, с. 166—170; № 8, с. 186—190, где напечатаны впервые.

[1] Э. А. Шан-Гирей по этому поводу писала: «Жила я в Пятигорске с 1826 г. постоянно и никогда не слыхала о существовании общего бассейна, где бы купались без различия общественного положения, лет и пола. Этого не было».

[2] Имеется в виду фот Дианы.

[3] О пятигорских балах Э. А. Шан-Гирей уточняет следующее: «Казенный дом, Минеральная гостиница называлась прежде «ресто-

рацией». Фасад этого прекрасного здания не был обезображен непривлекательной будкой, скрывающей колонны и широкую лестницу, которая устанавливалась цветами, а во время балов постилали красное сукно, что выходило довольно эффектно. По четвергам ходили в залу прямо с бульвара бесплатно, а по воскресеньям были вечера парадные. В 1830-х и 40-х годах жили в Пятигорске и веселее и проще, но не в той степени, чтобы дарили барышням платьица (?), да еще термаламу, материю вовсе непригодную для лета; бедненькие редко где бывали. Вообще же на туалеты тогда в Пятигорске не разорялись и одевались хоть просто, но всегда мило и элегантно. Конфузиться нам тоже не приходилось перед приезжими».

[4] Так Лермонтов назвал Пятигорск в экспромте «Очарователен кавказский наш Монако!..».

[5] Эта шутка принадлежит не Лермонтову, а П. С. Верзилину.

[6] Вариант экспромта, приведенный Раевским, имеет разночтения в последних двух строках.

[7] Э. А. Шан-Гирей вносит многие уточнения в рассказ о своем отчиме П. С. Верзилине, в частности отрицает, что причиной его отставки было нарушение формы, а относит ее за счет какого-нибудь анонимного доноса.

[8] Ошибка мемуариста: Лермонтов у Верзилиных квартиру никогда не снимал и тем более «по годам» не жил.

[9] О *Екатерине Ивановне Мерлини* Э. А. Шан-Гирей пишет: «Она известна была своей оригинальностью, звали ее все просто генеральша». Я знала ее с самого детства. Муж ее, генерал-лейтенант, считался по армии и жил в собственном доме в Пятигорске и никогда не был комендантом Кисловодской крепости. Ее храбрая распорядительность в Кисловодске легендарна, но утвердительно могу заявить, что никогда и ни за какие дела не получала она императорских бриллиантов, ни подарков с георгиевскими крестами. Она была отличная наездница, ездила на мужском английском седле и в мужском платье (привычку эту приобрела она за Кавказом). Лошади у нее были свои, прекрасные — в 41-м году в кавалькадах не участвовала, да и вообще, сколько я помню, предпочитала ездить одна».

О Е. И. Мерлини говорится в приписываемом Лермонтову экспромте «С лишком месяц у Мерлини...». По некоторым сведениям, Лермонтов бывал у нее, но она, по-видимому, относилась к нему враждебно. Ее имя П. А. Висковатов и П. К. Мартьянов связывают с интригой против поэта.

[10] Раевский, несомненно, ошибается: С. В. Трубецкой присутствовал 13 июля на вечере у Верзилиных, был секундантом на дуэли, участвовал в похоронах Лермонтова.

[11] А. И. Рошке, содержательница ресторана. Домик Рошке в Иноземцеве (б. Шотландка) сохранился.

[12] Е. Г. Быховец приехала не с матерью, а со своей теткой Обыденной (о ней см. с. 617).

[13] Э. А. Шан-Гирей отрицает какое-либо соперничество между Лермонтовым и Мартыновым из-за Быховец. Возможно, Мартынов ухаживал за ней, а Лермонтов был недоволен этим.

[14] Раевский ошибается: бал Голицина был назначен на 15 июля, но перенесен из-за грозы. Верзилины на этот бал собирались и, когда он через несколько дней состоялся, на нем были.

[15] Э. А. Шан-Гирей писала, что никакой Вареньки Озерской не было, а была Сашенька, которая нигде не бывала.

[16] Видимо, Н. И. Тарасенко-Отрешков. О нем см. с. 552.

[17] Дуэль состоялась через два дня после ссоры у Верзилиных — 15 июля.

[18] А. И. Васильчиков окончил Петербургский университет. В 1841 г. он служил в комиссии Гана.

[19] Ср. с письмом Е. Г. Быховец на с. 447.

Э. А. ШАН-ГИРЕЙ

Эмилия Александровна Шан-Гирей, урожденная Клингенберг (1815—1891), падчерица генерала П. С. Верзилина, с 1851 г. жена А. П. Шан-Гирея. В конце 30-х гг. она жила в Пятигорске, где познакомилась с Лермонтовым. Судя по воспоминаниям, ее знакомство с поэтом состоялось в мае 1841 г., но, по всей вероятности, она ошибается. П. И. Магденко писал, что Лермонтов, уговаривая А. А. Столыпина-Монго ехать весной 1841 г. в Пятигорск, выставлял в качестве одного из аргументов то, что там живут Верзилины; следовательно, с семьей Верзилиных, и в том числе с Эмилией Александровной, Лермонтов, видимо, был знаком и ранее. Это косвенно подтверждается и письмом Васильчикова к Арсеньеву от 30 июля 1841 г. (см. с. 467 наст. изд.).

Э. А. Шан-Гирей неоднократно выступала с воспоминаниями о Лермонтове (см.: Нива, 1885, № 27, с. 646; *РА,* 1887, № 11, с. 438; *РО,* 1891, № 4, с. 707—712; Север, 1891, № 12, с. 745—748 и др.).

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕРМОНТОВЕ

(стр. 430)

[1] Л е р м о н т о в М. Ю. Соч., т. 1. Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1887. Биографический очерк в этом издании написан А. Н. Пыпиным.

[2] Евгения Акимовна Шан-Гирей, дочь мемуаристки, следую-

щим образом описывает дом Верзилиных в Пятигорске: «Моя мать сохранила все в доме, как было прежде: та же маленькая уютная гостиная, стены и потолок которой были обиты ситцем палевого цвета с легкими разводами из цветов во вкусе Помпадур, тем же были обиты узенькие длинные с узкими спинками диванчики, окаймлявшие стенки, потолок был тем же обит мелкими складками, которые сходились в середине потолка розеткой, в ней был крючок и висела небольшая люстра с восковыми свечами. В то время, когда был Лермонтов, в этой гостиной Мария Ивановна сидела около круглого стола с работой, она любила вязать кружева на спицах, с одной стороны моя мать вышивала на пяльцах, тетя Аграфена сидела около нее и вязала крючком из разноцветного бисера кошельки, с другой стороны тетя Надежда тоже с каким-нибудь рукоделием. Являлся Лермонтов с кем-нибудь из своих приятелей, и велись веселые разговоры» (*ЦГАЛИ,* ф. 276, оп. 1, ед. хр. 141, л. 4—5).

[3] Е. Г. Быховец писала, что бандо не было возвращено ей (см. с. 448 наст. изд.).

[4] По этому поводу Висковатов замечал, что это или «фантазия Мартынова, или г-жа Шан-Гирей запамятовала некоторые подробности».

ВОСПОМИНАНИЯ

(В пересказе В. Д. Корганова)

(стр. 436)

Василий Давидович Корганов, музыковед, библиофил, публицист, служивший в то время в саперных войсках, провел в Пятигорске несколько дней в августе 1889 г., присутствовал 16 августа на открытии памятника Лермонтову, а 20-го вместе с топографом и альпинистом А. В. Пастуховым посетил Э. А. Шан-Гирей и ее дочь Евгению Акимовну. Пастухов, принимавший участие в топографической съемке высокогорной части центрального Кавказа, хорошо знал биографию Лермонтова, лермонтовские места в Пятигорске. Встретившись с Коргановым по дороге в Пятигорск, он сказал: «А я вот везу с собою полного Лермонтова и все перечитываю его биографию. Великий и несчастный гений!..» Во время разговора с Э. А. Шан-Гирей он удивил ее основательным знакомством с биографией поэта, что расположило ее в пользу гостей. Корганов так описывает Эмилию Александровну: «Маленькая старушка лет 70, весьма бойкая, жизнерадостная, просто, старательно облачена в чистенькое платье серого цвета с белой кисейной шалью на плечах; черты лица сохранили следы красоты, которая привлекала сюда часто наиболее блестящих офицеров двух квартировавших здесь полков».

Передав приведенный здесь рассказ Шан-Гирей о Лермонтове, Корганов добавляет: «С волнением и дрожью в голосе старушка рассказала о том, что доктора отказались вследствие грозы ехать к месту дуэли, что единственный священник, который согласился похоронить Лермонтова, был предан суду, что Чиляев, в доме которого жил поэт, заново освятил комнаты, оскверненные таким жильцом, и что в церкви селения Подмокловка (Подольского уезда Московской губернии) находится картина, изображающая Страшный суд, где Лермонтов помещен в числе грешников, горящих в огне».

Впервые — в тифлисской газ. Новое обозрение, 1891, 14 августа (за подписью В. Д. К.). Печатается по публикации в журн. «Литературная Армения», 1964, № 12.

[1] В «Ниве» в 1885 г. Шан-Гирей писала, что помост над провалом был сделан по заказу В. С. Голицына.

[2] Николай Петрович Колюбакин, прозванный Немирным за неуживчивый характер. Один из современников дал ему в своих воспоминаниях такую характеристику: «Колюбакин был человек замечательный во многих отношениях. При блестящих способностях, хорошем образовании, он любил много говорить и выражался очень резко. Вспыльчивость его не имела пределов, и жить с ним в мире было очень трудно» (Дельвиг А. И. Мои воспоминания, т. 1. М., 1912, с. 316).

[3] Некоторые мемуаристы называют прототипом княжны Мери Н. С. Мартынову.

[4] О сходстве Веры с В. А. Лопухиной, вероятно, рассказал Эмилии Александровне А. П. Шан-Гирей.

[5] Карандаш этот Евгения Акимовна Шан-Гирей в 1916 г. передала в Лермонтовский музей. Сейчас он находится в экспозиции Литературного музея ИРЛИ.

Н. Ф. ТУРОВСКИЙ

Петербургский чиновник Николай Федорович Туровский в 1841 г. совершил служебную поездку по южным губерниям, Северному Кавказу и Крыму. Впоследствии он переселился в Липецк и был одно время директором Липецких минеральных вод, а потом мировым судьей. Лермонтов, возможно, познакомился с Туровским еще в Московском университетском пансионе, где учился одновременно с ним.

ИЗ «ДНЕВНИКА ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ В 1841 ГОДУ»

(стр. 439)

[1] Ида и Поликсена Мусины-Пушкины.

[2] Цитата из «Евгения Онегина». Имеются в виду высланные на Кавказ офицеры.

[3] Речь идет о первой русской железной дороге из Петербурга в Павловск.

[4] Дуэль состоялась 15 июля, через два дня после ссоры.

А. С. ТРАСКИН

Александр Семенович Траскин, полковник, флигель-адъютант, начальник штаба командующего войсками Кавказской линии и Черномории Павла Христофоровича Граббе. Человек осторожный и дипломатичный, он прежде всего имеет в виду интересы своего служебного положения.

Из письма ясно, что Траскин, хотя и сочувствует Лермонтову и порицает Мартынова, даже не приближается к пониманию масштабов происшедшей катастрофы. Кроме определения этого происшествия как несчастного и неприятного, он не придает описанию событий никакой эмоциональной окраски. Известие о смерти Лермонтова сообщается в письме среди других известий, хотя надо учитывать, что оно было отправлено вместе с рапортом коменданта Пятигорска В. И. Ильяшенкова.

Главное значение письма А. Траскина в том, что оно написано по свежим следам. Это первое дошедшее до нас описание дуэли, сделанное, когда, еще под влиянием рассказов Мартынова и соблюдавших его интересы секундантов, не создалась определенная версия, которая затем в большей или меньшей степени влияла на изложение событий другими современниками. Источник сведений Траскина, по-видимому, неофициальные беседы с секундантами.

ИЗ ПИСЬМА К П. Х. ГРАББЕ

(стр. 444)

Печатается по публикации В. Э. Вацуро в журн. «Русская литература», 1974, № 1, с. 115—125. (Оригинал в *ГБЛ,* ф. 298, № 1.36.)

[1] Павел Христофорович *Граббе* был непосредственным начальником Лермонтова во время военных действий в Чечне, представлял Лермонтова к боевым наградам, ходатайствовал о возвращении его в гвардию. Дружеское сближение Лермонтова с Граббе и его кругом относится к началу зимы 1840/41г. Известно, что поэт часто бывал в это время у него в доме. Там же, а также в доме И. А. Вревского он мог встречаться и с А. С. Траскиным. При отъезде Лермонтова в отпуск Граббе поручил Лермонтову передать в Москве его личное письмо А. П. Ермолову. На гибель поэта Граббе отозвался с негодованием: «Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом — десять пошляков преследуют его до

смерти. Что касается до его убийцы, пусть наместо всякой кары он продолжает носить свой шутовской костюм» (*Висковатов,* с. 385).

[2] Ошибка: Глебов служил не в кавалергардском, а конногвардейском полку.

[3] С апреля 1840 г. Васильчиков числился членом комиссии П. В. Гана по введению новых административных порядков на Кавказе. Определение Траскина окрашено скрытой иронией: «ермоловцем» Граббе деятельность Гана воспринималась с оппозиционной отчужденностью.

[4] Сведения не подтверждаются другими источниками. Возможно, уловка для обеления секундантов.

[5] Эта фраза почти дословно повторена в письме Е. А. Столыпиной со слов Глебова. По-видимому, источником письма Траскина также послужил рассказ Глебова.

[6] С. В. Трубецкой, секундант в дуэли Лермонтова, имя которого было скрыто от следствия.

Е. Г. БЫХОВЕЦ

Екатерина Григорьевна Быховец (1820—1880) происходила из небогатой многодетной семьи, и отец ее, отставной артиллерист, поместил дочь в дом богатой родственницы, в замужестве Крюковой, которая была невесткой троюродной тетки Лермонтова и приятельницы Е. А. Арсеньевой Прасковии Александровны. Поэтому, по обычаю того времени выяснять самое дальнее родство, Быховец считала поэта правнучатым братом, и, конечно, они называли друг друга кузен и кузина. По семейным преданиям, Лермонтов был знаком с Екатериной Григорьевной еще в Москве. На Кавказ она приехала со своей больной теткой.

Судя по тому, что Лермонтов рассказал ей о своей любви к В. А. Лопухиной, он питал к ней самые дружеские, доверительные чувства. Надо полагать, что она была единственной, кому поэт рассказывал об этом.

Утверждение ее правнука А. Б. Ивановского, что Е. Г. Быховец «никогда не принадлежала к кругу Лермонтова, не была с ним в дружеских отношениях» (Советская Россия, 1986, 7 сентября), неубедительно.

Впоследствии Екатерина Григорьевна вышла замуж за Константина Иосифовича Ивановского, гвардии капитана, жила в Ядрине, Владимире и Шуе.

Письмо Быховец было обнаружено случайно. В 1892 г. В. И. Акерблом писал в редакцию журнала «Русская старина»: «Покупая книги в 1891 г. у букиниста, я нечаянно нашел в книге письмо, на которое сперва не обратил никакого внимания и думал,

что оно просто какое-то ненужное. Но, прочитав его, увидел, что оно заключает в себе описание последних дней жизни Лермонтова...» Акерблом переслал в редакцию журнала сначала копию, а затем и подлинник письма, но хотя в предисловии редакции к публикации письма указано, что оригинал передан в Лермонтовский музей, ни его самого, ни каких-либо следов его поступления обнаружить не удалось. Случайное появление письма и таинственное его исчезновение побудило П. К. Мартьянова усомниться в его подлинности. «Происхождение этого письма загадочно и едва ли не апокрифично», — писал он (*ИВ,* 1892, № 4).

Современные исследователи Е. Рябов и Д. Алексеев, изучившие историю письма Быховец, высказали предположение, что оригинал письма мог быть отдан для разъяснений сыну Екатерины Григорьевны и утрачен в связи со скоропостижной смертью весной 1892 г. сначала М. И. Семевского, а затем Л. К. Ивановского (Московская правда, 1986, 27 июля).

П. А. Висковатов, которого ознакомили с письмом еще до публикации, нашел его очень интересным, дополняющим сведения, использованные им в его книге.

ИЗ ПИСЬМА

(стр. 446)

[1] Замечание Е. Г. Быховец о том, что Лермонтов находил в ней сходство с В. А. Лопухиной, заставляет думать, что именно к ней обращено стихотворение Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Об этом см.: Баранов В. В. Об истинном адресате стихотворения Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю…». — Ученые записки Калужского пед. ин-та, 1957, вып. 4, с. 182—192.

П. А. Висковатов, основываясь на воспоминаниях С. М. Соллогуб, считал, что стихотворение обращено к ней. Соллогуб рассказывала биографу, что Лермонтов часто подолгу глядел на нее «своими выразительными глазами, имевшими магнетическое влияние», что очень не нравилось ее мужу В. А. Соллогубу. Однажды она упрекнула его в том, что он причиняет ей эту «неприятность». Поэт, ничего не ответив, ушел, а на следующий день принес ей стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Однако положение стихотворения в тетради Одоевского говорит о том, что стихотворение написано в Пятигорске. Вопрос об адресате стихотворения «Нет, не тебя так пылко я люблю...» остается до конца не решенным.

ПОЛЕВОДИН

Об авторе письма, так же как об его адресате, ничего не известно. Возможно, это Петр Тимофеевич Полеводин. Он приехал из Петер-

бурга лечиться; с кругом знакомых Лермонтова, вероятно, не общался. Хотя он и ссылается на слова секундантов и пишет о Л. С. Пушкине, но, скорее всего, знает их мнение из вторых рук.

ИЗ ПИСЬМА

(стр. 449)

[1] В конце 1839 г. Мартынов в чине ротмистра был прикомандирован к Гребенскому казачьему полку.

[2] А. И. Васильчиков в 1839 г. окончил Петербургский университет со степенью кандидата прав.

[3] Пятигорское кладбище находится у подножья горы Машук, в нескольких верстах от места поединка.

[4] Речь идет о писателе Николае Николаевиче Веревкине.

РОЩАНОВСКИЙ

ПОКАЗАНИЯ

(стр. 452)

Рощановский был мелким чиновником Пятигорска, имевшим чин коллежского секретаря. 5 декабря 1841 г. пятигорский священник В. Д. Эрастов, отказавшийся хоронить поэта, написал донос на П. А. Александровского, священника, который провожал тело Лермонтова из дома до кладбища. Религиозные вопросы были в этом деле только предлогом, а главной причиной — личная неприязнь между двумя пятигорскими священниками и деньги, полученные Александровским за похороны от А. А. Столыпина. Возник вопрос, был ли исполнен церковный обряд полностью или только частично. В связи с этим с Рощановского были взяты показания.

Таким образом его рассказ интересен как описание похорон Лермонтова, сделанное рядовым жителем Пятигорска.

А. П. СМОЛЬЯНИНОВ

Автор, Александр Павлович Смольянинов (1821—?) — ученик предпоследнего класса Училища правоведения в Петербурге, ему 20 лет. Судя по дневнику, который он назвал «Memento mori. Мой журнал на 1841 год», это был вполне «благонамеренный» молодой человек, религиозный, обожающий Николая I, (В его представлении император беспощадно накажет убийцу.) Но при этом он, что было характерно для этого учебного заведения, живо интересуется литературой. О Пушкине он пишет с восторгом, многие его произведения упоминаются в записях дневника. Оценка Лермонтова

складывается не сразу. 29 января он записывает: «День памятный, но грустный. Ровно 4 года тому назад в 3/4 3-го часа пополудни в этот самый день не стало Пушкина, мы лишились нашей славы, нашей надежды. Его нет, нет и следа, — а кто заменит его? — Лерм... вряд ли». 3 ноября он уже признается: «Одна поэзия — один Пушкин да Лермонтов могут утешить меня».

О многих произведениях Лермонтова он пишет так же восторженно, как и о Пушкине, тексты некоторых переписывает в дневник.

Сведения о Лермонтове, которые автор получает из вторых рук, неточны, иногда фантастичны (как, например, история ссоры с Мартыновым).

Дневник Смольянинова интересен как показатель отношения к поэту одного из рядовых читателей того времени.

ИЗ ДНЕВНИКА

(стр. 454)

[1] Какой барон Розен жил в Пятигорске летом 1841 г., неизвестно; письмо, о котором идет речь, не обнаружено.

[2] Мартынов артиллеристом не был. Он служил сначала в кавалергардском полку, затем в Гребенском казачьем.

[3] Ссора Лермонтова с Мартыновым произошла 13 июля.

Т. А. БАКУНИНА

Татьяна Александровна Бакунина (1815—1871) — сестра известного революционера-анархиста Михаила Александровича Бакунина. У нас нет сведений о знакомстве Лермонтова с семейством Бакуниных. Однако нельзя сомневаться в том, что творчество Лермонтова было хорошо известно в их семейном кругу, в их доме, где в 30-е гг. неоднократно бывали Белинский и многие другие представители московской передовой интеллигенции.

Письмо адресовано младшему брату Татьяны Александровны — Николаю Александровичу, окончившему в 1838 г. в Петербурге Артиллерийское училище. Во время своих приездов в Москву в конце 30-х гг. молодой прапорщик артиллерии познакомился и сблизился с Белинским. Он «очень любил Николая Бакунина и относился к нему с нежностью старшего брата. Он читал с ним Пушкина, которым сам, как известно, в то время особенно увлекался, и другие литературные произведения, причем эти чтения приводили к глубоким и содержательным идейным беседам, которые возбудили и в Николае Александровиче глубокое дружеское чувство к Белинскому, сохранившееся в нем навсегда» (Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915, с. 574—575).

Первый публикатор письма Бакуниной И. Л. Андроников писал о его значении: «Прежде всего, мы видим, как воспринята гибель Лермонтова в среде читателей его поколения, к которым относится сама Бакунина, ее братья, сестры, друзья. Это круг людей мыслящих и высокообразованных, в котором смерть Лермонтова воспринята как гибель «лучшей надежды России». Ощущение своего умственного и духовного превосходства над окружающими приводит Татьяну Бакунину к предположению, что Лермонтов — поэт «не для многих», непонятный «толпе»...» (*Андроников,* с. 506).

ИЗ ПИСЬМА К Н. А. БАКУНИНУ

(стр. 457)

[1] Владимир Константинович *Ржевский* — чиновник особых поручений при графе С. Г. Строганове в Москве.

[2] «Московский вестник» в эти годы не выходил. Т. А. Бакунина называет так славянофильский журнал «Москвитянин». Отношения Лермонтова с этим журналом были сложные. Достаточно вспомнить мнение Самарина о «Герое нашего времени» (см. с. 381 наст. изд.). Но перед самым отъездом на Кавказ в 1841 г. Лермонтов сам сделал шаг к сближению, отдав в «Москвитянин» стихотворение «Спор». Летом 1841 г. А. С. Хомяков писал: «В «Москвитянине» был разбор Лермонтова Шевыревым, и разбор не совсем приятный, по-моему, несколько несправедливый. Лермонтов ответил очень благоразумно: дал в «Москвитянин» славную пьесу «Спор Шата с Казбеком», стихи прекрасные».

А. Я. БУЛГАКОВ

Александр Яковлевич Булгаков (1781—1863) — московский почт-директор (с 1832 г.), сенатор, камергер. Его сын К. А. Булгаков учился вместе с Лермонтовым в Московском университетском пансионе и юнкерской школе.

Сведения, полученные Булгаковым, почерпнуты из письма В. С. Голицына, который, казалось бы, должен был хорошо знать все обстоятельства ссоры и гибели поэта.

Однако версия дуэли в дневнике Булгакова, повторенная в письме к П. А. Вяземскому, в некоторых местах сомнительна. Это можно объяснить неточностью пересказа Путяты, который, вероятно, сам письма Голицына не читал, или тем, что Голицын, поссорившись с ближайшими друзьями Лермонтова, знал о событиях из вторых рук.

ИЗ ДНЕВНИКА

(стр. 458)

[1] Сообщение о том, что Лермонтов готов был просить прощения у Мартынова и что Мартынов стрелял в упор, вызывает сомнение.

Можно предположить, что это результат постепенной трансформации устных рассказов о нежелании Лермонтова стрелять в противника и хладнокровном выстреле Мартынова, чувствовавшего себя в безопасности.

[2] Мартынов не пытался бежать от суда. Это легенда.

[3] Лермонтов, как известно, был сослан на Кавказ, а не поехал туда по своему желанию. Е. А. Арсеньева не сочувствовала желанию внука уйти в отставку.

[4] О роли Т. Бахерахт в дуэли Лермонтова с Барантом см. дневниковую запись М. А. Корфа на с. 298 наст. изд.

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

(стр. 460)

[1] О каком Путяте упоминает автор, неизвестно.

[2] Рассказ о дуэли, основанный на письме В. С. Голицына, свидетельствует о том, что его симпатии и сочувствия полностью на стороне поэта. Человек умный и образованный, сам занимавшийся литературным творчеством, он умел ценить Лермонтова. Размолвка из-за бала не повлияла на его отношение к поэту, да и сам Лермонтов, как заметил Н. П. Раевский, жалел, что обидел Голицына.

[3] У А. Я. Булгакова ошибочно: Мартыновича.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Поэт и литературный критик Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) был лично знаком с Лермонтовым; он встречался с ним в литературных салонах Карамзиных, В. Ф. Одоевского, и М. Ю. Виельгорского. Однако близких отношений между ними не возникло. В статье «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (1847) Вяземский писал: «Преждевременная смерть его оставила неразрешенный вопрос: заместил ли бы он Пушкина или нет? Вероятно, нет. В природе Лермонтова не было всеобъемлемости и разнообразия природы Пушкина. В нем была наравне с ним поэтическая восприимчивость и раздражительность, может быть, наравне с ним и высокое художественное чувство, но не было того глубокого сознания, бесстрастия, равновесия, которые выказались так славно в некоторых творениях Пушкина... Это мое мнение. Оно, может быть, и ошибочно. Но как бы то ни было, а в том, что Лермонтов успел сделать, он далеко не поравнялся с Пушкиным. О том, что мог бы сделать, судить определительно нельзя» (Вяземский П. А. Соч. в 2-х томах, т. 2. М., 1982, с. 349; изд. подготовлено М. И. Гиллельсоном). Перерабатывая статью в 1870-е гг., Вяземский значительно усилил и расширил кри-

тическую часть отзыва: «Лермонтов имел великое дарование, но он не успел, а может быть, и не умел вполне обозначить себя. Лермонтов держался до конца поэтических приемов, которыми Пушкин ознаменовал себя при начале своем и которыми увлекал за собою толпу, всегда впечатлительную и всегда легкомысленную. Он не шел вперед. Лира его не звучала новыми струнами. Поэтический горизонт его не расширялся. Лермонтов остался русским и слабым осколком Байрона» (там же, с. 198). Консерватизм воззрений Вяземского 1840-х и тем более 1870-х гг. препятствовал справедливой оценке мятежной поэзии Лермонтова. Это, однако, не помешало Вяземскому правильно определить скрытые политические причины, вызвавшие гибель поэта. Его отзыв о смерти Лермонтова исключительно ценен, так как Вяземский отлично знал тайные пружины придворных интриг того времени. Он ставил в один ряд гибель Пушкина и Лермонтова — он понимал, что оба поэта пали жертвой николаевского самовластия.

ИЗ ПИСЬМА К А. Я. БУЛГАКОВУ

(стр. 461)

[1] Вяземский имеет в виду неудачные покушения на жизнь французского короля Луи-Филиппа.

[2] Письмо А. Я. Булгакова к Вяземскому от 31 июля 1841 г. см. на с. 460 наст. изд.

[3] П. А. Вяземский рассказывал в письме к А. И. Тургеневу от 9 сентября 1841 г.: «Цесаревич говорил Мятлеву: «Берегись, поэтам худо, кавалергарды убивают их (Мартынов кавалергард, как и Дантес), смотри, чтоб и тебя не убили». — «Нет, — отвечал он, — еще не моя очередь» (*ЛН,* т. 58, с. 492).

ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

(стр. 461)

[1] Вяземский противопоставляет гибель Лермонтова известию о женитьбе Жуковского, о которой он узнал из письма к нему А. И. Тургенева от 8(20) июля 1841 г.

[2] Об этой дуэли, состоявшейся 11 ноября 1775 г., писал Пушкин в «Замечаниях о бунте»: «Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой человек и красавец. Императрица заметила его в Москве на бале (в 1775 г.) и сказала: «Как он хорош! настоящая куколка». Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают, изменнически. Молва обвиняла Потемкина...» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 8. М., 1958, с. 361).

А. И. ВЕГЕЛИН

Александр Иванович Вегелин (Вигелин; 1801—1860) служил в 7-м пионерном батальоне Лиговского корпуса в чине поручика. В 1820 г. вступил в тайное Общество военных друзей. За пропаганду в батальоне был приговорен в 1827 г. к повешенью, затем смертная казнь была заменена десятью годами каторги, которую Вегелин отбывал в Чите и в Петровском заводе. В 1832 г. сослан на поселение в Нерчинский округ, а в 1837 г. зачислен рядовым в Отдельный Кавказский корпус. Возможно, здесь Вегелин познакомился с Лермонтовым, когда в 1840 г. одновременно с ним участвовал в военных действиях в Чечне. Его родственник А. А. Эссен называет его «большим приятелем Лермонтова». Летом 1841 г. Вегелин встречался с Лермонтовым в Пятигорске. Впоследствии он был произведен в офицеры и служил в Кабардинском егерском полку в чине подпоручика. Затем вышел в отставку и жил сначала в Полтаве, потом в Одессе.

Письмо было адресовано сестре А. И. Вегелина Марии Ивановне Козенц. Местонахождение оригинала неизвестно. Копию с него прислал в Лермонтовский музей А. А. Эссен в письме к начальнику кавалерийского училища А. А. Бильдерлингу (*ИРЛИ*).

ПИСЬМО К СЕСТРЕ

(стр. 462)

Публикуется впервые (*ИРЛИ*).

[1] Так в копии А. А. Эссена. Должно быть: Верзилиной.

[2] Васильчиков снимал другой дом В. И. Чиляева.

[3] Видимо, описка. Следует читать: Лермонтова.

К. ЛЮБОМИРСКИЙ

ПИСЬМО ИЗ СТАВРОПОЛЯ В ОДЕССУ К. Н. и В. Н. СМОЛЬЯНИНОВЫМ

(стр. 463)

Автор письма — предположительно Константин Корнилович Любомирский, ставропольский помещик. У него был в Ставрополе собственный дом. Учился в Московском университете, с 1841 г. — чиновник. Служил в Тифлисском губернском присутствии по крестьянским делам. Письмо адресовано товарищам по университету.

В письме, автор которого не располагал сведениями из первых рук, и потому неточном, отразились основные моменты, привлекавшие внимание людей непредубежденных: смешное и глупое поведение Мартынова перед дуэлью, нежелание Лермонтова драться, жестокие условия поединка, отказ поэта от выстрела (выстрел в сторону).

Печатается по первой публикации Н. Л. Бродского в журн. «Литературный критик», 1939, № 10—11, с. 250—251. Местонахождение оригинала неизвестно.

Н. МОЛЧАНОВ

Личность автора письма не установлена. Адресат его Вадим Васильевич Пассек — литератор, историк, этнограф. В Московском университете он близко сошелся с А. И. Герценом и его кружком. В 1830 г. участвовал в борьбе с эпидемией холеры, проявив при этом мужество и самоотверженность.

ИЗ ПИСЬМА К В. В. ПАССЕКУ
(стр. 465)

Печатается по первой публикации: *ЛН,* т. 45-46, с. 715—716.

[1] *Иустин Евдокимович* Дядьковский, сын деревенского дьячка, благодаря блестящим способностям и настойчивости сумел стать одним из образованнейших людей своего времени. Профессор медицинского факультета Московского университета, он был уволен в 1836 г. по обвинению в атеизме. Дядьковский действительно был материалистом (в неприведенной части письма Молчанов сокрушается, что перед смертью он отказался от причастия). В Москве Дядьковский был близок с широким кругом литераторов (Н. В. Станкевич, В. Г. Белинский, М. А. Бакунин, А. В. Кольцов, Д. В. Веневитинов, Н. В. Гоголь). Судя по письму, Дядьковский был знаком с Е. А. Арсеньевой, знал он и многих московских знакомых Лермонтова.

Их разговор о поэзии и философии — свидетельство общности взглядов и близости интересов. О встречах поэта с Дядьковским до публикации письма Молчанова известно не было.

А. И. ВАСИЛЬЧИКОВ

Александр Илларионович Васильчиков (1818—1881), секундант на последней дуэли Лермонтова, сын князя И. В. Васильчикова, председателя Государственного совета и председателя комитета министров; с 1835 г. учился на юридическом факультете Петербургского университета. По окончании университета, с 1840 г. работал в комиссии барона Гана по введению новых административных порядков на Кавказе. Через год, когда эта работа была прекращена, Васильчиков вышел в отставку.

Мемуарные свидетельства Васильчикова отличаются противоречивостью. В письме к Ю. К. Арсеньеву он пишет, что никак не

ожидал трагического исхода дуэли, а в статье в «Русском архиве» уверяет, что смерть на дуэли была для Лермонтова неизбежна ввиду его «строптивого, беспокойного» характера. Описывая дуэль, он старается не вносить ясность в подробности, которые могли бы служить обвинению Мартынова, а также и секундантов. Не исключено, что некоторые факты им искажены с этой же целью.

О А. И. Васильчикове, его отношении к Лермонтову и роли в дуэли поэта с Мартыновым см.: *Герштейн,* с. 129—217, 241—254.

ПИСЬМО К Ю. К. АРСЕНЬЕВУ

(стр. 466)

[1] Юлий Константинович *Арсеньев* — сын профессора истории и статистики К. И. Арсеньева, однофамилец родственников Лермонтова; в 1838 г. окончил Царскосельский лицей, с 23 марта 1840 г. состоял при канцелярии Комитета об устройстве Закавказского края; в том же году встречался с Лермонтовым и его друзьями на Кавказских минеральных водах.

[2] Н. А. *Жерве,* член «кружка шестнадцати».

[3] Эмилия Александровна Клингенберг, Надежда Петровна и Аграфена Петровна Верзилины.

[4] Вероятно, Александр Николаевич Долгорукий, участник «кружка шестнадцати». Он был однополчанином Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНЧИНЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА И О ДУЭЛИ ЕГО С Н. С. МАРТЫНОВЫМ

(стр. 467)

[1] Речь идет о статье П. К. Мартьянова «Поэт М. Ю. Лермонтов по запискам и рассказам современников» (Всемирный труд, 1870, № 10, с. 581—604). Мартьянов, в свою очередь, обвинял Васильчикова в стремлении «ослабить до известной степени нравственную его ответственность за убиение Лермонтова» (М а р т ь я н о в П. К. Дела и люди века, т. 2. СПб., 1893, с. 29).

[2] Неточно: заявление Мартьянова было напечатано издателем *РС* М. И. Семевским в приложениях к отдельному изданию «Записок» Е. А. Хвостовой, как об этом выше писал сам Васильчиков.

[3] А. А. Столыпин-Монго был не двоюродный брат, а двоюродный дядя Лермонтова.

[4] Михаил Павлович *Глебов* в 1838 г. окончил юнкерскую школу вместе с Д. А. Столыпиным, который, видимо, и познакомил его с Лермонтовым. Глебов участвовал вместе с Лермонтовым в сражении при Валерике 11 июля 1840 г., где был тяжело ранен. Глебов был секундантом в дуэли Лермонтова с Мартыновым.

[5] Васильчиков ошибся: сражения при Валерике были 11 июля и 30 октября 1840 г. Затем Лермонтов ездил в отпуск в Петербург,

а 13 мая 1841 г. приехал вместе с А. А. Столыпиным-Монго прямо в Пятигорск, так и не явившись в Тенгинский пехотный полк.

[6] А. Н. Долгорукий был убит на дуэли в 1842 г. своим однополчанином по л.-гв. Гусарскому полку В. В. Яшвилем.

[7] Речь идет о Н. И. Тарасенко-Отрешкове, с которым поэт был коротко знаком. Этим объясняется бесцеремонное обращение с ним Лермонтова.

[8] Далее в рукописи зачеркнуты следующие строки: «...в Кавалергардском полку, офицеры коего сочли своим долгом (par esprit de corps) при дуэли Пушкина с Дантесом (взять) сторону иноземного выходца противу русского поэта, ему не прощали его смелой оды по смерти Пушкина...»

[9] Речь идет о Николае I. См. примеч. 3 на с. 589 наст. изд.

[10] Прошло не три дня, а один.

[11] Васильчиков имеет в виду колонию Шотландка (или Каррас), теперь Иноземцево.

[12] *«К барьеру»* — в наборной копии статьи было вставлено П. И. Бартеневым.

[13] В устных рассказах о дуэли Васильчиков отбрасывал беспристрастный тон. Вот что записал с его слов В. Я. Стоюнин: «Лермонтов всегда устремлял свои язвительные насмешки на тех лиц, которые давали ему слабый отпор, и часто опрометчиво оскорблял их, не думая потом брать назад свои слова. То же случилось и в последнем столкновении его с Мартыновым, которого он постоянно язвил сарказмами; не находя в нем достаточно силы, чтобы отвечать тем же, он позволил себе зайти слишком далеко: стал унижать своего слабого противника в присутствии особы, которою тот очень интересовался. Мартынов был наконец выведен из терпения и обратился к поэту с упреками, в ответ на которые тот новыми шутками почти заставил его вызвать себя на дуэль. Она была, так сказать, навязана Мартынову, хотя вызов и последовал с его стороны. Расстроить ее не было никакой возможности. Когда Лермонтову, хорошему стрелку, был сделан со стороны секунданта намек, что он, конечно, не намерен убивать своего противника, то он и здесь отнесся к нему с высокомерным презрением, со словами: «Стану я стрелять в такого д...», не думая, что были сочтены его собственные минуты».

«Так рассказывал князь Васильчиков об этой несчастной катастрофе, мы записываем его слова, как рассказ свидетеля смерти нашего поэта», — пояснял В. Я. Стоюнин (Голубев А. Князь Александр Илларионович Васильчиков. СПб., 1882, с. 39).

Английский исследователь биографии Лермонтова Л. Келли, встречавшийся с потомками Васильчикова, в своей книге рассказывает: «...Васильчиков позднее говорил своему сыну Борису, что в статье он опустил одну существенную деталь, «щадя память Лермонтова. Дело в том, что когда Лермонтов подошел к барьеру, не только дуло его пистолета было направлено вверх, но он сказал своему секунданту громко, так, что Мартынов не мог не слышать: «Я в этого дурака стрелять не буду» (Kelly L. Lermontov. Tragedy in the Caucasus. London, 1977, p. 178. См. также p. 240—241).

Васильчиков всегда называл себя секундантом Лермонтова, как показал на суде, поскольку А. А. Столыпина и С. В. Трубецкого упоминать было нельзя. На прямой вопрос Висковатова, кто был чьим секундантом, он отвечал: «Собственно секундантами были: Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. На следствии же показали: Глебов себя секундантом Мартынова, я — Лермонтова. Других мы скрыли». М. П. Глебов в письме к Д. А. Столыпину также называл себя секундантом Лермонтова.

В другой раз Васильчиков отвечал на вопрос того же Висковатова еще более уклончиво: «Собственно не было определено, кто чей секундант. Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундантом, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова».

[14] П. В. Висковатову Васильчиков объяснил, «что это было уже по возвращении его из Пятигорска, где он тщетно искал докторов и экипажа» (*Висковатов,* с. 372).

[15] В рукописи: «..ливень прекратился».

[16] Здесь в рукописи следовало: «Дело другое, я об этом не смею судить, нужно ли было непременно убить человека за такую пустую ссору и метить в его сердце для отомщения обиды непредумышленной. Это, повторяю, дело другое, о котором я, как свидетель дуэли...», и далее как в печатном тексте.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ОПРАВДАНИЕ ЛЕРМОНТОВА ОТ НАРЕКАНИЙ Г. МАРКЕВИЧА

(стр. 473)

[1] Повесть Б. М. Маркевича была напечатана в *РВ* (1874, № 12, с. 480—559). Реплика, о которой пишет Васильчиков, не авторская, а принадлежит одному из персонажей повести. На это Васильчикову указывалось в печати.

[2] См. предыдущую статью Васильчикова.

[3] Мемуарист имеет в виду декабриста А. И. Одоевского.

[4] Ответ М. А. Назимова см. на с. 476—477 наст. изд.

[5] Это мнение Васильчикова обнаруживает его плохое знакомство с творчеством Лермонтова. См. статью Д. Е. Максимова «Тема

простого человека в лирике Лермонтова». — Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. М.—Л., 1964, с. 113—177. Еще более несправедливо это мнение в отношении прозы Лермонтова.

М. А. НАЗИМОВ

Декабрист Михаил Александрович Назимов (1801—1888) из Сибири был переведен рядовым на Кавказ, в Кабардинский егерский полк, в 1837 г. По уточненным данным Лермонтов и Назимов познакомились в 1840 г. в доме И. А. Вревского в Ставрополе, куда Назимов наезжал из крепости Прочный Окоп, где стоял его полк. Последние встречи поэта с Назимовым имели место летом 1841 г. в Пятигорске.

Подробнее об отношениях Лермонтова и Назимова см.: *ЛЭ,* с. 331.

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС»

(стр. 476)

[1] Эту статью А. И. Васильчикова см. на с. 473 наст. изд. В пересказе П. А. Висковатова сохранился рассказ А. И. Васильчикова о спорах Лермонтова с Назимовым: «Князь А. И. Васильчиков рассказывал мне, что хорошо помнит, как не раз Назимов, очень любивший Лермонтова, приставал к нему, чтобы он объяснил ему, что такое современная молодежь и ее направления, а Лермонтов, глумясь и пародируя салонных героев, утверждал, что «у нас нет никакого направления, мы просто собираемся, кутим, делаем карьеру, увлекаем женщин», он напускал на себя la fanfaronnade du vice <бахвальство порока; фр.> и тем сердил Назимова. Глебову не раз приходилось успокоивать расходившегося декабриста, в то время как Лермонтов, схватив фуражку, с громким хохотом выбегал из комнаты и уходил на бульвар на уединенную прогулку, до которой он был охотник. Он вообще любил или шум и возбуждение разговора, хотя бы самого пустого, но тревожившего его нервы, или совершенное уединение» (*Висковатов,* с. 273).

[2] О повести Б. Маркевича «Две маски» см. примеч. на с. 628 наст. изд.

[3] М. А. Назимов, как и некоторые другие декабристы, не разделял иронического отношения Лермонтова к правительственным мероприятиям начала 40-х гг. по подготовке крестьянской реформы. П. А. Висковатов писал: «Декабрист Назимов, которого в 1879 или 80-м году посетил я в Пскове именно с целью узнать о Лермонтове, с коим он встречался в Пятигорске, говорил: «Лермонтов сначала

часто захаживал к нам и охотно и много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали. Передать теперь, через сорок лет, разговоры, которые вели мы, невозможно. Но нас поражала какая-то словно сбивчивость, неясность его воззрений. Он являлся подчас каким-то реалистом, прилепленным к земле, без полета, тогда как в поэзии он реял высоко на могучих своих крылах. Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился. Статьи журналов, особенно критические, которые являлись будто наследием лучших умов Европы и заживо задевали нас и вызывали восторги, что в России можно так писать, не возбуждали в нем удивления. Он или молчал на прямой запрос, или отделывался шуткой и сарказмом. Чем чаще мы виделись, тем менее клеилась сериозная беседа. А в нем теплился огонек оригинальной мысли — да, впрочем, и молод же он был еще!» (*Висковатов,* с. 272—273).

М. А. ЛОПУХИНА

С Марией Александровной Лопухиной (1802—1877) Лермонтова связывали теплые дружеские отношения. По словам П. А. Висковатова, она принадлежала к тем немногим друзьям поэта, которые «не утратили веры и любви к нему даже и тогда, когда ранняя могила унесла его». «Милый друг! — писал ей Лермонтов в письме из Петербурга 23 декабря 1834 г., — что бы ни случилось, я никогда не назову вас иначе...»

Поэт познакомился с ней, ее сестрой Варварой и братом Алексеем в Москве, в конце 1827 или начале 1828 г. (об этом см. в воспоминаниях А. П. Шан-Гирея на с. 36, 38 наст. изд.). После переезда Лермонтова в Петербург между ним и М. А. Лопухиной завязалась оживленна» переписка. Судя по единственному сохранившемуся письму Лопухиной, до поступления в юнкерскую школу Лермонтов писал ей каждую неделю. В своих письмах к ней он искренен, доверчив, откровенен; в ее письме проскальзывает несколько наставительный тон. Сказывается разница лет, она чувствует себя старшей и опекает поэта.

Лермонтов в своих письмах посылает ей новые стихи. Она переписывает его произведения для Верещагиной, с которой всю жизнь была очень дружна. В 1839—1840 гг. Лопухина побывала за границей с сестрой и ее мужем Н. Ф. Бахметевым. В Эмсе она

передала Верещагиной, жившей после замужества за границей (об этом см. на с. 553 наст. изд.), картину, написанную для нее Лермонтовым, и его стихи. В своих письмах к А. М. Верещагиной она старалась, когда могла, сообщать новости о Лермонтове. Так, 29—30 октября 1837 г. она пишет: «Я забыла вам сказать, что не имею сведений о Мишеле, говорили одно время, что он будет прощен, но до сих пор ничто не подтверждает эти слухи», а 11 ноября, когда Елизавета Алексеевна сама сообщила ей о прощении Лермонтова, Мария Александровна спешит известить об этом подругу, добавляя: «Он будет в Москве в декабре, так как бабушка ждет его к рождеству. На этот раз я не смогу и не захочу долго опекать его, потому что это повредит ему в глазах всех его родных».

Любовь Лермонтова к ее младшей сестре, конечно, не была для нее тайной, но их чувствам она явно ни в коей мере не покровительствовала. Некоторая холодная отчужденность по отношению к Варваре Александровне чувствуется в ее письме к Лермонтову, так же как и в письме к Александре Михайловне.

ИЗ ПИСЕМ К А. М. ВЕРЕЩАГИИОЙ-ХЮГЕЛЬ

(стр. 478)

Печатаются по публикации И. А. Гладыш и Т. Г. Динесман в «Записках Отдела рукописей ГБЛ» (М., 1963, вып. 26, с. 50, 55—56). Оригиналы писем хранятся в *ГБЛ,* ф. 456.

[1] Это письмо до нас не дошло.

Е. А. СТОЛЫПИНА

Екатерина Аркадьевна Столыпина (урожд. Анненкова; 1791—1853) — жена брата Е. А. Арсеньевой, сестра Елизаветы Аркадьевны Верещагиной. Лермонтов постоянно виделся с ней как с одной из самых близких родственниц.

В 1832 г. в первом своем письме из Петербурга Лермонтов просит передать ей привет и называет «тетенькой». В пансионе и в студенческие годы он часто бывал в ее доме, где собиралась молодежь, устраивались танцевальные вечера. Молодых людей и девиц готовили к посещению «настоящих балов». Был даже приглашен известный тогда учитель танцев. В ее подмосковное имение Середниково Лермонтов с бабушкой выезжал на лето, когда жил в Москве.

По свидетельству М. М. Сперанского, Екатерина Аркадьевна была незаурядной пианисткой и, возможно, содействовала развитию музыкальных способностей Лермонтова.

В 1837 г. Е. А. Столыпина переехала в Петербург, где у нее жила Е. А. Верещагина. По вторникам у них собирались родственники

и царило самое непринужденное веселье. Их охотно посещал и Лермонтов. Описание одного такого обеда, на котором был поэт, см. в письме Е. А. Верещагиной (с. 245).

Письмо написано племяннице Е. А. Столыпиной А. М. Верещагиной-Хюгель, жившей в Штутгарте (см. с. 551 наст. изд.).

ПИСЬМО К А. М. ВЕРЕЩАГИНОЙ-ХЮГЕЛЬ

(стр. 479)

Печатается по публикации в «Записках Отдела рукописей ГБЛ». М., 1963, вып. 26, с. 53—54 (оригинал письма — в *ГБЛ,* ф. 456, I. 44).

[1] Н. С. Мартынов был племянником Саввы и сыном Соломона Михайловича Мартыновых.

[2] Вопрос о том, что из участников дуэли был секундантом Лермонтова, а кто Мартынова, долго оставался неясным ввиду неопределенности и противоречивости свидетельств современников. Сведения Е. А. Столыпиной, основанные на письме М. П. Глебова, можно считать самыми достоверными.

[3] Дмитрий Аркадьевич Столыпин, младший брат А. А. Столыпина (Монго), учился вместе с М. П. Глебовым в юнкерской школе.

[4] Есть свидетельство, что Е. А. Арсеньева не «догадалась», а была раньше извещена о смерти Лермонтова. 24 марта 1910 г. в газ. «Новое время» появилась заметка неизвестного лица за подписью «Н. Кр.». Автор, которому в 1841 г. было 11 лет, жил тогда в доме Т. Т. Бороздиной, большой приятельницы Е. А. Арсеньевой. Дома их, стоявшие на параллельных улицах, сообщались через задние ворота (см. с. 594 наст. изд.).

«В конце июля 1841 года, — пишет мемуарист, — к Бороздиной прибежал лакей от Арсеньевой сказать, что его барыне дурно, что получено письмо с Кавказа о смерти Михаила Юрьевича. Меня послали к ней, мы с лакеем быстро пробежала через задние ворота и нашли Елизавету Алексеевну на полу без памяти. Подняли ее на кровать, послали за доктором, а когда она пришла в себя, то сказала, что Лермонтов убит майором Мартыновым на дуэли».

ПРИЛОЖЕНИЕ

С. А. РАЕВСКИЙ

Святослав Афанасьевич Раевский (1808—1876) по своей разносторонней образованности, по независимости социально-политических воззрений несомненно имел благотворное влияние на Лермонтова в пору его юности и становления таланта.

Начало их дружбы относится к 1827—1830 гг., когда Лермонтов учился в Университетском пансионе, а Раевский, окончив университет, продолжал слушать там некоторые курсы по своему выбору, в 1832 г. друзья встретились в Петербурге. Здесь Раевский познакомил Лермонтова с А. А. Краевским. Это знакомство сыграло большую роль в сближении Лермонтова с литературными кругами.

Раевский был в курсе литературных замыслов Лермонтова, принимал участие в переписывании, распространении произведений Лермонтова, в попытках получить разрешение на постановку «Маскарада». Один из подчиненных Раевского В. А. Инсарский, очень неприязненно относившийся и к Раевскому и к Лермонтову, вспоминал: «Этот Раевский постоянно приносил в департамент поэтические изделия этого офицерика <т. е. Лермонтова>. Я живо помню, что на меня навязали читать и выверять «Маскарад», который предполагали еще тогда поставить на сцену. Точно также помню один приятельский вечер, куда Раевский принес только что написанные Лермонтовым стихи на смерть Пушкина, которые и переписывались на том же вечере в несколько рук и за которые вскоре Лермонтова отправили на Кавказ» (*РА,* 1873, стб. 527—528).

За распространение стихов на смерть Пушкина Раевский был привлечен к суду и затем сослан в Олонецкую губернию. Над текстом своего «Объяснения» Раевский тщательно работал, стараясь отвести обвинения от Лермонтова. Сличение белового варианта с черновиком см.: *Андроников,* с. 20, 28, 30—33.

ОБЪЯСНЕНИЕ ГУБЕРНСКОГО СЕКРЕТАРЯ РАЕВСКОГО О СВЯЗИ ЕГО С ЛЕРМОНТОВЫМ И О ПРОИСХОЖДЕНИИ СТИХОВ НА СМЕРТЬ ПУШКИНА

(стр. 483)

[1] Николай Аркадьевич Столыпин.

[2] Стихотворение «Опять народные витии...».

А. Х. БЕНКЕНДОРФ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О СТИХОТВОРЕНИИ ЛЕРМОНТОВА «СМЕРТЬ ПОЭТА» С РЕЗОЛЮЦИЕЙ НИКОЛАЯ I

(стр. 486)

Александр Христофорович Бенкендорф (1781 или 1783—1844), граф, шеф корпуса жандармов и начальник III Отделения, генерал-адъютант. Узнав о стихотворении Лермонтова (без последних 16-ти строк), Бенкендорф выжидал и некоторое время не докладывал о них Николаю I, но, когда о стихах заговорили в обществе, и он собрался это сделать, кто-то уже прислал список во дворец с надписью: «Воззвание к революции» (см. *Висковатов,* с. 226). Тогда были приняты меры, о которых и докладывает Бенкендорф.

Впоследствии, вероятно, считая, что, если простить поэту «дерзкие» стихи, можно рассчитывать на его лояльность, Бенкендорф содействовал переводу Лермонтова из Нижегородского драгунского в л.-гв. Гродненский гусарский полк. Но и возвращенный в прежний полк поэт продолжал раздражать своими выходками и двор и Бенкендорфа. С 1840 г. он уже систематически преследует Лермонтова.

Когда Лермонтов был арестован за дуэль с Барантом, Бенкендорф требовал от него унизительного признания в ложности показаний на суде, так что Лермонтову пришлось апеллировать к вел. кн. Михаилу Павловичу.

НИКОЛАЙ I

Летом 1841 г. Лермонтов в Пятигорске рассказывал Е. Г. Быховец, что «судьба его гнала, государь не любил, великий князь ненавидел, не могли его видеть». Даже в наивной передаче Быховец из этих слов ясно, что «нелюбовь» царя воспринималась Лермонтовым как сознание собственной обреченности.

Непокорный поэт постоянно мешал Николаю I. Царь не мог простить Лермонтову ни стихов на смерть Пушкина, ни нарочитых нарушений так почитавшейся им формы во время служения поэта в гусарском полку. Столкновение Лермонтова с членами царской семьи на маскарадном балу и, возможно, еще какие-то причины личного характера вызвали ненависть Николая I, которую он не счел нужным сдержать даже при получении известия о смерти поэта.

ИЗ ПИСЬМА К ИМПЕРАТРИЦЕ

(стр. 487)

[1] Мысль о том, что лучшие представители русского общества обречены на бездействие, а их представления о нравственности искалечены отсутствием идеалов и цели в жизни, не могла, конечно, войти в сознание Николая I. Подобное же мнение о романе, хотя и не в такой резкой форме, высказала его сестра Мария Павловна: «..роман отмечен талантом и даже мастерством, но если и не требовать от произведений подобного жанра, чтобы они были трактатом о нравственности, все-таки желательно найти в них направление мыслей или намерений, которое способно привести читателя к известным выводам. В сочинениях Лермонтова не находишь ничего, кроме стремления и потребности вести трудную игру за властвование, одерживая победу посредством своего рода душевного индифферентизма, который делает невозможной какую-либо привязанность, а в области чувства часто приводит к вероломству. Это — заимствование, сделанное у Мефистофеля Гете, но с тою большой разницей, что в «Фаусте» диавол вводится в игру лишь затем, чтобы помочь самому Фаусту пройти различные фазы своих желаний, и остается

второстепенным персонажем, несмотря на отведенную ему большую роль. Лермонтовский же герой, напротив, является главным действующим лицом, и поскольку средства, употребляемые им, являются его собственными и от него же и исходят, их нельзя одобрить» (*Герштейн,* с. 72—73).

Н. С. МАРТЫНОВ

С Николаем Соломоновичем Мартыновым (1815—1875) Лермонтов вместе учился в юнкерской школе. Мартынов кончил ее на год позднее, в 1835 г. Лермонтов бывал в Москве в доме Мартыновых, был знаком с его матерью и сестрами. Вероятно, встречались они и в Петербурге в 1839—1840 гг.

К Мартынову неоднократно обращались, в том числе и печатно, с предложениями рассказать о его отношениях с Лермонтовым и их дуэли. Мартынов один раз высказал мысль, что о дуэли должен рассказать Васильчиков, а другой раз объяснил, что «считает себя не вправе вымолвить хоть единое слово в осуждение Лермонтова и набросить малейшую тень на его память», тем самым давая понять, что рассказ о дуэли был бы не в пользу Лермонтова. В то же самое время он часто рассказывал даже малознакомым людям о дуэли и обвинял поэта в неблаговидном поведении по отношению к его сестре и в том, что Лермонтов вскрыл письмо, которое вез Мартынову, уверял, что не знал об отказе Лермонтова стрелять в него. Многие из этих лживых измышлений проникли в печать.

Свои воспоминания о Лермонтове Мартынов начинал писать дважды, но оба раза бросал в самом начале. Они были опубликованы сыном мемуариста после его смерти.

ОТРЫВКИ ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСОК

(стр. 489)

[1] Ю. Л. Елец со слов М. И. Цейдлера писал: «В служебном отношении поэт был всегда исправен, а ездил настолько хорошо, что еще в школе назначался на ординарцы. Недостатки его фигуры совсем исчезали на коне» (Елец Ю. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, т. 1. СПб., 1890, с. 207). А. Ф. Тиран также свидетельствует, что его вместе с Лермонтовым посылали на ординарцы к великому князю Михаилу Павловичу.

МОЯ ИСПОВЕДЬ

(стр. 441)

[1] О *«Нумидийском эскадроне»* см. также в воспоминаниях В. В. Боборыкина.

[2] На этом рукопись обрывается.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [1]

[1] В указатель вошли имена, встречающиеся в основном тексте; из комментариев и вступительной статьи введены имена писателей, художников и лиц лермонтовского окружения. Страницы статьи и комментариев выделены курсивом. Имена объясненные в комментариях, а также общеизвестные имена, не аннотируются.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Сборник

Составители
М. И. Гиллельсон и О. В. Миллер

Редактор *Г. Колосова,* художественный редактор *Г. Масляненко,* технический редактор *В. Нефедова,* корректор *Г. Киселева.* ИБ № 5316. Сдано в набор 07.09.88. Подписано к печати 23.03.89. Формат 84X108$^{1}/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл.-печ. л. 35,28 + 1 вкл. + альбом=36,17. Усл. кр.-отт. 37,48. Уч.-изд. л. 37,25+1 вкл. + альбом = 38,03. Тираж 150 000 экз. Изд. № П-3120. Заказ 1197. Цена 3 р. 50 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Набрано в типографии им. Франциска Скорины издательства «Наука и техника». 220600. Минск, Ленинский пр., 68.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии издательства ЦК КП Белоруссии. 220041 Минск, Ленинский проспект, 79.



Ю. П. Лермонтов, отец поэта. Портрет маслом работы неизвестного художника. 1810-е гг.



М. М. Лермонтова, мать поэта. Портрет маслом работы неизвестного художника. 1810-е гг.



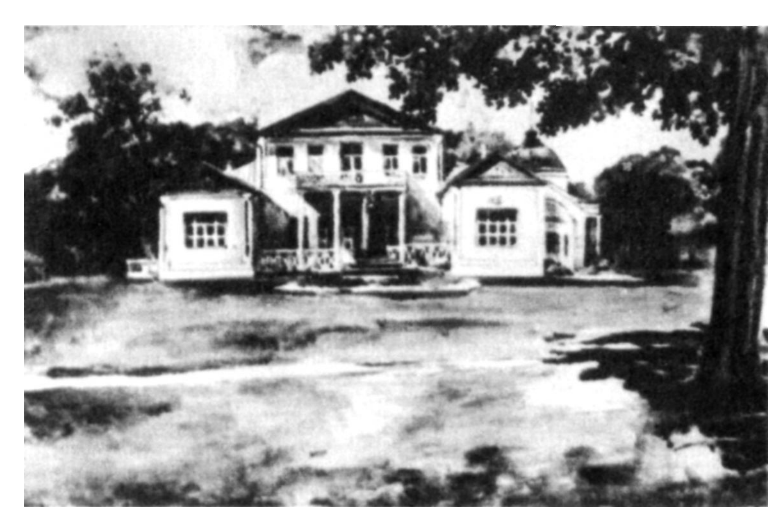
Е. А. Арсеньева, бабушка поэта. Портрет маслом работы неизвестного художника. Начало XIX в.



М. Ю. Лермонтов ребенком. Портрет маслом работы неизвестного художника. 1817—1818.



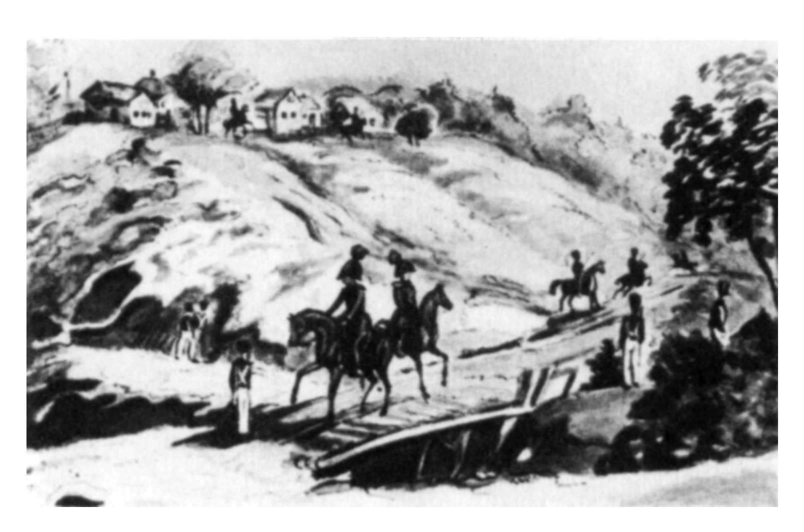
М. Ю. Лермонтов ребенком. Портрет маслом работы неизвестного художника. 1820—1822.



Дом Е. А. Арсеньевой в Тарханах. Акварель Н. Шестопалова.



М. Ю. Лермонтов юнкер лейб-гвардии Гусарского полка. С портрета работы А. Челышева.



Эпизод из маневров в Красном Селе. Акварель М. Ю. Лермонтова. 1834—1835.



Н. Ф. Иванова. Рисунок В. Ф. Биннемана. 1830-е гг.



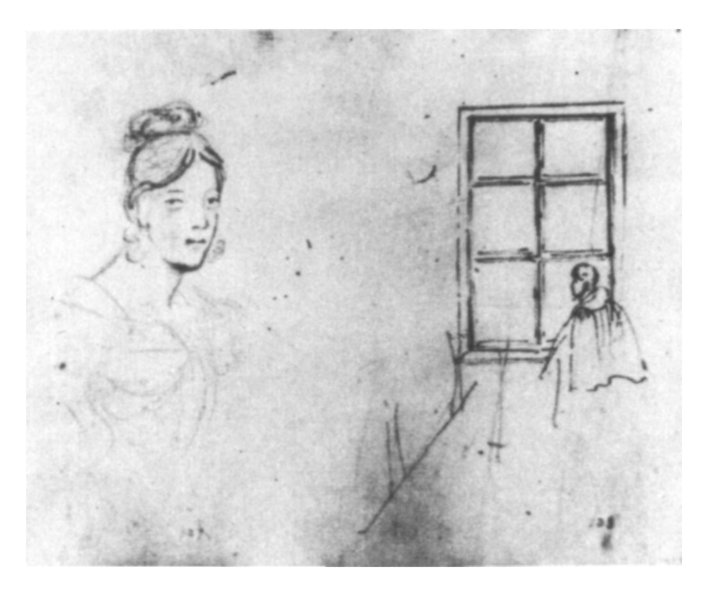
Русские гренадеры отбивают атаку французских уланов. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1832—1834.



Эмилия, героиня драмы «Испанцы» (В. А. Лопухина?). Акварель М. Ю. Лермонтова. 1830—1831.



В. А. Лопухина. Акварель М. Ю. Лермонтова. 1835—1838.



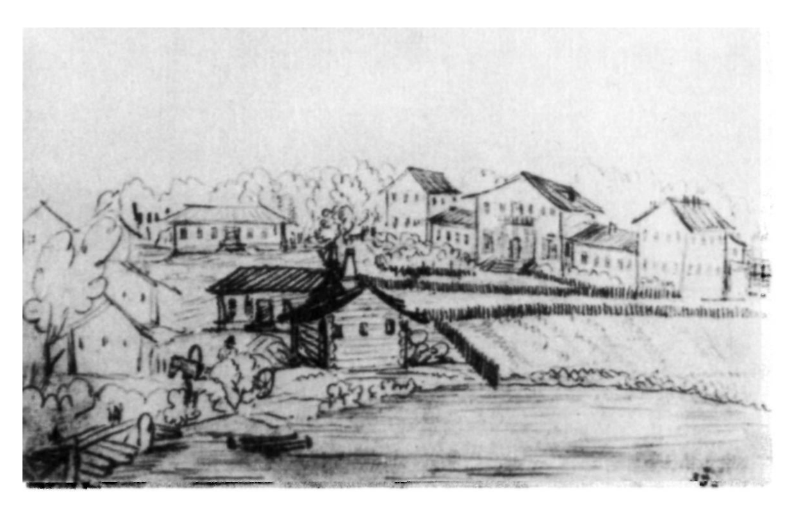
Портрет молодой женщины (В. А. Лопухиной?). Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1832—1834.



Е. А. Сушкова.
Миниатюра неизвестного
художника. 1830-е гг.



А. М. Верещагина.
Миниатюра
на слоновой кости
работы неизвестного
художника. 1837.



Вид провинциального городка. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1832—1834.



Автограф стихотворения «Стансы». 1830. На полях рисунок М. Ю. Лермонтова (Е. А. Сушкова?).



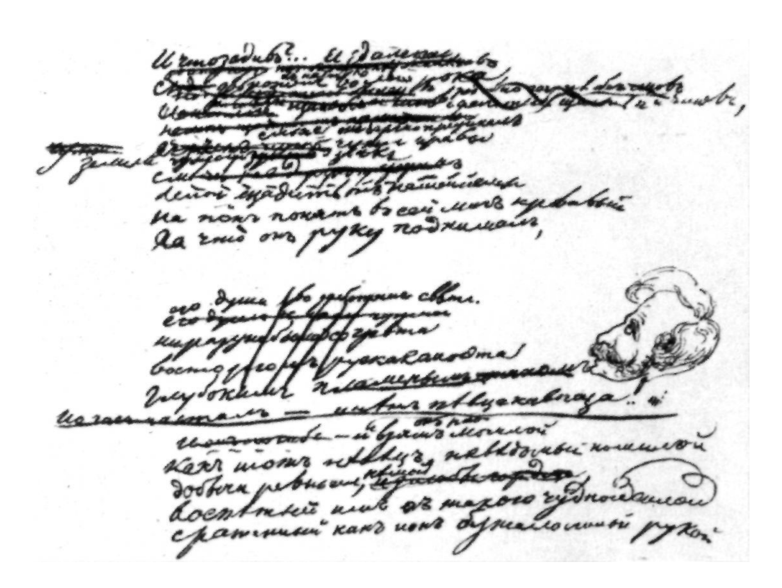
Портрет пером офицера с трубкой. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1832—1834.



А. С. Пушкин. Портрет работы О. А. Кипренского. 1827.



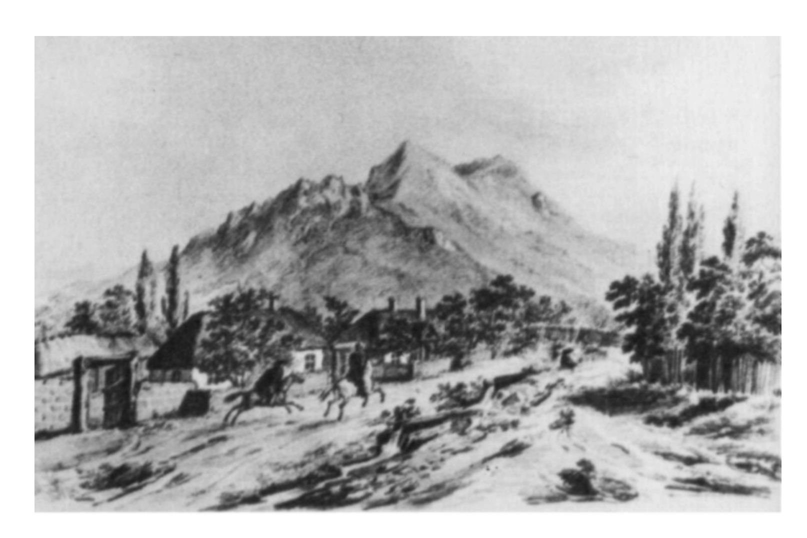
Вид Пятигорска. Картина маслом работы М. Ю. Лермонтова. 1837—1838.



Черновой автограф фрагмента стихотворения «Смерть Поэта» с рисунком М. Ю. Лермонтова — профиль начальника штаба корпуса жандармов генерала А. В. Дубельта. 1837.



Вид Тифлиса. Картина маслом работы М. Ю. Лермонтова. 1837.



Вид Бештау около Железноводска. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1837.



Эльбрус. Картина маслом работы М. Ю. Лермонтова. 1837.



М. Ю. Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка. Портрет маслом работы П. Е. Заболотского. 1837.



В. Г. Белинский. Автолитография К. А. Горбунова. 1843.



Н. В. Майер. Автопортрет.



Тамань. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1837.



А. П. Шан-Гирей. Фотография.



А. А. Столыпин (Монго) в костюме курда. Акварель М. Ю. Лермонтова. 1841.



С. А. Раевский (?). Акварель М. Ю. Лермонтова. 1836—1837.



А. И. Одоевский (?). Акварель М. Ю. Лермонтова.



М. Ю. Лермонтов в сюртуке Тенгинского пехотного полка. Акварель К. А. Горбунова. 1841.



Эпизод из сражения при Валерике. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1840.



Портрет М. А. Щербатовой.



Е. П. Ростопчина. Акварель П. Ф. Соколова. 1842—1843.



Э. К. Мусина-Пушкина. Акварель В. И. Гау. 1840.



М. П. Глебов. Акварель неизвестного художника.



Н. П. и А. П. Верзилины. Акварель Г. Г. Гагарина. 1840—1842.